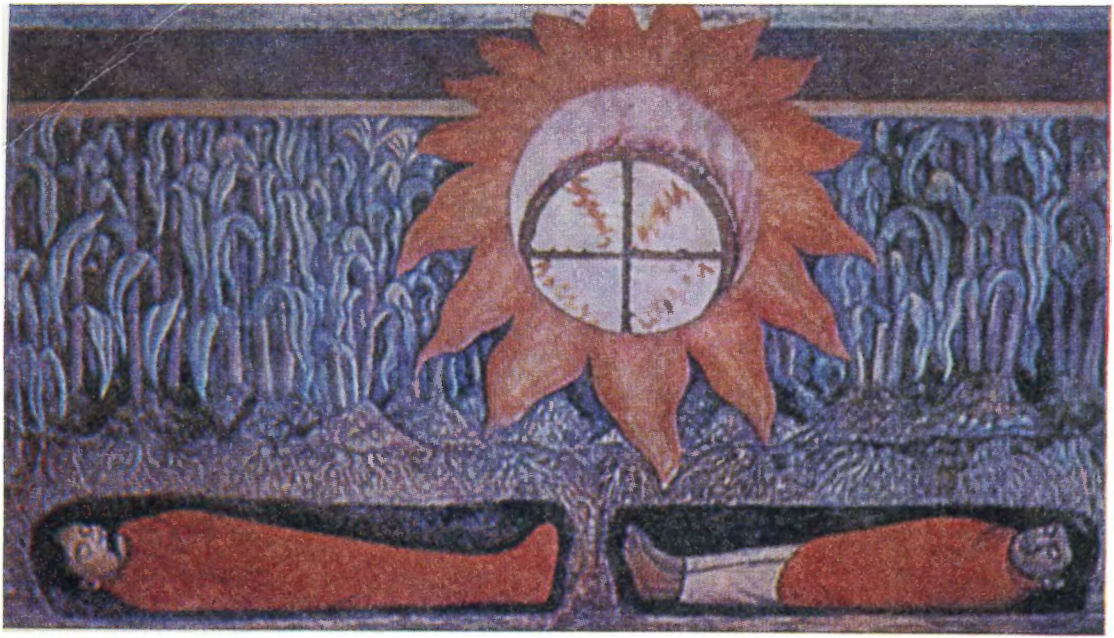
ISSN 0130 – 6545

4. 1986

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



ДИЕГО РИВЕРА. «Кровь наших жертв»

Цветные иллюстрации номера — работы мексиканских художников

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

4 апрель 1986

Содержание

ЯННИС КОТСОХЕРАС — Стихи *(Перевод с греческого Ларисы Васильевой. Вступление К. Чугунова)* 3

ГОР ВИДАЛ — 1876 *(Роман. Перевод с английского А. Файнгара)* 9

АНДОР ЭНДРЕ ГЕЛЛЕРИ — Рассказы *(Перевод с венгерского Т. Воронкиной, В. Середы, В. Смирнова. Вступление В. Середы)* 80

САМИМ КОДЖАГЁЗ — Спор *(Роман. Окончание. Перевод с турецкого Радия Фиша)* 104

Советская литература за рубежом 142

Литературное наследие

ЛЮ ЮН — Стихи *(Перевод с китайского и вступление Михаила Басманова)* 143

Публицистика

Ю. КАГРАМАНОВ — В поисках удобного тупика 148

Зарубежная литература в СССР 155

ГРЭМ ГРИН — Мое знакомство с генералом, или Как я оказался ко всему этому причастным *(Фрагменты книги. Перевод с английского Д. Аграчева и И. Бернштейн)* 156

Культура и современность

В. Иванов — Тени исчезают 178

Антирубрика

СЬЮ ТАУНСЕНД — Тайный дневник Адриана Моула, тринадцати лет и девяти месяцев от роду *(Фрагменты романа. Перевод с английского Юрия Зараховича)* 181

Критика

ФРЕД УАЙТХЕД, ДЖОН КРОУФОРД — Трудные пути прогрессивной книги в США *(Перевод с английского И. Дорониной)* 206

ХУАН КОБО — Пушки и музы *(Испанские писатели о национально-революционной войне 1936—1939 годов)* 211

Наши публикации

Неизвестные письма Ромена Роллана А. В. Луначарскому

(Вступление, публикация и перевод с французского Н. Антоновой и Е. Нечаевой) 218

Письма из-за рубежа

ХРИСТО ДУДЕВСКИЙ — Литературный процесс сквозь призму интервью *(Перевод с болгарского Василия Пономарева)* 226

Наши гости

Л. С. — Абдессалям аль-Мсади, Хамида ас-Сули, Мухаммед Бен Салех, Абделькадер Бен аль-Хадж Наср аль-Акрими (Тунис) ✦ А. Николаевская — Кристофер Ван Вик (Южная Африка) 231

Среди книг

Издано в СССР

В. Хорев — Лабиринты политики и психологии *(Тадеуш Бреза. Стены Иерихона. Лабиринт)* ✦ Элеонора Панкратова — Краски родной земли... *(Оулавюр Йоуханн Сигурдссон. Игра красок земли. Письмо пастора Бёдвара. Часовой механиз. Наваждение)* ✦ М. Вакс махер — Вийон средневековый *(Франсуа Вийон. Стихи)* 235

Издано за рубежом

А. Крузенштерн — За счастье народа *(Вылка Горанова. Глубокие корни)* ✦ С. Мамонтов — «Мы вернемся!..» *(Исабель Альенде. Любовь и тень)* ✦ Л. Степанов — Во времена тунисских беев *(Бен Слама аль-Бешир. Аиша)* 239

Из месяца в месяц 246

© «Иностранная литература», 1986

ЯННИС КОТСОХЕРАС

Перевод с греческого ЛАРИСЫ ВАСИЛЬЕВОЙ

С творчеством греческого поэта Янниса Котсохераса читатели «Иностранной литературы» знакомятся впервые. До этого на страницах журнала печатались в разные годы стихи и поэмы многих авторов. В их числе были и поэты, ставшие уже классиками XX века (Георгос Сеферис, Константинос Кавафис), и выдающиеся поэты нашего времени (Яннис Рицос, Костас Варналис), и представители более молодого поколения (Яннис Кондос, Лефтерис Пулиос, Насос Вагенас, Дзени Масторакн), творческий путь которых начался в годы военной диктатуры 1967—1974 годов.

Когда я впервые познакомился с Яннисом Котсохерасом — это случилось в Москве,— он подарил мне в английском переводе поэму «Марш лилий». Цветок лилии предстает в поэме олицетворением Идеала, к которому стремится человек. Лилии — белые, красные, желтые — как бы шествуют по земле греков, источая аромат и питаясь соками мудрости почвы, хранящей в себе древние мифы. По пути к «Городу лилий, Городу настоящего человека» они встречают Ясона, отправившегося за золотым руном, слышат монотонную песенку Одиссея — старца, устало бредущего домой, на Итаку, и свирель Пана, извещающую о конце Троянской войны и о возвращении людей к мирному труду. Встречают и любовь, и поэзию, и безутешное горе, открывая «бесконечность красоты, силу слабости». Внимают биению сердец Сапфо, Алкея, Пиндара. Слышат песню поэта и эхо античного сумрака: крик Антигоны («Я рождена для любви, а не для ненависти»), воззвание Прометея («Борись за благо человека, стой насмерть!»).

Таков пафос этой поэмы. Ее метафорика характерна для художественного почерка поэта, она раскрывает и гражданскую позицию автора. Подтверждением этого служит и публикуемая ниже подборка его стихов в переводе Ларисы Васильевой. В самом деле, разве не об аллегорической образности, не об оптимистическом отношении к жизни говорят хотя бы строки его стихотворения «Пропавший аист»? Вот они:

Я — Ясон.
Я не пристану
в жизни к гавани чужой,
но несу на сердце рану
и надежду за душой.

Может быть, крыло Икара
где-то тяжесть обретет
и с небес на землю яро
милый аист упадет

безоглядно, безнадежно
рухнет — оземь головой.
Мы найдем его, возможно,
раненый — зато живой!

Обращение греческих поэтов (да и прозаиков тоже) к мифам, к миру богов и героев, к первоосновам культуры — свидетельство их национального самосознания, чувства гордости за прошлое своего народа. Хотя стоит добавить, что оно, это обращение, неоднозначно и может иметь целью вызвать у читателя совсем другие ассоциации. Костас Варналис, например, сопоставил современную ему действительность с классическим миром Древней Греции, назвал свою «золотую родину», обитель Аполлона и муз, «трясиной грязи, подлостью, черным светом» и призвал народ очиститься от

«скверны», то есть от мира социального неравенства и эксплуатации человека человеком.

Тяжелые испытания, выпавшие на долю греческой нации, возрождали в умах писателей свободолюбивые и патриотические идеи античной поэзии — идеи, которые в годы Сопротивления итало-германской оккупации, а затем в период борьбы против диктатуры «черных полковников» зазвучали по-новому и с необычайной силой.

Вся долгая жизнь Янниса Котсохераса (он родился в 1904 году) есть жизнь не просто художника-созерцателя, а художника-гражданина. Юрист по образованию, он много лет посвятил адвокатской практике, а затем — политической деятельности. Одновременно печатал стихи, которые начал писать еще в возрасте четырнадцати лет. Образование получил в Афинском университете и в Сорбонне (Франция). В годы Сопротивления выступал в нелегальной печати, в период военной диктатуры 1967—1974 годов участвовал в демонстрациях протеста, за что подвергался преследованиям властей. Во время одной из демонстраций был избит фашистами, после чего потерял глаз.

С 1974 года Яннис Котсохерас — член парламента от правящей партии «Всегреческое социалистическое движение». Он президент греческого пен-клуба, лауреат многих литературных премий.

Весной 1985 года автору этих строк довелось несколько раз побывать у него дома в Афинах. Его квартира, занимающая верхний этаж небольшого здания на узенькой улице Скуфа, окружена с трех сторон балконом, который Яннис Котсохерас и его энергичная супруга Елена (между прочим, бывшая спортсменка и заядлая автомобилистка) превратили в цветущий сад. С балкона хорошо виден Акрополь — постоянное напоминание о «вечной красоте» Эллады.

С первого взгляда на этого окруженного книгами тихого седовласого человека с мягкими чертами лица, в очках с толстыми стеклами можно подумать, что перед вами кабинетный ученый. Но при более тесном знакомстве вы обнаруживаете в нем наряду с эрудицией ученого и литератора яркий, живой темперамент. И вас уже не удивляет, как это его политическая деятельность сочетается с творческой. Котсохерас и ныне, несмотря на почтенный возраст, активно вторгается во все области жизни страны, участвует в движении сторонников мира, много путешествует. Как член парламента, много сил отдает разработке законопроектов в области образования и культуры, охраны исторических памятников.

Позволю себе сказать, что список греческих поэтов, «открытых» читателям «Иностранной литературой», пополнился еще одним достойным именем.

К. ЧУГУНОВ

Чайка

Чайкой стань, душа моя,
между берегом и тучей,
где отшельником маяк,
парус белый и летучий.

Штормы моря одолей,
шумно крылья раскрывая,
берега души моей
звездной пылью осыпая.

Пена как лимонный цвет...
Чайкой улетая в дали,
уноси прибрежный свет,
смех, не знающий печали.

Переломится крыло —
чайка упадет на сушу,
значит, время подошло:
пенный вал погасит душу.

Пейзаж

Лене

Листва на ветвях и ветер на воле.
Густо кузнечиками усеяно поле.

К луне и звездам платаны тянут
руки ветвей — никак не достанут.

Ветер, листва и ветви повсюду
напоминают тебя, мое чудо.

Ты и луна, и звезда из тумана,
а я всего лишь руки платана.

Пропавший аист

Звезды поднебесной чаши
в невозможное зовут.
Как в орфическом пейзаже
все мечты мои цветут,

а в душе сверчки стрекочут.
Сон, не медли, приходи,
вслед за аистами ночи
в откровенье уведи,

в те края, где темный полдень
не препятствует уму,
сердце мне теплом наполни,
озари свободой тьму.

Злобный разум крылья птицы
вздумал вырвать, торопясь
ненавистью насладиться...
Выйдем в море, не таясь,

не храня тоску, обиду,
вёсел нет и руль забыт.
Звезды нас зовут в Колхиду,
за бортом волна дрожит,

но сердца горят в тревоге:
где пропавший аист, где?
Чайки — компасы в дороге —
бьют крылами по воде.

Сердце в море одиноко,
ум страстями полонен,
пусть любое видит око:
без сандалии — Ясон [1].

Сердце плачет о пропаже,
улетевшей далеко.
Где наш аист, кто нам скажет,
кто поможет нам, «Арго»?

Я — Ясон.
Я не пристану
в жизни к гавани чужой,
но несу на сердце рану
и надежду за душой.

Может быть, крыло Икара
где-то тяжесть обретет
и с небес на землю яро
милый аист упадет,

безоглядно, безнадежно
рухнет — оземь головой.
Мы найдем его, возможно,
раненый — зато живой!

На улице шел дождь

Дождик шел
тихий, печальный,

сердце
томилось
прощально,

бледные листья,
мутные слезы,
многое множество слез.

Кифаред [2] моря

Арион берет кифару,
нежно трогает струну —
звук подобием пожара
упадает на волну,

он колышется, трепещет,
достигает широты,
и дельфин под солнцем блещет,
вылетая из воды.

---

[1] Герой Эллады, предводитель похода аргонавтов. Когда в юности, пройдя воспитание у кентавров, Ясон спускался с гор в родной город, он потерял сандалию. Узурпатору Пелию, отнявшему у его отца царство, было предсказано опасаться человека в одной сандалии, и он послал Ясона в этот дальний поход.

[2] Древнегреческий музыкант, играющий на музыкальном инструменте кифаре.

Танцы света и печали —
всех чарующий мотив —
все вокруг перемешали,
людям память осветив
жарким светом Ариона.
Промелькнули времена,
опустился звук до стона,
смолкла дивная струна.

Но остались страсть и мука,
колыханье волн и свет,
и дельфин, и в память звука —
моря верный кифаред.

Жажда человека

Реки поток
пошел в исток —
сплошная круговерть.
Течет река,
текут века,
сквозь жизнь проходит смерть.

Река течет,
а кровь поет
рекой надежд во мне.
Один закон
путей времен:
я в жажде, как в огне.

Я жажду знать,
я жажду ждать
еды, питья, любви,
я жажду петь,
я жажду сметь
зажечь огонь в крови.

Горящий взор
глядит в упор
и жаждет, жаждет, жа...
пока идем, пока живем,
пока поет душа.

Воззвание

Борись за благо человека.
И пусть останешься один —
спокоен будь. Не одиноко
тому, кто выстоит в борьбе.

За свет, за благо человека!
Душа горит и жжет, как скат.
Перед одним и перед войском
стой одинаково в борьбе.

Стой против сильных и жестоких.
Стой против трусов и лжецов,
против душителя свободы,
против дрожащего раба.

С безжалостным лукавым богом,
с бесчеловечными людьми,
со знаменитостью, с безвестным,
с судьбой, то доброю, то злою,—
борись за благо человека.
Противоборствуй. Насмерть стой.

Эпиграф

Парням из Политехнического института, с юридического и других факультетов университета, которые боролись и погибли за свободу[1].

Чей стон, чей крик
и чье молчанье,
какой Эсхил,
Пиндар какой
расскажет песнею свободы
о жизни тех парней великих,
Политехнического детях?

Прометей

Сегодня
кто расправит плечи
пред Властью
и Насильем Зевса?

Кто
беспредельную жестокость
своей рукою пресечет?

Кто
вылечит земное тело,
безумный образумив мир?

Кто
по сигналу Прометея
призыв к подъему сочинит?

[1] Студенты Политехнического института и университета в Афинах в ноябре 1973 года выступили против диктатуры «черных полковников».

■ ■ ■

Оду Пиндара пел я когда-то:
«Земля — наша мать,
мы дети земли»...
Сегодня я слышу,
как матери плачут
о детях измученных,
об истощенных,
о медленной смерти младенцев.

Откуда же взяться элегиям в сердце?

Я стал говорить в Европейском совете,
что дети на свете
все сыты должны быть.
Слова мои стали решеньем совета.
Однако...
Однако
слова воплотила одна лишь бумага.

Каким же мне криком кричать тебе, век,
огнем обжигающее обвиненье:
— От голода дети земли умирают,
сегодня,
сейчас,
сию минуту!

■ ■ ■

Ветер воет в рваные паруса.
Озаряет молния темноту.
В бурном море смелых ведет гроза,
набирая дерзкую высоту.

Разлетится вдребезги твой компас,
смоют волны весла, сорвут планшир,
не сдавайся, близок желанный час,
и к ногам твоим мир положит — мир.

Все, что потеряется на пути,
на земле вернется, не в облаках —
светлячка достаточно, чтоб нести
факел олимпийский в своих руках.

■

ВАСИЛЬЕВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА

Советский поэт, прозаик, переводчик. Автор поэтических сборников «Льняная луна», «Огневица», «Поляна», «Русские имена», «Листва» и др., романа «Книга об Отце», сборников критических статей «Созвучия», книги художественно-документальной прозы «Альбион и тайна времени» о жизни современной Англии, книги художественных переводов «Зеркало». Стихи и проза Л. Васильевой переведены и изданы во многих странах.

ГОР ВИДАЛ

1876

РОМАН

Перевод с английского А. ФАЙНГАРА

От автора

Как и в романах «Бэрр» и «Вашингтон, округ Колумбия», я смешал реальных людей с вымышленными. Чарльз Скермерхорн Скайлер и его дочь Эмма вымышлены (хотя теперь Чарли кажется мне вполне реальным). Вымышлены также супруги Сэнфорды и омерзительный Уильям де ла Туш Клэнси. Читатели Генри Адамса, конечно, заметят воскрешение барона Якоби[1].

Все остальные персонажи существовали; они говорили и делали примерно то, что я заставил их говорить и делать. 1876 год был, вероятно, самой низкой точкой в истории нашей республики; знать кое-что о происходившем тогда, думаю я, нам очень полезно сейчас, потому что времена становятся снова не слишком утешительными.

Хотя я испытываю глубокое недоверие к авторам трилогий (к авторам тетралогий тем более), я написал именно трилогию. «Бэрр», «1876» и «Вашингтон, округ Колумбия» запечатлели последовательно историю Соединенных Штатов от Революции до... так сказать, начала Камелота[2]. Некоторые персонажи «Бэрра» появляются снова в «1876», в то время как «Вашингтон, округ Колумбия» рассказывает среди прочего о делах сына и внука супругов Сэнфорд.

Профессор Эрик Л. Маккитрик и Э. Маккитрик прочитали рукопись «1876», твердой рукой выправив неизбежные ошибки и анахронизмы. Я им очень признателен.

ГОР ВИДАЛ
15 августа 1975 г.

© Gore Vidal, 1976.

[1] Персонаж романа Генри Адамса «Демократия» (1880). *(Здесь и далее прим. перев.)*
[2] Место, где, согласно легенде, находился двор короля Артура. Эпохой Камелота слегка иронически именуется в американской публицистике период президентства Джона Ф. Кеннеди (1961—1963).

ГОР ВИДАЛ — GORE VIDAL (род. в 1925 г.)

Американский прозаик, драматург, эссеист. Автор многих романов, в их числе «Уилливо» («Williwo», 1946), «Юлиан» («Julian», 1964), «Сотворение мира» («Creation», 1981), «Дулут» («Duluth», 1983), тетралогии, запечатлевшей наиболее значительные периоды истории США «Вашингтон, округ Колумбия» («Washington D: C.», 1967; русский перевод — «ИЛ», 1968, № 11—12), «Бэрр» («Burr», 1973; «ИЛ», 1977, № 7—10), «1876» (1976), «Линкольн» («Lincoln», 1984). Перу Г. Видала принадлежит также пять сборников эссе на литературно-политические темы и несколько пьес, среди них наиболее известна пьеса «Самый достойный» («The Best Man», 1960).
Роман «1876» (New York, Random House) печатается в журнальном варианте.

Глава первая

1

— Вот он, Нью-Йорк.— Я показал дочери раскинувшийся перед нами порт, словно это был мой город. Корабли, баржи, паромы, четырехмачтовые шхуны, точно детские игрушки, суетились на фоне хаотического скопища зданий, совершенно неузнаваемых — смешение красного кирпича и песчаника, крашеного дерева и унылого гранита, церковных шпилей, которых не было раньше, и причудливых луковиц — цементных, что ли? Они годились бы скорее для украшения Золотого Рога, нежели моего родного города.— По крайне мере мне кажется, что это Нью-Йорк. А может быть, Бруклин. Говорят, будто нынешний Бруклин с его тысячью церквей на редкость экзотичен.

— Нет,— сказала Эмма.— Я только что от капитана. Это самый настоящий Нью-Йорк. И каким же старым, дряхлым он выглядит! — Меня радовало возбуждение Эммы. В последнее время у нас было немного поводов для веселья, и вот она снова как девочка — темные глаза, всевидящие, суровые и вопрошающие; я должен понять, что это такое и как это лучше использовать. Новизна и полезность ей ближе, чем красота. Я полная противоположность, мы с ней дополняем друг друга.

Я глубоко вдохнул соленый морской воздух, смешанный с дымами города, отапливаемого антрацитом, и с запахом только что выловленной рыбы, грудой серебряных слитков заполнившей проходящую мимо баржу.

— Старым? — До меня только сейчас долетел смысл ее слов.

— Но да.— Эмма говорит по-английски почти без акцента, но иногда дословно переводит с французского, выдавая свое иностранное происхождение. Впрочем, иностранец — это я, американец, большую часть жизни проживший в Европе, а Эмма до сих пор ни разу не покидала Старый Свет, где она родилась тридцать пять лет тому назад, в Италии, во время бури, вырвавшей с корнем половину деревьев в саду нашей виллы и так перепугавшей акушерку, что она чуть не задушила пуповиной новорожденную. Всякий раз, когда я вижу поваленные ветром деревья, слышу гром и смотрю на бушующее море, я вспоминаю тот декабрьский день и бледное лицо жены, столь контрастирующее с ярко-красным цветом ее крови.

(Мне кажется, что воспоминания в этаком непринужденном лирическом стиле отлично подойдут для «Атлантик мансли».)

— Да, старым. Закопченным.— Эмма поежилась от ветра.— Как Ливерпуль.

— Все порты одинаковы. И все же здесь нет ничего старого. Я ничего не узнаю. Даже муниципалитет — он должен быть там, где виднеется вон та мраморная гробница. Видишь? Вся в колоннах...

— Ты, наверное, просто забыл. Это было так давно.

— Я как Рип Ван Винкль[3].— Я уже представлял себе начало моего первого очерка для «Нью-Йорк геральд» (если, конечно, мне не удастся заинтересовать мистера Боннера из «Нью-Йорк леджер», который, я слышал, платит тысячу долларов за статью). «Новый Рип Ван Винкль, или Рассказ о том, как Чарльз Скермерхорн Скайлер отплыл в Европу почти полстолетия тому назад...» И жил там (в спячке?). Теперь он вернулся, чтобы отчитаться перед президентом Мартином Ван Бюреном[4], пославшим его за границу с дипломатической миссией,— показать свои путевые заметки другу юности Вашингтону Ирвингу (который, в конце концов, Рипа и выдумал), пообедать с поэтом Фицгрином Халлеком,— вернулся и с удивлением узнал, что все они, увы, давным-давно умерли.

Здесь пора остановиться.

Эти страницы — наброски, не более того. Повседневные впечатления от моей новой старой родины.

Заголовки: «Соединенные Штаты в год столетия», «Возвращение странника», «Старый Нью-Йорк: мемуары Никербокера»[5], «Воспоминания об эпохе Джексона[6] и Ван Бюрена...» Попробую заинтересовать ими издателей и лекционных агентов...

---

[3] Герой одноименной новеллы американского писателя Вашингтона Ирвинга; он проспал двадцать лет и, проснувшись, не узнал родную деревню.

[4] Мартин Ван Бюрен (1782—1862)— восьмой президент США (1837—1841).

[5] Никербокер — голландец *(англ. устар.)*, житель Нового Амстердама, голландского колониального городка, переименованного в Нью-Йорк в 1664 г. Слово приобрело популярность благодаря литературной мистификации В. Ирвинга «Истории Нью-Йорка», напечатанной как рукопись некоего Дидриха Никербокера.

[6] Эндрю Джексон (1767—1845)— седьмой президент США (1829—1837).

В данный момент — сейчас полночь четвертого декабря 1875 года — меня несколько смущает проблема: как воплотить в слове этот Новый Свет, с которым я пока знаком лишь на расстоянии. Разумеется, я могу до бесконечности писать о днях минувших, и, к счастью, если верить моему издателю мистеру Э. П. Даттону, такая продукция, предайся я воспоминаниям, будет иметь хороший сбыт. Однако подлинная задача — проникнуть в суть этой страны, какой она стала сегодня, с населением, в два, три или даже четыре раза превышающим то, что было в год моего отъезда, 1837-й. И только сейчас, обливаясь потом в гостиной нашего номера, куда внезапными порывами, напоминающими африканский сирокко, через металлические трубы вторгается сухой, раскаленный воздух, и размышляя над тем, что я успел увидеть сегодня в Нью-Йорке, я начинаю понимать масштаб того, что мне предстоит.

Никто из американцев, с которыми я встречался в Европе на протяжении последних сорока лет, не счел нужным подготовить меня к величию и вульгарности, изобилию и нищете, элегантности и чудовищному скоплению людей в этом городе, который остался в моей памяти небольшим морским портом со столь скромными претензиями, что дом мадам Джумел на Гарлемских, то есть уже давно не Гарлемских, а Вашингтонских, холмах считался особняком, а теперь целиком поместился бы в танцевальном зале любого из тех дворцов, которые строят себе богачи на улице, называющейся ныне Пятой авеню; в мое время то была проселочная дорога, петлявшая между фермами к северу от Поттерс-филд, позже переименованной в Пэрэйд-граунд, а еще позже — в Вашингтон-сквер, застроенную теперь «старыми» домами наследников нью-йоркской знати времен моей юности.

В те дни горожане жили в южной части острова Манхэттен, между Бэттери и Бродвеем, где теперь властвует коммерция или кое-что похуже. Я вспоминаю, что площадь Св. Марка была по существу северной окраиной, жить дальше которой никому и в голову не пришло бы. Теперь, рассказывают, некая богатая особа построила себе дворец кремового цвета во французском стиле на Пятьдесят седьмой (!) улице напротив только что законченного Центрального парка (как, спрашивается, можно «закончить» парк?).

К Эмме подбежал запыхавшийся стюард:

— C'est un monsieur, il est arrivé pour Madame la Princesse [7].

Все в один голос уверяли нас, что из судов, пересекающих Атлантику, самые комфортабельные — французские; «Перейра» не обманула наших ожиданий, несмотря на зимние штормы, сопровождавшие нас половину пути от Гавра. Капитан был сама любезность; он находился под впечатлением высокого титула Эммы, хотя титул этот наполеоновский, а Вторая французская империя сменилась Третьей французской республикой. Тем не менее капитан предоставил нам поистине королевские каюты всего за 150 долларов (обычная цена двух билетов первого класса — 200 долларов).

Наши попутчики были столь угрюмы и ненавязчивы, что я сумел за восемь с половиной дней путешествия закончить статью для «Харперс мансли». «Императрица Евгения[8] в ссылке» слеплена из фактов, которые сообщила мне моя обожаемая подруга, принцесса Матильда[9], разумеется ненавидящая свою кузину — императрицу. В соответствии с современным американским вкусом статья исполнена патетики, по большей части ложной.

Императрица всегда была очень добра к Эмме и ко мне, хотя и позволила себе однажды бестактность в моем присутствии, сказав, что в обществе литераторов ей так же скучно, как в обществе первооткрывателей. Что ж, писатель — тот же первооткрыватель. Мы тоже заняты поисками древних городов, редкостных животных и никем не написанных фраз.

Оказалось, что Эмму спрашивал Джон Дэй Эпгар. Он ждал нас в главном салоне.

— Княгиня! — Эпгар низко склонился над ее рукой; для американца у него неплохие манеры. Все-таки недаром Джон провел год в нашем посольстве в Париже. Теперь у него в Нью-Йорке адвокатская практика.

— Мистер Эпгар, вы верны своему слову.— Эмма обратила на него прямой взгляд

---

[7] Какой-то господин спрашивает княгиню *(франц.)*.

[8] Императрица Евгения (1826—1920)— супруга Наполеона III. После капитуляции французов под Седаном (1870) и падения империи бежала в Англию, где жила в изгнании.

[9] Принцесса Матильда (1820—1904)— дочь Жерома, младшего брата Наполеона Бонапарта. В ее салоне в годы Второй империи (1852—1870) бывали выдающиеся деятели французской культуры.

своих темных глаз, быть может не столь пронзительный, как тот, что был брошен на Нью-Йорк,— ведь Джон, в отличие от города, ей довольно хорошо знаком.

— Карета ждет вас у пятидесятого причала. С носильщиками. Простите, мистер Скайлер.— Джон поклонился мне, мы пожали друг другу руки.

— Как вы попали на борт? — полюбопытствовал я.— Разве мы уже причалили?

— На специальном катере. С целой оравой, которая вас встречает.

— Меня? — Я был искренне удивлен. Я телеграфировал Джейми Беннету в редакцию «Геральд», что прибываю четвертого, но вовсе не рассчитывал, что этот лентяй явится ко мне с визитом на середину Гудзона. Кто же еще узнал о моем приезде?

Капитан все нам объяснил:

— Американские журналисты поднялись на борт, чтобы взять интервью у мистера Скайлера.

— Невероятно! — Эмма невысокого мнения о журналистах, несмотря на то, что средства к существованию отныне мне предстоит зарабатывать пером — статьями для газет, журналов, для кого и чего угодно. Биржевая паника 1873 года уничтожила весь мой капитал. Но что еще хуже, муж Эммы оставил ее в таком же положении. Он не нашел ничего лучшего, как умереть пять лет назад, пытаясь проглотить кусок Tournedos Rossini [10] в ресторане «Лукас Картон». Был ли это сердечный приступ или кусок говядины попал в дыхательное горло, мы никогда не узнаем, потому что не присутствовали при том, как князь д'Агрижентский скоропалительно покинул этот мир во время позднего ужина с любовницей. Это был настоящий скандал, который накануне войны с Пруссией целых три дня занимал весь Париж. Вскоре у парижан появилась другая тема для разговоров. У нас — нет. До сих пор мы не в силах понять, как случилось, что князь умер, задолжав состояние, которым, казалось нам, он владел.

С несколько сомнительной камергерской помпезностью капитан провел нас через салон в небольшую гостиную, обставленную á la Louis Quinze [11], где меня поджидала молодая нью-йоркская пресса. Иными словами, малоопытные журналисты, чья функция — встречать на борту знаменитостей, чтобы с мучениями и ошибками (второго, как правило, больше, чем первого) осваивать искусство интервьюирования или бойкого лжеописания этой особой людской породы.

Двадцать или тридцать фигур в длинных и весьма потрепанных пальто; одни — распахнутые из-за тепла в гостиной, другие — наглухо застегнутые от морозного ветра в это утро. Сегодня нам чуть ли не сто раз сказали, что такой холодной зимы старожилы не припомнят. Но разве то же самое не говорят про любую зиму?

Капитан представил меня журналистам — он явно доволен тем, как быстро и, пожалуй, даже эффектно окупается сделанная нам скидка. Я воспел пароходную кухню и пышно восславил удобства французской пароходной компании.

Пока на меня сыпались вопросы, некий близорукий художник набрасывал мой портрет. Я успел кинуть взгляд на одно из своих изображений, когда он переворачивал страницу блокнота: невысокий, гучный, похожий на раскормленного голубя мужчина с тремя подбородками, уложенными поверх неестественно высокого воротника (у меня нормальный воротник), со вздернутым, разумеется, носом и квадратной челюстью уже немолодого голландца. Боже! К чему иносказания? Старик шестидесяти двух лет.

Худышка из «Нью-Йорк геральд». Вялый юнец из «Нью-Йорк грэфик». Мрачный карлик из «Нью-Йорк таймс». «Сан», «Мейл», «Уорлд», «Ивнинг пост», «Трибюн» тоже здесь, но пока не представились. И еще полдюжины молокососов из еженедельников, двухнедельников, ежемесячников, двухмесячников... О, Нью-Йорк, Соединенные Штаты — это Валгалла [12] журналистики, если только Валгалла подходящее слово. В Соединенных Штатах больше процветающих газет и журналов, чем во всей Европе. Вот и получилось, что писатели выходят из мира журналистики, так никогда его полностью не покидая...

— Мистер Скайлер, каковы ваши впечатления о Соединенных Штатах? — Карлик из «Нью-Йорк таймс» держал свой блокнот перед глазами, как молитвенник, и смотрел в него, а не на меня.

---

[10] Говяжья вырезка с гусиной печенкой и трюфелями.

[11] В стиле Людовика XV *(франц.)*.

[12] Валгалла (Вальхалла)— в скандинавской мифологии чертог мертвых.

— Я узнаю это, когда сойду на берег.— Довольные смешки из толпы людей, одетых в пальто, начавших издавать специфический запах грязной и сырой шерсти.

Эмма стояла у двери, прижав к лицу носовой платок, в любую минуту готовая обратиться в бегство. А вот Джон Эпгар был, похоже, зачарован этим четвертым сословием во всем его неопрятном великолепии.

— Когда вы в последний раз были в Америке? — «Уорлд» словно бросила вызов: разве это дело — жить вне богоизбранной страны?

— Я уехал в тысяча восемьсот тридцать седьмом году. В тот год все обанкротились. Вот я вернулся, и все снова обанкротились. Не находите ли вы, что тут есть какая-то симметрия?

Это сошло довольно хорошо. Но почему я уехал?

— Потому что президент Ван Бюрен назначил меня вице-консулом в Антверпене...

Мне казалось, что это произведет впечатление, однако я ошибался. Американцы всегда жили настоящим, и нынешнее поколение ничем не отличается от моего, если не считать того, что теперь у них больше прошлого для забвения.

Когда я уехал, наша республика (вскоре она отметит свой столетний юбилей) была в жизнерадостном шестидесятилетнем возрасте; теперь это мой возраст.

Хотя моя жизнь охватывает почти две трети истории Соединенных Штатов, она представляется мне мгновением. Вот почему столь любопытны первые впечатления Эммы от Нью-Йорка: каким старым он выглядит, сказала она. А ведь, пожалуй, со времен моей юности тут ни одного дома не уцелело. Отвечая на вопросы репортеров, я разглядел через иллюминатор — скорее амбразуру — знакомый шпиль церкви св. Троицы. Хоть одну достопримечательность старого города пощадили многочисленные пожары.

(Более поздняя приписка: мой «знакомый шпиль», если верить Джону Эпгару, был снесен в 1839 году. Новый, незнакомый, относится к началу сороковых.)

Вопросы сыпались один за другим. Ответы мои были колкими, но в меру — приходилось тактично оправдывать столь долгое отсутствие. И если газетные отчеты о моем возвращении будут благожелательными, я с легкостью, надеюсь, найду лекционных агентов, не говоря уже о журнальных заказах — лишь бы только платили!

— Где вы жили все это время, сэр?

— Последние несколько лет — в Париже. Я приехал туда...

— Вы были в Париже во время войны и германского нашествия?

Я старался держаться любезно, скромно, но свободно.

— О да. Знаете, я даже написал об этом книгу. Быть может, вы о ней слышали — «Париж под Коммуной».

Или мои издатели преувеличили успех книги, или же репортеры не читают ни книг, ни рецензий. А ведь в «Харперс уикли» «Париж под Коммуной» охарактеризован как «великолепный, леденящий душу рассказ очевидца об осаде Парижа и рождении Коммуны, отмеченный редким даром наблюдательности, столь свойственным всему, что выходит из-под пера Чарльза Скермерхорна Скайлера». Я запомнил эту цитату дословно, потому что до тех пор мне казалось, что из-под моего пера не выходит ничего, кроме скрипа.

Репортер из «Сан» с явным самодовольством спросил:

— А сами вы, сэр, случайно не коммунист?

— О нет, молодой человек. Я простой американец.

— Тогда почему же вы так долго жили за границей? — вопрос газеты «Грэфик».

— Когда я был американским консулом в Италии, я женился на уроженке Швейцарии...

— Это она? — Карлик метнул поверх молитвенника взгляд на Эмму, точнее, направил сей предмет на нее, будто чертенок-посыльный, вручающий грешнику судебную повестку в ад.

— Моя жена умерла. Она скончалась в Париже несколько лет назад. Она...

— Как вас зовут, мисс? — вопрос «Уорлд», обращенный к Эмме.

— Je ne comprends pas, monsieur[13].— Ее лицо побледнело, а губы вытянулись в прямую раздраженную линию. Французская фраза прозвучала как удар хлыста.

— Моя дочь — княгиня д'Агрижентская.— Это вызвало настоящее замешательство репортеров, пытавшихся точно записать титул.— Она вдова...— принялся я объяснять.

[13] Я не понимаю, месье *(франц.)*.

— А чем занимался князь? — полюбопытствовала «Экспресс».

Эмма перешла на английский и явно собиралась надерзить, но я успел жестом остановить ее. Джон смотрел на нас завороженно: спектакль становился забавным.

— У князя были широкие интересы. Его отец, вы это, конечно, знаете, был маршалом Франции, служил при Наполеоне. Титул ему пожаловали в Италии. После Ватерлоо, когда Наполеон потерпел поражение...— Слишком много подробностей сразу. Репортеры нетерпеливо дали понять, что они знают о битве при Ватерлоо.

— У вас есть дети, княгиня?

— Двое,— ответил я быстро.— В Париже. У бабушки, вдовствующей княгини.

— Собираетесь ли вы писать о том, как изменился Нью-Йорк с того времени, когда вы здесь жили? — Этот вопрос задал милый худощавый человек из «Геральд», где меня знают как «ценного автора».

— Конечно. Я мечтаю поездить по Штатам. На восток и на запад, на юг и на север. Я хочу побывать на филадельфийской выставке, посвященной Столетию, и написать о ней...

— Для «Геральд»? — Снова этот милейший молодой человек.

— Разумеется.— Я отвечаю ему любезностью, но не искренностью, потому что собираюсь писать туда, где больше платят.

— Вы не родственник миссис Астор?

Это был на удивление странный вопрос.

— Конечно, нет! — Боюсь, что я ответил на него с излишней горячностью.

Загадка быстро разрешилась: оказывается, девичья фамилия миссис Астор та же, что у моей матери — Скермерхорн, а я об этом ничего не знал, хотя еще в Париже очарованные и зачарованные странники рассказывали нам о пышности ее приемов, о великолепии светского общества, которым она верховодит, затмив свою невестку, супругу Джона Джекоба Астора-третьего [14], стоящую выше ее хотя бы по праву первородства, поскольку Дж. Дж. Астор-третий — старший сын, а следовательно, и глава семьи.

Вопросы о моих книгах, немногочисленные. Судя по прессе, я известный в Америке писатель, но эта демисезонная братия имеет довольно туманное представление о том, чем именно я известен. С другой стороны, они все знают мои журналистские опусы, не только то, что я писал для «Геральд» Джеймси Беннета, но и для «Ивнинг пост», где началась моя литературная карьера. Я неувядаемый авторитет нью-йоркской прессы по европейским делам.

Политика. Когда имеешь дело с американцами, она всегда вылезает наружу.

Что я думаю о недавнем аресте и тюремном заключении «босса» Твида, укравшего у города Нью-Йорка миллионы долларов во время строительства нового роскошного здания городского суда?

Я благочестиво осудил коррупцию.

Что я думаю о генерале Гранте, чей второй срок на посту президента заканчивается через год?

Я отвечал осторожно. Коррупция, поразившая администрацию генерала Гранта, больно задела меня лично. Моим капиталом распоряжался банкирский дом Джея Кука, обанкротившийся осенью 1873 года, это вызвало панику, последствия которой до сих пор при нас — в отличие от моего капитала.

Несколько уолл-стритовских бандитов, и среди них Джей Гулд и Джим Фиск,— как хорошо я запомнил их имена!— скупая золото, вызвали тысячи банкротств. Был ли в этом замешан сам генерал Грант — вопрос спорный. Известно, конечно, что он принимал щедрые подарки от людей типа Гулда и Фиска. Если Грант и не преступник, то уж болван наверняка. Но республиканская партия его выгораживает, и превозносит, и страшится его ухода даже теперь, после двух сроков пребывания в Белом доме.

— Полагаете ли вы, что генерал Грант выставит свою кандидатуру на третий срок? — спросила «Таймс», газета, особо преданная администрации Гранта.

— Трудно сказать, я никогда не встречался с генералом. Но...— Тут я осторожно приступил к созиданию если не богатства, то по крайней мере местечка для себя, где

[14] Джон Джекоб Астор-третий (1822—1890)— американский финансист, внук Дж. Дж. Астора-первого (1763—1848), торговца мехами и земельного спекулянта, создавшего крупнейшее личное состояние в США.

я смогу прожить оставшиеся мне несколько лет без страха перед нуждой.— Но,— повторил я,— вы, наверное, знаете, что я демократ старой закваски, сторонник Джексона и Ван Бюрена...— Это пробудило некоторый интерес. Я ощутил явную холодность со стороны репортеров, представляющих прессу республиканцев (пожалуй, их большинство), и нескрываемую симпатию остальных.

— Вы сторонник выдвижения кандидатуры губернатора Тилдена от демократической партии?

Сторонник! Все мои надежды покоятся на том, что этот хрупкий человечек в будущем году станет президентом.

— Едва ли мне известно о нью-йоркских делах столько, сколько вам, джентльмены, но я знаю, что, разоблачив шайку Твида, Тилден завоевал симпатии честных людей штата Нью-Йорк и они в прошлом году выбрали его губернатором. Он положил конец обиранию бедных богатыми...

— В ваших словах ощущается коммунистический привкус, сэр.— Это, конечно, «Таймс».

— По-вашему, честность и коммунизм — одно и то же? — Этим я заслужил аплодисменты. Удивительно, до чего забеспокоились мокрые пальто при одном только упоминании коммунизма. Очевидно, парижское восстание сильно напугало нью-йоркских обывателей; конечно, напугало оно и нас, парижан, когда после ухода немцев городом завладели коммунары; однако еще страшнее оказалась месть буржуа, которые истребили многие тысячи коммунаров. На моих глазах на улице Мон Руж убили пятилетнего ребенка. Впрочем, мировая революция, начавшаяся в 1848 году, еще не кончилась.

В этот момент я поднял свой штандарт:

— Когда я в позапрошлом году последний раз видел Тилдена в Женеве...

Возбуждение, которое я хотел вызвать, стало вполне ощутимым: мокрые пальто прямо-таки исходили паром.

— Вы друг губернатора?

— Едва ли это точное слово. Но мы с ним переписываемся. Нас познакомил мистер Галлатин, который живет в Женеве.

Я терпеливо произнес фамилию по буквам, объяснив, что отец Галлатина был министром финансов при президенте Джефферсоне.

— Я нахожусь под огромным впечатлением от личности губернатора Тилдена, его способности проникать в существо любой проблемы, с которой ему приходится сталкиваться.

Это достаточно близко к истине. Сэмюел Дж. Тилден и в самом деле необычайно умный, хотя в чем-то ограниченный человек и, будучи натурой холодной и суховатой, отнюдь не лишен обаяния.

В течение недели мы обедали почти каждый день на террасе отеля, откуда открывается вид на озеро Леман. Иногда к нам присоединялся Галлатин, чей сочный европейский реализм зачастую оказывался чересчур экстравагантным для суровой пуританской натуры С. Дж. Тилдена.

Однажды Тилден вдруг стал нам подробно рассказывать, как он изобличил Твида и его банду, в которой были губернаторы, судьи, мэры, олдермены. Когда Тилден заговорил, его бледное лицо старичка-ребенка раскраснелось, а в серых унылых глазах внезапно отразилась голубизна озера; на миг возбуждение сделало его почти красивым.

Галлатин и я (и еще несколько слушателей) с изумлением внимали его слабому, но завораживающему голосу. В его словах нас, европейцев — я стал одним из них за эти годы,— задела нотка специфического американского лицемерия. «Подумать только,— сказал он Галлатину,— во что превратилась наша страна со времен вашего отца! Со времен Джефферсона!» Галлатин изумился: «Но ведь все изменилось к лучшему, мистер Тилден. Страна стала такой большой и богатой...— Разговор происходил за несколько недель до биржевой паники.— Страну пересекли железные дороги. Построены колоссальные фабрики. Из бедной старой Европы хлынула дешевая рабочая сила. Америка превратилась в Эльдорадо, а ведь во времена моего отца это была страна непутевых фермеров».— «Вы меня неправильно поняли, мистер Галлатин.— На болезненно-бледных щеках Тилдена проступили кирпичные пятна.— Я имею в виду коррупцию. Продажных судей. Выборных лиц, присваивающих народные деньги. Газеты, которые покупаются,— покупаются политическими боссами. Даже «Пост».— Тилден мрачно кивнул в мою сторону, зная, что я часто писал для этой газеты.—

Даже «Пост» получила кругленькую сумму от Твида. Вот что я имею в виду, говоря о переменах в нашей стране,— культ золотого тельца, всемогущего доллара, всю эту ужасающую продажность».

Я знал тогда Тилдена всего неделю, и в его словах мне слышалась едва ли не страсть. А вообще-то он был холоден, как рыба.

Черные брови Галлатина взметнулись в лицемерном изумлении: «Знаете, мистер Тилден, я много говорил с отцом о ранних днях республики... и я не хотел бы вам противоречить, но то, что вы описали, всегда было нашим правилом. И уж конечно, в Нью-Йорке мы постоянно давали друг другу взятки и, когда подвертывалась возможность, присваивали общественные деньги».

Был ли Тилден шокирован? Как опытный адвокат, он умел вовремя приостановить защиту, когда противная сторона предъявляла неожиданные улики. Красные пятна исчезли с его щек. Он добавил немного воды в бокал с превосходным рейнским вином. Я заметил, что у него, как и у меня, дрожат руки.

«Но согласитесь, мистер Галлатин, все изменилось, когда президентом был избран основатель нашей партии Томас Джефферсон».— «Ничего никогда не меняется, мистер Тилден. Люди остаются людьми».

Если меня не обманывает память, именно в этот момент Тилдену принесли письмо, в котором сообщалось о выдвижении его кандидатуры в губернаторы штата Нью-Йорк.

«У меня нет намерения баллотироваться в губернаторы»,— решительно повторял Тилден, стоя у подъезда гостиницы среди чемоданов в окружении своих спутников, носильщиков и кучеров. «Вы обязаны! — воскликнул я.— Если не для народа, то хотя бы ради нашего друга Джона Биглоу».

Эти слова вызвали на его лице некое подобие улыбки. Джон Биглоу, вероятно, единственный друг Тилдена. В тридцатые годы мы все трое были начинающими нью-йоркскими адвокатами.

Ультрареспубликанская «Таймс» стремилась узнать побольше о моих связях с Тилденом.

— Пока и говорить-то не о чем,— ответил я честно. Но я молю бога, чтобы в ближайшее время нынешние непрочные связи превратились в самые крепкие узы.— По его просьбе я время от времени писал ему о международных делах.— Это вполне соответствует истине. Не могу сказать, чтобы он определенно просил меня об этом, но проявлял к моим докладам неизменный интерес, особенно в последние шесть месяцев, когда всем стало ясно, что он будет не только кандидатом в президенты от демократической партии в 1876 году, но и президентом,— конечно, если Грант не станет добиваться переизбрания на третий срок [15].

Неожиданный глухой удар, подобный толчку землетрясения, прервал мои разглагольствования: «Перейра» причалила. Демисезонные пальто мигом куда-то улетучились. Отвращение Эммы было столь же очевидным, как и благоговение Джона Эдгара.

Я взял Эмму за руку:

— C'est necessaire, petite[16].

— Comme tu veux, Papa[17].

Из этических соображений я с Эммой не вполне откровенен. У нее нет настоящего опыта борьбы за существование, которую приходится вести почти всем людям, и я хотел бы оставить ее в счастливом неведении. У моей жены было небольшое состояние и фамильный schloss [18] в Унтервальдене в Швейцарии. Когда и то и другое после ее смерти стало для нас недоступным, Эмма удачно (как мне казалось) вышла замуж за Анри д'Агрижентского, и в течение десяти с лишним лет они благоденствовали, обрастая долгами в доме князя на Бульваре де Курсель.

Я тем временем неплохо зарабатывал своим пером и мог обеспечить некоторый комфорт для полутора человек (половина — любовница с квартирой в приличном районе). Затем посыпались удары: падение Парижа, смерть Анри, банкротство Джея Кука и мое разорение.

Теперь придется изворачиваться. Но Эмма (по возможности) не должна видеть,

---

[15] Двадцать вторая поправка к конституции США, ограничившая время пребывания президента в должности двумя четырехлетними сроками, была принята в 1951 г.

[16] Это необходимо. крошка *(франц.)*.

[17] Тебе виднее, папа *(франц.)*.

[18] Замок *(нем.)*.

как ее старый отец — некогда литературная курочка, несущая золотые яйца,— бегает в поисках заказов по тем самым улицам, по которым он раньше триумфально разъезжал в каретах. Это печальное зрелище не для нее.

Ну, довольно жалеть самого себя. Жизнь — штука нелегкая. Скверно лишь то, что я не молод. В тридцать лет я бы не испытывал страха. Я завоевал бы Нью-Йорк за неделю, как Тамерлан.

2

Экипаж Джона Дэя Эпгара, а также причудливый вагончик с золотой эмблемой отеля «Пятая авеню» ждали нас на набережной. «Для вашего багажа, сэр»,— объяснил возница, пожилой ирландец.

Среди самых разнообразных сведений, полученных мною за последние несколько часов, есть такие факты: более половины миллионного населения Нью-Йорка составляют иностранцы. Большинство (как и в мое время) из Ирландии и Германии. Непрерывно растет число выходцев из других стран. Огромные районы центральной части острова заселены итальянцами, поляками, евреями, греками, а некогда прелестные улицы Мотт и Пелл теперь целиком заняты китайцами! Мне не терпится начать исследование Нового Света, похожего скорее на город из сказок «Тысяча и одна ночь», чем на степенный англо-голландский городок, скорее даже поселок времен моей юности.

Когда экипаж свернул с набережной на Ортон-стрит, Джон Эпгар обратил наше внимание на оборванных нищих с протянутой рукой.

— Мы стали чем-то вроде европейской богадельни,— сказал он с заученной горечью, повторяя, как мне показалось, не раз слышанную и произнесенную фразу.

Я думаю, что коренных ньюйоркцев должны раздражать эти вновь прибывающие толпы, тем более теперь, когда после кризиса 1873 года стало трудно находить работу и люди вынуждены заниматься уголовщиной — чем же еще? И все же для старых ньюйоркцев с деньгами постоянный приток дешевой рабочей силы — редкая удача. Отличного повара можно нанять за восемнадцать долларов в месяц, гувернантку — за двенадцать. Мы с Эммой даже поспорили о том, не нанять ли ей служанку. Вероятно, мы единственные обитатели отеля «Пятая авеню», не имеющие личной прислуги.

Во время поездки от набережной до гостиницы я чувствовал себя Рипом ван Винклем. Мне уже не хватает слов, но надо следить за собой, чтобы не злоупотреблять этим затасканным сравнением.

Я попросил возницу провести нас на знаменитую Пятую авеню через Вашингтон-сквер.

— Уверен, вы поразитесь, так изменилась эта улица.— Джон отменно вежлив, но способность изрекать банальности делает его не лучшим собеседником. А зятем? Что ж, возможно.

Юридическая контора братьев Эпгар на Чемберс-стрит процветает. Однако, как я с огорчением узнал еще прошлым летом в Париже, их девять, и Джон всего лишь третий сын третьего брата. Мне кажется, Эмма относится к нему так же, как и я, но мы почти на все смотрим одинаково, а следовательно, многое понятно без слов, и мы можем не затрагивать в разговорах столь деликатную тему.

Яркое солнце выявляло мельчайшие детали нового города, но не приносило тепла. Эмма, также завороженная зрелищем, дрожала даже под меховой накидкой.

Повсюду бесчисленные экипажи — ландо, двухместные коляски, телеги, ярко раскрашенные вагончики на конной тяге, не говоря уже о других, еще более ужасных видах транспорта: когда мы пересекали Шестую авеню по Корнелия-стрит, у меня дух захватило, а Эмма завизжала — над нашими головами со скоростью тридцать миль в час с оглушительным грохотом промчались вагончики, приводимые в движение паровым двигателем!

Лошади шарахнулись в сторону, заржали, возница выругался. Сверху, с надземной железной дороги, посыпалась сажа. Эмма сидела с перепачканной щекой. Счастье еще, что мы не загорелись от ярких угольков, которые, точно миниатюрные кометы, сыпались из трубы локомотива.

— Господи! — Эмма поднесла к щеке платок, даже не попытавшись выразиться более изысканно в присутствии Джона Дэя Эпгара, которого наше замешательство изрядно смутило.

— Простите, я должен был вас предупредить. Такого ведь нет нигде в мире?

— К счастью.— Эмма разрумянилась и выглядела очень молодо — испуг и холодный ветер пошли ей на пользу.

Я не повторил уже обычный для меня рефрен: как все изменилось. Ведь в мое время (а было ли время когда-нибудь моим?) Шестой авеню называлась сельская дорога, соединявшая отдельные фермы и пересекавшая глухие болота, где однажды мы с отцом охотились на уток.

Когда мы повернули к парку, я поклялся, что не буду больше поминать прошлое — разве что в печати, за деньги. Нечего на нем задерживаться. Современность столь заманчива, а времени у меня осталось так мало, что его надлежит использовать с толком. В данный момент мне кажется: ничто не сможет нас остановить, если только я не умру от жары.

Жар пышет из труб, от горящих углей в облицованном мрамором камине. Безуспешно попытался открыть окно в гостиной. Я просто задыхаюсь без воздуха. Но я уже в пижаме и не хочу вызывать коридорного. Эмма спит у себя в комнате.

Две спальни, гостиная и — заметьте — отдельная ванная стоят тридцать долларов в день. Сюда же, разумеется, входит завтрак, ленч и обед, а еще за два с половиной доллара можно поужинать. Но даже при таких расходах у нас через три месяца не останется ни цента.

Любопытно, что при одной мысли о деньгах — точнее, об их отсутствии — у меня удваивается частота пульса.

Я только что принял опиат, сильное снотворное, приготовленное для меня в Париже. И теперь я пишу и грежу, не зная уже, что реально, а что нет.

Парк на Вашингтон-сквер по-своему красив, как и лондонский Грин-парк; вокруг удобные дома, одинаковые и навевающие тоску, как новые американские романы. Вообще к монотонности архитектуры даже лучших районов города привыкаешь не сразу.

Парк остался позади, и мы начали подниматься по Пятой авеню — не столь широкому, как Елисейские поля, но весьма приятному бульвару, обсаженному высоким китайским ясенем. И почти вдоль всего бульвара те же мрачные дома из унылого песчаника.

— Скажите, все ваши дома похожи один на другой? — Эмму, как видно, знаменитая Пятая авеню отнюдь не очаровала.

— Они ужасны, правда? — Год, проведенный Джоном в Париже, научил его воспринимать критически то, чем он гордился, когда мы с ним только познакомились.

— Просто не слишком... привлекательны,— улыбнулась Эмма.— Хотя наверняка очень удобны.

Центром города ныне стала Мэдисон-сквер, и, должен признаться, вид ее приносит заметное облегчение после Пятой авеню, которую мы только что оставили позади.

На площадь выезжаешь там, где Бродвей пересекает Пятую авеню, и в ту же минуту бросается в глаза отель «Пятая авеню», шестиэтажный беломраморный дворец, занимающий целый квартал между Двадцать третьей и Двадцать четвертой улицами. Полуколонны мраморного фасада смотрят на парк в центре Мэдисон-сквер; парк, вероятно, очень красив летом, но сейчас голые деревья похожи на вилы, воткнутые черенками в землю и устремленные в серо-стальное небо.

Но... вечно это «но», когда речь идет об американской жизни. Между отелем и парком протянулась широкая, ничем не примечательная улица. Видно, что делались кое-какие попытки замостить отдельные ее участки. Асфальт, булыжник, брусчатка сменяют друг друга без всякого плана, тут и там торчат высокие телеграфные столбы с натянутыми между ними проводами. Непрерывно передаваемые по медной проволоке сообщения правят этим миром чистогана: покупайте хлопок, продавайте золото, делайте деньги. Впрочем, я не из тех, кого это коробит. Иначе зачем я здесь?

Джон заверил нас, что дальше, к северу от Мэдисон-сквер, на Пятьдесят второй улице возводятся особняки в европейском стиле.

— А еще дальше, на Пятьдесят седьмой улице, миссис Мэри Мэйсон Джонс построила себе французскую виллу. Совершенно необычайное зрелище! Стоит себе одиноко посреди пустыря, а вокруг ничего, кроме нескольких салунов, хижин поселенцев и коз.

Несмотря на строгие запреты, козы — повсюду, они вторгаются даже в пределы элегантной Мэдисон-сквер. Эмма зачарованно смотрела, как полицейский атаковал пол-

дюжины грязных коз в северном углу площади: они обосновались прямо перед перестраивающимся зданием ресторана семьи Дельмонико, который скоро откроется.

У входа в отель нас встретил управляющий, двоюродный брат покойного Пэрена Стивенса; вдова Стивенса знаменита своими воскресными приемами, на которых бывают все, кроме вышеупомянутой Мэри Мэйсон Джонс.

Двоюродный брат Стивенса был сама любезность:

— Великая честь, сэр, принять вас и прекрасную княгиню.

Нас торжественно провели в холл отеля, уставленный кадушками с высокими пальмами и мясистыми каучуковыми деревьями — джунгли, вместившиеся между мраморными стенами и тяжелыми красными портьерами, пропитанными адским запахом сигарного дыма, антрацита и крепких духов, ими пользуются многочисленные дамы, не вполне, полагаю, ухоженные, они прогуливаются здесь парочками или под руку с джентльменами — только что встреченными? Неспособность отличить проститутку от светской дамы — первый признак долгого отсутствия. Юношей я всегда знал это точно.

Я зарегистрировался, не без удовольствия ощущая, что мы оказались в центре внимания. Очевидно, я более известен, чем об этом можно было судить по реакции демисезонных пальто. Всеобщее возбуждение вызывает и то, что меня сопровождает bona fide [19] княгиня. Американцев безумно волнуют титулы и звания. И в самом деле, после войны между северными и южными штатами я не встретил еще ни одного американца соответствующего возраста, который не представился бы как полковник или коммодор. Я беспрестанно повышаю их в звании, величая генералами и адмиралами, они пыжатся и не поправляют меня.

Двоюродный брат Стивенса — но простите, он тоже полковник — сказал, что хочет лично проводить нас в наш номер на шестом этаже.

— Мы воспользуемся,— сказал он,— вертикальной железной дорогой.

Когда мы достигли середины холла, с нами церемонно раскланялся франтоватый человек лет пятидесяти с надушенными (и крашеными?) бакенбардами.

— Позвольте представиться, княгиня. Мы встречались с вами на крещении prince Imperial[20].

У него был южный выговор, смягченный специфически английскими интонациями; по-французски он говорил чудовищно, но уверенно.

Эмма держалась любезно, я тоже. Он назвал свое имя, но ни Эмма, ни я его не расслышали. После этого он исчез. Тут же нас остановил какой-то нервный молодой человек; покосившись на полковника, бросившего на него неодобрительный взгляд, он всучил мне свою карточку.

— Я от Рицмана, сэр. Мы хотели бы, сэр... Вас и княгиню тоже, сэр. Если вы не возражаете, сэр.— И сразу исчез.

— Что хочет сделать с нами мистер Рицман? — весело спросила Эмма.

— Сфотографировать.— Полковник остановился у загадочной железной решетчатой двери, похоже запертой. Мы тоже остановились.— У него ателье на другой стороне площади. Рицман фотографирует всех значительных персон.

— А что он делает с фотографиями? — поинтересовалась Эмма.

— Он ими торгует. Огромный спрос на портреты княгинь... и знаменитых писателей,— добавил он быстро, и в этот момент решетчатая дверь распахнулась, перед нами оказалось небольшое обшитое деревом помещение; человек в форменной одежде манипулнровал загадочными рычагами и колесами. По настоянию полковника мы вошли в этот стенной шкаф. Дверь закрылась за нами, и мы поднялись в воздух.

Эмма была в восторге, а меня, сознаюсь, немного мутило, не столько от подъема, сколько от того, что, в соответствии с законом тяготения, тело стремится вниз, а желудок в это время почему-то движется в прямо противоположном направлении.

Наш номер просторный, элегантно меблированный, повсюду цветы — их столько, что большую часть вечера у меня раскалывалась голова как от жары, так и от запаха тубероз. Отдельная ванная — роскошь, неизвестная в гостиницах Европы, но это и в Нью-Йорке тоже редкость.

На столике перед мраморным камином — пачка писем и телеграмм. Мне не терпелось их распечатать, но вежливость требовала, чтобы я дал возможность полковнику продемонстрировать многочисленные удобства номера, в том числе кальциевые лампы,

[19] Настоящая *(лат.)*.
[20] Императорского наследника *(франц.)*.

делающие все вокруг мертвенно-бледным, но весьма облегчающие чтение таким, как я, у кого зреет катаракта.

Продемонстрировав таинственные говорящие трубы, соединяющие номер с недрами отеля, где находятся слуги и горничные, полковник удалился.

— Ну, вот мы и приехали.— Эмма подошла к окну и посмотрела на площадь, кишащую омнибусами, экипажами, телеграфными столбами и козами (сейчас их прогнали на Восточную Двадцать четвертую улицу).

Чувствуя себя по-прежнему как на палубе — казалось, пол ходит подо мной ходуном,— я сел у камина и начал читать телеграммы, а Джон тем временем комментировал Эмме вид, открывающийся из наших окон.

— Вот там виднеется «Юнион-клуб». Очень приятное здание. Мы все состоим его членами,— сказал Джон. Очевидно, Эпгары ходят стадом по этому острову во всех направлениях.

Однако Эмму гораздо более заинтересовали нищие.

— Почему вы не предпримете что-нибудь?

— Что, например?

— Ну, император начал бы войну,— засмеялась Эмма, хотя вовсе не собиралась шутить.

— Но ведь у нас только недавно была война.

— Что ж, вам понадобится еще одна. И очень скоро.

Я нашел приглашенне быть почетным гостем клуба «Лотос» в любую субботу по моему выбору и сказать там несколько слов. Записку от мистера Хартмана, который хотел бы узнать, не заинтересует ли меня лекционное турне. Записку от Уильяма Каллена Брайанта[21], он был бы счастлив позавтракать со мной в любой день до 8.30 утра.

Я только что подсчитал на пальцах: старому редактору «Ивнинг пост» восемьдесят один год. Все остальные спутники моей нью-йоркской юности уже умерли, остался один Брайант.

Нашел приветствие моего издателя Даттона, собственноручную записку Ричарда Уотсона Гилдера, редактора «Скрибнерс мансли» — в нем я печатаюсь, когда мне нигде не предлагают гонорара повыше. Не нашел, однако, ничего от Боннера из «Леджер» и от Фрэнка Лесли, чей ежемесячник платит столько, сколько не платит ни один журнал: а ведь я написал обоим, что буду в Нью-Йорке четвертого.

Я был также разочарован, не обнаружив никакой весточки от главного источника моих доходов в течение многих лет — «Нью-Йорк геральд». Но ведь молодой Джеймс Гордон Беннет — всего лишь бледная (и вечно пьяная) копия своего отца. И тем не менее мог прислать хотя бы визитную карточку.

Однако я нашел то, что хотел найти больше всего: приглашение на завтра на чашку чая к Джону Биглоу. Это ключик к моему благосостоянию... если оно будет благим, мое состояние.

Буквы начинают причудливо расплываться. Опиат наконец подействовал. Несмотря на приближение ночи, я полон оптимизма. Чувствую себя молодым. Нет, не столько молодым, сколько смирившимся со своей старческой оболочкой, и я пытаюсь настроить себя так, чтобы закат казался мне лучшим часом долгого дня и звездным часом моей дочери.

3

Полдень, а я уже без сил.

Опиат действовал великолепно до четырех утра. Тут я проснулся и больше уже не сомкнул глаз.

Я оделся. Полюбовался восходом солнца. Поработал немного над «Императрицей Евгенией», заказал чая, проследил, чтобы горничная не шумела, потому что сон у Эммы неглубокий, а ей надо хорошенько отдохнуть. Ей предстоит осада нью-йоркской крепости. А может быть, триумфальный въезд.

Закончив статью, я запечатал ее в конверт и надписал адрес «Харперс мансли», а потом от нечего делать решил поймать Брайанта на слове и прийти к нему на завтрак. Он живет теперь в доме 24 на Западной Шестнадцатой улице.

Я совсем позабыл колючий, бодрящий холод нью-йоркской зимы. От сырых парижских морозов у меня болят уши. Промозглый лондонский холод пробирается в лег-

[21] Уильям К. Брайант (1794—1878)— американский поэт и газетный издатель.

кие. Нью-йоркский же воздух, несмотря на угольный дым, обдает полярной свежестью. Все вокруг дышит новизной, даже солнце, которое в это утро, поднимаясь над островом, кажется только что отчеканенной золотой монетой с двуглавым орлом.

Уже в этот ранний час город весьма оживлен; по Пятой авеню гремят повозки, а пешеходы — главным образом бедный люд, спешащий на работу,— шагают, вобрав головы в плечи и выдыхая облака пара. Большинство нищих — ветераны Гражданской войны в заношенной до дыр форме; безрукие, безногие, безглазые, они торгуют карандашами, шнурками. «Я потерял руку под Чикамога, сэр». И помятая оловянная кружка укоризненно суется вам под нос. Итальянцы играют на шарманках, дрожащие обезьянки танцуют на жутком холоде. Бездомные дети в лохмотьях жмутся в подъездах.

Я сел в вагончик на конной тяге. Плата — пять центов. В моем кошельке несколько полуорлянок: золотых десятидолларовых монет (их следует поберечь!). У меня пока нет двадцатидолларовых монет с двуглавым орлом (моя удачная метафора утреннего солнца). Но ведь если нью-йоркское солнце нельзя уподобить американскому доллару, то, значит, вся эта великая страна не Эльдорадо, а сплошной блеф.

Вагончик раскачивался и подпрыгивал. Пузатая печка в центре вагончика не столько согревала, сколько отравляла воздух. Пол, наверное для утепления, устлан соломой. Пассажиры — главным образом мужчины, почти все с бородами и пузатые, как печка. Кстати, если не считать совсем уже бедных, все ньюйоркцы отличаются тучностью; похоже, что это модно. А ведь когда я был молод, американцы были стройны, долговязы, нередко сутулы, а их лица — обветрены и, конечно, безбороды. На смену янки пришла некая новая порода: толстые сластолюбцы, расплодившиеся под золотым солнцем.

Все пассажиры читали газеты. Это значит, что газетный бизнес, мой бизнес, процветает. Аршинные заголовки кричат о побеге из тюрьмы босса Твида.

Я сошел на углу Пятой авеню и Шестнадцатой улицы, проклиная свой возраст, потому что каждый шаг давался мне с неимоверным трудом. Как и мои соотечественники, я тоже изрядно тучен, но меня, по крайней мере, извиняет преклонный возраст и французская кухня.

Я застал Уильяма Каллена Брайанта в кабинете; в выцветшем халате он упражнялся с гантелями. Он не прекратил своего занятия и, думаю, не узнал меня, пока служанка не назвала моего имени.

— Скайлер! Молодец, что пришли. Присаживайтесь, я сейчас.

Брайант такой же высокий и сухощавый, каким я его запомнил, но внешность его полностью преображает окладистая борода, обрамляющая лицо наподобие мандалы[22] или магического куста, в любой момент готового воспламениться и исторгнуть из себя глас божий[23].

— Вам следует каждое утро делать гимнастику, Скайлер...

— Я почти каждый день думаю об этом.

— Кровь надо приводить в движение, в движение! — Отложив гантели в сторону и извинившись, Брайант удалился. Через несколько закрытых дверей я слышал, как он плещется в воде, и знал, что это наверняка ледяная вода.

Служанка подала нам мамалыгу с молоком и хлеб грубого помола с маслом. Напрасно я ждал кофе или чая.

Побег Твида из тюрьмы произвел на Брайанта сильнейшее впечатление.

— Конечно, он подкупил тюремщиков. Все они одинаковы.

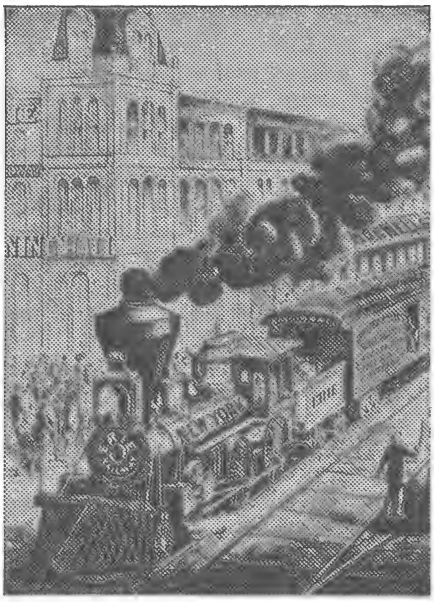
Кто «они», он не уточнил, но я думаю, что он имел в виду чернь — демократов, ирландцев, всех врагов республиканской «Ивнинг пост», которая, несмотря на скандал, поддерживает администрацию Гранта. Радикальный гражданский дух газеты давным-давно мертв. Да ведь и сам Брайант далеко не молод.

Я мрачно жевал хлеб, внимая пространным рассуждениям Брайанта о безнадежной продажности, царящей в Нью-Йорке; в этот момент он был похож на Моисея, несмотря на прилипшие к бороде кусочки мамалыги. Я почтительно кивнул, снова почувствовал себя молодым, зеленым юнцом, не решающимся раскрыть рта в присутствии первого поэта Америки, самого выдающегося газетного редактора Нью-Йорка.

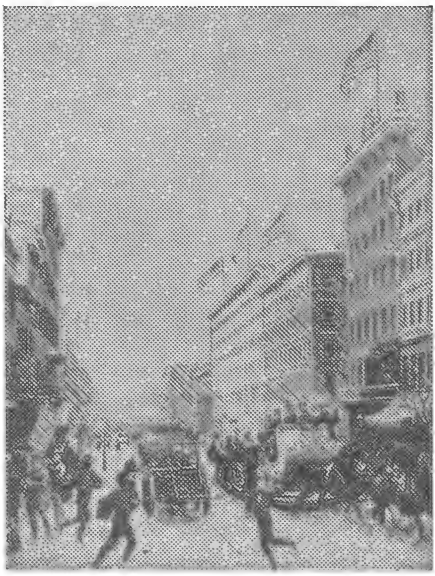
---

[22] Круг, символическое изображение космоса в буддистской мифологии.

[23] Образ, навеянный библейской легендой о Моисее, которому было явление господа из горящего куста.



«..железные дороги! Они изменили всю нашу жизнь».



Нью-Йорк зимой. Вторая половина XIX века.

— Ваши труды принесли нам немало радости.— Глубоко посаженные глаза, казалось, только сейчас меня заметили. Если кровь в застывших жилах была бы способна ринуться в какую-либо часть моего тела, я, наверное, покраснел бы от похвалы единственного человека на земле, который все еще считает меня молодым.— Мне особенно понравился «Париж под Коммуной». Какое время! Какие столкнулись принципы! — К моему удивлению, коммунары — или коммунисты — не повергли Брайанта в панический ужас. Поразился я и тому, что он правильно запомнил название книги; обычно все говорят «Париж под коммунистами».

Раскрыв «Геральд», Брайант на третьей странице нашел сообщение о моем приезде. С довольной ухмылкой он прочитал вслух отчет о прибытии в Нью-Йорк знаменитого писателя Чарльза Скермерхорна Скайлера с дочерью.

Чувство юмора у Брайанта по-прежнему прячется за застывшей маской, которой он пытается гипнотизировать мир. Как журналисты-профессионалы, мы позабавились самоуверенной некомпетентностью интервьюера, осудили низкий уровень современной журналистики.

— И все же немалая заслуга в разоблачении Твида в семьдесят третьем году принадлежит газетам...

— А также губернатору Тилдену.

— Прекрасный человек. Вы знакомы?

— Да, немного.

Мы вышли на улицу. Дети с неизменными ранцами на спине спешили в школу, какой-то человек в лохмотьях тащил за собой что-то вроде тележки, на которой было установлено большое цинковое ведро с кипящей водой, подогреваемой снизу керосиновой горелкой. Его пронзительные выкрики до сих пор стоят у меня в ушах: «Покупайте вареную кукурузу! Горячие початки необычайно сладки!»

— Откуда кукуруза в декабре месяце?

— Из Флориды. Железные дороги, Скайлер, железные дороги! Они изменили всю нашу жизнь. К лучшему и к худшему.— Он взял меня за руку.— Зайдите посмотрите наши новые хоромы. Прошлым летом мы переехали на угол Бродвея и Фултон-стрит, в десятиэтажное здание, страшно дорогое, говоря откровенно, но удобное. Печатные станки упрятаны в подвал, у нас есть даже вертикальная железная дорога, куда не ступала и не ступит моя нога. Нужно все время ходить. Ходить пешком, взбираться вверх своими ногами, ходить и ходить!

Прикасаясь пальцами к шляпе при встрече со знакомыми, Брайант быстро шагал в направлении Вашингтон-сквер. Я едва поспевал за ним. Каждое утро он совершает

трехмильную прогулку от дома до редакции. Как последний кретин, я согласился составить ему компанию.

Сейчас, несколько часов спустя, я сижу в гостиной нашего номера; вечером мне предстоит чай у Джона Биглоу, а сейчас у меня кровь стучит в висках, мои ногти утратили свой обычный здоровый розовый цвет и приобрели отвратительный лиловый оттенок.

Если же мне удастся остаться в живых после этого галопа по Бродвею, то, вероятно, я поступил правильно, потому что Брайант не только редактор, которому я многим обязан, но и человек, знающий о нью-йоркской политике больше любого другого по эту сторону тюремной решетки — кроме босса Твида, конечно.

Газетные тумбы на каждом углу сообщают подлинную историю побега Твида из тюрьмы на Ладлоу-стрит. По-видимому, боссу разрешалась ежедневная прогулка в экипаже в сопровождении двух охранников. Вчера он получил разрешение навестить жену в своем особняке на углу Сорок третьей улицы и Пятой авеню.

Сегодня кучер показал мне этот зловещий дворец — все тот же песчаник! — построенный на ворованные деньги. Вчера Твид поднялся на второй этаж... и исчез. По всей видимости, этот отъявленный негодяй пользуется немалой популярностью, по крайней мере среди черни, которой он время от времени подкидывал небольшие комиссионные с тех, как выяснилось, колоссальных сумм, которые он и его шайка постоянно крали у населения.

Во время прогулки Брайант показал мне новое здание суда.

— По моим подсчетам, денег, которые украл Твид и его люди при возведении этого храма Мамоны, хватило бы на уплату нашего национального долга.

В эту самую минуту, шагая по парку муниципалитета, мы столкнулись с тем, что сначала показалось нам огромным зеленым зонтиком, который двигался вроде бы сам по себе. Однако зонтик приподнялся, и принадлежность его обнаружилась — к моему изумлению и растерянности Брайанта.

Человек представился довольно-таки пронзительным голосом.

— Гражданин Трейн, мистер Брайант. Ваша Немезида! И ваша, сэр.— Он вежливо мне поклонился; на нем было что-то вроде французской шинели с широкой красной лентой поперек груди.

Неужели гражданин Трейн? Мы в Париже хорошо знали историю Джорджа Фрэнсиса Трейна. Уроженец Новой Англии, он еще в юности сколотил миллионное состояние на морских перевозках. Позже принял участие в строительстве железной дороги «Юнион пасифик», для финансирования этого проекта он создал печально известную страховую компанию «Crédit Mobilier», которая занималась неслыханным подкупом чуть ли не всех членов конгресса подряд, а также и первого грантовского вице-президента Скайлера Колфакса.

К счастью для Трейна, он рехнулся еще до того, как давались все эти взятки,— семь или восемь лет назад. Вынужденный оставить «Юнион пасифик», он отправился в Ирландию, откуда пытался изгнать англичан, за что те на время упрятали его за решетку. Затем в 1870 году он перебрался во Францию и примкнул к коммунарам; он был свидетелем тех ужасов, которые унесли столько жизней,— обо всем этом я когда-то обстоятельно написал.

Итак, перед нами посреди парка на ледяном ветру с красной лентой поперек груди и зеленым зонтиком стоял рехнувшийся богач Трейн, одержимый неизбывной мечтой стать президентом Соединенных Штатов! Да, после расправы над парижскими коммунарами Трейн возвратился в Штаты и в 1872 году баллотировался в президенты в качестве независимого кандидата — иными словами, коммуниста. Его избирательная кампания была эксцентрична и немало всех позабавила. Позабавились зрелищем коммуниста-миллионера и рабочие, а пресса, как всегда охотно и пространно, писала о таких его безумных прожектах, как право голоса для женщин, право рабочих на забастовки и признание незаконным поднятия цены на почтовую марку выше одного цента.

Трейн внезапно повернулся ко мне:

— Простите, гражданин, что я не подаю вам руки, но я почитаю за правило не обмениваться рукопожатиями ни с кем старше двенадцати лет. Тесный физический контакт подобного рода вызывает утечку физической энергии. Жизненную энергию, гражданин, в наше смутное время следует беречь. А теперь, мистер Брайант, извольте объясниться.

Моисееподобный Брайант стал и в самом деле похож на патриарха, увидевшего куст, объятый пламенем.

— Объясниться? — Этот обычно самоуверенный человек начал даже заикаться.— По поводу чего, сэр?

— По поводу Твида! — вскипел Трейн. Нянечки с колясками поспешили удалиться в дальний конец парка.— Я говорил, что его надо повесить! Я писал вам об этом в «Пост». Но было ли напечатано мое письмо?

— Писем приходит так много, сэр... я хотел сказать, гражданин Трейн.— Брайант овладел собой и, стремительно прыгнув в сторону — такое па сделало бы честь молодому танцору,— оказался за спиной богатого коммуниста, бросавшего на него злобные взгляды из-под зеленого зонтика (служащего ему, как говорят, для защиты от губительного звездного излучения).

— Теперь вы знаете, что бывает, когда мои письма не публикуют, а моим разумным советам не внемлют...

Но в этот момент Брайант уже скакал (не подберу другого глагола) к выходу из парка; я не без труда догнал его, и скоро мы, достигнув безопасного Бродвея, смешались с утренней толпой.

На углу Барклай-стрит я настоял на маленькой паузе в нашем марафоне, чтобы полюбоваться фасадом Астор-хаус.

— Я уехал, когда он еще строился.

— Показуха! — Брайанта, как и меня, отталкивают претензии Нью-Йорка на монументальность; его — потому, что он думает, будто город в них преуспел, меня — потому, что провалился. Но мне весьма по вкусу твидовский городской суд, который не выглядел бы неуместным и в Париже.

Я искал глазами и не находил Парк-тиэтр.

— Где же он?

— Дорогой Скайлер, он сгорел до основания! Все здесь сгорает рано или поздно. Вы сами это знаете.

Я почувствовал настоящую боль.

— Помните, я писал театральные рецензии...

— Для меня. Помню. Какой псевдоним мы вам придумали?

— «Мышь с галерки».

— Ну что ж, к услугам «Мыши с галерки» широкий выбор новых театров.— Он скосил глаза в мою сторону.— Но вы вряд ли захотите писать об американском театре.

— Нет, нет.

— Я восхищен вашими европейскими корреспонденциями. Вы глубоко проникли в порочный Старый Свет.

Не знаю почему, но мне был глубоко противен чопорный пуританский тон Брайанта. В конце концов, в нашем порочном старом Париже никогда еще не было жулика твидовского размаха.

— Я подумываю, пожалуй, о серии очерков об Америке. Знаете, как это выглядит после стольких лет отсутствия.

— Рип Ван Винкль наших дней?

Сравнение, которым я злоупотребляю два последних дня, в его устах звучит совсем уж очевидно и невыносимо скучно.

— Да. Видимо, этого сравнения не избежать.

— И наши газеты не избегают...

— ...ничего, кроме правды.— Я похолодел от ужаса, но оскорбление уже сорвалось с языка. К счастью, Брайант воспринял его вполне спокойно.

— Увы, полуправда — самое большое, что мы можем себе позволить.

Наконец мы остановились у нового здания «Ивнинг пост».

— Скайлер, вы молодцом одолели три мили.

Хотя лицо у меня закоченело от холода, я весь взмок от пота.

— Вы должны зайти к нам, познакомиться с сотрудниками.

Я доверил себя кабинке вертикальной железной дороги, а Брайант побежал вверх по лестнице.

Чернокожий оператор расплылся в улыбке:

— Во всем Нью-Йорке не сыщешь второго такого старика. Он будет наверху раньше нас.

Так оно и оказалось. Когда я вышел на площадку, я увидел, что Брайант висит

на притолоке двери своего кабинета. Очень медленно он подтянулся и спрыгнул на пол.

— Из-за вас у меня будет сердечный приступ,— решительно сказал я.— Мне вредно даже смотреть на вас.

Он воспринял это как лесть и в лучшем расположении духа ввел меня в свой кабинет, оказавшийся увеличенной копией прежнего — тот же стол, стулья, открытые полки, уставленные книгами, главным образом его собственного сочинения; мой острый авторский глаз выхватил и две моих книги.

— Не напишете ли вы нам что-нибудь о выставке Столетия?

— Почему бы и нет?

— Она открывается в Филадельфии. В мае или июне, не помню точно. У вас будет время подготовиться, подумать о переменах, какие вы заметили...

— Надеюсь, что не последняя среди них — гонорары «Ивнинг пост».— У молодого Чарльза Скайлера язык бы не повернулся заговорить о деньгах с Уильямом Калленом Брайантом. Мне удалось выторговать у него пятьсот долларов за статью в десять тысяч слов; отличный гонорар для «Пост», хотя до леджеровского ему, увы, далеко.

Я поднялся:

— Иду сегодня на чай к нашему старому другу Джону Биглоу.

— Я не видел его со дня выборов и его... возвышения,— оживился Брайант.

— Чем занимается секретарь штата Нью-Йорк? — Биглоу был месяц назад избран на этот пост.

— Чем бы он ни занимался, скажем так: нынешний секретарь будет занят выше головы, стараясь сделать губернатора Тилдена президентом...

— Я того же мнения. Полагаю, что вы поддержите кандидатуру Тилдена.

Брайант оторвал взгляд от окна и повернулся ко мне; его глубоко посаженные глаза спрятались под благородными густыми бровями.

— «Пост» — республиканская газета. Губернатор Тилден — демократ...— и так далее. Но тон Брайанта был задумчиво-уклончив. Это означало, что он еще не принял решения; надо сказать об этом Биглоу.

Брайант проводил меня до двери.

— Знаете, Тилден — мой адвокат. Прекрасный человек. Но, пожалуй, он не настолько силен, чтобы занять высший пост. Я имею в виду его физическое состояние, а не умственное, конечно. Потом, он ведь не женат. Это может встревожить избирателей.

— Но Джексон, Ван Бюрен, Бьюкенен — сколько угодно холостяков сидело в Белом доме.

— У них у всех когда-то были жены. Кроме несуразного Бьюкенена, все они были вдовцами, а Сэмюел Тилден никогда не был женат и даже, кажется, не помышлял о браке. Если его выберут, он будет наш первый... наш... наш первый...

— Президент-девственник?

Брайант остолбенел. Затем чуть ли не смущенно расхохотался в громадную, похожую на водопад, бороду, которая сама по себе была достойна оды.

— Дорогой Скайлер, вы слишком долго жили в Париже! Мы здесь, в этой республике, скромные провинциалы.

После этого милого разговора мы расстались.

Утренняя прогулка настолько утомила меня, что я ощущал невиданный прилив энергии: явление, о котором постоянно упоминал тесть Эммы, в тысячный раз рассказывая нам об отступлении французов из Москвы.

Я остановился у входа в огромный обеденный зал Астор-хаус, и передо мной открылось зрелище — полтысячи людей поглощали завтрак. Нигде не было видно ни одной женщины, только бородатые тучные местные буржуа в сюртуках, уничтожающие яичницу с ветчиной, громадные бифштексы и котлеты. Как я ни был голоден после прогулки с Брайантом, я не мог в этот ранний утренний час вынести соседства стольких плотоядных красных рож.

Поэтому я направился в бар, тихое сумрачное помещение с кафельным полом и необыкновенно длинной стойкой, украшенное бронзовыми Венерами и Дианами вперемежку с бесчисленными сверкающими плевательницами.

В углу возле стеллажа с утренними газетами я отыскал маленький столик и сел.

— Что будем пить? — любезно спросил подошедший официант.

— Теплое пиво,— сказал я,— и чашечку кофе, если у вас есть.— Здесь есть все, в том числе и любая еда. Официанты сновали с тарелками холодного мяса, крабов, салатов, сыра и еще каких-то блюд, загадочно прикрытых крышками. Это так называемый «бесплатный завтрак», о котором я уже много слышал. Заказав стакан пива за двадцать пять центов, вы можете в придачу бесплатно наесться до отвала.

Расположившись поудобнее, я просмотрел дюжину утренних газет, как будто специально для меня подобранных в уютном баре асторовской гостиницы. Крупные заголовки первых полос кричали о побеге Твида. Поскольку меня не очень огорчает привычная коррупция моего родного и (признаюсь только этим страницам) все еще безнадежно провинциального города, я склонен принять сторону этого крупного человека с маленькими глазками, густой бородой и медвежьими повадками и надеюсь, что мистер Твид благополучно улизнет со своей добычей. Я вообще симпатизирую преступникам. Официально мои французские симпатии принадлежат республиканцам, но истинную радость моему сердцу доставляют Бонапарты; особенно первый из них, чьи преступления достигли таких масштабов, что стали не предметом морализирования, а просто историей.

Внутренние полосы всех газет сообщили о прибытии Чарльза Скермерхорна Скайлера и его прекрасной дочери княгини Даг Риджентской, Дегрежентской, Дагрижунтской, вдовы знаменитого наполеоновского маршала, невестки Наполеона III, подруги императрицы Евгении... одним словом, масса информации, по большей части ложной.

Я доволен, однако, тем, что мои симпатии к губернатору Тилдену отмечены всеми. Меньшую радость доставило мне описание «напыщенного, осанистого романиста, слава которого в Европе значительно затмевает его известность здесь, в стране, некогда бывшей ему родиной». Это «Сан». Хоть я никогда не писал романов, моя «слава» здесь должна была бы перевесить мою славу во Франции, где я печатаюсь редко, в отличие от Англии, где печатаюсь часто. Теперь я знаю, как чувствовали себя мои старые знакомые Вашингтон Ирвинг и Фенимор Купер при возвращении в Штаты после многолетнего пребывания за границей. «Добро пожаловать, изменник» — эта интонация ощущалась тогда, слышится она и теперь.

Почувствовав голод (мамалыга с молоком далека от моего представления о порядочном завтраке), я проследовал к «стойке бесплатного завтрака» и скромно показал на блюдо с жареным мясом. Официант наполнил мою тарелку.

— В таком плане?

Еще одно новое выражение. Надо завести словарь.

— Да, именно в таком.— Боюсь, что я ответил не совсем правильно.

На обратном пути к благословенному столику возле стеллажа с газетами меня остановили двое мужчин, которые до этого сидели в противоположном конце длинного полутемного бара.

— Мистер Скайлер? — спросил тот, что помоложе, элегантный молодой человек с пышными усами и черной орхидеей в петлице.

— Сэр? — Я чувствовал себя неловко, потому что мой большой палец то и дело окунался в подливку.

— Вы меня не узнаете?

И в самом деле я не смог узнать единственного человека в Нью-Йорке, которого мне следовало бы навсегда запомнить, потому что это был не кто иной, как красавец атлет, яхтсмен, наездник и издатель-миллионер — мой издатель Джеймс Гордон Беннет-младший, владелец «Нью-Йорк геральд», на страницах которой чуть ли не в течение сорока лет печатались мои европейские репортажи.

— Извините, Джейми. Простите меня. Я ведь как обалдевший иммигрант, только что ступивший на берег.— Я играл роль старого дурака Фальстафа по отношению к принцу Гарри[24] — Джейми, с той только разницей, что Джейми теперь полновластный король, потому что его мрачный отец-шотландец, основавший в 1835 году дешевый бульварный листок «Геральд», умер три года назад, оставив Джейми в полное владение газету с самым большим тиражом (хотя и не лучшей репутацией, заметил бы, безусловно, Брайант) во всех Соединенных Штатах.

Успех «Геральд» в значительной степени основывается на рекламных объявлениях «Персональной колонки», являющейся не чем иным, как путеводителем по Содо-

[24] Фальстаф и принц Гарри — персонажи драматической хроники Шекспира «Генрих IV».

му, что лежит за Бликер-стрит, и Гоморре Шестой авеню, адресной книгой, в которой значится каждая проститутка, желающая за несколько долларов увидеть свое имя в печати. Порядочные люди негодуют по поводу рекламы «Геральд», но читают ее все.

Джейми представил меня своему спутнику, похожему на фермера, печальному пожилому человеку, имя которого ничего мне не говорило.

Не пробив себе дорогу среди заносчивой и замкнутой нью-йоркской аристократии, Беннет-старший поклялся, что в один прекрасный день сын затмит никербокеровскую знать, и еще ребенком послал его воспитываться в Парнж. Когда Джейми вернулся в Штаты, он с легкостью занял место в нью-йоркском обществе, как того и хотел Беннет-старший. Все были очарованы парижской элегантностью Джейми, его спортивной фигурой и, разумеется, неожиданным и совершенно особым талантом газетчика.

В год смерти старика Беннета Джейми отправил некоего Генри Стэнли на поиски некоего Дэвида Ливингстона, по слухам потерявшегося в Африке. Щедро оплаченная Джейми, эта занудная сага в течение десятилетия заполняла мили газетных полос, обеспечивая «Геральд» всеамериканскую славу, не в пример моим мрачным статьям на такие тривиальные темы, как Бисмарк, Гарибальди или Наполеон III.

— Я должен вас покинуть, мистер Беннет.— Печальный фермер сжал руку молодого человека, затем схватил меня за локоть и мрачно удалился.

Джейми повернулся ко мне.

— Я вышью с вами.— Он сел рядом со мной в уютном углу в тени пальмы и сразу угадал, почему я пристроился к стеллажу с газетами.— Решили бесплатно почитать, что пишут о вашем блистательном прибытии? Адскую смесь! — Последние его слова относились явно не к моему приезду — он заказал ужаснейший коктейль, состоящий из равных частей коньяка, абсента и имбирного пива. Здорово пьют нынешние нью-йоркские джентльмены.— Мистер Скайлер, а каковы ваши политические взгляды?

— Из сегодняшнего номера вашей собственной газеты вы могли бы узнать, что я сторонник губернатора Тилдена.

— Он холодный, как рыба. Но это хорошо.

Официант принес Джейми его адскую смесь в запотевшем бокале и расплылся в почтительной улыбке, когда молодой господин залпом его осушил и потребовал еще один. Очевидно, Джейми отлично знают в асторовском баре.

— Хорошо, что губернатор Тилден холодный, как рыба?

— Нет.— Джейми вытер усы надушенным платком.— Хорошо, что вы демократ. Хорошо, что вы не принадлежите к тем самодовольным республиканцам, которые ради священной памяти Честного Хама готовы терпеть любое воровство в Вашингтоне.— Хама вместо Абрахама. Все-таки ньюйоркцы никогда не симпатизировали президенту Линкольну. Во время последней войны многие знатные жители Нью-Йорка только и мечтали о выходе города из союза штатов.— Как вы относитесь к тому, чтобы взять для «Геральд» интервью у генерала Гранта?

— Трудно придумать менее заманчивое предложение.

— В ближайшие недели, а может быть, даже дни здесь будет очень весело.

— Ему же конец, не так ли? Еще год в Белом доме...

— Если он не решит баллотироваться в третий раз.

— Даже я читал в Париже, что у него нет такого намерения.

— Даже вы в Париже до сих пор верите газетам?

— Только вашей!

— И зря! — Джейми расхохотался. Затем мгновенно стал мрачно-серьезным.— Тип, которого вы сейчас видели со мной,— Эйбел Корбин.

— Мне это имя ничего не говорит.

— Я забыл, вы долго жили далеко от нас. Эйбел женат на сестре Гранта, Дженни. Это колоритнейший негодяй. Помните...

Я вспомнил. В 1869 году Эйбел Корбин участвовал вместе с Джеем Гулдом и Джимми Фиском в скупке золота. Корбин впутал или попытался впутать в эту аферу своего шурина-президента. Это хитрое мошенничество вызвало биржевую панику 1873 года и разорило множество людей; кризис в том же году прикончил остальных, за исключением, конечно, самых богатых.

— Так вот, у Эйбела есть интересные новости из Вашингтона. Скоро разразится новый скандал.

— Даже если Грант окажется самим дьяволом, я не представляю себе, как можно это подать.

— Вы отлично умеете подавать свои сюжеты, мистер Скайлер.— Джейми льстил, как угодливый сын; впрочем, именно эту роль он и играл большую часть своей жизни.— Довольно с нас обычной писанины. Я не хочу сказать, что Нордхофф — наш человек в столице — плохой журналист. Но слишком много набивших оскомину слов из правительственных кулуаров. Если вы с Эммой осчастливите своим визитом Вашингтон, встретитесь с президентом и его шайкой — а это такая деревенщина, что они с ума сойдут из-за вас с Эммой,— то ваши впечатления о последних днях Улисса С. Гранта на страницах «Геральд» станут сенсацией.

Пока Джейми говорил, я соображал, что можно сделать из Гранта. Тема заманчивая, но обоюдоострая. Я деликатно дал Джейми понять, что почти согласен за крупное вознаграждение съездить через несколько недель в Вашингтон и посмотреть, что к чему; я юлил, осторожно уступал, но мне уже было ясно: вот она наконец, нежданная, счастливая возможность принести пользу губернатору Тилдену.

— Очень рад! — Джейми вскочил на ноги.— Я завтра же навещу Эмму. А вы пока собирайтесь. Если старый черт Корбин говорит правду, на этой неделе нас ждут потрясающие новости!

— Какие? Еще один Crédit Mobilier?

— Гораздо хуже.— Джейми понизил голос: — Ходят слухи, что сам президент замешан в скандале наподобие твидовского. Корбин считает, что дело плохо, а это значит, что для нас с вами дело обстоит как нельзя лучше.

Не могу сказать, что мое сердце радостно выпрыгивает из груди при мысли об интервью с генералом Гранто, человеком, прославившимся как своим молчанием, так и победами на полях сражений. Но Вашингтон — неплохая площадка для Эммы: город кишит дипломатами и политиками всех мастей, и время будет потрачено недаром. И все же, боюсь, мы погибнем от скуки «придворной» жизни, от всех этих сенаторов, что под покровом ночи берут деньги у железнодорожных магнатов. Но в конце концов, таковы нравы этой страны, а я отнюдь не реформатор. Уверен, я найду кое-что интересное для своего пера, пусть это будет всего лишь всем известное косоглазие миссис Грант.

Так или иначе, утро не пропало впустую. Я получил заказ на репортажи о выставке Столетия для «Ивнинг пост»; увы, открывается она в мае или июне, а к тому времени, если мне не удастся выбить аванс, мы останемся без гроша. Далее, в феврале или марте — Джейми пока не уточнил — я начну исследование «Вашингтон в эпоху коррупции», под таким мелодраматичным заголовком подают эту тему газеты.

Мы с Джейми еще не договорились о гонораре. Он известен своей щедростью; меня это пока не коснулось, но ведь и я не соприкасался с ним после кончины старого Беннета, если не считать моих не слишком регулярных корреспонденций. Хорошо бы выторговать пять тысяч долларов за пять очерков. Нет, об этом можно только мечтать. А вдруг десять — за пять?

Здесь надо поставить точку, а то я скоро начну на полях рукописи восторженно складывать цифры, которые мне следовало бы с грустью вычитать.

На обратном пути в гостиницу я зашел в книжный магазин Брентано на Юнион-сквер. Продавцы узнали меня и показали множество моих книг, но только подержанных. У них не осталось ни единого экземпляра «Парижа под Коммуной», который вышел лишь два года назад. Надо поговорить с Даттоном о новом издании.

Только что получил от него письмо; он спрашивает, когда может прийти. А также записку от кого-то из «Харперс мансли» (подпись неразборчива), извещающую о том, что статья об императрице Евгении получена и в настоящий момент изучается с тем удовольствием, которое неизменно доставляет мое перо, и так далее. В конверт вложен декабрьский номер «Харперс», содержащий довольно-таки поверхностную дискуссию о Дарвине, забавную заметку популярного драматурга Дайона Бусико, заявляющего, что его интересуют деньги и слава при жизни, а потомки пусть хоть вешаются. В регулярной рубрике «Сидя в кресле»— любопытный рассказ о гостинице Уинанта на Статен-Айленд; в рассказе упоминается, что именно здесь умер полковник Аарон Бэрр [25].

---

[25] Аарон Бэрр (1756—1836)— американский политический деятель, вице-президент США (1801—1805), герой романа Гора Видала «Бэрр».

Сегодня я много думал о полковнике Бэрре. Особенно когда проходил по Ридстрит, где помещалась его контора. Даже дом этот не сохранился. Но говорил же он мне: «Никогда не грусти по прошлому, Чарли! Думай только о будущем, о том, что все будет еще хуже!»

Вероятно, я задремал в кресле у камина. Неслышно вошел коридорный, задернул шторы. Сейчас почти пять часов. Пора отправляться на чай к Биглоу.

4

Я медленно отшагал несколько кварталов от гостиницы до Грамерси-парк, маленькой уютной площади наподобие Ганновер-сквер в Лондоне, с крошечным унылым садиком посередине, обнесенным незатейливой чугунной оградой, и домами привычного вида, окрашенными в коричневые тона. Видимо, люди, претендующие на респектабельность, не мыслят себе жизни за стенами другого цвета; на боковых улочках — ярко-красные кирпичные дома да редкие деревянные лачуги желтушного или ядовито-зеленого цвета.

— Как вы поживаете, Чарли? — Биглоу — один из немногих, кто еще называет меня по имени.

— А вы, Джон? Ваше превосходительство? Так надлежит обращаться к секретарю штата Нью-Йорк?

— Увы, не знаю.

— Не вы один носите этот титул.

— Судя по газетам, я один. Вы читали сегодняшнюю «Таймс»?

— Только то, что написано о моем приезде.

— Значит, вы пропустили очень неприятную заметку о своем старом друге.

— Такая же ложь, как и обо мне?

Биглоу был вне себя, но старался сдерживаться.

— По словам «Таймс», я, как крыса, сбежал с тонущего корабля. Я дезертировал из добродетельнейшей республиканской партии и примкнул к нечестивым демократам и Тилдену.

— Ну, если быть точным, именно так вы и поступили. Ведь вы один из основателей республиканской партии...

— Та республиканская партия сделала свое дело и умерла. Мы отменили рабство. Мы сохранили Соединенные Штаты. А теперь машина коррупции присвоила себе наше имя — с помощью и благословения «Нью-Йорк таймс».

Биглоу обрушился на прессу:

— «Таймс» никогда не бывает объективной. Они все переводят на личности. Уверяют, что я покинул республиканскую партию из соображений карьеры. Совсем наоборот...

— Но ведь если наш друг станет президентом...

Биглоу сделал вид, что не заметил моего очевидного намека. Но может быть, я чересчур циничен в своих суждениях о Биглоу. Несмотря на свое безграничное честолюбие, он всегда был скрупулезно честен. В свое время он способствовал финансовому процветанию «Ивнинг пост». Потом помог основать республиканскую партию, занимал дипломатические посты, писал книги.

Если Биглоу будут помнить, то главным образом за воскрешение Бенджамина Франклина. До него никому и в голову не приходило спасать этого злобного старикашку от нашествия фальсификаторов. Издав в прошлом году оригинальные тексты Франклина, а также его биографию, он заработал целое состояние. Вот бы мне найти такую золотую жилу.

— А что случилось с американским голосом? — спросил я; эта проблема занимает меня уже второй день.

— С голосом? — Биглоу удивил вопрос; у него речь звучная, чистая, как и у Брайанта.

— Да, да. С американской манерой говорить.

— Вы имеете в виду иммигрантов? Что ж, требуется время...

— Нет, я говорю об американцах. Таких, как мы. Когда я здесь жил, люди говорили как вы, как я... Мы никогда не гнусавили. И не издавали этих странных, протяжных, хныкающих звуков. Теперь их слышишь повсюду. А женщины! Что может быть отвратительнее смеха американки?

Биглоу развеселился. Он согласился с тем, что в манере речи его сограждан произошли перемены. Как он полагает, тут не исключено влияние фундаменталистской церкви, прихожане которой собираются для «песнопений»— так они называют молитвы, произносимые вслух хныкающими, гнусавыми голосами.

Я подумал, что из этого может получиться любопытная статья для «Харперс», но Биглоу придерживается другого мнения:

— Никому не позволено критиковать манеры американцев, разве что с безопасного расстояния, из Парижа например. Когда вы собираетесь назад?

— Через год. Хотел бы написать о выборах.— Я услышал, как гулко застучало мое сердце, а кровь загудела в ушах. Я никогда не умел просить о чем-либо существенном.— И еще как раз сегодня я подрядился написать для «Геральд» о последних днях генерала Гранта в Белом доме. Одна из причин моего вторжения на враждебную территорию — желание помочь губернатору Тилдену.

Биглоу поставил чашку, вздохнул и уставился на огонь в камине.

— Должен сказать вам, Чарли, совершенно доверительно, что губернатор меня сильно тревожит.

— В политическом смысле?

— Никоим образом. Политически он неуязвим. Нет, я боюсь за его здоровье. В феврале у него был...— Биглоу внезапно осекся. По движению губ я догадался, что он хотел сказать: «удар».— Он слишком много работает.

— Трудолюбив, как всякий американец.

— Да, но он работает без передышки, пока не засыпает от усталости. Просто маньяк какой-то.

Биглоу снова замолк, опасаясь, видимо, что сболтнул лишнее. Потом решился и рассказал все:

— Ему уже шестьдесят один, и он никогда не отличался крепким здоровьем. Даже в молодости. У него дрожат руки.

— У кого не дрожат в наши-то годы?

— Он почти ничего не ест. Постоянное несварение желудка. Приступы слабости... Все от переутомления. Мы должны были вместе писать его речь в законодательном собрании штата. Так вот, он пишет ее сам...

— И хорошо получается?

— Неплохо.

— По мне, пусть уж лучше высшие должностные лица проявляют сверхусердие, чем бездельничают.

— Но вынесет ли он физически президентские выборы?

— Говорят, что власть — лучшее тонизирующее средство. Он намерен баллотироваться?

Мгновение поколебавшись, Биглоу кивнул.

— Но я ничего вам не говорил, Чарли.

— Конечно нет.— Я вручил ему пакет, который принес с собой.— Мне известно, что вы главный его советник по иностранным делам; несколько месяцев назад он спрашивал мое мнение об отношениях с Францией, Италией, Англией.— Я не упомянул Германию, поскольку Биглоу — поклонник всего прусского, в отличие от меня.— Я готов сделать все, чтобы помочь его избранию. Я сказал ему это, когда мы встречались в Женеве.

Мне кажется, мы с Биглоу пришли к взаимопониманию, и, как любое взаимопонимание между политиками, оно не было выражено словами.

Если я сыграю свою роль, найду нужную информацию, разоблачу коррупцию генерала Гранта и его преемника на посту лидера республиканской партии, мое желание осуществится; Биглоу знает о нем, потому что сам он добился того же десятилетие назад — должности посланника в Париже. Я не мыслю лучшего способа провести оставшиеся мне годы, чем в качестве посланника в стране, где я прожил столь счастливо более трети века.

Пора было уходить. У двери Биглоу помог мне влезть в пальто.

— А что... кто такие Эпгары? — спросил я.

— Их очень много в городе. Лояльные республиканцы. Главным образом адвокаты.

— Есть такой молодой человек по имени Джон Дэй Эпгар.

Биглоу сразу понял:

— Его интересует ваша Эмма?

— По-моему, да. В прошлом году он служил в нашем посольстве в Париже. Часто бывал у нас. Писал ей из Америки.

— Я думаю, это тот, который избежал участия в войне. Откупился.

— Вам кажется это разумным?

Биглоу засмеялся:

— Все зависит от глубины чувств к Соединенным Штатам.

Я не сказал моему другу, что и сам постарался бы уклониться от участия в этой чудовищной, кровопролитной и ненужной войне, будь я призывного возраста. Так же было настроено и большинство ньюйоркцев; свидетельство тому — многочисленные вооруженные бунты тех лет.

— Стоит ли мне поощрять такую партию?

— Я не могу себе представить блистательную княгиню д'Агрижентскую доживающей свой век на Западной Десятой улице.

— Да,— сказал я вполне искренне.— Я тоже не могу.

— Слишком уж длинная дистанция от Тюильри и имперского блеска — каким бы постыдным он ни был. Ваша Эмма — европейская женщина, она не наша.

— Я знаю. Но она настолько стала частью меня самого, что я все время забываю: ведь ее не было с нами в старые дни, когда Нью-Йорк был другим, а мы молоды — вы еще моложе меня.

— Вы настоящий д и п л о м а т, Чарли!

Я вышел в холод и темноту Грамерси-парка. Светились газовые фонари, и их привычное шипение действовало на меня успокаивающе в этом незнакомом городе, где я внезапно почувствовал себя совершенно чужим.

Есть ли у Эпгаров деньги? Конкретнее: есть ли деньги у Джона Дэя Эпгара? Или хотя бы перспективы?

Я заметил, что когда начинаешь думать о деньгах, то никакие другие мысли в голову уже не лезут. Еще немножко беспокойства на этот счет — и я стану настоящим ньюйоркцем, снова почувствую себя как дома и вовсе не чужим.

Глава вторая

1

Самая сумасшедшая неделя в моей жизни (выдержу ли я еще одну такую?) осталась позади. Постоянные визиты и визитеры. Поток телеграмм. Бесконечные букеты цветов и коробки конфет для Эммы, которая вот-вот утонет в необъятном лоне семейства Джона.

Эпгары не принадлежат к старожилам Нью-Йорка, но сумели породниться едва ли не со всей старой нью-йоркской аристократией. Они, по словам Джейми Беннета, всегда умудрялись привиться к самой верхней ветви каждого знатного фамильного древа.

Я был очень расстроен, когда мне из «Харперс» с вежливым отказом вернули воспоминания об императрице Евгении и предложили написать для них о Столетии. Я холодно ответил, что об этом у меня есть договоренность с другим журналом. Статью через одного коллегу я передал Роберту Боннеру. Если «Леджер» ее купит, мне не придется проводить бессонную ночь — уже далеко не первую,— строя различные планы и с грустью отмечая неумолимое сокращение день ото дня моего и без того мизерного капитала. По мере сил стараюсь не посвящать Эмму в свои тревоги. Она столь прямолинейна и решительна, в ней настолько силен бонапартистский дух, что она может ограбить банк (или выйти замуж за Джона Дэя Эпгара), дабы спасти меня от нищеты.

Сегодня, в воскресенье, у нас был необыкновенный гость. Началось это еще вчера с дюжины ярко-красных роз и записки, в которой некто Уорд Макаллистер спрашивал, не окажем ли мы ему честь, если будет хорошая погода, совершить вместе с ним прогулку в его экипаже по Центральному парку сразу после воскресной службы.

— В котором это часу? — спросила Эмма в восторге от роз, но заинтригованная или даже растерянная, а может быть, и покоробленная тем, как нахально навязывается этот незнакомец.— И кстати, кто такой Макаллистер?

Джон Дэй Эпгар, поднявшийся к нам в номер на чашку чая, ответил на оба вопроса. Служба в церкви Благоволения (куда ходят все) закончится в одиннадцать тридцать.

— Теперь, когда известно, в котором часу за нами заедет мистер Макаллистер, неплохо было бы узнать, кто он такой.

— О, это знаменитость! — с легкой иронией ответил Джон.— Странно, что вы не встречались с ним в Европе. Уорд Макаллистер — предводитель нашего общества.— У Джона расширились зрачки; точно такие же глаза были у старого князя д'Агрижентского, когда он рассказывал о Наполеоне I.— Он ближайший друг миссис Уильям Астор. А она — это светская вершина Нью-Йорка, на ее собственный взгляд, разумеется.— Протестующая, тут же подавленная нотка.— Конечно, кузина Элис Ченлер находит ее очаровательной.

— Чем же занимается ближайший друг очаровательной миссис Астор? — язвительно спросила Эмма. Она все еще не принимает нью-йоркское общество всерьез.

— Он богат. Кажется, южанин Очень молодым уехал на Запад и во времена золотой лихорадки сколотил состояние. Потом жил в Европе. Вернувшись, решил осчастливить нас аристократизмом или «асторократизмом», как сострил мой отец. Миссис Астор его «обожает», как принято говорить в этом кругу, а он помогает ей устраивать приемы, обеды, балы. Сезон — их сезон — начинается ежегодно в третий понедельник января балом у миссис Астор. Гостей отбирает Макаллистер. Три года назад он основал нечто, именуемое «патриаршеством». Каждый понедельник во время сезона двадцать пять семей устраивают для своих гостей ужин с танцами в ресторане Дельмонико,— как правило, после посещения оперы.

— Вы там бываете?

— Два-три раза меня приглашала кузина Элис. Матушка воспринимает все это как шутку дурного тона. К тому же «патриархи» отнюдь не самые приятные люди. Просто самые богатые, самые кичливые...— Как хорошо мне знакомы эти пуританские обличения. Те, чья жизнь всецело посвящена деланию денег, первыми готовы публично бросить камень в золотого тельца, предмет своего отнюдь не тайного поклонения.

Пришла сестра Джона — девица лет тридцати с нездоровым цветом лица и на редкость подходящим для нее именем Вера; она принесла большую коробку от «Лорда и Тейлора», в ней оказалась очень дорогая шаль для Эммы, подарок самой Веры (не Джона — что было бы неприлично). После длительных пререканий шаль была принята, Эмма на французский манер заключила Веру в объятия, и та облегченно вздохнула.

Не получив отказа, верный своему слову Макаллистер появился перед нами в одном из небольших холлов отеля, душной комнате, известной под загадочным названием «Уголок таинств». Я сразу же узнал в нем человека, представившегося нам в холле отеля в день нашего приезда,— полный, франтоватый, затянутый в корсет денди лет пятидесяти с плохим французским произношением и, увы, нескончаемым потоком французских слов.

— Enchanté, Madame la Princesse [26].— Он поцеловал руку Эммы и вяло пожал мою, назвав меня «мистер Скермерхорн Скайлер», точно это двойная фамилия. Но об этом позже.— Очень любезно с вашей стороны позволить мне показать вам воскресные виды нашего города, такого crue[27], но с каждым днем приобретающего только ему присущий с т и л.— Слово «стиль» он произносит «стил», теперь это наше с Эммой любимое словечко.

У Макаллистера неброская, красивая четырехместная коляска. Возница и лакей в ливреях. Утро пасмурное, но не холодное; тем не менее нас с Эммой долго и тщательно укутывали меховым пологом.

Первые полчаса Макаллистер не умолкал ни на минуту; при этом он ни разу не повернулся к нам: глаза его были прикованы к пассажирам других экипажей, совершающим воскресную passaggiata[28]. Мы увидели сотни элегантных карет и прекрасных лошадей, выдыхающих облачка пара, подобно железнодорожным локомотивам (в индустриальную эпоху писателю приходится прибегать к сравнениям из области техники, даже когда речь идет о самых привычных вещах).

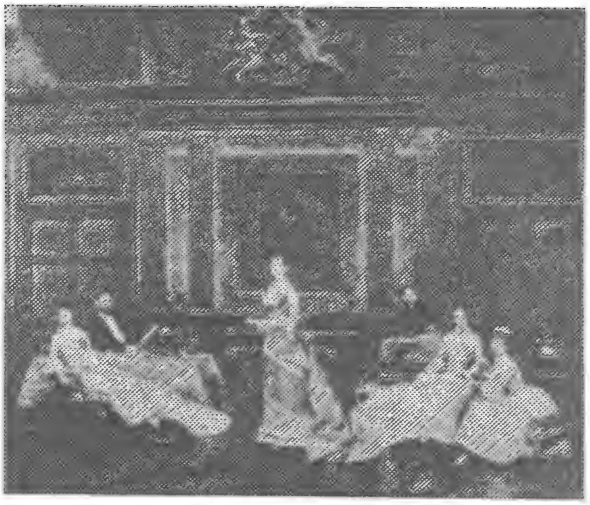
На Тридцать третьей улице наше внимание было почтительно обращено на дома-

---

[26] Я счастлив, княгиня *(франц.)*.

[27] Здесь: незаконченный, грубоватый *(фран.)*.

[28] Прогулка *(итал.)*.



«Та самая» миссис Астор и ее салон на Пятой авеню в Нью-Йорке.

близнецы Асторов: два высоких и тонких куска шоколадного торта, соединенных низкой стеной. В одном живет «та самая» миссис Астор (так неизменно называет Макаллистер свою богиню), известная в интимном кругу под именем Таинственная Роза.

В другом доме обитает подлинный главе клана Джон Джекоб Астор-третий; его супруга, по общему мнению, очаровательна она интересуется всеми видами искусства, в том числе не в последнюю очередь искусством беседы, тогда как т а миссис Астор не интересуется ничем, кроме итальянской оперы, в которую она ходит по понедельникам и пятницам в течение всего сезона. Неизменно покидая театр после второго антракта, она, как утверждают, не дослушала до конца ни одной оперы. Теперь, после утренней прогулки, мне многое известно про миссис Астор.

Макаллистеру не удалось всласть посплетничать. Эмма внезапно перебила его на полуслове:

— А это что такое?

Громадный беломраморный дворец на Тридцать четвертой улице мгновенно превратил соседние дома-близнецы Асторов в квинтэссенцию нью-йоркской безвкусицы.

— Здесь живет некий Стюарт, торговец...

— Т о т Стюарт, которому принадлежит универсальный магазин? — Насмешка Эммы была безукоризненна: она произнесла фамилию Стюарта с таким же священным трепетом, с каким Макаллистер произносил имя своей миссис Астор.

Но Макаллистер глух к иронии, как и большинство тех, кто тянется к купающейся в золоте знати.

— Именно тот. Но разумеется, его никто не знает. У него никто не бывает.

— А я его знаю! По крайней мере, мне кажется, что я видела его в этом замечательном универсальном магазине.— На днях Эмма объяснила мне, что универсальный магазин — новое для меня понятие — представляет собой огромный торговый дом, в котором все товары продаются в специальных отделах или секциях, отведенных одному виду изделий,— вероятно, это нововведение Стюарта.

Пока мы катались и дышали прохладным воздухом серого утра, Макаллистер поведал нам историю Стюарта. Увы, она совсем неинтересна. Хотя, конечно, это чисто американская история. Бедный юноша приезжает из Шотландии. Открывает лавку. Процветает. Становится самым богатым или почти самым богатым в городе. Строит себе дворец, но никто к нему не ходит, потому что он торгует! Как будто весь Нью-Йорк не торгует, или не торговал еще совсем недавно, или не занимался кое-чем похуже! К этой категории я отношу владельцев трущоб вроде Асторов, железнодорожных манипуляторов вроде Вандербильтов, не говоря уже о тех, кто (подобно Эпгарам) избрал своим поприщем истинно низменную профессию адвоката. Это я знаю точно. Сам чуть было им не стал.

По мере продвижения к северу экипажей и домов становилось все меньше. Время от времени нас поджидали архитектурные сюрпризы, в том числе громадная

недостроенная церковь на противоположной стороне Пятой авеню. У Макаллистера был весьма жалкий вид, когда он нам показал эту точную копию Страсбургского собора (слава богу, не коричневого цвета).

— Столько новых иммигрантов-католиков,— сказал он и тут же осекся, вероятно вспомнил о вероисповедании Эммы.— Знаете ли, мои предки по материнской линии были французы.— Началась исповедь.— Моя мать — прямой потомок Шарлотты Корде, убившей это чудовище, революционера Марата.

— Разве у мадемуазель Корде были дети? И разве ее не казнили?

Но Эмме не удалось его обескуражить.

— В душе я чувствую себя французом. Приехав в Париж в конце пятидесятых, я сказал себе: «Уорд, vous êtes chez vous enfin! [29] Я жил в отеле «Мерис» и видел всех. И среди tout Paris[30] я встретил вас, княгиня, на крещении Prince Imperial. Помните? И конечно же, время от времени я видел вас в Тюильри, когда вы были фрейлиной императрицы...

— Но...— Я толкнул Эмму под меховым пологом. Эмма не была фрейлиной до 1868 года, но тогда наш верный гид по нью-йоркскому paradiso [31] жил еще где-то, о чем он сам сказал.

Тем не менее, если Макаллистеру угодно — а ему, очевидно, угодно,— чтобы все полагали, будто некогда мы были близкими друзьями, я счастлив оказать ему эту услугу. Меня нисколько не волнуют нелепые претензии всех этих Асторов. Но меня не может не волновать одна вещь, которая никогда не бывает абсурдной,— их деньги. Я близок к отчаянию и почти готов продать Эмму тому, кто больше заплатит...

— А это Центральный парк.— Макаллистер обратил наше внимание на рощу, радующую глаз чуточку больше того, что ее окружает: хижин поселенцев, небольших ферм, невозделанных полей и особняка Мэри Мэйсон Джонс на Пятьдесят седьмой улице.

— Необыкновенно! — Эмма замерла. Я тоже. Миссис Джонс воздвигла свой настоящий парижский особняк буквально посреди пустыря.

Макаллистер одарил нас обворожительной улыбкой.

— А я вас обманул! Миссис Джонс ждет вас к завтраку. Сама она никуда не выходит, послать приглашение, видимо, не успела и поручила мне похитить вас обоих и доставить к ней.

— Но мы договорились завтракать в отеле.— Эмма настолько возмутилась, что готова была солгать, или, точнее, сказать правду. Мы обычно завтракаем в номере, поскольку еда оплачена — она входит, как это принято в американских отелях, в стоимость номера.

У Макаллистера был вид растерянного мальчишки.

— О, княгиня, извините, я полагал...

Я поспешил ему на выручку. Просто мы ждем к завтраку родственников, а они могут и не прийти. Эмма вспыхнула от негодования, но Макаллистер расплылся в счастливой улыбке Так мы попали на завтрак к Мэри Мэйсон Джонс.

Дом похож на парижский hôtel particulière[32], но только весьма странный. Во всем какая-то фальшь — в потолках с нимфами, облаками и сатирами, в золотых листьях, обрамляющих практически все, кроме необыкновенно полной и жизнерадостной хозяйки.

За столом сидела еще целая дюжина гостей, разумеется, сплошь генералы и адмиралы и, как мне показалось, все родственники хозяйки. Ни одного имени я не запомнил. Мы п пали за стол en famille [33], и Эмму это еще больше вывело из себя.

Только недавно я начал понимать, как далека моя дочь даже от своего отца. Меня, к примеру, до сих пор раздражает простота нравов, свойственная американцам моего поколения; теперь ее явно вытесняет новая чопорность и помпезность, которая меня изрядно бы повеселила, если бы эти марионетки не были столь богаты, а я столь беден.

— Я видела вас обоих несчетное число раз в Париже, но меня никто не решался вам представить: уж слишком вы были недоступны для таких, как я! — Этим приветствием Мэри Мэйсон Джонс сразу расположила нас к себе и значительно подняла

[29] Наконец ты у себя дома *(франц.)*.
[30] Всего Парижа *(франц.)*.
[31] Раю *(итал.)*.
[32] Особняк *(франц.)*.
[33] Семейный, в семейном кругу *(франц.)*.

наше реноме в глазах небольшой компании, наверняка входящей в круг «избранных» Макаллистера. Он сам был похож на кота, которому удалось притащить в дом и положить на видное место большую крысу.

Завтрак был так же обилен, как и сама хозяйка, и мы, признаюсь, воздали ему должное. Гостиничная кухня надоедает, а когда мы обедаем в городе, обычно у кого-нибудь из Эпгаров, еда, как здесь говорят, прилипает к ребрам, не доставляя никакого удовольствия.

Дама, сидевшая слева от меня, заявила, что я один из ее любимых авторов и что она часто в поисках утешения перечитывает мою «Песнь бедуина», аккомпанируя себе на фортепьяно. Я поблагодарил, скрыв из вежливости, что я не Байард Тейлор [34]. С годами становишься если не мудрее, то снисходительнее, более забывчивым, а зачастую — забытым.

По другую руку сидел весьма солидный господин, двоюродный брат нашей хозяйки. Я спросил его, что он думает о новом вашингтонском скандале. Кстати, Джейми оказался прав. Вскоре после нашей встречи в баре асторовской гостиницы большое жюри в Сент-Луисе предъявило личному секретарю президента Гранта генералу Орвиллу Э. Бэбкоку обвинение в незаконных операциях с торговцами виски. Заседания жюри обещают стать сенсацией, так как есть основания полагать, что Бэбкок незаконно получал деньги от производителей виски не только для себя, но и для президента.

— Я об этом ничего не знаю.— Сначала я подумал, что мой собеседник, вероятно, каким-то образом связан с правительством и поэтому мой вопрос оказался бестактным. Но нет, он и на самом деле ничего об этом не знает.— Потому что, мистер Скермерхорн Скайлер,— из-за макаллистеровских амбиций у меня в этом высшем свете теперь до конца дней двойная фамилия,— мы ничего не желаем знать об этих грязных делах.

— Понимаю.— Видимо, нью-йоркские джентльмены за завтраком не говорят о политике. На самом же деле, как объяснил Макаллистер, когда вез нас домой по почти уже темным улицам, настоящие джентльмены никогда не позволяют себе опуститься до такой темы, как политические деятели и политика.

Создается впечатление, что аристократия отстранилась от политики; интересно, сохранила ли она в своих руках ключик от казны? Или отдала его презренным торговцам вроде коммодора Вандербильта?

— У него, дорогой мистер Скермерхорн Скайлер, никто никогда не бывает, потому что он sauvage[35]. Он дома ходит в шляпе!

Мы с Эммой дружно выразили свое возмущение. А наш похититель развеселился.

Когда мы проезжали мимо синагоги (Макаллистер показал нам ее по дороге), Эмма вдруг повернулась ко мне:

— Знаешь, почему она построила свой дом так далеко от города?

— Чтобы жить в дачной местности?

— Нет,— сказала Эмма,— чтобы миссис Пэрен Стивенс не могла являться к ней с визитами.

Макаллистер негромко рассмеялся в меховой воротник.

— Это очень в духе Мэри Мэйсон. Что же касается миссис Пэрен Стивенс, то она с радостью пробежала бы босиком по снегу, если бы знала, что ее примут. Но этому не бывать. Надеюсь,— вдруг в его маленьких глазах вспыхнул страх,— что вы не примете ее приглашения на так называемые воскресные вечера.

Прежде чем Эмма успела сказать, что мы как раз сегодня приглашены послушать в доме Стивенсов итальянского тенора Марио, я спросил:

— Почему? Неужели у нее такая дурная репутация?

— Да! Потому что она навязчива. А кто она такая? Никто — всего лишь жена управляющего гостиницы и дочь бакалейщика, вы только подумайте — из какого-то там Лоуэлла, штат Массачусетс.— Макаллистер перешел чуть ли не на шепот.— А до приезда сюда о н и ж и л и в В а ш и н г т о н е.

— О боже,— выдавил я.— Это так ужасно?

— Конечно, и в столице попадаются приятные люди, но общий с т и л!.. Я не

[34] Байард Тейлор (1825—1878) — американский писатель и путешественник.
[35] Дикарь *(франц.)*.

открою большого секрета, если скажу, что никто не бывает в Вашингтоне без крайней необходимости.

Сколько еще мне предстоит узнать об этих забавнейших людях. Неудивительно, что страна оказалась в руках бандитов, если люди достойные настолько привередливы и глупы. За весь день я умного слова не услышал — ни во дворце мадам Джонс, ни в особняке Стивенсов, куда, разумеется, мы с Эммой отправились ради музыки, общества — и ужина.

Миссис Пэрен Стивенс — женщина довольно вульгарного вида, но с приятными манерами и озабоченная желанием выглядеть наивной, что забавно уже само по себе.

— Мы видели вашу фотографию в витрине у Рицмана! — Так она встретила Эмму, на что та прореагировала довольно сдержанно, поскольку мы оба не знали, хорошо это или плохо. Должна ли дама фотографироваться и выставляться напоказ наподобие Дженни Линд? [36] Думаю, что нет.

Тем не менее появление Эммы в гостиной Стивенсов было поистине королевским. Эмма иногда бывает очень похожа на императрицу в ее юные годы; тот же взгляд темных испанских глаз, хотя волосы у нее светлее и причесаны по современной моде на прямой пробор. Как и императрица, Эмма умеет парить — и она парила среди этого многолюдного сборища в залах отнюдь не изысканных, но кричаще богатых, загроможденных многими неуместными objets[37], не говоря уже о sujets[38].

Сейчас за полночь. Я сижу возле камина в нашей гостиной. Из спальни доносится ровное дыхание Эммы, запах ее духов. На столике букет бледно-розовых камелий, которые она перед сном поставила в вазу. Кто их прислал? Я не спросил. Здесь она примадонна, а я держусь в тени, как антрепренер, заказывающий билеты на поезда и номера в гостиницах, манипулирующий прессой, охлаждающий не в меру пылких джентльменов и подыскивающий ей мужа.

Муж, которого мы, возможно, нашли (или, скорее, взяли на испытательный срок), ждал нас у миссис Стивенс, под портретом хозяйки, на нем она выглядит как мадам Сан-Жен[39], каковой, очевидно, себя считает.

Эмма, улыбнувшись, прикоснулась к руке Джона Дэя Эпгара и позволила миссис Стивенс провести себя по комнатам, где около сотни самых элегантных нью-йоркских франтов с нетерпением ждали, когда их ей представят. Женщин среди гостей меньше, чем мужчин; да и те, что были, отличались каким-то чрезмерным блеском глаз, точно они не жены, или, во всяком случае, не жены тех мужчин, с которыми оживленно беседовали.

— Она выглядит потрясающе! — Джон впился взглядом в удаляющуюся спину Эммы.— О ней говорит весь Нью-Йорк.— Я не мог понять, хорошо это с его точки зрения или плохо.— Моя семья от нее в восторге. Особенно отец. И сестра Вера.

Мысль о папаше Эпгаре и сестре Вере, как всегда, привела меня в легкое уныние. Двумя внушительными глотками шампанского мне удалось отогнать видение последнего обеда у Эпгаров — мрачных, тучных родителей Джона, самодовольных в своей посредственности, сестры Веры, невесты Христовой, протестантки, не противящейся, однако, своей ужасной судьбе. Всякий раз, когда сестра Вера спрашивала о Париже, папаша Эпгар кашлял, а мамаша Эпгар старалась переменить тему. Париж — не тема для разговора приличных людей, особенно в присутствии девушек вроде Веры. Подходящие темы в этом доме — недостатки большинства слуг, летние дачи (когда открывать и когда закрывать сезон), еда (ее цена, а не приготовление) и время от времени — простолюдины, которые пытаются втереться в нью-йоркское общество, потому что у них есть деньги, Стивенсы, к примеру, или вульгарный коммодор Вандербильт, или Асторы.

Но здесь еще не место для моего будущего очерка об эпгаризме. Приведу лишь высказывание старшего Эпгара о губернаторе Тилдене: «Он так пьет, что по утрам не может подняться с постели». Заявление это было сделано, когда мы задымили сигарами, а дамы удалились в холодную темную гостиную. Я попытался сравнять счет: «Мне

---

[36] Дженни Линд (1820—1887)— шведская певица, гастролировавшая в США в 1850-е годы.

[37] Предметами *(франц.)*.

[38] Лицах *(франц.)*.

[39] Мадам Сан-Жен (букв.— бесцеремонная)— жена наполеоновского маршала Лефевра, бывшая прачка, шокировавшая двор своими манерами. В Версале есть ее портрет, о котором и вспомнил рассказчик.

рассказывали, что генерал Грант тоже любит выпить». «Никогда не слышал об этом»,— ответил Эпгар-старший.

Вернусь, однако, к одному из местных развлечений — воскресному музыкальному вечеру у мадам Стивенс.

Мы сидели в золоченых креслах и внимали мощному итальянскому тенору. Когда он закончил свой концерт очень громкой, с надрывом арией из «Марты», в глазах многих дам стояли слезы. Мои глаза оставались сухими, но я ощущал непрекращающийся звон в ушах. Это часто бывает, когда кровь перегрета шампанским, музыкой и обществом очень красивых женщин.

Когда с музыкой было покончено, мы отправились ужинать. Нас усадили за многочисленные маленькие столики. Я очутился между очаровательной миниатюрной женщиной Эмминого возраста и невысоким блондином лет сорока.

Я обратился к даме. Мы представились друг другу, но имен не расслышали. Пальчиком, унизанным бриллиантами, дама показала в сторону Эммы, сидевшей в другой части зала, и спросила:

— Вы уже познакомились с княгиней?

— Более того. Я произвел ее на свет.

Наградой мне был ее искренний смех, замечу с удовольствием: ничуть не похожий на эпгаровский. Это очаровательное создание зовут миссис Уильям Сэнфорд. Она показала мне своего мужа, который сидел по правую руку от Эммы.

Я выслушал от мадам Сэнфорд множество комплиментов, попутно узнав, что они с мужем строят себе дом на Пятой авеню, что у них есть вилла в Ньюпорте, штат Род-Айленд (очевидно, это самый модный летний курорт, поскольку Эпгары упрямо предпочитают Мэн), и что мистер Сэнфорд увлекается яхтами, держит скаковых лошадей и, как принято здесь говорить, ничего не делает, если судить по рассказу его жены.

После нескольких безвкусных блюд, в том числе жареных устриц, от которых я когда-нибудь прямехонько отправлюсь на тот свет, я повернулся к другому моему соседу. Хотя прославленный Эдмонд Стедман по роду занятий биржевой маклер, его истинная страсть — более или менее вознагражденная — литература и утверждение вкусов. В прошлом году Стедман издал два тома викторианской (а может быть, о викторианской) поэзии, а также томик собственных стихов; я сказал ему — здесь следует признаваться во всех грехах,— что я от них в восторге. На самом деле я только подержал книгу в руках у Брентано и выслушал рассказ продавца о поэте, который регулярно заходит в магазин, очевидно, чтобы способствовать продаже своих книг.

За свою ложь я был вознагражден еще одним приглашением выступить в клубе «Лотос», а также уверением, что я единственный из ныне здравствующих историков современности (sic?), сумевший объяснить американцам сущность междоусобиц старой безнравственной Европы.

Поскольку Стедман знает Биглоу, я попытался завязать с ним разговор о политике и последнем скандале и снова натолкнулся на странную нью-йоркскую стену — безразличия? Нет, не могу поверить, чтобы повсеместная коррупция оставляла их равнодушными.

— Литературный Нью-Йорк горячо ждет встречи с вами.

Все эти годы я много слышал о моих литературных соплеменниках, которые ордами приезжают в старую Европу и остаются там, как правило, дольше, чем собирались. По мере возможности я старался держаться от них на расстоянии. Уж очень они не вписывались в наш парижский образ жизни; это относится и к Брайанту, хотя мы с ним не раз за эти годы встречались в Европе, обычно в Италии. Я однажды пытался его уговорить (безуспешно) пойти со мной к принцессе Матильде, познакомиться с людьми ее круга, в том числе с моим другом Тэном, а также с такими занятными романистами, как Готье, братья Гонкуры и русский Тургенев. Но я никак не мог представить себе Уильяма Каллена Брайанта в этом обществе (где даже меня сорок лет спустя все еще зовут «диким белокурым индейцем»). Боюсь, что этот блестящий кружок скорее зажарит водяную птицу, чем напишет ей оду.[40]

В последнее время молодые американские писатели и журналисты накинулись на Европу, как термиты на старый деревянный дом, и Лондон принял их весьма благосклонно. Англичан завораживает все гротескное; наибольшее удовольствие доставляют им те американцы, которых они считают истинными представителями новой на-

[40] Намек на стихотворение У. Брайанта «Водяной птице».

ции, особенно люди с длинными волосами, жующие табак и со специфическим выговором американского Запада рассказывающие всякие байки о диких индейцах, пьяных медведях и скачущих лягушках — Н. П. Уиллис, Джоакин Миллер, Марк Твен и самый занятный среди них, фамилия которого, кажется, Пирс[41]. Я его не читал, но его язвительные речи произвели впечатление на императрицу, живущую в Чизлхерсте; она рассказала о нем принцессе Матильде. Быть может, нашей императрице докучают литераторы и первооткрыватели, но, похоже, сын американского Запада сумел скрасить ее изгнание. А парижанам — надо ли об этом говорить! — глубоко безразлично все, что лежит к западу от Сены и Уазы, в том числе и их бывшая императрица.

Стедман назвал нескольких литераторов, с которыми я должен познакомиться, и я ему пообещал это сделать, хотя и недолюбливаю общество профессиональных писателей. К тому же романов я больше не читаю, а современная поэзия действует мне на нервы, потому что кажется не чем иным, как тщательно разрушенной прозой.

Моя сфера — история и политика, и, пожалуй, в Нью-Йорке не слишком много историков и настоящих политических писателей, несмотря на неизменный интерес, который вызывают усилия потомка Адамсов, издающего в Бостоне «Норт Америкэн ревью»[42]. Но я, возможно, несправедлив к своим согражданам. Еще слишком рано делать выводы. Тем более что я пытаюсь сравнивать американскую доморощенную продукцию с парижской теперь, когда Париж стал наконец тем, чем он всегда себя мнил в своей гордыне — городом истинного света; озаренный Тэном и Ренаном, он бурлит, взбудораженный тысячами идей.

Забавно, что, когда в разговоре со Стедманом я упомянул французских писателей, он, похоже, их просто не знал. Конечно, он слышал о Флобере, о том, что «Госпожа Бовари» — аморальный роман, который хотели запретить даже французы; по его мнению, гораздо «лучше их всех и откровеннее» американский поэт, которого недолюбливают чопорные американские рецензенты. Я пообещал почитать этого поэта; фамилия его Уитмен, живет он в Камдене, штат Нью-Джерси; по-видимому, его неплохо покупают в Америке и хвалят даже в Англии. Счастливец! Если бы было наоборот, он бы умер с голоду.

Уильям Сэнфорд — высокий, худой (по нью-йоркским меркам) мужчина, которому еще нет сорока, с чересчур маленькой при его росте головой, тонким орлиным носом и лоснящейся бородой. в центре ее прячется непропорционально миниатюрный рот с сочными, как у девушки, губами. Я потому так подробно его описываю, что среди моих знакомых это первый настоящий миллионер, у него бриллиант в галстуке и тяжелый золотой перстень со звездным рубином; в свете люстры его темный фрак тоже казался выточенным из какого-то драгоценного материала вроде оникса или черного дерева.

Миллионер крепко сжал мою руку и посмотрел мне в глаза, точно ища в них отражение своих светло-серых глаз.

— Я пришел к заключению, мистер Скайлер, что ваша дочь — самая красивая женщина в этом зале.— Он слегка склонил ко мне свою маленькую голову, но все же остался выше меня ростом.

— Мне казалось, что пальма первенства принадлежит вашей жене,— ответил я церемонно.

Сэнфорд обнял меня за плечи (терпеть этого не могу), подвел к маленькому диванчику на двоих и усадил рядом с собой. Достал роскошные сигары.

— Их делает для меня моя собственная фирма на Кубе.

Он обрезал сигару ножичком, украшенным драгоценностями,— это был целый ритуал — и поднес мне спичку.

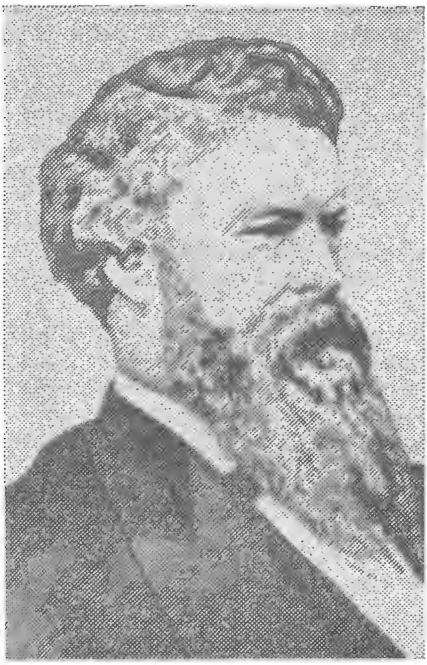
— Вы хотели кое-что узнать об Орвилле? Что ж, я именно тот, кто может вам все рассказать.

Только когда Сэнфорд разговорился, а голубой сигарный дым начал свое дурманящее действие, я понял: Эмма сообщила ему о моих планах написать об администрации Гранта и о трудностях, с которыми я столкнулся, пытаясь вызвать у людей, не принадлежащих к миру политики, хотя бы отклик на столь известное имя, как генерал Орвилл Э. Бэбкок.

---

[41] Имеется в виду Амброз Бирс (1842—1913)— американский писатель.

[42] Речь идет о Генри Адамсе (1838—1918)— американском ученом-историке и литераторе, внуке и правнуке двух президентов Адамсов.



«Герои» вашингтонских скандалов — военный министр Уильям Белнэп и личный секретарь президента Орвилл Бэбкок.

Орвилл и Сэнфорд — старые друзья. Некогда они вместе занимались железнодорожными спекуляциями.

Сегодня вечером я выпил слишком много шампанского, выкурил слишком много тонких сигар, переел жареных устриц и теперь уже не могу припомнить все детали, охотно сообщенные Сэнфордом, но я запомнил его обещание представить меня Бэбкоку и даже Гранту.

— Отличный человек, скажу я вам. Кстати, я служил в его штабе.

Сердце мое упало: майор, полковник, генерал Сэнфорд? Однако, в каком бы звании он ни был, он им не пользуется, и, чем бы он ни занимался во время войны, он тактично старается об этом не упоминать.

— Вот что следует помнить, мистер Скайлер. Наша страна не похожа ни на какую другую. О, быть может, ваши первые римляне были такими, как мы, но я в этом сомневаюсь. Нет, сэр. Мы sui generis, единственные в своем роде.— Он любезно перевел латинское выражение. Я кивал ему в ответ, глаза мои слезились от окутавшего нас едкого дыма; казалось, лицо его стало крупнее, если такое возможно, а серые глаза пристально смотрели на меня через дымовую завесу. «Миллионер в аду»,— мелькнуло в голове название статьи.— Вот что я хочу вам сказать: да, мы срезали кое-какие углы, когда строили железные дороги,— так делал я, так делал мой отец, когда одевал в джинсы жителей Запада или обжигал кирпич для жителей Востока; по чести говоря, это был настоящий старый разбойник!

Сэнфорд не находил ничего плохого в разбое, если в результате прокладывали новые мили рельсов, строчили тысячи пар джинсов и обжигали кирпич.

— Конечно, старина Орвилл влип по самую рукоятку. Это вне сомнения. Я предупреждал его. Я лично ничего не знаю про эту историю с виски в Сент-Луисе. Курам на смех, скорее всего, но Орвилл жаден, а если вы хотите сколотить настоящее богатство, никогда не следует жадничать.

— А вы, сэр? Вы не жадный или просто счастливчик? — Мой собственный голос казался мне потусторонним.

— Ну что же, скажем так: я всегда знал, когда надо встать из-за стола. Так любил говорить мой отец. Мы из Лоуэлла, штат Массачусетс. Дарвин все-таки прав, скажу я вам.

Эта неожиданная ремарка, мне кажется, очень характерна для Сэнфорда. Я не удивился, узнав, что он учился в Йельском университете, хотя и не закончил его.

— Так или иначе, вот почему мы первая страна в мире. Мы на много ступенек выше следующего отряда обезьян, и им нас никогда не догнать. Хотите знать, как мы этого добились? Ничто не могло помешать нам заполучить то, что было нам нужно.

— Например, вторую порцию десерта,— съязвил я, и маленький, довольно изящный рот одарил меня улыбкой.

— Нет, сэр. Вы встаете из-за стола, чтобы прийти завтра и съесть новый полный обед.

Я заметил, что гости стали расходиться, прервал сэнфордовскую проповедь — весьма поучительную как квинтэссенция философии этой страны — и перевел разговор в другое русло, заговорив о губернаторе Тилдене.

— Эта лиса не вызывает у меня никаких симпатий. Он сделал состояние, этого у него не отнимешь. Он самый богатый адвокат во всей стране, а таким нельзя стать, не замарав свой элегантный костюм. Так вот, если он будет баллотироваться в президенты, кое-кто из нас расскажет миру о нескольких железнодорожных сделках, в которых он был замешан. О, мы его пешком за сорок миль отправим, будьте уверены.

— Мистер Сэнфорд, вы относитесь положительно к коррупции, которая процветает в нашем обществе?

— Да,— ответил он не задумываясь.— Кому какое дело, если несколько конгрессменов получили деньги за услуги? Именно так у нас делаются дела. Я думаю, что мы в разное время заплатили каждому из них.

— В том числе и президенту?

Однако грубая откровенность Сэнфорда имеет пределы.

— Терпеть не могу всех этих Тилденов, Биглоу, Брайантов, это сборище старых слезливых баб, которые полагают, что мы имели бы все это богатство, эти железные дороги и фабрики, исправно посещая церковь! Черт возьми, мы получили все это, перерезая друг другу глотки и воруя все, что не было намертво прибито. Мистер Скайлер, сильный всегда попирает слабого, так устроен этот мир; не всякому человеку с долларами в кармане удается найти себе ловкого адвоката вроде Тилдена, поэтому вы покупаете закон, а вместе с законом покупаете и судью, если сумеете.

— Вы рисуете мрачную картину, мистер Сэнфорд.

— Для меня она полна света, мистер Скайлер.

Мы прощались в мраморном вестибюле. Миссис Сэнфорд сжала мою руку в своих ладонях.

— Беседа с вами доставила мне огромное удовольствие.

Мы стояли возле двери, распахнутой в морозную ночь. Неподалеку от нас Сэнфорд что-то говорил Эмме прямо в лицо, а Джон Дэй Эпгар пытался ее увести. Привратник уже объявил о прибытии эпгаровской коляски.

— Уильям,— позвала миссис Сэнфорд мужа.— Отпусти княгиню. Их экипаж ждет, и это задерживает всех!

По пути в гостиницу Джон рассказывал про Сэнфордов.

— Он, кажется, несколько грубоват.— Эмма на удивление заинтригована: ведь она провела почти все свои зрелые годы в Париже, успешно избегая общения именно с таким типом американцев.

— Это все напускное.— Джон не скрывал своей неприязни — а может быть, ревности? — Его отец был настоящий дикий янки; он сколотил состояние и приехал в Нью-Йорк, а там с ним никто не захотел даже разговаривать.

— Бедняга! Какое наказание! — Я знал, что Эмма улыбается под покровом темноты.

— А сам он здорово заработал на одной из западных железных дорог — удачно вложил в дело деньги жены, а может быть, отцовские. Но все считают, что это было простое везение.

— Как легко ошибиться в людях! — мудро подытожил я.

В баре гостиницы, куда мы с Джоном, отпустив Эмму спать, зашли выпить на прощание, он сказал:

— Я хотел бы жениться на вашей дочери, сэр.— Наконец-то! Он изрядно нервничал, но знал все слова, какие надлежало произнести.

Я был не столь уверен в себе, поскольку не прочитал тех романов и не видел тех пьес, из которых он почерпнул свои чисто эпгаровские интонации.

— Мой мальчик!— Я знал, что это нужная фраза, сочетающая в себе симпатию, изумление и — угрозу? — А она...— Но даже я не мог выдавить из себя ожидаемое «любит?». И заменил «любит» на «знает?».

— Да, сэр. Она знает, что я хотел бы видеть ее своей женой. Я сказал ей, как рады мои родители.

— Должно быть, она польщена.— Я представил себе, как это восприняла бы Эмма.— Но позвольте мне с ней поговорить,— сказал я. Конечно, деньги нам нужны, но неприличная спешка ни к чему.

— Но вы не против, сэр? — Мальчик в самом деле нервничал; так, запутавшись в паутине, муха пытается умилостивить паука.

— Конечно нет. Я желаю только...— О, я уже изрядно освоился. Жорж Санд както говорила мне, до чего легко сочинять романы. «Надо просто открыть кран»,— сказала она. Вероятно, роман течет сам по себе, потому что в нашем буржуазном мире ничто, никогда и никого, в разговоре особенно, не может удивить.— Я желаю ей только счастья.

Не сказать ли мистеру Даттону, что я не прочь написать роман? Нет. Потому что тогда мне самому пришлось бы прочитать несколько книг, а для этого требуется желудок покрепче. Единственный в наше время романист, чьи книги я читаю с удовольствием,— это очаровательный русский парижанин Тургенев. С необычайной страстностью пишет он о политике, а потому умеет воссоздавать живых мужчин и женщин; прочие же романисты старательно пытаются нарисовать словами людей, которых, как им кажется, они знают или о которых читали, а в результате получается та самая невразумительная болтовня, от которой мы страдаем каждодневно всю нашу жизнь.

«Я желаю ей только счастья».— «Я сделаю все, что в моих силах, сэр».— «Какие у вас виды на будущее?» — «Четвертая часть доли моего отца в нашей конторе».— «Достаточно, чтобы обеспечить мою Эмму?» — «О да, сэр! Я уже подыскал дом. Напротив родителей».— «Как удобно!»

Так мы трещали до конца неизбежной сцены. Я не решался вставить хоть одно умное или необычное слово, он же не был на это способен.

Какова доля отца в конторе девяти Эпгаров? И что такое ее четвертая часть? Если Тилден не станет президентом, новобрачным придется позаботиться о стареющем литературном родственнике.

2

«Леджер» охотно взял мою статью об императрице Евгении. Я получу 750 долларов. Мистер Боннер лично написал мне, что он в восторге от статьи. «Если вы согласитесь, мы, конечно, сократим ваш текст и слегка его перестроим...» Мне все равно; пусть печатают хоть задом наперед. Еще до завтрака я телеграммой подтвердил свое согласие.

В хорошем настроении я отправился с Эммой по магазинам. И у «Альтмана», и у «Лорда и Тейлора» княгиню уже хорошо знают, и она пользуется неограниченным кредитом. Меня очень забавляют эти громадные дворцы, в которых торговля идет по отделам. Они расположились вдоль Бродвея от магазина Стюарта на Девятой улице до Двадцать третьей улицы. Этот отрезок Бродвея называют здесь «женской милей», и даже в сырое зимнее утро элегантные дамы набрасываются на магазины, как победоносная армия — на завоеванный город.

И все же эта богатая миля обнаруживает повсюду признаки экономического кризиса. Не счесть нищих, проституток и «уличных крыс». «Уличные крысы» — это истощенные дети в лохмотьях, роющиеся в мусорных баках, собирающие кости и тряпье. Согласно подсчетам «Геральд», по улицам бродят более тридцати тысяч бездомных детей; они живут в подвалах, ночуют в бочках и упаковочных ящиках. Те немногие из них, кто ухитряется выжить, становятся потом проститутками и уголовниками.

Должен сказать, что это очень жестокий город, не тот, что был во времена моей юности, когда преступность и бедность, конечно, существовали, но концентрировались в одном только районе, центром которого является знаменитая площадь Пяти Углов. (Нужно сходить туда поскорее, посмотреть, изменилось ли что-нибудь. Когда-то я знал

там каждый бордель.) Теперь половина города кишит беднотой, главным образом иммигрантами из Европы. В морозные ночи им разрешают ночевать в полицейских участках. У богатых горожан есть все основания бояться коммунизма. Здесь дела обстоят похуже, чем в Париже в 1871 году.

Эмма в ужасе, как и я. Но ее вывод чересчур решителен:

— Если не будет новой войны, то всех бедняков надо отправить на Запад. Там ведь сколько угодно места?

— Да, но эти люди ничего не умеют делать.

— Тогда пусть умирают.

— Это так жестоко, среди них дети.

— Ужасно.— Несмотря на сочувствие, Эмма держится твердо.— Настолько ужасно, что для них лучше было бы умереть.

— Может быть, лучше, чтобы о них позаботились?

— Твои соотечественники не отличаются добротой, папа.

На эти суровые слова мне нечего возразить.

Везенье мое продолжается. В гостинице нас ждала телеграмма от губернатора Тилдена. Не пообедаю ли я с ним в канун рождества в доме 15, на Грамерси-парк? Я телеграфировал согласие. Джеймс Беннет приглашает меня и Эмму в театр. Приглашение принято.

Пока Эмма переодевалась к дамскому завтраку у Мэри Мэйсон, у двери появился посыльный с причудливым сооружением из орхидей.

Я поставил цветы на круглый мраморный столик в центре гостиной и машинально открыл приложенный к букету конверт. «Бледная тень истинной красоты» — таково было вдохновенное послание, причудливо выведенное нетвердой рукой. Подпись привела меня в изумление: «Уильям Сэнфорд».

Эмма даже не посмотрела на послание.

— Ужасно вульгарно... орхидеи. Вульгарно, как и сам Сэнфорд.

— Ты знала, что это от него? — Я почему-то почувствовал облегчение.

— От кого же еще? — Не глядя, она швырнула карточку в огонь.

— Он очень самоуверен. Знает ведь, что ты практически обручена с Джоном. Я сказал ему об этом.

— Я... обручена? — Я знаю свою дочь: иногда она судит о вещах, пользуясь совершенно иной, необычной, для меня недоступной шкалой морали.

Я еще не рассказал ей о вчерашнем разговоре в баре. Теперь было самое время. Она внимательно выслушала и расхохоталась:

— Бедный папочка! И подумать только, что тебе пришлось произносить все эти слова!

Я тоже рассмеялся: чувство юмора нас объединяет. Согласился, что в этой ситуации достоин сожаления именно я. Всю жизнь я овладевал тонкостями французской расхожей морали, а теперь иду на дно под тяжестью американской.

— Я никак не могу представить себе эту страну твоей.

— Не сердись. Это ненадолго.

— Пока я не выйду замуж? — Трудно понять, что стоит за словами Эммы. Наверное, потому, что теперь мы говорим друг с другом по-английски, а говоря по-английски, она становится совсем другим человеком, как, впрочем, и я сам. Языки морально подчиняют людей своей грамматической логике.

— Пока я не получу пост посланника во Франции, если я вообще его получу.— Я перешел на французский, чем сразу восстановил взаимопонимание.— Ты хочешь выйти замуж за Джона?

— Если ты этого хочешь.

— Зачем ты так говоришь? Ты сама должна решать.

— Но ты бы этого хотел?

— Он приемлем.

— Приемлем! — Наконец-то Эмма оживилась. Разговаривая по-французски, она становится женщиной латинского мира, и тогда мне с ней легко; все-таки я ее отец.

— Эпгары...

— Великолепны! Знаю. Они твердят мне это каждодневно. А сестра Вера! Она чувствует себя Жанной Д'Арк!

— Деньги.— Я держался сути.

— Но сколько? — Она тоже.

— Со временем, полагаю, немало.

— Ты представляешь меня жительницей Нью-Йорка?

На моих глазах появились непрошеные слезы.

— Не хочу, чтобы ты была от меня далеко.— Мне не нужно ей ничего объяснять. Из всех живых существ только писатели точно знают, что они смертны.

— Джон хотел бы объявить о помолвке под Новый год.

— Помолвку всегда можно отменить...— начал я.

— Это не так просто. Особенно здесь, в стране Эпгаров.— Кажется, Эмма понимает эту страну глубже, чем я. Ей бы следовало запечатлеть этот мир на бумаге: она и в самом деле его видит, тогда как у меня перед глазами только мы двое, барахтающиеся, чтобы не опуститься на дно.

— Он не исключал возможности поселиться когда-нибудь во Франции.— Слабый аргумент, я это сам знал.

— Они никогда ему не позволят. Ну что же,— Эмма накинула все еще роскошную соболиную шубку своей матери.— Пусть помолвка состоится под Новый год. Думаю, так будет лучше всего.

— А свадьба в июне?

— В церкви Благоволения. Где же еще? — Эмма улыбнулась, и ее темные газельи глаза остро напомнили мне вдруг выразительные, искрящиеся, всевидящие глаза Аарона Бэрра.— Папа, мне тридцать пять, и у меня нет выбора, да и времени тоже.

Вот так. Меня всегда восхищала суровая французская практичность, хотя от нее до костей пробирает холод. Эмма поцеловала меня в щеку и ушла. Ее фиалковый запах до сих пор витает в комнате.

3

Дни бегут. Жизнь превратилась в непрерывную и утомительную череду светских приемов. Если верить популярной прессе — а таковой здесь явный избыток,— блистательная княгиня д'Агрижентская стала сенсацией нью-йоркского сезона; встречаются иной раз туманные намеки на то, что она, возможно, вскоре выйдет замуж здесь, в Старом Готаме [43], за одного из никербокеров. Все это излагают в ужасном, подражательном стиле.

После того как я получил деньги от Боннера, я больше не просыпаюсь среди ночи, терзаемый страхами. Но доллары в этом городе тают, как вчерашний снег, и гонорар из «Леджера» не меняет дела.

Сегодня я обедал с Ричардом Уотсоном Гилдером. Я отказался от нового визита в клубы «Столетие» и «Лотос». В подобных местах встречаешь слишком много писателей и, увы, совсем мало издателей.

В прошлую субботу состоялось мое обещанное выступление в «Лотосе». Всем понравились мои рассказы о Франции после падения империи, но никакого интереса не вызвали французские писатели.

Обедали мы с Гилдером во французском ресторане, пользующемся хорошей репутацией: он расположен на Четырнадцатой улице точно напротив роскошного зала «Стейнвей», где играют оркестры и болтают лекторы. Если не ошибаюсь, в один из своих приездов в Нью-Йорк там был Чарльз Диккенс.

Гилдер весьма приятный человек, несмотря на свои неустанные усилия чего-то добиться в литературном мире, вызывающие у меня некоторую неловкость. Я встречаюсь с ним, потому что он редактор «Скрибнерс мансли» и он охотно меня печатает. Он встречается со мной, потому что очарован моей... экзотичностью, что ли?

— Вы такой чисто американский писатель и в то же время такой иностранный! — Лицо его сияло улыбкой в клубах пара, поднимавшегося от тарелки превосходного фасолевого супа.

К счастью, у мадам Лино есть маленькие столики наряду с длинными столами, которым так преданы американцы. Даже в гостинице «Пятая авеню» приходится обедать за столом на тридцать персон, за которым зачастую сидит именно столько же совершенно незнакомых вам людей. Ничего не поделаешь. Демократия.

---

[43] Шутливое название Нью-Йорка, впервые использованное В. Ирвингом. Готам — английская деревня, жители которой прославились множеством смешных и глупых поступков, описанных в старинной книге «Веселые сказки Готама».

— Наша литература стала теперь театром военных действий, мистер Скайлер,— сказал Гилдер подавленно.— Идет война не на жизнь, а на смерть между реалистами, как они любят себя называть, и писателями хорошего вкуса, как вы, как Брайант.

Мне не доставил радости столь льстиво предложенный общий венок, но я промолчал. В конце концов, меня лично мало интересуют текущие литературные дела. Пока мне нет необходимости самому читать всех этих новых великих писателей, я могу их превозносить или хулить, смотря по обстоятельствам.

Цитаделью реализма стал журнал «Атлантик мансли»; его издает в Бостоне выходец со Среднего Запада по фамилии Хоуэллс [44], обаятельный человек, но слишком литературный, что ли, я видел его несколько лет назад в Венеции, где он совсем еще молодым занимал пост американского консула — то была награда ему за восторженную предвыборную биографию президента Линкольна.

Для себя: намекнуть Даттону, что я готов написать такую же биографию губернатора Тилдена. Мы с Биглоу переписывались на сей счет, и хотя логичнее было бы поручить это ему, он будет слишком занят предвыборной кампанией и к тому же считает, что я «способен лучше других представить губернатора той небольшой части избирателей, которая умеет читать».

Хоуэллс пишет реалистические рассказы во французской манере, а также очень живые истории о Дальнем Западе, жанр теперь наиболее популярный. В самом деле, если вы не с Запада (или не умеете писать так, как люди Запада), дверь к настоящему успеху для вас в лучшем случае едва приоткрыта. На противоположной стороне литературного мира находятся изысканные журналы, для которых пишу я, в том числе журнал, издаваемый Гилдером.

— Мы никогда не должны забывать,— громко сказал Гилдер, опасаясь, вероятно, как бы я не забыл его мысль, пока он будет ее излагать,— что наша аудитория почти целиком состоит из дам. Да благословит их господь!

Я благословил их, жуя отличную французскую булку.

— Вот почему «Атлантик» Хоуэллса теряет подписчиков,— продолжал он.— Он то и дело шокирует дам или, что еще хуже, повергает их в скуку.

— Значит, наших дам очень легко шокировать, а скуки им не занимать.— Я сказал то, что думал, вернее, то, что только думал сказать.

Но, как и большинство людей, Гилдер слышал лишь то, что хотел услышать.

— Я не всегда соглашаюсь со Стедманом или другими нашими друзьями относительно того, где начинается настоящая литература. Марк Твен шокирует и бывает грубым, но при этом я считаю его высокоморальным человеком, оказывающим положительное влияние на публику.

— А я считаю его самым презренным балагуром, который дурачит невежественную деревенщину.— Я терпеть не могу Марка Твена, и несколько недель вынужденного молчания о нем вызвали эту необычную для меня вспышку.

Гилдер удивился меньше, чем я мог ожидать.

— Однако Твен здесь своего рода божество,— заметил он сдержанно.

— Особенно среди тех, кто не умеет читать.— На меня нашло.— Ему и притворяться ни к чему.— В течение нескольких лет Твен объездил с лекциями весь мир, рассказывая байки и анекдоты наподобие Дэйви Крокетта. К несчастью, я вряд ли доживу до твеновского Аламо [45].

— Но согласитесь, Скайлер, сила его рассказов...

— Он прекрасный комедиант, и я с удовольствием посмотрел бы на него на сцене. Но будь моя воля, я сжег бы весь тираж «Простаков за границей».

Моя неприязнь к Твену вполне объяснима. Профессиональный балагур, прогуливающийся среди руин блистательной Европы, презрительно отпускающий шуточки в адрес цивилизации. И все это для того, чтобы уверить своих оставшихся дома соотечественников в том, что они при всем своем невежестве, фанатизме и низости не люди, а подобие божие, а если им, не дай бог, придется оглядеться вокруг и заметить уродство своих городов и убожество своей жизни, то что ж, на этот случай есть славный добряк Марк, который объяснит им, что они все равно лучшие люди на свете, да еще в лучшей стране мира, а потому спешите покупать его книги! Скажу только одно в его пользу: его читают люди, которые обычно вообще книг не читают.

---

[44] Уильям Дин Хоуэллс (1837—1920)— американский писатель.

[45] В сражении при Аламо (крепость на месте нынешнего города Сан-Антонио в штате Техас) во время американо-мексиканской войны в 1836 году погиб весь гарнизон американской армии, в том числе известный конгрессмен-авантюрист Дэвид Крокетт.

А это уже кое-что. Всем известно, что любимая книга нашего президента — «Простаки за границей» (уж не единственная ли?).

Гилдер, изо всех сил стараясь меня успокоить, заметил, что попытка Твена написать роман совместно с Чарльзом Дадли Уорнером закончилась провалом, хотя пьеса, созданная на основе «Позолоченного века», не сходит со сцены.

— А теперь он снова, кажется, провалился.— Думаю, Гилдер не испытывает радости от провала другого писателя.— В этом месяце вышла его новая книга, на этот раз детская. У Брентано мне рассказали, что ее никто не покупает.

После обеда я предложил Гилдеру прогуляться до площади Пяти Углов. Он был шокирован:

— Вы шутите, мистер Скайлер?

— Должны же мы пойти на какие-то уступки реалистам! Тем более что во Франции писатели — завсегдатаи подобных мест.

Гилдер помрачнел:

— Знаю я этих писателей. Сплошная грязь.

После двух месяцев общения с литературным миром во мне снова пробудился интерес к жизни дна. Сегодня я отдался ему безраздельно.

Хотя час уже поздний, я чувствую себя превосходно, несмотря на нагрузки, которые в моем возрасте вполне могут привести к скоропостижной кончине по причине чувственного перевозбуждения.

Джейми заехал за нами по дороге в театр, далее должен был последовать ужин у Дельмонико. Я думал, что он приедет со своей невестой, красавицей из Балтимора, но он был один и не совсем трезв.

— Сегодня вас ждет редкостное удовольствие,— таинственно повторял Джейми, но мы оба все знали заранее, ибо газеты вот уже несколько дней ни о чем другом не пишут.

— Ну, конечно, это Оуки Холл! — сказал я, когда мы подъехали к театральному подъезду.— Ведь сегодня его премьера.

— В газетах пишут только о нем, но я до сих пор не знаю, кто же такой Оуки Холл.— Эмма быстро пробегает глазами наши газеты, но мало что в них понимает.

— Необычайно яркая личность, не правда ли, Скайлер?

— Мне не приходилось с ним сталкиваться.— Я повернулся к Эмме: — Он был мэром Нью-Йорка. Членом твидовской шайки. Его тоже не раз пытались посадить за решетку.— Кстати, Твид, по слухам, обосновался в Мексике, где ему ничего не грозит.

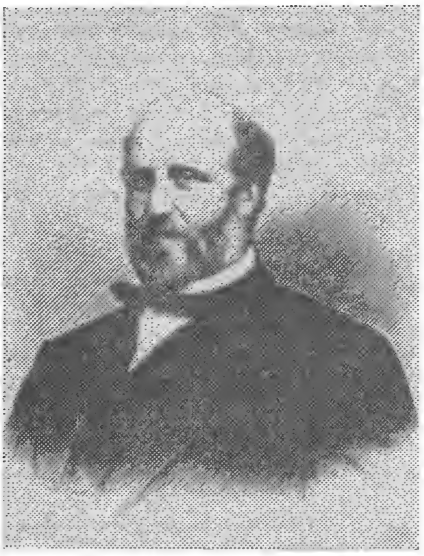
— Оуки избежал тюрьмы, потому что крал умеренно.— Джейми весьма расположен к Холлу, которого все находят очаровательным и считают к тому же самым элегантным мужчиной Нью-Йорка — что бы это ни значило. В бытность мэром он не только воровал, но и удостоился титула «король богемы». Адвокат по профессии, он питает страсть к сочинительству; журналисты обожают его и видят в нем своего выдающегося собрата.

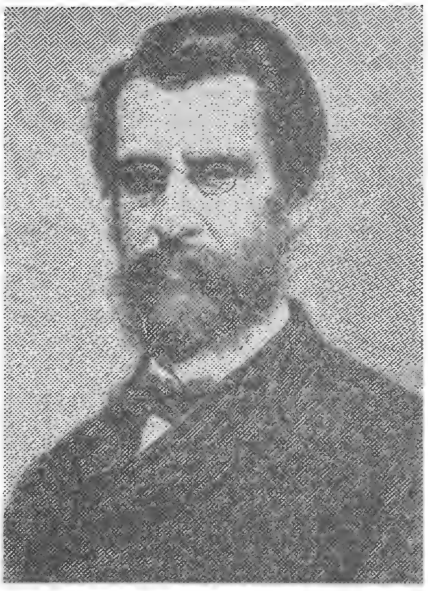
— Он сочинил пьесу. Я читал об этом в газетах.— Через запотевшее стекло кареты видна освещенная яркими огнями афиша: «Суровое испытание», пьеса, «предложенная театру и поставленная» (хотя на самом деле еще и написанная) Оуки Холлом, который, к радости ньюйоркцев, выступает также и в качестве исполнителя главной роли.

Оказавшись в фойе американского театра впервые после 1837 года, я испытал прежнее волнение, хотя тогдашний Парк-тиэтр был совершенно другой и играл он для совершенно другой публики, ныне почти целиком исчезнувшей и присоединившейся к большинству.

Джейми с улыбкой приветствовали разные важные особы; среди них человек средних лет, наследник коммодора Вандербильта, к которому Джейми относится с явным почтением. Правда, мистер Вандербильт умом не блещет, и поговаривают, что его папаша (который, по-видимому, умирать не собирается) не слишком-то верит в способность «молодого» Уильяма взять на себя руководство нью-йоркской Центральной железной дорогой и всей краденой империей в целом.

Почему я так восхищаюсь Бонапартами, но презираю этих жуликов? Дело в масштабах, наверное. Бонапарты стремились к славе. А эта порода людей жаждет только денег. Лишь совсем недавно начали они — весьма торопливо — тратить деньги на благородные, с их точки зрения, цели: собирать произведения искусства и возводить двор-





Авантюристы, вошедшие в историю США,— лидер Таммани-холла Уильям Твид и мэр Нью-Йорка Оуки Холл.

цы. Интересно, обнаружится ли среди них новый Август, который, заполучив Нью-Йорк, сложенный из песчаника, оставит после себя город мраморных дворцов?

Нам представились несколько человек. Приятнейшее впечатление на меня произвел высокий мужчина средних лет с лицом кирпичного цвета, элегантно одетый и с прекрасными манерами.

— Нас познакомили в клубе «Столетие», мистер Скайлер. Но вы, конечно, меня не помните. Вы были с мистером Стедманом. Я чрезвычайно рад снова встретиться с вами.

Я притворился, будто помню его. Когда мы сели на свои места (спектакль задержался на целый час), Джеймс рассказал мне, что этот человек занимает чрезвычайно влиятельный и выгодный пост главного таможенного инспектора нью-йоркского порта, на котором мой давным-давно умерший друг, превратившийся ныне в легенду, Сэм Свартвут, украл более миллиона долларов. Будем надеяться, что генерал —да, это еще один генерал — Честер Артур[46] будет либо смелее, либо осторожнее.

Генерал Артур сказал мне, что еще в колледже он зачитывался моей маленькой книжкой «Макиавелли и последний сеньор». Я был поражен. В старые времена таможенники нью-йоркского порта книг не читали: они знали только, как складывать и вычитать — в основном последнее.

Пьеса доставила мне истинное удовольствие. Бывший мэр Нью-Йорка — щеголь в пенсне, забавно сползающем на нос, то есть сползавшем на нос, под которым красуются пышные усы, то есть красовались пышные усы. Я пишу в разных временах, потому что к концу этого необыкновенного зрелища бывший мэр, добиваясь абсолютной правдивости сцены в тюрьме, сбрил свои усы и оказался без пенсне.

Результат получился ошеломляющий. В первых актах Оуки Холл держался уверенно и играл вполне убедительно. Теперь он, как близорукий, метался по сцене, натыкаясь на мебель, а голос его стал еле слышным, когда язык, пытаясь воспроизвести звучные согласные, тщетно ожидал содействия пышных усов, столь долгое время способствовавших его красноречию.

Я смеялся до слез, когда этот несчастный человек, одетый в мешковатую тюремную одежду Синг-Синга, плакал от жалости к самому себе. Нечего и говорить, что отважный автор-актер удостоился бурной овации вскочивших на ноги зрителей, и будь я по-прежнему «Мышью с галерки» из «Пост», я написал бы в завтрашний номер потрясающую рецензию!

---

[46] Честер Артур (1830—1886)— двадцать первый президент США (1881—1885).

У Дельмонико было полным-полно народу. Мы оказались у входа вместе с управляющим Чарльзом Дельмонико, который почтительно нам поклонился.

Из трех ресторанов Дельмонико самый модный, конечно, тот, что на углу Юнион-сквер и Четырнадцатой улицы. Пол устлан толстыми коврами. Светильники в дорогих абажурах. Какое это удовольствие — не лицезреть своих сотрапезников и самому скрыться от их назойливых глаз! Шелковые занавески сохраняют приятное тепло, но не создают духоты, какая нередко бывает в переполненных и плохо проветриваемых ресторанах.

Когда мы пересекали главный обеденный зал, направляясь в облюбованный Джейми угол, из-за своего столика поднялся Уорд Макаллистер и церемонно поздоровался с нами.

Джейми подвел Эмму к нашему столу, а Макаллистер, от которого разило портвейном, прошептал:

— Она ждет вас в среду. К обеду! Вас и княгиню.

— Кто? — Иногда голос мой звучит чересчур громко. Слух у меня нормальный, но я склонен к громогласию, характерному для глухих; причиной тому отвратительный оглушающий гул крови, ударяющий в барабанные перепонки.

— Таинственная Роза! — Он просвистел эти магические слова мне в ухо.— Могу ли я передать ей, что вы согласны? Тогда она разошлет приглашения. Вы, наверное, знаете, что я ее лазутчик.

— С удовольствием, разумеется. Вы так добры. И о н а тоже,— пробормотал я, удаляясь.

Джейми и Эмма вспоминали реплики из пьесы и смеялись.

— Похоже, что Таинственная Роза ждет нас на обед в среду.

— Надеюсь, ты сказал «нет»,— безукоризненно отреагировала Эмма.

— Конечно, я хотел сказать «нет», но получилось «да».

Ужин был отменный, хотя и слишком обильный. Салат из омаров — фирменное блюдо этого заведения, он нисколько не хуже парижского (только перец не такой). За ним последовала утка-нырок в необыкновенно вкусном соусе. Птицу эту подают на званых обедах так часто, что для элиты она теперь нечто вроде американского орла. Черепаха — еще одно фирменное блюдо Дельмонико, которое я успешно осваиваю. Но мне, очевидно, так и не суждено оценить коронный номер шеф-повара — мороженое с трюфелями. Еще у Дельмонико подают охлажденный кофе, его я могу выпить сколько угодно; половина кофе и половина мороженого, эта сладкая смесь почти замораживается и подается в запотевших стаканах.

Сейчас два часа ночи, и черепаха все еще сражается с уткой-нырком, чей орлиный клюв вгрызается в мою прометееву печень. Но пульс нормальный, и никакого гула в ушах. Очевидно, полковник Бэрр был прав: для сохранения здоровья и долголетия нужно как можно чаще предаваться чувственным наслаждениям. Сегодня я добавил по меньшей мере месяц к отпущенному мне сроку.

Эмму проводили домой, а я отправился дальше. Сначала я упирался:

— Я слишком стар для таких развлечений.

— Откуда вы знаете, что я задумал? Поехали, будьте молодцом, Чарли.— Этот мальчик теперь обращается со мной как со своим сверстником. Наверное, я должен этому радоваться. Конечно, после вчерашнего соглашения с «Геральд» приходится разрешить ему некоторую фамильярность: по тысяче долларов за каждую статью каждую неделю в течение четырех месяцев, которые остаются до съезда республиканской партии. Значит, я должен получить шестнадцать тысяч долларов. Неплохо!

Кстати, «леджеровская» версия моей «Императрицы Евгении» будет напечатана в субботу. Гранки привели меня в некоторое замешательство. Они там все перекроили, пытаясь «улучшить» мое скромное сочинение подр бным описанием наряд в императрицы, выдержанным, как им кажется, в моем стиле. Результат получился чудовищный.

Возница Джейми отлично знает своего хозяина Ни о чем не спрашивая. он повез нас на запад по Пятой авеню; несмотря на поздний час, нам навстречу попалось несколько саней.

— Мы едем в китайскую пагоду,— объявил Джейми, слегка протрезвев,— там такие красотки, каких вы отродясь не видели. Меня там знают,— добавил он, как будто я требовал каких-то гарантий.

Мы выехали на Шестую авеню, которая теперь играет в Нью-Йорке роль прежней площади Пяти Углов. Днем на всем протяжении от Четырнадцатой до Двадцать треть-

ей улицы Шестая авеню прячется в тени надземной железной дороги. Ночью эта тень погружает авеню в кромешную тьму или превращает в джунгли — излюбленное словечко бойких журналистов. Должен сказать, что опоры надземки, зловещий лес столбов — прекрасное укрытие для картежников, шлюх, жуликов и убийц.

Улица была пустынна. Стоял лютый мороз. Лошади, постукивая копытами, везли нас под умолкшей надземной железной дорогой. В некоторых окнах горел свет, виднелись фонари красного или синего стекла с именем хозяйки, выведенным белой краской: «Флора», «Жемчужина», «Амазонка». Это вывески проституток.

Мы остановились у какого-то дома. В окнах не было света, вообще никаких признаков жизни. Мы вышли. Возница спросил у Джейми:

— Ваш пистолет при вас, сэр?

Джейми кивнул и похлопал себя по карману пальто:

— А твой?

— Да, сэр. Я буду ждать здесь. Как обычно.

Мне стало не по себе.

Джейми постучал. Забранное чугунной решеткой окно приоткрылось. Несколько слов, сказанных шепотом, и нас впустили в шумный, залитый ярким светом и прокуренный зал, где под музыку Оффенбаха танцевали девушки в костюмах для канкана; они были в сапожках с красными кисточками. По какой-то причине такие сапожки de rigueur [47] подобных мест. Отличительный знак? Или просто порочный вкус владельца?

Крупный, хорошо одетый человек-горилла подвел нас к простой деревянной лестнице. Когда я поднялся за ними в длинный коридор со множеством дверей, мне стало не по себе.

Наш проводник открыл одну из дверей и провел нас в ложу, откуда, скрытые пыльной бархатной портьерой, мы могли видеть все, что происходило внизу.

— Если что, дайте мне знать, мистер Беннет.

— Ну, что скажете, Чарли? — Опьянение набегает на Джейми волнами; как только язык у него начинает заплетаться, а движения теряют координацию, он вдруг весь подтягивается, каким-то образом изгоняет из головы хмель и на время трезвеет. Конечно, поездка по морозной улице прочистила ему мозги, и он снова принялся оглушать их шампанским, поданным в ведерке со льдом.

Я начал разглядывать танцующих. Не девушек на сцене, а тех молоденьких женщин, что танцевали с какими-то подозрительными типами,— очень свеженьких, хотя и густо нарумяненных.

— Дорогое местечко эта китайская пагода. Конечно, ничего китайского здесь нет. И не всякого сюда пускают. Нужно быть таким повесой, как я, или удачливым наемным убийцей, как вот та Железная Маска.— Джейми показал на толпившихся у бара клиентов, среди которых было не менее двадцати достойных кандидатов на эту роль.— Если найдете что-нибудь по вкусу, я плачу́.— Джейми грациозно помахал рукой в сторону танцующих.

— Боюсь, что...— Меня охватил страх, как прячущегося за занавеской Полония. И тем не менее впервые, должен признаться со стыдом (это выражение обычно употребляют, чтобы угодить читательницам, но мужчины — если они вообще читают — могут заменить «со стыдом» на «с удовольствием»), я снова ощутил, что нахожусь в своем Нью-Йорке, на площади Пяти Углов сорокалетней давности, когда мы с Лептетом бродили, как персонажи «Тысячи и одной ночи», и знали как свои пять пальцев все приличные бордели в этом районе. Теперь мне предстоит так же хорошо изучить кабинет министров генерала Гранта и в совершенстве разобраться в тонкостях юридических побе́д губернатора Тилдена.

— Знаете, там был сейф, битком набитый компрометирующими документами. Они его взломали.

— О чем ты, мой мальчик?

— О генерале Бэбкоке. Завтра я пришлю вам мои записки. Но все это полнейшая тайна.

— Бэбкок сам пытался вскрыть сейф?

— Он и его дружки из этой банды торговцев виски украли почти десять миллионов. Конечно, он получил свою долю. Да, влип, можно сказать, по уши...— Но тут на Джейми вновь накатила волна опьянения, и я уже не мог разобрать ни слова.

---

[47] Обязательная принадлежность *(франц.)*.

— Так что же с этим сейфом?

— А-а...— Он слегка протрезвел.— Бэбкок использовал для взлома сейфа секретную службу.

— Но это же незаконно!

— Конечно! Еще как незаконно! Личный секретарь президента использует секретную службу Белого дома для взлома сейфа. Если даже это не свалит Гранта, значит он вообще неуязвим.

Прямо под нами на столе танцевала темноволосая девушка. Джейми одобрительно присвистнул:

— Нравится?

Я больше не мог и не хотел прятаться за занавеской.

— Да,— сказал я.— Еще как.

— Сейчас будет сделано.

Он сдержал слово. Каждая из дверей на противоположной стороне коридора вела в небольшую комнату. Я нервничал, как мальчишка, и вдобавок был смущен донельзя, что, впрочем, естественно для тучного, усталого мужчины шестидесяти с лишним лет, когда перед ним оказывается жизнерадостная темноволосая ирландка с васильковыми глазами и весьма пышными формами.

— Вы, погляжу я, солидный господин.— Улыбнувшись, она начала расстегивать блузку.— В таком случае закажите шампанского, ладно? Нет, не для меня, но мистер Хорнер прямо-таки из себя выходит, если мы не выставим клиента хоть на бутылочку шипучки его собственного изготовления. Звонок здесь. Ох, эти сапоги меня когда-нибудь угробят!

Я позвонил, попросил шампанского, которое принесли минутой позже. Старый негр-официант ловко откупорил бутылку. Я дал ему пятьдесят центов чаевых. (Джейми проинструктировал меня относительно цен, да и всего «протокола»; девушка должна получить двадцать долларов.)

Пока Кэтлин — так звали девушку — помогала мне одеваться, мы приятно поболтали о том о сем. Как и большинство девушек ее положения, она мечтает когда-нибудь открыть собственное дело.

— Приходится быть очень бережливой, потому что с деньгами теперь туго. Я накопила, представляете, больше тысячи, да все потеряла, когда Джей Кук лопнул в семьдесят третьем.

Я расхохотался, и, как ни странно, дышалось мне на удивление легко.

— Что ты говоришь! Я ведь тоже влип и разорился вчистую, и в тот же самый год.

— Бедняга! — Мы посочувствовали друг другу. Оказалось, она отлично разбирается в финансовых проблемах. Получше меня, это уж точно. И немудрено: она регулярно принимает банкира, которого очень интересуют акции железнодорожной компании Огайо.

Она похвалила меня за мои неугасшие силы.

— ...Добрая половина джентльменов еще не оправилась после биржевой паники.

— Ты хочешь сказать, что это... отразилось на их достоинствах?

— Прямо трагедия. Они стараются. Я стараюсь. Мы стараемся. Но все впустую, если плакали ваши денежки. Я иногда жалею мужчин.

Джейми был уже внизу и поджидал меня у бара. Необычайно довольный собой и тем, что я ничуть не задыхаюсь, я начал спускаться по узкой лестнице и тут же столкнулся лицом к лицу с отвратительным персонажем прошлого — Уильямом де ла Туш Клэнси. Он безобразен, как и в прежние времена, на лице экзема, скорее всего сифилитическая. С ним был несчастный смуглый юноша, турок или еврей, мускулистый и жаждущий заработать, потому что только умирающий от голода может продать себя такому человеку, как Клэнси, обезображенному явными признаками болезни.

Джейми стоял у бара в обществе нескольких важных особ. Мне показалось, что я видел их в ресторане или в театре. Кого-то я даже принял за одного из Эпгаров (четвертого или пятого из девяти братьев). Если бы это было так! Но я ошибся. Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из этого самодовольного братства показался в таком месте. Впрочем, джентльмены самого разного толка регулярно посещают тихое и дорогое заведение некой Джози Вудс. Самым же любопытным из трех тысяч трехсот борделей города (подсчеты Джейми, почерпнутые из досье «Геральд») является или являлось заведение Аллена, священника униатской церкви. Расположенное на Уолтер-стрит, оно не только соперничает в роскоши с заведением мисс Вудс, но и может похвастать библией,

красующейся на самом видном месте в каждой из комфортабельных, обставленных по-домашнему спален.

У Джейми хватило такта не представлять меня своим друзьям, хотя подозреваю, что меня узнали. Впрочем, никому до сих пор не повредила репутация пожилого человека... все еще полного сил.

Сознаюсь, я подошел к бару с несколько чванливым видом (надеюсь, не вразвалку) и заказал коньяку, чтобы взбодриться и отбить вкус сомнительного шампанского во рту.

— Вы довольны, Чарли? — Джейми сиял, как испорченный племянник, шляющийся со своим... испорченным дядюшкой.

— Еще как, Джейми. Меня особенно вдохновил танец на столе. В нем было что-то одухотворяющее,— импровизировал я на ходу, к радости влиятельных друзей Джейми.— Мне даже показалось, что каблучки ее сапог отбивали важное сообщение из мира духов.

Все засмеялись.

— И что же вам сообщили? — спросил кто-то.

— Покупайте акции железнодорожной компании Огайо, которые продаются пока по номинальной стоимости.

Это заявление было встречено с большим восторгом, чем оно того заслуживало. Однако какой-то грузный мужчина с бриллиантом в галстучной булавке величиной с птичье яйцо объяснил, что коммодор Вандербильт регулярно советуется с духом покойного Джима Фиска и других финансистов через двух сестер, которых он пристроил к маклерскому бизнесу.

Я вполголоса спросил у Джейми про Клэнси. Кажется, Клэнси все еще издает на деньги жены свой еженедельник.

— Иногда там печатаются забавные вещи. Клэнси уверен, что лучше Твида мэра в Нью-Йорке не было; впрочем, твой друг Брайант того же мнения.

— Это неправда.

— Спроси Нордхоффа, когда встретишься с ним в Вашингтоне. Он наш столичный корреспондент. Отличный человек. И неподкупный, в чем пришлось убедиться Брайанту. Видишь ли, «Пост» получала от Твида денежные подачки, и когда Нордхофф отказался прекратить нападки на муниципалитет, старик Брайант его уволил. А мы его наняли.

Не думаю, чтобы это была правда. Худшее, что мог Брайант сделать, это не противиться вмешательству грубой силы.

Умиротворение плоти делает меня сентиментальным и далеким от реальности. Иначе почему, собственно, я прихожу к выводу, что если уж и Брайант не совсем честен, то значит, честных людей в Америке нет вовсе? Очевидно, острота критического восприятия притуплена сегодняшними неслыханными удовольствиями. Я просто хочу, чтобы Брайант был тем, кем ему надлежит быть,— подобием нашего старого друга, борца за справедливость Уильяма Леггета. Именно благодаря Леггету я всегда верил, что где-то в этом продажном и лицемерном американском обществе есть люди, сохранившие, несмотря ни на что, представление о честности и благородстве.

Наверное, я пьян. Слезы текут ручьем, а снотворное никак меня не берет.

Глава третья

1

Сегодня я впервые сумел сесть в постели. Доктора никак не могут понять, почему я потерял сознание наутро после посещения китайской пагоды.

Говорят о перегрузке сердца. Но какое же сердце не испытывает каждодневно подобных перегрузок? С течением времени оно настолько изматывается, что ему поневоле приходится остановиться. К счастью, мое еще продолжает работать. И вот сегодня утром я сижу в постели среди беспорядочно раскиданных по одеялу газет и журналов, яркое солнце заливает гостиничный номер, и я чувствую себя абсолютно здоровым и способным на многое.

Но Эмма все еще обеспокоена:

— Сегодня нам не нужно выходить. Во всяком случае вечером.

— Если нас не будет на обеде у миссис Астор, на нее станут показывать пальцем на улицах, а Уорд Макаллистер будет с позором изгнан в свою Калифорнию. Мы

обязаны выдержать с т и л.— Ожидая прихода Джона, который ведет Эмму в музей Метрополитэн, а затем на завтрак к очередному из девяти братьев, мы внимательно изучили леджеровскую версию моей статьи об императрице Евгении.

— Неузнаваемо! — воскликнула наконец Эмма.

— Что ты имеешь в виду: мою статью или императрицу?

— И то и другое. Ничего, кроме нарядов и причесок.

— Меня предупредили, что в этой стране читают только женщины; но их, по-видимому, интересуют только прически и наряды.

— Наряды никогда особенно не волновали императрицу. Она будет вне себя.

— Неужели в Чизлхерсте читают «Леджер»?

— Можешь не сомневаться. Ты знаешь императрицу. Она не пропускает о себе ни строчки.

— Не отчаивайся. И будем надеяться, что пока я жив, то есть в ближайшие несколько недель, реставрации монархии не произойдет.

Когда Джон и Эмма ушли, я принялся за работу над Кавуром [48] — это эссе заказал мне Годкин из «Нэйшн». Платит он очень мало, но после довольно-таки — почему довольно-таки? — чрезвычайно вульгарной чепухи об императрице я должен напомнить себе (и нескольким серьезным читателям в этой стране, которые восторгались «Парижем под Коммуной»), что у меня еще сохранились кое-какие мозги.

Я напряженно работал, лежа в постели, пока мне не подали легкий завтрак, а также очередную почту, в том числе пакет политической информации от Джейми. Никто не знает, что я в самом деле болен.

Гилдер прислал мне несколько книг, которые, по его мнению, я должен прочитать. Новый роман Марка Твена о мальчишке из маленького городка на Миссисипи. Не думаю, чтобы приключения какого-то сорванца могли привлечь мое внимание. Скорее, книга заинтересует Уильяма де ла Туш Клэнси. Полистав ее, я наткнулся на множество милых шуток, без сомнения опробованных автором во время публичных выступлений. Если уж говорить о грубом наречии американского Запада, то я предпочитаю романы Эдварда Иггльстона, особенно «Гусыню-учительницу». Его я читаю так же легко, как и Бальзака. Меня восхитил еще один автор по фамилии Дефорест [49]; издательский же мир, конечно, считает его романы отвратительными. Гилдер не отказывает ему в таланте, но, говорит он, «романы пишут для дам, а его книги чересчур грубы, слишком приближены к убожеству жизни, в них слишком много политики». Иными словами, они чересчур подлинны и занимательны.

Любопытная вещь эти нынешние «эстетические» споры между романтиками и реалистами. Обе школы не производят ничего, кроме романтических лжеэффектов. Американские реалисты полагают, что, описывая, скажем, фабрику, надо быть близким к жизни, и они, разумеется, правы. Но когда дело доходит до изображения людей на этих фабриках, до их отношений, особенно во время работы и в семейной жизни, наши реалисты сразу же превращаются в стопроцентных романтиков, неотличимых от бесчисленных и бойких популярных писательниц, в том числе, если обратить свой взор на высочайшую вершину, и от этой таинственной литературной дамы из Новой Англии, скрывшейся под вуалью,— Натаниела Готорна [50]; столкнувшись с правдой жизни, он срочно вызывает привидения, которые бродят по домам в ночи, когда серебристые облака скрывают восхитительную, похожую на череп, но, увы, абсолютно выдуманную луну.

При случае я мог бы написать что-нибудь о французских реалистах, которых тут почти совсем не знают. Хоуэллс из «Атлантик» готов это печатать, он сам писал о Тургеневе. Но когда читаешь его собственную легкую дамоугодную прозу, то поражаешься, как при всем своем уме он умудряется быть полной противоположностью тому, что вызывает его восхищение. В разговорах здесь я несколько раз упоминал «Воспитание чувств» Флобера как пример идеального изображения человеческой жизни во всей ее неподдельности — этого чаще всего неразличимого потока времени, в котором автор умеет высветить каждый водоворот,— в отличие от дурацких шуточек Марка Твена или мелодраматической романтики Готорна. Я имею в виду, в частности, последнюю книгу Готорна, где некое существо в римских катакомбах встречает современного фав-

[48] Кавур Камилло Бенсо (1810 — 1861) — итальянский политический деятель.

[49] Джон Дефорест (1826—1906)— американский писатель и журналист, автор романов «Мисс Равенелл уходит к северянам» и «Честный Джон Вейн».

[50] Натаниел Готорн (1804—1864)— американский писатель, автор романов «Алая буква», «Мраморный фавн» и др.

на, которого, конечно, следует уничтожить, поскольку дух Новой Англии требует, чтобы все естественное было изломано, изгнано — даже в озаренных лунным светом сновидениях.

Но для одного утра литературной критики более чем достаточно. У меня нет ни малейшего желания наставлять гордых американских писателей на путь истинный; каждый из них убежден, что американская литература выше всяких похвал, однако с нетерпением ждет, когда из Лондона прибудет очередная партия книжных новинок.

А теперь — за Кавура. Иногда надо и потрудиться.

2

Из гостиничной конюшни мы взяли изящную карету с ливрейным возницей — отвезти нас к Асторам и встретить в полночь.

Эмма выглядела так, словно мгновение назад сошла с портрета Винтергальтера [51] в Шёнбруне: скорее императрица Виттельсбах [52], чем графиня Монтихо [53]. На ней были д'агриженгские бриллианты, то есть их копия, столь искусно выполненная из страза, что лишь опытный ювелир с помощью увеличительного стекла мог бы определить, что они ненастоящие. Я не без удовольствия заметил, что в результате загадочной болезни я немного похудел, и в общем вместе мы выглядели отлично.

Когда асторовский лакей — темно-зеленая плюшевая накидка, золотые гербовые пуговицы, красная куртка, бриджи и черные шелковые чулки — помогал нам вылезти из кареты, вокруг собралась толпа зевак, несмотря на то что на улице шел снег. От ступенек парадной двери дома номер триста пятьдесят по Пятой авеню через тротуар был небрежно переброшен красный ковер, край его исчезал в сточной канаве. Мы поспешили войти в дом. Проходя анфиладу гостиных — две голубые и одна гранатовая, совсем как в Тюильри,— я был поражен богатством и неплохим вкусом меблировки, хотя картины не слишком хороши, а скульптуры невыразительны. Свет великолепных хрустальных люстр таинственно отражался в многочисленных зеркалах в серебряных рамах, и всюду были свежие цветы — розы, орхидеи и еще какие-то экзотические, названий которых я не знаю, не говоря уже о целой оранжерее сразу за третьей гостиной. Вот истинная роскошь — собственные тропические джунгли посреди морозной нью-йоркской зимы.

Миссис Уильям Бэкхаус Астор, née [54] Каролина Скермерхорн, она же Таинственная Роза, стояла под огромным и весьма неважным собственным портретом и встречала гостей. Миссис Астор немолода (лет сорок, сорок пять?), и ее тусклые черные волосы не вполне ее собственные, зато прочие части тела, украшенные искрящимися алмазными подвесками, жемчугами, изливающими лунный свет, изумрудными кулонами, которым позавидовал бы сам Великий Могол, без сомнения, принадлежат ей самой («принадлежат» — этот глагол относится к частям тела, поясняю для тех, кто запутался в бесчисленных эпитетах к драгоценным камням, которые сами вьются на кончике пера; эти драгоценные камни висят, ниспадают, раскачиваются и сверкают не только на высокой и неестественно прямой фигуре миссис Астор, но и на всех других присутствующих дамах).

Таинственная Роза придирчиво оглядела Эмму, затем глаза ее прямо-таки впились в поддельные бриллианты князей д'Агриженгских. На мгновение меня обуял страх, что миссис Астор поднесет сейчас к глазам не лорнет, а увеличительное стекло ювелира, разоблачит Эмму и укажет нам на дверь.

Но под придирчивым взглядом хозяйки Эмма прошествовала с высоко поднятой головой; так несут штандарты на параде победы.

— Мы столько о вас слышали, княгиня. Мы так рады, что вы смогли прийти к нам сегодня.

— Вы были очень добры, пригласив нас, мадам,— ответила Эмма с французским акцентом (нарочитым?).

— Добрый день, мистер Скермерхорн Скайлер.— Миссис Астор предоставила мне возможность склониться над ее толстыми пальцами, унизанными многочисленными

---

[51] Франц Ксавер Винтергальтер (1806—1873) — немецкий живописец-портретист, автор портретов царствующих особ, в том числе портрета императрицы Евгении в окружении придворных дам.

[52] Германский княжеский род, известный с IX в.

[53] Испанский графский род, из которого происходила императрица Евгения.

[54] Урожденная *(франц.)*.

кольцами.— Макаллистер убежден, что вы мой кузен. Ведь я урожденная Скермерхорн.— Она произнесла это с таким благоговением, точно была урожденная Плантагенет [55].

Меня до глубины души раздражает превращение моей фамилии в двойную, изобретенную Макаллистером. Но я был готов подчиниться правилам предложенной игры и держался вполне почтительно.

— Да, моя матушка была Скермерхорн. Из графства Колумбия.— Все чистая правда.— Они жили в Клавераке.— Ни слова вранья.

— И в самом деле наш род велик.— Миссис Астор кивнула столь величественно, словно была сама королева Виктория, а я один из тысячи ее немецких кузенов княжеских кровей, которого она соблаговолила узнать.

Затем мы прошествовали в следующую гостиную, отделанную сине-зеленой узорчатой тканью и дорогим малахитом.

Появление Эммы произвело настоящий фурор. Мужчины смотрели на нее восхищенно — краснолицые, тучные мужчины с остекленевшими от бесконечных попоек глазами. Они с гордостью носят громкие нью-йоркские имена, и это повергает меня в уныние. Я-то здесь нищий.

— А вы, однако, невежливы! — раздался за моей спиной женский голос. Я обернулся и увидел миссис Уильям Сэнфорд, как всегда приветливую и оживленную.

— В чем моя вина?

— Вы не пришли к нам на обед в «Брунсвик».

— Мне нездоровилось. А если говорить честно, я просто слишком усердно воздавал должное прекрасной кухне Дельмонико.

— Да. Княгиня нам сказала, но мне почудилось, что вы нас избегаете.

Я удивился: Эмма не сказала мне, что приняла приглашение Сэнфордов на второй день моей болезни. Я думал, что она, по обыкновению, отправилась в страну Эпгарию.

— Мы замечательно провели время. Княгиня, надеюсь, тоже. У нас были Бельмонты; они от нее без ума, как, впрочем, и все остальные.

Бельмонт — в переводе «красивая горная вершина» — родился с этой фамилией, правда в ее немецком варианте. Он еврей, а потому его положение в нью-йоркской иерархии несколько двусмысленно. Этот крупнейший магнат является представителем Ротшильдов в Америке, а поскольку он обладает тем, что Макаллистер именует словечком с т и л, то его дворец и его приемы едва ли не конкурируют с дворцом и приемами Таинственной Розы.

— Но Каролина не желает их принимать у себя. Это так глупо.— Миссис Сэнфорд позволила себе прямой выпад против нашей хозяйки. Она нравилась мне все больше и больше.

— Видимо, она хочет себя оградить...— начал я.

— Да. А получилось вот что: ее «круг» включает в себя столько зануд, сколько может поместиться в этой обеденной зале.— Нет, прямота этой дамы просто поразительна.

— Знаете, миссис Сэнфорд, по-моему, вы революционерка.

— И вы таким станете, если достаточно долго поживете в Нью-Йорке и будете до бесконечности вращаться по одной и той же орбите. Вы только посмотрите на наших мужчин!

Я сказал, что успел обратить на них внимание.

— Уже полупьяные. Они выходят из своих контор, заглядывают в бар к Гофману или в собственный клуб, выпивают, затем приходят домой, снова пьют и ругаются с женами. И вот они здесь, вожделеющие еды и выпивки, как буйволы — водопоя.

Уорд Макаллистер, in loco Astoris [56], пригласил Эмму. Я замыкал шествие, сопровождая миссис Астор.

— А где мистер Астор? — спросил я, когда величественная особа мелкими шажками медленно вела меня через длинную обеденную залу.

— Во Флориде.— Название штата она произнесла как нечто весьма подозрительное и не вполне пристойное.— Он там катается на яхте и держит лошадей. Вы любите лошадей, мистер Скермерхорн Скайлер?

---

[55] Королевская династия в Англии в XII—XIV вв.
[56] На месте Астора, заменяющий Астора *(лат.)*.

В обеденной зале меня ослепил блеск золота. Подсвечники, epergnes[57], посуда — все было золотое; даже розы (таинственные?) на столе и те казались золотыми.

Но право забраться так высоко и поглощать такой великолепный обед следовало отработать. Поддерживать разговор с миссис Астор нелегко, потому что она начисто отвергает многие темы. Я, конечно, не касался литературы. Пусть о ней говорят те, кому этот предмет по вкусу. Ей же он явно не по вкусу. По ее мнению, в наши дни нет ничего такого, что стоило бы читать. Она любезно признала, что ей понравились иллюстрации к моей статье об императрице Евгении. В музыке она чувствует себя увереннее. Она видела и иногда даже слушала вторые акты всех великих опер. Живопись и скульптура? Тут она ограничилась похвалой вещам, украшающим ее дворец.

Я отважно перешел к темам более серьезным. Сказал, что вскоре собираюсь в Вашингтон. Хочу встретиться с президентом. Попытка произвести на нее впечатление была решительно пресечена.

— Никогда не бывала в Вашингтоне. Я езжу в Ферклифф,— заявила она. Так называется дом, который ее супруг воздвиг в Рейнбеке на Гудзоне.— И еще я бываю в Ньюпорте. У меня там коттедж. Вы и княгиня должны нас там навестить. Сначала надо ехать поездом до Бостона. Затем пересесть в поезд, идущий на Фолл-Ривер.

Вот, пожалуй, и все. Один раз ей удалось крепко прижать меня к стенке — разговор шел о нашем скермерхорновском родстве; к счастью, ни разу не солгав, я сумел ее убедить в том, что мы и в самом деле кузен и кузина.

Обед длился три часа, и теперь я могу сказать, что знаю миссис Астор настолько хорошо, насколько мне это необходимо. Справа от меня сидела миссис Сэнфорд: разговаривая с ней, хотя и урывками, я испытываю большое облегчение.

Примерно в одиннадцать часов миссис Астор, прервав себя на полуслове (она жаловалась мне на слуг, которые теперь все имеют скверную привычку допивать то, что остается в бутылках), поднялась из-за стола. Восхитительно шурша шелками и позвякивая драгоценностями, дамы последовали за хозяйкой в громадную галерею, которая тянется параллельно обеденной зале и вся увешана картинами. За обеденным столом остались одни мужчины, они придвинулись поближе друг к другу и навалились на портвейн и мадеру.

Рядом со мной оказался заботливый Макаллистер:

— Она очарована вами. Я умею читать настроение нашей Розы.

С другой стороны от меня восседал Уильям Сэнфорд, он уже задымил сигарой.

— Мы надеемся, что вы с княгиней приедете к нам в Ньюпорт в июне.

— До июня еще далеко. Кроме того,— добавил я, осененный внезапным вдохновением,— мы обещали остановиться у Асторов.

— В Бичвуде не слишком удобно.— Видимо, так называется асторовское имение.

— И еще, я, возможно, буду на предвыборных съездах. Эмме не терпится побывать в Сент-Луисе и Цинциннати, увидеть наконец великого бога Демоса в действии.

— Конечно,— мягко ответил Сэнфорд,— победит Конклинг.

— Его выдвинут кандидатом в президенты?

Сэнфорд кивнул, медленно, важно, как будто именно он был создателем президентов.

— Уже решено «стойкими» республиканцами. Шума, конечно, не избежать.

— Верно ли, что Грант желал бы остаться на третий срок?

— Миссис Грант только об этом и мечтает, да и он, видимо, тоже. Но эта история с Бэбкоком...— Сэнфорд покачал головой, что должно было выражать печаль.— Не говоря уже о мышиной возне этих взбесившихся дураков, помешанных на реформе гражданской службы.

Я согласился, что нет ничего глупее, чем реформировать гражданскую службу, поскольку это просто невозможно при нынешней партийной системе, которая требует, чтобы партия, приходящая к власти, заменяла всех государственных служащих своими сторонниками, а эти последние столь же некомпетентны и недостойны, как и их предшественники. Недавно ввели экзамены для поступления на государственную службу, обернувшиеся сплошным фарсом. Рассказывают, что один из ставленников таможенного инспектора Артура на вопрос «Каков процесс установления статута Соединенных Штатов?» ответил: «Никогда не видел, как устанавливают статуи, и этот процесс мне незнаком».

— Вы встречались с сенатором Конклингом?

---

[57] Канделябры *(франц.)*.

Я ответил, что видел его мельком прошлым летом.

— Внушительная фигура, отличный оратор, безмерно тщеславный, конечно. Дамы от него без ума.

— Да, да. Особенно наша знакомая миссис Спрейг.

— Удивительно красивая женщина.

— О, да.

— Думаю, что Кейт Чейз Спрейг была истинной королевой этой страны.— Сэнфорд понизил голос: — Не хочу, чтобы слышал Макаллистер, а то он уколет меня шипом своей Таинственной Розы. Но миссис Астор — это всего лишь Нью-Йорк, а Кейт до семьдесят третьего года была королевой Вашингтона, королевой политики. Потом все кончилось. Смешно. Я предупреждал Спрейга, что вот-вот разразится паника на бирже, но с ним говорить было бесполезно. А сейчас тем более. Когда он не пьян — а это случается редко,— он просто невменяем. Из них двоих по-настоящему умна только Кейт.

— Но этот ум теперь, по всей вероятности, служит сенатору Конклингу, а не сенатору Спрейгу.— Предмет нескончаемых вашингтонских сплетен — роман Роско Конклинга, красавца, сенатора от штата Нью-Йорк, хозяина комитета республиканской партии штата, и Кейт Чейз Спрейг, красавицы, дочери покойного председателя Верховного суда и несостоявшегося президента (красотой отнюдь не блиставшего) Сэлмона П. Чейза, а также несчастной супруги безумного и малозначительного сенатора от штата Род-Айленд Уильяма Спрейга. Эмма проводила в Париже много времени в обществе Кейт Спрейг; по ее мнению, это весьма ожесточившаяся особа, крайне недовольная своей ссылкой, что роднит ее с нашей императрицей, но все-таки ей выпало счастье поселиться в Париже, а не в Чизлхерсте.

Кейт уже два года живет в Париже; от мужа ее отделяют океан и тысяча бутылок, от ее возлюбленного Конклинга — общественное мнение, не говоря уже о тщеславии этого молодого человека, поскольку он, по словам Сэнфорда, претендует в будущем году на пост президента.

И вдруг я понял, что могу оказаться в щекотливом положении. Если Конклинг будет выдвинут кандидатом в президенты, а я буду работать на Тилдена, то какую позицию мне следует занять, когда скандальная связь Кейт с Конклингом станет мишенью для нападок во время предвыборной борьбы, в которой, как известно, все средства хороши. Лучше мне не занимать никакой позиции, а уповать на то, что республиканцы выдвинут заклятого врага Конклинга, всесильного спикера палаты представителей Джеймса Г. Блейна.

Разумеется, я сохраню в тайне, что прошлым летом я случайно встретил сенатора Конклинга у дверей дома миссис Спрейг. Он стоял там как раз п е р е д вечерним чаем и прощался с ней. Она познакомила нас так поспешно и суетливо, что если бы я не узнал знакомую мне по карикатурам высокую и весьма внушительную фигуру республиканского Адониса, то мог принять его за какого-нибудь чересчур элегантного врача, вроде друга нашей императрицы дантиста Эванса.

— Увлекательнейшая игра.— Сэнфорд затянулся сигарой.— Иной раз я подумываю, не включиться ли мне самому.

— В политику?

— Да. Если у вас есть деньги и соответствующее чутье, то это, право же, совсем просто. Место в сенате обошлось бы мне тысяч в двести долларов. Конклинг за свое заплатил чуть больше, но ведь Нью-Йорк не Род-Айленд.

— Зачем это вам? Люди стремятся в сенат, чтобы получить деньги, которые у вас и без того есть.

Сэнфорд расхохотался:

— Хорошо сказано! Хочу убедиться, что мне доступен главный приз. Стать президентом. А это уже кое-что да значит, так ведь?

— Не знаю, не уверен. На мой взгляд, нашим президентам практически нечего делать, разве что во время войны.

— Но быть там! Неужели вы не понимаете? Если вы озабочены коррупцией...

— Мистер Сэнфорд, уверяю вас, что мысль о врученной или полученной взятке ни на минуту не лишила меня сна.

— Но я читал ваши статьи. Я знаю, кто ваши друзья. И знаю, что все это вас шокирует. Как можно управлять страной, половина населения которой даже не говорит по-английски и все перегрызлись друг с другом за свой кусок пирога? Вот что я скажу вам: лично я такой же, как вы. Меня отвращает вся эта так называемая демокра-

тия. Я предпочитаю хорошо управляемую страну, с честными людьми в правительстве, как в Пруссии...

— Тиранию?

— Если это единственный способ вычистить авгиевы конюшни, навести порядок, то, пожалуй, я бы согласился...

— На роль тирана, конечно?

— Конечно, не задумываясь! — Он засмеялся, показывая, что вовсе не шутит.

Между тем настал таинственно-розовый полуночный час, и прием подошел к концу. Мрачная и надменная миссис Астор стояла в гранатовой гостиной. Проходя мимо, гости прикасались к ее руке, точно к деснице идола, приносящего счастье.

Я и Эмма тоже последовали общему примеру.

— Мы надеемся постоянно видеть вас, пока вы в Нью-Йорке,— не столько сказала, сколько изрекла миссис Астор.

— На балу Патриархов,— немедленно предложил Макаллистер.

— Да.— Так королева Елизавета могла дать графский титул простому виллану Сесилю, а Людовик XIV кивком своего парика — пригласить придворного к себе в Марли, что было равнозначно стремительному продвижению.

Сэнфорды простились с нами в вестибюле. Миссис Сэнфорд удивительно мне симпатична, чего не могу сказать о ее муже.

Когда мы добрались домой, я сказал Эмме:

— Не знал, что ты обедала у Сэнфордов.

Эмма еще не сменила вечернее платье, она по-прежнему выглядела как на портрете Винтергальтера, но усталое лицо посерело, и я заметил — глазом писателя-реалиста (увы!), а не любящего отца,— что на ее утомленном лице по обеим сторонам нижней губы углубляются складки, таящие в себе угрозу когда-нибудь превратиться в мешки, как у ее свекрови, как у меня.

— В последнюю минуту я не смогла вынести очередного натиска Эпгаров и телеграфировала Сэнфордам «да», хотя до этого уже сказала «нет».

Я ждал, что она вспомнит Сэнфорда, но напрасно.

— Мне нравится миссис Сэнфорд,— начал я.

— Мне тоже,— оживленно откликнулась Эмма. Затухшие угли в камине внезапно осели, и лицо Эммы, освещенное последней вспышкой пламени, порозовело и снова стало молодым.— Но мне кажется, что все это дается ей нелегко. У меня такое впечатление, что он ее подавляет. Заставляет делать вещи, для нее неприятные.

Я был заинтересован, но Эмма оказалась не расположена играть в нашу обычную игру — пытаться приподнять маски, за которыми прячутся люди. Эмма поцеловала меня в щеку. Я поцеловал ей руку: таков ритуал.

— Он извинился за цветы?

— И словом не обмолвился. У вульгарных людей собственное представление о такте, папа,— сказала она и удалилась.

Не могу взять в толк, почему Сэнфорд так меня раздражает. Наверное, потому, что он довольно ясно обнаружил свое намерение соблазнить Эмму. Слава богу, у него нет ни малейших шансов, пока ее мысли устремлены в другом направлении,— как мне хочется думать, в сторону Эпгарии. К тому же я подозреваю, что Эмма по природе своей не влюбчива. Она слишком холодна, чтобы дать себе волю, слишком осторожна, у нее слишком сильное чувство юмора. Она могла бы бросить спившегося, сумасшедшего мужа вроде Спрейга ради могущественного Конклинга, но пойти на связь с таким малопривлекательным человеком, как Уильям Сэнфорд, женатым, лишенным подлинного блеска и обладающим только деньгами,— никогда. Это было бы не в ее характере. Тогда почему я так встревожен? В наследственность я гораздо меньше верю, чем в обыкновенные обстоятельства, определяющие нашу жизнь; и все же нельзя забывать о том, что в наших жилах течет весьма примечательная кровь. Я незаконный сын Аарона Бэрра[58], и хотя внешностью или характером не очень похож на этого загадочного, блистательного и аморального человека, я иной раз вижу, как из-под прекрасных, ровных бровей Эммы на меня смотрят глаза Аарона Бэрра, пристально и решительно смотрят глаза покорителя мира. В такие минуты она становится чужой и таинственной, каким он был при жизни, каким остался в памяти.

---

[58] Одна из сюжетных линий романа Г. Видала «Бэрр» основана на том, что Чарльз Скайлер и президент Ван Бюрен были незаконными сыновьями Аарона Бэрра.

3

Этот великий день начался со снежной бури и телеграммы от губернатора Тилдена: он приглашал меня к пяти часам, чтобы успеть побеседовать до обеда с глазу на глаз.

Точно в пять часов я прибыл на Грамерси-парк; шел мелкий снежок, и северный ветер с абсолютно неамериканской справедливостью пытался уложить его на все вокруг ровным слоем. Газовые фонари уже горели (может быть, потому, что губернатор находился в своей резиденции?) и, точно ангельские лики, были окружены бледными ореолами.

Слуга проводил меня в кабинет на втором этаже, типичное убежище книжника, какое и должно быть у богатого адвоката — ценителя литературы. Возле дровяного камина — что в Нью-Йорке большая редкость (как мутит меня от запаха горящего антрацита!) — возвышалась внушительная фигура человека лет пятидесяти с коротко подстриженными темными волосами и довольно агрессивным выражением лица. Когда я вошел в комнату, он был всецело поглощен чтением бумаг, грудой сваленных на письменном столе.

Обнаружив мое присутствие, человек вскочил на ноги, взял мою руку в свою и начал медленно ее сдавливать.

— Я инспектор Грин, мистер Скайлер. Губернатор сейчас отдыхает. Хотите чая? Или чего-нибудь покрепче?

Мне принесли «чего-нибудь покрепче».

— Мы еще работаем над речью губернатора, с которой он выступит на следующей неделе в законодательном собрании.

— Вы городской инспектор... Нью-Йорка?

Грин мрачно кивнул.

— Несомненно, кара за мои прошлые грехи. Это последняя должность в мире, какую я хотел бы занять. Но губернатор настоял. Вот я и оказался наследником бедлама, оставшегося после Твида.

— Будем надеяться, что вы вместе с губернатором вскоре переберетесь в Вашингтон.

— Так много надежд, но, увы, так мало настоящего дела.

— Но наш друг Биглоу...

— Он делает все, что в его силах.— Легкое раздражение в голосе, и я снова почувствовал себя как дома: то, что происходит здесь, похоже на жалкую, провинциальную разновидность Тюильри, где взрослые мужчины и женщины дни и ночи напролет пытались подстроить как бы случайное пятиминутное свидание с императором на лестнице, в саду, в любом месте, где можно расставить силки, в которые он на мгновение попадется,— и все для того, чтобы возвыситься в этом мире.

Одна из дверей открылась, и в кабинет вошел высокий молодой человек с небольшим саквояжем.

— Губернатор отдыхает, мистер Грин.

Когда молодой человек ушел, Грин объяснил, что это массажист.

— Губернатору необходимы физические упражнения. Он не признает ничего, кроме верховой езды, а можно ли ею заниматься в такую погоду? Вот кровь и застаивается, а это крайне вредно. Я твержу, что массаж необходим каждый день; абсолютно точно знаю, что в Олбани он ни на минуту не встает из-за письменного стола. Не подумайте, что он не совсем здоров для человека его лет,— внезапно добавил Грин, точно вспомнив, что здоровье кандидата в президенты куда важнее его ума, если об этом вообще может идти речь.

— Энди! — Знакомый слабый голос донесся из соседней комнаты. Грин извинился и отправился к шефу. Я огляделся. Семейные портреты, юридические справочники, скульптурная группа, изображающая солдата, павшего на прошлой войне, голова покоится на коленях опечаленного друга. Интересно, где губернатор хранит коллекцию эротической литературы; о ней я узнал совершенно случайно от одного лондонского книготорговца; очевидно, губернатор в течение многих лет втайне собирал непристойные книжки. Так развлекаются холостяки.

— Если хотите, можете войти. Но он еще отдыхает,— сказал Грин.

Единственная лампа на столике возле кровати освещала то, что показалось мне живым трупом,— по крайней мере нижняя половина тела практически отсутствовала —

такое впечатление создавали его худые, журавлиные ноги, едва обрисованные тонким покрывалом.

Я осторожно приблизился к кровати; губернатор лежал на спине, вытянув по бокам руки. Его седые волосы коротко подстрижены. Он не носит усов, бороды или бакенбард. Я надеюсь, что хотя бы только поэтому он станет президентом и законодателем нового стиля для этой страны. После Гражданской войны никому еще не удалось как следует рассмотреть лицо американца — настолько фантастические бороды и баки отращивают в подражание генералу Гранту.

В сумеречном свете керосиновой лампы Тилден казался мертвенно-бледным. Позже, за обедом, когда зажглись все огни, лицо его оставалось таким же серым и безжизненным, каким оно было у этой прикрытой одеялом мумии, и я смотрел сверху вниз на белое лицо с крупным носом и причудливо изогнутой верхней губой (плохо подогнанная вставная челюсть?).

Глаза его приоткрылись. Мне хотелось бы сообщить, что это произвело ошеломляющий эффект, какой, по словам моих парижских знакомых, производил неожиданный взгляд первого Бонапарта. Но о губернаторе Тилдене ничего подобного сказать нельзя. Впечатление такое, словно раскрылись вдруг створки двух крупных серых устриц и они уставились на меня из глубины своих раковин. Будь у меня под рукой лимон, я выжал бы его на них.

— Мистер Скайлер,— произнес слабый голос.— Пожалуйста, придвиньте стул. И простите, что я принимаю вас в таком положении. Вы так добры, что терпите это.

— О, нисколько,— оживленно откликнулся я, ставя стул возле кровати. Губернатор снова закрыл глаза. Веки его выдаются вперед и, даже разомкнутые, придают его серым, унылым глазам какое-то тайное, скрытное выражение. Я обратил внимание на левое веко, оно слегка подрагивало — следствие удара, который он перенес в прошлом феврале (и сумел скрыть от избирателей). Я сел, чувствуя себя весьма нелепо, как доктор у постели покойного. В комнате воцарилась тишина, нарушаемая только непрерывной и негромкой отрыжкой губернатора. Он мучается несварением желудка, и массаж, похоже, не снимает вздутия живота.

— Должен сказать, мистер Скайлер, что я внимательно читаю ваши доклады о положении в Европе и меня поражает в них мастерская интерпретация фактов. Вы заставили меня по-новому взглянуть на отношения между Францией и Пруссией.

— Вы мне льстите...

Нас прервала серия или glissade[59] отрыжек. Тилден настолько к ним привык, что, кажется, даже не замечает.

— Вы же знаете, что Биглоу мыслит как настоящий пруссак.

— Мы с ним не раз спорили об этом. Я не разделяю господствующей здесь тенденции восхищаться немецкой работоспособностью в ущерб, скажем так, человечности и творческой энергии французов.

— Да. Я читал ваши доклады,— сухо откликнулся Тилден. Как и я, он не любит выслушивать то, что уже знает.— Мне нужны ваши мысли, чтобы переубедить Биглоу. Он уверен, что в следующем столетии в мире будут господствовать только три великие державы — Германия, Россия и Соединенные Штаты.

— Я не обладаю пророческим даром, губернатор. Но в этом столетии я к вашим услугам, сейчас и в будущем.— Высказать просьбу яснее я не решился.

— Если этому «будущему» суждено осуществиться, я, разумеется, не смогу обойтись без вашего ума.

Обещание, твердое, как документ. Нет, еще лучше! Такой изощренный юрист, как Тилден, никогда не подпишет никакого соглашения, не оставив себе лазейки. Слово политического деятеля, как правило, куда надежнее, чем его письменное обязательство.

Мы поговорили еще о международных делах. Затем я сообщил ему о заказе, который получил от «Геральд».

— Не скажу, чтобы это была моя любимая газета.— Серая губа выгнулась, обнажились тусклые, серые зубы.— Но влиятельная.

— Думаю, что смогу принести пользу партии. Тем, что напишу не о самом генерале Гранте, который, судя по всему, уже отставная фигура, а о его наследниках, особенно о вашем будущем сопернике...

— Блейне...— Сказано ровно, без эмоций.

— Конклинге?

---

[59] Здесь: безудержный поток *(франц.)*.

Серая голова повернулась в одну, потом в другую сторону, сначала чтобы выразить несогласие, а затем продолжала это маятниковое движение. Тилден, видимо, получил удовольствие от разминки застывших шейных мускулов.

— Думаю, Конклинг не причинит нам беспокойства, Блейн — другое дело. К счастью, он продажен.

— Разве публику это возмущает?

— Я заставлю ее возмутиться, как заставил уже дважды.— Слабый голос никак не вязался с властным тоном.— Нет, мистер Скайлер, нам приходится опасаться только добропорядочных людей вроде министра финансов Бристоу. Но такого человека республиканцы никогда не выдвинут кандидатом в президенты. Никогда. Поэтому — Блейн.

Вошли Грин и слуга.

— Пора одеваться, губернатор. Гости явятся с минуты на минуту. Супруги Биглоу уже здесь.

— Благодарю вас, мистер Скайлер.— На мгновение Тилден довольно сильно сжал мою руку.— Вы тот человек, которого нам недостает в общественной жизни. Человек, способный оживить теорию практикой.— Послышался негромкий звук задержанного дыхания: Тилден пытался унять сильный приступ отрыжки.— И в то же время облагородить практику теорией...

В целом вечер прошел очень успешно. Эмма вовсю работала на меня. За обедом она сидела по правую руку от Тилдена и, думаю, сумела, если это вообще возможно, его очаровать. Присутствовали родственники Тилдена, наслаждаясь в канун рождества обществом самого богатого и знаменитого члена семьи.

Тилдены родом из графства Колумбия, почти из тех же мест, где жила семья моей матери, где жил Мартин Ван Бюрен. Старый президент был другом отца Тилдена и покровителем самого Тилдена в его юные годы, так же как и моим. Но ведь у меня и Ван Бюрена общий отец. Мы оба незаконные сыновья Аарона Бэрра; излишне объяснять, что мы так и не признались друг другу в том, что нас объединяет общая кровь. И тем не менее близость к Ван Бюрену сильнее всего остального связывает нас с Тилденом. Сегодня, когда губернатор обратил внимание на мое внешнее сходство с этим великим человеком, я ответил точной копией ванбюреновской загадочной усмешки, рядом с которой даже застывшие в камне черты египетского сфинкса определенно кажутся бесхитростными и простодушными.

Биглоу был в приподнятом настроении, но выглядел утомленным.

— Мы дни и ночи работали над речью губернатора в законодательном собрании. Не понимаю, как он это выдерживает.— Биглоу кивнул в сторону Тилдена.— Он живет на одном чае. Я называю его наркоманом.

— Лучше уж чай, чем виски.

— И до вас дошли эти слухи? — Биглоу ничем не выдал беспокойства.

— Об этом говорят только в домах республиканцев.

— Таких, как Эпгары? — Биглоу хитро улыбнулся и наполнил мой бокал мадерой.

— А вы тревожились о его здоровье...

— Я и сейчас тревожусь. Но вынужден смириться с тем, что нездоровье доставляет ему удовольствие в буквальном смысле слова. Он не желает отвлекаться от работы. Пусть все будет как есть. После Гранта, который на посту президента палец о палец не ударил и вдобавок представления не имеет о своих президентских обязанностях, губернатор будет как дуновение свежего ветра. А сейчас все мы в изнеможении — кроме него. Но конечно, надо учитывать, что в его жизни нет ничего, только юриспруденция и политика.

— Он женится, если станет президентом?

— Я полагаю, да. Жена облегчила бы его дни в Белом доме.

— Он когда-нибудь проявлял интерес к женщинам?

Биглоу покачал головой:

— Никогда. Смешно. Но с другой стороны, достойно восхищения.

Думаю, что пуританин Биглоу действительно восхищается этими ущербными людьми — Тилденом и Грином. Не в том дело, что я нахожу холостяков людьми ущербными, скорее наоборот. Но очевидно, ни Тилден, ни Грин вообще не имели никаких дел с женщинами, с той половиной рода человеческого, которая дала мне не только наслаждение, но и необходимую меру нормальной человечности. Если бы у меня не было Эммы, я родил бы другую. Или, принимая во внимание мой преклонный возраст,

удочерил, похитил, соблазнил или любым иным способом приобрел то женское общество, без которого я просто не могу дышать. Нью-йоркский мир мужских клубов, спортивных залов и баров, политиканства за закрытыми дверьми — это не мой мир. Я изнеженный парижанин, расцветающий только в обществе женщин.

Кстати (почему «кстати»? Это же важнее всего!), Биглоу сказал:

— Губернатор назначит вас посланником в любую страну по вашему выбору, кроме Сент-Джеймса[60].

— Вы не представляете, что это для меня значит.— От возбуждения голос мой задрожал. Для меня это все, не считая замужества Эммы, конечно.

— Вы одна из самых ярких наших звезд в иностранных делах, если закрыть глаза на ваше нелепое пристрастие к французам,— добавил Биглоу, и на душе у меня стало необыкновенно легко.

Со всей деликатностью я попытался убедить Биглоу в значении Тьера и вообще Третьей, то есть нынешней, французской республики, но у него необъяснимо сильное предубеждение против Франции. Я отношу это на счет его искреннего пуританизма. Биглоу ненавидит римскую церковь со страстью настоящего республиканца, кем он и был до того, как стал секретарем штата Нью-Йорк и демократом. Десятилетиями он утверждал, что папство является самой злобной и отвратительной силой в мире и что в один прекрасный день оно сойдется в истинном Армагеддоне с добродетельным протестантством, развязав новую, еще более кровавую гражданскую войну здесь, в Соединенных Штатах, причем форт Самтер[61] будет расположен в Шестом избирательном округе, где царит мрак ирландских кварталов.

Сознаюсь, я некогда разделял эти предрассудки, особенно в отношении ирландцев, которых считал напастью, эпидемией, обрушившейся на мой Нью-Йорк. Да, они и более поздние иммигранты и в самом деле уничтожили эту старую голландско-английскую деревню моей юности, но жалеть тут не о чем. Проведя большую часть своей жизни в странах, где господствует римско-католическая церковь, я не только стал терпимее, чем Биглоу, но и пришел к выводу, что в таком обществе, поскольку оно ни в коей мере не является христианским, жить гораздо приятнее, чем в протестантском.

К концу вечера Тилден выглядел очень усталым, несмотря на вышитый чай и несколько таинственных таблеток.

— Надеюсь, вы навестите нас в Олбани, как только покончите с генералом Грантом.

— Я предложил моему издателю написать вашу предвыборную биографию. Его это заинтересовало. Биглоу обещал снабдить меня материалами. Поэтому, как только вашу кандидатуру выдвинут...

И Тилден и Грин просияли; мы расстались, пожелав друг другу веселого рождества и счастливого Нового года. Последние слова губернатора, обращенные ко мне, были:

— Увидимся позже.— Эта ничего не значащая фраза часто у него на устах.

— Что ты думаешь о Тилдене?— Мне не терпелось задать Эмме этот вопрос.

— Не самый легкий собеседник.

— Холодноватый?

— Нет. Страстная натура, по-моему.

— Я этого не заметил, да и никто другой.

— Есть ведь разные страсти, правда? Ну, например, страсть моей свекрови к деньгам...

— Не упоминай о ней! У меня сразу начинает стучать в висках.

— Или страсть очаровательного сенатора Конклинга к Кейт Спрейг.

— Он тебе понравился?

— Я видела его только один раз, мы перебросились всего несколькими словами.

— Помню. И ты сказала, что он показался тебе тщеславным.

— Да, как павлин! С этим смешным завитком посреди лба...

— Локон Гиацинта. Мне кажется, он подражает Дизраэли...

— Но когда он смотрел на Кейт, чувствовалось, что это страстный мужчина.

— Так или иначе, теперь ты видела лидеров обеих партий. Кто из них победит? Кто будет президентом — Тилден или Конклинг?

---

[60] Бывшая королевская резиденция в Лондоне. Послы иностранных государств в Англии официально были аккредитованы при Сент-Джеймсском дворе.

[61] Форт в штате Южная Каролина, захватом которого южане развязали Гражданскую войну в США 1861—1865 гг.

— Какая разница? Это все игра, папа. Это неважно.

— Игра или нет, но результат имеет значение.

— Все равно это совсем не то, что император.— Эмма до сих пор рассматривает Соединенные Штаты как увеличенную Мексику.

— Согласен, нашим президентам почти нечего делать. Правит конгресс; он же и ворует. Но президент предоставляет должности, в том числе старым, заслуженным писателям.

— Тогда vive[62] Тилден! — Эмма развеселилась.— А что касается его темперамента...

— Как же тебе удалось обнаружить то, чего никто не заметил?

— Я слышала, как он говорил о каналах.

— О каналах?

— И о железных дорогах. И... да, еще о правосудии.— Эмма выглядела школьницей, вспоминающей урок.— Он сказал, что его приводит в ужас несправедливость американской судебной системы.

— Уж он-то должен это знать. Сколотил состояние, защищая интересы железнодорожных магнатов.

— Значит, он хочет искупить свои грехи. Он добрый человек, папа, хотя и какой-то нелепый. Я убеждена, что он будет очень забавным президентом, если такое возможно. У него есть любовница?

— А ты как думаешь?

— Думаю, нет. Он похож на старого каплуна.— Так мы перемывали косточки будущего президента, которому предстоит восстановить наше (мое) благополучие.

Эмма легла, а я немного поработал над Кавуром. Нелегкая тема. Мне не хочется писать предвыборную биографию, но, если надо, я напишу. Кроме того, я уверен, что какой-нибудь честолюбивый юнец из издательства Даттона сделает всю черновую работу, а я добавлю один-другой изящный штрих.

Глава четвертая

1

День нового, 1876 года. «Год Столетия» — кричат все газеты без исключения. Должен сказать, что если темп светской жизни последнего месяца прошлого года сохранится, то до 1877 года я просто не дотяну.

Мы с Эммой по-прежнему движемся по кругу, а может быть, взбираемся вверх по спирали. Были на балу Патриархов, у Дельмонико, в Голубой бальной зале.

Сегодня настал звездный час страны Эгарии: в холодных и унылых гостиных Третьего брата все девять братьев и сотни их родственников поздравили Эмму с помолвкой, с вознесением из низин французского вдовства в истинное эгаровское величие.

Джон был очаровательно неловок и, на мой взгляд, немного жалок. Подозреваю, что Эмма не слишком им увлечена, но, как и все представители ее класса, она приучена красиво и не жалуясь делать то, что необходимо. Поскольку альтернативы этому браку не существует, Эмма играла свою роль со всеми внешними проявлениями восторга. Родственники были тоже в восторге от нового и весьма славного пополнения.

Конечно, я забыл (почему «конечно»? У меня все еще очень хорошая память) старый голландский обычай Нью-Йорка — наносить новогодние визиты. К моему удивлению, он соблюдается до сих пор. Поэтому мы наслаждались не только официальным сборищем эгаровского клана, но и принимали поздравления от всех «достойных» людей города, потому что, если верить миссис Эгар, дома остались только прикованные к постели.

Среди гостей оказался и Джейми Беннет. Большинство из девяти братьев встретило владельца скандальной «Геральд» весьма прохладно, но Джейми сделал вид, что ничего не заметил: он был только слегка пьян.

— Бедняжка Эмма! — прошептал он ей на ухо. К счастью, никто, кроме меня и Эммы, этого не услышал. Она посмотрела на него взглядом Медузы, и, чтобы не превратиться в камень, Джейми поклонился мне.— Когда свадьба?

[62] Да здравствует *(франц.)*.

Если бы я знал сам! Предполагали устроить венчание в церкви Благоволения в июне (я, кажется, высказался за это), но мы только что узнали, что дом на Одиннадцатой улице, который купил Джон (или это Третий брат купил для него? Надо выяснить), не будет готов до октября.

Думаю, что Эмма предпочтет подождать до октября. Она инстинктивно отдаляет конец того, что некогда составляло блеск ее существования. Когда мы ехали в дом Третьего брата, она сказала:

— Нам предстоят похороны княгини д'Агрижентской.

Я не сразу понял.

— Увы, это счастье нас еще не посетило. Старуха переживет всех.— Эта ведьма, кстати, только что потребовала увеличить сумму, которую я выделяю на воспитание Эмминых детей.

— Я имею в виду собственные похороны. Когда я превращусь в миссис Эпгар...

Мною вдруг овладела такая апатия, что я позволил Джейми — он непонятным образом протрезвел у эпгаровского буфета — взять меня под руку и увести.

— Мы,— сказал он,— нанесем совершенно особый новогодний визит.

На Пятой авеню полным-полно экипажей. Несмотря на арктический холод, весь город наносит визиты.

— Куда мы едем?

— Не торопитесь. У меня для вас свежие новости из Вашингтона.

— О Бэбкоке?

— О человеке из ближайшего окружения президента, который торговал должностями государственной службы. Когда уезжаете в Вашингтон?

— Пятнадцатого февраля.

— Вовремя.

Наш экипаж замедлил ход возле недостроенного, без шпиля, собора св. Патрика.

— Мы отправляемся к мессе, Джейми? Я знаю, что ваш отец почил в лоне матери-церкви, но...

— Нас ждет иное лоно, Чарли. Самое забавное в Нью-Йорке.

Я с ужасом, но и с затаенной радостью увидел, что наш экипаж остановился у коричневого особняка, отделанного розовым паросским мрамором,— дома мадам Рестел, самой порочной женщины Нью-Йорка.

Дом этот я, конечно, знал. Ни один возница не забыл показать мне жилище, в котором в течение двадцати лет обитает в роскоши самая известная в городе акушерка. Говорят, что дом посещают знатнейшие дамы Нью-Йорка, пользуясь боковым подъездом на Пятьдесят второй улице. Целых тридцать лет с амвонов и газетных полос обрушиваются проклятия на это зло, но она пока умудряется пережить все и вся при помощи обычного средства — подкупа полицейских и политических деятелей. Тех, кого нельзя купить, она, как правило, умеет припугнуть, поскольку рано или поздно в большинстве нью-йоркских семей возникает потребность в ее услугах.

— Никогда не думал, что вы бываете в этом доме, Джейми.

— Отец всегда говорил: поддерживай добрые отношения с рекламодателями. Помимо всего прочего, это удивительная женщина.

Мадам Рестел и в самом деле оказалась женщиной редкостной. Она одних лет со мной, вся в черных кружевах и бриллиантах. Ее гостиная столь же претенциозна, как и у миссис Астор; разница лишь в том, что картины у нее получше, а мебель похуже. Гости практически одни и те же.

Мадам встретила меня тепло:

— Как мило, что Джейми догадался вас привести. Я ведь знала его еще ребенком. Давайте посидим. Я целый день на ногах.

Я уселся с ней рядом на диване и взял бокал с пуншем, предложенный мне слугой в черном фраке при белом галстуке, похожим на шафера. В голове у меня сегодня роятся образы, связанные скорее с Гименеем, нежели с Венерой.

— Вы довольны, мистер Скайлер, что ваша дочь выходит замуж за Джона Эпгара? — Она посмотрела на меня пристально из-под своих блестящих, крашеных черных локонов.

— Помолвка состоялась час назад. Должно быть, вы получили телеграмму.

— Мне не нужны телеграммы,— сказала она весело,— я и без них знаю, что происходит в Нью-Йорке. Мне сообщают все.

— Ваши... клиенты?

— И друзья тоже. Кто только у меня не бывает! Конечно, не ваша приятельница миссис Астор, хотя я знакома кое с кем из ее семьи.— Наглости ей не занимать; она процветает, потому что может шантажировать половину великих семейств города.— Кого здесь только не встретишь! Я истинная демократка. Правда, служители церкви сюда не заглядывают.— Внезапно хорошее настроение ее покинуло.— Они преследуют меня всю мою жизнь. Старые лицемерные козлы! — И она обрушилась на некоего Генри Уорда Бичера, бруклинского богослова, который прошлым летом оказался на скамье подсудимых по обвинению в соблазнении жены своего коллеги. Присяжные не признали его виновным, и преподобный Бичер, по словам мадам Рестел, продолжает читать воскресные проповеди в присутствии двадцати бывших любовниц.

Какая силища! Недавно мне попалась на глаза газетная реклама, на которой был изображен преподобный Бичер, прославляющий достоинства нового бандажа. Пожалуй, мне стоит приобрести такой.

— Вы, конечно, отдали должное местонахождению моего дома.— Мадам Рестел усмехнулась скорее как школьница, нежели как женщина, посвятившая себя Греху и Смерти.— Я могу заглядывать в окна собора. А они — в мои.— Она рассказала мне не без злорадства, как ее недремлющий враг, архиепископ, безуспешно пытался купить участок земли, на котором она построила свой особняк.— Назло этим проклятым ирландским попам и епископам. Так мы и живем бок о бок — собор святого Патрика и я!

Я прошел в другую комнату, где обнаружил увлеченную разговором парочку. Узнав мужчину, я тут же хотел ретироваться, но не успел. Уильям Сэнфорд заметил меня.

— Мистер Скайлер! Какой сюрприз! Я не знал, что вы знакомы с нашей хозяйкой.

— Нас только что познакомили. Извините...

— Мы с женой собирались присутствовать на помолвке. Но ей нездоровилось еще с рождества, и она не встает с постели.

— У вас есть еще возможность послать телеграмму.— Я направился к двери, пытаясь со всей наглядностью продемонстрировать свою неприязнь.

— Я это уже сделал. И цветы княгине. Они ждут вас в гостинице.

— Опять цветы?

— От моей жены и от меня...

— Значит, не так, как в тот, первый раз?

— Я допустил бестактность? — Он выглядел как провинившийся мальчишка.

Сейчас я сижу в гостиной нашего номера, едва не задыхаясь от запаха цветов, которые нам сегодня несут целый день.

Эмма вернулась рано и сразу легла. Когда я спросил, как прошел вечер, она только вздохнула:

— Как всегда, папа, только в превосходной степени. Но бедняга Джон мне симпатичен, и, быть может, мы сумеем убедить его уехать с нами за океан.

— Будем уповать на то, что я стану американским посланником. Тогда я смогу вернуть ему его прежнее место.

— Как было бы прекрасно! — воскликнула Эмма. Но никакого восторга на ее усталом лице я не увидел.

У меня кончился лауданум. Предстоит бессонная ночь. Не слишком обещающее начало нового года.

2

Не могу поверить, что первую запись в этой тетради я сделал уже полтора месяца назад.

Один за другим братья Эпгары устраивают в нашу честь обеды. Принимая во внимание число братьев, мы исчерпаем их список лишь ко второму столетию Штатов. Наш нынешний темп — один брат в неделю. Вчера был пятый по счету, впереди еще четверо.

Эмма держится молодцом. Ни я, ни кто другой не услышал от нее и слова жалобы. Вне страны Эпгарии у нее только один друг — миссис Сэнфорд. Вообще говоря, я был бы встревожен подобной дружбой, хорошо зная Сэнфорда или полагая, что хорошо его знаю. Однако неприязнь Эммы к нему может соперничать с моей, особен-

но по мере того, как углубляется ее дружба с Дениз, как она называет миссис Сэнфорд.

— Она нездорова.— Эмма нахмурилась.— Не знаю, что с ней такое. У нее постоянные выкидыши, а она очень хочет ребенка.

— На ее месте...

— Согласна. Не от этого мужчины.— Мы с Эммой понимаем друг друга с полуслова, а уж когда речь идет о Сэнфорде — тем более. К счастью, он, как и обещал, уехал на юг.

Сэнфорд с несколькими приятелями отправился в Саванну в своем собственном железнодорожном вагоне. Кстати, едва ли не половина джентельменов, с которыми разговариваешь в Нью-Йорке, неизменно заботливо предлагают вам «воспользоваться их вагоном» — так в Париже предлагают взять на день семейную карету.

Должен сказать — то есть, конечно, я не должен бы об этом говорить, но не могу удержаться,— что я видел или, точнее, слышал Сэнфорда накануне его отъезда.

Один из новых (по крайней мере, для меня) нью-йоркских соблазнов — бордели в табачных лавках. Снаружи все выглядит вполне заурядно: неизменный деревянный индеец-хранитель у входной двери и коробки с сигарами на витрине.

В первой комнате тоже выставлены сигары, но выбор меньше, чем в обычных табачных лавках. Единственное, что выдает это заведение,— чересчур хорошенькая продавщица. Если вы заглянули сюда впервые, она деликатно вас проверит и, обнаружив, что вы ни о чем не имеете понятия, продаст вам сигары и проводит к выходу. Иной раз осведомится относительно ваших вкусов и связей. Чтобы растопить лед, следует назвать имя девушки из этого заведения или же клиента (разумеется, скрывшегося под чужим именем). Если хозяйка сочтет вас достаточно респектабельным и серьезным, она проводит вас в заднюю комнату, похожую на самую обычную гостиную, где сидят девушки.

Раза два — да уж ладно, три или четыре — я воспользовался этим несомненным и умеренным по цене удобством. Действительно удобством — достаточно выйти из гостиницы и перейти Мэдисон-сквер, чтобы тут же, на Двадцать четвертой улице, предаться удовольствию в верхних покоях Компании королевских гаванских сигар.

Должен сказать, что половина респектабельного мужского населения Нью-Йорка пользуется табачными лавками из-за их доступности и дешевизны. Бизнесмен может развлечься перед завтраком в клубе, семьянин — перед ужином в обществе драгоценной семьи, а адвокат — избавиться от излишнего напряжения и при этом поспеть к открытию судебного заседания.

Так вот, когда я сидел в гостиной и пил чай с хозяйкой за китайской ширмой (клиенты ни в коем случае не должны сталкиваться друг с другом), я услышал голос Сэнфорда: «Если Ниобе свободна, то я ее жду».

— Это мой друг мистер Сэнфорд,— мстительно сказал я хозяйке, очаровательной женщине с пикантным лицом, слегка испорченным заячьей губой.

— Я не знаю, как его фамилия.— Она солгала, но явно не ради спасения репутации Сэнфорда, а для того, чтобы продемонстрировать полную надежность заведения.

— Он первый рассказал мне про ваш магазин.

— Кто бы он ни был, это хороший клиент. Девочки его любят.

— Когда он спустится, скажите ему, что Томас Эпгар навечно перед ним в долгу.

— Хорошо, сэр.— Да, я воспользовался именем Третьего брата как nom de guerre или, скорее, nom d'amour[63]. Поскольку хозяйка — жадная читательница популярных газет, она необычайно взволнована тем, что среди ее клиентов есть пожилой джентльмен, чей сын скоро женится на прекрасной французской княгине.

— Я твердо убежден,— сказал я вполне по-эпгаровски,— что, несмотря на французскую кровь, она будет моему сыну хорошей женой.

3

Сейчас ночь 14 февраля, нет, скорее, утро 15 февраля, и наши чемоданы уже отправлены в отель «Уиллард» в Вашингтоне. Сегодня днем, увидев счет отеля «Пя-

[63] «Именем для ратных» или, скорее, «любовных подвигов» *(франц.)*. Этот каламбур основан на средневековом рыцарском обычае брать вымышленное имя, отправляясь на войну.

тая авеню», я едва не расстался с жизнью. За второй месяц нашего здесь пребывания с нас причитается 1800 долларов! Это чуть больше половины моих нынешних ресурсов, потому что от Джейми я получил только небольшой аванс и пока совсем ничего от «Леджера» за «Последние дни Наполеона III». «Нэйшн» заплатит мне за Кавура сущие гроши, и то лишь после публикации. Поэтому меня охватила настоящая паника. К счастью, при сем присутствовал полковник. Он показал счет управляющему, который нашел несколько ошибок в сложении. В конце концов счет милостиво сократился почти на треть.

— Зайдите на минутку. Давайте выпьем по утреннему стаканчику.— Добрый полковник проводил меня в «уголок таинств», где уже появился Брайант в сопровождении небольшой компании, в которой был очаровательный таможенный инспектор нью-йоркского порта и сенатор Роско Конклинг. При виде его исполинского торса мне всегда кажется, что элегантный, обтягивающий костюм (сенатор предпочитает именно такие) вот-вот лопнет на нем по швам. Конклинг возвышался над всеми, кроме инспектора. У него львиная (излюбленное словечко литературных дам) голова, редеющие рыжевато-серые волосы зачесаны строго назад, а в центре широкого лба оставлено колечко правильной формы — знаменитый локон Гиацинта. Из-под олимпийских бровей на вас настороженно смотрят маленькие светлые глаза какого-то дикого зверя из джунглей.

— Прошу прощения! — Полковник вскочил на ноги, чтобы поздороваться с великими людьми.

Я попытался улизнуть, но меня остановил Брайант, который педантично, одного за другим, представил мне своих спутников. Здороваясь с Конклингом, я оказался почти вплотную к нему и едва не уткнулся носом в элегантный твидовый изгиб верхней части сенаторского живота или нижней части груди; точнее сказать не могу, поскольку они давным-давно уже слились в единый республиканский монолит. К счастью, от него исходил аппетитнейший запах фиалковой воды и дорогих сигар.

Остальные были лидерами республиканцев в штате Нью-Йорк. Известные как «стойкие», эти люди — враги любых реформ, а потому фанатичные сторонники генерала Гранта и системы политических трофеев.

— Мистер Скайлер — мой старый коллега.

«Стойкие» закивали, давая понять, что им обо мне все известно, но Конклинг, как видно, не расслышал моего имени и смотрел куда-то поверх моей головы, погруженный в олимпийское созерцание.

— Мистер Скайлер будет писать о выставке Столетия. Она открывается десятого мая,— добавил Брайант специально для меня.

Добродушный таможенный инспектор поинтересовался:

— Когда вы собираетесь обратно в Париж, мистер Скайлер?

— Сразу после выборов. И свадьбы моей дочери...— Я не без злорадства заметил, что при слове «Париж» голова Конклинга опустилась с высот к подножию горы, то есть ко мне.

— Извините меня, мистер Скайлер.— Обычно громкий, звучный голос оказался вдруг тихим и вкрадчивым.— Я так задумался, что не расслышал как следует вашего имени.

— Прошлым летом наша встреча была мимолетной.— Я высказался достаточно туманно и самоуничижительно.— А ведь вам приходится встречать стольких людей.

— Но не таких, как вы, мистер Скайлер. И как ваша ослепительная дочь...

— Я слышал, что она собирается замуж за человека из добропорядочной республиканской семьи.— Брайант вмешался в потенциально опасный диалог. Однако что касается меня, то Конклинг может быть спокоен за свой секрет, хотя, впрочем, это отнюдь не секрет, потому что все причастные к политической жизни знают про его связь с Кейт, в том числе и ее муж. К счастью для любовников, недавнее банкротство Спрейга настолько усугубило его пристрастие к бутылке, что он практически нигде не показывается, как и многострадальная супруга Конклинга, живущая затворницей в Утике, штат Нью-Йорк.

Вечером за обедом я приятно провел время в обществе Дениз.

— Не знаю, что бы я делала без Эммы. И без вас.— Она относится ко мне как к любимому дядюшке, и поэтому я чувствую себя старым, но я и в самом деле стар, и лучше уж быть ей любимым дядюшкой, чем никем вообще.

— Вы поедете на юг через Вашингтон?

Дениз покачала головой:

— Билл пришлет за мной яхту. Морской воздух, уверяют доктора, пойдет мне на пользу. Но я ненавижу морской воздух. Я убеждена, что он вреден для здоровья. Посмотрите на местных жителей, кто круглый год живет в Ньюпорте. Они вечно больны. В том случае, конечно, если им посчастливилось не умереть при родах.

— Вы имеете в виду и мужчин тоже, не только матерей с младенцами?

Дениз расхохоталась — смеется она громко, непринужденно.

— Младенцев — в первую очередь. Дело в том, что я не могу стать матерью.

— А вы хотите?

— Да, в этом-то весь ужас!

— Я рад, что у меня есть Эмма, но мне просто повезло. Большинство родителей так же мало любят своих детей, как и дети — родителей.

— Так или иначе, детей у меня, очевидно, не будет. Новая попытка может стоить мне жизни.— Это было сказано самым невозмутимым тоном.

— Вы верите докторам?

— Я доверяю своему прошлому опыту.— Она вздрогнула, как будто осознав неуместность подобного разговора даже между старым дядюшкой и племянницей.— Кроме того,— сказала она,— о моем роковом изъяне я узнала от ведущего авторитета в этой области — вашей подруги.

— Кто бы это мог быть?

— Это мадам Рестел. Билл рассказал мне, что видел вас у нее третьего дня в сопровождении молодого повесы Боннета.

— Я предполагал, что мужья не рассказывают женам о визитах к мадам Рестел.

— Как раз наоборот.— Передо мной снова была прежняя Дениз, веселая и оживленная.— Билл всегда мне о них рассказывает. К тому же мы с мадам Рестел старые друзья. Она добрая и откровенная женщина. Я не должна больше être enceinte [64]. Таков ее приказ.

Удивительно, насколько отстраненно Дениз говорит о самых интимных вещах. Не могу только понять, действительно ли она так холодна и спокойна, как хочет показаться. Я подозреваю, что она обладает тем естественным и совершенным актерским даром, которого так недостает ее мужу.

— И тем не менее мне живется лучше всех. У меня есть друзья, старые и...— Она коснулась моей руки.— Новые. У меня тысяча разных интересов, да если бы их и не было, то строительства и отделки дома под номером триста шестьдесят два по Пятой авеню мне хватило бы на всю жизнь. Но иногда становится так обидно за Билла. Он не находит себе должного применения.

— Вы бы хотели, чтобы он сидел в конторе, приумножая свое состояние?

— Ну что вы! Это происходит само собой, и Биллу нет необходимости присоединяться к волчьей стае. Денег у нас больше, чем нужно. Просто я бы хотела, чтобы он по-настоящему что-нибудь делал. Используя преимущества своего положения. Надеюсь, он займется политикой.

— О боже!

— Я одна из тех немногих женщин, кого не пугает перспектива оказаться за обеденным столом рядом с сенатором Конклингом. Хотя более тщеславного человека свет не видывал.

— И вы хотите, чтобы ваш муж стал похож на сенатора Конклинга?

— Да, до некоторой степени. Конечно, в Штатах не принято, чтобы такие люди, как Билл, занимались политикой. Зачем ему это? Или любому из нас? В конце концов, мы покупаем сенаторов, а сенаторы покупают голоса на выборах. И все же мне кажется, что для Билла это подходящее занятие.

— А вы бы хотели жить в Вашингтоне?

— О боже, нет, конечно! Я была бы тогда как миссис Конклинг и, как она, занималась бы садоводством... где это... в Утике.

Мы с Эммой признались друг другу, что нам немного жаль покидать Нью-Йорк.

— И все же поездка в Вашингтон — сама по себе приключение.— У Эммы отличнейшее настроение.

— Для меня — безусловно.— Я не сказал, как меня страшит предстоящая работа. Каждый день я получаю меморандум от Джейми. Списки людей, с которыми я

---

[64] Беременеть *(франц.)*.

должен встретиться, а также ключи от бесчисленных сейфов, где запрятаны политические секреты.

Я несколько раз безрезультатно встречался с лекционным агентом; он регулярно мне напоминает, что я не Марк Твен. Я ему отвечал, что это меня несказанно радует, но такие тонкости ему недоступны. Он считает, что я добьюсь успеха, только если буду рассказывать о нарядах и прическах императрицы и ее фрейлин. Когда я в конце концов отклонил это предложение и гордо заявил: «В таком случае вам следовало бы иметь дело не со мной, политическим писателем и историком, а с моей дочерью княгиней д'Агрижентской», агент пришел в неистовый восторг. «А она согласится? За тридцать выступлений я заплачу ей двенадцать тысяч долларов!»

Эмма тоже в восторге.

— Выходит, я смогу прокормить нас обоих. Может, стоило согласиться? Бедный папочка, ты слишком много работаешь.

Сейчас, когда я пишу эти строки, вошла Эмма, чтобы пожелать доброй ночи. Как всегда, она поцеловала меня в щеку. Я поцеловал ей руку.

— В октябре,— прошептала она.— Не в июне. Джон согласен.

— Хорошо,— ответил я тоже шепотом; мы оба ведем себя как заговорщики. Теперь, когда она остановилась в нерешительности на границе Эпгарии, я хочу, чтобы она оставалась со мной как можно дольше. «До конца» — едва не написал я и в конце концов все-таки написал.

Глава пятая

1

На рассвете гостиничная карета отвезла нас через весь город на Пенсильванский вокзал. Во время паромной переправы мы сидели в карете и сквозь запотевшие стекла смотрели на исчезающий вдали нью-йоркский берег.

Поезд отправился вовремя. Меня поразил размах торговой деятельности. Сначала нас искушали жареными пирожками. Затем появился мальчишка с огромной кипой журналов, дешевых романов и с мешком арахиса. Без единого слова он бросил Эмме на колени дамский журнал, а мне — роман о Диком Западе и исчез.

— Это подарок? — удивилась Эмма.

— Сомневаюсь.

Когда поезд тронулся, неоплаченное чтиво так и осталось у нас. Потом явился новый искуситель в белом халате — продавец жареных устриц; только суровый взгляд Эммы заставил меня воздержаться от любимого блюда, единственного американского блюда, о котором я мечтал во Франции, но ни один повар так и не сумел воссоздать эту удивительную смесь запахов Атлантики и старого сала.

В Европе таких роскошных вагонов я не видел — зеленые плюшевые занавески, мягкие вращающиеся сиденья, газовые лампы с красивыми стеклянными абажурами на подставках красного дерева и... всепроникающий запах угля и жареных устриц.

Мы не спеша пообедали в вагоне-ресторане и вернулись на свои места, где нас поджидал юный книготорговец. Одной рукой он указывал на романчик и журнал, другую — протянул к нам, требуя платы.

— С вас двадцать центов, сэр,— за все вместе.

В последующую перепалку в конце концов включился кондуктор, который дал молодому предпринимателю пинка, а я вручил ему двадцать центов, что, как он заявил, является «минимальной платой за прокат этих публикаций». Он исчез, издав вопль боли и восторга одновременно.

Когда в Балтиморе меняли локомотив, мы вышли прогуляться по перрону. Внезапно сверху раздался какой-то звук. Я поднял голову и увидел дюжину бродяг, устроившихся на крыше нашего вагона. Перехватив мой взгляд, один из них с обезьяньей ловкостью спрыгнул на перрон.

— Мэ-эм.— Он подошел к Эмме, которая была ближе к нему, и, оскалившись, протянул грязную руку.— Подадите ли монетку бедному старому ветерану?

Прежде чем кто-то из нас успел ответить, к первому бродяге присоединились еще трое. Гримасничая, хватая нас руками, эти жуткие, перепачканные сажей оборванцы образовали вокруг нас угрожающее кольцо. Я поднял стек. Эмма закричала. Тут же

двое вооруженных охранников железной дороги бросились к нам из ближайшего депо, и бродяги моментально скрылись среди вагонов и складов.

Это неприятное приключение показалось нам еще более опасным, когда кондуктор безучастно пояснил:

— От них нет никакого спасения. Как только поезд отойдет от станции, они снова будут на крышах вагонов. И если вы неосторожно окажетесь рядом, они сбросят вас с поезда.

Интересное и зловещее наблюдение: насколько я могу судить, ни один из оборванцев не был иммигрантом. На вид все они коренные американцы, жертвы войны либо биржевого краха. Тридцать лет назад я не мог даже вообразить, что в Штатах возникнет чудовищная и неистребимая преступность, так же как и ужасающая бедность, мрачно контрастирующая с невероятной роскошью тех, с кем мы общались в Нью-Йорке. Мне жаль Тилдена. При всем своем уме и честолюбии вряд ли он в состоянии сделать что-нибудь с этими измазанными сажей типами, которые, точно в страшном сне, то и дело возникают перед глазами, чтобы напомнить нам о преисподней.

Мы прибыли в Вашингтон поздним вечером. К нашему изумлению, это был настоящий весенний вечер. В середине февраля дует теплый, томный ветерок, сады и пустыри покрыты яркими не по сезону цветами — нарциссами и гиацинтами.

— Почему ты мне никогда не рассказывал про этот город? Ведь это же город?

Мы как раз въехали на Пенсильвания авеню, и Эмма разглядывала все вокруг с любопытством и изумлением.

— Я был здесь только один раз. В течение двух дней в тысяча восемьсот тридцать шестом году. И мало что помню, да тогда и запоминать-то было нечего. Теперь, по крайней мере, они возвели город.

— Где?

— Слева и справа. Великая столица мира.— Величественным жестом я обвел пансионы и бары, рестораны и отели, выстроившиеся вдоль Пенсильвания авеню, лишь недавно, как объяснил кучер, покрытой асфальтом. Выцветшие краснокирпичные здания с белыми рамами кажутся меньше, чем на самом деле, из-за необычайной ширины улицы, которая тянется — то есть тянулась — от Капитолия до Белого дома.

Со времени моего первого приезда в этот город направление улицы изменилось; теперь она идет совершенно прямо от Капитолия до здания министерства финансов и затем резко сворачивает вправо, через один-два квартала снова поворачивает налево, разрезая пополам лужайку перед Белым домом, какой я ее помню. Часть лужайки, отделенная от Белого дома этим новым отрезком Пенсильвания авеню, называется теперь Парком Лафайета; в центре его установлена не статуя Лафайета — что было бы слишком логично,— а конная статуя Эндрю Джексона. Меня порадовало, что Капитолий наконец достроен.

— Здесь была отвратительная временная постройка... кажется, коричневого цвета.

— Красивое здание.— Капитолий Эмме понравился.— Но куда ведет эта улица? — Она перевела взгляд на Пенсильвания авеню.— Там же ничего нет!

Мы выехали на Шестую улицу напротив отеля «Метрополитен», весьма потрепанной копии гостиницы «Индиан Куин», в которой я когда-то останавливался в чудовищно жаркий вашингтонский летний день и мучился всю ночь напролет, объевшись роскошным обедом в Белом доме у Эндрю Джексона; то был мой единственный визит в обитель, о которой мечтает столько наших соотечественников.

— Ты только посмотри на чернокожих!

— Негры всегда составляли здесь большинство. Надо же кому-то работать.

— Самая настоящая Африка! Это просто чудесно. Но почему никто нас не предупредил?

Эмма даже не подозревает, насколько она права. Вашингтон — и в самом деле тропический полуколониальный город. Чувствуешь, что под его поверхностью кипит туземная жизнь, совершенно не соприкасающаяся с жизнью белых визитеров, категории, в которую входят не только сменяющие друг друга правительственные чиновники, но и местные белые, гордо именующие себя старожилами.

Отель «Уиллард» расположен на том углу, где Пенсильвания авеню поворачивает направо у министерства финансов, здание в стиле неоклассицизма, которое напомнило Эмме церковь Мадлен в Париже.

Приветливые, но не слишком расторопные черные слуги забрали наш багаж. У входа в главный вестибюль нас встретил управляющий, очень похожий на Уорда Макаллистера, но помоложе.

— Добро пожаловать в столицу, княгиня, мистер Скайлер.— Он низко поклонился. Мы пробормотали, как мы счастливы быть его гостями, точно на параде прошествовали через полутемный, украшенный фресками главный вестибюль, старательно обходя бесчисленные бронзовые плевательницы.

— Ваши друзья уже здесь, княгиня. Они ждут вас в ротонде.— Управляющий сказал это, когда я регистрировался (всего десять долларов в день за номер с двумя спальнями и трехразовую еду). Но в суматохе никто из нас не обратил внимания на его слова. Эмма с любопытством разглядывала все вокруг, а я читал записку Чарльза Нордхоффа, вашингтонского корреспондента «Геральд», который приглашал нас пообедать с ним, если мы не слишком устали.

Управляющий провел нас не в номер, а в большую круглую гостиную с мозаичным полом и высоким куполом, опирающимся на позолоченные колонны. На многочисленных диванах и в креслах восседали, насколько я понял, политики со своими избирателями; сборище в своем роде столь же опасное и тревожное, как бродяги на балтиморском вокзале.

Прямо под куполом стояла высокая, крупная дама с внушительным бюстом.

— Вот она! — воскликнул управляющий, обращаясь к даме.— То есть вот о н и. Ваши друзья, мистер Скайлер и княгиня.

Мы с Эммой остановились перед этой абсолютно незнакомой дамой, которая наклонила голову с величественностью Таинственной Розы.

— Я миссис Фэйет Снед.— Ее голос, отразившись эхом от купола, звучал как голос сивиллы, возвещающей недоброе.

— Кажется, мы не имели чести...— начал я. Эмма смотрела на нее, как смотрят в зоопарке на экзотического заморского зверя.

— Вы знаете меня как «Фэй».

— Фэй?— глупо переспросил я.

— Под этим именем я пишу для «Вашингтон ивнинг стар». А это моя дочь.— На нас надвинулась увеличенная копия «Фэй».— Вы, без сомнения, знаете ее по псевдониму «Мисс Гранди». В жизни она мисс Огастин Снед. Она тоже регулярно пишет в «Стар». А теперь, пожалуйста, сюда.

Мы послушно последовали за этой опасной парочкой в дальний конец ротонды.

— Большинство европейских коронованных особ останавливается в отеле «Уормли». Почему вы там не остановились, княгиня? — прищурившись, спросила коварная мисс Огастин Снед.

— Я хочу быть настоящей американкой, как мой отец,— сказала Эмма.— «Уиллард» более демократичен.

Сошло довольно хорошо.

— Мы бы хотели узнать — в свое время, конечно,— ваши впечатления от Вашингтона, княгиня,— сказала миссис Фэйет Снед.

— И ваши тоже, мистер Скайлер,— добавила Огастин Снед.

Затем мать и дочь извлекли маленькие записные книжки и принялись нас интервьюировать. Они были весьма обстоятельны. Мы живо рассказывали о наших похождениях, особенно Эмма, которая наконец ухватила суть наших газет и теперь с ходу дает удивительные, секунду назад изобретенные, смелые и простые рецепты несъедобных блюд, не говоря уже о тайных способах сохранения молодости и красоты.

— Раз в неделю, миссис Снед, я мою волосы керосином,— сообщила Эмма, и я поспешил отвернуться, чтобы не расхохотаться.

— Керосином? — Карандаш миссис Снед замер.

— Керосином, мамочка! — Мисс Огастин Снед почуяла, что ей в руки плывет редкостная удача.— Мы слышали, что в Париже так делают.

— Первой это испробовала сама императрица.— Эмма перешла на заговорщический шепот.— Через час после мытья волосы приобретают удивительный блеск. Вы обе должны попробовать. Не в том дело,— поспешно добавила она, видя перед собой довольно-таки тусклые волосы,— что вам это так уж....

— Непременно нужно,— решительно сказала Огастин Снед.— Откровенно говоря, мамочка начала немного лысеть на макушке.

— Эти подробности никого не интересуют, Гюсси,— вспыхнула Фэйет.— Но скажите, княгиня, нет ли опасности загореться, ну, например, около лампы?

— Нет, что вы. Тем более что первый час вы должны сидеть совершенно спокойно, откинув голову как можно дальше назад, чтобы распущенные волосы свободно дышали.

С другими темами Эмма справилась с легкостью завзятого лектора. Честное слово, ей надо отправиться в лекционное турне.

Дамы знали о помолвке Эммы.

— Не будете ли вы скучать по титулу княгини? — спросила коварная мисс Огастин.

Впервые я увидел, что Эмма раздражена. Но дамы этого не заметили.

— Нет такого европейского титула, мисс Снед, который был бы выше простого звания американки.

— Правильно, правильно! — торжественно возгласил я. Через несколько минут мы оказались в нашем номере и наконец-то дали волю смеху. Мысль о матери и дочери Снед с горящими волосами доставила нам неизъяснимую радость.

Приняв ванну и отдохнув (к сожалению, в ванную приходится идти через холл; удобства здесь далеко не такие, как в «Пятой авеню», но, к счастью, и цена тоже), мы в семь часов встретились в вестибюле с Чарльзом Нордхоффом.

Я не без страха приблизился к этому человеку, пишущему в «Геральд» о вашингтонской политике, опасаясь, что он справедливо увидит во мне самонадеянного дилетанта, знаменитость, свалившуюся на его шею по прихоти легкомысленного издателя; по меньшей мере три месяца ему самому придется оставаться в тени.

Наша первая встреча у конторки портье в вестибюле была не слишком обнадеживающей. Нордхоффу около сорока лет. Это коренастый, крепко сбитый человек довольно сурового вида; движется слегка вразвалку, по-матросски, впрочем, это и понятно — он ведь провел столько лет в море. Нордхофф работал в «Пост» у Брайанта, пока его не выжили оттуда из-за нападок на твидовскую шайку (так утверждают все, кроме Брайанта). Тогда Джеймн взял его в «Геральд».

Щелкнув каблуками, Нордхофф поклонился Эмме и поцеловал ей руку. Зная от меня о его прусском происхождении, она тихо заговорила с ним по-немецки. Удивленный и обрадованный, он тоже заговорил по-немецки. Затем взял мою руку в свою, пристально посмотрел мне в глаза и сказал:

— «Париж под коммунарами» — лучшая и серьезнейшая из всех прочитанных мною работ о коммунизме.

У меня закружилась голова от неожиданной похвалы, поэтому я не сразу сообразил, что он, как и все прочие, переврал название. Но с названиями мне вообще не везет. Надо учиться у мастеров и придумывать нечто выразительное, сильное, запоминающееся. «Госпожа Бовари», «Хижина дяди Тома», «Холодный дом»,— один раз услышав или прочитав эти заглавия, уже не перепутаешь.

Длинная вереница карет постоянно дежурит возле отеля, но Нордхофф предложил — «если Эмма не возражает» — пройтись пешком до ресторана «Уэлчер».

— Отсюда совсем недалеко и почти на всем пути есть тротуар.

Эмма не возражала.

— Это Африка! — шепнула она мне по-французски, когда мы шли по неровному кирпичному тротуару; в отдалении, возвышаясь надо всем вокруг, плыл, как мечта, изваянная из белоснежного мыла, Капитолий, окруженный постоялыми дворами.

Солнце уже село, но вечер был удивительно теплым. Движение по широкой улице почти совсем прекратилось, если не считать трамваев, которые с неимоверным грохотом носились взад и вперед. Напротив министерства финансов мы повернули за угол, и Нордхофф показал нам высокий вяз, названный в честь художника и изобретателя Морзе. Очевидно, некая ужасная догадка вроде ньютоновской пришла ему в голову под сенью этого дерева.

— Как мило,— сказала Эмма.

Нордхофф издал какой-то страшный, лающий звук, в котором я со временем научился распознавать смех.

— Единственные добрые слова, каких этот город заслуживает: он был еще хуже пять лет назад, пока мы не заполучили в мэры нашего собственного босса Твида, местного преступника, который грабит Вашингтон без зазрения совести, но одновременно хотя бы мостит улицы.

— Никто не жалуется?

— На мостовые? Еще как! Во время дождя чуть ли не весь город превращается в Венецию.

— Да нет, на воровство.

— Боже мой, нет, конечно! В конце концов, это американский образ действий. Кое-что все-таки улучшается. А вот Белый дом...

В темноте за высокими деревьями показалось большое, похожее на пустую коробку белое здание.

— Очаровательно,— сказала Эмма. Со времени моего приезда в Вашингтон к зданию пристроили стеклянные оранжереи; они нисколько не улучшили его нежилой вид.

— Внутри он еще хуже,— сказал Нордхофф. Затем он повел нас на Пятнадцатую улицу, в ресторан, который помещается в обычном кирпичном доме вроде тех, что в Нью-Йорке строят из песчаника. Большая часть вашингтонских домов сложена из темно-красного кирпича, этот цвет радует мне душу, но Эмме напоминает запекшуюся кровь.

Нордхофф повел нас вверх по лестнице в главный обеденный зал; черный метрдотель, плюшевые портьеры, старомодные турецкие ковры. Свет только от свечей — большое облегчение после непременных нью-йоркских кальциевых ламп.

Эмма села в кресло, как бы не замечая, что все глаза устремились на нее.

— Завтра меня замучают расспросами,— ухмыльнулся Нордхофф.— Каждый захочет узнать, кто были мои гости.

— Это все сенаторы? — Взгляд Эммы стремительно обежал зал, точно театральную сцену или экран диорамы.

— Сенаторы этажом выше, княгиня. В кабинетах, где столы ломятся от бутылок и дымятся длиннющие сигары...

— С дамами?

— Иногда. Но обычно они предпочитают обедать с другими сенаторами и плести заговоры с целью опустошения казны.

— Значит, эти люди...— Она снова обвела взглядом наших сотрапезников.

— Лоббисты. Они встречаются с сенаторами только в темных аллеях, где деньги переходят из рук в руки.

— Создается впечатление,— сказала Эмма,— что правительство здесь существует только для того, чтобы давать и отнимать деньги.

— Аминь! — крикнул Нордхофф, чем изрядно напугал людей за соседним столиком.

Я с готовностью полюбил бы Вашингтон, если бы мне не нужно было о нем писать. Нордхофф чрезвычайно любезно предоставил в мое распоряжение свои заметки о деле Бэбкока, и теперь у меня в голове уже почти сложилась первая корреспонденция: общие впечатления от города после сорокалетнего отсутствия, а также разрозненные мысли о коррупции, спиртной афере и О. Э. Бэбкоке.

— Советую вам встретиться с Бристоу, министром финансов. Это он наносит смертельные удары Гранту.

— Своему собственному президенту? — Кажется, Эмма начинает проявлять интерес к политике.

На заметку: неподкупный Бенджамин Х. Бристоу из Кентукки стал министром финансов в июне 1874 года. Ко всеобщему изумлению, он оказался честным человеком. Обнаружив, что его министерство набито жуликами, он постарался выгнать их вон.

Спиртная афера началась в 1870 году, когда Грант назначил своего закадычного дружка генерала (разумеется!) Джона Макдональда начальником налогового управления в Сент-Луисе. Как и Бэбкок, Макдональд служил у Гранта при Виксбурге, а всякий, кто служил у великого полководца во время этой битвы, мог, если того желал, получить ключ от монетного двора. Так или иначе, налог на виски шел из западных штатов не в казну, а в карман Макдональда, его друзей, а также Бэбкока и, вероятно, самого президента. На сегодняшний день украдено около десяти миллионов долларов.

— Неужели замешан сам президент? — Я просто умирал от любопытства.

Нордхофф пожал плечами:

— Во всяком случае, его не раз предупреждали о махинациях Бэбкока; теперь же он делает все возможное, чтобы приостановить следствие.

— Но это ведь так естественно — пытаться спасти свою администрацию.— Эмма, как всегда, высказалась весьма практично.

— Точно так же рассуждают «стойкие». Но все же суд в Сент-Луисе идет своим чередом, и Грант выразил готовность лично дать показания в пользу Бэбкока.

— Так мог поступить человек честный, но недалекий,— сказала Эмма.

— Или хитрый обманщик,— сказал Нордхофф.— Однако кабинет министров отговорил его от поездки в Сент-Луис.

— На что он и рассчитывал, разумеется.— Каким-то сверхъестественным чутьем Эмма постигает суть этих негодяев.

— Действия генерального прокурора подтверждают виновность Гранта. Во-первых, прокурор, расследовавший это дело, был смещен. Перед самым началом суда над Бэбкоком генеральный прокурор лишил обвинение возможности получать свидетельские показания, пообещав неприкосновенность или снисхождение любому из потенциальных свидетелей обвинения. Разумеется, это связало следствие по рукам и ногам.

— Грант знал об этом распоряжении?

— Грант сам его отдал, чтобы спасти Бэбкока.

— И самого себя? — восхитилась Эмма.

— Конечно. Ну что ж, скоро мы узнаем приговор.

— И Бэбкок выйдет сухим из воды?

Нордхофф кивнул:

— Но остальные пойдут в тюрьму. Мы здесь все почти уверены, что Грант замешан во многих темных делишках. Но мы не можем, не должны так говорить.

— Вас обвинят в клевете?

— Нет. Грант — национальный герой, и люди не желают верить, что он продажен. Хотя, думаю, многие в глубине души в этом убеждены. Но он по-прежнему Улисс Симпсон Грант, который спас Союз штатов; величайший из живущих в мире генералов, храбрый и молчаливый герой, не открывающий рта, герой, который делает вид, будто ничего не понимает в политике...

— Хотя понимает все.— Эмма кивнула в мою сторону.— Как император.

— Вашингтонские репортажи следовало писать моей дочери.

Эмма засмеялась:

— Я не думаю...— Но в этот момент ее прервал не кто иной, как спикер палаты представителей (то есть спикер до ноябрьской победы демократов) Джеймс Г. Блейн из штата Мэн, единственный серьезный соперник Конклинга в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от республиканской партии.

Великий политик собирался подняться наверх на ужин с друзьями, но тут, как он выразился, «заметил моего старого друга Нордхоффа в обществе прекраснейшей из женщин, и вот я с вами».

— Да-да, я подсяду к вам на минутку. Да, официант, я выпью глоток этого вина. За здоровье прекрасной княгини из прекрасного далека и за ваше здоровье, мистер Скайлер.

Вероятно, он тоже читал в колледже мою книжку «Макиавелли и последний сеньор». Если бы тридцать лет назад я знал, что буду способствовать просвещению целого поколения американских политиков, я бы добавил к этому сочинению мораль. Кажется, моего Макиавелли они поняли слишком хорошо, упустив из виду судьбу сеньора.

Блейн пришел уже изрядно выпивши, но пьян не был. Думаю, что ему еще нет пятидесяти. У него красное лицо, маленькие глазки похожи на отполированные ониксы, они впиваются в вас, излучая такое сияние, что приходится отводить взгляд. Слоновьи уши то бледнее, то краснее лица — в зависимости от настроения, наверное. Нос слегка напоминает картофелину, но в целом лицо (или та его часть над подстриженной грантовской бородой, которая открыта взору) довольно приятное, как и голос,— для американского политика в наши дни это первейшее и необходимейшее качество, хотя мне рассказывали что у покойного достопочтенного президента Линкольна был слабый, тонкий, унылый голос.

— Какой подарок Вашингтону, не правда ли, Нордхофф?

— Не моя заслуга. Благодарите Скайлера и Беннета.— К моему неудовольствию,

Нордхофф объяснил Блейну, что́ я делаю в Вашингтоне, и Блейн сразу же стал сдержаннее, и опьянение, еще минуту назад придававшее ему блеск, внезапно улетучилось.

— Я с нетерпением буду ждать, как вы изобразите наш город.

— Может быть, вы скажете несколько слов о генерале Бэбкоке, господин спикер? — Этот учтивый вопрос Нордхофф сопроводил похрюкиванием, равнозначным смеху.

Блейн комично возвел очи к потолку:

— Не будьте слишком жестоки к нам, мистер Скайлер. Мы всего лишь ватага бедных деревенских парней, попавших в большой порочный город.

— Вы можете быть спокойны.

— Княгиня, я надеюсь, что скоро вы осчастливите наш дом своим посещением.

Забавно суетясь, великий человек удалился. Нордхофф был доволен собой и нами.

— Тоже продажен? — осведомился я.

— Папа, неужели ты до сих пор не понял?

Нордхофф сначала немножко полаял, а затем сказал:

— Да, но он умеет при этом сохранить стиль. Я думаю, что это самый интересный человек в столице.

Наш гостиничный номер не идет ни в какое сравнение с номером в «Пятой авеню», но у нас не было сил даже думать об этом. С тревогой я обратил внимание на москитную сетку над кроватями, а Эмма — с облегчением — на железную сетку на окнах. Она легла, с трудом выдавив «спокойной ночи». Я же еще довольно долго бодрствовал — надо было все записать.

Сколько впереди работы!

2

Наконец я отправил в «Геральд» свою первую статью: Нордхофф — по-прежнему сама любезность, он мне очень помог. Президент тоже в значительной степени способствовал моему дебюту в качестве вашингтонского корреспондента: вчера опубликованы его письменные показания суду в Сент-Луисе. Многословные и путаные, они вызвали сильнейшее замешательство администрации и нескрываемую радость оппозиции. Президент, очевидно под присягой, вновь и вновь повторяет: «Я всегда глубоко верил в его честность... Я никогда не слышал ничего такого, что могло бы эту веру поколебать; разумеется, мне известно, что в настоящее время он находится под судом».

Президент знает куда больше, чем говорит. Нордхофф утверждает, что Грант принял по крайней мере один подарок от «спиртных» жуликов. Два года назад предводитель шайки генерал Макдональд преподнес ему пару чистокровных лошадей с двухместной линейной коляской и позолоченную сбрую. Президент заплатил за это Макдональду три доллара, а Макдональд вручил президенту расписку на тысячу семьсот. Таков один из способов обогащения наших лидеров. Однако Грант считает, что Союз штатов, который он спас, ему недоплатил, и часто говорит о деньгах и недвижимости, которыми благодарная Англия одарила Мальборо и Веллингтона за их военные подвиги. Озлобленный тем, что он не получил свой Бленхеймский замок[65], Грант ныне полагает справедливым принимать все, что ему преподносят, независимо от личности дарителя.

Я отправил статью в Нью-Йорк утренним поездом и только что получил от Джейми телеграмму. «Отличная работа»,— говорится в ней. Поэтому теперь я увереннее чувствую себя в Вашингтоне, в этих пышных африканских джунглях, столь милых сердцу моей дочери.

Но как отразятся мои очерки на нашей светской жизни в Вашингтоне?

— Если президент прочитает, что я о нем написал, нас не пустят на порог Белого дома.

— Ну что ты, папа, у тебя все очень тактично.— Эмма внимательнейшим образом изучила статью, не пропустив ни строчки. Решили, что о коррупции надо писать просто и без затей; будет гораздо эффектнее. Не хочу хвастаться, но думаю, что со своей задачей я справился: конечно, это ничуть не похоже на стиль большинства американских журналистов, которые с такой крикливостью обнаруживают свои пар-

[65] Замок в центральной Англии, пожалованный герцогу Мальборо королевой Анной за победу над французами в войне за испанское наследство.

тийные пристрастия, что даже тогда, когда они пишут правду, кажется, что они лгут или, хуже того, куплены с потрохами.

Эмма имеет немалый успех. Ей нанесла визит сама миссис Гамильтон Фиш, жена государственного секретаря. После того как миссис Фиш оставила свою визитную карточку, ее примеру последовали жены остальных членов кабинета. А юная прекрасная миссис Уильям У. Белнэп посетила Эмму лично, поскольку, кажется, четыре года назад встречалась с ней в Париже. Белнэп — военный министр, он когда-то был женат на сестре миссис Белнэп. Овдовев, он женился на очаровательной Киске, как называют миссис Белнэп даже те, кто с ней не знаком. Эмма припоминает, что в Париже Киска Белнэп показалась несколько вульгарной. «Очень gamine [66], но такое забавное существо в стиле Дальнего Запада».

Так или иначе, сегодня вечером знаменитая Киска заехала за нами и повезла обедать к себе на Джи-стрит. Эмма постоянно обращает внимание на то, что у этих великих людей совсем крошечные дома.

— К тому же правители твоей великой страны очень редко моются.— Эмма скорчила гримасу.— А мужчины никогда как следует не чистят свои сюртуки и брюки.

Должен сказать, я тоже обратил внимание на тяжелый запах, который сопутствует шумным вашингтонским сборищам. Дамы, разумеется, изрядно пропитаны французскими духами, а некоторые мужчины, но, увы, не все, пользуются одеколоном. Мыло, однако, здесь не в чести. Я заметил, что у Блейна черно под ногтями, а часть шеи Нордхоффа, видимая над безукоризненным воротничком, испещрена тонкими серыми полосками, похожими на штрихи серебряного карандаша Леонардо.

Зато Киска благоухает, как сиреневый сад; многие дамы за сегодняшним обедом были очень хороши собой, хотя и несколько простоваты. Дом набит французской мебелью, и хозяйка этим довольна.

Военный министр — коротышка, грудь колесом, кучерявая рыжая борода; манера держаться самая располагающая.

— Я слышал, вы пишете о бедняге Орвилле. Не решаюсь спросить, что именно вы написали.

— Ничего страшного. Я лишь пытаюсь разобраться в том, что происходит. С юридической точки зрения в деле много неясного.

— Орвилл жаден.— Второй раз я слышу это слово применительно к секретарю президента.— Но он отличный парень и должен вам понравиться.

— Вы считаете, что его оправдают?

— Думаю, лучше спросить генерального прокурора.— Сей государственный муж оказался в этот момент рядом со мной. Однако мистер Г. Х. Уильямс (или генерал Уильямс, как принято величать генерального прокурора) не склонен был ничего мне рассказывать.

— Вряд ли, сэр, я имею право комментировать дело, в настоящий момент разбираемое судом.

— Меня просто заинтересовало ваше распоряжение, запрещающее суду проявлять снисхождение к свидетелям, которые пожелали бы...

— Это оружие обвинения я никогда не одобрял. Оно попахивает шантажом, взяткой.

— Справедливо. Однако, сместив прокурора...

— Гендерсон был смещен из-за своих откровенно партийных пристрастий. Его нисколько не интересовало следствие по делу о спиртной афере. Он думал только об одном: как бы опорочить личного секретаря президента и тем самым лишить Гранта возможности выставить свою кандидатуру на третий срок. Низкое, отвратительное политическое интриганство, сэр.

— Я расскажу вам, кто во всем виноват.— Киска Белнэп увела меня от генерального прокурора.— Я во всем виню Бристоу. Не успев стать министром финансов, он начал рваться к президентскому креслу. Но генерал Грант — святой, вы только представьте себе, что ему пришлось вытерпеть от этого ужасного интригана, все время твердящего о реформах...

— Вы имеете в виду губернатора Тилдена?

— Я слышала, что он ужасно пьет и кое-что похуже... Ну, вы понимаете...

Я не понимал, но Киска — слишком благовоспитанная дама, чтобы позволить себе распространяться на такие деликатные темы.

---

[66] Озорная, задорная *(франц.)*.

— А теперь у меня для вас настоящий сюрприз, мистер Скайлер. Я специально ради вас пригласила самую известную романистку нашей страны, вот эту маленькую женщину. Она прожила всю свою жизнь здесь, в Вашингтоне. Это наша гордость, ни с кем не сравнимая литературная львица миссис Саутворт!

Маленькой женщине далеко за сорок; лицо простое и печальное. Да, Киска права — Саутворт, вероятно, самая популярная романистка Америки. И разумеется, самая богатая, потому что Боннер печатает в «Леджере» все, что она ни напишет. Года два назад публике предложили — и она радостно проглотила — полное собрание ее сочинений в сорока двух томах! Я видел все эти сорок два тома в гостиной Белнэпов, каждый с автографом.

— Я следила за вашими статьями в «Леджере».— Миссис Саутворт произнесла это любезно-снисходительно, как и подобало королеве беллетристики говорить с простым политическим обозревателем.

— Вы так добры.

— Кажется, вы никогда не писали романов, мистер Скайлер?

— Упаси бог, нет,— быстро ответил я.— Я, видите ли, историк.

— Ваше описание аморального двора французской императрицы убедило меня в том, что вы обладаете даром волновать сердца и умы женщин, где бы они ни жили — в роскошных дворцах или скромных хижинах.

— Вы мне льстите...

Но тут романистка перешла к делу:

— Пожалуйста, представьте меня своей дочери. Сейчас я пишу о благородной женщине из Европы, и мне бы очень хотелось кое о чем расспросить вашу дочь.

Затем я познакомился с напыщенным конгрессменом, которому как нельзя лучше подходит его фамилия — Клаймер [67]. Он председатель одной из комиссий конгресса — фигура, по местным понятиям, значительная.

— Мы с Белнэпом жили в одной комнате, когда учились в Принстоне,— сказал он.— Я о нем очень высокого мнения.

Однако я не забывал о Бэбкоке. К сожалению, из Клаймера мне мало что удалось выудить.

— Я думаю, что генерал Грант иной раз слишком предан своим старым военным друзьям,— сказал он.

— Интересно, отдает ли президент себе отчет в происходящем?

— Он совсем не дурак, что бы ни думали о нем в Нью-Йорке.

— Почему же тогда он выгораживает Бэбкока, вина которого очевидна?

— Я полагаю, сэр, надо дождаться приговора суда.— Меня жестко поставили на место.

— У меня есть информация из первых рук о грантовских назначениях на заграничную службу,— довольно сердито парировал я.— Я знаю мистера Скенка.— Честно говоря, я видел Скенка один раз, да и то издали, вскоре после его назначения посланником при Сент-Джеймсском дворе. Но я хотел заставить своего собеседника разговориться.

— Согласен, этот джентльмен в определенной степени скомпрометировал администрацию.

— Пытаясь обучать англичан игре в покер? — Я уже понял, что шутка или ирония не вызывают одобрения у правителей этой страны (если они улавливают их смысл, конечно).

— Мне ничего не известно о его развлечениях. Я имел в виду спекуляцию.

— Продажу англичанам акций несуществующих шахт?

— Я полагаю, что президент чувствует себя глубоко обманутым генералом Скенком.

— Так много генералов,— ответил я,— и каждый высоко оценен благодарной нацией.

— Не более, чем они это заслужили.— Боюсь, что Клаймер не почувствовал иронии.

Затем мы отправились обедать; я сидел по левую руку от Киски. Увы, с другой стороны от меня сидела миссис Саутворт, которая рассказала мне замысел своего нового романа:

— Действие его происходит в одной европейской стране, среди гор и бесчислен-

---

[67] Фамилия созвучна англ. слову climber, то есть карьерист, честолюбец.

ных замков. Ваша дочь очень мне помогла. Но скажите откровенно, что произошло между вами и моей старой подругой Фэйет Снед, известной преданным читательницам «Ивнинг стар» как Фэй?..

— Ровным счетом ничего. Она нас интервьюировала. Вместе с дочерью. Мы были ими очарованы.— Обе дамы написали о нас (в разные номера «Стар»), и стиль их ничем не отличался от обычного стиля таких авторов: тысяча прилагательных, мало глаголов и множество слабых каламбуров, обожаемых вашингтонцами.

— Видите ли, миссис Фэйет Снед сейчас в ужасном состоянии. Из-за княгини. Позволю себе намек: это как-то касается волос.

— Несчастный случай? — В голосе моем прозвучала неподдельная тревога.

— Да, мистер Скайлер. По совету княгини миссис Фэйет Снед вымыла свои не самые прекрасные волосы керосином и...

— Они вспыхнули?

— Хуже, мистер Скайлер. Они выпали.

— Великий боже! Но... но каким керосином она пользовалась? — импровизировал я на ходу.

— Она точно выполнила указания княгини.

— Но княгиня имела в виду французский керосин, он не такой едкий, как... неужели миссис Фэйет Снед мыла волосы обычным американским керосином?

— Прискорбное недоразумение...

— Да, да. Нужно ей написать. Послать цветы.

— Парик был бы уместней, хотя это не совсем деликатно.

Надеюсь, я кое-как залатал пробоину. Если же нет, то возмездие в печати миссис Фэйет Снед, она же Фэй, несомненно, будет ужасным.

Эмма говорит, что сегодня она, конечно, не заснет от хохота. Я же с некоторым любопытством отмечаю, что в Вашингтоне пульс у меня нормальный и сплю я без лауданума. Очевидно, Африка нам обоим идет на пользу.

3

Я работал в маленькой гостиной нашего номера, когда явился Нордхофф. Он показал мне телеграмму из Сент-Луиса: Бэбкок оправдан.

— Вы удивлены? — спросил я.

— Отнюдь нет. Я слышал, вы были в гостях у Белнэпов.

— Да. Кажется, Эмма знакома с прелестной Киской еще по Парижу.

— Хорошо. Я хотел сказать, хорошо, что вы с ними знакомы.

Я не сразу понял смысл этих слов.

— Эмма отправилась с ней покататься.

— Интересно, знает ли миссис Белнэп...

— Знает — что?

— Что топор вот-вот опустится на ее прелестную шейку.

— За что?

— Как и ее сестра, Киска торговала гарнизонными магазинами в военных поселениях по всей стране.

— Это что такое?

— Исключительное право держать магазины в расположении воинской части или военного учреждения. На этом гребут хорошие деньги. Много лет назад Кискина сестра, еще более прекрасная, чем сама Киска, приобрела для некоего Марша право торговать в Форт-Силле на индейской территории, где уже был магазин. Владелец, естественно, не хотел его уступать. Но приказу, подписанному военным министром, надо подчиняться. К счастью для него, Марш оказался покладистым человеком. Он разрешил владельцу прежнего магазина остаться на прежнем месте — за двенадцать тысяч долларов в год. Тот счел условие разумным. Белнэпы — тоже, ведь они получают ежегодно половину всей суммы. Вот почему утонченная Киска имеет возможность покупать французскую мебель и заказывать платья в Париже.

— Ну и ну,— выдавил я из себя.

— Вчера я послал статью об этом в «Геральд».

— И что будет?

— Комиссия конгресса собрала уже почти все доказательства. Они вот-вот вызовут Марша для дачи показаний.

— Он скажет правду?

— Я думаю, у него нет выбора.

— А что будет с военным министром?

— Похоже, сядет за решетку.

— Трагическая история,— вырвалось у меня.— Бедная девочка!

— Умнейшая девочка, если не считать того, что в конце концов она попалась. Я вижу, вы расстроены, Скайлер. Она и вам вскружила голову?

Был теплый весенний день, и мы с Нордхоффом отправились пешком в так называемый Газетный ряд, отрезок тротуара неподалеку от Пенсильвания авеню на Четырнадцатой улице, где вашингтонские журналисты сидят со своими друзьями на складных стульях в тени высоких раскидистых деревьев и читают гранки, которые приносят им из редакций мальчишки-курьеры. Здесь обхаживают прессу конгрессмены, жаждущие увидеть свое имя в печати, а негры, официанты из соседних баров, приносят мятный джулеп[68] и заодно отгоняют коров, которые иной раз забредают сюда и ходят по тротуарам, мудро уклоняясь от своего злейшего врага — трамвая.

Журналисты тепло приветствовали Нордхоффа. Коллеги его очень уважают, что вполне естественно. Ко мне они относятся дружески, но всерьез не принимают. Это тоже понятно: книг они не читают, а к тому виду журналистики, которому отдаю предпочтение я, совершенно равнодушны. Кроме всего прочего, через несколько недель я уеду. Так что на меня можно посматривать свысока.

— Марк Твен сидел здесь целыми днями, когда писал «Позолоченный век»,— сказал Нордхофф.— Уверял нас, что писать об этом городе просто невозможно.

— Что он и доказал.— На мой взгляд, «Позолоченный век» никуда не годится: полдюжины удачных шуток, вплетенных в чисто саутвортовский сюжет. Я предпочитаю роман Дефореста «Честный Джон Вэйн», где материал, по сути, тот же, но подается куда более остро. Но никто из тех, с кем я здесь говорил, даже не слышал об этой книге, за исключением Нордхоффа, который, как и я, восхищен Дефорестом.

В Газетном ряду только и разговоров что об оправдании Бэбкока. Болтовня журналиста всегда гораздо забавнее его статей. Ясное дело: каждый из них скован интересами владельца газеты, и все же мне кажется, что, даже если предоставить журналисту полную свободу писать о том, что он знает, все равно он умудрится изложить это неинтересно и не очень точно просто потому, что слишком связан с политическими деятелями, о которых пишет. По-моему, сегодня я видел здесь чуть ли не половину членов конгресса; эти государственные мужи отнюдь не делали секрета из того, что получают от лоббистов деньги на рекламу, которую им обеспечивают постоянные обитатели Газетного ряда. Видимо, у каждого своя цена.

Я выслушал дюжину прелестных рассказов про Бэбкока. Жадность этого человека стала притчей во языцех. Однажды спиртные мошенники подарили ему булавку для галстука с бриллиантом ценою в несколько тысяч долларов. Он нашел в камне небольшой изъян, потребовал заменить его и получил другой, более крупный и чистый. Завтра он должен вернуться в Белый дом; полагают, что Грант оставит его своим личным секретарем. Много, но путано говорили и про Белнэпов. Нордхофф (который обскакал всех своих коллег) делал вид, что ему ничего не известно.

— Ты знаешь про Киску? — спросила Эмма, когда мы встретились в гостинице.

— Нордхофф кое-что мне рассказал.

— Бедная девочка. Она все глаза выплакала.

— Она сама тебе призналась?

— Надо же было ей с кем-то поговорить, а я, к счастью, посторонняя. И тоже женщина. Да ведь завтра это уже ни для кого не будет секретом. Она сказала, что журналисты все раскопали.

— Она невиновна?

Эмма задумалась:

— Она противоречит сама себе. Во всем винит миссис Марш, жену человека, который, видимо, делился с ней деньгами. Они когда-то были близкими подругами. Потом, вероятно, Киска стала чересчур знатной для своей старой подруги. Супруги Марш в городе. Завтра он будет давать показания перед комиссией конгресса. Миссис Марш требует, чтобы муж сказал правду, а Киска умоляла его все отрицать.

— Значит, она признает свою вину.

— И да и нет. Она говорит, что все это недоразумение. Уверяет, будто представления не имела, какую сделку заключила с Маршем ее сестра.

---

[68] Коктейль из виски, сахара и мяты со льдом.

— Но деньги она брала?

Эмма кивнула:

— Конечно. Марш собирается показать, что он в течение нескольких лет платил Белнэпам по шесть тысяч долларов в год. Не так уж много.

— Для нас сейчас это целое состояние.

— Но не для военного министра.

— Конечно. Поразительно, на какую мелочь клюют эти люди.

— С их точки зрения, проще и безопаснее брать много мелких взяток, чем одну крупную.— Эмма, как всегда, сделала очевидный вывод, который, как всегда, мне не пришел в голову. Если Белнэпы продали один гарнизонный магазин, то, вероятно, они продали и дюжину других, о которых никто никогда не узнает.— Я совершенно не понимаю твоих американцев, папа. Почему это плохо — получать таким образом деньги? И весь этот шум из-за подарков, которые принимает генерал Грант...

— Дело не в подарках, а в том, что он за это делает. Ну, например, сейчас он пытается — причем не без успеха — помешать правосудию в Сент-Луисе. Бэбкока оправдали потому, что Грант в разгар судебного процесса сместил прокурора и отказался проявить снисхождение к свидетелям обвинения, а в довершение всего солгал суду под присягой. Глава исполнительной власти страны — преступник.

— Но ведь и в Европе все тоже крадут?

— Мы не европейцы. Мы протестанты, верим в грех и воздаяние и в абсолютную необходимость добра.

— Никогда не смогу стать американкой,— твердо сказала моя дочь.

— Тогда остается надеяться, что ты сумеешь превратить Джона во француза.

— Поскольку у меня не будет другого выбора? — Секунду мы балансировали на грани опасной откровенности. Переходить эту грань ни Эмме, ни мне не хотелось, а потому мы отправились переодеваться к обеду. Джон мне симпатичен и Эмме, полагаю, тоже. Но соединение людей столь несхожих культур в принципе абсурдно. Впрочем, я уверен, что Эмма своего добьется. Я верю в силу ее характера, в тонкость ее ума. Она ни перед чем не остановится. Это настоящий Бонапарт.

Мне следовало, наверное, еще раньше рассказать на этих страницах, что два дня назад около десяти часов вечера я видел президента в ротонде отеля «Уилларда». Меня предупреждали, что он любит во время прогулки заглянуть туда и молча посидеть в холле с сигарой. Служащие отеля уважают его инкогнито, но гости иной раз его узнают; узнали и мы с Нордхоффом.

Нордхофф первый заметил его:

— Вот он. Не смотрите.

Я бросил мимолетный взгляд на парадную дверь — там стоял генерал Грант. Никто из гостей его не узнал, и немудрено — внешность у него не слишком запоминающаяся, чтобы не сказать заурядная. Он гораздо меньше ростом, чем я ожидал; человек крепкого сложения, он выглядит удивительно хрупким из-за манеры двигаться: верхняя часть тела при ходьбе подается вперед, а голова слегка склоняется набок. То ли он косолап, то ли одна нога короче другой. Волосы короткие, седеющие, с пробором слева. Знаменитая борода аккуратно подстрижена и закрывает или, скорее, маскирует всю нижнюю часть лица. Длинная черная сигара зажата в зубах; он так и не раскурил ее, пока сидел в холле, а только пожевывал. За спинкой его стула стоял телохранитель, который всегда сопровождает президента во время прогулок.

Уши, нос, глаза ничем не примечательны, но лицо весьма любопытно. В нем есть что-то ущемленное, уязвленное, изумленное.

— У него всегда такой несчастный вид? — спросил я.

— Довольно часто. Он редко смеется, еще реже улыбается. Для военного он чересчур стыдлив. Он выходит из комнаты, если кому-нибудь вздумается рассказать что-то непристойное.

— Пьет?

— Бывало раньше. Особенно перед войной и во время войны. Но теперь весьма воздержан. Почти все время проводит с лошадьми. Говорит только о войне и лошадях. И раздражается при любом упоминании о политике.

Мы полчаса глазели на генерала Гранта, пока он отдыхал, жевал свою сигару и рассматривал публику, как любой другой ветеран, вернувшийся домой стареть и, посиживая вечерами на крыльце, наблюдать, как живут другие.

Наконец президента узнали. Два подвыпивших лоббиста вышли из бара и пред-

ставились Гранту. На лице героя и в его голубых глазах не выразилось ровно ничего; во всяком случае, готовности начать разговор я в них не увидел.

Когда Грант встал, один из лоббистов схватил его за руку. Президент секунду стоял неподвижно, затем выдернул руку и отступил. Лоббисты внезапно оказались лицом к лицу с высоченным телохранителем, который возвышался между ними и удаляющейся скромной фигурой. Еще через секунду все кончилось.

— Он глуп? — Эта мысль не оставляет меня.

— Нет. Ограничен. Нелюбопытен. И все же знает о правительственных делах больше, чем полагают многие. Но он явно не рожден быть президентом.

— А кто бы смог здесь управлять?

— Наверное, Тилден.

— А не Блейн?

— Он продажен.

— Конклинг?

— Слишком горд и неуступчив.

— Кто же остается?

— Сотня ничем не примечательных кандидатов. Лично у меня пристрастие к конгрессмену Гарфилду. Он ученый человек. Но слабохарактерный. Как и почти все остальные члены конгресса, получал деньги от банка Crédit Mobilier, что владел железной дорогой «Юнион пасифик».

Генерал (разумеется) Джеймс Гарфилд — член палаты представителей от штата Огайо. Он относительно нежаден.

— Он и получил-то всего триста двадцать девять долларов. Наверное, считал их доходом с акций, которых, говоря по правде, у него и не было. Кстати, я видел его сегодня утром, и он выразил желание встретиться с вами.

— Передайте, что за триста двадцать девять долларов я согласен работать на него и прославлять его в печати.

Однако Нордхофф не признает легкомысленного тона, когда предмет разговора — его специальность, а именно политика Соединенных Штатов. Гарфилд — человек классического образования. Он может одновременно писать левой рукой по-гречески, а правой — по-латыни, хотя мне это кажется невероятным. Он член самого интеллектуального литературного клуба столицы, восхищается сочинениями Вашингтона Ирвинга и хочет встретиться со мной,— наверное, потому, что я человек той эпохи.

(Окончание следует)

ФАЙНГАР АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1931 г.)

Советский переводчик с английского. В его переводах опубликованы романы Гора Видала «Вашингтон, округ Колумбия» (совместно с В. Смирновым) и «Бэрр» (совместно с М. Бруком), кенийского писателя Нгуги Ва Тхионго «Кровавые лепестки», Мэри Бенсон (ЮАР) «В точке покоя» и др.

АНДОР ЭНДРЕ ГЕЛЛЕРИ

Рассказы

■

С венгерского

Андор Эндре Геллери — один из самых лиричных прозаиков в венгерской литературе первой половины XX века. Писатель, которому в этом году исполнилось бы восемьдесят, не прожил и половины этого срока. Он умер в фашистском концлагере в мае 1945 года, оставив потомкам два небольших романа (один из которых им не был дописан) и четыре сборника прекрасных неувядающих рассказов.

А. Э. Геллери родился в семье слесаря, владельца маленькой мастерской, и почти всю жизнь прожил в Обуде — одноэтажном будапештском предместье. Оттуда же, с периферии буржуазного общества, ведут свое происхождение и типичные герои его рассказов: красильщики, грузчики, кустари, подмастерья, реже — клерки и чаще — бродяги и безработные, выброшенные за ворота жизни великим экономическим кризисом. Геллери, вынужденному к двадцати четырем годам сменить около тридцати занятий, этот мир был знаком доподлинно. Судьба, забросившая его в «страну бедняков», казалось бы, в изобилии снабдила новеллиста темами и красками необходимыми для натуралистического живописания нищеты. Но он с первого же опубликованного еще в школьном возрасте, рассказа избрал иные краски. «К тусклым и жестоким цветам жизни,— писал Геллери о своем творческом кредо,— я всегда примешивал сказочные цвета радуги».

Многие его рассказы — а он был прежде всего новеллистом — вызывают впечатление поэтического текста. И все же это не стихотворения в прозе, а именно рассказы, с сюжетом, характерами и конфликтами. Творческое воображение Геллери, привычно витавшее в полусказочной сфере мечты, отталкивалось всегда от трамплина реальности, от сурового и чреватого историческими катаклизмами венгерского бытия 20—30-х годов, рождая неповторимый художественный сплав, который современные Геллери критики метко обозначили как «сказочный реализм».

Писатель при этом отнюдь не был склонен к идиллии, затушевыванию болезненных противоречий действительности. Природа «сказочности» у Геллери такова, что соединение мечты и обыденности, загадочного и тривиального, возвышенного и обнаженно естественного позволяет ему раскрыть своих героев, людей с «простыми именами», правдивей и глубже, чем это можно было бы сделать при помощи самого тщательного изложения безрадостных фактов их жизни. Почти в каждом рассказе в какой-то момент совершается чудо, неожиданный поворот событий, или вспыхивает магическое видение, и лица персонажей освещаются истинной человечностью, светом живой и отзывчивой души, скрытой до этого за внешней грубоватостью и примитивностью. События и характеры приобретают вдруг символический смысл, будят мечту о жизни более счастливой и чистой.

В. СЕРЕДА

© Gelléri Andor Endre örököse (Gelléri Andor Endréné sz. Dreier Julianna), 1981.

АНДОР ЭНДРЕ ГЕЛЛЕРИ — GELLÉRI ANDOR ENDRE (1906—1945)

Венгерский писатель. Автор романа «Большая прачечная» («A nagymosoda». 1931) и сборников рассказов «Томимые жаждой подростки» («Szomjas inasok». 1933). «Лунная улица» («Hold utca». 1934). «Пристань» («Kikötő». 1935). «Молния и вечерний пожар» («Villárm és esti tüz». 1940). Неоконченный автобиографический роман «История одного самолюбия» («Egy önérzet története», 1957) был опубликован посмертно.

Публикуемые рассказы взяты из книги избранных произведений А. Э. Геллери («Válogatott müvei». Budapest, Szépirodalmi könyvkiadó, 1981). Издательство «Художественная литература» готовит к печати том произведений писателя, куда войдут и предлагаемые рассказы.

Кудесник, помоги!

В давильне горели свечи. Тир — крепкий детина с мощной грудью — зашел выпить со мною стаканчик-другой вина, но под вечер его охватила тоска. В пляшущем свете мирно похрапывала вся компания, отпраздновавшая сбор винограда; отблески пламени высвечивали на лице Тира неодолимую грусть. Время от времени он бросал на меня полный упрека взгляд: у-у, окаянный! Опять выманил меня из дому, оторвал от умирающей жены, а я даже в этой прокисшей давильне сквозь ночь и расстояние слышу ее ужасающий кашель: кхе... кхе...

Из глаз Тира катились хмельные слезы. Должно быть, ему вспомнился тот давно минувший и полузабытый майский вечер, когда он впервые обнял жену за талию, и сейчас огоньки свечей трепетали перед ним, как некогда — всполошенный взгляд растерянно отбивающейся девушки.

Пошатываясь, он поднялся, дунул на трепетные огоньки.

— Помнишь, Тир, как листва шелестела чуть слышно?— И вдруг разрыдался.

Не перемолвившись словом, вышли мы из давильни.

И так же молча брели по осенней дороге; слева темнело кладбище, скрывая в себе немые ростки жизни. А по другую сторону в ленивой шири простирались поля, чтобы у горизонта отлого подняться к небу и вздыбиться вершинами облачных гор.

Желая вывести Тира из этой слезной тоски, отогнать гложущие его душу упреки, я завел песню, стараясь разжечь костер веселья. Раскованная мысль моя легко проникала в земные недра, годовыми кольцами вплеталась в стволы деревьев или уныло, недвижным листком, застревала средь древесных крон. А потом я в вольном восторге охватил всю вселенную, оборотился звездою и явственно увидел Тира и себя самого, как молча, без слов, бредем мы друг подле друга... и вдруг с заоблачных высей вновь свергся вниз.

— Послушай, Тир...— заговорил я.— Чем бы утешить твою несчастную жену?.. По-моему, ее спасло бы единственное: если бы одарил ты ее бодрым сердцем да здоровыми легкими и возвратил молодость ее матери, чтоб заново произвела ее на свет и помогла бы ей избежать горькой участи, непосильной работы, убившей все ее силы...

Я обнял своего старого приятеля за плечи и встряхнул его:

— Вспомни, как бог изрек: «...сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле...» Разумеешь ли, Тир, как велика эта власть? Пробовал ли ты, Тир, повелевать миром подобно господу богу, держать в своих руках новую жизнь, новое сердце и легкие и одарить ими больного человека?

Тир обратил ко мне затуманенный слезами взгляд, чуть помолчав, шевельнулся, как бы стряхивая тяжесть библейских слов, и свернул в сторону. Он шел, понуря голову, как человек, обдумывавший про себя свою самую важную думу; он забрел на темное поле, нагнулся, ища чего-то, и возвратился с цветком.

Я же в ответ молча схватил его за руку и, ни о чем не спрашивая, увлек назад, в поле. Я шептал ему на ухо какие-то слова о человеке, о боге... А затем мы оба склонились, не то чтобы отыскивая темные в темном поле цветы, но скорее угадывая их душою, и, дремлющих, лишали их жизни. Когда цветов и зеленых трав мы набрали полные охапки, я вырвал пучок травы вместе с землею и отдал Тиру. Мы остановились у старого еврейского кладбища, и Тир понимающе улыбнулся:

— Эти цветы...

— Кхе-кхе...— ответил я, подражая кашлю его больной жены, а он лишь кивнул и обнял меня со скупою нежностью.

Душа моя размягчилась, но голос стеснился в горле, и наружу прорвался лишь жар дыхания, исполненного любви к людям, к хворым и убогим.

— А теперь, дружище Тир, мы отнесем твоей жене поле... Тот единственный цветок, что ты сорвал вначале, навел меня на эту мысль. Мы отнесем ей поле, чтобы его благоуханием проникся весь дом, и я распишу, разукрашу небо над нами узорами дивных слов... Вот увидишь, как легко станет дышаться твоей жене.

Тир, прослезившись, схватил меня за руку... И вдруг тело его сотряслось счастливым смехом.

— Вот почему,— пробормотал он,— я так люблю бывать с тобой!

И он, смеясь, предстал передо мной, дабы я укрыл лицо его травою, влажной от росы, и усыпал нежными цветами, дабы возложил на лоб его венец, повесил на плечи его гирлянды зеленых веток и перевил злаками колонны его мощных ног. Я сунул ему под мышку пучок душистых трав и сам тоже облачился в цветочный убор.

Тир в буйной радости приплясывал передо мною на дороге, и тут вдруг его обуяло желание сдернуть пелену облаков и единым махом сгрести с неба звезды.

Но я удержал его.

— Не отрешайся от дел земных,— укоризненно сказал я,— в делах же небесных уповай на меня. И замкни уста, пока не придем домой, иначе только помешаешь мне.

Так брели мы с ним домой с осеннего праздника сбора винограда... Я возносил к небесам страстные молитвы, дабы помогли они мне хоть раз оборотиться кудесником, с уст которого не пламя, как у факира, полыхает, но исторгается облачко спокойствия и всеблаженства. Да глаголет устами моими сама природа и возгорится всеми цветами меланхолически скорбной осени, пусть взыграет она едва слышными отголосками веселых празднеств на дальних виноградниках... а больная, заключенная в четырех стенах влажной погодой, пусть увидит все это великолепие своим жадно распахнутым взором.

И я молча поторопил Тира. Я дрожал от страха, что колдовская сила моя иссякнет и увянут сорванные с полей цветы. А тогда не дождаться нашей больной утешительной радости.

И впрямь — о проклятье!— стоило лишь мне об этом подумать, как пылающая горним пламенем душа моя вдруг стала иссушаться, и я молитвенно стиснул руки:

— Господи, дозволь хоть единожды сбыться благому! Не лишай нас дара своего в сей миг, у порога свершения.

В глазах моих дрожали слезы. И вот, внезапно почувствовав, как все возвышенное иссякает, незримо улетучивается с уст моих, я судорожно ухватил Тира за руку, повлек его за собой и бросился бежать.

Тир, окрыленный надеждою, мчался вослед, но ветви и цветы мешали ему. Он отстал, потерялся во мгле, но мне было не до него; прижимая к себе сорванные с полей цветы, я прорвался сквозь толпу насмехавшихся над нами людей. И вот я увидел утлый домишко той хворой женщины.

В окнах хижины было темно, и не доносилось оттуда чахоточного кашля. Я остановился, чтобы обождать Тира.

Тир стремился ко мне что было сил, геройски сражаясь с побегами зелени, обвившей его ноги, и когда на последнем дыхании он догнал меня, то протянул мне в ладонях землю и пучок травы.

— Это отдай ей ты,— сказал он.

И мы, тяжело дыша после бега, но уповая на лучшее, перешагнули порог дома...

Внутри горели свечи, толпились соседки — скорбные, с бледными лицами. Тир отчаянно вскрикнул, рванулся вперед, припал своей разукрашенной цветами грудью к телу усопшей жены.

Голова его в цветочном венке покоилась на изболевшей, чахоточной груди, руки в зеленых гирляндах обвили талию ушедшей любимой, а оплетенные вьюнком ноги дрожали, когда он поднял покойную с одра и, обратя ко мне испуганно молящий взор, произнес:

— Кудесник, помоги...

1928

Перевод Т. ВОРОНКИНОЙ

Мясники состязаются

По главной улице маленького городка старый крестьянин гнал трех коз и двух длиннобородых козлов. Пять веревок сходились в его узловатой руке, и казалось, будто не хозяин вел коз, а, напротив, животные тащили его за собой. Но вот у мясной он резко остановился, воткнул палку в землю и, привязав к ней блеющих животинок, вошел в лавку. Старик спросил кусок сала. В лавке, сонно уставясь в золоченное солнцем пространство, скучали четверо рослых парней — подручные мясника. За мраморной кассовой стойкой с белым вязаньем в руках сидела госпожа Хорват. Длинные спицы с алмазными шариками на концах, сыпля искрами, так и мелькали в ее ловких пальцах. Пока один из парней отпускал сало, трое других, скаля зубы, наблюдали забавную сцену: оставленные без присмотра козлы затеяли бодаться. Подручные уже хохотали и, подзадоривая друг друга, толкались локтями. Госпожа Хорват отложила вязанье и встала, чтобы тоже взглянуть на потеху. Она была женщина статная, соблазнительная; из-под густых ресниц ее блеснули желтые, согретые солнцем кошачьи глаза. По губам ее пробежала еле заметная улыбка, она вернулась на место и опустила потухший взгляд на рукоделие. Расплатившись с ней мелочью, крестьянин вышел из лавки, гикнул на коз и, смешно подпрыгивая, затрусил за ними.

Госпожа Хорват со скучающим видом продолжала вязать. Вот уже несколько дней как муж ее, владелец мясной, уехал на ярмарку. Наверное, оттуда он отправился на другую ярмарку, прослышав, что товар там дешевле.

Изнывающие от безделья подручные снова сгрудились за прилавком; они дружно зевали, от скуки рябило в глазах; но вот, вспомнив двух уморительных забияк, бодавшихся на дороге, парни вдруг оживились и, мысленно меряясь силами, задиристо переглянулись.

— Ме-е,— подражая козлам, проблеял один из них.

— Ме-е, ме-е,— с хохотом подхватили другие.

А в полдень под шелковицей было расстелено грубое одеяло, и подручные, улюлюкая, схватились бороться. Двое весили килограммов по сто, двое — чуть меньше того. Руки у каждого — будто ожившие дубины, грудь — крутая скала, щеки красные, ладони с тарелку. Поначалу противники лишь примеривались, подходя друг к другу то так, то эдак, норовя ухватить за пояс. Но мало-помалу борьба разгорелась. Они бились, как исполины, вымахавшие из земли под лучами горячего солнца.

Кухонное окно, за которым тем временем готовила обед госпожа Хорват, ослепительно сверкало, и подручным не было видно, как то и дело замирала в руке хозяйки деревянная ложка и она, вытянув шею, с любопытством поглядывала на борцов.

Через час состязание было прервано.

— Идите обедать!— постучала госпожа Хорват в окно. Парни ввалились разгоряченные, устало покачивая огромными руками, и с восторгом набросились на еду, уплетая двойные порции.

Борьба под шелковицей продолжалась не один день. Иногда окно кухни распахивалось, и в проеме появлялась госпожа Хорват — соблазнительно пышнотелая соломенная вдова. Завидев ее, подруч-

ные сражались как одержимые, один скрежетал зубами, другой кусался, третий пинал противника или, презрев все правила, пускал в ход кулаки. А вечером, уже устроившись на ночлег, они гоготали, подтрунивая за глаза над хозяйской женушкой. Все четверо прежде были добрыми приятелями, но теперь за обедом ревниво заглядывали друг другу в тарелки — ведь восторг свой госпожа Хорват каждый день отмеряла половником или вилкой, которой она раздавала мясо.

Первенство в ожесточенных схватках стремился захватить Пишта, он был пониже других, но иссиня-черные волосы, густая щетина и затуманенный взгляд налитых мраком глаз делали его похожим на буйвола.

Вот уже второй день его главным соперником был здоровенный Ковач, и за едой самая большая порция доставалась им по очереди. Перед кухонным окном, которое теперь всегда было распахнуто, они бились так, будто в этом окне стояла в ожидании победителя их возлюбленная.

В четверг, когда дел в лавке было поменьше, подручные устроили заключительное состязание. На кухне по этому случаю готовился вкусный обед, а к ужину даже купили рыбу. Госпожа Хорват надела новое платье, вокруг носа у нее белела неумело растертая пудра. С раннего утра сердца подручных лихорадочно колотились, наконец зазвонили полдень, от волнения у парней задрожали ноги, лица побагровели. На этот раз они скинули рубахи — решили бороться обнаженными по пояс. Ковач, чтобы легче было увертываться от противника, натерся салом, Пишта проглотил несколько кусков сырой говядины, Геза хлебнул для бодрости свежей свиной крови, а четвертый влил в себя полбутылки вина. Играя мышцами, они вразвалочку двинулись к шелковице. В зеленой листве прошелестел залетный ветерок. В небо, хлопая снежными крыльями, стайкою взмыли голуби. Звон колокола стих, растаял как дым.

Геза вынес хозяйке стул, и борьба закипела. В пылу схватки парни то и дело наталкивались на дерево, ронявшее им на головы черные ягоды. Вот во двор незаметно вошли две молодки и, забыв притворить калитку, испуганно уставились на борцов. Немного спустя к ним присоединилась старуха, рядом с ней возник внук с ученической сумкой через плечо.

А подручные, не замечая зрителей, ревели, точно свирепые штормовые волны, из легких с хриплым свистом вырывался воздух, земля дрожала под ногами. Они падали, поднимались и снова, набычившись и оскалив зубы, накидывались друг на друга.

Но вот, решительно раздвинув зрителей, между старухой и двумя молодками остановился коренастый мужчина в залоснившейся кожанке. На круглом лице его светились умные, пронзительно чистые глаза. Это был Хорват.

— Ах вы черти! — взревел он, заметив, что и жена его тут — раскрасневшаяся, таращится на подручных,— и рванулся вперед.

Госпожа Хорват, вздрогнув, вскочила со стула, посмотрела на мужа долгим, оторопелым взглядом и хрипловатым от смущения голосом сказала подручным:

— Ничего, продолжайте,— потом, переведя дыхание, добавила увереннее: — Ну что же вы, продолжайте!

Разъяренный Хорват втянул голову в плечи, он похож был сейчас на сжатую до отказа пружину: того и жди, размахнется и влепит жене пощечину. Наступила гнетущая тишина. Хорват вскинул голову и, задыхаясь, с минуту смотрел на вьющийся из трубы дымок, будто хотел — вослед дыму — выпустить в небо переполнявшую душу злость. Но вот он опустил глаза и, словно в дурмане, снова увидел перед собой оробевших подручных и жену, которая, подбоченясь, опять собиралась подзадорить парней.

— Чего это парни бездельничают? — был первый вопрос Хорвата. Гнев его поумерился.

— А что? Мясо уже разделано,— враждебно ответила жена,— да и время обеденное, какие могут быть дела!

— Ох, Анна, Анна,— опустил голову Хорват,— ты снова взялась за старое.

Она ведь, случалось, и прежде крутила шашни с подручными, но чтоб так, при народе, выбирать себе полюбовника, это уж слишком! Мясника охватила какая-то тихая злость. И вдруг ему захотелось сгрести в охапку подручных и вышвырнуть их за ворота, а женушку свою белокурую — за волосы и об стену ее, об стену... но взгляд его приворожило к себе упругое, жаркое тело жены с атласной, по-девичьи гибкой шеей... он понял, что, если сейчас осрамит ее, она этой же ночью назло сговорится с кем-нибудь из подручных и сбежит из дому... в растерянности Хорват снова взглянул на небо, и, словно подсказанная горячим солнцем, его осенила мысль... он ведь тоже боролся в молодости... здоровый, как бык, всех подряд на лопатки укладывал... недаром и в цирк наведывался, присматриваясь к борцам. И тут ему вспомнился один прием, за который когда-то пришлось выставить уйму вина. «Так вот, ты противника подпусти поближе,— учил его цирковой борец,— потом отведи слегка руку и ткни ему кулаком в поддых, вроде как ненароком, и пыхти, будто все еще борешься, а сам жми его, чтобы только вздохнуть не мог, он и сомлеет».

— Ну что же, боритесь! — нарушил молчание Хорват.— А я погляжу на вас.

Парни не шелохнулись.

— Ну, начинайте же, чего испугались? — подхватила хозяйка.

И они снова кинулись друг на друга.

Хорват сел, что-то ворча себе под нос, и стал наблюдать за женой и подручными. Он видел, какие лихорадочные, шальные взгляды бросали парни на его жену, и видел, как та, раскрыв рот от волнения, таращилась на могучие, поросшие на груди волосами тела. «Да ведь она будто пьяная...» Сердце у мясника бешено застучало. «Анна, Анна... опомнись!» — хотел он крикнуть жене. «Что же делать?» — пытался что-то придумать Хорват. От возбуждения у него тряслись колени, он то сжимал руки в кулаки, то, казалось ему, он кого-то душит. Перед глазами волнами колыхались молодые тела распалившихся снова парней. Слышался дикий топот, шлепки и надрывные хрипы. Кусая губы и судорожно выгибая шеи, они стискивали друг друга в железных объятиях. Анна зарделась; прикрывая ладонью рот, словно боясь закричать, она другой рукой нервно постукивала по колену. Хорват тяжко вздохнул, ощущая нутром, как трепещет в эту минуту все ее тело, и вспомнил, как раздраженно отталкивала его жена, когда он и так и этак пробовал подкатиться к ней под бочок,— она была холодна. Теперь же душа ее неуемная так и ликует, устремленная к борющимся парням. Видя, как Пишта снова и снова прижимает Ковача к земле, а тот, будто утопающий, все же выныривает из-под навалившегося сверху противника и гордо оглядывается на хозяйку, мясник понимал, что негласно она уже обещала себя победителю. Разве мог он надеяться отстоять ее в этом яростном вихре молодой необузданной силы?

Пока бушевала схватка, мясник постепенно собрался с духом. Спасительная мысль улыбкой скользнула по его лицу. Он вскочил и радостно завопил:

— Давай! Жми его крепче!

И неожиданно резво бросившись к борющимся, нагнулся над Ковачем — проверить, не побежден ли тот, не поленился даже подсунуть два пальца ему под спину.

— Не коснулся! Вставайте и начали заново!

— Оставь их! Нашелся судья! — полоснул его окрик жены.

Оглянувшись, он рассмеялся и продолжал подзадоривать парней — пускай измотаются!

Вот Ковач как будто выдохся в объятиях Пишты, на секунду расслабился, и этого было достаточно: тот навалился, притиснул его к земле и, пыхтя, придавил коленом. Ковач был на лопатках.

Отдуваясь, они поднялись. Один из подручных стал сворачивать одеяло. Остальные, одурев от усталости, взирали на победителя — он сопел, прижимая к груди пудовые кулачища.

Хорват чувствовал себя среди них таким же лишним, как трезвый — в компании бражников. Героем дня был Пишта. Мясник, сдвинув брови, задумался и вдруг азартным движением скинул кожанку и принялся не спеша засучивать рукава. На улыбку, с которой он посмотрел на жену, та ответила неприязненным взглядом. Наконец тщательно закатав рукава и сплюнув сквозь зубы, он поглядел с прищуром на победителя.

— Ну, Пишта, давай-ка еще со мной, а уж там отдохнешь,— сказал Хорват и сам расстелил одеяло.

Парни, изумленные, вздрогнули. Жена подошла поближе. «Чего это он задумал? Костей ведь не соберет, старый увалень!» Но Хорват уже торопливо расстегивал пуговицы на рубахе. Пишта не двигался. Нет, с хозяином он бороться не будет.

— Ну пошли,— всерьез сказал ему Хорват,— выкинь из головы, что я твой хозяин.

Уговаривать Пишту никто не решался, все вдруг поняли, о каком поединке тут речь.

Вплотную придвинувшись к парню, Хорват вызывающе дернул его за руку. Правой ногой он крепко уперся в землю, чтобы, обхватив противника левой рукой за пояс, другой незаметно ударить под ложечку. Пишта, которого этот рывок привел в бешенство, сжался в комок и — эх-ма! — бросился на хозяина. На мгновение мясник помрачнел, и вот снова лицо его осветила хитроватая улыбка; левую руку он уверенно вытянул вперед, чтобы крепко обвить ею тело подручного.

«Не разучился старик бороться!» — думали парни, со страхом наблюдая за поединком.

Пишта, кинувшийся вперед, споткнулся о ногу Хорвата. И тут же мясник рванул его на себя, незаметно отвел кулак и ударил соперника в живот. Пишта, охнув, закрыл глаза. А Хорват обхватил его грудь руками и стиснул что было сил; потом легко, будто полтуши теленка, приподнял обмякшего парня и грохнул на землю. Он даже не стал прижимать его коленом, а отошел в сторонку, сбивая с одежды следы борьбы. Когда он медленно потянулся за кожанкой, собираясь одеться, к нему неслышно подбежала жена и молча подхватила полу. В глазах у нее блестели слезы, и щеки пылали. Она что-то хотела сказать, но только и выдавила из себя:

— Обед нынче хорош.

— Ну что же, отведаем! — засмеялся Хорват и примирительно положил на плечо жены отяжелевшую правую руку.— Пошли обедать, ребята!

1931

Кухаркина милость

Прошлым летом подрядился я возчиком к лавочнику. Развозил по домам картошку, уголь, муку или тот же товар тоннами доставлял со станции. К покупателям со мной обычно ездил коротышка Анти. Мы вместе таскали мешки и корзины с продуктами. И незаметно сдружились, полюбился он мне. С тех пор сигарету я выкуривал только наполовину — остальное отдавал Анти. Потом подарил ему кусок

душистого мыла, которым он мылся по воскресеньям. И даже пригласил как-то в ресторанчик на набережной Дуная; перед тем как туда отправиться, причесал его лохмы и подровнял сзади ножницами. А он, если мне надоедало править лошадью, брал у меня поводья и погонял серую Манци. Вечерами же приходил в конюшню, чистил лошадь, поил ее и задавал корм.

Сидели мы с ним однажды в конюшне на ящике для фуража. Курили. Было тихо, только сено похрустывало на зубах у Манци. И вдруг Анти, заговорив, признался мне, что влюблен...

— В кого, Анти?

— В тетку Мари.

Тетка Мари была кухаркой. Толстуха — поперек себя шире. Страх до чего горяча на руку... Никто не знал, вдова ли она или старая дева. День-деньской стряпала, стирала целые горы белья... Нам даже в голову не приходило, что тетка Мари может еще интересоваться мужчинами.

— В ко-го? — изумился я.— Рехнулся ты, что ли?

Он испуганно посмотрел на меня. Нет, говорит, не рехнулся. Тетке Мари ведь тоже любовь не заказана, только неловко ей перед хозяевами, боится себя уронить в их глазах. И все-таки... ему уже удалось раз-другой перемолвиться с ней... Правда, пока что дело обычно кончалось затрещиной...

Анти грустно кивнул. Конечно, будь он похож на отца, вся жизнь его повернулась бы иначе. Известно ли мне, что у него за отец был?

— Капралом служил при Франце-Иосифе! Бывало, как гаркнет на роту — солдатиков в дрожь бросало... Девчонки от него без ума были... А в войну получил он медаль австрийскую и погиб за отечество смертью героя... так-то вот.

А он, Анти, просто ничтожество, и терпят его только из жалости.

— Ну кто я такой?— вырвалось у него с горечью.— Меня даже дети дразнят.— Он готов был вот-вот заплакать.

— Не вешай нос, Анти, придет час, и тебе улыбнется счастье. Посмотри на меня — вон какой я верзила, а что с того? Работаю возчиком. Хотя и в очках, и говорить умею, как господа. Я даже море видел, на самолете летал. И кем в конце концов стал? Возчиком!..

— Так-то оно так,— перебил он меня,— но вы все же дело другое... вам стараться не надо, чтоб на вас обратили внимание... а мне надо...

Анти был в полном отчаянии, даже сигарету выронил изо рта... Бедный коротышка, он мучительно ломал голову, что бы такое великое ему совершить?

С тех пор я поглядывал на грозную тетку Мари заговорщицки. Иногда отпускал озорное словцо и как-то для пробы решил рассказать ей соленый анекдотец... Трах... Не успел я и глазом моргнуть, как получил от нее по физиономии... Ну и оплеуха была!..

— Слушай, Анти,— мрачно сказал я ему вечером,— брось ты, к дьяволу, эту тетку Мари. Дура она! Старая грымза! Видать, из монастыря она к Фюрстам в кухарки попала.

— Что, схлопотали?

Я молча кивнул.

...Целыми днями, погоняя лошадь, я трясся на козлах. Ничего интересного не происходило...

Но вот осенью Фюрсты, решив, что столовая им велика, затеяли перенести ее в пристройку. Все в целости и сохранности было доставлено на новое место... еще бы, ведь тетка Мари следила за нами, как неусыпный Аргус. Только с люстрой загвоздка вышла. В прежней столовой потолок был высокий, она висела там на длинной стеклянной трубке, и укрепи мы ее так в пристройке, разве что колени об нее отбивали. Озабоченная тетка Мари бросилась за хозяйкой, потом позвала господина Фюрста, и стали они судить да рядить, как тут

быть. Наконец папаша Фюрст внес предложение: ножку люстры укоротить на полметра.

Женщины бурно запротестовали, но хозяин уже крикнул Анти... тот, чертяка, куда-то запропастился, и за стекольщиком пришлось бежать мне. Еще по дороге стекольщик стал намекать: эта работа, мол, под стать хирургической операции... искусство, и только — вскинул он клочковатые хмурые брови,— во всем городе не найдется другого мастера, который бы справился с этой задачей.

Я шел рядом, согласно кивая.

...Люстра лежала на тряпке, расстеленной на столе. Солнце, преломляясь в ветвистом каркасе и граненых подвесках, рассыпало кругом снопы радужных искр. Красивое было зрелище. Я тоже заволновался. Только бы все обошлось благополучно.

Господин Кемень, стекольщик, постукав ногтем по трубке, достал свой алмаз, царапнул чуток... и с многозначительным видом повернулся к Фюрсту.

— Hochprima [1]...— сказал он и как человек, которому спешить некуда, поинтересовался, хорошо ли идут дела у хозяина... а как у соседа, что держит лавку напротив... похоже, тот вылетит скоро в трубу...— Ja [2],— и стекольщик расплылся в улыбке: таких, мол, домов, как у Фюрстов, во всей округе не сыщется... А что касается этой работы, то случай необычайно сложный и редкостный... По счастью, он знает, как с этим справиться, не новичок в своем деле... человек он бывалый.

Госпожа Фюрст недоверчиво покосилась на мастера:

— Не знаю уж, что тут сложного... отрезать, и весь разговор... да окажись здесь бродячий стекольщик, он за рюмку рома и то сделал бы.

— Но позвольте, сударыня... ведь даже по нынешним бедственным временам эта люстра стоит...— Господин Кемень подался вперед и, подумав, воскликнул: — Тысячу пенгё! Так и быть, я готов запросить подешевле, работа вам обойдется в каких-нибудь... семьдесят пенгё...

Пришлось мне бежать за другим стекольщиком. Этот угостил меня по дороге сигарой и доверительно поинтересовался, сколько запросил Кемень.

— Пятьдесят,— соврал я с таким расчетом, чтобы и за сигару отблагодарить, и хозяина не оставить в накладе.

В общем... он запросил шестьдесят пенгё.

Не иначе как этот Штайнер, подумал я, хочет сплавить работу Кеменю, самому ему с ней не справиться. Слушаю это я, как они торгуются, договориться никак не могут, и вдруг чувствую: кто-то дергает меня за рукав.

— Что за шум? — удивленно вскинув брови, спрашивает меня Анти.

Я отмахиваюсь от него, погоди, мол, не до тебя, и, заинтересовавшись разгоревшимся спором, тотчас же забываю о нем; но через некоторое время вижу: Анти стоит уже перед хозяином.

— Я отрежу, господин Фюрст... отрежу,— упрямо повторяет он, гордо поглядывая при этом на тетку Мари.

— Пошел,— прогоняет его хозяин,— а не то я тебе...

— Но ведь я в самом деле могу отрезать,— упорствует Анти.

Стекольщик Штайнер покатывается со смеху:

— Это вы-то, о господи... вы?

А коротышка Анти, будто рому хлебнул, петушится.

— Я, — скрестив на груди руки, с вызовом поворачивается он к Штайнеру,— именно я.

От такого неслыханного бахвальства на минуту все лишаются

---

[1] Здесь: высшее качество *(нем.)*.

[2] Да *(нем.)*.

дара речи... Но вот тетка Мари в сердцах хватает Анти за ворот и отшвыривает метра на три.

Торг продолжается... Анти исчез, и вдруг вижу, опять идет — в своей большой шляпе, в руке — огромный разделочный нож; твердым шагом он направляется прямиком к кухарке... ну, думаю, умом повредился наш Анти, и прикидываю, как бы его схватить, чтобы самому не порезаться.

— Тетя Мари,— начинает он,— не бойтесь, я вас не трону... вот вам нож, и если я не обрежу люстру, можете отрезать мне голову... честное слово, можете, я расписку вам дам...

— Откуда ты знаешь, как это делается? — в изумлении кричу я.

— Отец научил... я и ножницами могу стекло резать, под водой...

— Еще чего! — негодует Штайнер.— Ножницами стекло под водой резать... чушь какая-то!

А господин Фюрст не сводит глаз с Анти, который все еще протягивает тетке Мари огромный нож. Та не знает, как быть: взять его или, может, отвесить Анти затрещину?

— Вот что, милый герр Штайнер,— после долгого размышления говорит господин Фюрст,— я заплачу вам пять пенгё... а вы присмотрите за моим человеком, пока он резать будет... Ты же, Анти, смотри, не сделаешь — семь шкур с тебя спущу.

Штайнер разводит руками:

— Согласен, дорогой господин Фюрст, платите пять пенгё, но гарантий я не даю...

— Зачем же тогда платить? — вмешивается возмущенная жена Фюрста.

— Доверь это мне, дорогая, пускай господин Штайнер присмотрит...

Анти двигается сейчас как во сне. Уж не этим ли ножом собирается он резать стекло? Нет... нож он сует изумленной тетке Мари, лезет в карман штанов и извлекает метровый обрывок шпагата. Штайнер язвительно хихикает.

— Еще нужен стакан воды,— говорит Анти.

Я бегу за водой, мне не верится... шпагат и стакан воды?..

Возвращаюсь и что же я вижу? Ножка люстры уже перехвачена шпагатом... один его конец держит Анти, другой — тетка Мари, и под команду Анти — раз-два, раз-два — они «пилят» стекло...

Штайнер что-то нашептывает на ухо господину Фюрсту, показывая ему свой стеклорез.

— Резать люстру бечевкой,— презрительно кривится он и машет руками.

Я стою со стаканом воды, готовый взмолиться: господи, помоги бедолаге Анти, не допусти, чтобы вышло так, что он только куражился, важничая перед теткой Мари... не допусти, чтобы все это кончилось для него пинком в зад!..

Я по-прежнему не верю в успех, и вдруг... стеклянная трубка будто вспыхивает, из-под шпагата вырывается струйка дыма, огненный ободок сверкает все ярче. — Воду! — кричит Анти. Я протягиваю стакан. Анти, точно принюхиваясь, склоняется над шпагатом... но вот стакан в его руке накренился... вода, блеснув, расплескалась о трубку; послышался нежный хруст, верхняя половинка трубки дрогнула... и Анти, осторожно взяв ее пальцами, движением фокусника отделил от остальной части...

Полуметровый обрезок он подносит сперва господину Фюрсту, потом помахивает им перед носом Штайнера и, наконец, с гордым видом подходит к кухарке:

— Теперь можете резать меня, тетя Мари.

Уже вечер. Электрик давно подключил люстру; она сияет огнями в новой столовой, и мы с Анти, поглядывая на окна, любуемся ее радужным блеском. Вот в столовую входит тетка Мари с дымя-

щейся супницей в руках. Она улыбается. Разговор там, наверное, зашел об Анти, потому что присутствующие качают головами, будто хотят сказать: «Ну кто бы подумал?!»

Анти приваливается ко мне плечом... но тут раздается голос хозяина:

— Анти, зайди-ка!

Он стоит в столовой, гордо поглядывает на люстру, моргает и улыбается... мне не слышно, о чем они говорят... господин Фюрст похлопывает Анти по плечу, подносит ему большую «гавану» и дает прикурить. Анти, ухмыляясь, попыхивает. Потом получает в придачу пять пенгё серебром, и они с теткой Мари выходят...

Анти важно вышагивает с сигарой в зубах... рядом с ним семенит толстуха кухарка... они вместе скрываются в кухне... Меня это забавляет, и немного спустя я заглядываю к ним, прикинувшись, будто ищу свечу... Перед Анти, устроившимся за столом, тарелка с остатками мяса, рядом — слойки и апельсин, тут же дымится черный кофе... нос у него лоснится от жира, а в короткопалой руке все еще горит «гавана».

— Теперь ты кум королю! — подмигиваю я Анти.

Он достает из-под стула бутылку вина:

— Ваше здоровьице, Андраш! — и, отпив, протягивает ее мне.

Я пью за здоровье достославного стеклореза и громко рассказываю тетке Мари, какой знаменитый капрал был отец Анти, огромный, косая сажень в плечах, и что погиб он за родину смертью героя. Посмеиваясь, я пью также за здоровье тетки Мари, нашей добрейшей кухарки. И от чистого сердца желаю ей долгого-долгого счастья.

На секунду ее охватывает стыдливое женское негодование, но вот она уже снисходительно улыбается, потом закатывается веселым брызжущим смехом.

Анти без конца прикладывается к бутылке, он уже плохо соображает, что происходит вокруг него. Тетка Мари наливает мне кофе и дает кусок сахара для моей лошади Манци.

— Анти,— шепчу я ему на ухо,— не пей больше, слышишь, тут ведь и соображать надо...

— Точно,— отвечает он, тихо икая.

Выйдя во двор, я сажусь на камень перед конюшней. Огни в доме гаснут... сперва люстра, потом лампа в комнате у приказчиков, наконец и ночник в спальне Фюрстов. Только в кухне еще светло. Но вот в окне появляется чья-то большая тень, осматривается по сторонам и задергивает занавески. Я откидываюсь на спину, чтобы меня не заметили. И лежу, пока кухня не погружается в темноту.

А потом достаю из кармана сахар, что дала мне тетка Мари, и несу его лошади...

1931

Зеркало старой Панны

Повалил дивный снег, все кругом, казалось, покрылось алмазами, но Панна встретила снегопад в слезах и отчаянии. Бедняжка, она и для старой девы уже была стара; все называли ее бабулей и, случалось, даже спрашивали о внуках. Это у нее-то внуки? Да разве есть у нее хоть одна душа на целом свете?!

Она плакала, глядя на толстое снежное покрывало,— ведь от ее комнатки до площади Флориана было так далеко. Нужно было идти и идти по скользким, продуваемым на перекрестках улицам, обходя ледяные дорожки, накатанные детворой на тротуарах... Там, на дальней площади Флориана, находился магазин рукоделия, принадлежавший госпоже Блейер. В двух стеклянных витринах красовалось нема-

ло вышивок и гобеленов работы Панны. Добравшись до этих витрин, горбатая, припадающая на палочку старушка слегка распрямлялась, и сердце ее наполняла гордость. Порой она отходила в сторонку и слушала, как иные восхищались ее гобеленом с фруктами или кремовой вязаной занавеской, на которую ушло у нее около месяца. Ловила Панна лестные ей слова и радовалась.

— Эта занавесь — пятьдесят пенгё? — слышала она.— Совсем не дорого за такую вещь...

А скольких трудов она ей стоила!

И хотя похвалы Панну несколько ободряли, все же у входа в магазин она переживала мучительнейшие минуты. В двери торчала начищенная до золотого блеска медная ручка. Она долго примеривалась к ней, не решаясь нажать, потом все-таки нажимала, медленно и почтительно отворяла дверь... и, подойдя к госпоже Блейер, с трепетом спрашивала, не найдется ли у ее милости новой работы. Не смея даже взглянуть на толстую, с букольками на голове, владелицу магазина, она с замирающим сердцем, потупясь и все больше робея, ожидала ответа. Как знать: а ну как хозяйка нашла себе рукодельниц подешевле, или склад ее уже так забит, что долгое время ей ничего не потребуется... До чего же мучительным было это ожидание! Панна была одна-одинешенька, родители ее давно умерли, она могла уповать лишь на госпожу Блейер. Разумеется, вслух об этом не говорилось; госпожа Блейер не отличалась ни добротой, ни жалостью, ни сочувствием: старая Панна была для нее лишь искусной, надежной работницей. Иное дело Панна: для нее госпожа Блейер была сама жизнь, и всякий раз, получая свои гроши, она так и норовила припасть к ручке работодательницы. А за оброненное доброе слово готова была и платье ее осыпать поцелуями. И если, стоя перед витринами, Панна еще задумывалась порой, почему так дорого госпожа Блейер продает рукоделия, а за работу платит ей так мало, то, переступив порог, она уже не способна была к подсчетам, хотя владелица и показывала счета: это, мол, за нитки, это за иголки, а это за материал... Панна и слышать ни о чем не хотела... она ее милости во всем доверяет, сколько сочтет нужным любезная госпожа Блейер, столько пусть и платит... главное, есть работа... опять есть работа! Бедняжка, она была счастлива.

Но снегопад причинял Панне огромные огорчения. Она и так-то с трудом добиралась до магазина, то и дело присаживаясь передохнуть на улице. А в этакую стужу, по скользкой дороге ей и вовсе не дотащиться было до площади Флориана. Башмаки у нее прохудились, шаль кургузая, только для осени, а на зимнюю перевязать ее, потеплей сделать — шерсти нет. Да и в палку не мешало бы вбить острый наконечник. Напротив ее комнатки трудится в своей мастерской угрюмый старик кузнец. Как-то раз Панна решилась заговорить с ним; ласково так обратилась, почтительно — как только она, старая Панна, умеет... хотела ему втолковать: мы ведь соседи с тобой, я старая, да и ты совсем дряхлый, так будь же со мной поприветливей... И ответь ей кузнец добрым словом, сколько заветных ее желаний могло бы исполниться! Она уж вообразила себе, как носила бы разогревать в кузню свои кастрюльки... и вязать могла бы при свете горна, подружись она с ним. А в благодарность она стирала бы и штопала на кузнеца.

Но вдовец уставился на Панну своими маленькими колючими глазками и только плечами пожал: мол, ну тебя, отвяжись... не пожелал и разговаривать, больно нужна ему дружба Панны. Разве такой вобьет даром в палку железный наконечник!

...На этот раз Панна отправилась на площадь Флориана сразу после полудня, но домой приплелась уже затемно. Кузнец успел запереть ворота, и старушка, сжимая ключ в окоченевшей руке, долго не могла попасть им в замочную скважину. В тот день ударил пер-

вый мороз. Луна сверкала на небе огромной ледяной тарелкой. А Панне никак не войти было во двор — проклятый замок не поддавался. Она вернулась почти без работы, сжимая под мышкой лишь маленький коврик: какой-то бравый француз, обнажающий шпагу. Только и всего, на большее нечего было надеяться... Госпожа Блейер встретила ее сегодня прохладно... даже не улыбнулась ни разу и к ручке дала приложиться с большой неохотой... похоже было, что она и вовсе откажет в работе, но вот все же смилостивилась, дала французика... А какой путь из-за него пришлось отшагать... руки-ноги окоченели.

Добравшись наконец до своей комнатушки, старая Панна задрожала пуще прежнего — стены дышали ледяным холодом. Она поскорей юркнула в постель и сжалась в комочек, с головой укрывшись тощей перинкой. Что же будет теперь? Просить денег вперед за такую скромную работу Панна не осмелилась; ни дров, ни угля нет; как она вышьет француза в холодной комнате? И что будет делать всю зиму? Из глаз ее брызнули слезы. Она снова вспомнила кузнеца, который напротив ее окна ковал железо, раскаляя его в багровом пламени, даже пот отирал со лба — так ему было жарко. До чего же он несговорчив, этот вдовец. Ну что ему стоит горсточку углей дать — хоть немного согреть ее комнатушку. Ах, кабы стать молодой и красивой, пусть на время зимы... небось и скряга-кузнец расщедрился бы.

Панна вздыхала и плакала, а ночью увидела чудный сон. Под венчиком кукушкиных слезок сидел крохотный кузнечик, все подкручивал свои усики и моргал.

Давно уж не бывало у нее столь веселых и безмятежных минут, как в этом забавном сне. Она проснулась с глубоким вздохом около пяти утра. Снаружи доносились неясные звуки. Высунув голову из-под перины, Панна увидела, что напротив, готовясь к работе, уже копошится кузнец. А у нее от жуткого холода заледенело лицо. Боже праведный, что станет с ней днем? Как жаль, что она с вечера не положила француза и нитки с иголкой поблизости... Чтобы взять их, пришлось выбраться из постели, и тут холод так прохватил Панну, что бедняжка, съежившись, задрожала всем телом, не в силах дыхание перевести. Она хотела умыться и причесаться, как делала каждое утро; но от умывания пришлось отказаться: она просто превратилась бы в ледышку... Панна взяла выщербленный гребешок и заглянула в зеркало на стене. В старом зеркале отражалось окно ее комнатки, за которым в зыбком сумраке темнела кузня.

Гребешок так и плясал в руке Панны, трудно было причесываться, но не ходить же ей растрепой, тем более что сегодня она и не умывалась. И Панна, стуча зубами, расчесывала волосы... Вдруг в комнату ворвались странные звуки, и в зеркале показалась фигура кузнеца. Но вот старик скрылся, и в глубине зеркала заполыхало жаркое пламя, языки его бесшумно заполонили весь серебристый квадрат. Огонь разгорался все ярче — кузнец, не жалея сил, раздувал мехи! Бледные щеки Панны тотчас порозовели, волосы сделались рыжими, гребешок в руке вспыхнул, и по черной бахроме шали запрыгали искорки.

Старая Панна сперва пришла в ужас, потом залюбовалась игрой огня и даже звонко расхохоталась, как хохочут, пожалуй, только зайчата, впервые завидев зеленую травку. Она протягивала к зеркалу руки, точно и впрямь ощущала тепло. И хотела уж было взять нитки, иглу и француза и приняться за работу.

Ай да кузнец... не такой уж он скряга, улыбаясь, качала головой Панна.

Но тут у нее опять застучали зубы, и ей пришлось оторваться от волшебного зеркала.

Спасаясь от холода, она забилась в угол кровати, откуда видны были в зеркале языки пламени. Панна смотрела на огонь, и в сердце

ее закрадывались все более смелые надежды: кузнец не иначе ей знак подает: так и быть, заходи, мол, мерзлячка Панна.

Ох и плут этот старый бобыль: на вид туча тучей, а сам — через зеркало — обольщает старуху надеждой.

Нет, сегодня она не пойдет... останется дома, в кровати, и будет себе вышивать, поглядывая на огонь... а уж завтра, умывшись, наденет нарядное платье и заявится к нему в кузню.

И только она размечталась, как зеркало вдруг потемнело и заполнилось клубами пара: кузнец загасил свой горн.

Иголка застыла в руке у Панны, и сладкие ее мысли смешались.

1931

Перевод В. СЕРЕДЫ

Июльское воспоминание

Я восседал на табуретке в скудной тени яблони и был маленьким банкиром. На кончике носа у меня сидели нескладные бумажные очки, и я раз за разом подкладывал под бумагу монеты в один и два филлера, а затем карандашом прорисовывал на ней изображение монеты. С серьезной рожицей изготовлял я эти игрушечные деньги, а маленькая Илу с блестящими васильковыми глазами вырезала их сверкающими ножницами. А перед нами стояла Мальвинка с куклой Мицу на руках, и Акошка со своим коричневым медвежонком Янчи, и еще рядышком сосал палец несмышленыш Пишти; Мальвинка просила много: десять, двадцать денежек, потому что — и она складывала свои крохотные ручки — «моя доченька Мицу смертельно больна, ей к врачу надо». Акошка же собирался отправиться в заснеженные горы Марамароша, чтобы выпустить там медвежонка Янчи, потому что «очень уж он ревет по своей матушке».

Я морщил нос, пытался изобразить морщины на своем совершенно гладком лбу, хмыкал, гмыкал и, почесывая в затылке, начинал заигрывать с хорошенькой Мальвинкой.

— Барышня,— говорил я,— на что вам такая куча денег? И потом,— тут я потирал руки,— под какой залог?

Но тут Пишти вынимал палец изо рта, говорил:

— Яблоко! — и с горестным видом показывал на дерево.

— Вы не получите денег, отойдите в сторону,— злился я на него, и вот уж он напуган, и у него глаза на мокром месте. Когда ему говорили, что с ним еще нельзя играть, что он еще маленький, Пишти начинал реветь пуще прежнего. Я давал ему пять бумажных крейцеров, и он, всхлипывая, унимался.

Но прежде чем возобновить свою банкирскую деятельность, я озирался. Надо сказать, нас окружал большой прекрасный сад. Оградой ему служили озаренные солнцем яблони, а в нем вперемешку, как попало, росли розовые кусты, смородина, дикий и опийный мак, гвоздики. И сверкал этот сад своим разноцветьем так, как сверкает издали витрина ювелира, сплошь набитая драгоценными каменьями, и, как дыхание этих каменьев, порхали над ним бабочки. А в самом конце сада стояло много-много стогов, похожих на казачьи шапки, а за ними расстилалось пшеничное поле, которое, если дул ветер, колыхалось, как овечье стадо под крыльями ветра. Пыхтела молотилка. И все это вместе с прокоптелым дядюшкой Игнацем, курившим трубку, замыкало в свой круг синее небо с плывущими облаками.

Но вот однажды мы увидели, как один из стогов зарделся и вспыхнул: затем, словно кусок красного шелка, пламя перекинулось на другой стог, и он тоже сверху донизу оделся в пурпур. К облакам взлетели тяжелые клубы дыма, и дядюшка Игнац забегал между стогами с бидоном воды и закричал, и зазвонил колокол, и заметались люди... Но тут уж мы отступили назад, глядя во все глаза из пре-

красного сада, и у нас за спиной вдруг раздался голос матери... Мы попятились задом, как раки, разинув рты. Потому что огонь змеей обвился вокруг одной из яблонь и зашипел в ее листве. Зеленые листья стали багряными, ветви окутались дымом, а яблоки начали бурчать в огне, лопаться и испекаться, а потом миллионы искр обрушились на пышные кусты смородины. Солнце сверкало среди огня и цветов. Поднялся ветер, по всему саду заходили волны раскаленного воздуха, они приносили с собой огонь. И вот уже в пламени засверкали розы. Под ними в пепел превращалась трава, а из дыма то и дело вылетали бабочки, пытаясь спастись в вышине, но за ними протягивалась лиловая рука пламени, и они падали меж ее пальцев. Множество закоптелых крыльев кружилось на ветру, и множество в страхе скакало перед катившимся по траве валом огня, но поистине прекрасна была ограда из горящих яблонь, с которой падали превосходные печеные яблоки и, подрумяненные, смотрели на нас из гари и пепла.

Мать, вытирая слезы, стояла рядом со мной, но я уже не мог оторвать глаз от моей верной подружки Илу. Хотя у меня и теснило сердце и мне тоже хотелось реветь — ведь погибал сад, высокая трава и густая тень, которую давала листва; хотя и сгорали бабочки, за которыми я носился со смехом; хотя и лежали под камешками мертвые ящерицы и умирали улитки и кузнечики, которые потешали меня, без конца переговариваясь тонкими и глупыми голосами... да, да, все это было печально, но у меня уже текли слюнки. И когда сник огонь и все остыло, мы с Илу крадучись подобрались к обгоревшим яблоням и стали выковыривать палочкой яблоки из золы. Это были настоящие печеные яблоки, ими нас потчевал гигантский пожар. Мы нагребли большую кучу яблок, а потом пошли в сад Илу; мы уплетали эти вкусные яблоки, задерживая дыхание, наслаждаясь, и время от времени выпучивали глаза, когда кусок застревал в горле. Потом пришли трусишка Пишти, Андриш, Мальвинка, Агнеш и другие ребятишки. И я с раздутым животом снова водрузил на нос очки и выдавал за деньги испеченные в золе яблоки. Тут пришла знахарка тетя Мари и, увидев, что мы едим, сказала:

— Кровь ваша станет огненной, все вы будете героями, мальчики, а вы, девочки,— королевами.

Все мы станем героями? А девчонки королевами?

Я стал рассказчиком таких вот июльских сказок. Илу же — прелестной барышней, с которой я изведал первые поцелуи в деревне, но все прочие, став взрослыми, рассеялись, как пепел, в который превратились цветы, кусты розовые и смородиновые. Но так же как сверкал угольным жаром в тот вечер прекрасный сад, так и воспоминание об их лицах, об их простых именах будет сиять мне на закате моей жизни.

1933

Перевод В. СМИРНОВА

Пятьдесят

С давних пор я сижу без работы. Как отправишься с утра в поисках места, то между делом на все время найдется. Хочешь — смотри в свое удовольствие, как катятся колеса трамвая, как поливальная машина работает. За долгие месяцы безрезультатных скитаний мне удалось усвоить, что в такт трамвайным колесам вращается и электромотор; придет пора, и я, наверное, узнаю, каким образом регулируется напор водяной струи в поливальной машине, за которой — увы! — не гоняются босоногие ребятишки, как в былые времена за конскими упряжками, тянувшими жестяные, похожие на гигантские яйца, бочки. Времени у меня хоть отбавляй: можно наблюдать, как, кружась, пада-

ют листья, можно стоять в толпе зевак у места уличного происшествия. Когда подкатывает карета «скорой помощи», я привстаю на цыпочки, чтобы разглядеть происходящее, и дожидаюсь, пока машина промчится мимо, громко воя сиреной. В окошко виднеется спина врача, склонившегося над пострадавшим, а иногда удается разглядеть забинтованную голову или бледное лицо человека, лежащего на носилках.

Два десятка лет я прослужил главным бухгалтером при акционерном обществе «Шелк». Достаточно упомянуть: Балла, из «Шелка»,— и этим все сказано как для воротил, так и для мелких сошек в наших деловых кругах. Да я и сам пока что не забыл, кто я такой. Зимою, бывало, кутался в теплое, подбитое темным мехом пальто, лицо всегда чисто выбрито — парикмахер ко мне наведывался каждое утро,— сорочка ослепительно свежая, галстук солидный и с изысканным узором, на пальце сверкает массивный золотой перстень, а в нагрудном кармане у сердца — бумажник, где непременно хранится несколько сотенных, а иначе мне вроде бы чего-то не хватает. Вижу перед собой белые листы бухгалтерских гроссбухов, разграфленные бледно-красными линиями; вижу, как мое перо жирными или тонкими цифрами выводит статьи баланса... Вижу, как генеральный директор похлопывает меня по плечу и говорит:

— Вот что, друг мой, выпишите-ка чек на полторы тысячи...

Это награда за составление балансового отчета, а к ней еще приплюсовывается рождественская премия, да и летний отпуск мой оплачивался начальством. Вся моя тогдашняя жизнь напоминала плавно мчащийся автомобиль, рессоры которого безукоризненно оберегали пассажира от толчков. И последнее, что запомнилось мне из прежней моей жизни,— это масса людей, учтиво раскланивающихся со мною.

Ну, а теперь... теперь у меня устает спина, оттого что я стараюсь держаться так же прямо, как и прежде. Возможно, я обессилел от плохого питания. Но самое удивительное превращение произошло с моим языком. Раньше он был у меня не органом речи, а скорее молчания, обо мне так и говорили: «Из Баллы слова не вытянешь»; а теперь... может, я настрадался и чаша терпения моего переполнилась, но меня словно прорвало: радуюсь, если удастся подцепить первого встречного, кто не прочь выслушать мои излияния. Да и слова у меня появились какие-то новые. Поначалу я с уверенностью заявлял: кто два десятка лет прослужил главным бухгалтером в «Шелке», тот и в нынешние времена не пропадет... И собеседник не только со мной соглашался, но еще и заверял меня, что, мол, и в самом деле ничего не потеряно... Повидаешься так, потолкуешь с человеком разок-другой, а потом, глядишь, он с тобой едва раскланивается при встрече и всем своим видом дает понять, что спешит по неотложным делам... И тут меня начал одолевать страх. Я увидел себя со стороны: отощалый, неловкий — и почувствовал, что утратил свое былое реноме. Под конец в числе моих знакомых остались лишь торговые агенты — голь перекатная вроде меня самого. Иной раз остановится кто-нибудь из них отдышаться, прислонясь к фонарному столбу, вытрет платком вспотевший лоб, расстегнет воротничок и, обратив ко мне распаренную, красную, как вареный рак, физиономию, слушает, что плетет былой кумир крупнейшего акционерного общества. А я уже во время разговора чувствую: выслушивает-то он, чтобы на прощание по плечу похлопать, а дома рассказать дражайшей супруге, до чего я докатился...

Ведь поначалу я твердил всем и каждому: ни за что, мол, не соглашусь, если предложат меньше восьмисот пенгё в месяц. А теперь стоит кому-нибудь упомянуть о несчастной сотняге, как тотчас навостришь уши... Живет на нашей улице один молодой человек; мамаша его годами норовила к нам подольститься, а вся родня расшаркивалась-раскланивалась в надежде, что я рано или поздно пристрою

юношу к нам в акционерное общество. И вот этот молодой человек недавно подыскал себе тепленькое местечко, а когда сообщил мне, что жалованья ему положили сотню в месяц, я мрачнее тучи сделался.

О домашних моих и говорить не приходится. Жили, как сыр в масле катались, а мне очень по душе была эта жизнь без забот, без печалей. Сынок мой и дочка всегда разодеты были в пух и прах. К столу им подавались разные деликатесы, а если нас с женой приглашали куда-либо на ужин, то мы и детей с собой брали. Теперь же всей семьей чувствуем себя как с похмелья. Или как потерпевшие кораблекрушение, у которых день ото дня убывают последние припасы. Нам вчетвером приходится жить на выходное пособие, и сумма, поначалу казавшаяся большой, тает прямо на глазах. Среди дня я еще хорохорюсь, этакого героя разыгрываю перед домашними. Самое скверное, что в их присутствии не дай бог обронить какое-нибудь даже малейшее обещание: они берут его на заметку. И мало того, что сдержать обещание все равно не удается, так я еще вынужден десятки раз долго и подробно объяснять им, отчего меня постигла неудача.

Но вот однажды некий маклер, который последнее время едва удостаивал меня кивком, поманил меня рукою с противоположной стороны улицы. Я подошел и смиренно вытянулся перед ним, бросая исподтишка робкие взгляды.

— Знаете что, господин Балла, пожалуй, дам я вам один адресок. Обратитесь туда после шести вечера — авось повезет.

И вот в руках у меня бумажка с адресом. Я раз сто успел перечитать его, пока добрался до дому. Маклер еще подбодрил меня: по вечерам, мол, после шести, посетителей принимает самолично управляющий фирмой; расскажите, кто вы и что вы, где прежде служили.

Радостное возбуждение охватило меня. Правда, это была не менее чем сто пятидесятая попытка устроиться на работу, но на сей раз ситуация казалась мне более обнадеживающей: и сама фирма стародавняя, и управляющий не новичок в своем деле, поддерживал с нами контакты в былые времена... Я прилег отдохнуть, чтобы к шести быть в должной форме, и сквозь полудрему видел, как родственники мои все вместе, а затем каждый порознь берут в руки бумажку с адресом и — хотите смейтесь, хотите нет — начинают вполголоса молиться.

Всем семейством меня проводили до дверей подъезда, дочь дважды поцеловала на прощание... Надежда до такой степени окрылила меня, что по дороге я почувствовал себя чуть ли не прежним Баллой, который совсем недавно покинул акционерное общество «Шелк», чтобы занять приличествующее место в другой фирме.

Там вся атмосфера и в самом деле внушала доверие: просторные кресла, приятный запах кожаной обивки и устойчивый аромат дорогого табака, полнейшая тишина, множество обслуживающего персонала...

И наконец я предстал перед управляющим — седовласым господином в очках, лет этак около шестидесяти. Это также показалось мне обнадеживающим обстоятельством: двум пожившим людям легче понять друг друга.

Дальше действительно все пошло как по маслу. Собеседник задавал мне вопросы, а я демонстрировал свои знания и опыт, причем не укоренившимся за последнее время тоном просителя, а в духе прежнего Баллы. При первых же словах я почувствовал: управляющему импонирует все, что я говорю. При этом чувство у меня было такое, будто на мне прежний мой костюм... я даже позволил себе присесть у стола, и мы увлеклись беседой на волнующие нас обоих темы. Он упомянул о кое-каких неполадках в бухгалтерских делах фирмы, недочетах, которые не укрылись от его глаз... Я мгновенно уловил суть проблемы, и мой ответ удовлетворил его. Вот-вот должна была зайти речь о будущем жалованье, и я понял, что на сей раз мне удастся проявить большую взыскательность и показать, что я, мол, тоже не лы-

ком шит и не все условия приму... Я видел, что здесь не поскупятся на лишнюю сотню, был бы работник стоящий, и где-то в глубине души уже рисовал себе картину, как дома я небрежным тоном бросаю жене: «Шестьсот пенгё в месяц да плюс премиальные за составление баланса...»

Рука седовласого господина коснулась коричневой шкатулки для сигар; он уже приподнял крышку, чтобы предложить мне закурить, и я почувствовал себя на седьмом небе. Раскурим сигары и вовсе разговоримся по душам; дойдет дело до воспоминаний, окажется, что у нас масса общих знакомых, и вот, когда мы окончательно сблизимся в задушевной беседе, управляющий звонком вызовет к себе секретаршу и продиктует ей приказ о моем назначении.

— Простите, господин Балла, последний вопрос,— он поднял на меня взгляд.— Сколько вам лет?

— Пятьдесят,— ответил я, глядя на сигару, которой в следующий момент надлежало очутиться у меня во рту.

И тут он отпустил крышку; шкатулка со стуком захлопнулась, а управляющий чуть отодвинулся назад, словно отстраняясь от меня.

— Какая жалость, ведь вы нам по всем статьям подходите!.. Однако я не имею права использовать вас.

Я во все глаза смотрел на него. А его взгляд уже ушел куда-то в сторону, словно важному господину было жаль затраченного на меня времени, и мысли его поглощены были очередной заботой — типичнейшая черта деловых людей...

Но я-то именно сегодня не ощущал бремени своих пятидесяти лет. Я уверен был, что в течение двух дней способен стать прежним Баллой, которому любая работа по плечу, способен навести порядок и держать в ажуре любые бухгалтерские дела. Пятьдесят лет — я даже рассердился,— да разве это возраст?

— Прошу прощения, господин управляющий,— вымолвил я,— а сколько лет вам?

— Пятьдесят восемь,— ответил он.

— И кто посмеет сказать, что вы ни к чему уж не пригодны? Пятьдесят лет — какая чепуха! Да мы с любым из молодых можем соперничать! Извольте испытать: поручите одно и то же дело мне и молодому бухгалтеру! Извольте проверить — и вы сами увидите!..

Я говорил и говорил — отчаявшимся, упавшим голосом. Вот он снова, твой просительный тон, подумал я и вдруг поймал себя на том, что соглашаюсь гнуть спину даже за сто пятьдесят пенгё, что набиваюсь чуть ли не в рассыльные... И лишь потом, очутившись на улице, я сообразил, почему управляющий подталкивал меня к двери медленными, плавными взмахами рук, словно открещивался от меня. Я был для него кошмарным призраком: мне-то пятьдесят, а он восемью годами старше... Он обязан был прогнать меня, потому что мне пятьдесят лет, но при этом невольно думал: а что, если бы он сам вот так же стоял здесь просителем и человек, от которого зависела бы его судьба, расспрашивал бы его, кто он и что, а под конец, когда дело казалось улаженным, поинтересовался бы, сколько ему лет, и он с дрожью в сердце признался бы: «Шестьдесят»... или: «Шестьдесят пять»...

Я уже взялся было за ручку двери, когда он остановил меня.

— Погодите-ка, господин Балла,— и запустил руку в шкатулку с сигарами. Он угостил меня не одной сигарой, а шестью, чтобы хватило впрок. Выдал мне целых шесть сигар на все оставшиеся годы жизни.

Прими управляющий меня на работу, он ограничился бы лишь одной. Ведь с послезавтрашнего дня у меня было бы все: жизнь, надежды, кредит,— я мог бы приобрести себе сигары, новую экипировку, хлеб, масло, счастье. А вместо всего этого в кармане у меня шесть сигар и я тащусь домой.

Что бишь я сказал напоследок?

— Выходит, если тебе стукнуло пятьдесят, так и умирать пора?

— Нет, что вы! — возразил он.— Но, к сожалению...— Остальные слова застряли у него в горле.

Зачем только повстречался мне этот маклер! До той минуты я хоть и бродил бесцельно, зато не терял надежды. Мне и в голову не приходило, что на мне роковой ярлык: пятьдесят! Человек пятидесяти лет, а не тридцати- или сорокалетний. Пятидесятилетний старик, перед которым захлопнулись врата жизни.

А дома меня тоже подкарауливал сюрприз. У нашего подъезда висит табличка с надписью:

ТОРГОВЦАМ ВРАЗНОС И НИЩИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН.
ПРИСЛУГЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ЧЕРНЫМ ХОДОМ.

И пятидесятилетним, приговоренным к смерти, тоже—до того явственно произносит во мне чей-то голос, что я подчиняюсь ему и направляю свои стопы к черному ходу.

Кошки разбегаются передо мной в разные стороны, а я медленно взбираюсь по лестнице: сердце мое с трудом переносит подъемы, ведь мне пятьдесят лет.

1934

Свадебное путешествие в Хювёшвёлдь

Дул самый обычный ветер — из простых, в крестьянской одежке, в нахлобученной на лоб косматой шапке, распространяя повсюду густой запах полей. «Смеркается»— называли люди такую пору дня. Ласточки в это время круто взмывают ввысь, пропадают из виду, чтобы вскорости вернуться обратно со звездочкой в клюве. И тогда наступает осиянный небесным светом вечер.

Мишка Барланги с полудня был женатым человеком. Он вел под руку свою благоверную — Марию Случак, а та без устали смеялась. Молодожены шли в сопровождении троих подвыпивших гостей. Один из них — часовых дел мастер, которого добрый папаша в свое время пристроил к горбатому часовщику со словами: «Парень-то, вишь, у меня одноногий, вот я и подумал, что в вашем ремесле аккурат сгодится...» В свадебном шествии принимал участие и Груняк, бывший мясник и колбасник, ну и, наконец, тетушка Панни, красноносая прачка, известная на всю округу.

Свадебные гости все до единого были обитателями ночлежки — вросшей в землю хибары в Обуде,— деля приют с возчиками, сапожниками и рабочими ситцевой фабрики. Оттого и предложили они молодоженам провести брачную ночь там, на одной из пустующих коек.

Однако Мишке Барланги такая мысль пришлась не по нутру.

— Бывало, в холостяцкую пору,— высказался он,— да по такой хорошей погоде я своих цыпочек завсегда в горы водил.

Тетушка Панни тоже призналась, что и она средь лета предпочитала мягкую траву, а хромой часовщик не удержался от вздоха:

— Эх, судьба моя неладная!.. Да вздумай какая бабенка со мной в траве покувыркаться, так ей, сердешной, пришлось бы на закорках меня тащить.

— Вот что, Панника,— предложил бывший колбасник,— раз такое дело, мы тоже подымемся вместе с молодыми. Им уступим местечко под кустом шиповника, а сами под боярышником пристроимся.

— По правде говоря,— сказал Мишка Барланги,— я мог бы отвести Маришку и к нам домой. Кровать там широкая и вся белым застлана... Но тогда придется дома объяснять, что, да как, да почему... Нет уж, дудки!..

[1] Дословно: прохладная долина — живописное место в Будайских горах. *(Прим. перев.)*

Молодая женщина брела, склонив усталую головку к плечу мужа. Лицо ее было бледно, от выпитого вина Маришка едва на ногах держалась... Больше всего ей хотелось лечь и тихонько уснуть. Но тут внимание ее привлекли слова:

— Знавал я в Вене одного приятеля,— рассказывал часовщик,— такого же голодранца, как и вы оба. Большой был дока по слесарной части, из-за этого даже в отсидке побывал однажды... Так вот, вскрыл он, значит, шикарную мебельную лавку, где в витрине кровать была выставлена, вся разубранная да разукрашенная. Сделал на ней мой приятель свое дело, жена его под утро опять застелила все чин чином, витрину закрыли, лавку заперли и ушли подобру-поздорову. Хозяевам, поди, и по сей день невдомек...

Маришка прижалась к мужу: ноги ее точно налились свинцом, башмаки стали непомерно тяжелыми и впивались в ноги. Скинуть бы их и пойти босиком!

— Говорю вам: лучше кустов ничего не придумаешь,— настаивал на своем бывший мясник.

Кусты с поникшими главами замерли в безмолвных горах. Пути туда были отверзты. Бестолковые ночные бабочки, приняв звезды за огоньки фонарей, готовы были устремиться к их свету. А вот проглянули и сказочные гномы: мириады светлячков припорошили их серебряные бороды зеленоватой светящейся пыльцой. Головки горицвета белели во тьме подобно нежным младенческим душам.

Ночь, как изголодавшийся пес, жадно подкарауливала звуки.

Мишка Барланги призадумался всерьез.

— Ежели разобраться, то я, почитай, везде побывал,— сообщил он честной компании.— На горе Хармашхатар был, на горе Кишцелл — тоже и в сторону Хидегкута забредал не раз. Но как я есть теперь человек женатый, то и место мне другое надобно... А что, тетушка Панни, доводилось вам бывать в Хювёшвёлди? — обратился он к прачке.

Панника покачала головой: нет, она отродясь там не бывала. Ни она, ни часовщик; даже видавший виды колбасник в Хювёшвёлди ни разу не был. Не так-то уж это и близко отсюда, а они, трое, в сущности, и не выходили за пределы своего убогого квартала, слоняясь по его тротуарам — то на трезвую голову, то в подпитии.

— Хювёшвёлдь! — произнес часовщик.— Вот это да! Ведь там санатории находятся.— И он причмокнул, словно на язык ему каким-то чудом попала вкуснейшая абрикосовая палинка.

— Хювёшвёлдь! — подхватил колбасник.— Когда-то я собирался стать там официантом.

Хювёшвёлдь, зеленоглазый край! Само название твое сулит прохладу в летний зной. Под кронами твоих дерев качаются вверх-вниз качели, и легкая тень бежит им вослед. По склонам твоим струится вино, изливаясь сквозь жерла кабачков, а музыканты-цыгане, подобно смуглым сверчкам, своей игрою обращают бутоны в цветы. Хювёшвёлдь! Лужайки твои усеяны обглоданными куриными косточками, а крошки от сдобных булок чем не пиршество для муравьев! Там и сям поразбросаны бумаги — все в жирных пятнах от масла, от жареной гусиной печенки, а россыпи яичной скорлупы шляпками ложатся на растущие грибы.

О, хювёшвёлдские тропы!

Пересесть в трамвай, идущий от Сенной площади, и ехать, ехать... ехать и смотреть из трамвайного окошка, как из окна шикарного экспресса!

Но вот беда: билеты на двоих, да в оба конца, стоят целый пенгё.

Колбасник достает из кармана двадцать филлеров и жертвует на свадебное путешествие. Часовщик дает десять. Шесть филлеров наскреб молодой супруг, десять набралось у Маришки. А вот тетушка Панни помалкивает. Отводит взгляд, смотрит по сторонам: прачки при-

жимисты, до их кошелька добраться — все равно что ржавый замок открыть. Однако Мишку Барланги в деликатности не упрекнешь, он не колеблясь наступает Паннике на больную мозоль:

— Тетушка Панни, не видите разве, что нам денег маловато? Добавьте сколько надобно, а в понедельник я вам верну, истинный крест, верну.

Тетушка Панни, застигнутая врасплох, вздрагивает и лезет за пазуху. Долго копается там, затем отходит в сторонку: якобы для того, чтоб на свету разглядеть завернутые в пестрый носовой платок деньги.

— Ох, нелегко мне мой хлеб достается,— вздыхая, говорит она.— Но ты ведь меня не подведешь, в понедельник точно отдашь? А, Мишка?

— Отдам, разрази меня нечистая сила,— клянется тот.

— Премного вам благодарна, тетушка Панни,— таращит слипающиеся глаза молодая.

Тут, позванивая, со стороны Обуды горделиво подкатывает к остановке трамвай — девятый номер. Из него выглядывает кондуктор:

— Ну что, земляки, надумали ехать?

Потому как подвыпившие мужчины не торопятся: они лишь теперь принялись любовно хлопать друг друга по плечу да перешептываться. А Маришка и тетушка Панни бросились обниматься на прощание.

Впереди свесился из окошка толстяк вагоновожатый, чувствуя, что трамваю так и не терпится катить дальше.

Кондуктор дергает за ремень: дзинь! Вожатый врубает звонок: динь-дилинь!

Кондуктор отдает пассажирам честь:

— Куда прикажете?

— Два до Хювёшвёлди, на пролетарскую свадьбу,— дерзко бросает Мишка Барланги. Его жена — хрупкая, с миниатюрными чертами лица — издает смущенное восклицание, затем, пристально посмотрев на своего новообретенного супруга, целует его в губы.

Вожатый звонком делает знак кондуктору подойти поближе: ему любопытно узнать, что там такое происходит в вагоне.

Мишка и Маришка остаются наедине в этом дивно прекрасном, желтом изнутри вагоне. Затем молодой муж произносит:

— Уж до того мне не хотелось вести тебя на гору Кишцелл. Да и трава-то там пожухлая. А Хювёшвёлдь, что ни говори,— совсем другое дело. — И поправляет на голове кепку.

Маришка тоже натягивает сползший платок. В вагон садятся новые пассажиры.

Часовщик подбивает колбасника заглянуть еще в какой-нибудь кабачок. Но тот весь полыхает от вожделения и отрезает свысока:

— Ну уж нет! Мы с Панни проверим, достаточно ли мягкая трава для наших молодоженов.

Часовщику не остается ничего другого, как сунуть костыль под мышку.

— А жаль! Уж до того хорошо тут играет на цитре слепой музыкант.

И впрямь: за окном питейного заведения раздаются нежные звуки цитры.

Меж тем вечер идет вдоль улиц — темный, вроде насквозь прокопченного трубочиста. Приносит пьяницам удачу, а на рассвете, приставив к небу лесенку, взбирается по ней средь обудайских кабачков все выше, к облакам.

1935

Перевод Т. ВОРОНКИНОЙ

Молния и вечерний пожар

Да, подмастерья в тот день потрудились на славу. Сапожные молотки, будто капли дождя, стучали наперебой. И хотя сквозь прорехи рубах тела обдувал сквознячок, парни взмокли. Усердие срывало с лиц пот, как ветер — лепестки маргаритки. Тем временем жена мастера стояла у плиты, помешивая деревянной ложкой уху. В сторонке, накрытый зеленым передником, трудяг ждал бочонок вина, а на столе — загодя приготовленная посуда. Дурманящий аромат, вырываясь из-под крышки, щекотал подмастерьям ноздри, подстегивал, подгонял их. Сто двадцать пар уже были готовы, и из всей партии оставалось совсем немного. К шести часам ее нужно было доставить в Пешт. Это был пробный заказ. Потому им хозяйка и посулила: мол, управитесь до шести, ребята, подам вам вина, белого хлеба и трех добрых карпов.

Было еще светло: летнее солнце, играя лучами, катило по синему небу, и над полями приветно струился медвяный запах цветов и трав. С запада, едва ощутимый, словно нежное, легкое прикосновение, долетал ветерок. Одному богу известно, откуда вдруг вырвалось это бизонье стадо черногрудых туч. Впрочем, стояло ведь лето, к тому же июль — время гроз и радуг.

Сквозняк загудел, гуляя по мастерской, чему подмастерья даже обрадовались. Они жадно втягивали в себя свежий воздух, и пот стекал по их лицам уже не так обильно. Но тут небо грянуло — будто где-то в шахте случился обвал. И сквозь хлынувшие потоки дождя из разгоревшегося наверху пожара так и посыпались стрелы молний.

Подмастерья как раз заканчивали последние две пары, кое-кто уже отдыхал, когда створка окна, чуть припертая изнутри, распахнулась и в осветившейся мастерской закружилось синеватое пламя.

Все втянули головы в плечи, а шипящая молния, жар-птицей летая по комнате, подожгла своими хлопающими крыльями занавеску и с грохотом, будто разом пальнули из десяти ружей, врезалась прямо в кастрюлю с ухой. Красная от паприки жижа выплеснулась на трепещущий язык пламени; и, точно алмаз в обрамленье кровавых гранатов, взлетел к потолку подброшенный молнией рыбий хвост.

Перед носом хозяйки просвистела рубиновая голова рассеченного карпа, а пламя очага сделалось белым и плавяще-жарким. Сами собой загорелись и с треском заполыхали подвешенные к потолку керосиновые лампы. Сапожный молоток в руках у Никодема стал малиново-красным, искра небесная так жахнула его по носу, что он весь покрылся копотью. Когда дым рассеялся и с загоревшихся предметов сбили языки пламени, даже хозяйка, бледная как полотно, не могла удержаться от хохота — все кругом было черно от сажи, в воздухе летала зола, а на окне, на дверях, на стенах висели ошметки карпов, сиротливо блестевшие рыбьи глаза и развалившиеся хвосты. Кастрюля, оплавившаяся, будто свеча, походила на голову не то лошади, не то осла.

А с улицы в окно заглядывал ребенок, наблюдая, как подмастерья ели принесенную кем-то селедку и запивали ее вином, подогретым молнией. Один из парней откусывал хлеб, сверкая белыми, белее пышного белого хлеба, зубами. В очаге снова заполыхало пламя, и, казалось, стена вдруг подернулась огненной пеленой. В мастерскую незаметно прокрались вечерние сумерки.

— А что с этой молнией стало? — спросил кто-то.

— В акулу оборотилась,— загоготали в ответ.

И мальчишке почудилось, что он видит, как, рассекая огненную пену, несется сквозь пламя акула.

На следующий день началась война

1940

Перевод В. СЕРЕДЫ

Горький свет

Был глухой вечер, бушевала непогода. За каждый шаг приходилось сражаться с ветром. А я еще в полдень сказал себе, что неплохо бы умереть: тогда окончится это адское противоборство, именуемое жизнью. Не надо будет постоянно держать себя в узде, а если уж лег, то не придется напрягать мускулы, чтобы подняться снова: не надо будет следить за своей речью, дышать, смотреть, пока сердце то замедляет, то ускоряет свои толчки. Лег и лежи в торжественном одиночестве.

И не пришлось бы мне сейчас, потирая колючий подбородок, шаг за шагом силой пробиваться вперед под ураганными порывами ветра, ломающего тонкие стволы дерев. А ведь меж тем брел я к дому, и на ужин ждали меня фаршированная паприка — такого яркого, красного цвета — и красное вино; в кухонной плите наверняка полыхал огонь, а мне это куда больше по душе, чем жарко натопленная в комнате печь: из раскаленной духовки вырывается пар, по краям плиты выстроились кастрюли, и свет кухонной лампы хоть и скромнее, зато уютнее. Я мысленно представил себе жену: она, разрумянившись, помешивает пищу — готовит вкусный ужин; вот она зачерпывает ложкой, пробует, и, если остается довольна своей стряпней, берет в руки небольшую флейту, украшенную серебряным полумесяцем, и извлекает из нее резкий звук, после чего радостно стискивает руки. Я однажды подсмотрел за ней в замочную скважину и знаю, отчего она так горда собой, если у нее удачно получается суп с тмином, мясное филе или тушеная говядина. Жена радуется тому, что сбывается пророчество моей матери, предрекавшей мне на завтрак рулады флейты, на обед — сонаты Моцарта и взамен вечерней трапезы соловьиные трели.

Непроглядно глухой вечер, бушует непогода, а дома меня ждут жаркий очаг и добрая, заботливая жена. Отчего же эта приятная мысль вытесняется другими?.. Раздражает отросшая на подбородке колючая щетина, мучает ощущение, что я насквозь продрог, что более не верю в свое будущее, что теперь уж и сам не пойму, как занесло меня на эту грешную землю. Я непрестанно вижу себя с сомкнутыми веками и скрещенными на груди руками покоящимся на тихом кладбище; лежишь себе, обращаясь в прах, не различая более ни темноты, ни света. Иной раз мне чудится, будто под толщей земли мимо меня торопливо проскальзывают невесомые тени; очевидно, отдых и покой длятся лишь первое время после кончины, а впоследствии, когда плоть утрачивает над нами свою колдовскую власть, усопшие, становясь бесплотными духами, приходят в движение — легкое, словно колыхание воздуха,— и дают увлечь себя то слабому дуновению ветерка, то бурному, грозовому порыву; так пляшет на гребне волн порождаемый нашей фантазией горький свет.

Но разве повинна добрая моя Анна в этом мрачном настроении? Может, хотя бы сбрить бороду — вдруг да полегчает на душе?

Я миную дом, в котором живу; вперед, подстегиваю себя, вперед, покуда не наткнусь на какого-нибудь брадобрея.

И я набрел на нужное мне заведение, где чуть теплился свет.

Где-то в глубине домишка горела крохотная лампочка не большей мощности, чем у карманного фонарика. А позади, сливаясь с густой тенью, была едва различима фигура парикмахера с взлохмаченными волосами; он дремал, громко всхрапывая, словно бы ему докучали мухи. Он не поздоровался со мною, лишь бритвой сделал знак, чтобы я уселся в кресло поближе к лампочке; вынес полотенце и светлый шейный платок, вялым, сонным движением ткнул помазок в мыло и принялся намыливать мою физиономию. При этом мне почему-то казалось, будто он курит трубку.

Я прикрыл веки, и перед глазами задрожали красноватые вспыш-

ки. Затем эти огоньки погасли, и мне почудилось, будто я сплю, точно японский император, которого бреют во сне.

Мне и в голову не приходило, что парикмахер спросонья может во время работы перерезать мне горло. У меня скорее было такое ощущение, что эта полудрема-полуявь продлится долго-долго и, пробудившись наутро, я обнаружу парикмахера прикорнувшим у меня на плече; если же первым пробудится он, то застанет в парикмахерском кресле клиента, спящего с намыленной физиономией.

Я успел почувствовать, как мыльная пена покрывает щеки до самых висков, но погрузиться в сонное оцепенение было настолько приятно, что я уснул.

Во сне я увидел Рудольфа Некасима: облаченный в серое пальто, он возвращался с кладбища и оживленно, весело толковал что-то красноносому господину в зеленой шляпе. Господин этот какое-то время спокойно шел подле Некасима, а затем повернулся вполоборота и стал оглядываться назад, словно кролик, заподозривший неладное.

Некасим какое-то время терпел, а потом прикрикнул на красноносого: нечего, мол, без конца оборачиваться.

— Это у меня привычка такая,— пояснил красноносый.

— Так я сроду не смогу досказать свой рассказ,— возразил ему Некасим.

— Тогда давайте остановимся,— предложил господин в зеленой шляпе.

— Я тороплюсь к священнику,— сказал Некасим, но, видя, что спутник его не перестает оборачиваться, остановился и, строго глядя на красноносого господина, поведал ему следующее:

— Во-первых, умерла Эльза — 7 ноября прошлого года. Во-вторых, умер Михалка — 16 декабря прошлого года. Захоронили детей, к сожалению, порознь. Причина? Отсутствие средств. Но, как вы знаете, мне повезло: я получил наследство. И хочу обоих своих детей соединить вместе. Подал прошение. Была назначена эксгумация. Теперь не оборачивайтесь, а извольте смотреть на меня... — Некасим продолжал очень строгим, взволнованным тоном: — Ввел меня лукавый во искушение: уж больно захотелось мне увидеть свою Эльзушку. И как вы думаете, что я увидел в гробу? Куст розмарина. Покойницы нет как не бывало, а вместо нее цветущий куст. Правда, когда мы Эльзушку в гроб клали, то в руки ей вложили веточку розмарина... И вот сейчас я иду к священнику, пусть объяснит, как это моя дочка обернулась розмариновым кустом.

Некасим припустился бежать, господин в зеленой шляпе — за ним вдогонку, но пробежал всего несколько шагов, потому что опять принялся оглядываться назад; а Некасим летел как на крыльях, со свистом рассекая воздух.

Я проснулся, удивленно потягиваясь. Пока я спал, незнакомый парикмахер побрил меня. А затем, словно не в силах дождаться, пока клиент проснется, удалился в свой укромный уголок и снова заснул.

Деньги я оставил на столе — пожалуй, больше чем требовалось, но все же не так много, как того заслуживал парикмахер. Мощный порыв ветра вмиг вернул меня к жизни, так что я в улыбке оскалил зубы. Громкий смех вырвался у меня, когда я схватился за ручку калитки. А при виде лестницы — ступенек, ведущих в мой дом, я взволновался еще пуще. Я услышал, как пискнула флейта у губ моей жены, увидел огонь в кухонном очаге, и единственная мысль пронизала меня: жить! Я крикнул — вслух, громко: «Жить!» — и почувствовал, что это и есть мой истинный голос и истинное мое желание во веки веков и присно.

1944

Перевод Т. ВОРОНКИНОЙ

■

САМИМ КОДЖАГЁЗ

Спор

РОМАН

Перевод с турецкого РАДИЯ ФИША

IV

Уйдя с головой в работу, я не замечал, как бежит время. Иногда в кабинет заходил Фахри, брал с полки книгу. Я подсказывал ему, в какую статью заглянуть.

Я уже заканчивал кассацию, когда в дверях показалась Фериде.

— Пришли родители. Сидят в гостиной. Я заварила чай. Ты скоро?

Я встал из-за стола. Вошел в гостиную. Мать устроилась возле печки. Спросила озабоченно:

— Ты по воскресеньям тоже работаешь?

Отец, как обычно, сел в свое кресло. Скинул тапочки, подобрал под себя ноги.

— Работа есть работа, ханым,— заметил он. — Не надо парню мешать.

Мы с Фериде едва удержались от улыбки. Для них я все еще был ребенком.

— Где наши? — спросил отец.

— Ушли в кино,— ответила Фериде.

— Лишь бы в такую вьюгу не взбрело им в голову куда-нибудь еще отправиться,— проворчала мать.

Отца снедало нетерпение. Я знал, зачем они пришли. Наконец он не выдержал:

— Скажи, сынок, есть у тебя время для нашей еженедельной партии?

— Конечно, отец.

Фериде поставила перед нами шахматную доску. Мать заскучала.

— Пойдем, дочка, к тебе. Теперь они будут молчать три часа подряд, наши разговоры им мешают. Я тебе кое-что хочу рассказать.

Они вышли.

— Аллах, аллах! — проговорил ей в спину отец. — Раз в неделю играем с сыном партию, и то непременно оговорит...

Мы углубились в игру, позабыв обо всем на свете.

В дверь позвонили. Я встал, открыл: привратник Ахмет.

— Внизу вас спрашивает какой-то господин. Вы дома? Примете? Назвался Зафером-беем. Щеголь, похож на полицейского! — добавил тихо привратник.

— Проси, проси наверх!

Ахмет-эфенди спустился на несколько ступенек, крикнул вниз:

— Пожалуйте, бей-эфенди! Экрем-бей ждет вас!

Пораженный, ждал я нашего однокашника Зафера-бея из управления безопасности на площадке. В университете среди приятелей его звали Огромным Зафером: рост — метр девяносто, мощный торс и совсем не подходящее к такой фигуре крохотное личико с голубыми глазками.

На нем было теплое пальто, вязаный галстук. На голове шляпа с выгнутыми полями. Поднявшись на площадку, он похлопал себя по плечам, по голове, отряхивая снег.

— Каким ветром тебя занесло, Зафер?

Я изо всех сил старался выказать радость.

Окончание. Начало см. в № 3, 1986 г.

— Эх, браток, нельзя же встречаться только на улице, впопыхах. Я — верный товарищ, дай, думаю, зайду, навещу...

Я помог ему снять пальто, повесил шляпу. На нем был шикарный темный костюм.

— Прости, Зафер, мы встречаем тебя не при параде.

— Помилуй, братец, вы у себя дома. Как тебе удобней...

Игру в шахматы пришлось прервать. Отец был раздосадован. Я представил его Заферу:

— Мой отец, Фаик Мутаф...

Зафер не дал мне договорить:

— Как же! Как же! Кто не знает бея-эфенди! Он из наших учителей, наш губернатор.

— И как вы решились выйти в такую погоду, сын мой? — спросил отец.

— Скука заела, бей-эфенди. Давно собирался навестить Экрема, вспомнить былые деньки. Что скрывать, на факультете он у нас был из лучших. На лекциях, на экзаменах всегда первый. А вот теперь — один из самых известных адвокатов страны. Не проходит дня, чтобы в газетах не печатали его речей, его портретов. Я так надеялся, что на прошлых выборах Экрема выберут депутатом, но ничего не попишешь — его товарищи развалили партию изнутри... Впрочем, рано или поздно быть ему депутатом, а может, и министром юстиции.

Похоже, отец принимал его слова всерьез, как-никак сына хвалят. Но меня провести было трудно.

— Мне еще ждать не дождаться,— сказал я. — Зато ты, Зафер, станешь начальником управления безопасности, а то и губернатором, не сомневаюсь. Ты и сейчас на высокой должности в самом видном управлении — стамбульском.

Кажется, Зафер остался доволен моими словами.

— Кем-нибудь да станем, Экрем, не подвела бы госпожа удача. Мало ли я колесил по Анатолии? Начинал с начальника уезда — и вот дослужился. Никогда не забуду твоего давнего совета: учи хорошенько французский. Послушался тебя. Государство послало меня во Францию на стажировку, положило стипендию. Большое подспорье теперь для меня французский язык: ведь я по службе обязан следить за иностранной печатью.

— А какие у тебя отношения с правительством?

— Великолепные. В нашем деле, сам знаешь, и речи быть не может о каком-либо несогласии с правительством. Кто бы ни пришел к власти, наша задача — крутить государственное колесо. И самим в нем крутиться. И не смешивать свои убеждения с текущей политикой.

— Сказать по правде, это не по мне. Непременно выскажу, что думаю...

— Я согласен с Зафером, сын мой,— оборвал меня отец. — За сорок лет службы я на собственном опыте убедился: Зафер-бей прав. Политика и государственное управление — вещи разные. В подобной ситуации мы, исполнители, стараемся не вступать в противоречие с правительством.

— Ах, как бей-эфенди прекрасно сказал. Мы, собственно, так и поступаем. Стараемся следовать указаниям старших.

Стемнело. Я зажег свет. Спросил Зафера:

— Что ты предпочитаешь? Чай, кофе?

— Хоть время позднее, чаю я выпил бы.

— Дни стали короткие. Оставайся поужинать. Опрокинем по одной. Отец тоже не откажется. Сколько лет мы с тобой не сидели вместе!

— Нет, Экрем, я пришел без звонка. Не надо утруждать супругу,— воспротивился было Зафер, но явно был не прочь согласиться.

Мне было ясно: не такой он человек, чтобы при его положении запросто прийти ко мне в дом. Что ему надо?

Я вышел. Попросил жену побыстрей заварить чай, приготовить закуску. Она слышала наш разговор.

— Понятно. Бросил играть с отцом, начнешь партию со старым другом из полиции. Будь осторожен, Экрем. Он пришел, чтобы поглядеть на наш дом, выведать, кто мы такие, послушать наши речи...

— Нам нечего скрывать. Пусть выведывает.

Я вернулся в гостиную. Зафер с отцом ударились в воспоминания о влиятельных лицах прежних времен.

— Раз уж мы собрались посидеть,— воскликнул при виде меня Зафер,— я отпущу шофера. Нечего ему мерзнуть на улице... Потом приедет, заберет меня.

— Сиди. Я скажу привратнику. Он передаст.

— Пусть приедет к десяти.

— Не рано ли?

— Дела в управлении. И не пристало отнимать у вас столько времени.

— Помилуй, дорогой. Куда нам торопиться?

Когда я вернулся, жена, успев переодеться, принесла Заферу чай.

Он вскочил с кресла.

— Я вам причинил столько беспокойства, ханым-эфенди.

— Прошу вас, бей-эфенди! Экрем очень рад своему старому товарищу. И мы тоже...

Обменявшись с Зафером деланными любезностями, Фериде присела поболтать о том о сем и тихонько вышла.

— Ваши парни ушли в кино, не так ли? — ни с того ни с сего бухнул Зафер.

Отец удивленно вскинул голову.

— Значит, вы знаете, что они в кино?

— Конечно, дядюшка Фаик,— рассмеялся Зафер. — В такое смутное время мы просто обязаны знать, что делает молодежь, чем занимается. Тем более если это наши дети. Что касается детей и племянника Экрема, то для меня не только служебный долг, но и святая обязанность взять их под свое крылышко. Его дети для меня что свои собственные. О них я хотел особо поговорить с моим другом Экремом.

Отец поднялся с кресла:

— Раз у вас разговор особый, я пойду. Эти дела мне знакомы.

Зафер решительно воспротивился:

— Нет, бей-эфенди, ни в коем случае! Прошу вас! Вы ведь, можно сказать, из наших. И в то же время заодно с Экремом. От вас у нас нет никаких секретов.

Отец сел на свое место.

— Хоть мы с тобой, Экрем, и не были близки, я, как старший товарищ, тебя никогда не забывал,— начал Зафер. — Верь мне, я тебя очень люблю. У меня нет сына. Дочь в прошлом году я выдал замуж. Как говорится, гора с плеч. Мечтал о сыне, таком, как у тебя, но не судьба. И потому завидую тебе. Вижу, ты хорошо воспитал сына. Парень — огонь. Я горжусь им так же, как ты. Вот увидишь, в адвокатском деле он тебя еще превзойдет. У нас перед глазами таких отличных ребят сотни. И мы, сотрудники безопасности, проявляем о них особую заботу. Бьемся из последних сил, чтобы волос не упал у них с головы. Несчастье, которое недавно постигло Фахри, меня очень расстроило. Не поверишь, но я испугался не меньше тебя. Знал бы, как я встревожился, когда нам по радио сообщили, что происходит на мосту Ункапаны. Я немедленно отдал необходимые распоряжения. Но прежде чем мы успели принять меры, по ребятам открыли огонь. Мы знали, что они ни в чем не виноваты. Доставлять твоего сына раненым в управление не имело смысла. Мы позволили ребятам укрыться в известном нам доме фабричного мастера, а потом у его подружки Филиз. Отец Филиз, бывший чиновник министерства финансов Сабри-бей, известный нам человек. Я вызвал его соседа, доктора, который лечил Фахри, справился о здоровье парня. И очень обрадовался, когда услыхал, что рана неопасна.

Его осведомленность меня ошеломила. Я не удержался от вопроса:

— А что вы сделали с теми, кто на них напал?

— С этими типами не так-то легко управиться,— отвечал Зафер, напустив на себя огорченный вид. — Продолжаем расследование, ведем розыски, наблюдение.

«И долго еще будете наблюдать,— подумалось мне,— ибо брать их и не собираетесь».

— Эркала твоего,— продолжил Зафер,— после необходимых формальностей я велел отпустить, так же как сотни подобных ему парней. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы эти молодые люди живыми и здоровыми окончили университет. Между нами говоря, губернатор нами недоволен: проявляете, мол, слабость. Я тебе как на духу говорю, хочешь верь, хочешь нет. Знаешь, зачем я приехал к тебе? Хотел тебя упрекнуть. Конечно, мы старые товарищи, но ведь ты за все это время ни разу не пришел ко мне сам. Знаю, ты — человек гордый, со студенческих времен помню. Не-

ужто мы такими скверными стали, Экрем? Не с просьбой, а просто выяснить, в чем дело, ты уже не можешь к старому товарищу зайти? Если б я тебя не знал, то обиделся бы, ей-богу!

Я не удержался от улыбки:

— Если бы в тот день Эркал не вернулся домой, к тебе пришел бы мой отец.

— Знаю, он и раньше хотел прийти, да ты не пустил,— задумчиво проговорил Зафер. — А зря. Бей-эфенди выпил бы с нами кофе. И узнал бы от меня все, что я тебе сейчас рассказал. Мало того, мы попросили бы у него совета, воспользовались его опытом. Бей-эфенди, конечно, в отставке, но в любое время, когда захочет, может к нам приходить запросто.

Зафер снова меня удивил. Отец был озадачен не меньше меня.

— Мы из седла выпали,— ответил он. — С наших времен искусство управления ушло далеко вперед... Не думаю, что такие отставники, как я, могут быть вам полезны, сын мой Зафер.

Неожиданно переменив тему, Зафер сказал:

— Хоть я видел ее только издалека, но знаю, Экрем: у тебя будет красивая, умная, образованная невестка. Поздравляю!

— Ты о Филиз говоришь?

— О ком же еще?.. Поскольку сейчас она живет у тебя, ты с ней, наверно, хорошо познакомился. Или я ошибаюсь?

— Не ошибаешься. Благодарю за поздравление.

— Кстати сказать, Сабри-бей может возвращаться из Гебзе, нечего ему скрываться. Влез, извини за выражение, в дурацкие дела. Все чепуха, кроме одного: прятал в своем доме множительный аппарат. Конечно, его ребята упросили. Аппарат, правда, они успели увезти, мы его в доме не обнаружили. Надо признать, парни ловко работают, а? Против Сабри-бея нет никаких улик. Я тебе по секрету говорю: пусть возвращается, может за себя не бояться. — Я снова ошарашенно уставился на Зафера. А он с многозначительным видом: мы, мол, все знаем, продолжал: — Особенно рад я, Экрем, тому, что Сельмин помолвлена с богатым парнем. Только, ради бога, не подумай, что мне это известно по службе. Из разговора с нашим приятелем Ремзи-беем выяснилось. Имеем мы в конце концов право знать, за кого выходят наши дочери? Наводить справки о кандидатах в зятья — наш общий долг. Особливо если речь идет о Сельмин. Как бишь его имя, этого парня?

— Садык... Садык Корур.

— Да, Садык. Так вот, он из старой купеческой семьи. Отец его — влиятельный уважаемый человек и в коммерческих и в промышленных кругах. Парень благородный, воспитанный. С высшим образованием. Отслужил в армии. Правая рука отца в торговом деле. Разве что немного староват для вашей дочери Сельмин. Точно сказать не берусь, но, по-моему, разница между ними лет восемь-девять. Но такая разница в возрасте в нашем обществе считается нормальной. К тому же он из ваших! Только никак в толк не возьму, зачем ему давать деньги вашей партии? Ничего в этом опасного, конечно, нет. Партия-то у вас легальная. Но любопытно, любительский у него интерес или в самом деле сочувствует вам?

— Благодарю за участие, Зафер-бей,— вмешался отец.— Ты нам очень помог. Любопытно только, как ты разведал о его связи с партией?

— Дорогой бей-эфенди, легальная партия открыта для всех. Имеет депутатов в меджлисе. Есть в ней и наши друзья! Экрем, к примеру, тоже в партии.

— Конечно-конечно! — проговорил отец, кивая.

Щелкнул замок входной двери. Явились из кино ребята. Впереди — Фахри, остальные — за ним.

— А, это вы, входите, входите,— поспешно проговорил я, опасаясь скандала. — Понравился фильм?

— Неплохая картина...

Фахри не договорил. Гляжу — лицо у него вытянулось: увидел Зафера. Я тут же приступил к церемонии представления:

— Это Зафер-бей, мой товарищ по факультету. Сидим, вспоминаем студенческие годы. Давно не видались.

Зафер встал, любезно подал ему руку. Спросил:

— Ну, как занятия? Как дела?

Ребята расселись по стульям, сидят как на иголках. Эркал, видать, знает, кто

такой Зафер. Встречался в управлении безопасности. Старается держаться как можно вежливей. Наконец встал, взял пальто:

— Отнесу пальто, переоденусь!

— Он живет напротив, в квартире деда, — пояснил я Заферу. Скомандовал девушкам:

— Ступайте на кухню, помогите матери. Мы с Зафером-беем и вашим дедом будем пить ракы. Приготовьте хорошую закуску... А ты, Фахри, спроси у мамы, что нужно, и сбегай в лавку.

— Ей-богу, Экрем, ты всех поднял на ноги! Оставь, ради бога, что есть, тем и закусим. Будешь своих так гонять, сбегу, честное слово.

— Не выйдет, Зафер. Выпьем, посидим.— Вечер мы провели за столом. Сельмин с Филиз нас обслуживали. Выпив две рюмки, отец встал: дескать, наше дело стариковское. Ребята с Фериде ели на кухне. Разговор у нас с Зафером был еще не закончен. Протолковали мы допоздна.

— Не надо, Экрем, откажись, ради бога,— говорил он. — Ты всех против себя восстановил. Берешься за дела анархистов, коммунистов, подстрекателей, которым прищемили хвост. Одних избавляешь от наказания, другим уменьшаешь срок. Понятно, ты мастер своего дела. В стране лишь несколько адвокатов твоего масштаба... Однако хвалить тебя не за что. На твое имя ложится тень... К примеру, ты вырвал из рук правосудия — вопреки заключению эксперта — публициста одной большой газеты. Между тем он пользуется любым случаем, чтобы как-нибудь ославить нас, служащих безопасности. Делает из мухи слона. А ты приходишь в суд и, как волос из масла, вытягиваешь его и ему подобных из наших рук. Поверь, в наших глазах ты хуже своего подзащитного.

Зафер, выпив, заметно распалился. Чтобы его утихомирить, я спокойно заметил:

— Положим, все так, Зафер. Но ведь любой подсудимый имеет по закону право на защиту. Во всем мире адвокатура — вполне легальная профессия. И нет ничего более естественного, чем защита адвокатом своего подзащитного.

— Все это понятно. Но неужто в огромном Стамбуле, во всей стране нет адвокатов, кроме тебя? К чему притягивать молнии на свою голову? Я затронул эту тему лишь ради твоего блага. Ваша группа адвокатов стала главной надеждой и защитой всех смутьянов в стране.

— Такова наша профессия. И наш долг. Мало того — наш хлеб.

— Вот с этим я не согласен. Какой от них хлеб? Не хочешь ты серьезно отнестись к моим словам. Разве я не знаю, что ты и так зарабатываешь больше всех адвокатов Стамбула?

— Прикажешь бросить адвокатские дела?

— Ты отлично понимаешь, что я хотел сказать. Откажись от защиты этих газетчиков, анархистов, коммунистов.

— Не могу, Зафер. Есть в конце концов понятие профессиональной чести. Виновность тех, кого я защищал и кого ты именуешь анархистами, коммунистами, не была доказана на суде. Ни разу! В тех случаях, когда я выступал.

— Мы считаем иначе. Могут их и оправдать, так сказать, обелить. Зато твое имя оказывается запятнанным. Как старый товарищ хочу тебя предупредить. И должен добавить: не нравится мне, как идут в стране дела. Настанут времена, когда даже ты не сможешь выручать таких людей.

— Если поезд сойдет с рельсов, если будут сломаны рамки законности, тогда адвокатам делать будет нечего. Но пока, как бы ни развивались события, адвокаты должны оставаться адвокатами.

— Не знаю. Вот тебе мое последнее слово: есть люди, которые полагают, что именно ты спасаешь преступников!

— Боже ты мой! Ну подумай сам, Зафер: приговор выносит не адвокат, а судьи. Ты ведь юрист. Сам все знаешь.

— Я-то знаю, но сказать тебе о том, что я слышал, тем не менее обязан. Повторяю, ради твоего же блага: к тебе приставили наших людей, ходят за тобой по пятам, неужто не замечаешь?

— Замечаю, конечно. Секретаря, что столько лет у меня работал, и того вы сбили с пути. Пришлось прогнать. Лишили человека хлеба насущного.

— Скажи, неужели тебе могло прийти в голову, что я и без него не знаю, где,

когда и что ты делаешь? Не задумывался ли ты над тем, почему мы все-таки приставили к тебе человека?

— Да что же тут думать?

— А ты все-таки подумай. Решил небось, чтобы следить за тобой? Дел у нас больше нет. Я вынужден охранять тебя, пойми же наконец! Полагаешь, ваши противники спят? Забыл о тех, например, кто стрелял в Фахри, кто избивает студентов? Оставим в стороне нашу дружбу. Но если что-нибудь случится с таким известным адвокатом, как ты, сотрудникам службы безопасности придется несладко. Газеты из нас все кишки выпустят. И я еще раз прошу тебя: брось защищать эту шайку!

— Хорошо, Зафер, я тебе верю. Значит, вы сняли помещение этажом выше партийного центра в Анкаре для того лишь, чтобы нас охранять?

— Ты, конечно, не поверишь, но это случайность... Скажем так, ваше счастье, наша удача. Мы долго искали в Анкаре помещение для отделения службы безопасности.

— Хорошо, предположим. Но в прошлом месяце, после полуночи, во время заседания правления, у нас все стекла повылетали от взрыва, а на вашем этаже все словно вымерло.

— Правильно, я выяснил у коллег в Анкаре. Той ночью у нас на этаже был только дежурный. Не успел принять меры. А вы даже не пожаловались. Наши начали расследование и выяснили, что злоумышленники — из ваших, из левых, только личности их не установили.

— Ай-ай-ай!

— Вот тебе и ай-ай-ай!

— Нам стало известно, что в прошлом году ты беседовал возле партийного центра с одним из наших людей. Наглец еще до службы в полиции обманом выманил у тебя четыре с лишним тысячи. Не волнуйся, мы поступили с ним как следовало. Пачкать честь полиции никому не позволено. Когда его брали на службу, мы об этом не знали. Дай мне документ, расписку, и тебе будет все выплачено сполна!

— Дорогой мой, я давно забыл об этих деньгах. Если бы Саит-эфенди не крутился у меня под ногами возле партийного центра, не пытался давать мне советы, я бы его не узнал и уж тем более не завел бы речи о деньгах.

— И зря. Иначе мы бы его давно поймали.

— Скажу тебе, Зафер, как адвокат, эти деньги пропали — срок давности. Не будем о них толковать.

— Не будем! Но все равно не годится, чтоб всякая полицейская сошка приставала к тебе на улице. Мы были очень огорчены. Я — другое дело. Пришел к тебе сегодня по-дружески, неофициально. Говорю с тобой не как чиновник службы безопасности.

— Благодарю! Хочу только спросить, мне интересно твое мнение: как по-твоему, развалилась наша партия или нет?

Надо же было и мне кое-что выведать у Зафера. Хотя бы что думают о нас чины безопасности, а следовательно, и высшие власти?

Дьявольская улыбка заиграла на его лице, он, казалось, обрадовался моему вопросу. Похоже, я сам протянул ему миску, чтобы он мог положить в нее то, что держал за пазухой.

— Не считай меня дураком, брат мой Экрем. Ты лучше меня можешь ответить на этот вопрос. Вы так друг друга грызете. А весь смысл ваших споров сводится к одному: коммунисты всегда были против вас. С самого начала они намеревались выхватить партию у вас из рук и повести ее своим путем. Нужно признать, ваша группа держится умней, реалистичней: отстаивает устав и программу, которые с виду делают партию социалистической. Вы пытаетесь придерживаться рамок конституции. Разногласия у вас вроде пустяковые, но за ними скрывается то, о чем я уже сказал. О чем весь этот крик да спор? Есть в Турции буржуазия или нет ее? Что прежде — демократическая революция или антиимпериалистическая борьба? Предположим, что спорящие искренни. Но разве они тем самым не заводят партию в тупик? Вы тоже коммунисты, но пытаетесь идти легальным путем, быть реалистами.

— Это уже не разговор. Еще немного, и ты примешься меня убеждать, что не вы развалили партию, а мы сами.

— Ей-богу, запретить вашу партию мы не властны, только следим за происходящим в ней. Если появятся достаточные доказательства, найдутся свидетели, тогда пар-

тию запретят. Но скорее всего она сама развалится. Собственно, к тому дело и идет. Поверь мне, Экрем, среди сотрудников службы безопасности многие действительно симпатизируют вашей линии, да что там, одобряют ее. Но помочь вам мы не в силах. Не веришь моим словам? Думай что хочешь, но вот тебе конкретный пример. Один профессор, член руководства партии да к тому же еще депутат, выехал в Европу...

— Выехал. Ну и что? Конституция гарантирует свободу передвижения.

— Поскольку он депутат, мы не могли не выдать ему паспорт. Между тем делать этого не следовало, хотя бы потому, что мы хотели бы вам помочь,— ведь он выступает против вас. Но тут мы бессильны. И он уехал. А его выезд обернулся против вас.

— Каким образом?

— Ну-ну! Не делай вид, что не понимаешь. Все, в том числе ты, знают: он отправился в страны западного блока и связался там с теми, кто называет себя Коммунистической партией Турции.

— У тебя богатое воображение. Этого просто не может быть.

— Мы в службах безопасности не ворожбой занимаемся, а следим за фактами.

— Ложно истолковываете факты.

— Верно истолковываем. Именно после этого, а точнее, вследствие этого ваша партия раскололась! Началась драка между теми, кто хотел показать стране и всему миру, что вы настоящая коммунистическая партия, и теми, кто этого не хотел!

— Правду сказать, Зафер, я удивлен и твоими познаниями, и твоим толкованием событий.

— Можешь сколько угодно иронизировать. Можешь не принимать меня всерьез, но я тебе по-дружески рассказал, что вижу, что знаю. И опять-таки ради твоего блага, искренне тебе говорю: отступись ты от этой партии. Не стало больше от нее проку, и ты ничем ей не можешь больше помочь.

— Не знал я за тобой такой страсти: делать людям добро. Итак, мне следует ради собственного блага отказаться от профессии адвоката, отказаться от своей партии. Прекрасно. Что прикажешь делать дальше? Скажи, раз ты так хорошо во всем разбираешься.

— И скажу, братец мой Экрем. Стань на более умеренный путь. Здесь твое мастерство адвоката принесет больше пользы. Коммерческие дела оплачиваются лучше. А с делами партийными обожди, пока не кончится смутное время. Поверь, я боюсь за тебя. Если что стрясется, ни я, ни все мы выручить тебя уже не сможем!

Я рассмеялся. Зафер вывел меня из равновесия.

— Резюме: черно-белое не берите, «да» и «нет» не говорите, нос свой никуда не суйте! Так, что ли, надлежит себя отныне вести?

— Как знаешь,— сказал он мрачно. — Решай сам!

Он явно угрожал мне. Чтобы прекратить разговор, я ответил:

— Хорошо, подумаю.

Зафер, довольный, глянул мне в лицо. Кажется, я произнес это чересчур серьезно. Какое-то время мы сидели молча. Потом он стал расспрашивать о чем-то другом. Я отвечал кратко: да, нет, хорошо, возможно. В голове у меня все смешалось. Он посмотрел на часы.

— Ого! Мы засиделись! — Он поднялся. — Ей-богу, я рад, Экрем. Правда, я тебя утомил, но зато мы хорошо поговорили. До свидания! Не хочешь на службу, приходи ко мне домой, право! Вижу, ты с отцом играл в шахматы. Я тоже большой любитель. Только вот не всегда удается выкроить время. Но если придешь, сыграем непременно. — В прихожей, надевая пальто, Зафер, словно речь шла о чем-то несущественном, заявил во всеуслышание: — С каждым днем дела идут все хуже, Экрем. Нам стало известно: молодежь создает свои организации. И без того хватало у них союзов, федераций. Теперь и вовсе к непутевым делам готовятся. По нашим сведениям, вооружаются... Я очень расстроен. Не знаю, что с парнями делать. Задают нам работу. Чем дальше, тем больше. Хоть ты, братец, держи своих ребят в стороне! Родители должны помогать нам. Иначе я не смогу уберечь их от неприятностей. Что мы, органы безопасности, сможем сделать, если начнутся вооруженные столкновения?! С оружием шутки плохи, даже если они употребят его для самообороны. Сам знаешь...

Зафер от души пожал мне руку, пожелал доброй ночи. Я проводил его до парадного. Вернулся, запер дверь. Уселся в кресло, закурил. Его слова действительно нужно было обдумать во всех деталях. Какую игру он вел? От чего предостерегал меня?

Что хотел мне сказать? Многое ему было известно. Еще чуть-чуть, и я поверил бы, что знает, в каком из зубов у меня дупло. Странное подозрение закралось мне в душу. Я поглядел на потолок. Не может быть! Неужто они установили подслушивающее устройство?

Дверь гостиной распахнулась. Ввалились наши. Впереди жена, за ней ребята.

— Что? Вы еще не легли?

— Какое там! — испуганно отозвалась Фериде. — Ребята меня подговорили, я все время сидела под дверью. Слышала весь разговор.

Я расхохотался.

— Скоро мы все станем профессиональными шпиками. А ежели так, держите в голове все, что слышали, и ступайте спать. Завтра обо всем поговорим.

— О чем еще говорить, Экрем? — рассердилась жена. — Меня чуть удар не хватил, так все страшно.

— Признаться, этому Заферу-бею многое про нас известно,— заметил Эркал. — Видно, специально нами интересовался.

— Потом поговорим, на сегодня достаточно. Пошпионили, и ладно. Я чертовски зол. Оставьте меня в покое.

— Не расстраивайся, отец,— сказал Фахри,— не мучай себя. Что поделать, таковы они... И правда, лучше, если мы все обсудим потом.

Отступление второе

Злая зимняя стужа пробирала до костей. Деревня была безмолвна. Лишь на улицах перемигивались тусклые огоньки. Невдалеке куполом в небе стояло зарево большого города. Тишина давила на уши.

Парни лежали на голой влажной земле на равном расстоянии друг от друга. Лежали долго, не шевелясь. Наконец один поднял руку. Остальные подползли к нему.

— Три часа, пора! — сказал он.

Снял перчатку, проверил пистолет. Остальные тоже проверили пистолеты и автоматы.

— Чтобы не вышло ошибки,— тихо сказал главный,— давайте еще раз повторим. Проволока — западная граница базы. Тени за проволокой — склады. Они стоят дверьми друг к другу. За складами — дорога к воротам. У каждого склада — часовой. Сейчас скорее всего турки. Дорогие американские друзья ночью обычно ставят у своих складов наших солдат. С той стороны складов, кажется, постов нет. Но могут быть патрули. У каждого склада два окна, вроде бы незарешеченных. Первая и вторая группы проникнут в склады с южной стороны. Третья со мной вместе — с северной. Ровно через тридцать минут встречаемся за будкой возле главных ворот. Берем только оружие и боеприпасы. Перед будкой—площадка для парковки. На ней всегда машины, грузовики. Если повезет, позаимствуем грузовичок у наших любимых друзей. Обойдемся без ключа. Зажигание я беру на себя. Все ясно?

— Ясно,— откликнулись остальные.

Главный достал из кожуха ножницы для резки проволоки, сунул пистолет в карман. Ползком двинулся к длинному, поблескивавшему при свете луны ограждению. Остальные остались ждать. Когда проволока была разрезана и путь открыт, они еще раз собрались вместе, при свете зажигалки сверили часы. Проверили, на месте ли карманные фонари. Ползком проникли на базу и растворились в темноте.

Миновав траншеи, быстро приблизились к складам. Часовых у дверей не было. Обогнули склады сзади. Встав друг другу на плечи, легко забрались в окна. Лучи фонариков выхватывали из темноты пакгаузов коробки, ящики, контейнеры. Разделившись, заметались среди запасных частей каких-то машин, оборудования. Ярость овладела ими: ни оружия, ни патронов не было. Каждый надеялся: может, товарищи обнаружили его в других пакгаузах. Все чаще поглядывая на часы, продолжали искать. Минуты летели. Переворошили все — оружия не было. Тем же путем выбрались наружу. Крадучись вдоль стен, добрались к месту сбора за будкой. Ворота базы были ярко освещены.

Главный яростно зашептал:

— Не было возможности раньше проверить... Не повезло.

Остальные молчали. Один из них выглянул из-за угла. На площадке стояло несколько машин. За ними на дороге виднелась полуторка.

— Есть грузовик... То, что надо,— сообщил он, вернувшись.

Трое остались на месте возле будки. Четверо кинулись к машине — двое сзади, двое спереди. Главный с пистолетом в руке распахнул дверцу, посветил фонарем. За баранкой дремал долговязый американский сержант-негр. Свет фонаря ударил ему в лицо, пистолет уставился в грудь.

— Хелло, Джимми!

— Да... Чего вы от меня хотите? — отозвался перепуганный сержант.

Парень оттолкнул его, влез в кабину. Другой открыл противоположную дверцу. Выхватил из кобуры на поясе негра пистолет, мгновенно достал из кармана веревку, стянул руки негра за спиной. Глаза завязал платком. Прижав пистолет к его животу, сел рядом. Сержант оказался зажатым с двух сторон. Остальные прыгнули в кузов, легли на дно. Главный повернул ключ зажигания. Осторожно дал газ. Развернулся в сторону ворот. Увеличил скорость. И вдруг включил фары. Раздались крики — по-турецки, по-английски:

— Стой! Куда?

Крики быстро удалялись. Послышались выстрелы. Парень за рулем постучал в заднее стекло. Из кузова несколько раз пальнули в воздух. Негр съежился на сиденье.

Полуторка мчалась по шоссе в сторону Анкары. Сержант испуганно повторил:

— Чего вы от меня хотите?

Когда грузовик удалился от базы, парень за рулем сказал с усмешкой:

— Заткнись, Джимми, от тебя мы ничего не хотим. Будешь сидеть тихо, отпустим живым... У нас могут быть к тебе вопросы. Только не врать.

Сержант перевел дух — вроде успокоился.

— Я из черных мусульман, мне врать нельзя!

Похитители расхохотались. Отсмеявшись, тот, что сидел за рулем, спросил:

— Выходит, ты за Мухаммеда Али? Молодец, Джимми!

— Разумеется,— отозвался сержант. — Каждую пятницу я хожу молиться в мечеть Хаджи Байрама. По языку понял: вы турки. Турки любят своих черных братьев. В Турции не то что в Америке, нет ненависти к черным.

— Браво, Джимми. Человек есть человек, цвет кожи нас не интересует. А хороших людей мы любим.

— Я хороший мусульманин. Мусульмане — братья. Вы не причините мне зла, правда ведь?

— Я же сказал, Джимми. Зависит от твоего поведения!

— Откуда вы знаете, как меня зовут?

Парень внимательно следил за дорогой. Кинул взгляд на сержанта. Усмехнулся:

— Из десяти американцев пятеро — Джимми!

Сержант улыбнулся в ответ. Видно, у него совсем отлегло от сердца.

— Вы хорошо знаете американцев!

— Еще как!

— Вы их не любите, верно?

— Никакой вражды к американскому народу мы не питаем.

— Понятно. Вы злы на нашего президента. Это он нас послал сюда. И во все концы света. Я вас понимаю.

Парень снова ткнул его в бок пистолетом.

— Котелок у тебя варит, Джимми. С тобой мы договоримся.

— Конечно, договоримся,— ответил серьезно сержант.

При въезде в Анкару машина чуть сбавила ход.

— Скажи-ка, сержант,— обратился к нему водитель,— на вашей базе вообще нет оружия?

— Спросили бы раньше, я б сразу сказал, что нет. Ни оружия, ни боеприпасов.

Грузовик свернул с проспекта на широкую улицу. Остановились в дальнем неосвещенном ее конце, возле многоэтажного здания. Спрыгнули на землю. Под руки ввели американца в дом. Кто-то сел за руль, отогнал машину.

В комнате было полутемно. Близился рассвет. Сержант Джимми сидел на стуле лицом к стене. Один из парней дежурил у двери, другой ходил из угла в угол. В глубине комнаты горела тусклая лампочка.

Весь день до вечера сержант провел в страхе. Глаза и руки ему, правда, развязали. Но даже по дороге в туалет не разрешали оглядываться. Задавали вопросы, беседовали, но без грубостей. Вид, однако, у парней был такой решительный, настороженный, что по временам на сержанта находил ужас. Ему сказали, что он может спать на тахте в углу лицом к стене. Уснуть, однако, Джимми не удалось. Дали свежего хлеба — поел. Угостили крепкой турецкой сигаретой — выкурил. Джимми казалось, однако, что ему не верят. И это больше всего пугало сержанта. Похоже, с ним обращались как с приговоренным к смерти. Речь ведь шла об оружии, а это не шутка! Стоило ему подумать об этом, как его прошибал пот. И от страха он начинал говорить, даже когда его ни о чем не спрашивали:

— Свой пистолет я вам дарю.

Они рассмеялись.

— Мы его и так взяли!

Тогда принялся клясться своей честью, именем аллаха, что не знает, где хранится оружие.

— Мы ведь в Турцию не с оружием явились!

— Правильно, Джимми,— ответил парень, круживший по комнате.— Вы не с оружием пришли, а с радарами да ракетами. Полагаясь на свой толстый карман.

Сержант выпрямился, сунул руку в карман. Вытащил кошелек.

— Турецких денег у меня нет. Не менял. А доллары есть. Можете взять,— чуть не плача, проговорил он.

— Этот Джимми — большой комик,— сказал стоявший у двери.

Парень, шагавший по комнате, остановился.

— Положи свои деньги в карман, сержант. Пистолет тебе дадут новый, а деньги не вернут. Мы личное имущество не берем,— добавил он с насмешкой.— Не волнуйся! Если с тобой что случится, перешлем твои деньги семье.

На лице у Джимми снова выступили капли пота, хотя в комнате было довольно прохладно. Тот, что дежурил у двери, сказал, словно продолжая давний разговор:

— После второй мировой войны империалисты стали действовать иначе, сержант. Завоевывать страны не силой оружия, а силой денег. Находят себе за доллары приспешников. На кой нам твои несколько долларов? Если понадобится, возьмем деньги, украденные у народа спекулянтами, торговцами родиной. Не раз уже брали. Не знаю, понял ли ты нас?

Сержант дернулся, будто его иглой укололи.

— О да! — Послышались шаги. Дверь открылась. Снова закрылась. Американец не оглянулся.

В комнату вошел еще один — в руках пакеты с едой, под мышкой газеты. Принялись втроем просматривать заголовки первых страниц. На лицах появились улыбки.

— Ай-ай-ай! Снова Турция поднята на ноги,— довольным голосом проговорил один.

Другой заметил:

— Сержант сослужил нам хорошую службу. Мы о таком и мечтать не могли!

Главный потянул товарищей за рукав.

— Сержант свое дело сделал. Больше от него толку нет. Грузовик они нашли, пусть найдут и его. Опять крик подымется! Что скажете?

— Хорошо придумано. Где машина?

— У перекрестка. Вот ключи... Взяли у известного тебе товарища, обещали после обеда вернуть. Оставь его, где сочтешь удобным. И верни машину. Я жду тебя здесь.

— Ладно,— согласился главный.— Поехали, пока совсем не рассвело. Завяжите ему глаза. Чтоб через пять минут машина была у дверей.

Один вышел. Другой достал платок. Подошел к американцу сзади, завязал ему глаза.

— Пойдем, Джимми.

— Куда? — испуганно спросил тот.

— Будешь вести себя смирно, все обойдется. Бояться нечего, видишь, мы тебе верим — даже руки не связываем.

В машине сержанту приказали встать на колени. Один из парней сел за руль. Другой на заднем сиденье приставил пистолет к спине американца. Порядком покружив в предрассветных сумерках, выехали на другой конец Анкары. Остановились на

узкой, обсаженной деревьями улочке. Тот, что был за рулем, сунул сержанту в руку две десятки.

— В конце переулка — проспект. Возьми на такси, у тебя ведь нет турецких денег. Выйдешь из машины, не оглядывайся. А то получишь пулю. Ты свободен, ясно, Джимми?

Парень, сидевший сзади, развязал негру глаза, открыл дверцу. Сержант хотел что-то сказать, но не смог. Вышел и чуть не бегом скрылся за углом переулка.

Часть третья

I

В международном аэропорту Ешилькёй царило необычное оживление. Зал ожидания был забит колышущейся толпой. Отлетавших выстраивали в очередь за полчаса до объявления посадки, открывали сумки и чемоданы, переворачивали вверх дном. Пассажиров внутренних рейсов досматривали вплоть до карманов. С 29 апреля страна была объявлена на военном положении. Но остановит ли это дальнейшее развитие событий?

Держа в одной руке билет и удостоверение личности, в другой — портфель, я смешался с толпой. До отлета оставалось сорок пять минут. Присесть негде — все кресла заняты. Ждать пришлось долго; наконец диктор объявил:

— Пассажиры, следующие в Измир, пройдите к выходу номер два!

Толпа зашевелилась. Мы выстроились перед дверью. За нею были сооружены две кабинки из парусины. В одной стояли двое мужчин, в другой — две женщины в полицейской форме. Дамы входили в кабинку к полицейским-женщинам, мужчины — к мужчинам. Выйти на поле можно было лишь после личного досмотра. У выхода стояли полицейские в цивильных костюмах и внимательно разглядывали проходящих.

Дождавшись своей очереди, я направился к кабине. Пока один полицейский рылся у меня в портфеле, другой привычным движением пощупал под мышками, похлопал брюки от пояса до отворотов.

Я вышел на поле, оглядел самолет. Вижу: лощеный молодой чин в штатском внимательно меня разглядывает. Мы встретились глазами. Я откуда-то знал этого парня. Скорей всего, комиссар. Может, видел его во дворце правосудия? Не успел я это подумать, как он улыбнулся:

— Счастливого пути, Экрем-бей! Погода отличная, полет будет приятным!

Я поблагодарил и отправился вслед за остальными пассажирами. Есть же на свете вежливые полицейские. «Впрочем,— усмехнулся я про себя,— ты человек известный, видный адвокат, кто тебя не знает!»

У трапа стоял еще один чин. Стюардесса взяла мой посадочный талон, пригласила в самолет.

Я сел на свободное место впереди. Кресло у окна занимал пышноволосый господин. Я положил портфель на полку, смотрю, сосед — мой старый знакомый! Журналист одной из стамбульских газет. Когда он был помоложе, то казался человеком стеснительным, ходил опустив голову, словно прятался от собственной тени. Вот и сейчас отвернулся к окну, точно не желал никого ни видеть, ни слышать. Я вспомнил давно ходившие о нем дурные слухи.

Стал ждать, когда он повернет голову. Стюардесса попросила застегнуть привязные ремни. Тут ему волей-неволей пришлось обернуться.

— Здравствуй!

— Ох! Здравствуй, брат мой, приятного пути! — с деланной почтительностью проговорил он, привстав.— Извини, замечтался.

Мы застегнули ремни и молчали, покуда самолет, пробежав по взлетной полосе, не поднялся в воздух. Я видел: встреча его не обрадовала. Спросил:

— Что-то давненько тебя не видно?

— Вот уже несколько лет я служу в измирской газете. Прилетал в Стамбул по делу.

— Мы в Стамбуле редко видим измирскую прессу,— заметил я, чтобы что-то сказать.

— Мы получаем стамбульские газеты в тот же день. Часто читаю про ваши успехи.

— Какие успехи? — удивился я.

— В судебных делах по защите печати. Если и с нами случится беда, позвольте к вам обратиться.

Я заглянул ему в лицо: не смеется ли надо мной?

— С тобой-то никакой беды случиться не может.

Он, видно, обиделся. Спросил довольно сердито:

— Почему же? Мы все под прицелом.

— Ты знаешь, что пишешь. Вряд ли допустишь промашку,— утешил я его. Пора остановиться, нечего с ним связываться. Я припомнил его статью о нашей партии, напечатанную месяца четыре назад. Кто-то вырезал и дал мне прочесть.

Газетчик он был хитрый, ловкий, когда было выгодно, вел других налево, а сам шел направо. А в этой статье вдруг напялил на себя личину законника и принялся поучать лицеистов да первокурсников, пытаясь расколоть левые силы. Чем дольше я размышлял, вспоминая его старые делишки, тем больше брала меня досада, что я сел рядом. Но и заводиться вот так тоже не следовало.

— Жаль вашу партию,— сказал он, как будто желая сменить тему разговора.

— Отчего же?

— Говорят, дали вам отставку.

— Возможно. Но партия продолжает жить. Избран новый председатель.

Он криво усмехнулся:

— Новое руководство посадит партию на мель.

— Каким образом?

— Спрашиваете, будто не знаете о последнем конгрессе?

— Я на нем не был.

— Наверняка читали, слышали. Дело передано в конституционный суд.

Я с трудом удержался, чтобы не сказать: «Ты ведь этого жаждал». Ответил:

— Этого, собственно, и добивались правящие круги!

— Ваше толкование ошибочно, маэстро! — Он ухмыльнулся в усы.— Правящие круги вряд ли этого хотели. По-моему, новое коалиционное правительство составлено из технократов, из так называемого «мозгового центра». И все это люди прогрессивные. До новых выборов они наверняка разберутся в экономической и политической сумятице.

— Не испытываю доверия к главе правительства. Да и к его заместителям тоже. Так называемых технократов попросту обвели вокруг пальца... В конце концов их тоже отпихнут в сторону и с помощью бюрократии установят фашистский режим. Отчего беснуется главная оппозиционная партия? Почему продолжаются столкновения? Что творилось, когда мы садились в самолет?

— Переходный период. Все уладится.

— Выходит, ты оптимист? Но до выборов еще далеко. Да и состоятся ли они — вот вопрос.

Мой попутчик отвернулся, поглядел в иллюминатор на темнеющее небо. Когда он обернулся ко мне, на лице его снова играла насмешливая улыбка.

— Можно какое-то время — и очень даже долгое — обойтись вообще без выборов.

— Не понял.

— Постарайтесь понять. Чем позже будут выборы, тем сильней станет оппозиция. Вряд ли она объединится. Но возможно усиление крайне левых...

Здрасьте, приехали! Да он попросту смеется надо мной. По сути, он всегда был противником левых. И радуется их нынешней слабости. События как будто развивались в том направлении, о котором он мечтал. Промолчать бы мне, но нет, не удержался:

— Левым, чтобы собраться с силами, нужно теперь не менее десяти лет. Что обычно быстро объединяет людей? Выгода. Другое дело — мысль. Вокруг какой-либо идеи объединиться нелегко, ввиду различных ее толкований. Мысль доходов не приносит.

— Вот тут вы правы,— откликнулся он, и кажется, искренне.— Я знаком с марксизмом. С его прошлым и настоящим...

— Надеюсь, ты не упускаешь при этом из виду условия нашей страны.

— Как их упустишь?! — ответил он, довольный.— Они налицо!

— Таких, как ты, просвещенных газетчиков у нас раз-два и обчелся. А люди

просвещенные обычно прямо говорят, с кем они, на чьей стороне. Скажи-ка и ты, браток: за что ты стоишь?

Он оторопел. Невольно оглянулся по сторонам, поглядел назад — не слышит ли кто. Пассажирам было не до нас. За гулом моторов нас и не могло быть слышно.

— Кое-кто из левых считает меня ленинцем, кое-кто — маоистом, а кое-кто — кастровцем,— уклончиво сказал он.— Кого бы вы мне посоветовали держаться по нынешним временам?

— Скажем так: наша экономика, социальная и общественная жизнь — это больное сердце. Социализм — сердце здоровое. Возьмем да пересадим его вместо больного. Только при одном условии: сердце — это марксизм, но группа крови должна нам подходить. Ты удовлетворен ответом?

— Вы хорошо сказали. Но до сих пор все пересадки сердца оказывались безуспешными. Даже если группа крови донора совпадала с группой крови больного.

— Да, медицина успеха в этом не имела, верно. Но ведь те, кого ты только что назвал, каждый по-своему хотел применить учение Маркса к условиям своей страны. Почему ты не мыслишь себе социализма применительно к условиям Турции?

Похоже, я окончательно прижал его к стенке. Он помолчал. Глянул мне прямо в лицо.

— А где же он, вождь турецкого социализма?

Я закурил, предложил ему. Он отказался.

— Переживаемый нами период,— спокойно ответил я,— противоречив. В такое время необходимы споры, дискуссии. Несмотря ни на что, период этот очень важен. Не огорчайся, в один прекрасный день, быть может в самом ближайшем будущем, Турция обретет своего вождя. И свою партию...

Он предпочел пойти на мировую. С деланной ласковостью во взгляде проговорил:

— Вот потому-то я в начале нашей беседы и сказал: жаль вашу партию!

Чтобы закрыть тему, я ответил:

— Как говорит молодежь? Знаешь их лозунг: «Революционеры умирают, революция продолжается!»

Он вдруг взъерепенился:

— Дурацкое дело! Умирают ни за что ни про что.

— Тут последнее слово не за нами. Мы этого решить не можем. Решит история, грядущее.

— Так-то оно так...

Я прервал его:

— Знаю, ты сейчас скажешь: «классы», «народ». Наговоришь много разных слов. Но мы не успеем доспорить. Если пробуду в Измире несколько дней, зайду к тебе в газету, поговорим.

— Буду рад, маэстро. Выпьем чая, кофе!

Можно было подумать, что перспектива моего визита чрезвычайно его обрадовала. Над этим стоило подумать. Впрочем, ладно. Как бы там ни было, наши споры помогли скоротать время. Вот-вот должен показаться Измир.

Помолчав, он спросил:

— Значит, вы пробудете в Измире недолго?

— У меня там сестра, свояк, племянники. Пригласили в гости, а у меня как раз выдалось свободное время. Дай, думаю, повидаюсь.

Я, конечно, не собирался сообщать ему о телеграмме, лежавшей у меня в кармане. Не хотелось лишний раз его радовать. Восемь дней назад Эркал вышел из дому, сказав: «Еду в Измир к родителям». А сегодня утром я получил от своей сестры Эмель телеграмму: «Приезжай немедленно. Ждем!» Могла бы и позвонить. Но, видно, по телефону говорить не хотела. Я тут же подумал об Эркале. Наверняка с ним что-то стряслось. Позвонил в Измир из конторы. Подошел его старший брат Эрдал. Я сказал: «Вылетаю вечером девятичасовым». — «Хорошо,— отвечает,— мы тебя встретим в аэропорту».— «Привет, до свидания». Я повесил трубку. В такое время длинные разговоры вести нельзя. Подслушивают.

Искоса поглядывая на меня, мой попутчик, будто к слову пришлось, сообщил:

— В Измире тоже были выступления студентов. А сейчас и того хуже...

— Вот как? — коротко отозвался я, желая прекратить разговор. Но он не унимался:

— Взяли и ушли в горы!

Я знал об этом из газет, но прикинулся удивленным:

— Не может быть!

— Именно так. Ушли в горы Айдына и Бешпармака.

— С оружием?

— Нет, эти — без оружия... Группа активистов. Распространять воззвания...

Я улыбнулся:

— Устроили в горах типографию?

— Хватит и множительного аппарата. Говорят, крестьяне им помогают.

— Выходит, дело идет к партизанской войне?

— Выходит, так.

Этот газетчик, по-видимому, чего-то от меня добивался. Беседа приобрела неприятный оттенок. Выручила меня стюардесса:

— Наш самолет приближается к измирскому аэропорту Чигли. Пожалуйста, пристегните ремни!

II

Задумчивый, встревоженный, вышел я из самолета и направился к аэровокзалу. Кто-то тронул меня за рукав. Я оглянулся — Эрдал.

— Добро пожаловать, дядя!

Он взял у меня из рук портфель.

— Спасибо, Эрдал. Какие новости?

— Плохие, дядя.

Мы подошли к роскошной американской машине. Эрдал усадил меня, сел за руль. Выбравшись из толпы и скопища машин, мы двинулись в Измир. Время приближалось к десяти. Стемнело. Зажглись фонари.

— Эркала нет уже целую неделю,— наконец сказал Эрдал.— Мы думали, он останется у вас, чтобы сдать экзамены, которые не успел сдать в прошлом году из-за беспорядков, но он приехал и в первый же день заявил: «Готовиться к экзаменам в Стамбуле невозможно. На факультете все вверх дном. Поработаю здесь и вернусь». А через два дня исчез. Мы поняли, что в Стамбул он не вернулся, но не могли догадаться, куда он подевался. Справляться в управлении безопасности, в военной комендатуре не решились. Мать круглые сутки плачет, отец по вечерам пьет, орет, ругается: «Пусть катится к чертовой матери! Мне сын-коммунист не нужен!» Проведал что-нибудь он или нет, не знаю. Ради бога, дядя, не наседайте вы на него сразу, а то он и на вас всех собак спустит.

— Что-то ты нехорошо говоришь об отце...

Он повернулся ко мне: глаза полны слез.

— Дорогой дядя, только вам я могу сказать. Отец орет: «Гляди у меня! Не то перестану считать тебя сыном!» Я бы сам давно от такого отца отказался, если б стыд меня не удерживал. Вы ведь знаете: он насильно заставил меня после лицея пойти в коммерческую академию. А теперь, когда я ее окончил, посадил меня в своей конторе: нужен, мол, помощник. Я хотел учиться в анкарской консерватории. Выдержал экзамен по классу рояля. А отец взял и запер рояль на замок. И вот уже два года я вынужден вместе с ним обделывать его грязные делишки. Но как бы то ни было, при отце все равно не останусь. Решил сделать меня своим компаньоном, так он матери заявил. Простите, дядя, за грубое слово, но и компаньон из него липовый; он и меня за милую душу надует. С матерью у них давно нелады. У нее нервы совсем никуда стали: гого и гляди, свихнется. Хорошо бы, дядя, взять вам ее с собой в Стамбул. Докторам покажете, да и отдохнет немного.

Я молчал. Да и что я мог ему сказать, как помочь? Он не зря отчаивался. На большой скорости мы неслись к Измиру. Эрдал яростно жал на газ.

— Потише,— сказал я.— Я не люблю быстро ездить ночью. Вижу, ты нервничаешь, понимаю тебя. Но мы все уладим. За этим я и приехал.

Эрдал убавил газ. Видно, высказав все, что на душе, успокоился.

— Мать говорит: «Сил нет больше терпеть. Разведусь, и все тут!»

Это меня не удивило. Надо было знать моего свояка Джемаля Йосуна-бея. Чем больше денег он загребал, тем становился несносней. Когда-то Джемаль казался порядочным человеком. Старался вырастить мальчишек людьми, дать им образование, даже рояль купил. Что с ним стряслось? Впрочем, это был риторический вопрос.

В Алсанджаке машина свернула во двор семиэтажного дома. Мы вошли через черный ход. Вызвали лифт. Эрдал заметил с издевкой:

— Весь этот огромный доходный дом от подвала до крыши — собственность папаши.

И это не было для меня новостью. Я кое-что знал о движимости и недвижимости Джемаля Йосуна-бея, о богатстве, которое он нажил за последние пятнадцать лет. Аднан Мендерес, придя к власти, дал ему, как и многим коммерсантам, команду: «Валяй загребай!» С той поры он немало нахапал. Но и со своей стороны сослужил неплохую службу партии Мендереса: известное дело, долг платежом красен. С 1965 года и до прошлого месяца, когда меморандум военных вынудил Мендереса уйти в отставку, он сполна успел оплатить свой долг. Мой свояк стал одним из тех скоробогачей, что выросли, как поганки под теплым дождем. Я понимал, отчего ему теперь не по себе: дрожит за свой бизнес.

Эрдал достал ключ, но тут дверь распахнулась. Мне на грудь упала Эмель. Окропила мое лицо слезами. Вся дрожит.

Эрдал взял ее под руку:

— Успокойся, мама... Дядя приехал, все уладится.

Такой я никогда еще сестру не видел. Глаза красные. Лицо осунулось. В каштановых волосах седина.

Придя в себя, я расцеловал ее мокрые от слез щеки:

— Что с тобой, Эмель? Нельзя так распускаться!

— Эркала нет целую неделю,— запричитала она.— Сбежал... Или посадили... Нет, он наверняка убит!

Я понимал: то была последняя капля, переполнившая чашу ее многолетних мук. Нервы у нее были натянуты до предела, вот-вот лопнут, как струны. Дав ей немного успокоиться, мы прошли в гостиную. Джемаль-бей сидел, развалясь и вытянув ноги, в глубоком кресле посреди большого, уставленного дорогими вещами, нарядного зала. Перед ним на низком столике стояла початая бутылка виски. Лицо красное от выпивки. Завидев меня, он медленно встал, будто с трудом отдирал от кресла свое громадное туловище, и даже изволил сделать несколько шагов мне навстречу. Можно было подумать, что он только сейчас узнал о моем приезде.

— Здравствуй, шурин мой, коммунист! Добро пожаловать! Мы тебе рады!— проговорил он, пожимая мне руку. Это он так шутил.

— Желаю здравствовать, дорогой мой свояк — капиталист и компрадор! Вижу, ты в хорошем настроении. Выпиваешь в свое удовольствие!

— Какое уж тут удовольствие, когда все вокруг изгажено!.. Такая каша заварилась из-за вас в стране... Попробуй разберись,— проворчал он.

— Подожди. Дай дух перевести с дороги. Мы еще об этом с тобой поговорим.

Он уселся на свое место. Я расположился в кресле поодаль, решив, что не стану ввязываться с ним в спор. Эмель присела на стул в дальнем углу. Стиснула ладони, словно пытаясь совладать с нестерпимой болью, положила их на колени. Эрдал устроился возле матери. Я понимал, что они хотят поговорить об Эркале. Но Джемалю-бею было, видно, не до того. Он потянулся к бутылке. Приказал Эрдалу:

— Принеси дяде стакан. И лед тоже. Пусть выпьет виски, снимет усталость.

Эрдал встал.

— Брат голоден. Пойду сперва что-нибудь приготовлю,— возразила Эмель.

— В самом деле, хочется есть. Не успел перед вылетом. А на пустой желудок я виски не пью. Пойду помою руки с дороги...

Возвращаясь в гостиную, я увидел, что сестра ждет меня в коридоре. Я опередил ее вопрос:

— Не волнуйся. Завтра первым делом отправлюсь в управление безопасности. Отыщем след Эркала. Ты ведь знаешь, что стряслось с Фахри?! А Эркал был с ним вместе. Такая пошла молодежь, не сидится ей на месте. Думаю, новое правительство их утихомирит, так что не бойся. Все уладится.

Эмель недоуменно поглядела мне в лицо. Верно, поняла, что я просто хочу ее успокоить. Она накрыла скатертью край огромного обеденного стола. Я принялся за еду. Свояк продолжал прихлебывать виски.

— Ну как, братец? — вдруг спросил он.— Ты доволен новым правительством?

— До сих пор мы не были довольны ни одним правительством. Не радует нас и это.

— И мы недовольны,— подхватил он с издевкой...— Черт знает кого сделали министрами. А они и в депутатах не ходили. Испоганили деловую жизнь. В импор-

те, в экспорте ни толка не стало, ни порядка. На все наложили лапу. Подмяли под себя центральный банк, все другие банки схватили за горло. Кредитов нет, дела стоят. Прежнего премьера взяли за ушко да вывели на солнышко. А виноваты во всем вы, коммунисты, анархисты, социалисты. Подняли крик, устроили заваруху.

— Не мучай себя понапрасну, дорогой,— отвечал я,— пройдет немного времени — и вы воздадите по заслугам тем, кто мешает вам делать дела. Для вас все придет в норму. Как снега не бывает в засуху, так никакое правительство, никакие министры против вас не устоят.

Джемаль Йосун-бей расхохотался:

— Ты угадал... Нашего премьера военные выперли, но в меджлисе-то у нас большинство!.. В конце концов, будут новые выборы. А до них мы как-нибудь с божьей помощью перебьемся.

Эмель не выдержала:

— А что будет с молодежью, которую избивают, сажают в тюрьмы, убивают?

Муж глянул на нее искоса:

— Ее отравила, взбунтовала и довела до беды команда твоего брата... Они за это и ответят!

— Ошибаешься! Молодежь отравили и взбунтовали вы. Вы пьете ее кровь и макаете в нее свой хлеб. Иначе не пришлось бы вас силой отстранять от власти. Вы еще дешево отделались! Непонятно, как с вас не спросили ответа, хотя именно с вас его надо было спросить. Молодежь не сама взбунтовалась. Вы ее довели до этого.

— Аллах! Аллах!

— Вот тебе и аллах! Я спрашиваю: сколько тысяч ты пожертвовал обществу по борьбе с коммунизмом?

— А как ты думал? — в ярости воскликнул свояк.— Мы вам так и уступим? Говорите, мол, что хотите? Конечно, пожертвовал, и немало.

— Правильно сделал, дорогой свояк. На ваши деньги они купили оружие и, не долго думая, стали стрелять по нашим сыновьям, по моему сыну и по твоему тоже. Сколько парней убили ни за что ни про что? Естественно, молодежь не вытерпела, взбунтовалась. Кто знает, может, и твой сын ушел в горы!

Джемаль Йосун побагровел:

— До разбойников мне нет никакого дела!.. Подумаешь, ушел в горы! Бандиты ушли в горы. При чем здесь я? Такие, как ты, коммунисты, социалисты, анархисты подстрекали молодежь... А мы пытаемся им помешать.

— Дорогой свояк, давай сначала договоримся о тех званиях, которыми ты изволишь нас награждать. По твоим словам, мы и анархисты, и социалисты, и коммунисты разом. Оставим в стороне анархистов, с ними тебе не разобраться. Ответь, пожалуйста, для начала, что такое социализм, что такое коммунизм и какая между ними разница, чтобы все-таки понять, кто мы такие. А потом начнем разговор.

— Я не адвокат, как ты. Обо мне каждый божий день в газетах не пишут. Все, кого я назвал, одного поля ягоды: завидуют богатым и потому хотят тирании!

— Великолепное объяснение. Твои патроны такие же невежды, как ты. Вооружаете идиотов и головорезов, натравливаете их на кого попало, а прежде всего на молодежь. Она несколько лет терпела, а теперь стала защищаться. Пуля, которую вы выпустили, рикошетом бьет по вам самим. Ваши дети, ваши собственные сыновья против вас!

Джемаль Йосун задумался. Понял ли он, что я сказал? Во всяком случае, попытался. Но разумеется, не понял.

— Не надо было пускать Эркала к вам в Стамбул, это ты его сбил с пути!

Эрдал встрепенулся. Гляжу, Эмель вот-вот вскочит со стула. Я поднял руку. Стараясь соблюдать спокойствие, ответил:

— По-твоему, всех студентов, всех бастующих рабочих, всех газетчиков, которых каждый день таскают по судам, весь наш отчаявшийся, поднявшийся на ноги народ тоже сбил с пути я? Неужто меня послушались и военные, сместившие вашего премьер-министра? Соберись немножко с мыслями, Джемаль. Пораскинь мозгами ради блага своей семьи, своих детей. Ты достаточно богат. Но не все решают деньги. У людей есть сердце, есть чувство ответственности. Неужели ты совсем не любишь своих близких? Предположим, Эркал жил бы не у нас, а как все студенты, в общежитии. Ты мог бы снять ему и отдельную квартиру. Но что толку? Беспорядки в конце концов утихнут. Эркал с честью сдаст экзамены и станет инженером-строителем. Только

заруби себе на носу: в перепродаже земельных участков и в твоих делах с подрядами он участвовать не будет. Ты не заставишь его себе служить. Спросишь почему? Скажу просто: ты не сумел завоевать любовь своего сына. Я с горечью говорю об этом. Многое можно купить за деньги, даже людей, есть такие. Но, что поделать, свою жену, своих детей ты купить не сможешь... Что тебе еще сказать? Завтра я постараюсь отыскать следы Эркала. Если с ним случилась беда, попытаюсь его выручить. Все образуется. Но сможем ли мы завоевать сердца наших детей? Не знаю. Подумай хорошенько над моими словами.

Джемаль-бей нашелся не сразу. Я посмотрел на сестру. По ее лицу катились слезы. У Эрдала глаза были тоже на мокром месте. Я не собирался усугублять их разлад. Как старший брат Эмель, я обязан был дать им совет.

— Разве у меня нет отцовских прав? — спросил наконец Джемаль в качестве последнего довода.— Должны же они меня уважать?

— Конечно, каждый отец вправе требовать уважения от своих детей. Но уважения силой не добудешь. Вот тебе пример. Ты сказал: «Я отец, делай, что говорю». И против воли Эрдала послал его учиться в коммерческую академию. Что из этого вышло?

— Как что? Будет моим компаньоном в деле. И уже неплохо справляется. Разбогатеет.

— А хотел ли он разбогатеть? Когда-нибудь мечтал об этом?

— Что за вздор? Его послушать, он бы весь свой век на рояле тренькал.

— Если б ты оставил его в покое, он, возможно, и не стал бы великим музыкантом, но сохранил бы к тебе уважение, любил тебя. Хочешь, чтобы сын не был на тебя в обиде? Сними замок с инструмента.— Я показал на рояль.— И с каких это пор игра на рояле стала треньканьем?

Свояк молчал. Я понимал: он зол на меня, но сказать мне грубость язык не поворачивается. Чтобы сменить тему разговора, я обратился к Эрдалу:

— Хоть время позднее, я все же выпил бы виски с твоим отцом. Принеси-ка стакан.

Эрдал вскочил, подошел к буфету. Эмель принесла из кухни лед. Джемаль, стараясь сдержать злобу, налил мне немного виски, добавил содовой. Я сделал глоток. Эрдал дал мне прикурить. Следовало как-нибудь ублаготворить Джемаля. Хотя бы ради сестры. Столько лет они прожили вместе, вырастили двоих детей. Хорошо бы их помирить, если только удастся.

— Знаешь, дорогой мой свояк,— сказал я,— наша дочь Сельмин выходит замуж. Я уже писал Эмель о помолвке. Вы должны непременно приехать на свадьбу. Зять тебе придется по душе. Деловой человек, и с образованием. Работает вместе со своим отцом, как Эрдал с тобой.

Мой искренний тон его удивил и обрадовал.

— Фирму твоего будущего зятя мы хорошо знаем по торговым делам. Поздравляю! Отличная партия. Непременно приедем.

Эмель удивленно подняла брови, перевела взгляд с Джемаля на меня. Настал момент заговорить о плане, который предложил Эрдал.

— Буду рад. Только у меня к тебе просьба: когда уладится дело с Эркалом, разреши Эмель пробыть недельку-другую у нас в Стамбуле. Фериде очень просит. Сам знаешь, надо готовить приданое. Привести дом в порядок. Дату мы еще не назначили. Если со свадьбой дело почему-либо затянется, Эмель вернется. А нет — сообщим вам, чтоб ехали. У вас здесь и служанки и повара. Побудьте немного с Эрдалом вдвоем...

Такой разговор моему свояку был понятен. К тому же я говорил искренне.

— Конечно, конечно. О чем речь? Бери с собой Эмель, а мы приедем потом... Помолвка — дело родителей жениха. А вот уж на свадьбе шампанское — с тебя.

— Можешь не беспокоиться! Шампанского будет вдоволь! — в тон ему подхватил я.

Эрдал с Эмель явно не ждали, что Джемаль так быстро согласится. В глазах сестры блеснула радость. Чтобы не испортить дела, я благоразумно решил пойти спать.

— Прошу извинить, но я очень устал. Пойду лягу,— сказал я.

— Конечно, конечно,— серьезно подтвердил Джемаль.— Завтра у тебя много дел.

— Первое из них — напасть на след Эркала.

— У меня повсюду своя рука,— продолжал Джемаль.— Сообщили: Эркал взят под стражу службой безопасности. Сам я туда не пошел. Что скажут коллеги? Я в торговом мире человек известный! И этим,— он указал на жену с сыном,— тоже ничего не сказал. Ждал, когда ты приедешь.

— Вот и прекрасно. Значит, дело упростилось,— примирительно заметил я.— Завтра отправлюсь прямо в военную комендатуру, выясню, как обстоят дела, и, может быть, приведу Эркала домой. А нет — то есть если дело подсудное,— придется ему посидеть немного. Не думаю, что за ним числится какое-нибудь преступление...

Эмель и Эрдал испуганно таращили на нас глаза.

Джемаль встал, подошел ко мне. Вытащил из кармана пачку денег. Отсчитал четыре бумажки по пятьсот лир.

— У поганца нет денег, возьми! Если увидишь, дай, вроде бы от себя...

Я как ни в чем не бывало взял деньги, положил в карман.

— Можно я пойду с вами, братец? — не утерпела Эмель.— Смогу я увидеть Эркала? Передать ему немного еды?

— Хорошо, пойдем со мной. Эрдал тоже может. Я поговорю с юридическим советником комендатуры. Может, он даст разрешение.

III

В здание Южного штаба военно-морских сил нас не пустил часовой. Вызвал дежурного лейтенанта. Тот сказал, что по всем делам, связанным с военным положением, нужно обращаться в соседний подъезд. В указанную им дверь мы вошли беспрепятственно. Длинный широкий коридор был превращен в зал ожидания. На стульях, на столах сидело множество штатских, мужчин и женщин, с растерянными, испуганными лицами. Многие стояли. Пока я оглядывался по сторонам, к нам подошел капитан с красной повязкой на рукаве. Потребовал документы. Спросил, что нам угодно. Я не стал вдаваться в объяснения. Протянул капитану свою визитную карточку, сказал, что хочу видеть юридического советника по важному делу. Капитан с улыбкой глянул на карточку.

— Здесь неважных дел нет,— сказал он.— Придется немного подождать.

Ждали мы недолго.

— Пожалуйте! Советник вас примет.

Мы свернули в длинный пустой коридор. Капитан постучал. Открыл дверь и, уступив мне дорогу, закрыл ее за мной. Я очутился в светлом просторном помещении. За столом сидел военный советник моих лет в белоснежной морской форме. За ним, поближе к окну, восседал жандармский полковник. За маленьким столиком рядом с судьей унтер-офицер в морской форме что-то печатал на машинке. У другой двери стояли двое молодых людей, возле них полицейский в штатском. Советник привстал с кресла. Пожал мне руку:

— Прошу вас, Экрем-бей! — Представил меня жандармскому полковнику. Указал на кресло рядом со своим столом.— Подождите, пожалуйста, несколько минут, пока мы тут закончим.

— Ради бога!

Унтер-офицер положил отпечатанный листок перед советником. Тот подписал бумагу, протянул ее полицейскому. Полицейский подбежал, взял бумагу.

— Этих молодых людей,— строго приказал советник,— доставишь в казармы Селимие, в штаб Первой армии в Стамбуле. Но живыми и здоровыми! В течение трех дней привезешь нам документ о доставке!

Советник обернулся ко мне. Это был крупного сложения мужчина с приветливым лицом.

— Ваша адвокатская слава, Экрем Мутаф-бей, широко шагает по стране. Я полагаю, вас вызвали из Стамбула чьи-нибудь отчаявшиеся родители. Все мы теперь волнуемся за своих детей. Слушаю вас.

— Уважаемый господин советник! Как вы верно изволили заметить, меня вызвали из Стамбула в Измир отчаявшиеся родители. Отчаявшаяся мать — моя родная сестра. Я вынужден был приехать, у вас мой племянник...

— Сейчас посмотрим,— улыбнулся советник, приказал унтеру подать список арестованных.

— Как зовут вашего племянника?

— Эркал Йосун, студент последнего курса Стамбульского политехнического института.

Просматривая список, советник снова улыбнулся:

— Значит, чуть поднатужился бы и кончил институт?

— Десять дней назад он готовился к экзаменам у меня в Стамбуле и вдруг пропал... Оказывается, приехал сюда, к родителям.

Советник прижал пальцем одну из фамилий в списке и посмотрел на меня.

— Эти ребята больше думают о будущем своей страны, чем о своем собственном. Да, вы правы, полиция привела его к нам. Уже восемь дней под арестом.— Советник полистал пухлое досье и продолжал: — Его задержали вместе с тремя приятелями в автобусе на шоссе Измир — Айдын. В дорожной сумке обнаружили листовки. Тем не менее никто из четверых не признался, что сумка принадлежит им.— Советник закрыл досье.— Я вспомнил все подробности дела. Сумка была в багажном отделении автобуса. Юноши сказали: «Не наша». Полиция настаивала, но доказать не могла. Никакого результата не дали и дальнейшие допросы. Еще три дня назад я намерен был выпустить их, чтобы они успели к экзаменам. Но тем временем из Стамбула пришел список разыскиваемых военными властями Первой армии. Я вынужден отправить всех четверых, в том числе и вашего племянника, в Стамбул. Дело здесь я закрываю ввиду отсутствия доказательств. А зачем их затребовал Стамбул, не имею понятия.

— Благодарю вас за информацию, господин советник.

— Это наш долг, Экрем-бей. Мы вынуждены сотрудничать с полицией. Не знаю, достаточно ли ясно я изъясняюсь?

— Я вас хорошо понял. Ситуация мне известна. Когда отправят Эркала и его товарищей? В зависимости от этого я буду обращаться к властям в Стамбуле.

— Надеюсь, что мы сможем их отослать в течение трех дней.

— У меня к вам еще одна просьба.

— Пожалуйста. Если от нас зависит.

— Могу я повидать Эркала и его приятелей?

— Конечно.— Он обернулся к унтер-офицеру: — Напишите разрешение!

Унтер-офицер напечатал мою фамилию. Я попросил добавить имена матери и брата арестованного. Советник подписал бумагу, протянул мне. И наставительно сказал:

— Насколько я понимаю, Экрем-бей, они не из тех, что взялись за оружие. Листовочники. Если бы в сумке у них вместо листовок было обнаружено оружие, тогда и мы и вы оказались бы в весьма затруднительном положении. Надеюсь, у вас в Стамбуле тоже не будет трудностей... Больших трудностей.

Я вдруг поверил, что советник говорил со мной искренне. Отказавшись от неуместных благодарностей, я коротко ответил:

— Вы правы, уважаемый коллега!

Советник покраснел, что было особенно заметно на фоне его белоснежной формы. Очевидно, обращение «коллега» пришлось ему по душе. Жандармский полковник в разговоре не участвовал, делая вид, что целиком поглощен бумагами.

Советник встал из-за стола, пожал мне руку.

— Поскольку ваш подзащитный одновременно ваш племянник, то желаю вам успеха. Бог даст, все обойдется. Дерните его за ухо разок-другой, чтобы поскорей кончил ученье...

Увидев меня в коридоре, Эмель вскочила, вместе с Эрдалом подбежала ко мне. Я сказал, что бояться нечего, дело несерьезное, а сейчас с разрешения советника мы поедем на свидание с Эркалом.

По дороге я рассказал, что произошло. Эрдал сидел за рулем, Эмель сзади — слушала меня, позабыв обо всем на свете.

— Что они натворили там, в Стамбуле?

— Полагаю, ничего страшного. Завтра полетим с тобой в Стамбул и, надеюсь, быстро все уладим. Похоже, военные пока не очень обозлены, не намерены ни с кем жестоко расправляться.

И тут же подумал: «Но если дела обернутся круто, они могут и рассвирепеть». Эрдал за рулем не проронил ни слова.

Порядком поколесив по городу, мы въехали на окраину и остановились возле старой казармы. Прошли через большой парк. Трижды показали пропуск. У последней

двери дежурный унтер-офицер взял из рук Эрдала сумку, хорошенько ее перевороши.

Мы поднялись по лестнице, прошли по коридору. Нас ввели в большую комнату. В дверях с нами разминулись мужчина и две пожилые женщины. По коридору два солдата со штыками у пояса уводили молодого человека.

Комната была перегорожена надвое широкой стойкой вроде прилавка. С той стороны — еще одна дверь. На нашей половине в углу небольшой столик, за ним сидел старший лейтенант. Не вставая, не глядя на нас, взял бумагу. Что-то записал в тетрадь. Потом поднял голову, приказал ефрейтору у противоположных дверей:

— Привести Эркала Йосуна!

Мы принялись ждать. Сесть было не на что. Прошло немного времени, и в сопровождении двух солдат при штыках показался белобрысый голубоглазый юноша, заросший щетиной. Он удивленно уставился на нас, мы — на него.

— Помогай тебе бог, сынок,— сказал я.— Мы хотели видеть Эркала.

— Спасибо на добром слове,— улыбнулся молодой человек.— Эркал в нашей камере...

— Как твое имя?

— Эрдоган, господин старший лейтенант,— спокойно ответил юноша.

— Не можешь запомнить имени, болван. Я сказал Эркал, а не Эрдоган! — накинулся лейтенант на ефрейтора.

Эрдогана увели. Я поглядел ему вслед — рубашка и штаны в грязи. На рубахе сзади огромная дыра. Шел, стараясь скрыть хромоту. Эмель разволновалась, что-то хотела мне сказать, но я остановил ее взглядом.

Снова открылась дверь. Эркал, пытаясь сдержать волнение, подошел к перегородке.

Эмель перекинулась через нее, повисла у сына на шее, заплакала. Мы с Эрдалом по очереди его поцеловали. Первой нарушила молчание Эмель:

— У тебя брюки в крови!

В самом деле, правая штанина у него была сверху донизу в засохших потеках крови.

— Так его привезли из полиции,— отозвался из-за наших спин старший лейтенант.— Наш доктор перевязал рану. Уже заживает.

Я обернулся. Эркал сказал:

— На наших братьев солдат и офицеров жалоб нет. Они с нами хорошо обращаются.

— Я его дядя и одновременно его адвокат,— сказал я офицеру,— хотел бы с ним поговорить наедине.

— Извините, но пока не закончено следствие, это не разрешено.

— Я только что говорил с юридическим советником. Следствие по делу Эркала закончено, его собирались выпустить, но затребовали из Стамбула, в штаб Первой армии. Завтра-послезавтра отправят.

— Возможно. Только нам еще об этом не сообщили.— Он потянулся к телефону на столе, очевидно, хотел позвонить советнику, но передумал и махнул рукой: — Можете говорить здесь. Не стесняйтесь, все равно мы знаем больше, чем они могут вам рассказать.

Офицер попался понятливый.

Я обернулся к Эркалу. Он был спокоен, немногословен.

— Да... Нет... Хорошо... Мы ни в чем не виноваты... Увидимся в Стамбуле...

Зато мать его говорила без умолку. Я вкратце сообщил, что узнал от советника, затем, понизив голос, будто в шутку спросил:

— Что вы натворили в Стамбуле?

Парень невозмутимо ответил:

— Ей-богу, дядя, кажется, ничего.— Рассмеялся. Потом посерьезнел:— Это не важно.

Я понял: следы листовок, что нашли в их сумке, вели в Стамбул. Вынул из бумажника деньги, которые дал мне его отец, вложил ему в ладонь. Он глянул, пробормотал:

— Куда столько?..

— Может, у товарищей нет... Пригодится...

Эрдал протянул ему сумку. Мать сказала:

— Там чистое белье, брюки, рубаха,— и добавила испуганно: — Завтра тебя навестит отец.

Я обернулся к офицеру, поблагодарил его. Он заметно нервничал — наш разговор явно затянулся. Вернул мне пропуск.

— Не теряйте. Если с отправкой задержатся, можете приходить каждый день от двенадцати до двух.

— Его отец не мог сегодня прийти. В пропуск он не вписан. Нужно ли снова обращаться к советнику?

Старший лейтенант взял у меня пропуск. Спросил имя отца, вписал его.

— Все в порядке.

IV

Коль скоро с Эркалом все выяснилось, мне следовало как можно скорее улететь домой. Шел двадцатый день военного положения. За это время у меня в Стамбуле скопилось множество запутанных дел, которые я опять-таки перепоручил на время своему другу Ремзи. Сотни людей, среди них мои друзья-журналисты, были под различными предлогами взяты под стражу. Газетчик, с которым я случайно столкнулся в самолете, утверждал, будто все идет прекрасно, а я, как последний простак, ввязался с ним в спор. Может, кой у кого в новом правительстве и были добрые намерения, но, объявив в стране военное положение, они явно вели дело к установлению фашистского режима. И развитие событий, кажется, играло им на руку. Активисты молодежного движения продолжали свои акции и против нового правительства. Некоторых моих друзей-журналистов мне раньше удавалось выручать по нескольку раз. Теперь я ничего уже поделать не мог. Придравшись к ранее опубликованным статьям, новое правительство снова взяло их под стражу, передало в руки военных властей. Среди них оказался и Сельман, ведущий публицист газеты, адвокатом которой я был. С превеликим трудом я напал на его след в казармах Селимие. Но ушла у меня на это целая неделя. Сколько можно держать людей под стражей без суда, теперь было неизвестно. Законные пути для их освобождения были перекрыты.

Мой свояк Джемаль к обеду не явился, сестра сказала, что он днем вообще домой не приходит. Эрдал отправился за билетом на завтра для своей матери, заодно должен был закомпостировать и мой. Улететь сегодня я не мог: надо было взять с собой Эмель.

Я прилег отдохнуть, перебрал в памяти все события, которым не придал утром серьезного значения. Советник, да и вообще военные вели себя сдержанно. По-моему, они пока тоже не принимали происходящего всерьез. Но что было на уме у высших чинов армии, каковы их намерения, этого мы пока не могли еще понять.

Разболелась голова, я достал из сумки таблетку, выпил. Не спеша стал одеваться. Хорошо, что вовремя вспомнил про писателя Хасана-бея. Нельзя было, приехав в Измир, не навестить его.

В последний раз мы виделись в Стамбуле, у него дома я не был года три. Измир я знаю неважно, и где это, вспомнить не мог. Лучше всего взять такси.

Мы втиснулись в длинную очередь ползущих вдоль бульвара машин. В голове у меня вертелись все те же мысли. За последний год левая молодежь разбилась на множество групп. Сколько их, я, признаться, со счета сбился. Друг с другом они не воюют, но у каждого союза, общества, кружка свои вожди, методы и цели. Одни распространяют листовки, другие уходят в деревню, третьи похищают людей, нападают на банки, чтобы, так сказать, взять правительство за горло. Страна — что котел, полиция в ней — что половник. Словом, ведьмин шабаш, да и только.

Новое беспартийное или, лучше сказать, смешанное правительство вряд ли с этим управится. А не управившись, начнет прибегать к силе. Технократы в правительстве, так называемый «мозговой центр», вознамерились восстановить экономическое равновесие. Но события развиваются с такой быстротой, что голова идет кругом.

Когда я подошел к дому Хасана-бея, пятый час был на исходе. Дверь мне открыла жена писателя.

— Он будет очень рад,— проговорила она,— в последние месяцы все жалуется на одиночество, радуется, когда о нем вспоминают.

Мы прошли коридор, гостиную, остановились у кабинета. Она распахнула дверь, и в лицо мне ударил свет. В широком окне напротив сиял голубизной измирский залив. Дом стоял высоко, квартира писателя была на пятом этаже

Книги не умещались на полках. На столе — груда исписанных бумаг. Слева машинка с недоконченной страницей. Хасан-бей сидел в кресле лицом к окну, в руках — очки, на коленях — раскрытая книга, и задумчиво глядел на море. Сперва мне показалось, что он уснул.

— Посмотри, кто к нам пришел! — весело сказала жена. Видно, знала, что муж обрадуется. Он и в самом деле обрадовался:

— Ох, сын мой, Экрем-бей! Добро пожаловать! Не этим ли прекрасным весенним ветром тебя занесло в Измир?

Засуетился, встал мне навстречу, правда с трудом. Я усадил его. Он указал мне кресло напротив.

Жена посмотрела на нас долгим взглядом, сказала ласково:

— Пойду приготовлю чай!

— Конечно, приготовь! — откликнулся ей в тон Хасан-бей.

Он обернулся ко мне. Лицо его чуть порозовело.

— Не стану спрашивать, как ты себя чувствуешь. Знаю: плохо. Здоровье не бережешь. Настроение неважное. В голове сумятица. Кругом творится одна мерзость. Как тут не выйти из себя?! Сапогом наступают на горло. Загляни в газеты.— Он указал на пачку газет на столе.— А что делается помимо того, что пишут? Этого мы не знаем. Так всегда кончают те, кто идет на поводу у иностранных держав, особенно такой, как Америка. Как только хозяева от тебя отступились, полетел кувырком в пропасть. С середины прошлого столетия мы пытаемся провести реформы, стать вровень с веком, опираясь на какую-либо из иностранных держав. С той поры и до сего времени стоит нашим правителям в чем-нибудь не потрафить хозяевам, как их вышвыривают на свалку. Впрочем, к чему углубляться в историю? Только благодаря борьбе за независимость, которую вел Мустафа Кемаль, Турция получила передышку на двадцать пять лет. А после его смерти все правительства слетали, как только их бросали на произвол судьбы иностранные хозяева. Сейчас говорят, что будут выборы. Голову морочат. На самом деле нас ведут к фашизму — вот где правда. Говорить запрещено, писать запрещено, читать запрещено. Недавно пришел ко мне один умный друг. Поглядел на книжные полки и говорит: «Хасан-бей, дорогой! Дела идут все хуже. Куда ты спрячешь столько книг?» Кровь бросилась мне в голову. «Представь, что эти книги,— говорю,— которые ты видишь у меня, существуют в одном экземпляре. Если их уничтожить, в мире их не станет. Можешь ты это себе вообразить?» По правде говоря, я испугался за две свои неопубликованные рукописи, отпечатанные в единственном экземпляре. Были еще у меня записи, дневники. Дружит тут со мной один молодой толковый прокурор. Бог его разберет, меня он любит или мои книги, но дело не в том. Приходит как-то ко мне и говорит: «Маэстро, меня не тронут, в моем доме обыска не устроят!» Забрал мои рукописи, дневники, заметки. Больно мне было, конечно, их отдавать. Оскорбительно! Но ничего иного не оставалось. С иголочки одетая полицейская братия с некоторых пор беспрестанно крутится возле моего дома. Врачи велели мне каждый день гулять не менее часа. А мне противно нос из дому высунуть. Вот какие дела.

Хасан-бей устал. Перевел дух. Его жена принесла чай с печеньем.

— Вам не следует так волноваться! — заметил я.

Отхлебнув глоток чая с сахаром, он глянул на меня из-под бровей:

— Нет, Экрем, ты мне рта не заткнешь! — В голосе его звучал гнев, но в глазах светилась симпатия.— Я еще не кончил. Давно не мог найти человека, которому можно излить душу. Писать — одно, говорить — другое. Я сильно постарел, дорогой, написанное больше меня не утешает, не удовлетворяет. Придется тебе выслушать меня, хочешь ты этого или нет...

Я рассмеялся:

— Затем, собственно, я и пришел, чтобы вас послушать, учитель. Я только не хотел, чтоб вы себя утомляли, волновались.

Он вскинул на меня горящие глаза. Но заговорил на сей раз спокойно:

— Хорошо, хорошо. Я успокоился, гнев мой прошел. Я свое отжил, дорогой мой Экрем-бей, одной ногой стою в могиле. Все, что мне остается, — это уповать на вас. Если я за что-то боролся в своей жизни, то вся моя борьба — в моих книгах. Увидеть бы только хоть какой-нибудь результат. Увы, мне это не суждено. Я могу только спрашивать теперь с вас, с тебя, хотя не знаю, имею ли я на это право. Объясни, растолкуй ты мне, как умудрились вы посадить на мель нашу партию? Не

могу понять, как социалисты могут быть столь недальновидны, столь ограниченны. Начали спор, из-за которого развалилась партия. И хуже, глупее всего, что вся драка-то эта велась за власть в самой партии...

Хасан-бей говорил, полагаясь на мою порядочность, прямо и открыто то, о чем, сколько я себя помню, мы и заикнуться вслух не решались. И точно называл причины, по которым партия оказалась в тупике. Социализм — это революционное действие, учитывающее реальные условия каждой данной страны. По Марксу, истинный социалист тот, кто выработал свою тактику согласно этим условиям. Таков опыт, добытый руководством всех стран, избравших социализм после второй мировой войны. А мы ударились в книжный романтизм чистой воды. Хасан-бей был во многом прав. Мне нечего было ему возразить.

— Мы на последнем конгрессе не присутствовали,— пробормотал я.— Подали в отставку.

Писатель рассмеялся.

— Где бы мы ни были,— мягко сказал он,— никто из нас не может избежать ответственности за то, что легально, в рамках конституции созданная партия в рамках той же конституции была закрыта. Все мы получили по заслугам от наших врагов — фашистов, компрадоров, полицейских агентов...

«Оставим в покое прошлое,— подумалось мне.— Как вынести то, что нам еще предстоит?» По выражению моего лица он, очевидно, понял мои мысли. Поглядел на часы. Сказал с иронией:

— Давай-ка включим радио, послушаем последние известия.

Встал с кресла, подошел к приемнику, стоявшему на полке среди книг. Подходила к концу рекламная программа. В ожидании новостей мы смотрели на огромное солнце, готовившееся вот-вот коснуться синевы измирского залива.

Прозвучал сигнал точного времени. Диктор прочел краткую сводку новостей. По его голосу чувствовалось, что он взволнован. Наконец мы услышали: генеральный консул государства Израиль в Стамбуле был сегодня похищен из своей квартиры четырьмя вооруженными людьми.

Оцепенев, мы молча глядели друг на друга. Губы Хасана-бея скривила вымученная улыбка:

— Ну вот, Экрем-бей. Прекрасный повод для тех, кто возглавляет правительство, чтобы усилить террор. Боюсь, что расплачиваться придется нам. Не дав совершить омовения, пригласят на похороны!

— Мы-то какое к этому имеем отношение?

— Никакого. Но приписать могут нам.

— Я юрист, маэстро,— начал было я, но Хасан-бей перебил:

— Право, справедливость, понятие о виновности меняются в зависимости от режима. Не мне тебя этому учить. Не теряй головы, мой дорогой Экрем-бей, давай спокойно обдумаем положение.

Жена Хасана-бея тем временем приготовила ужин. Мы вместе поели. Обсудили обстановку, рассмотрели возможное развитие событий. Писатель не отпускал меня допоздна.

Я открыл дверь ключом, который дала мне Эмель. В гостиной горел свет. Спать никто не ложился. Мой свояк Джемаль-бей пил виски в том же самом кресле. Сестра с испугом глядела на радиоприемник, казалось, глаза у нее вот-вот вылезут из орбит. Эрдал приник к приемнику ухом.

— Ты пришел вовремя, дядя! — воскликнул он при виде меня.— Садись скорей! Вроде каша заваривается нешуточная!

Я придвинул стул к приемнику. Передавали вечерние известия. Диктор объявил:

— Сейчас с правительственным заявлением выступит заместитель премьер-министра, государственный министр Сади Кочаш.

Министр начал читать заявление. Казалось, он был вне себя. По правде говоря, все мы были потрясены. Вероятно, поэтому текст заявления не удержался у меня в памяти. Позднее я вырезал его из газет и сохранил в качестве исторического документа. Вот что прочел государственный министр Кочаш:

«Сегодня четверо вооруженных бандитов похитили генерального консула государства Израиль в Стамбуле. Личности бандитов, которые совершили это гнусное нападение на человека, находившегося при исполнении служебных обязанностей и

пребывавшего под защитой турецких законов и традиционного турецкого гостеприимства, равно как и принадлежность их к тайной организации, поставившей своей целью свержение республиканского строя и расчленение Турции и ответственной за многочисленные противозаконные действия, установлены. Бандиты, именующие себя Центральным комитетом фронта освобождения турецкого народа, в своей наглости дошли до того, что осмелились ставить условия Турецкому Государству и Правительству, пытаясь вступить с ним в сделку. Они требовали, чтобы до семнадцати часов двадцатого мая сего года были выпущены на свободу все захваченные властями террористы, коих они называют революционерами. Настоящим мы сообщаем им и объявляем общественному мнению страны наше решение.

Если похищенный генеральный консул немедленно после опубликования настоящего заявления не будет освобожден, все лица, так или иначе имеющие отношение к вышеназванной организации, а также те, кто словесно или печатно подстрекал нашу чистую молодежь к противозаконным действиям и чьи имена давно известны органам безопасности, согласно закону о военном положении, даже если они пребывают в районах, не находящихся на военном положении, будут взяты под стражу и переданы ближайшим военным властям. Кроме того, в Великое Национальное собрание немедленно будет передан проект закона, предусматривающего смертную казнь для лиц, уличенных в похищении людей, независимо от их целей, а также лиц, виновных в предоставлении преступникам убежища, знающих, где они скрываются, но не сообщивших об этом властям. В случае покушения на жизнь похищенного генерального консула этот закон, имеющий обратную силу, будет распространен как на непосредственных участников гнусного преступления, так и на всех членов данной организации, на всех обвиняемых в аналогичных преступлениях. Настоящее заявление служит непреложным приказом для всех военных властей в районах, где введено военное положение, а также для всей исполнительной власти и сил безопасности вне этих районов».

Когда государственный министр кончил чтение, мы долго не могли прийти в себя. Первой опомнилась сестра. Все ее мысли были о сыне.

— Помилуй, господи! — воскликнула она.— Что творится?!

Джемаль, заметив ее испуг, развалился в кресле и спокойно сказал:

— Хорошо, что наш сукин сын анархист сейчас в кутузке. И не может иметь никакого отношения к похищению. Вот так-то, уважаемый шурин,— припечатал он торжествующе.— Правительство должно быть решительным. Левые, социалисты, левее центра, коммунисты, анархисты — все едино, мой дорогой! Душить их надо! Молодец, право слово, потрафил мне Кочаш своим заявлением. Как бы там ни было, энергичный, динамичный политик.

Я не удержался от иронии:

— Да примет аллах твои молитвы!

Эрдал мрачно молчал. Я же был юристом и потому прежде всего принялся обдумывать услышанное с правовой точки зрения. Еще не переданный в меджлис, без голосования в парламенте, закон уже входил в силу! Фашизм обретал реальный облик. Наши судьбы зависели от еще не принятого закона, имеющего к тому же обратную силу.

V

Джемаль Йосун, изволив выказать нежданную любезность, проводил жену до аэродрома. Чтобы не опоздать на самолет, мы перекусили и отправились из дому пораньше. Когда мы прибыли в аэропорт, до отлета оставалось сорок пять минут. Эрдал зарегистрировал билеты, принес посадочные талоны.

Основательно переворошив сумки, портфели и чемоданы, служащие аэропорта приняли наш багаж. Джемаль, трезвый и обходительный, всем своим видом давал понять, что хочет меня о чем-то спросить.

— Сумеешь освободить Эркала? — решился он наконец.

Он старался держаться невозмутимо, даже весело.

— Не беспокойся. До сих пор я спас немало людей, ни за что ни про что попавших в беду. Кажется, Эркал ни в чем не виновен. Вчерашнее заявление может затруднить дело, но закон, пока его не отменили, есть закон.

Эмель колебалась между страхом и радостью. Радовалась, что будет ближе к сыну. И эта радость была еще сильней благодаря обходительности мужа.

— Мы непременно прилетим на свадьбу, непременно,— заверил ее Джемаль.— У тебя на подарки денег хватит? Дать еще?

— Хватит, хватит. А нет — возьму у брата в долг, потом отдадим.

Стоял прекрасный майский день. За стеклами аэровокзала ярко светило солнце. Два самолета готовились к вылету.

Я обратился к Эрдалу:

— Если в Стамбуле мне потребуются какие-нибудь бумаги или сведения об Эркале, я тебе позвоню.

— Хорошо, дядя. Я всегда у телефона.

Тут я услышал голос диктора:

— Уважаемого Экрема Мутафа просят подойти к стойке регистрации!

Еще несколько раз на весь зал прозвучало мое имя. Я встал, подошел к стойке. Девушка глядела на меня во все глаза. Пролепетала смущенно, верно, не привыкла врать, бедняжка:

— Дайте, пожалуйста, ваш багажный талон. На нем по ошибке написан не тот номер.

Я протянул ей талон. И огляделся. Ого! Трое полицейских не спускали с меня глаз. Один стоял у выхода, другой — у буфета, третий — у багажной стойки. Все трое были в штатском, но по повадке, по лощеному виду я сразу опознал их. Да и девушка за стойкой невольно поглядывала на них краем глаза. Что-то нацарапав на квитке, она вернула его мне. Не глядя, я сунул его в нагрудный карман пиджака. Когда вернулся к своим, Джемаль спросил:

— Чего им было надо?

— Неверно записали вес моего портфеля. Исправили.

— Это с ними бывает.

Эрдал недоверчиво глянул мне в глаза. Эмель не придала происшедшему никакого значения.

Вскоре пассажиров пригласили в самолет. Мы с Эмель прошли проверку, поднялись на трап. Эрдал с отцом помахали нам из толпы провожавших. За их спинами мелькнули и исчезли давешние полицейские.

Почти все места в салоне были заняты. В одном из кресел в двухместном ряду сидела молодая дама. Я усадил Эмель рядом с ней, а сам сел на пустое место позади через два ряда. У окна расположился господин средних лет. Я никак не мог отделаться от мысли: что надо было от меня полиции? Поместил на полку портфель, взял оттуда газеты, положил себе на колени. Мы пристегнулись — самолет выруливал на взлетную полосу,— пожелали с соседом друг другу доброго пути. При этом он обратился ко мне по имени. Костюм на нем сидел так, будто был снят с чужого плеча. Да и вообще он был похож на военного, редко переодевавшегося в цивильное. Даже галстук завязан неумело. Назвав мое имя, он представился, но ничего не сказал о своей профессии. Сквозь шум разогреваемых моторов сообщил ровным голосом:

— Мы познакомились с вами в Стамбуле в одной из адвокатских контор.

Когда самолет набрал высоту, сосед предложил мне сигарету. Прикуривая, я приметил в его взгляде беспокойство. Выпустив струю дыма, он спросил:

— Вы слышали выпуск известий в двенадцать часов?

— Нет, в это время мы выходили из дому. Что-нибудь важное?

— Очень,— проговорил он, сунув руку в карман. Не вынимая руки из кармана, спросил: — Это ваша супруга?

— Нет, сестра. Летит ко мне в Стамбул погостить. Живет с семьей в Измире.

— Предупредите ее, когда приземлимся. Чтоб не волновалась. А сами, как только сойдете с самолета, старайтесь не попадаться полиции на глаза. Прямиком отправляйтесь в казармы Селимие. Командование Первой армии требует, чтобы вы сдались им как можно скорее. В утреннем сообщении командования упомянуто и ваше имя. Даже мы были поражены: в списке и профессора, и писатели, и адвокаты, и профсоюзники.

Я обмер. Значит, к вчерашнему заявлению прибавилось новое. Следовало особо отметить слова соседа: «Даже мы были поражены». Он вытащил из кармана листок бумаги.

— Утром я зашел по делу в редакцию газеты. Снял копию с сообщения, переданного по телексу. Прочтите, пожалуйста!

Я взял листок и прочел сообщение командования Первой армии:

«1. Нижеперечисленные лица, где бы они ни находились, в Турции или за границей, должны в кратчайший срок сдаться Военному командованию, местным военным, или гражданским властям, или же нашим консульствам. В случае неявки они, а также лица, знающие об их местопребывании и не сообщившие об этом, равно как предоставившие им убежище, подлежат аресту.

2. Против тех, кто не сдастся добровольно или окажет сопротивление во время обыска, облавы или ареста, согласно статье 4-й закона № 140 о военном положении, будет применено оружие.

3. Прошу наш уважаемый народ оказать содействие военным и местным властям в задержании нижеперечисленных лиц, печатно или устно подстрекавших нашу прекрасную молодежь к противозаконным действиям.

Фаик Тюрюн, генерал армии, командующий Первой армией и главный военный администратор».

Дважды прочитав сообщение, я внимательно изучил список подлежавших задержанию лиц. Обнаружил в нем и свое имя. Кого только здесь не было! Оказывается, это мы «печатно или устно подстрекали нашу прекрасную молодежь к противозаконным действиям». Я невольно рассмеялся. Сосед удивленно заглянул мне в лицо. Спросил сердито:

— Над чем вы смеетесь?

А мне действительно было смешно. Я ткнул пальцем в третий пункт сообщения.

— Весьма любопытно, как они докажут, что мы подстрекали молодежь? Какие предъявят улики? Это обвинение ни на чем не основано, бездоказательно.

Он кивнул:

— Вы правы. Но они что-нибудь придумают. У репрессивного режима свои законы. А не хватит законов — изобретут новые.

— Вы тоже правы!

Я понимал, какая страшная пошла игра. И все-таки не мог заставить себя отнестись к ней со всей серьезностью. Я перестал понимать, что со мной происходит.

— Если б вы знали,— сказал я соседу, прятавшему в карман сообщение,— чего только я не делал за эти два года, чтобы утихомирить моего сына и племянников, унять их возмущение тем, что происходит. Сколько незнакомых юношей я защищал в суде!

— Защищали. Очевидно, в этом и состоит ваше преступление. Опорочили вы свое имя! — Он тоже рассмеялся. И присовокупил: — Самая страшная ваша вина в том, что вы спасали от кола и плети журналистов. Я немного связан с газетами.

Мне никак не удавалось угадать, кто же он по профессии. Прямо спросить неудобно. «Считай, что тебе встретились приятели-газетчики по дороге в Измир и обратно»,— сказал я самому себе.

Самолет пошел на снижение. Голубизна неба слилась с лазурью Мраморного моря. Мы летели в сплошной синеве. Я глядел в иллюминатор.

— Как вы думаете,— обратился я к соседу,— могут мне выстрелить в спину, как только я сойду с самолета,— удирает, мол?

— Избави бог! — взволновался он. Потом добавил серьезно: — А ведь могут!

— Насколько я понимаю, мне не удастся последовать вашему совету явиться в казармы Селимие: меня встретят. Теперь я понял, для чего проверяли мой билет.

— Если проверили — значит, знают, что вы в самолете.

— И давно сообщили по радио в Стамбул.

Он кивнул:

— Должно быть, так.

Мне показалось, что сосед всерьез обеспокоен тем, что ожидает меня. Или вообще тем, что происходит? Похоже, и тем и другим. А я все никак не мог поверить в возможность ареста. В этих делах я был человеком компетентным. В законе записано, сколько часов можно держать под стражей невинного человека. Но ведь это в том законе, который, видимо, теперь отменен. К такому обороту дел я был не готов, даже не предупредил домашних, когда прилетаю.

Я склонился к соседу:

— У меня к вам просьба, бей-эфенди.

— Пожалуйста!

— Вы не поможете моей сестре добраться до дома? Высадите ее из автобуса в

Аксарае, а там она сама найдет дорогу. В автобусе в подходящих выражениях растолкуйте ей ситуацию. Скажите, что приду я домой завтра. А сейчас я скажу ей, что мне надо задержаться на аэродроме по делу, вы, дескать, мой товарищ и поможете ей добраться до Аксарая. При выходе я чуть поотстану. Если ей сказать все как есть, она испугается.

— Вы правы. И хорошо придумали. Не беспокойтесь. Можете мне довериться.

— Конечно, я вам доверяю. Только вам лишнее беспокойство.

— Я не сообразил вам сразу сказать, Экрем-бей, совсем стал бестолковым от всего, что случилось. Мое положение в чем-то схоже с вашим. Я полковник. После известного меморандума был по неведомой мне причине уволен в отставку. Вы меня понимаете? Лечу в Стамбул, чтоб завершить кой-какие дела, а оттуда в Анкару.

— Прекрасно вас понимаю, господин полковник.

Мы улыбнулись друг другу. Я встал, подошел к Эмель. Она оглянулась на полковника, обменялась с ним приветствием.

Самолет подрулил к аэровокзалу. Вошли лейтенант и полицейский в штатском. Началась проверка документов. Когда очередь дошла до меня, офицер чуть заметно улыбнулся, полицейский насупился. Но документы вернули, проследовали дальше. Пассажиры двинулись к трапу. Я замедлил шаг, сказал Эмель:

— Увидимся дома!

Пожал полковнику руку. Подождал, пока они спустятся по трапу, отойдут подальше.

Внизу меня окружили трое в штатском. Один — галстук бабочкой, одет как на бал — подал мне руку.

— С прибытием. Добро пожаловать, Экрем-бей! Пройдемте в отделение безопасности при аэровокзале.

Я вспомнил о багаже.

— Отдайте талон, коллеги принесут,— сказал он.

В отделении он с изысканной вежливостью представил меня начальнику. Я протянул тому руку. Бедняга растерялся — не знал, пожать ее или нет. Указал мне на стул:

— Садитесь, пожалуйста.

Я сел. И просидел так, может быть, час, а может, два, не знаю. Смотрел в окно на толпу. Полицейский при бабочке куда-то исчез. В голове у меня вертелось прочитанное в самолете сообщение. Больше всего в списке подлежащих задержанию лиц меня поразило имя Хасана-бея. Что им было надо от старого человека? Арест Хасана-бея возмутил меня больше, чем мой собственный.

Из задумчивости меня вывело прикосновение чьей-то руки.

— Пошли! — бесцеремонно скомандовали мне.

Мой чемодан стоял возле двери. Усадили в машину рядом с шофером. На заднем сиденье, точно за моей спиной, поместился полицейский в штатском. Пока он усаживался, машину окружили газетчики.

— Хотите что-нибудь заявить, Экрем-бей? Относительно сложившейся ситуации? О вашем аресте?

Я улыбнулся:

— Что вам сказать? Аллах велик.

Газетчики рассмеялись. Полицейский скомандовал:

— Вперед!

Шофер дал газ. Отныне я был арестантом. И вежливости полицейских пришел конец. Оба молчали. Да и мне говорить не хотелось.

Мы поднялись на пятый или четвертый этаж. Восхождение по лестнице с портфелем и чемоданом в руках меня порядком утомило. Из отгороженного досками закутка на лестничной площадке меня ввели в коридор, затем в первую дверь направо.

Возле стола стоял высокий комиссар с тонкой ниточкой усов над губой. Сопровождавший меня полицейский кратко доложил мое имя, профессию, подал подписать какую-то бумагу и вышел. Не произнося ни слова, комиссар указал на стул около низенького, выходившего в коридор окошка, что, по видимости, должно было означать: «Садись!» На столе у комиссара что-то беспрерывно бубнил аппарат, похожий на радиоприемник. Я не сразу понял, что это докладывает полиция из участков и патрульных машин. Комиссар не прислушивался к докладам. Мрачным взглядом смотрел на стоящих справа от меня трех человек. Один, постарше, был похож на мастерового,

двое совсем юноши. Молча подписал бумагу, которую подал ему молодой полицейский в рубахе навыпуск с пистолетом у пояса. Приказал:

— Проваливайте!

Их увели. Комиссар повернулся ко мне, хотел что-то сказать, но передумал. Походил перед столом. Скомандовал:

— Подойти сюда!

Я встал, подошел. Он обыскал меня с ног до головы. Порылся в карманах. Вытащил бумажник, осмотрел содержимое, делая вид, что не замечает денег. Снова скомандовал:

— Принеси чемодан и портфель!

Велел поставить их на стол. Перебрал все тщательно — заглянул даже в кармашек пижамы.

— Закрой!

В дверях показался здоровый детина: галстук, костюм на загляденье. Очевидно, высокий чин. Кивнул в мою сторону:

— Только прибыл?

— Только что. Оформим и отошлем в Селимие.

Тот, ничего не ответив, повернулся и вышел. Комиссар нажал на звонок. Появился давешний полицейский. Комиссар что-то написал на бумажке, передал ему:

— Отведи его вниз. Обработайте как положено.

Я взял портфель и чемодан. На столе лежали мое удостоверение, пачка сигарет и перочинный ножик.

— Могу взять?

— Бери. Удостоверение останется.

Я взял сигареты, ножик — бумажник он вернул мне сам — и двинулся вслед за полицейским. Мы спустились этажом ниже. Вошли в обширное помещение. На полках у противоположной стены стояли тысячи досье. Чин за перегородкой взял у полицейского бумажку. Подошел к полкам. Порылся в папках. «Ищет мое дело среди рецидивистов». Не нашел, снял пиджак, завернул рукава. Направился в угол. Поманил меня рукой: иди, мол, сюда! Он постелил на широкую железную плиту, похожую на чертежную доску, лист белой бумаги. Взял меня за запястье, провел моими пальцами по подушечке для печатей и все десять по очереди прижал к бумаге. Указал на кран: помой, дескать, руки.

Краска отмывалась плохо. Вытерев пальцы, я увидел, что платок у меня весь черный. Другой чин отвел меня в освещенный лампами угол, где стоял фотоаппарат вроде тех, коими пользуются уличные фотографы. Мне повесили на шею деревянную бирку с большими черными цифрами. Сняли в профиль и в фас. Я выполнял все их команды как робот, мысли мои замерли. Не настолько, однако, чтобы я не понял: со мной обходятся, как положено обращаться с ворами и убийцами. Не знаю, какого цвета было у меня лицо. Пожилой чиновник, снимавший отпечатки пальцев, видно, что-то почуял. Отпуская меня прочь вместе с сопровождавшим полицейским, ухмыльнулся:

— Не стесняйся, Экрем-бей! Эта процедура предусмотрена и для политических.

Пытаясь не выдать ярости и обиды, я усмехнулся ему в ответ:

— Значит, теперь я стал политическим?

— Помилуй, эфенди! Неужто только сейчас дошло?

— Что я человек политический, я знаю, дорогой. Но полагаю, что не совершил никакого политического преступления. Я адвокат, как вы, наверно, знаете.

— Как не знать. Однако насчет преступления знать не можем. Это решают там, наверху.

Мы снова поднялись по лестнице, зашагали по бесконечным коридорам. По обе стороны его шли двери, коим не было числа.

За одним из поворотов дверь распахнулась. Ба! Гляжу, навстречу выходит наш Зафер-бей. За ним, почтительно поотстав, следуют еще двое.

Я приостановился. Он заметил меня, но прошел мимо, не глянув. Я было рассвирепел, но тут же взял себя в руки. Какое у меня на это право? Когда он проходил, я увидел, верней, почувствовал, как что-то сверкнуло в его глазах. «Бог с тобой, Экрем,— сказал я себе,— как мог ты ожидать иного? Ведь Зафер-бей исполнил свой долг».

Полицейский ввел меня в огромную, уставленную столами комнату. За каждым столом сидел чин в штатском. В углу громоздились кучи книг, пакетов, журналов, очевидно изъятых у арестованных. Охранник сел за машинку, написал сопроводительную бумагу о доставке меня в казармы Селимие. Подписал. Вернул мне удостоверение.

Нагруженный вещами, я в сопровождении охранников спустился по лестнице. Внизу нас снова окружили газетчики. Но никто больше ко мне не подходил, никто ни о чем не спрашивал. Беспрерывно щелкали фотоаппараты. Из головы у меня не выходил Зафер. Какие-то сбивчивые мысли в беспорядке сменяли друг друга.

Не помню, как мы сели в полицейский микроавтобус, как переехали на пароме через Босфор, как прибыли в казармы, сколько там ждали. Арестованных набралось много. Держа в руках сопроводительные бумаги, полицейские по одному, по двое вводили нас в кабинет. Наконец я очутился перед столом полковника-штабиста. Глянув в бумаги, он поднял голову. Приказал торчавшему у дверей полицейскому:

— Выйди вон и жди там!

Полицейский улетучился. Полковник указал мне на кресло перед столом.

— Садитесь, пожалуйста, Экрем-бей. Вы, наверно, порядком устали.— Когда я сел, он продолжал без улыбки: — Выходит, и адвокатов можно посадить на скамью подсудимых!

Я посмотрел ему в глаза. Несмотря на серьезный тон, в них играли веселые огоньки.

— Подсудимые знают свою вину, адвокаты знают, за что судят их подзащитных. Но не странно ли, господин полковник, что адвокат не знает своей вины?

— Прокуроры, без сомнения, напишут обвинительное заключение. Но оставим это. Мы вас отправляем в казармы Давут-паша. Как всех, кто указан в списке номер двадцать. А пока готовят бумаги, не желаете ли чая?

— Благодарю, не отказался бы.

Полковник подозвал писаря, сидевшего в дальнем углу, передал ему бумаги, приказал написать что надо. Когда затарахтела машинка, нажал на звонок. Вошел солдат. Полковник приказал принести два стакана чая.

Не знал я, что от Ускюдара, где расположены казармы Селимие, так далеко до казарм Давут-паша. Пока мы под надзором полиции туда добрались, было уже восемь вечера. Унтер-офицер за деревянной перегородкой взял у полицейского бумаги, полистал мое удостоверение. Подписал сопроводиловку, вернул ее полицейскому.

— С прибытием, Экрем-бей,— сказал он, улыбнувшись.— Ваши товарищи с нетерпением ждут вас... Удостоверение останется у нас. С вашего разрешения, я обязан досмотреть ваши вещи.

Я открыл портфель. Унтер заглянул в него. Потянулся к бритвенному прибору:

— Это тоже остается у нас — таков порядок.

Записал меня в книгу, что лежала перед ним на столе. Махнул рукой солдату, дежурившему у дверей. Тот открыл дверь, пропустил меня внутрь.

Боже милостивый! Здесь было человек двадцать пять друзей и знакомых: профессора, писатели, журналисты; руководители профсоюзов. Раздался хохот. Казалось, мы собрались на вечеринку или на свадьбу. Объятия, приветствия, рукопожатия, шутки. Когда улеглась радость (!) встречи, меня взяли в круг, принялись расспрашивать.

За деланным весельем таился, однако, гнев. Издевки, шутки были призваны его скрыть. Сколь ни разнились наши мысли и убеждения, общая участь нас объединила. Как бы ни спорили, ни ругались мы на воле, оказалось, что все мы любили друг друга. Все-таки это совсем не одно и то же — собраться вместе под крышей одной партии или под крышей одной тюрьмы. Никто не пытался обсуждать политическое положение, спорить о нем.

В разгар всеобщего оживления явился унтер.

— Господин адвокат, на вечернюю раздачу вы опоздали.— Вижу, за спиной у него стоит солдат с подносом. На подносе два вареных яйца и четвертушка хлеба.— Больше ничего не удалось раздобыть в нашей столовой.

За весь день я съел только легкий завтрак перед отлетом в Стамбул. Но происходившее заставило позабыть о голоде.

— Помещение рассчитано на сорок человек, а вас здесь меньше тридцати. Поэтому ложитесь где хотите,— сказал унтер-офицер и удалился.

Три двери солдатской спальни выходили в длинный широкий коридор. Две из них были заколочены. По коридору вышагивали два солдата со штыками. В конце помещалась умывальня с туалетом человек на сто пятьдесят.

Мы проговорили с товарищами часов до десяти.

— Ты пока избавлен от дежурства,— сказал мне староста, профессор из Анкары.— До твоего прибытия мы успели составить список, и командование его утвердило.

— Нас что, в армию призвали?

Кровати стояли в два этажа, одна над другой. Я выбрал место в верхнем ряду, в углу. Отсюда через открытое окно были хорошо видны звезды в небе. Я растянулся на койке, укрывшись шерстяным одеялом. На память пришли денечки двадцатипятилетней давности, когда я был курсантом в школе офицеров запаса. Какое-то время я тешился воспоминаниями. Затем перед моим мысленным взором внезапно возник Зафер. Мне сделалось не по себе. Я обвел взглядом камеру. Многие уже спали. Кое-кто беседовал вполголоса, кое-кто пытался читать, хотя лампочка почти не давала света. Староста — профессор юриспруденции — лежал на втором этаже в среднем ряду с раскрытой книгой в руках. Приподнявшись, окликнул дежурного. Имя его мне было знакомо по переведенным им прекрасным книгам. Он сидел у дверей.

— Все в порядке, профессор,— откликнулся он.— Можете не беспокоиться.

В коридоре слышались шаги часовых.

— Ты не спишь, Экрем? — спросил профессор.

— Не сплю.

— Хоть я и преподаватель, но в адвокатских делах посильней тебя.

— Не сомневаюсь, учитель.

— Плохи дела у нашего дежурного. Мы-то рано или поздно отсюда выберемся, а ему сухим из воды не выйти.

Задремавшие было товарищи открыли глаза, кое-кто сел на постели. Прислушались к нашему разговору.

— Да, он перевел четыре запрещенные ныне книги. Но хорошая защита может добиться оправдания на суде.

— А если не выйдет, сколько лет тюрьмы получит наш лев? Сосчитать можешь?

— Статья, по которой его обвиняют, безжалостна. Если судьбе вздумается, может припаять за каждую книгу по семь с половиной лет. Считайте сами.

По камере прошел шумок.

— О боже! Не может этого быть!

— Погодите охать,— осадил их профессор.— Мы обсуждаем дело с Экремом. Вопрос вот в чем: может ли получивший за перевод книги семь с половиной лет получить в придачу еще по семь с половиной за каждую другую? Иными словами, можно ли за то же преступление назначить еще одно или даже несколько наказаний?

— К чему этот академический спор?

— В самом деле, давайте прекратим, учитель,— взмолился дежурный по камере.— И без того голова идет кругом.

— Ладно,— согласился профессор.— Цель у меня была одна: поднять вопрос о книгах. Но утро вечера мудренее. Давайте завтра составим совместное прошение на имя премьер-министра! Он ведь тоже у нас профессор, хотя не написал ни одной книги, даже брошюры!

Все дружно одобрили эту идею. Начался спор, что и как писать. В дверях показался унтер-офицер. Очевидно, мы слишком расшумелись.

— Вот что, друзья,— вежливо заметил он,— завтра утренний суп — в семь утра. Проспите — снова останетесь голодными. Скажите вашим, пусть спят.

— Ложитесь, товарищи! Всем спать! — строго приказал профессор.

Мы улеглись. Не знаю, как остальные, а я глаз не мог сомкнуть. Разговор с профессором перечеркнул в моей памяти Зафера. Мысли обрели иное направление. «Все мы виноваты!» — повторял Хасан-бей во время нашей с ним беседы в Измире. Разумеется, виноваты мы были вовсе не в том, в чем нас пытались сейчас обвинить. Нынешним правителям, чтобы остаться у власти, нужна была большая ложь. Вот они и изобрели ее. И если им удастся вести такую политику дальше, то наши дела плохи. Да что мы? Всей стране придется туго. Кто подкинул им столь удобный повод? Чьих это рук дело? Я заворочался в постели. Как бы там ни было, нам не избежать

беспощадной критики. Грядущие годы вынесут свой приговор. Пытаться определить сейчас, ночью, мою собственную вину, вину моих товарищей было бессмысленно.

В висках у меня стучало, голова разламывалась. «Пойду сполосну лицо, намочу лоб,— подумал я.— Может, полегчает». Лежавший через две кровати от меня стамбульский профессор вдруг прошептал:

— Брат мой, Экрем-бей! Как вы думаете, если мы сейчас выйдем по нужде, часовые в коридоре нас не остановят?

— Думаю, нет. Я тоже хочу пойти сполоснуть лицо, что-то мне скверно. Хотите, пойдем вместе.

— Ох, как хорошо!.. Пойдемте.

Мы слезли с кроватей. Как были в пижамах, так и вышли в коридор. Часовые не обратили на нас никакого внимания. Профессор глядел на них с испугом. Я знал его книги по истории нашей страны, посвященные социальной подоплеке событий недавних десятилетий. Он считался крупным авторитетом в этой области. Никому и в голову не могло прийти, что его возьмут под стражу. В казармы Давут-паша его привели за несколько часов до меня. Он ни с кем не разговаривал, ошеломленно озирался по сторонам. Происшедшее никак не укладывалось у него в голове. До туалета я довел его живым и невредимым.

VI

На следующий день нашего полку прибыло: привезли анкарских профессоров, чьи имена значились в списке номер девятнадцать, и еще одного профессора из Стамбула. Я и раньше знал его как человека остроумного, веселого. А теперь, слушая его рассказ, мы забавлялись несколько часов подряд. За ним по одному, по двое стали прибывать профсоюзные активисты. С большинством из них я был знаком по партии, связан дружескими отношениями. Затем привезли одного писателя, а поздно вечером пожаловал романист Хасан-бей. Весь день прошел в каком-то веселом возбуждении. В коридоре, в дортуарах кишмя кишело. Не знаю, в чем тут дело, но все радовались. Каждый вновь прибывший, казалось, служил источником утешения для остальных.

— Ну, друзья, теперь пусть стыдятся те, кто остался на воле,— сказал преподаватель из Стамбула.

И в самом деле, были взяты под стражу все видные политические деятели, ученые, люди искусства в Анкаре, в Стамбуле, в Измире. Похоже, решили не оставить на воле ни одного человека, кто мог серьезно думать, писать и говорить. Некоторых известных журналистов упрятали в другую стамбульскую казарму. Но и этого показалось мало: полиция стала врываться с обыском в дома рядовых граждан, забирать книги. По одним слухам, книги отправляли на переработку в качестве макулатуры, по другим — сжигали. Каждый вновь прибывший сообщал новости.

Каких только слухов не ходит в такие времена! И все же не оставалось сомнений, что правительству не удается совладать с молодежью, перешедшей к решительным действиям. Мы еще не принимали происходящего всерьез. Турция стояла на пороге фашизма, но никто не желал в это верить. Глядя друг другу в глаза, мы говорили: «Нет, дорогой, этого не может быть!»

На следующий день мы прошли медицинский контроль. Возле умывальника была небольшая комната, очевидно предназначавшаяся для дежурного офицера. Нас по очереди стали вызывать туда на осмотр к военному врачу в чине старшего лейтенанта. Ассистировал ему фельдшер, унтер-офицер. Когда подошла очередь Хасана-бея, я отправился вместе с ним, чтобы поддержать, помочь снять пиджак. Врач без всяких предисловий спрашивал, не страдаем ли мы хроническими болезнями, затем выслушивал сердце, измерял давление. С Хасаном-беем он обращался чрезвычайно почтительно.

— Бей-эфенди, ваше давление вызывает у меня опасения.

— От гнева, должно быть, поднялось, сын мой,— улыбнулся писатель.— Завтра к вечеру упадет. Стариковских болезней у меня хватает, но сердце здоровое, давление нормализуется.

Доктор приказал унтер-офицеру:

— Запиши: завтра еще раз проверить давление у бея-эфенди.

Молодому врачу были известны книги Хасана-бея. Потому он и занимался им дольше всех.

После осмотра мы снова собрались у столов в коридоре. Врач сказал, что больные диабетом и язвой желудка не обязаны кормиться из общего котла, а могут получить питание в офицерской столовой за свой счет. Он-де об этом доложит командованию, а если кому-нибудь понадобится медицинская помощь, пусть старший по камере вызовет его через дежурного унтер-офицера. С этим и ушел. Хасан-бей долго глядел ему вслед. Когда врач исчез из виду, обратился к нам:

— На военных, друзья, нам жаловаться грех. Полагаю, что, подобно нам, они еще не осознали смысла происходящего. А вот что на уме у близких к политикам высших армейских чинов, нам пока знать не дано. Что касается полиции...

Тут Хасан-бей осекся, лицо его побледнело. Скрипя стульями, мы придвинулись к нему поближе. Я догадался: в полиции Хасан-бей прошел ту же процедуру, что и я. Мне было интересно, что он скажет про полицию.

— Нет, друзья,— продолжал он,— я на полицию не сержусь, ни в чем их не обвиняю. Меня посадили в камеру вместе с тремя юношами, а камера — метр шириной. Рядом таких камер было много, не знаю, кто в них сидел. Каждые пять минут из коридора выкликали наши имена, а мы должны были отвечать: «Здесь!» Поскольку в камере было полутемно, я толком не мог разглядеть парней, но заметил, что все трое были в крови, корчились от боли, не могли ни сесть, ни встать. Все они были студентами Политехнического. Одного взяли вместо товарища, с которым он жил,— пока, мол, тот не найдется, посидишь за него. У меня вся душа за них изболелась. Решил — не буду отзываться. Ребята отговорили: «Ради бога, не надо! Всем нам плохо будет!» Тут дверь приоткрылась, сунулась растрепанная белобрысая голова. «Неужто и этого сюда бросят?» Не успел я так подумать, как белобрысый что есть силы ударил кулаком в лицо младшего из студентов. «Узнаешь меня?» — спрашивает. Тот спокойно ему отвечает: «Как не узнать? Через ряд от меня сидел в аудитории». Знаете, что ему белобрысый ответил? «Запомни: я полицейский и патриот! Вечером мы еще с тобой увидимся!» И захлопнул дверь. «Что это значит, ребята?» — спросил я, пораженный. «Значит, вечером нас снова будут бить». Многое я знал, о многом догадывался, но что дело дошло до пыток... Небо на меня обрушилось. Пока пришел в себя, пропустил свой черед крикнуть: «Здесь!» Снова открылась дверь. Полицейский с темными усиками ткнул мне в лицо газету: «Гляди, старик, здесь твой портрет!» «Хасан,— сказал я себе,— не теряй хладнокровия». Спокойно, с насмешкой ответил: «Что ж, мой портрет иногда помещают в газетах. Я писатель известный». Он расхохотался, обернулся к своим коллегам. Поднял руку с газетой, проорал: «Поглядите на этого вонючего писаку!» Кровь бросилась мне в голову. Но я сдержался. Строго сказал: «Послушай-ка, отнеси скорей эту газету своему начальнику. Вам не поздоровится, если немедленно не переведете меня в казармы Селимие». С грохотом захлопнулась перед моим лицом дверь. Не прошло и десяти минут, как явился господин с бабочкой. «Как имя вашего отца? Вашей матери?» Вежливенько так спрашивает, вроде бы успокаивает. «Ошибка вышла». Вывел меня из камеры. Привел в большую комнату. Оформили, как у них положено, принялись писать бумагу в Селимие. Тот, что с бабочкой, куда-то исчез, а его подручные двух слов связать не умеют, спрашивать спрашивают, а понять ничего не могут. Тот, что за машинкой сидел, задумался. Потом опять спрашивает: «Чем занимаешься?» — «Писатель».— «В какой газете пишешь?» — «Пишу в какую вздумается. Если вообще захочу писать в газету».— «Без шуточек!» — «Какие уж тут шуточки! Я пишу романы».

Хасан-бей был прекрасный рассказчик, слушали мы его с волнением, будто все это происходило с нами самими. Преподаватель из Стамбула прикуривал одну сигарету от другой, каждый раз предлагал и Хасану-бею, хотя тот сразу сказал, что курит мало.

— А дальше что было, эфенди? — спросил заядлый курильщик.

Хасан-бей перевел дух и продолжал:

— Неужто у них там нет лифта? Нарочно гоняют вверх-вниз по лестницам. Не помню, сколько раз мы ходили туда-сюда. Опять спускаемся вниз. С каждого боку по полицейскому, никому из них даже в голову не пришло: старый, мол, человек тащит чемодан, дай, дескать, помогу. Внизу нас окружили газетчики. Меня уже в машину сунули, а они знай себе щелкают камерами. Только тронулись, шофер не утерпел: «Знаменитый же ты человек, столько тебя снимали!» — «Действительно, я знаменит. Сняться со мною, увидеть себя рядом со мной в газете — большая честь. Не пойму только, чего вы, когда снимали, за мою спину прятались?» Видать, поли-

цейских издевка задела за живое, глядят на меня зверем. А шофер в простоте душевной возьми да скажи: «Я, папаша, свои мозги еще с хлебом не съел. Завтра мое фото выйдет в газете с твоим рядом, а послезавтра узнает меня на улице шпана, отделает по первое число. Нет уж, дудки!» Развеселил меня его ответ, хотя, право, не время было веселиться. Вот так-то, уважаемый министр Кочаш! Ты нас обвиняешь в том, что мы прямо или косвенно оказываем влияние на молодежь. Да, я сорок лет пишу книги, и, если бы они хоть чуточку не повлияли на моих читателей, если б вот вы, профессор, своими лекциями никак не повлияли на студентов, грош цена была бы и мне и вам. Не решетом ведь мы воду черпали столько времени! Хорошо обвинение, а? И ведь словечко-то нашел какое — «подстрекали»! Если б только он сумел доказать это, то мог бы считаться великим государственным деятелем! Впрочем, бог с ним, я только хотел сказать, что на полицейскую братию я не в обиде. А военные сейчас, как мы уже говорили, сбращаются с нами хорошо. Если бы их старший командир генерал армии Фаик Тюрюн в качестве главного военного администратора сел бы еще в кресло начальника управления безопасности, ни с кем бы из нас ничего подобного не случилось. Хоть мы и не располагаем доказательствами их прямой вины, но, клянусь, отпечатки пальцев, которые с нас сняли, две черные мои пятерни и на страшном суде не смоют со своих физиономий ни уважаемый Саид Кочаш, ни сам премьер-министр!

Наступило продолжительное молчание. Я глянул через широкое окно в казарменный двор. На той стороне виднелась крыша высокого блока. Посредине плаца — полоса препятствий, окаймленная акациями. Ярко светило весеннее солнце. Под нашими окнами вышагивал часовой со штыком у пояса.

— Ну и что теперь делать? — спросил кто-то.— Сколько нам здесь сидеть и ждать? Неужто не будет ни суда, ни следствия?

— Долго еще придется нам ждать,— откликнулся другой.

Анкарский профессор вспыхнул:

— Вчера мы направили совместную жалобу премьеру. Правда, вновь прибывшие ее не успели подписать, но там и без того достаточно подписей. Что-то они должны нам ответить?

Преподаватель из Стамбула запалил новую сигарету.

— Долгонько придется нам ждать ответа.

Снова завязался спор, разгорелись страсти.

— Послушайте, что я вам расскажу,— вмешался Хасан-бей, чтобы прекратить споры. Обернулся к стамбульскому преподавателю:— А ну-ка, дай сигарету.— Закурил. И приступил к рассказу:— Жил-был некогда в Измире богатей по имени Кятипоглу. Почитай, весь город был его владением. Его огромный особняк стоял на том месте, где сейчас муниципалитет. Прослышал падишах в Стамбуле о таком богатстве, решил прибрать его к рукам. Сказали: султан требует тебя в Стамбул. Посадили его на судно — и прямехонько в Стамбул. Когда судно поравнялось с островом Митилена, Кятипоглу отрубили голову. А наш благословенный измирский люд сложил жалобную песню. Начиналась она так: «Славненько я выехал в Измире из порта, но у Митилены грянула беда!» Так и со мной вышло. Славненько я выехал в Измире из порта, но в Стамбуле, в аэропорту, грянула беда. Сами посудите, друзья мои. Сперва никак не могли найти, на чем меня отправить в управление безопасности. Куда-то все машины у них запропастились. «Подождешь»,— говорят. Мне надоело ждать. Предлагаю чиновнику: «Друг мой, возьмите такси, я оплачу. И везите меня куда следует». Согласились, усадили в такси рядом с шофером. А сзади, прямо за моей спиной, сел молодой парень. Поехали. Шофер спрашивает: «По набережной поедем, папаша, или как?» Я давненько не был в Стамбуле, захотелось посмотреть, как отделали новую набережную. «Ладно, сынок,— говорю,— поедем по берегу. Заодно и прогуляемся».

Выехали мы на набережную, я оглянулся и что же вижу? Полицейский, что позади меня устроился, держит руку за полой. А там — пистолет, дуло наставлено мне в спину. Оружия не видно, но карман оттопырен. Вот тут-то над моей головой и прошелестела своим крылом муза вдохновения. За всю мою писательскую жизнь мне не приходила мысль взяться за полицейский роман. А тут почувствовал себя снова двадцатилетним.

Мы переглянулись. Мой сосед, молчавший до сих пор, сказал:

— Мы с вами далеко не юноши и тем не менее почему-то находимся здесь.

— Разве нам не объявили почему? В заявлении правительства сказано: «За прямое

или косвенное подстрекательство» и прочее и прочее. А может, взяли заложниками? Помните, что мне сказал шофер: увидят его рядом со мной на фотографии, а потом молодежь поймает его в темном переулке и вздует по первое число! Вдруг узнав, что мы в тюрьме, молодежные активисты возьмут да и откажутся от своих акций, чтоб нас не зарезали, не причинили нам вреда?

— Извините, бей-эфенди, но вы сами не верите тому, что говорите.

— Конечно. Даже те, кто мог бы так считать, сами не верят в это. И все же... Мы столь важные птицы. В общем, не заставляйте меня продолжать. Считайте, что наше избранное общество очутилось здесь, дабы всем показать величие государства.

— Точно,— отозвался профессор из Анкары.— Вы нашли самую верную формулировку.

— Формулировка эта из старого анекдота. Во времена оны правил в одной из провинций Анатолии некий губернатор. Из-за какого-то пустяка не поладил с местными жителями. Всю ночь гнев не давал ему спать. Утром сел на софу, чтобы выпить кофе. Пьет и глядит на улицу. Видит: идет какой-то бедняк. Рявкнул, что лев, своим людям: «Схватить мерзавца и повесить!» Один из высших чинов, набравшись смелости, спрашивает: «В чем провинился сей бедолага, бей-эфенди?» Тут его превосходительство и изрек: «Да будет явлено всем величие государства!»

— Сейчас не времена оны. Республике идет пятидесятый год,— вмешался я.— Даже если нас повесят или зарежут, со всей страной им не совладать. Не хватит у них сил ввести правление, которого они жаждут.

Большинство поддержало меня.

— Ах, если б знать это наверняка! — ответил Хасан-бей, сверкнув глазами. И вдруг посерьезнел:— Послушайте меня, друзья! Мы тут и в шутку и всерьез спорим, беседуем, обсуждаем. Полиция ведет себя так-то, армия так-то. И, сдается мне, не сознаем весь ужас положения. Так было и 27 мая. Интеллигенты, прогрессисты, левые в один голос кричали: «Слава богу! Наконец мы спасены!» Сколько я видел тогда наших товарищей социалистов, готовых прыгать от радости до небес. Что поделать, в поисках выхода мы почему-то всегда забредаем в тупик. Каждый раз наши бюрократы кричат: «Вставайте, патриоты, люди доброй воли!» Мы встаем, а они тут же садятся на наше место. И каждый раз мы остаемся в дураках. Никак не удается нам найти путь к народу, объединиться с рабочими. Вот среди нас лидеры рабочих профсоюзов. Пусть они скажут нам: почему? К тому же мы едим друг друга поедом, точно людоеды. «Что там тюрьма? Рознь пострашнее!»— так, что ли, в песне поется, друзья мои?

Воцарилось молчание.

Начало конца

Солнце, вынырнув из-за серых туч, глянуло на вершины гор, на холмы, поросшие соснами, сверкнуло на влажной хвое. Потом облака опустились ниже. Все покрылось туманом, ветви, стволы деревьев поплыли в волглом мареве. Безмолвие наполнилось гулом возникшего ветра. Все крепчая, он принялся разгонять покрывавший леса туман.

Изжелта-бледный юноша поплотней закутался в плащ, забился в расщелину, прикрытую мокрыми лапами сосен, и продолжал внимательно следить за лощиной. На шее — бинокль, на коленях — автомат «томсон». По лощине сбегали вниз к пространной долине разновысокие причудливые скалы, поочередно выныривавшие из мороси, когда солнцу удавалось пробиться сквозь тучи. От ручья в долине шла вверх меж скал и отвесов едва приметная козья тропа, вилась среди вековых сосновых стволов, пропадала в чащобе.

Парень поднес к глазам бинокль, еще раз прошелся глазами по тропе от ручья до верхушек деревьев. Схватил автомат за приклад, поднял над головой дулом вверх. Поглядел направо, налево. Увидел еще два торчавших из зелени дула. Товарищи, каждый со своего поста, давали знать: все в порядке. Он закурил, пряча спичку в ладонях. Выдохнул дым в мокрую траву. Снял фуражку, отряхнул ее от влаги. Когда сигарета догорела, загасил ее о мокрый камень. И тут увидел внизу на правом берегу ручья какую-то тень. Схватился за бинокль.

Там, где тропа выходила из-под сени деревьев, медленно взбирался вверх, гоня перед собой осла, пожилой человек. Можно было разглядеть его окладистую бороду, длинные обвислые усы.

Обрадовавшись, парень поднял «томсон», дважды покачал им из стороны в сторону. Получил такой же ответ справа и слева. Вылез из расщелины, спрыгнул со скалы и пошел в глубь леса, осторожно ступая по скользкой от сырости прошлогодней хвое. У отверстия в скале, похожего на вход в пещеру, сидел чернявый парень и слушал радио, стоявшее у него между ног. Рядом опустился на корточки еще один, скуластый. Придерживая автомат, склонился к приемнику. Третий сидел у входа лицом к пещере, но, чувствовалось, тоже прислушивался.

Завидев товарища, чернявый крикнул:

— Ого! Вставили мы Анкаре фитиль! Они получили наши требования! Поносят нас на чем свет стоит! Брызжут слюной: повесим-де, уничтожим... Не примут наших условий, даже если убьем наших заложников. Если намедленно не сдадимся, и прочая и прочая.

Сидевший у входа, не спуская глаз с пещеры, чуть повернул голову в их сторону:

— Пусть себе бесятся! Посмотрим, кто раньше сдастся — мы или они.

Подошедший с поста сообщил:

— Идет наш папаша!

Чернявый еще больше прикрутил радио, хотя его и так было еле слышно.

— Ага, папаша идет! — Он обернулся к товарищу, сторожившему вход в пещеру.— Давайте выведем их, пусть подышат воздухом... Лучше всего посадить здесь под сосной, привязать к стволу. Пусть поглядят на народ. И папаша пусть на них посмотрит.

Парень вошел в пещеру, вывел оттуда трех английских офицеров. Чернявый наставил на них автомат. Третий вынул из сумки толстую веревку, связал ею англичан. Конец веревки привязал к стволу. У одного из англичан, высокого и тонкого, как кишка, играла усмешка на губах, двое остальных глядели мрачно. Их охранник дал каждому по сигарете. Помог прикурить. Сказал по-английски:

— Покурите, пока прибудет еда...

Англичане закурили, лица стали менее напряженными. Заметив приемник, уставились на него. Чернявый перехватил их взгляд:

— Вы вправе знать: анкарское правительство вступило в контакт с вашими. Содержание переговоров, конечно, не сообщается. Но это неважно. Все равно им придется принять наши условия. Если в Анкаре выпустят наших товарищей, мы вас тоже отпустим. Ясно?

Длинный англичанин заметил:

— Вы хорошо знаете английский.

Чернявый рассмеялся:

— И вас тоже.

— Ради нас ваших товарищей не отпустят.

— Что поделать?! Значит, и вы не вернетесь на базу. А если вернетесь в обмен на товарищей, то скоро уберетесь вместе с базой. Мы не желаем вас видеть в Турции!

— Нам это известно,— вмешался другой англичанин.— Знаем и кто вы такие. Только мы ведь не по своей воле прибыли в вашу страну. Солдат подчиняется приказу. Сами должны знать, что такое быть солдатом.

— Верно. Но тут ничего не поделаешь. Можете сетовать на судьбу. Раз вы солдаты, примите по-солдатски и вашу участь.

Англичане переглянулись. Облачко страха затуманило глаза продолжавшего улыбаться офицера. Парень, сидевший напротив, указал на него автоматом:

— Этот тип ничего не желал принимать всерьез. Похоже, только сейчас до него дошло.

— Многое ему еще предстоит понять,— отозвался чернявый. Обернулся к товарищу, пришедшему с поста:— Подымись, позови наблюдателей. Судя по тому, что папаша решился прийти, никто не знает, где мы. Когда он явится, соберем совет.

Наступило молчание. По радио передавали народные мелодии. Чернявый еще убавил звук. Стали слушать песню. Один из англичан щелчком отшвырнул окурок. Парень, охранявший пленников, поднялся, подошел к окурку, придавил его ногой. Длинный снова осклабился:

— Пожара не будет, погода сырая...

— Заткнись,— рявкнул парень.— Здесь наша земля и наш лес.

Чернявый сказал по-турецки:

— Обрати внимание: из кожи вон лезут, чтоб вывести нас из равновесия. Держи себя в руках.

Охранник зло глянул на англичан, уселся напротив, наставил на них «томсон».

Со скал спустился самый молодой. С ним еще двое вооруженных парней. Когда они подошли, внизу между сосен показался папаша в сопровождении еще двух парней при оружии. Старик подталкивал ишака, парни помогали ему. Осел с трудом переставлял ноги. Пленные англичане глядели на них вытаращив глаза. Семеро парней встали, приветствуя старика. Крестьянин оглядел всех по очереди:

— Ах вы, мои львы! Джигиты удалые, здравствуйте!

— Добро пожаловать, папаша.

Старик прислонился к сосне, опустился на корточки. Двое парней подошли к ослу. Сняли с него переметную суму, большую корзину, полупустой мешок и отнесли в пещеру. Вернулись. Лишь один не отходил от англичан, не спускал с них глаз. Остальные окружили крестьянина. Чернявый угостил его сигаретой, поднес огонек. Все ждали, что скажет.

— Погодите, отдышусь, соберусь с мыслями. И мигом отрапортую.

— Быстро ты нас нашел, папаша, будто сам сюда посадил,— сказал чернявый.

— Эх, удальцы мои! — рассмеялся старик.— Молодость не грех, а и старость не смех. Когда в полночь мой сын привел вас, разве не эти места я вам присоветовал? Тогда видел всего троих, ребята толковые, осмотрительные. Остальные, понятно, сторожили этих вот типов. А сейчас глаза мои радуются — сразу всех видят.

— В деревне ничего не заподозрили?

— Нет, дорогой... Затемно пришли, затемно ушли. И сын мой сразу после вас в дорогу наладился. Не знаю только, успел ли добраться до Анкары?..

— Добрался, папаша,— улыбнулся чернявый.— Только что по радио слышали: все, что надо было, исполнил. Сообщил наши требования правительству. Вся страна поднялась на ноги! Взбесились: того и гляди, матом начнут нас крыть по радио. А твой сын в Анкаре в надежном месте. Они его знать не знают. Откуда им догадаться, что он с нами?

Старик махнул рукой:

— Он парень толковый, да норовистый... Что в голову взял, исполнит непременно. Втемяшилось ему — выучусь на доктора, и все тут. И выучится. Только до той поры его покойная матушка трижды в могиле перевернется — ни кола у нас, ни двора, ни куруша в кармане. Бог с вами, говорю вам. У него своя голова на плечах, выкрутится. Приступим лучше к рапорту. Вчера мой племяш в городе закупил харч и все прочее — для своей лавочки, мол, товар. И, не заезжая в деревню, оставил в условленном месте. А сегодня утром я взял ишака, пошел по дрова.

— Так просто?

— Просто не просто, а сладилось.

— Твой племянник — надежный человек, папаша?

— Считай, как мой сын, как вы сами. Раз он лавку держит в деревне, никто его не заподозрит. Ведет себе торговлю тихо-мирно.

— Вот что, папаша. Сколько мы вам должны?

— Не дело ты говоришь, джигит мой!

— Ну ладно. Давай поглядим, что ты привез.

— Хлеб, рыбные консервы, сыр, халву, сигареты. Всего вдосталь.

— И только?

— Трудновато было найти человека, у которого можно разжиться патронами. Но племяш нашел. От всех по секрету.

Парни обрадовались:

— Вот спасибо, папаша!

— За все заплатим, — строго сказал чернявый. — Расскажи-ка теперь, что внизу слышно?

Старик опасливо огляделся. Оправил бороду и не спеша принялся рассказывать:

— Что вы здесь, никто из деревенских не ведает. Но все знают, что вы ушли в горы и взяли в плен это змеиное отродье.— Он указал на англичан.— Целую неделю газеты об этом пишут, радио говорит. Только и разговоров что про вас. Нечего на меня так глядеть! Я правду говорю: все на вашей стороне.

Парни переглянулись. Самый молоденький воскликнул радостно:

— Я ведь говорил!

— Погоди, погоди, приятель! — осадил его чернявый.— Много еще потребуется времени, чтоб народ правду понял да за ум взялся. Мы начали. Нас могут прикончить, только наш конец будет всего лишь началом.

Наступило молчание. Старик каждого по очереди снова окинул взглядом. И, видно, остался доволен: смелые, решительные, боевые парни.

— Вот что, джигиты,— вдруг сказал он командирским тоном.— На месте вам долго сидеть нельзя.

— Узнал что-нибудь?

— Опасность надобно носом чуять, сынок. Я эту новость напоследок приберег: вчера в городе племяш мой видел много жандармов. Я думаю, сегодня они уже расползлись по деревням.

— Верно, папаша,— сказал чернявый.— Мы и не собирались здесь оставаться. Ждали вот только, что ты привезешь.

Старик поднял глаза к вершинам гор. Подумал. Снова посмотрел на парней.

— Вы, считай, почти на верхотуре сидите. Через ту гряду перевалите, выйдете на большую государственную дорогу. Только переходите ее как следует. По правую руку от дороги стоят в горах деревушки лесные. Там народ добрый. Само собой, попадаются и трусы и предатели. Можете податься еще глубже. Пока власть вам не скажет «согласны», никому не показывайтесь.

— Спасибо, папаша. Мы знаем, что делать. За нас не беспокойся.

— Как за вас не бояться, сынки? Днем и вечером молю аллаха, чтобы прибрал меня к себе прежде вас, прежде сына моего. Иначе все равно не жить мне.

Старик проговорил это с опущенной головой. Потом поднял на ребят увлажнившиеся глаза. Парни смотрели на крестьянина с доверием, с любовью. Он взял себя в руки, переменил разговор:

— Дал бы я вам моего осла, чтобы груз тащил, да нельзя. Надо вернуться с ослом и с дровами. А не то меня могут на мушку взять...

— Правильно говоришь, папаша.

Старик провел ладонью по бороде, молвил с усмешкой:

— Лучше вы свою поклажу на этих вот ишаков нагрузите. Пусть тащат!

Он показал на англичан. Парни расхохотались:

— Так и сделаем, папаша. Будь спокоен!

Крестьянин оперся руками о колени, встал.

— Ну, джигиты мои, путника ждет дорога. Надобно мне прибыть в деревню засветло. Погода портится, того и гляди дождь зарядит. По этим скалам на ишаке не проедешь. Придется до самого ручья пешком топать. А там еще кустарника нарубить, погрузить на животину. Счастливо оставаться. Будьте осторожны! Простите, если что не так.

Парни встали. Молча глядели на крестьянина.

— Это ты нас прости, папаша, — сказал наконец чернявый.

— Прощай, отец. Сыну своему, нашему товарищу, передавай привет и любовь, когда увидишь. Будь спокоен, мы своих товарищей выручим.

Старик не спеша подошел, обнял всех по очереди. Вернулся к своему ослу и стал спускаться по тропе. Чернявый парень с самым младшим своим товарищем отправились его провожать.

Привязанные к сосне пленники следили за происходящим округлившимися от удивления глазами. Караульный отошел на шаг, чтобы обняться с крестьянином, и тут же обернулся — с «томсоном» наперевес. Остальные стали расходиться по своим постам.

Трое суток шли по горам, не останавливаясь ни на минуту. Внизу то появлялась, то пропадала из виду государственная дорога. Их было трое, увешанных оружием с ног до головы. На востоке в условленном месте ждали товарищи. Надо было соединиться с ними и сообщить, куда увели, где спрятали англичан остальные шестеро. Потом, когда радио сообщит, что операция удалась, встретиться с ними в другом месте.

Идти без передышки по скалам вверх-вниз было тяжело. К тому же они тащили на себе вещи, еду, боеприпасы. Следовало как можно скорей найти своих, усилить отряд. Ночью марш походил на слепой полет в облаках, шли под проливным дождем.

На рассвете оказались в ущелье. Речка вышла из берегов, мутная вода ревела, пенилась, билась среди камней. Укрылись под огромной чинарой. Вынули из заплечных

мешков чистые сухие рубашки, фуфайки. Переоделись. Пожевали сухарей с сыром. Широкоплечий скуластый парень глянул на часы:

— Включи-ка радио, послушаем утренний выпуск.

Молодой с изжелта-бледным лицом вынул приемник из рюкзака. Повернул ручку. Женский голос диктора сообщил: «Кольцо сжимается». Со вчерашнего вечера радио твердило: «Кольцо сжимается. Кольцо сжимается. Кольцо сжимается».

Третий, черноглазый, неразговорчивый, злобно глянул на приемник:

— Пусть себе сжимается!

— Брехня! — отозвался скуластый. — Врут, чтоб нас запугать.

Чернявый внимательно поглядел на самого младшего товарища:

— Ты простыл. Жар у тебя. Прими аспирин, полежи. Все мы устали. Давайте передохнем.

— Со мной все в порядке.

— Ладно, не хорохорься. Я хоть еще студент, но все-таки без пяти минут врач. Как-нибудь могу определить простуду.

— Правильно. Давайте отдохнем. Не меньше пятидесяти километров отмахали,— согласился скуластый.

— А как же пастух, что вчера видел нас на просеке?

— Не заметил он нас.

— Сделал вид, что не заметил.

— Если и заметил, не донесет.

— Отчего же? Не забывай: за наши головы назначен выкуп.

На лбу самого молодого из них выступили капли пота. Он поднял руку. Пальцы дрожали.

— Неужто мы так далеки от народа? Где же братья рабочие, которые в июне шли грудью на танки? Где поддержка крестьян? Где наши партийцы, интеллигенты?

Зеленоватые глаза его сверкали. Голос сорвался на крик. Студент-медик вынул из кармана аспирин. Держа таблетку в руке, сказал:

— Понимаю тебя. Только партийных и беспартийных интеллигентов, как ты их назвал, приплел ты сюда зря. Поиграли они в партию, в демократию — и проиграли. Большинство сдалось силам безопасности. Остальные норовят удрать за границу. Кричали нам: «Молодцы! Джигиты! Давайте, давайте!» А с нами никто не пошел. Надо было знать об этом заранее. А теперь глотай таблетку и ложись!

Юноша обмяк. Сделал два шага к речке. Зачерпнул горстью воду. Запил таблетку. Лицо пошло пятнами. Стянул с себя куртку, расстелил под чинарой, улегся.

Скуластый сказал студенту-медику:

— Ты поспи, а я подежурю.

Тот не стал возражать. Скуластый проверил свой «томсон». Взял приемник. Отошел метров на пятнадцать к расщелине в скале. Ущелье, по которому, извиваясь, бежала речка, отсюда просматривалось хорошо. Наставил автомат на тропу. Глаза слипались. Лес шумел на ветру. По небу быстро бежали к северу черные тучи. Стал думать о товарищах, которые ушли к северу вместе с заложниками. Мысли то удалялись, то приближались, то пропадали совсем. Того и гляди, уснешь.

Включил радио. Изо всех сил распахнул глаза, принялся оглядывать ущелье, лес, реку. По радио передавали народную музыку.

На секунду забылся. Кости ныли от усталости, а тут вовсе перестал их чувствовать. Глаза закрылись. С усилием поднял веки. Того и гляди, заснешь. И как провалился в сон.

Очнулся от бормотания радио. Не поверил своим ушам. Взволнованный голос диктора:

«Передаем только что полученное важное сообщение. Силы преследования в одной из деревень окружили бандитов, похитивших трех англичан. Их местопребывание было установлено после допроса задержанного шофера. Силы безопасности подтвердили отказ властей выполнить требования бандитов и предложили им выдать захваченных офицеров дружественной державы. В ответ они открыли огонь из укрытия, которым, по поступившим сведениям, им послужил дом деревенского старосты. Ответный огонь сил безопасности поставил бунтовщиков в безвыходное положение. Все бандиты убиты. Полагают, что убиты также и трое похищенных английских офицеров. Мы будем сообщать подробности по мере их поступления...»

Парень окаменел. Кровь отлила от лица. В голове ни единой мысли. Взял себя в руки. Схватил автомат. Поднялся во весь рост, чтобы броситься к товарищам.

Сверху с близкого расстояния ударили пулеметы. Юноша скатился к подножию чинары как сухой лист. Небо, тучи, зелень листвы — все смешалось. Хотел подняться: заскользил в собственной крови. Посмотрел на товарищей. Град пуль настиг их во сне. Оба лежали лицом к небу. Кровь, хлеставшая из них фонтаном, обагрила ствол, ветви, листья старой чинары. Вся природа изменила свой цвет.

В последнем усилии еще раз глянул на товарищей. Губы его скривились: «Нельзя... Нельзя убивать спящих...»

Обеими руками вцепился в землю. Пальцы свело. Зажав в горстях родную землю, застыл недвижим.

■

Советская литература за рубежом

БОЛГАРИЯ

Рассказы РАДИЯ ПОГОДИНА «Лазоревый петух моего детства» и др. Издательство «Христо Г. Данев».

Роман ПЕТРА ПРОСКУРИНА «Имя твое». Издательство «Народна култура».

«Рассказы с дороги» МИХАИЛА РОЩИНА. То же издательство.

Повесть ГАВРИИЛА ТРОЕПОЛЬСКОГО «Белый Бим Черное ухо». Издательство «Отечество».

Собрание сочинений КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО. То же издательство.

ВЬЕТНАМ

Повесть КОНСТАНТИНА ПАУСТОВСКОГО «Наедине с осенью». Издательство «Так фам мой».

ГДР

Книга СЕРГЕЯ ОБРАЗЦОВА «Моя профессия». Издательство «Хеншель».

Роман АЛЕКСЕЯ НОВИКОВА «Последний год». Издательство «Ферлаг дер национ».

Избранные произведения ЮРИЯ ТРИФОНОВА. Издательство «Фольк унд вельт».

Пьесы МИХАИЛА ШАТРОВА «Большевики» и «Шестое июля». Издательство «Хеншель».

Роман МИХАИЛА ШОЛОХОВА «Тихий Дон». Издательство «Фольк унд вельт».

Мемуары СЕРГЕЯ ЭЙЗЕНШТЕЙНА «Я сам». Издательство «Хеншель».

ПОЛЬША

Повесть БОРИСА АЛМАЗОВА «Самый красивый конь». Издательство «Наша ксенгарня».

Роман ЮОЗАСА БАЛТУШИСА «Проданные годы». Издательство «КиВ».

Фантастические рассказы КИРА БУЛЫЧЕВА «Чудеса в Гусляре». Издательство «Искры».

«Трилогия о Мирьям» ЭМЭ БЭЭКМАН. Издательство «КиВ».

США

Роман ЮРИЯ ТРИФОНОВА «Старик». Издательство «Симон энд Шустер».

ФРГ

Сборник повестей ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Материнское поле». Издательство «Вайсман».

Поэма ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО «Мама и нейтронная бомба». Издательство «Цзольнай».

Повесть КОНСТАНТИНА ПАУСТОВСКОГО «Далекие годы». Издательство «Фишер».

Книга ВИКТОРА ШКЛОВСКОГО «О теории прозы». То же издательство.

ЧССР

«Блокадная книга» АЛЕКСАНДРА АДАМОВИЧА и ДАНИИЛА ГРАНИНА. Издательство «Правда».

Роман ГРИГОРИЯ БАКЛАНОВА «Меньший среди братьев». Издательство «Словенски списователь».

Сборник рассказов СЕРГЕЯ БАРУЗДИНА «Человеки». Издательство «Лидове накладателстви».

«Стихотворения» ЯКОВА БЕЛИНСКОГО. То же издательство.

Роман ЮРИЯ БОНДАРЕВА «Горячий снег». То же издательство.

Роман АЛЕКСАНДРА ЭБАНОИДЗЕ «...Где отчий дом». Издательство «Обзор».

ШВЕЙЦАРИЯ

Повесть ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Прощай, Гульсары!» Издательство «Унионсферлаг».

«Повести» МАКСИМА ГОРЬКОГО. Издательство «Манесс».

«Поэма горы» и «Поэма конца» МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ. Издательство «Л'аж д'ом».

Литературное наследие

ЛЮ ЮН

Перевод с китайского и вступление
МИХАИЛА БАСМАНОВА

В блистательной плеяде китайских поэтов Сунской эпохи (960—1279), эпохи быстрого роста городов и торговых центров, бурного расцвета науки, культуры и искусства, Лю Юн занимает особое место.

Родился Лю Юн в 980 году в провинции Фуцзянь в семье чиновника, молодые годы провел в столице Бяньцзин. Здесь он потерпел неудачу на государственных экзаменах, обязательных для получения права на должность, и весь горячий пыл юности отдал поэтическому творчеству. Вынужденный как-то зарабатывать «на чашку риса», он пишет стихи по заказам Музыкальной палаты и таким образом становится, по существу, первым в Китае профессиональным поэтом. Это были не оды во славу сильных мира сего, не модные в то время рафинированные стихотворения на темы из дворцовой жизни, а повествования о простых людях. Именно этим не в последнюю очередь объясняется исключительная популярность поэзии Лю Юна. Стихи его, предназначенные для исполнения под аккомпанемент музыкальных инструментов, разносились с импровизированных подмостков по всей стране, распевались как песни и арии везде, «где только были колодцы».

С полным основанием поэт в одном из своих стихотворений мог бросить дерзкие слова: «Песенник я известный, и средь простого люда как первого министра меня принимают повсюду...» Эти строки вызвали неудовольствие у императора, и Лю Юну на многие годы был закрыт доступ в правительственные учреждения. Однако, судя по всему, он не очень-то сожалел о неудавшейся карьере чиновника. Уже в преклонном возрасте занимая невысокие посты в отдаленных от центра провинциях, он постоянно тяготился службой, мечтал о независимой жизни, посвященной всецело искусству, а у Лю Юна счастливо сочетались дарования поэта, художника, музыканта.

До наших дней дошло свыше двухсот произведений Лю Юна. Это по преимуществу пейзажная и любовная лирика. Поэт тонко чувствует и понимает природу, источник его эстетического наслаждения. Его стихотворения напоминают акварели художников той поры, на которых запечатлены сцены из жизни отшельника или странника, бежавшего от суеты сует на лоно природы, чтобы здесь в полном уединении постигать смысл земного бытия и создавать произведения искусства. Поэт ощущает себя частицей прекрасного в своей гармонии мира, как бы сливается с ним и растворяется в нем. И он не просто с большой наблюдательностью и точностью живописует. Любая деталь, каждый штрих его поэтического полотна предназначены для более глубокого выражения душевного состояния лирического героя.

Лейтмотив поэзии Лю Юна — злоключения поэта в бесконечных скитаниях, печаль разлуки и томительного ожидания встречи с друзьями, воспоминания о золотой поре безвозвратно ушедшей молодости. И конечно, любовь. Любовь возвышенная и земная, но непременно опоэтизированная, преисполненная рыцарского преклонения перед возлюбленной, если даже она из «веселого дома». Не случайно, как гласит предание, поэт, умерший в крайней бедности (1053), был похоронен на средства, собранные исполнительницами его произведений, благодарными ему за его бескорыстный труд и уважение их человеческого достоинства.

Лю Юн вошел в историю китайской литературы как создатель новой формы песенного жанра цы (приблизительно соответствует европейскому романсу) — маньцы, буквально: медленных, длинных цы. Они, в отличие от малой формы «сяолин», представляют собой своего рода лирические поэмы, состоящие из нескольких и даже нескольких десятков самостоятельных по законченности мысли строф. Такие цы давали возможность более свободного, не скованного узкими рамками малой формы, излияния чувств и выражения мыслей автора.

«Песенник известный» любил и хорошо знал устное народное творчество, народную песню, в недрах которой и зародились первые цы. Невзирая на насмешки и упреки эстетствующих поэтов, он смело вводил в свои стихотворения лексику «низов», писал доступным для простолюдинов языком об обычных волнующих всех людей вещах, как бы приземлил цы, вернув им идущие от народной песни традиции Писал не только «на мелодию», то есть по образцу той или иной популярной песни, но и создавал собственные мелодии, подхваченные потом другими поэтами, в соответствии с запросами театров и бродячих трупп актеров, а в конечном счете — новых законодателей литературных вкусов: торговцев, ремесленников, служилого люда, все громче заявлявших о себе в общественной жизни страны.

Общепризнана новаторская роль Лю Юна в развитии китайской поэзии. Он оказал заметное влияние на таких ведущих поэтов Сунской эпохи, как Су Ши и Синь Цицзи.

■ ■ ■

Утки спустились
На тронутый инеем остров.
В дымке над островом —
Клин перелетных гусей.
Стали отчетливы осени властной приметы,
Что воцарилась теперь на песчаной косе.

Дождь прошумел
И внезапно затих на закате.
К берегу лодка
Причалила не спеша.
Двор постоялый в горах, где сегодня ночую,
И деревушка поодаль теряется в камышах.

Кто это там — различить я пытаюсь напрасно —
Бродит так поздно один на ветру под луной?
Цянской свирели[1] доносится вкрадчивый голос,
Звуки ее все плывут и плывут надо мной.

Чувство печали они в моем сердце рождают,
Горечь разлуки, и меры той горечи нет.
Тут еще с берега стрекот пронзительный слышен —
Неугомонный сверчок надрывается где-то в траве.

Вспомнилось мне расставанье с моею любимой.
С нею горами и реками я разделен.
Весточку как от нее получить мне в разлуке,
Как передать ей из дали далекой поклон?

В эти мгновения терем ее вспоминаю.
Верно, давно в этом тереме сон и покой.
Разве же ведомо ей, что на самый край света
Путник забрел и охвачен глубокой тоской!

А облака, что из Чу[2] без конца наплывают,
В тесном ущелье себе выбирают ночлег.
И по домам разбредаются гаоянцы,
Мало-помалу смолкает их говор и смех.

Я же смотрю и смотрю
Все туда, где столица,
Только к чему!—
Отыщу ее взглядом едва ль.

[1] Цян — одна из народностей, обитавшая на юге древнего Китая. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Древнее княжество в среднем течении Янцзыцзян.

Перед глазами вдали
Только горы,
И над горами
Все гуще небес синева.

(Мелодия «Цинбэй»)

■ ■ ■

Осенний вечер.
Лотоса листы,
Увянув, разметались на волне.
И дождик, что пронесся и затих,
Их жемчугом холодным окропил.
И утка с селезнем [1], продрогнув на ветру,
Укрыться возле берега спешат.
И светлый месяц вышел из-за туч,
Все сущее вокруг он озарил.

А чувство одиночества теперь
Не знаю, как смогу я превозмочь.
Печалюсь, что подруги рядом нет,
И над прудом стою, склонясь с перил.
Отсюда далеко она одна —
С ней попугай лишь в клетке золотой.
Он повторяет без конца слова,
Что милой я когда-то говорил.

(Мелодия «Ганьцаоцзы»)

■ ■ ■

Над насыпью проходят облака,
Клонится солнце над рекой к закату.
Перед балконом, где давно стою,
Все стелющейся дымкою объято.

Гляжу в раздумье на речной поток,
На скованную тишиной заставу.
Мир ясной осени на сотни ли вокруг —
Быть безучастным как себя заставлю!

Священная столица там, вдали,
Где грациозные витают феи...
От них я разве весточки дождусь!
О встрече же и помышлять не смею.

Опору у кого себе найдет
Залетный гусь [2], оторванный от стаи!
И больно видеть, как кружится он,
Над отмелью песчаной пролетая.

Невольно вспоминаю о былом —
Про радость встреч и таинства свиданий.
Да разве знал я, что затем придет
Столь тягостное время расставанья!

[1] В китайской поэзии утка с селезнем символизируют супружескую чету, неразлучных возлюбленных.

[2] В китайской поэзии залетный гусь ассоциируется с вестником.

Что обернется все тоской одной
В ненастную, дождливую погоду,
Препятствия возникнут на пути
И одолеют разные невзгоды.

На гору поднимаясь, всякий раз
Вслед за потоком взор мой устремляю
И думаю в разлуке о любви,
Терзаюсь бесконечно и страдаю.

За целый день
Ни слова не скажу
И с башни вниз
В молчании схожу.

(Мелодия «Цюйюйгуань»)

■ ■ ■

На Чанъань[1] уходит
Старая дорога.
Конь плетется еле —
Притомился он.
Для ночлега иву
Выбрала цикада
И на всю округу
Подняла трезвон.

Солнце, угасая,
Клонится за остров,
Ветер на равнине —
Осени привет,
И шатром нависло
Небо надо мною,
Облака проплыли —
И растаял след.

И когда же снова
Выдадутся встречи,
Чтоб в пирах забыться
Мог я от невзгод.
Мне же, выпивохе,
Без друзей так тошно,
Все не так, как прежде,
В тот, минувший год!

(Мелодия «Шаонянью»)

■ ■ ■

С приходом весны печалит
Зеленый и алый цвет,
Живущим любовью в разлуке
Не мил этот белый свет.

Луч солнца скользит по ивам,
Где иволга в ветках снует,
А я, вся под гнетом сомнений,
В постели встречаю восход.

Румяна растаяли за ночь,
И спутались пряди волос,
Но нет никакого желанья
Дотронуться гребнем до кос.

Что делать!
И боль и обида:
Оставил меня так легко.
Уехал, письма не напишет,
Он где-то теперь далеко.

Кто знал, что все так случится!..
Теперь остается жалеть,
Что вовремя я не успела
Седло под замок запереть,

[1] Чанъань (ныне Сиань) — столица Китая в Танскую эпоху (618—907).

Его удержав в кабинете,
Бумагу и кисть не дала —
Пускай занялся бы стихами,
Забыв про другие дела.

И мы бы не разлучались
Ни на день и ни на час,
И я, отложив вышиванье,
С него не сводила бы глаз...

И молодость не напрасно
Прошла бы тогда у нас!

(Мелодия «Динфэнпо»)

■ ■ ■

Осени поздней пора.
Дождь набежал как-то вдруг —
Двор окропил и затих,
Стало все мокрым вокруг.

За загородкой в саду
Всплеск хризантем кое-где.
Лист осыпая, утун [1]
Ветвь над колодцем воздел.

С грустью смотрю на туман,
Где за заставой река,
В небе закат догорел,
Выцвели облака.

Здесь вот когда-то Сун Юй [2]
Так же душою скорбел,
С этой, быть может, горы
На реку молча глядел.

Нет, не по нраву мне быть
В этих далеких местах,
Шум беспокойный Луньшуй
Слушать давно я устал.

Треск беспрерывный цикад
В старой, пожухлой листве,
Кузнечиков из травы
Стрекот немолчный в ответ.

Я на подворье один,
Долог был день, словно год.
Ветер утих наконец,
Исподволь ночь настает.

Чистого неба простор,
Блеск мелководной Цзянхэ
И грациозной луны
Всепроникающий свет.

Ночь бесконечно длинна,
Думы — все те же они.
Времени бег тороплю,
Вспомнив минувшие дни.

Прелесть «веселых домов»,
Что я не раз навещал...
Пусть я чинов не обрел,
Баловнем славы не стал...

Но жизнь в столице мила,
Юность прошла моя там.
Отдохновение — днем,
Вечером — пиршества.

Разных друзей я имел —
Что собирались на круг,
Пели, кутили всю ночь
И расходились к утру.

Прошлое кажется сном,
Время — как быстрый челнок...
Снова вода и туман,
Путь мой все так же далек.

Движется стрелка часов,
Похолодало слегка.
Где-то раздался и смолк
Голос призывный рожка.

Гаснет огонь фонаря,
Скоро забрезжит рассвет.
Мы с моей тенью вдвоем...
Спать бы! Да сна только нет.

(Мелодия «Цишн»)

[1] Широколистое дерево из семейства платановых.
[2] Сун Юй (290—223 гг. до н. э.)— известный поэт древнего Китая.

БАСМАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (род. в 1918 г.)

Советский поэт и переводчик. В его переводах с китайского вышли книги: Синь Цицзи «Стихи» (1962 и 1985), Ли Цинчжао «Строфы из граненой яшмы» (1970 и 1974), «Цветет мэйхуа. Классическая поэзия Китая в жанре цы» (1979).
Переводы М. Басманова и его статьи о китайской поэзии неоднократно печатались в антологиях китайской поэзии, на страницах «Иностранной литературы» и других журналов.

Публицистика

Ю. КАГРАМАНОВ

В ПОИСКАХ УДОБНОГО ТУПИКА

Речь пойдет об одном новом зигзаге западной философской мысли, весьма неожиданным образом упирающемся в проблемы технико-экономической сферы.

Хотя магическое слово «рост» в условиях длительного кризиса, поразившего капиталистический мир, заметно «отдает тлением» (если употребить выражение М. Е. Салтыкова-Щедрина), буржуазные, особенно американские, футурологи хватаются за него, как за ключик, позволяющий отворить дверь в завтрашний день. Пытаясь предвидеть будущее, каким оно станет лет через пятьдесят, или сто, или двести, они обычно прибегают к методу экстраполяции — простого укрупнения в будущем некоторых сторон, моментов настоящего. Преимущественно тех, которые их устраивают. Такой, например, апостол буржуазной прогностики, как Герман Кан, берет на себя смелость обрисовать мир XXII века, исходя исключительно из позитивных, как он их называет, тенденций научно-технического и экономического роста. Все остальное, с точки зрения Кана, приложится само собой.

Подобные прогнозы кроме своего основного порока — неучета объективных тенденций общественного развития — страдают еще и другим пороком: не принимаются во внимание процессы, происходящие в рамках буржуазной культуры. Кан считает само собой разумеющимся, что добрые гении, паривши некогда над колыбелью буржуазной демократии, попрежнему будут с воодушевлением трубить в свои трубы, что никаких особенно серьезных проблем социокультурного характера в будущем не возникнет и забот у американцев (а вслед за ними, по утверждению Кана, и у жителей других стран) всего-то и будет, что пользоваться наилучшим образом благами «потребительского рая». Между тем оснований для такого благодушия явно недостает.

В недавно вышедшей у нас книге Г. Х. Шахназарова «Куда идет человечество»[1] подобные концепции прогресса характеризуются как «вульгарный экономизм». Стоит вообще порекомендовать читателю эту книгу, содержащую разносторонний и точный анализ различных прогнозов и сценариев будущего, предлагаемых буржуазными футурологами. Среди них есть «оптимисты» на манер Кана — о них потомки скажут: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Есть и такие, кто в своих оценках будущего проявляют большую сдержанность, а то и вовсе пессимизм. Какие «овраги» впереди их пугают? Прежде всего — внешние факторы: возможная нехватка энергоресурсов, сырья, экологические проблемы, ядерная война, наконец, факторы важности первостепенной. Однако существуют еще и факторы внутреннего порядка, тоже немаловажные. Между тем мысль о том, что какие-то внутренние неустройства могут помешать буржуазному обществу плавно скользить по рельсам научно-технической революции, обычно их тревожит в самую последнюю очередь.

Несколько более проницателен в этом отношении Д. Белл, другой, наряду с Каном, ведущий представитель американской технократической мысли. В его поле зре-

[1] Шахназаров Г. Х. Куда идет человечество (Критические очерки немарксистских концепций будущего). М., Мысль, 1985. В основу этой книги положены статьи, увидевшие свет на страницах журнала «Иностранная литература».

КАГРАМАНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1934 г.)

Советский публицист. Автор книги «Без знамени» (1979) и многих статей по вопросам зарубежной культуры, истории и социологии.

ния попал, в частности, фактор культуры. В своей книге «Культурные противоречия капитализма», вышедшей десять лет назад, Белл с подозрением всматривается в изменчивый и пестрый мир, именуемый культурой. С точки зрения Белла, он таит в себе разные неожиданности, «мешающие» нормальному функционированию техноэкономической сферы, как ее себе представляет маститый американский социолог. Главная неожиданность, уже имевшая место (она-то, собственно, и дала толчок мысли Белла),— это, конечно, развернувшееся в конце 60-х годов контркультурническое движение молодежи, бунт «детей», вдруг утративших интерес к работе, карьере и т. п. ради экзотических вероучений и «философского» кайфа.

Контркультура конца 60-х оказалась не просто очередной и преходящей модой, она явилась для буржуазного Запада потрясением, от которого он так и не оправился. Это видно на примере столь важных институтов, как семья и школа. Из того, что студенты или школьники перестали манкировать занятиями, еще не следует, что в «педагогической провинции» (если употребить выражение Гёте из «Вильгельма Мейстера») теперь все в порядке; напротив, по свидетельству западных социологов и педагогов, она находится сейчас в состоянии глубочайшего кризиса, выхода из которого не видно (не касаюсь подробностей, так как для них здесь нет места). И если молодые люди стали вроде бы несколько строже смотреть на сферу интимных отношений, это еще не значит, что прочнее стали семейные узы; наоборот, продолжается процесс их дальнейшего ослабления и распада. И тут не могут ничем помочь никакие неоконсервативные заклинания.

С исчерпанием молодежного бунтарства контркультура отнюдь не сошла со сцены. Заявка на «альтернативный», в том или ином варианте, принцип существования и образ культуры актуальна и по сей день. «Дух отрицанья» (некогда проскользнувший под готические своды комнаты доктора Фауста) продолжает вести свою коварную игру. В конце 60-х приток молодой крови позволил ему на время завладеть авансценой, где порою он вел себя весьма скандально. Сейчас он действует исподволь, подрывая всюду, где только можно, уже порядком истаявшую веру в фундаментальные ценности гуманистической культуры, равно как и в традиционные идеалы буржуазной демократии — «свободу, равенство и братство».

Похоже, что в Западной Европе лучше, нежели в США, отдают себе отчет в том, насколько серьезен и глубок кризис, переживаемый буржуазной культурой. И это естественно: для западных европейцев привычнее всякого рода катаклизмы. Можно сказать, что в этом отношении они плывут в фарватере истории капиталистического общества, о которой В. И. Ленин еще в начале нашего века писал, что ее относительно спокойная и плавная полоса сменилась «гораздо более порывистой, скачкообразной, катастрофичной, конфликтной» [1].

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 27, с. 94.

Примером «свидетельства о кризисе» может служить книга известного французского философа Жана Бодрийяра «Фатальные стратегии»[1]. Автор ее утверждает, что определяющим для Запада является сегодня чувство близкой (или происходящей уже) катастрофы. И не какой-нибудь, а совершенно определенной. Ибо, согласно Бодрийяру, каждое общество, каждая эпоха, «заслуживают» определенной, «своей» катастрофы.

С обстоятельностью Панурга, героя знаменитого романа Рабле, французский философ рассматривает все возможные варианты катастроф и один за другим их отвергает. Скажем, потоп, по его мнению,— катастрофа, уместная лишь на заре человеческой истории, ибо есть в ней будто бы нечто «материнское» и плодоносное. Участь Помпеи тоже не подходит современному Западу, раскаленная лава, громы и молнии — это, пишет Бодрийяр, «не для нас», «мы» такого «громкого», эффектного конца не заслужили (нечто подобное было уже у Т. С. Элиота: «Мир окончится не взрывом, но взвизгом»). По той же причине он и ядерную катастрофу считает «неподобающей», а потому (тут уж он, вероятно, чересчур оптимистичен) едва ли возможной. «Подобающая» катастрофа, с точки зрения Бодрийяра, землетрясение, оползни, горизонтальное смещение пластов земли. Это не значит, что миру Запада грозит реальная опасность провалиться сквозь землю или быть раздавленным оползнями. Старик Сейсмос тут, собственно, ни при чем. Речь идет об ощущении, вызванном неблагополучием прежде всего культурного характера, а отнюдь не какими-то реальными тектоническими сдвигами. Так что можно считать, что ничего мистического тут нет, а есть добросовестное «свидетельство»: земля уходит из-под ног, только не в буквальном смысле, а метафорическом. Вероятно, с Бодрийяром согласился бы, например, Макс Фриш, как автор известной читателю «ИЛ» повести «Человек появляется в эпоху голоцена»: там передано то же самое ощущение.

Впрочем, Макс Фриш, возможно, согласился бы и с другим французским философом, Ж.-П. Ароном, полагающим, что «для этого (буржуазного.— **Ю. К.**) дезорганизованного, полуразвалившегося старческого общества настает суровое время, нечто вроде четвертичного периода — наступление ледников»[2]. Речь идет опять-таки о фигуральном оледенении, об изменении климата культуры, неблагоприятном для ее теплолюбивых даров — гуманистических традиций и просто «чувств добрых».

Другое дело, что Бодрийяр не только «свидетельствует», он сам охотно споспешествует тем «сейсмическим» процессам, о которых пишет. Ибо «старая культура», на его взгляд, не заслуживает того, чтобы о ней радеть, ибо она сама себя уже дискредитировала. Всюду нашему философу

[1] Baudrillard J. Les stratégies fatales. Paris, 1983.

[2] Aron J.-P. Les modernes. Paris, 1984, p. 33.

мерещатся злые гении, каким-то таинственным образом выхолащивающие изначально позитивные ценности, превращающие их в нечто им противоположное: разум ведет к неразумию, добро — ко злу, свобода превращается в фикцию, любовь — в пустой звук и т. д. и т. п. Что подобные превращения действительно имеют место, достаточно хорошо известно. Но столь же хорошо известно и то, что названные ценности обладают способностью успешно противостоять махинациям, которыми себя утруждают злые гении. Бодрийяр об этом, естественно, молчит — его-то ведь, как мы увидим далее, вполне устраивают махинации.

На страницах его книги нетрудно подметить злорадство гоголевского черта, укравшего луну и тем погрузившего все вокруг в такой мрак, что даже путь к ближайшему шинку стало невозможно отыскать. Со сладострастием, приличествующим разве только Князю тьмы, автор утверждает, будто состояние современного мира решительно не поддается логическим объяснениям. Какую проблему ни возьмешь — глянь, она, как вода, утекает куда-то между пальцев.

Толкуют, например, о проблеме отчуждения, а отчуждения, как такового, уже и нет, заявляет Бодрийяр, мы все теперь прочно друг с другом связаны — как террористы и заложники. Только вот кто террористы, а кто заложники, в темноте не разобрать («мы все заложники, мы все террористы»). Или другая проблема, вокруг которой сломано столько копий,— манипуляций, психологической обработки по линии «масс медиа». Да, говорит Бодрийяр, есть как будто манипуляторы и есть манипулируемые, но вторые успешнее манипулируют первыми, нежели первые вторыми. Вот и попробуй, дескать, разберись, кто здесь кто. И далее все в подобном же духе.

Возможно, и не стоило бы приводить эти парадоксы, если бы автор не взял на себя смелость указать средство выйти из положения. Но какое может быть средство, если все вокруг настолько запутано, что уподобилось гордиевому узлу? Очевидно, только одно: меч Александра. По сути, именно такое «решение» всех вопросов выдвигает Бодрийяр. Поднять некий меч и им отсечь... Что именно?

Нити всех и всяких причинно-следственных связей (даром что в одном месте своей книги он утверждает нечто прямо противоположное) — тех причинно-следственных связей, что имеют место в области истории, человеческого общежития. Одним махом было бы покончено с тем, что Бодрийяр называет «истерией причинности», «маниакальными поисками корней», приверженностью идеям ответственности, принципам, тягой к историческим исследованиям, одержимостью все объяснять, все вменять в вину...

Что же в этом случае осталось бы? Остались бы, как говорит Бодрийяр, одни факты без причин и события без последствий — наряду с «людьми без свойств» (по Р. Музилю). С историей, как таковой, было бы покончено. Окружающий мир отныне воспринимался бы на манер калейдоскопа — как смена внешних очертаний; кто-то тряхнул трубочку — один узор сменился другим, никакой связи с предыдущими конфигурациями, никакой — с последующими; и никаких вопросов «почему», «для чего» и т. п.

Вам трудно даже вообразить такое? Значит, вам недостает фантазии: у вас голова распухла от воспоминаний о прошлом и от мыслей о будущем. Вы и представить себе не можете, как все станет легко и просто, если мир превратится в «игру видимостей».

Значит, это будет царство случайности? Никоим образом, отвечает Бодрийяр, это будет царство фатальности (но разве фатальность не родная сестра случайности?). «Мы», говорит Бодрийяр, «устали» от случая, «устали» от свободы — не в меньшей степени, чем от исторического детерминизма. История «исчезнет» — место ее должна занять... церемония.

Западные философы в наши дни нередко выдвигают то или иное понятие, придавая ему категориальное значение, и строят вокруг него свою концепцию. Таким понятием (заимствованным у некоторых антропологов) является для Бодрийяра церемония. Читатель, вероятно, догадывается, что речь идет не просто об отдельных обрядах или каких-то внешних формах жизни. Действительно, имеется в виду некий принцип, который должен быть положен в основу организации общества и культуры. Принцип этот требует максимальной ритуализации всей общественной и личной жизни, беспрекословного повиновения каждого индивида «раз и навсегда» установленному порядку.

Современному человеку нелегко бывает даже представить, до какой степени может быть ритуализована личная жизнь, включая наиболее интимные ее стороны. В порядке «просвещения» читателя Бодрийяр приводит примеры, взятые им из так называемых «Законов Ману».

Один из них — отправлять естественные надобности необходимо в дневное время лицом к северу, а в ночное — лицом к югу; при этом в поле зрения не должны попадать солнце, огонь, вода, коровы, брахманы и предметы, движимые ветром. Курьез? Но у нашего философа подобные вещи вызывают восхищение.

Из этого отнюдь не следует, что любая постановка вопроса о ритуальности на бытовом уровне должна восприниматься в ироническом ключе. Вовсе нет. Современный человек порою испытывает смутную потребность чем-то на этом уровне себя связать. Что это — атавизм, который надлежит изжить? Или законная потребность, унаследованная из тысячелетнего опыта культуры, ставшая для человека как бы второй натурой? Ответить непросто. Но так или иначе, вопрос этот скорее именно бытовой, чем мировоззренческий.

У Бодрийяра церемония призвана подменить собою мировоззрение. Культура, организованная как система ритуалов, уже сама по себе есть мировоззрение; она не оставляет места для размышлений, для «лишних» вопросов. Все следует принимать как данность, не подвергая что-либо сомнению, не ища смысла там, где и так

все «ясно как божий день», не спрашивая, «откуда что пошло», не задумываясь о целях. Да и к чему задумываться, раз уж все предначертано заранее и существует где-то некий Свиток, который постепенно развертывается, и надо просто читать то, что предстает взору.

Приближение к своему идеалу французский философ находит в традиционных культурах Дальнего Востока. Его привлекают в них именно те черты, которые их отличают от Европы нового времени: известная сглаженность противоречий, некоторая сретушированность представлений о добре и зле, перевод эмоционально-психической жизни в условный план. Для иллюстрации Бодрийяр берет образы японского театра Кабуки и традиционной китайской оперы, где, как он пишет, «все упорядочено: лукавство, уклончивость, выпады, отходы, вихревое бешенство тел, их внезапная неподвижность, ничто... не оставлено на долю импровизации: все сцеплено, но это сцепление не по смыслу, а по видимостям». Точнее было бы сказать, что здесь видимости «вобрали» в себя смысл. Это та черта традиционной японской (и отчасти китайской) культуры, которая в свое время дала основание Б. Пильняку сказать, что у японцев «сознание перешло в бытие».

Бодрийяр утверждает, что для японцев, в отличие от европейцев, более характерна инверсия (перестановка) доброго и злого, так же как и прекрасного и безобразного. В спектаклях театра Кабуки, пишет он, один и тот же персонаж может быть попеременно прекрасен и безобразен, «положителен» и «отрицателен». Его привлекает и то, что здесь не дождешься «движений сердца», характерных для европейских драм. Этому отныне не должно быть места ни на сцене, ни в жизни, категорически заявляет Бодрийяр. В первую очередь подлежит «упразднению» самая застарелая из иллюзий — любовь; ее должно заменить нечто гораздо более элементарное — соблазн, понятие, как считает автор, незаслуженно дискредитированное в Европе за последние две тысячи лет.

Многим из тех, кто принадлежит к старшим поколениям, привелось видеть театр Кабуки, гастролировавший в СССР лет двадцать пять тому назад. Там действительно очень жесткая церемониальность: для каждого характера заранее выработан свой четкий рисунок, каждое движение, жест, каждая гримаса строго регламентированы. В целом все это красиво, ярко, законченно — словом, все очень хорошо, но, так сказать, на своем месте.

Следует ли, повидав спектакли театра Кабуки, охладеть, скажем, к «Королю Лиру» или «Женитьбе Фигаро»? А ведь именно так по сути ставится вопрос у Бодрийяра. Апелляция к определенной японской традиции, нашедшей отражение в таких театрах, как Но или Кабуки, для него есть просто средство достижения поставленных им целей. Перед нами характерно-контркультурническая попытка опереться на иные культуры в целях дискредитации собственных культурных традиций.

Бодрийяру очень не нравится то, с какой откровенностью давали о себе знать антагонистические противоречия в истории Европы. Очевидно, он имеет в виду в первую очередь социальные революции, хотя и не говорит об этом прямо. Равным образом он считает неприемлемым органическое для европейской культуры противопоставление доброго и злого, прекрасного и безобразного и естественный вследствие этого выбор в пользу доброго и прекрасного. Пора, заявляет он, признать, что зло сильнее добра, что именно «имморальная энергия... электризует общества», застывшие в своем платоническом прекраснодушии, что они, то есть общества, развиваются не в том направлении, в каком думают, что они развиваются, а в том, в каком их толкают имморальные силы. Бодрийяр здесь ссылается на Маркса, поддержавшего утверждение английского писателя XVIII века Мандевиля о «необходимости и полезности пороков» в современном ему обществе.

Что капитал по сути своей имморален — это давно секрет полишинеля. Вместе с тем именно капитал, как известно, на определенном этапе истории явился движителем истории или, как предпочитает выражаться наш философ, «электризовал общества», следовательно, был необходим и полезен. В этом смысле надо понимать приведенное высказывание Маркса. Но даже капитал, эта «смесь грязи и огня» (если воспользоваться отзывом гётевского Фауста о Мефистофеле), не мог обойтись без платонического прекраснодушия — до тех пор, пока он не осознал своей исторической обреченности.

Гонению, как уже было сказано, подвергается и любовь. Наш философ взирает на любовь как гость с другой планеты. «Какою силою провидения,— вопрошает он,— благодаря какому чуду волеизъявления или какому сценическому трюку человеческие существа предназначены любить друг друга, каким безумным воображением надо обладать, чтобы сказать: «Я вас люблю», чтобы верить, что люди могут любить, что мы любим друг друга?.. Тут какая-то полоумная проекция принципа всеобщего притяжения и равновесия, каковой есть чистая фантасмагория».

Да, любовь соотнесена с принципом мироздания — это единственно резонное место в приведенной тираде. Что касается самой способности любить другого человека или других людей (речь идет, разумеется, не только о половой любви) — равно как и связывать свою личную судьбу с силами притяжения, а не силами отталкивания,— то на сей счет едва ли стоит что-то отвечать автору. Это вещь такая: или она есть, или ее нет.

Интимность отношений предполагает также развитую индивидуальность у тех, кто в таковые отношения вступает. Предполагает личность. Но в эпоху обезличенных социальных отношений личность, с точки зрения Бодрийяра (и подобных ему философов «авангардистского» склада), это почти что ничто, так, пшик какой-то. А посему, чтобы не мозолить друг другу глаза «моральными и сентиментальными» (как их определяет наш автор) выражениями своих лиц, надо поскорее упрятать их за маски. Не маскарадные, конечно, а соци-

альные. Но по возможности схожие с масками театра Кабуки.

Почему «фатальные стратегии»? Во-первых, потому, что нацеливают на фаталистическое мировосприятие, на подмену закона — роком. Во-вторых, потому, что сами по себе, утверждает автор, они являются фатальными, то есть неизбежными, единственно возможными. Фатальны будто бы уже те «сейсмические» процессы, о которых шла речь выше (между прочим, они, по-видимому, не обошли стороной и Японию — иначе с чего бы вдруг появился такой роман, как «Гибель дракона» С. Комацу и поставленный по нему фильм «Гибель Японии», где Японские острова буквально проваливаются в море?).

Европейская культура в том виде, в каком она существовала до сих пор, обречена, заявляет Бодрийяр, и надо всячески стараться приблизить ее окончательное крушение. Ее традиционные ценности опошлены «массовой культурой», и это к лучшему; надо стремиться к тому, чтобы опошлить их еще больше, окарикатурить самым беспощадным образом, представить их устарелыми, несуразными, «чудовищно чуждыми».

(Жаль, что пока, видимо, остается в области фантастики тот способ отваживания от культурных ценностей, что был продемонстрирован в известном фильме С. Кубрика «Механический апельсин»: там у одного персонажа каждый раз, когда он пытается слушать Бетховена, искусственно вызывают рвоту. То-то все было бы просто! Скажем, прочел ненароком признания юного Вертера — и сразу стошнило; в другой раз на что-то подобное уже не потянет. Бросил взгляд на «Мадонну» Рафаэля или услышал первые такты симфонии Бетховена или балета Чайковского — та же реакция. Вся «традиционная» (европейская) культура стала бы таким образом в буквальном смысле тошнотворной.)

Установка на культурную катастрофу опять-таки характерно контркультурническая. Многие «за» и «против» в книге Бодрийяра — те же самые, что выдвинула контркультура конца 60-х: выступление против научного понимания исторического процесса, против самого этого процесса, как такового, за «конец истории»; против индивидуально-личностного начала, органичного для западноевропейской культуры, против интимности в межличностных отношениях, за возрождение масок; против этических ориентиров, за ориентиры эстетические. Все это общие моменты. Наряду с ними, однако, есть и важные принципиальные отличия.

Контркультура конца 60-х едва ли не выше всего прочего ценила «свободу» (понятую в анархическом и потребительском духе) и безделие («санкционированное» такими высокими философскими понятиями, как атараксия[1] и нирвана). Соответственно из всех ее инокультурных ориентаций основной была ориентация на Индию — ведическую и буддистскую. В «краю нагих мудрецов» длинноволосые бунтари хотели отыскать секреты того, как проникнуть в некое «зазеркалье», где законы деятельно-рациональной жизни утратили бы силу и можно было бы только и делать, что созерцать и самоуглубляться, самоуглубляться и созерцать.

Новые «паломники в Страну Востока» (от лица которых выступает автор «Фатальных стратегий») ориентируются преимущественно на традиционалистскую Японию. Ибо более всего они ценят не «свободу», не эскапистские мечтания, а, как раз наоборот, систему всесторонней опеки и регламентации, не оставляющую практически никакого места для индивидуальной свободы.

Как видим, из тигля контркультуры выходят и такие идеи, которые не только не «мешают» нормальному функционированию техноэкономической сферы капиталистического общества, но, как раз напротив, должны способствовать ему. «Проект» Бодрийяра — это не картина и даже не схема общества, каким его хотел бы видеть автор, это его ф о р м у л а, код, выраженный скорее в терминах эстетики (что в общем соответствует избранной им ориентации на Японию, где, как известно, эстетика искони поставлена во главу угла). Расшифровать его, однако, не составляет труда: целью является стабилизация социально-экономических структур капитализма путем радикальной перестройки культурной сферы и создания таких устойчивых псевдоколлективов, которые наилучшим образом обслуживали бы упомянутые структуры. Сказанное касается в первую очередь транснациональных корпораций — передового отряда гигантов, выделяющихся даже среди капиталистических корпораций своим сугубым прагматизмом.

Конечно, не следует сбрасывать со счетов и факторы собственно культурного — этического и эстетического — порядка. В книге Бодрийяра сказалась «усталость» тех, кто долго исповедовал идеал анархической «свободы», а теперь метнулся к противоположной крайности — максимальному самоограничению, скованности. И мечтает о сугубой иерархии на манер, скажем, самурайской Японии.

Вместе с тем ориентация на Японию имеет и вполне прозаические основания. За ней вырисовывается зависть, какую вызывают у западных конкурентов пробивные качества японских товаров, теснящих на мировых капиталистических рынках товары западных стран. Успех, какого добились все эти «тойоты», «хонды» и «сони», не в последнюю очередь объясняется относительно высокой дисциплиной труда на японских предприятиях и общим укладом жизни, сохраняющим многие черты традиционности, в их числе элементы церемониальной субординации, перенесенные на отношения промышленно-делового мира.

В книге Бодрийяра (здесь, кстати, ответ на вопрос, почему она сделана предметом рассмотрения в настоящей статье) нашла пока что наиболее четкое выражение тенденция, дающая о себе знать и у других западных авторов. Если ограничиться Францией, то можно привести в пример буржуазного философа М. Сэрра, ратую-

[1] В древнегреческой философии — невозмутимость, состояние душевного покоя, к которому должен стремиться мудрец.

щего за возрождение учения Лейбница о «предустановленной гармонии» (высмеянного уже Вольтером в «Кандиде») в сочетании с некоторыми элементами дзэн-буддизма. Или «нового философа» Ж.-М. Бенуа, выдвинувшего свой «проект» «возрождения Игры» в смысле, близком бодрийяровской церемонии. Или экономиста и социолога Ж. Брильмана, рекомендующего «укрепить» американскую систему менеджмента заимствованиями из того же дзэн-буддизма и синтоизма. Все это идеи, в том или ином отношении близкие вышеизложенным.

Стоит заметить, что «проект» Бодрийяра — импозантно-ученый по форме; излагая свое кредо, автор пытается опереться на ряд специальных дисциплин: от теории игр (откуда, вероятно, взято и непривычное множественное число слова «стратегия») до физики частиц. Упоминаю об этом, чтобы стало ясно, сколь широким фронтом ведется наступление против историзма. Особенно ощущается в его книге влияние структуралистских идей, зачастую выдвигаемых не самими учеными-структуралистами, а их философствующими комментаторами. Структурный анализ имеет дело с теми или иными структурами (языка, сознания, общественных феноменов), как бы извлеченными из живого потока истории, застывшими «по приказанию» исследователя. Такова его методология, сама по себе необходимая и полезная. Но эта чисто теоретическая «остановленность» явлений, невозможная в действительности (в действительности возможна — точнее была возможна — лишь их крайняя замедленность, имевшая место в первобытных и некоторых из так называемых традиционных обществ, где всякие перемены в образе жизни, хозяйстве, быте и т. п. из поколения в поколение едва ощутимы), кое для кого заключает в себе неотразимый соблазн, по видимости скорее эстетического рода: жизнь, движущаяся как в замедленной съемке, удобнее для созерцания, нежели в своем натуральном виде. Так и Бодрийяр хотел бы «остановить» историю, совершенно неправомерно понятую им как «брауново движение», заменив ее церемониальным передвижением тел в пространстве. Ясно, что за подобными попытками лишить общественную жизнь ее временно́го измерения скрываются отнюдь не только эстетические соображения.

Что касается той части «фатальных стратегий», которая обрекает на скорую смерть культурные традиции Европы, то это просто теоретическая точка над давным-давно уже маячащим «и». За плечами Бодрийяра усилия нескольких поколений авангардистов всякого толка, ратующих за подмену идеи — формой, сердечного движения — «ви́дением», выбросивших за борт идеал «красоты-добра» («калокагатия» по-древнегречески), а вместе с ним концепцию личности, имеющей право на свой внутренний мир. Какие могут быть идеалы, например, у персонажей С. Беккета? Какой может быть внутренний мир на тех полотнах сюрреалистов, где даже портрета, как такового, нет, а есть губы, носы и уши, утратившие своих хозяев?

Примем в расчет и ту ветвь авангардизма, которая, начиная с презентистов и дадаистов, ратовала за «абсолютное забвение» прошлого и за «отмену будущего» (формулировки отчеканены лидером дадаистов Т. Тцара).

Усилия авангардистов нашли поддержку и продолжение в рамках «массовой культуры», на одном из флангов которой все «разумное, доброе, вечное» обсмеяно вдоль и поперек. Правда, на другом ее фланге как будто пытаются поддержать высокие традиции, но по большей части делают это так, что фактически только опошляют и снижают их. С одной стороны, таким образом, рисуют умышленные карикатуры, с другой — неумышленные. И те и другие по-своему отвечают замыслу «фатальных стратегий». В рамках «массовой культуры» легко прослеживается также линия, близкая бодрийяровской идее о том, чтобы утвердить в сознании власть непосредственно данного (читатель сам может припомнить некоторые западные фильмы, а также литературные произведения, тем или иным путем внушающие мысль, что надо принимать все таким, как оно есть, не мудрствуя лукаво и не пытаясь что-то изменить).

И вот что еще заслуживает внимания. До сих пор контркультурнические выходы в политическую область, как правило, вели к тем или иным видам левачества. Бодрийяр тоже философ левацкой закалки (примечательно, что его книга вышла в издательстве «Грассэ» в серии, во главе которой стоит «новый философ» Б.-А. Леви). Но в политическом плане «Фатальные стратегии» довершают его (как и многих его собратьев-гошистов) перемещение на крайне правый фланг. Ибо стабилизация капитализма в том виде, как он ее себе представляет, не может осуществляться в рамках буржуазной демократии. Тут еще раз приходит на ум образ меча: церемония, о которой мечтает Бодрийяр, может возникнуть только на острие меча (кое-какие намеки на нее существуют в действительности — их порождает практика корпоративного капитализма [1],— но все-таки пока это лишь намеки). Иначе говоря, только режим «сильной власти» способен был бы реализовать данный «проект». Чтобы ни у кого на сей счет не возникло сомнений, Бодрийяр делает неоднократные выпады против демократии в любой ее форме, смыкаясь в этом отношении с неоконсерваторами наиболее реакционного толка.

Замечу, что идеология неоконсерватизма заключает в себе некоторое, как говорят философы, contradictio in adjecto — противоречие в самом существе дела. Неоконсерваторы хотели бы иметь прочную буржуазную семью, надежную «структуру авторитетов» и так далее. Но все это институты, достигшие такой стадии разложения,

[1] О том, насколько значителен элемент ритуала в жизни современной капиталистической корпорации, читатель может судить хотя бы по переведенным у нас романам «Что-то случилось» Дж. Хеллера и «Обличитель» Р.-В. Пия. Герой Хеллера, например, занимающий руководящий пост в одной из могущественных американских транснациональных корпораций в шутку но не без основания сравнивает себя с распорядителем бальных танцев — столько внимания ему приходится уделять различным «тонкостям» внутреннего распорядка фирмы.

что просто сохранить то, что есть («законсервировать», по самому смыслу термина «консерватизм»), или даже вернуться немножко назад (то есть на предыдущую стадию разложения) оказывается явно недостаточно. Отсюда естественно напрашивается та перифраза известной французской поговорки, к которой некогда прибегнул герой романа Томази ди Лампедузы «Леопард»: «Для того, чтобы все осталось по-прежнему, надо, чтобы все изменилось». И вот мы видим, что, подобно тому, как из чрева мифологического кита выходит другая рыбина, так из недр неоконсерватизма «выходят» теории правоэкстремистские, архиреакционные (примером могут служить французские «новые правые»).

Таковой же по сути является и концепция Бодрийяра — она реакционна в самом буквальном смысле. В самом деле, чтобы найти приближение к своему идеалу, автору не обязательно было отправляться путешествовать в пространстве, можно было так же, не сходя с места, отправиться в путешествие во времени — вернуться в Европу до 1789 года. Сила условностей, власть ритуалов были там немногим меньшими, чем в Японии или Китае. Конечно, это не совсем то, что ищет он в традиционных культурах Дальнего Востока, но в некоторых отношениях очень похоже. (Если в «Женитьбе Фигаро» Бомарше убрать Фигаро, взбаламученный мирок, в котором царит граф Альмавива, утихомирится, все вернется на круги своя, и каждый персонаж более или менее уподобится заводной фигурке, своевременно изгибающейся в надлежащих поклонах и реверансах).

На весьма трудный для него и тех, кто мыслит подобно ему, вопрос, как бы реагировал «человек Запада» на утрату той, хотя бы и весьма ограниченной, свободы, какой он привык располагать, Бодрийяр категорически отвечает: каждый человек «в глубине души» предпочитает «принудительный и жестокий порядок», не оставляющий ему выбора. Равным образом он (каждый человек) будто бы предпочитает любым объяснениям «игру видимостей», любым обещаниям и кривым роста — неожиданности. Хотите сюрпризов? — подмигивает читателю наш знаток «глубин души». Выбирайте фатальный порядок: все для вас будет предопределено, а вместе с тем вы никогда не будете знать заранее, что вас ждет.

Разумеется, попытка «остановить» историю заведомо безнадежна. Общественные идеалы (объективно затребованные ходом экономической жизни) — вот сила, что влечет дальше, вперед по трудной и совсем не прямой дороге прогресса те социальные группы, которым эта дорога (опять-таки в силу объективных причин) не заказана. Общественными идеалами в конечном счете поверяются этические и эстетические оценки, смысл которых в том, что (если перевернуть правило старой детской игры) можно и должно «да» и «нет» говорить, черное и белое «покупать». Это, разумеется, означает не то, что надо видеть только черное и белое, а то, что надо иметь о п р е д е л е н н о е представление о том, что является черным и что белым.

Законы истории имеют силу повсюду, где живут люди, в том числе и на Японских островах. Даже традиционная Япония не театр Кабуки. Тем паче современная. Антагонистические противоречия, борьба классов в этой стране, как и в других капиталистических странах, вызывает «диссонансы», которые режут слух приверженцам ритуальной гармонии.

Но угроза той «культурной революции», сопряженной с политической реакцией, о которой мечтает Бодрийяр, видимо, достаточно реальна. Идея «на ходу» перестроить культуру, включая ее глубинные — онтологический и гносеологический — уровни, опирается, как уже говорилось, на кое-какие объективные тенденции социальной и культурной жизни Запада, нашедшие отражение в искусстве, литературе (в том числе «массовом» искусстве и «массовой» литературе), философии. Осуществись она, эта идея,— гуманистические традиции Запада целиком были бы принесены в жертву молоху транснациональных корпораций. Смотреть на это равнодушно — трудно.

И последнее. Мы никогда не отделяли нашей культуры от европейской, мы связаны с ней не проводами, не рельсами, но кровеносными сосудами, извилинами мозга [1]. При всем известном различии культурных традиций на западе и востоке европейского континента фактом является их особая близость, обусловленная географической близостью, общностью исторических судеб, наконец, общностью истоков.

Даже если смотреть на проблемы культуры с коммерчески-техницистской точки зрения, то и в этом случае ориентация на японскую модель, видимо, обернулась бы для Запада определенными утратами. В конце концов, в данном отношении японцы до сих пор показали себя преимущественно как блестящие имитаторы. Как и у каждой нации (или каждой культуры), у них есть свои достоинства и свои недостатки. Удивительные достоинства японцев слишком известны, чтобы о них напоминать; ну а недостает им или недоставало до сих пор (что, впрочем, тоже достаточно известно [2]) склонности к абстрактному мышлению. Именно склонности, ибо виною тут не психология, а культура, давшая перевес образу над понятием, интуитивно-метафорическому мышлению над формально-логическим. Поскольку культурные традиции сохраняют свою силу, они нацеливают японца на постижение частного, а не всеобщего. А надо ли говорить, что на уровне абстрактного мышления решается очень многое — и вообще, и в техноэкономической сфере в частности.

Исторически сложилось так, что именно в Европе социальные противоречия достигали наибольшей остроты. Очевидно, с этим связаны такие, например, черты европейской культуры, как четкое противостояние категорий добра и зла или последовательное проведение принципа дихотомии (разделения надвое), необходимого для аналитического мышления или, нако-

[1] Э р е н б у р г И. Война. М., Госполитиздат, 1942, с. 124.

[2] См.: Человек и мир в японской культуре. М., Наука, 1985; О в ч и н н и к о в В. Ветка сакуры. Рассказы о том, что за люди японцы. М., Молодая гвардия, 1975.

нец, известная напряженность отношений между духовным и чувственным началами (неоднозначная для психофизиологической организации индивида, но безусловно позитивная в плане культуры).

Резкое разведение «плюсов» и «минусов» порождало мощные разряды, искрометные furioso — отсюда особый драматизм европейской истории, равно как и особенный накал отвлеченной, воспаряющей в разреженные высоты мысли. Отсюда и резкое «убыстрение» исторического процесса, не имеющее аналогов в иных культурных регионах, в конечном счете давшее жизнь тому бурному прогрессу науки и техники, свидетелями и участниками которого мы являемся.

«В конечном счете»... Но ведь это только стилистический оборот. Ибо все продолжается: история, научно-технический прогресс. Естественно, что и факторы, вызвавшие их к жизни, сохраняют все свое значение.

Попытка сойти с того пути, на котором Запад ожидали его духовные завоевания, равно как и достижения научно-технического гения, найти некий удобный тупик — это ли не свидетельство исторической обреченности капитализма, его неспособности совладать с теми силами, которые им же когда-то были вызваны к жизни!

◆

Зарубежная литература в СССР

Новые книги

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Конрад Д. **Ностромо.** Роман. Перевод с английского. 528 стр.

О'Хара Д. **Свидание в Самарре.** Роман. **Рассказы.** Уэст Н. **День саранчи.** Роман. **Подруга скорбящих.** Повесть. Перевод с английского. 391 стр. (Библиотека литературы США).

Слободник В. **Стихи.** Перевод с польского. Составитель В. Британишский. 158 стр.

Современная финская новелла. Перевод с финского, шведского. Составители В. Бергман, В. Морозова. 591 стр.

Фаулз Д. **Подруга французского лейтенанта.** Роман. Перевод с английского. Л. 479 стр.

«РАДУГА»

За что мы боремся. Современная политическая поэзия ФРГ и Западного Берлина. Перевод с немецкого. Составитель А. Гугнин. 228 стр.

Зеегер Б. **Осенний дым.** Избранная проза. Перевод с немецкого. Составитель Н. Банникова. 384 стр.

Нарайан Р. К. **Тигр для Мальгуди.** Роман, рассказы, повесть. Перевод с английского. Составитель И. Клычкова. 368 стр.

Пиларж Я. **Лирика.** Перевод с чешского. Предисловие О. Малевича. 208 стр.

Рао К. К. **Миражи индийского кино.** Повести. Перевод с телугу. 128 стр.

Сяйся Эйно. **Последнее лето.** Повесть, рассказы. Перевод с финского. Составитель Е. Каменская. 272 стр.

Цончев Д. **Красные слоны.** Рассказы. Перевод с болгарского. 238 стр.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Зарубежный детектив. Д. Пеев. Вероятность равна нулю. Повесть. Перевод с болгарского. Ш. Мурр. Гиблое место. Роман. Перевод с немецкого. М. Ю. Йоенсуу. Служащий криминальной полиции. Роман. Перевод с финского. Составитель Г. Анджапаридзе. 448 стр.

Сикелянос А. **Избранное.** Перевод с греческого. Составитель В. Соколюк. 63 стр. (Современная зарубежная лирика).

«ПРОГРЕСС»

Киш Э. Э. **Приключения на пяти континентах.** Художественная публицистика. Перевод с немецкого. Составитель Ю. А. Орлов. 350 стр.

Райт У. **Дело фон Бюлова.** Роман. Перевод с английского. 317 стр.

ГРЭМ ГРИН

МОЕ ЗНАКОМСТВО С ГЕНЕРАЛОМ,

ИЛИ

Как я оказался ко всему этому причастным

Фрагменты книги

Перевод с английского Д. АГРАЧЕВА и И. БЕРНШТЕЙН

Посвящается друзьям моего друга Омара Торрихоса в Никарагуа, Сальвадоре и Панаме.

Предисловие

В августе 1981 года, когда я пятый раз собирался в Панаму и уже уложил чемодан, мне позвонили и сообщили о смерти моего друга генерала Омара Торрихоса Эрреры, по чьему приглашению я туда ездил. Потерпел крушение небольшой самолет, на котором он летел в горное местечко Коклесито, где у него был свой дом: спастись никому не удалось. Через несколько дней сержант его личной охраны по имени Чучу, а если полностью, то Хосе де Хесус Мартинес, в прошлом профессор марксистской философии в Панамском университете, профессор математики и поэт, сказал мне: «В самолете была бомба. Я з н а ю, что была бомба, но по телефону ничего объяснить не могу».

В тот день я решил написать в память о генерале Торрихосе небольшой очерк на основе дневников, которые вел последние пять лет,— дань уважения человеку, которого успел полюбить. Но написав заглавие: «Мое знакомство с генералом» — и несколько самых первых фраз, я подумал, что я ведь познакомился не только с самим генералом, но и с Чучу — одним из немногих в Национальной гвардии, кому генерал безоговорочно доверял, и со всей этой причудливой и прекрасной маленькой страной, рассеченной надвое каналом и американской зоной,— страной, которая благодаря генералу Торрихосу сыграла большую роль в освободительной борьбе Никарагуа и Сальвадора.

Когда я заканчивал эту книгу, одна моя приятельница спросила: «Почему тебя всю жизнь интересует Испания и испаноязычная Америка? Мексика в романе «Сила и слава», Парагвай в «Путешествии с тетушкой», Куба в «Нашем человеке в Гаване», Аргентина в «Почетном консуле». Ты бывал у президента Альенде в Чили, а недавно опубликовал «Монсеньора Кихота...»

Вопрос показался мне непростым, ответ на него крылся в темных глубинах подсознания. Интерес ко всему испанскому возник у меня задолго до поездки 1938 года в Мексику для сбора материалов о религиозных преследованиях. Во втором моем романе, «Вечерние вести», изданном в 1934 году, действие происходит в Испании в эпоху карлистских войн, хотя сам я к тому времени побывал в Испании только однажды — шестнадцати лет от роду — и провел там все-

© Graham Greene, 1984

ГРЭМ ГРИН — GRAHAM GREENE (род. в 1904 г.)

Английский писатель. Читателям журнала известен по переведенным на русский язык романам: «Тихий американец» («ИЛ», 1956, № 6—7), «Наш человек в Гаване» («ИЛ», 1959, № 3—4), «Ценой потери» («ИЛ», 1964, № 9—10), «Комедианты» («ИЛ», 1966, № 9—10), повести «Доктор Фишер из Женевы, или Ужин с бомбой» («ИЛ», 1982, № 6). В «Иностранной литературе» напечатаны также его очерк «J'Accuse». Теневая сторона Ниццы» (1983, № 7) и набросок киносценария из книги «Каждый десятый» (1986, № 1). Книга Грэма Грина «Мое знакомство с генералом, или Как я оказался ко всему этому причастным», фрагменты которой предлагаются вниманию читателей, вышла в Лондоне в 1984 г. ("Getting to Know the General. The Story of an Involvement". London, The Bodley Head).

го один день. Я плыл со своей тетей Евой на пароходе в Лиссабон и во время стоянки в Виго съездил в Корунью. Тетя Ева направлялась в Лиссабон навстречу дяде, который возвращался из Бразилии, где у него были кофейные плантации, и я предложил ей съездить из Виго на могилу генерала Джона Мура, приходившегося нам дальней родней и убитого во время знаменитого отступления под натиском французов. Его похоронили в Корунье, «глухою полночью штыком могилу вырыв», как говорится об этом в единственном известном стихотворении ирландского священника, его преподобия Чарльза Вулфа. Второй раз я посетил могилу, на которой начертаны эти строки, шестьдесят лет спустя, когда в голове у меня уже зрел замысел «Монсеньора Кихота».

«Вечерние вести» — очень плохой роман, его переиздание меня бы не порадовало, однако мой интерес к Испании уходит корнями в еще более давнее прошлое.

— У меня был еще один роман,— объяснил я моей собеседнице,— я его начал сразу после Оксфорда, но, к счастью, так и не нашел издателя. Назывался он «Случай из жизни». Я тогда как раз дочитывал единственную книгу Карлайла, которую смог одолеть до конца,— биографию несостоявшегося поэта по имени Джон Стерлинг, который в молодости был связан с испанскими эмигрантами в Лондоне. Первое издание этой книги и сегодня стоит у меня в шкафу, я наткнулся на него в Чичестере лет двенадцать назад и приобрел за десять шиллингов, но с тех пор не перечитывал.— Я снял с полки томик 1851 года издания и открыл на оглавлении: часть первая, глава восьмая: «Торрихос».

Знакомое имя смотрело на меня с книжной страницы как привет от погибшего друга. И я начал читать вслух про злосчастных испанцев, с которыми судьба столкнула юного Стерлинга, а заодно и героя моего романа. «Величавые, трагические фигуры в поношенных плащах; поджав губы, они гордо расхаживали по широким мостовым Юстон-сквер и вблизи новой церкви Сент-Панкрас,— читал я.— Признанным вождем этих нищих испанских изгнанников был генерал Торрихос, человек высоких достоинств и взысканный судьбой, еще в полном расцвете сил, не поддававшийся отчаянию и в самых отчаянных обстоятельствах, даже когда дела принимали драматический оборот».

Нынешний генерал Торрихос, которого я научился ценить и любить, погиб, когда тоже был в расцвете сил. Я был рядом с ним, когда обстоятельства вокруг него приняли самый драматический оборот — в период завершения длительных переговоров с Соединенными Штатами о Панамском канале и наступившей затем полосы разочарований. Он тоже не поддался отчаянию и даже всерьез думал о возможности вооруженного столкновения между своей крошечной родиной и могущественной державой, захватившей Зону канала.

Но откуда все-таки, допытывалась моя приятельница, этот пристальный, многолетний интерес к Испании и Латинской Америке? Возможно, что ответ заключается в следующем: в этих краях политика, как правило, не соперничество партий на выборах, а вопрос жизни и смерти .

Часть I 1976

Я был удивлен и заинтригован, когда зимой 1976 года получил в Антибе телеграмму из Панамы за подписью некоего сеньора В. (фамилия мне ничего не говорила). В телеграмме сообщалось, что генерал Омар Торрихос Эррера приглашает меня посетить Панаму в качестве его гостя и готов выслать оплаченный билет на самолет любой авиакомпании по моему выбору.

Я и по сей день не знаю, что именно побудило генерала направить это первое приглашение, но я принял его без колебаний. Про того генерала Торрихоса, чуть не вовлекшего некогда беднягу Джона Стерлинга в опасную авантюру, я успел забыть, а вот Панама, даже больше, чем Испания, неотступно занимала мое воображение. Мальчиком я видел в театре «Друри-Лейн» спектакль по пьесе Стивена Филипса; в одной сцене там показывали налет Дрейка на караван мулов, двигавшийся по «золотой тропе» из Панамы к заливу Номбре-де-Дьос. И еще я помнил наизусть строки из баллады Ньюболта «Барабаны Дрейка»:

Не тревожьте вы сон сэра Фрэнсиса Дрейка.
Вот где ему уснуть довелось —
На дне залива Номбре-де-Дьос!

И что за беда, если Ньюболт здесь не совсем точен и на самом деле тело Дрейка было предано океану в нескольких милях от Номбре-де-Дьос, в заливе Портобело?

А потом настал день, когда я очутился в городе Давиде и на рубашке черножого солдата из охраны генерала Торрихоса увидел значок с фамилией: Дрейк.

В шутку я спросил, не потомок ли он сэра Фрэнсиса Дрейка.

— А что, запросто может статься,— ответил тот с широкой улыбкой. И я продекламировал ему строки Ньюболта.

Я уже повидал тогда остатки «золотой тропы» и готовился посетить Номбре-де-Дьос, ныне захудалую индейскую деревушку, куда не проедешь верхом на муле; удивительно, но я начинал чувствовать себя совсем как дома в этой далекой маленькой стране моих грез — ничего подобного со мной не происходило ни в одной другой латиноамериканской стране. Пройдет еще год, и я, будто так и надо, с панамским дипломатическим паспортом отправлюсь в Вашингтон на церемонию подписания договора с Соединенными Штатами о статусе Зоны канала. В чем, в чем, а в чувстве юмора

генералу Торрихосу не откажешь, это было одним из самых его привлекательных свойств.

Я ответил, что приглашение принимаю, и сразу же написал своему приятелю Бернарду Дидриху, с которым был знаком по Гаити и Доминиканской Республике. Теперь он работал в Центральной Америке корреспондентом журнала «Тайм». В ответном письме Дидрих посоветовал проявлять осторожность в отношении сеньора В., одного из советников генерала, и вызвался приехать из Мехико, где жил с женой-гаитянкой и детьми, в Панаму для встречи со мной.

Я решил лететь прямым рейсом из Амстердама, чтобы не пересаживаться в Соединенных Штатах, где у меня могли возникнуть осложнения с визой. Я и представить себе не мог, что этот длинный путь из Амстердама в Панаму — пятнадцать часов в воздухе с тремя промежуточными посадками — станет для меня таким привычным.

Пресыщенный многократными перелетами в Африку, в Малайю, во Вьетнам, я впервые за много лет снова ощутил магическую прелесть дальних странствий. Недаром же, едва очутившись в Амстердаме, я сразу начал заносить в путевой блокнот всевозможные, даже самые банальные мелочи.

Чем ближе к Панаме, тем больше охватывало меня возбуждение и веселее становилось на душе — ничего подобного я не испытывал, отправляясь во Вьетнам, когда там шла война с французами, или в Малайю во время чрезвычайного положения, или в Кению, где началось восстание мау-мау, или в конголезский лепрозорий. То все были серьезные путешествия, не чета нынешнему, которое представлялось мне какой-то смешной эскападой: нежданно-негаданно получил приглашение от совершенно незнакомого человека и вот — лечу.

Страх испытать нетрудно, но душевный подъем на старости лет — дефицитный товар, и уже поэтому я был благодарен незнакомому генералу Омару Торрихосу. Вскоре я узнал, что его официальный титул — Высший лидер панамской революции и что фактически он руководит страной.

Впрочем, по прибытии я довольно быстро сник. В аэропорту меня встретили два учтивых незнакомца. Мне было сообщено, что загадочный сеньор В. на день-два отлучился в Нью-Йорк, но его машина в моем распоряжении. Меня отвезли в отель «Панама» (ныне, увы, переименованный в «Хилтон») и оставили в огромном номере — шестьдесят футов в длину, я измерил его шагами. Дидриха в Панаме не было, и я заскучал, так как почти не говорю по-испански. Сорок лет назад в Мексике, проглотив двадцать уроков ускоренного курса Берлица, я освоил настоящее время, но перед будущим и прошлым спасовал, а теперь забыл и настоящее. Я начал испытывать некоторую робость при мысли о таинственном генерале и чувствовал себя в этом гигантском номере довольно глупо.

Но около пяти все наладилось: прилетел Дидрих. Прошло лет десять с тех пор, как мы с ним ехали в машине по пограничной тропе (которая только на карте могла сойти за международную автомагистраль) между Гаити папы Дока и Доминиканской Республикой, где я должен был побывать, чтобы закончить свой роман «Комедианты». Мы с ним тогда еще заехали в лагерь гаитянских повстанцев, расположенный в помещении бывшего сумасшедшего дома, которое им выделило доминиканское правительство.

Годы не изменили Дидриха. Мы сидели с ним, пили виски и делились новостями. Он, правда, не мог объяснить загадочное приглашение генерала Торрихоса, но по крайней мере сумел до некоторой степени просветить меня по другим вопросам. Сеньор В., как он объяснил, был приспешником бывшего президента Ариаса, доверять ему никак не следовало. Когда двое молодых полковников Национальной гвардии, Торрихос и Мартинес, положили конец столетнему правлению семейства Ариас, отправив последнего Ариаса на самолете в Майами, сеньор В. усидел на своем месте, и даже когда вслед за свергнутым диктатором правый полковник Мартинес тоже угодил в эту «долину павших», сеньор. В. все равно уцелел. Впрочем, не он один. Были и другие. Торрихос не из тех, кто производит полную смену аппарата, он не догматик. Есть, например, в Панаме один журналист, сторонник старого режима, его тоже лучше остерегаться. Дидрих наглядно описал мне его внешность: маленький, толстый, с неискренне-приветливым выражением лица, то и дело без причины разражается смехом; на следующий день он действительно появился, и я без труда узнал его среди прочих.

Коснулись мы и политической ситуации.

— А что же с переговорами насчет возврата Зоны канала? — поинтересовался я. — Как они продвигаются?

— По-прежнему еле-еле. У генерала уже кончается терпение. И у американцев, живущих в Зоне, кстати сказать, тоже.

Тут зазвонил телефон. Говорил один из тех двоих, что встречали меня в аэропорту. Сообщил, что генерал на следующий день намерен съездить в провинцию. Не хочу ли я поехать с ним?

Я спросил, можно ли мне захватить с собой моего друга. Имя Дидриха оказалось моему собеседнику знакомо. Он замялся: по-видимому, звание корреспондента журнала «Тайм» не внушало ему доверия. Сказал, что выяснит. Через несколько минут он позвонил снова и передал ответ генерала: «Сеньор Грин — наш гость. Он может взять с собой кого пожелает». Завтра в десять часов утра за нами заедет машина.

Но утром случилось маленькое недоразумение. Ровно в десять к отелю подали автомобиль и вызвали сеньора Грина. Мы с Дидрихом сели и поехали, но минут через десять меня (сам не знаю

почему) одолели сомнения: туда ли мы едем? Оказалось — в самом деле не туда. Машина была не та, и я — не тот Грин, за которым она приехала. Пришлось вернуться и начинать путь заново от порога отеля. На этот раз машина была та и за рулем сидел человек, приехавший именно за мной и сделавшийся вскоре моим гидом и наставником, он и по сей день остается моим добрым другом. Профессор Хосе де Хесус Мартинес — в Панаме известный всем как Чучу, состоял при генерале сержантом службы безопасности. Он поэт и полиглот, знает кроме родного испанского английский, французский, итальянский и немецкий. Но в то утро он был всего лишь неизвестным сержантом, доставившим нас в дом на окраине, где генерал жил чаще, чем в собственном доме,— отчасти по соображениям безопасности — в гостях у своего закадычного друга Рори Гонсалеса: Гонсалес был управляющим на медном руднике и сдружился там с молодым лейтенантом Торрихосом, еще когда тот проходил службу в глубинке.

Дом был небольшой и ничем не примечательный. Единственное, что было необычно, это фигуры военных в маскировочных костюмах у входа и за домом — вокруг бетонированной площадки чуть меньше теннисного корта, которая служила мини-аэродромом для вертолета. Нас пропустили внутрь, мы прошли мимо фарфоровой собаки в натуральную величину и сели дожидаться хозяев. В клетке безмолвно прыгал с жердочки на жердочку попугайчик, словно отсчитывал секунды, как птичка в хитроумных швейцарских часах.

В комнату вошли двое. Оба были в трусах, в халатах. Один босиком, второй в тапочках,— трудно сказать, который из них генерал. По виду обоим за сорок, но один полный, с гладким моложавым лицом — из тех, что почти не меняются до старости, а второй (тот, что босиком) худощав и хорош собой, с живыми глазами, на лоб спадает прядь волос. Тогда, при первой встрече, глаза его смотрели настороженно, даже с опаской, словно разглядывали доселе незнакомую разновидность человеческой породы. Я решил — и правильно,— что это и есть генерал.

За следующие четыре года я хорошо узнал эти глаза; порой они выражали почти безумное веселье, порой искреннюю теплоту, иногда становились непроницаемы. Но чаще всего в них сквозила обреченность. И потому, когда меня во Франции настигло известие о его гибели в авиационной катастрофе — несчастный случай? бомба? — я не только ощутил внезапную боль, но и с грустью подумал, что свершилось давно ожидаемое и неизбежное. Помню, я как-то спросил его, что он чаще всего видит во сне, и он ответил не раздумывая: «La muerte»[1].

Некоторое время мы разговаривали о том о сем (через переводчика — Чучу), и из этого первого несвязного разговора я узнал, что он, как и я, сын школьного учителя, что в семнадцать лет он убежал из дома и поступил в военную академию в Сальвадоре. Возможно, он намеренно строил из себя перед приезжим незнакомцем, которого зачем-то (он и сам, быть может, уже недоумевал зачем) пригласил в свою страну, эдакого прямолинейного человека действия — автопортрет, весьма далекий от оригинала. Так, взглянув искоса в мою сторону, он стал ругать интеллигентов:

— Интеллигенты, они как тонкое стекло или хрусталь, могут треснуть от громкого звука. А Панама — сплошь земля и камень.

Но он сам, возразил я, только потому не стал интеллигентом, что вовремя удрал из школы. Тут я впервые удостоился его улыбки.

Потом заговорили о странах Карибского бассейна. Генералу, оказывается, было известно, что я побывал на Кубе, Гаити, Мартинике, Сент-Китсе, Гренаде, Барбадосе, в Доминиканской Республике и на Ямайке. Откуда, спросил он, такой интерес?

Он у нас в некотором роде наследственный, ответил я и рассказал, как мой дед в пятнадцать лет был послан на Сент-Китс помогать брату управлять семейной сахарной плантацией, как через несколько месяцев его девятнадцатилетний брат умер от желтой лихорадки и, если верить семейному преданию, оставил после себя тринадцать детей.

Этот рассказ помог мне завоевать доверие генерала. Он сразу оттаял; не может же в самом деле человек с такими предками считаться интеллигентом!

Мой дед, продолжал я, вернувшись в Бедфордшир, всю жизнь не мог забыть далекий Сент-Китс и в конце концов на старости лет, оставив жену и детей, вернулся туда — умирать. Я описал две могилы, расположенные рядом, которые посетил на этом острове, и церковь, так похожую на старую деревенскую церковь в Англии.

И может быть, имея в виду мой рассказ, генерал через какое-то время заметил, говоря о Панаме: «Если деревенское кладбище заросло травой, значит, в деревне, которой оно принадлежит, живут никуда не годные люди. Кто не заботится о мертвых, не позаботится и о живых»...

Атмосфера встречи решительно переменилась. Стоило мне сказать, что шофер, присланный сеньором В., не говорит по-английски, и генерал сразу же назначил моим гидом Чучу. «Он будет возить вас куда захотите. А сеньора В. выкиньте из головы». И в течение последующих четырех лет Чучу всякий раз неизменно встречал меня в аэропорту и возил действительно повсюду, куда бы я ни пожелал, будь то внутри Панамы или за ее пределами — в Белиз, Никарагуа, Коста-Рику,— на самолете, на вертолете, на автомобиле.

Однако в то утро выбор сделал Торрихос. Он захотел провести несколько часов на острове Контадора (это один из Жемчужных островов, где позднее со-

[1] Смерть *(исп.)*.

держался под своего рода домашним арестом охраняемый тем же Чучу иранский шах, который был потом отправлен в Египет и там умер). Пока в аэропорту готовили самолет генерала, двое детей затеяли с Торрихосом игру. Впоследствии я заметил, что он словно притягивал к себе детей. Эти двое со своей матерью собирались лететь обычным рейсом, но — возможно, потому, что мать была молода и красива, — Торрихос пригласил их лететь с нами.

Недавняя его настороженность по отношению к интеллигентам исчезла без следа. Наоборот, теперь он с восхищением говорил о романах Гарсиа Маркеса, восторгался стихами одного романтического, но, по мнению Чучу, второстепенного испанского поэта.

К нам подошел еще один ребенок и, сунув в карман Торрихоса отцовскую визитную карточку, потребовал взамен карточку генерала. Генерал безропотно согласился на обмен, как смирился и с присутствием откуда-то взявшегося толстого журналиста, в котором я узнал, по описанию Дидриха, опасный «пережиток» времен Ариаса. Лицо Чучу выражало открытую неприязнь, но генерал преспокойно продолжал свой рассказ о переговорах с Соединенными Штатами, не обращая внимания на возможного шпиона.

— Если бы канал построили французы, как планировалось первоначально, де Голль бы его уже вернул. Картер должен в ближайшее время возобновить переговоры, иначе придется принимать меры. В 1977 году у США иссякнут отговорки, а у нас последнее терпение.— Он говорил так, будто Панама и Соединенные Штаты — равные державы. В каком-то смысле он так и думал.

А для нетерпения у генерала были все основания. Он припомнил беспорядки 1964 года, когда Национальная гвардия осталась в казармах, предоставив «поле боя» студентам; молодой офицер Торрихос со стыдом смотрел на бездействие гвардейцев.

— Очень хорошо,— сказал он,— что госсекретарем Картера назначен Вэнс. Он был здесь, когда начались беспорядки, нам пришлось тайком выводить его из гостиницы и переправлять в Зону. Уж кто-кто, а он знает, что такое возмущенные панамцы. Здорово он тогда струхнул!

Помолчав, генерал добавил:

— Если теперь студенты опять ворвутся в Зону, я должен буду либо подавить их выступление, либо возглавить. Подавлять его я не стану.

Потом он произнес фразу, которую любил повторять:

— Я не хочу войти в историю. Я хочу войти в Зону канала.

Что ж, он в нее вошел, хотя и не совсем на тех условиях, на какие надеялся, и не исключено, что за свой успех он поплатился жизнью.

Мы слишком склонны мерить одной меркой всех генералов Центральной и Южной Америки. Торрихос был одинок. В своей дипломатической борьбе с Соединенными Штатами он не получил поддержки ни от Виделы, ни от Пиночета, ни от Бансера — авторитарных генералов, которые удерживались у власти в Аргентине, Чили и Боливии и вообще существовали на свете лишь благодаря тому, что получали помощь от США, поскольку олицетворяли в глазах американцев антикоммунизм. Торрихос не был коммунистом, но он был другом и поклонником Тито и поддерживал добрые личные отношения с Фиделем Кастро, который снабжал его превосходными сигарами со своими именными бандеролями и советовал ему проявлять благоразумие,— правда, совет этот был Торрихосу совсем не по вкусу, и он следовал ему неохотно. Его страна стала прибежищем для эмигрантов из Аргентины, Никарагуа и Сальвадора, и мечтал он, как я узнал за годы нашего знакомства, о социально-демократической Центральной Америке, которая не представляла бы никакой угрозы для США, но была бы совершенно независима. Однако, приближаясь к успеху, он приближался и к смерти.

В тот солнечный день на Контадоре он был весел и неосторожен в высказываниях. Это потом уже мне показалось, что я прочел в его глазах предчувствие смерти — смерти, положившей конец не только его мечте об умеренном социализме, но, возможно, и всякой надежде на приемлемый мир в Центральной Америке.

Именно здесь, на Контадоре, проходили растянувшиеся на годы переговоры с Соединенными Штатами. На днях снова ожидался приезд делегации, как обычно, под руководством старого мистера Элсворта Банкера, в прошлом американского посла в Южном Вьетнаме. Делегация должна была провести на этом приятном курортном острове одну неделю, а затем отбыть на родину до будущего года. От очередного раунда многого не ждали. В своей превосходной книге о Вьетнаме Глория Эмерсон так писала о Банкере: «В течение семи лет он неуклонно и старательно проводил американскую политику во Вьетнаме. О нем в лучшем случае отзывались как о человеке жестоком, холодном и упрямом. Вьетнамцам он был известен под прозвищем «Морозильник».

На следующий день мы с Дидрихом сели в поезд и поехали по железной дороге, связывающей столицу с Колоном, городом на атлантическом побережье. Дорога эта была построена во времена «золотой лихорадки», в 40-е годы прошлого столетия, ценою тысяч человеческих жизней.

В Колоне мы условились встретиться с Чучу в отеле «Вашингтон», так как обратно хотели проехать через Зону на машине — по остаткам старой «золотой тропы».

Я скоро понял, что к сержанту своей личной охраны Чучу генерал Торрихос питает гораздо больше доверия, чем, например, к начальнику штаба полковнику Флоресу. Он уважал литературу, и то, что Чучу не только профессор и матема-

тик, но еще и поэт, способствовало укреплению их дружбы. Торрихос даже доверил Чучу право распоряжаться его банковским счетом, так что Чучу имел возможность, не компрометируя открыто генерала, помочь многим эмигрантам, спасавшимся бегством из Никарагуа от Сомосы, из Аргентины от Виделы и из Чили от Пиночета.

Чучу сохранял верность марксизму, но в первую очередь он был предан Торрихосу, хотя вера генерала в социал-демократию, должно быть, казалась ему чем-то вроде рома, разбавленного розовой водой. Однажды, в тот первый мой приезд, когда мы втроем обсуждали извечную проблему канала, Чучу вдруг воскликнул: «Конфронтация лучше, чем договор!» — и сразу же с опаской покосился на генерала, отдыхавшего в гамаке, должно быть, спохватился, что говорит с генералом, имея всего лишь сержантские погоны. Торрихос же спокойно ответил: «Согласен», ибо в его представлениях о социал-демократии не было ни капли розовой воды. Это была страстная мечта, романтическая, если угодно.

Бывает, что лидер внушает любовь и уважение, вселяя в людей надежду на победу, даже если силы неравны; яркие примеры тому — Кастро и Черчилль. Торрихос совершенно не сознавал, что наделен обаянием иного рода — обаянием человека, близкого к отчаянию. В сорок восемь лет чувствовать, что время уходит, но при этом не рубить с плеча, а действовать исподволь, благоразумно; возводить новую государственную систему, продвигаться понемногу в сторону демократии, пользуясь методами, требующими бесконечного терпения (притом, что в личной жизни он никогда не мог набраться терпения и доехать до моста или переправы, если на пути оказывалась река,— он немедленно бросался в воду и переправлялся вплавь); жить день за днем заботой о Зоне канала, мечтать о том, чтобы, не мудрствуя, по-солдатски, помериться с противником силой, а вместо этого обуздывать себя, следуя благоразумному совету Фиделя Кастро... Все это ох как непросто. Однажды он признался мне: «А я-то считал, что, получив власть, буду свободен».

В последующие четыре года я часто задавал себе вопрос: хватит ли ему времени, успеет ли он воплотить в жизнь свою мечту о демократии? Мне кажется, что сегодня мы в Англии более чем когда-либо готовы признать иные формы демократического правления (даже под эгидой военного лидера), отличные от наших парламентских форм, вполне отвечавших на протяжении минувших двухсот лет нашим специфическим условиям. Одну из таких новых систем демократии создала маленькая Панама.

Национальная ассамблея Республики Панамы состояла из 505 депутатов, избранных различными округами. Чтобы выставить свою кандидатуру в ассамблею, надо было предъявить не менее двадцати пяти писем в свою поддержку. Избранные депутаты заседали в столице раз в году в течение месяца и за это время докладывали о положении дел у себя в округах и голосовали по законодательным вопросам. Все остальное время они были обязаны жить среди своих избирателей, разделяя с ними все их трудности. (Не то что наши парламентарии, раз в неделю устраивающие прием избирателей: у меня сложилось впечатление, что в Панаме на второй срок депутаты избирались гораздо реже, чем у нас.) А в течение года по округам разъезжал Законодательный совет, состоящий из 15 членов, и обсуждал с представителями на местах законы, которые будут выдвинуты на утверждение ассамблеи. Депутаты могли иметь любые политические убеждения, они представляли свой округ, а не свою партию.

Министров назначал глава государства — Торрихос улыбнулся, когда я ему сказал, что человек сам выбирает себе врагов, но не друзей: среди его министров было несколько реакционеров, избранных по тактическим соображениям. Сам генерал, как и члены его Законодательного совета, постоянно находился в разъездах, выслушивал на местах жалобы жителей, привозил с собой министров, чтобы они держали ответ перед народом. В такой маленькой стране, как Панама, эта система работала совсем неплохо. Она ближе к афинской агоре, чем к британской палате общин, это еще не значит, что она хуже. Очень может быть, что после подписания договора, когда генерал, ублажая американцев, сформировал собственную партию и назначил парламентские выборы на старый лад, с прежними ярлыками: «консерваторы», «либералы», «социалисты», «коммунисты»,— очень может быть, что на самом деле это было шагом назад от подлинной демократии.

По возвращении из Колона я побывал на типичной встрече избирателей с депутатами в Чоррильо, беднейшем районе столицы. Депутат от Чоррильо говорил невероятно долго, а жалобы избирателей порой касались даже таких мелочей, как нерадивость администратора районного плавательного бассейна. Генералу было скучно, но он не показывал виду, только рассеянно посасывал сигару одну из отличных гаванских сигар, подаренных Фиделем Кастро. Сколько же часов он вот так просиживает на подобных митингах во время своих поездок по стране, подумалось мне.

В тесно набитом зале все с облегчением вздохнули, когда депутат наконец покинул трибуну. Дело сразу пошло живее. Цветная девушка вытащила за собой на эстраду безмолвную старуху; визжа и размахивая руками над головой, она сообщила собранию, что этой женщине уже семьдесят шесть лет, а она все еще работает на правительство, так как не имеет пенсии. Теперь речам в кульминационные моменты аккомпанировали барабаны сочувствующих. Все это было очень похоже на гаитянское колдовство. Вот выступает оратор-негр и убежденно и величаво провозглашает: «На нашей стороне — моральный авторитет низкооплачиваемых трудящихся». В выступле-

ниях снова и снова заходит речь о Зоне канала: «Мы готовы войти в Зону, мы с тобой, только дай приказ» — и дробный рокот всех барабанов. Генерал отложил сигару.

Поступила серьезная жалоба. В новых высотных жилых домах плохо обстоит дело с лифтами и окнами — та же ситуация, что и у нас в Англии или во Франции. Квартиры в этих домах — для богатых, которые могут проводить время в театрах, ресторанах, в гостях, а не для бедняков, обреченных на жизнь в четырех стенах. К тому же еще и квартирная плата не по карману жильцам, многие задолжали за квартиру. Генерал предложил министру жилищного строительства ответить на жалобу, тот что-то беспомощно залепетал. Генерал потребовал дополнительных сведений. С гневной речью выступила молодая девушка, какая-то женщина закатила истерику. Барабаны отбивали дробь.

Затем обсуждалось медицинское обслуживание — министр здравоохранения возмущенно защищал своих врачей. Он произвел более благоприятное впечатление, чем предыдущий министр. Потом молодой член муниципалитета потребовал принять меры, чтобы обеспечить безопасность на улицах. Время бежало быстро.

Когда очередь дошла до генерала, он не стал выходить на трибуну, а подошел к самому краю эстрады, держа в руке стакан с водой; у ног его колыхалось море лиц — какая уж тут безопасность! Офицер Национальной гвардии неподвижно сидел на эстраде и жевал резинку, будто американский полковник.

Ко мне, работая локтями, протиснулся толстый газетчик, против которого предостерегал Дидрих, и я спросил его, что это за офицер.

— Полковник Флорес, начальник штаба. Вполне преданный человек. И отец его тоже был вполне преданный.

Преданный кому? — подумал про себя я. Может быть, президенту Ариасу?

Это была первая встреча генерала Торрихоса с населением Чоррильо, и трущобы Чоррильо не собирались отмалчиваться. Лица их обитателей выражали, быть может, и гнев, и досаду, и фанатизм, но все-таки это были дружественные лица. «Мы тут вас хорошо знаем, генерал. Каждую неделю видим, как вы едете мимо покупать лотерейные билеты». Хохот среди собравшихся. И барабаны хохочут тоже.

В тот вечер я ужинал вместе с Чучу и одной из его подопечных — эмигранткой из Аргентины, которая бежала от режима Виделы и нашла пристанище в Панаме. Мы сидели под звездным небом на берегу Тихого океана, ели неважный ужин (хорошая еда в Панаме — редкость), запивая его бутылкой чилийского вина. «Смотри, чтобы вино было допиночетовского года,— заказал Чучу.— Альендевского года». Мне было хорошо и уютно, только чуточку грустно от мысли, что пробуду я здесь совсем недолго. Мог ли я знать, что еще вернусь сюда — и не раз и не два?..

Многое из того, что я видел в Панаме за последующие четыре года, оказалось странным и неожиданным, как сновидение. Республика Панама была для меня неведомым краем: приезжая туда, я словно совершал новые географические открытия, и первым таким открытием был «дом с привидениями».

Мы с Чучу проехали по Мосту Америк. В пути видели океанские суда, ожидающие очереди, чтобы войти в Панамский канал и пройти из Тихого океана в Атлантический. Мы пересекли Зону канала, принадлежащую Соединенным Штатам, и снова очутились на территории Панамы. Пограничных столбов здесь не было; где именно проходила граница, осталось неясным, но «дом с привидениями» — это уже бесспорно была Панама Бар, расположенный по соседству, изукрашенный кабалистическими знаками и носящий название, которое в переводе с испанского означает: «Заколдованный»,— в Штатах ничего подобного не увидишь. Бармен рассказал нам, что соседний дом пустует вот уже сорок лет. Его владелец, он же и владелец бара, человек уже в летах, живет в столице. Свой дом он не хочет ни продавать, ни сдавать жильцам. Да, признался бармен, суеверные люди действительно считают, что в этом доме обитает привидение.

— Чье же?

— Женщины. И оно издает страшные вопли.

— Можно нам пойти осмотреть дом?

А там нечего смотреть, заверил нас бармен. Пустой дом, и все. Да притом нельзя без позволения хозяина.

Как нам увидеть хозяина?

Если мы посетим бар в воскресенье, то обязательно его застанем, он всегда приезжает по воскресеньям.

— Передай ему,— распорядился Чучу с высоты своего сержантского авторитета,— что мы заедем в следующее воскресенье.

Мы вышли из бара и внимательно осмотрели соседний дом снаружи: неказистое здание, примечательное разве что своей дурной славой да полной неприступностью. Двери, и без того массивные, забраны стальной решеткой, на окнах — ставни. Однако в одной из дверей мы нашли дырочку и заглянули внутрь. Дом оказался не совсем пустой: в темноте я разглядел угол буфета и две картины на стене. Похоже, здесь попахивало давним преступлением. Женщина, издающая вопли?

— Надо посмотреть, что там внутри,— сказал я Чучу.

— На обратном пути,— ответил он, но прошел целый год, прежде чем я сумел осуществить свое намерение. Легче оказалось подружиться с генералом Торрихосом, чем проникнуть в «дом с привидениями».

Оттуда мы поехали по направлению к Сантьяго. Мы собирались ненадолго задержаться в маленьком городке, носящем название Антон, где, по словам Чучу, находится чудотворное распятие.

Сам Чучу, разумеется, в христианского бога не верил, недаром же он был марксист. Зато верил в дьявола. «Ты не замечал,— говорил он мне,— если дверь надо толкнуть, ты обязательно потянешь на себя, а если надо тянуть, то толкнешь. Вот это и есть козни дьявола». Когда мы приехали, церковь оказалась на запоре и ни одна живая душа не знала, где найти священника. «Ничего,— утешил меня Чучу.— На обратном пути». Он второй раз за короткое время произнес эту фразу, и вдруг в моем воображении она превратилась в заглавие нового романа; увы, мне не суждено было его написать.

В Сантьяго мы отыскали мотель и попросили два номера. «А где же девушки?»— удивленно, с подозрением спросил хозяин.

Чучу отстегнул ремень с кобурой и, сняв с предохранителя, положил револьвер на тумбочку у кровати. «Предосторожность?» — спросил я. Потом, уже во Франции, я имел случай вспомнить его ответ-афоризм: «Револьвер — плохая защита» Чучу и впрямь был мудрецом. Даже двери мотеля подтвердили его правоту, доказав существование дьявола.

По пути из Сантьяго он рассказал мне забавную историю, которая приключилась с ним однажды в Давиде. Он вез ректора Гватемальского университета, и в машине была бутылка виски, которую почетный гость целиком осушил, пока Чучу сидел за рулем. Когда приехали в Давид, ректор был совершенно пьян, а все гостиницы в городе почему-то были переполнены. Подались в полицейский участок, думали вымолить на ночь тюремную камеру, но камеры тоже оказались все полны. Оставался еще городской сквер, где стояли каменные скамьи, однако на скамьях уже спали четырнадцать педерастов. По счастью, Чучу был в мундире. Он приказал начальнику полиции увезти педерастов в участок, там им прочитали длинное наставление и распустили по домам, а Чучу с ректором смогли выспаться на освободившихся скамейках.

А мы с ним в Давиде расположились в казармах Национальной гвардии, так что Чучу мог без опасений оставить на ночь машину генерала — он все время помнил о бомбе, которую один раз подложили в его собственную машину. В казарме нас принимал капитан Уонг. А утром я слышал, как, прощаясь с ним, Чучу пообещал заехать еще — «на обратном пути». Капитан Уонг, чудотворный Христос, «дом с привидениями» — все «на обратном пути». И снова у меня ожил замысел романа под таким заглавием. В книге это обещание так и должно было остаться невыполненным — для моих героев не было пути назад.

Весь следующий день Чучу сидел за рулем молчаливый и грустный, я же словно вернулся к жизни после долгой болезни — злокачественного «писательского паралича». Я как раз заканчивал работу над романом «Человеческий фактор», который когда-то надолго забросил, а потом в отчаянии к нему вернулся, надеясь преодолеть болезнь немоты. Разрыв между этим романом и предыдущим составил пять лет, и я уже предчувствовал новую полосу молчания после того, как работа над «Человеческим фактором» подойдет к концу и оставит после себя незаполнимую пустоту.

И вот новый замысел — «На обратном пути»: не сочтены еще дни моей писательской жизни. Главные повороты сюжета и персонажи уже выстраивались: напряженные отношения между Панамой и Штатами — личность самого Чучу — бомба, взорвавшаяся у него в автомобиле,— фраза, которую он бросил, раздеваясь в мотеле: «Револьвер — плохая защита» — его доказательство бытия дьявола — ректор Гватемальского университета и четырнадцать педерастов. Мы катили по горным дорогам, впечатления множились, роились у меня в голове. Вот почему я чувствовал себя счастливым, когда мы въехали в Букете, очаровательный городок на склоне вулкана почти в километре над уровнем моря. На улочках его стоял звон бегущей воды, а воздух был свежий-свежий, не хуже, чем в Швейцарии, и даже городская гостиничка оказалась симпатичной как и ее владелица — грациозная и цветущая, прямо — молодая Уна Чаплин.

В номере перед сном я набросал в путевом дневнике первые заметки к новому роману. далекий от мысли, что он так и останется ненаписанным. «Завязка романа: молодая француженка едет по заданию редакции левого журнала брать интервью у генерала Торрихоса. Для нее это бегство от неудачного замужества, она не хочет больше страдать. Но в конце концов избирает не счастье, а прежнюю боль».

На следующий день мы вернулись в Давид, чтобы оттуда на местном самолете слетать в Бокас-дель-Торо, захиревший банановый порт на острове того же названия. Меня он притягивал потому, что это — крайняя западная точка, до которой добрался в свое время Колумб, и, как с неизменной прямотой выражается «Путеводитель по Южной Америке», «сюда не заглядывают туристы».

По пути я рассказал Чучу про задуманный роман — возможно, именно из-за этого я так и не пошел дальше первой главы Рассказать — это почти то же, что написать, одно заменяет другое.

— Главные герои — ты и молодая француженка-журналистка,— объяснил я ему.— Генерал назначает тебя сопровождать ее в поездке по стране, дает тебе один из своих личных автомобилей, и вы отправляетесь в путь, вот как мы с тобой. Вам то и дело встречаются достопримечательности, которые по той или иной причине не удается увидеть,— чудотворный Христос, например, или «дом с привидениями». И ты всякий раз повторяешь: «Ничего. На обратном пути». Это и будет названием романа: «На обратном пути». Вся ирония в том, что ни тебе, ни ей не суждена дорога назад.

— Мы становимся любовниками? — живо интересуется Чучу.

— Видишь ли, у тебя такое намерение возникает, но она совсем не похожа на других женщин, которых ты знал. Тебя удерживают страхи и сомнения. Но все равно, к тому времени когда вы приезжаете в Давид или другой какой-нибудь городишко вроде него, вы уже оба понимаете, что дело идет к тому. Вы подъезжаете к гостинице и, не сговариваясь, просите номер на двоих. Ей нужно помыться с дороги, привести себя в порядок, причесаться. А ты говоришь ей, что должен для безопасности отогнать на ночь машину генерала к национальным гвардейцам, но скоро вернешься... и тогда вы, конечно, проведете вместе ночь, это вам обоим ясно без слов. Она принимает ванну, расчесывает волосы. Она счастлива от сознания, что все страхи преодолены. Решение принято. Но... тебя все нет и нет. Напрасно она тебя ждет. За те несколько минут, что ты пробыл с нею в номере, кто-то подложил в машину бомбу, и произошел взрыв. Она, собственно, даже слышала его, когда причесывалась, но думала, что это выхлоп.

— И я погибаю? — возбужденно спрашивает Чучу. А я вспомнил, как он мне говорил: «Я никогда не умру».

— Да. Ты ведь не против?

Он закатал рукав и показал мне пупырышки гусиной кожи.

— Обязательно напиши эту книгу. Обещай, что напишешь.

— Постараюсь.

Но книга так и не была написана. А погиб не Чучу, а генерал Торрихос.

На самолет, летящий в Бокас, мы опоздали, но Чучу не расстроился. «Ничего,— утешил он меня,— в следующий раз»,— другая формула откладывания на потом. По моим понятиям, это было нереально: с какой стати мне приезжать в Панаму еще раз?

После Давида мы повернули обратно. На этот раз нам действительно удалось увидеть в Антоне чудотворное распятие. Деревянный Христос был весь покрыт золотыми украшениями. Однажды распятие даже пытались украсть. Но когда похитители выносили его из церкви, вес украшений чудесным образом возрос, и злоумышленникам пришлось оставить свою ношу на паперти.

Позже, на пути в столицу, мы остановились в Рио-Ато, где расположены казармы «диких вепрей» — особого отряда, созданного Торрихосом на случай войны в сельве. А по соседству, в своем скромном доме, на берегу Тихого океана, находился в это время и сам генерал Торрихос. В тот день к нему приехал министр иностранных дел Акилино Бойд и члены военного штаба; они собрались потому, что на следующий день прибывала американская делегация во главе с мистером Банкером.

Пока заседал штаб, мы с Чучу искупались в чистой, прозрачной тихоокеанской воде, а потом очень невкусно пообедали в столовой «диких вепрей» и остались там ждать, пока генерал не распрощается со своими военными гостями. Он сказал, что хочет поговорить со мной. Он был очень озабочен предстоящей встречей с американцами: опять бесконечная торговля из-за справедливых условий, переговорам конца-краю не видно, а конфронтация, если следовать совету Кастро, исключается. В тот день он произнес одну странную фразу, которая мне до сих пор непонятна:

— У нас с вами есть нечто общее: нас обоих влечет гибель.— И тут же быстро добавил:— Вы понимаете, что я говорю не о самоубийстве.

Он словно бы на мгновение приоткрыл предо мной дверь, ведущую в тайные покои, и теперь эта дверь уже никогда для меня не будет закрыта.

Генерал продолжал обсуждать возможности конфронтации с Соединенными Штатами. Я вспомнил, как на Контадоре он говорил, что к 1977 году у него иссякнет терпение. Но конфронтация означала войну — войну между крошечной республикой с населением менее двух миллионов и двухсотмиллионным противником.

Мне понемногу становилось ясно, что Торрихос — романтик, но, как я скоро узнал, у панамцев романтизм обычно уравновешивается беспощадной ясностью мысли. Может быть, генерала Торрихоса и влекла гибель, но при этом свои шансы он оценивал вполне трезво.

— Столицу мы сможем удерживать двое суток.— говорил он мне.— Зато легко выведем из строя канал. Пробьем брешь в Гатунской плотине, и вода вытечет в Атлантику. Брешь можно заделать за несколько дней, но чтобы канал вновь наполнился дождевой водой, понадобится три года. Тем временем будет идти партизанская война. По одну сторону от Зоны до самой коста-риканской границы тянутся горы высотой до трех тысяч метров, а по другую, до границы с Колумбией,— густая Дарьенская сельва, такая же непроходимая, как и во времена Бальбоа, разве что прибавились тропы контрабандистов. Там мы продержимся года два — достаточно долго, чтобы вызвать возмущение во всем мире и протесты в самих Соединенных Штатах. Не забывайте: впервые со времен Гражданской войны Севера и Юга под огнем окажутся дома американских граждан. Их в Зоне канала живет сорок тысяч, не считая десяти тысяч военных.

В самой Зоне канала, рассказывал генерал; тоже есть леса, там американцы обучают методам борьбы с партизанами свои части особого назначения и вооруженные отряды некоторых латиноамериканских государств. Но генерал был невысокого мнения об этой учебной деятельности. Совсем недавно, когда американцы проводили у себя в Зоне очередные маневры, они вдруг столкнулись в лесу с патрулем «диких вепрей», который беспрепятственно, никем не обнаруженный, проник в Зону — по причине неисправности компаса, как учтиво объяснил панамский офицер.

— Я знаю, Пентагон официально уведомил Картера, что для защиты канала понадобится не десять тысяч, а сто тысяч солдат,— сказал Торрихос.

Наш разговор прервал рев небольшого реактивного самолета — личного самолета генерала. В то утро он послал письмо президенту Венесуэлы, и теперь самолет вернулся с ответом. (Из всех стран Южной Америки только Венесуэла, Колумбия и Перу оказывали генералу поддержку в его переговорах с Соединенными Штатами.) Связь осуществлялась совсем как в семнадцатом веке — через нарочного, только лошадь сменил реактивный самолет. У американцев в Зоне канала было полно всякой электроники, так что любой телефонный разговор могли прослушивать, а шифрованную телеграмму расшифровали бы за несколько часов.

Мы с Чучу собирались слетать на остров Табога и отдохнуть после путешествий, но не тут-то было. На следующий день генерал снова вызвал меня в Рио-Ато и пригласил лететь с ним на встречу с фермерами и сельскими депутатами. Он пообещал, что я увижу демократию, как он ее понимает, в действии.

Мы сели в небольшой военный самолет и полетели в сторону открытого моря, затем, описав широкую дугу, опять приблизились к берегу. Генерал сказал мне:

— Сразу видно, что пилот у нас сегодня молодой, неопытный — летит над морем. Кто постарше, те жмутся к суше. На маленьком самолете так безопаснее — внизу акулы. Иногда в плохую погоду, зная, что мой пилот не полетит, я специально прошу дать мне молодого, который готов на все.

Было ясно, что хоть и небольшая, но реальная опасность рухнуть в море, кишащее акулами, забавляла его. Интересно, потребовал ли он молодого пилота в день своей гибели — пять лет спустя?

В самолете я спросил его, сам не знаю почему, в какое время суток он чаще всего впадает в уныние (ему нравились такие личные вопросы; возможно, он угадывал в них знаки будущей более тесной дружбы). Он сразу же ответил:

— Поздно вечером, когда ложусь спать. Но едва взойдет солнце, я опять бодр.

Если с каждой нашей встречей я узнавал генерала Торрихоса все лучше и лучше, то лишь потому, что он сам этого хотел. Казалось, ему опостылел тот образ генерала Торрихоса, к которому привыкла публика, хотелось быть просто самим собой, говорить с другом о чем вздумается, не взвешивая каждое слово.

Нам предстояло встретиться с фермерами, поставщиками юкки [1], и выслушать их жалобы. По дороге с аэродрома в деревню генерал сказал мне, что решил удовлетворить их требование о повышении цен на юкку с доллара двадцати пяти центов до доллара семидесяти пяти центов за ящик.

— Это юкковое хозяйство — ошибка, но не их, а наша. И вообще я хочу перераспределить средства — больше в деревню, меньше в город.— Он добавил, что сразу им ничего не скажет: пусть погадают. Так будет интереснее — и для них, и для него.

Встреча происходила под открытым небом. Я видел перед собой ряды крестьянских лиц под смешными круглыми шляпами, надвинутыми на оттопыренные уши. У многих поблескивали золотые зубы и золотые кольца: Колумб, должно быть, счел бы это верным признаком близости «золотой земли» — Эльдорадо. Собравшиеся норовили говорить все разом и напускали на себя вид решительный и даже свирепый; генералу все это явно доставляло удовольствие. Он сказал:

— Вначале разберем простые дела, а вопрос о юкке — самый трудный — оставим напоследок.

Этот хитрый ход позволил быстро провернуть много дел: крестьян волновала только юкка, и они без долгих разговоров приняли все прочие решения генерала. Он обещал, что будет построен новый мост через канал, который облегчит движение по перешейку. А вопросы о том, в каком месте строить завод по переработке лаймы [1], и о создании нового смешанного (60% частного капитала) животноводческого хозяйства были отложены до другого раза. Крестьяне, занятые мыслями о юкке, рады были бы вообще все отложить до другого раза, включая вопрос об очистке соли и использовании ее в дорожном строительстве. Наконец все оживились: речь зашла о ценах на юкку. Правительство, сказал генерал, чрезмерно поощряло производство юкки. Допущен ряд ошибок. Но он все равно сомневается, что сможет повысить цену. Откуда взять деньги? Кто-то должен будет платить из своего кармана.

Что-то начал доказывать инженер из министерства, но генерал прервал его, сказав, что приехал слушать крестьян.

Он опять заговорил о сложностях, связанных с повышением цен. Не пострадал бы экспорт. Можно прибавить, скажем, двадцать центов... И он начал торговаться за каждый цент, но в глазах его пряталась улыбка. Он поддразнивал своих собеседников.

Крестьяне быстро сообразили, что к чему, и продолжали спор уже со смешками и шуточками. Внезапно генерал сдался. Послышался смех, аплодисменты. Крестьяне добились своего. Это было им важно, а кроме всего прочего, они отлично повеселились. Со встречи расходились довольные.

Самолет увез генерала в Рио-Ато, а мы с Чучу покатили обратно в столицу. По пути мы опять подъехали к «дому с привидениями» и зашли в бар, расположенный рядом. Я рассказал об этом доме генералу. Оказалось, он слышал про него еще мальчишкой. Тогда поговаривали, что в доме обитает привидение — женщина без головы. Домохозяину теперь,

[1] Род вечнозеленых растений семейства агавовых; из их листьев получают волокно, идущее на изготовление мешковины, веревок, упаковочной бумаги. Юкка также употребляется в пищу.

[1] Вид цитрусовых. Соки и сиропы из лаймы идут на экспорт для приготовления коктейлей.

верно, под восемьдесят, так что, когда привидение появилось впервые, он был тридцатилетним мужчиной. Я решил, что в этом доме он убил женщину, ее вопли слышали люди, отсюда и пошла легенда о привидениях. Должно быть, он и зарыл ее там, под полом. Не могли бы этим заняться, в порядке учений, «дикие вепри»? — предложил я генералу. Устроить учебную осаду по всем правилам, потом ворваться в дом, поработать немного лопатами? Но генерал мою мысль не одобрил. Обыск, сказал он, в любом случае должен быть законным.

И вот мы с Чучу снова обошли кругом «дом с привидениями» и справились о домохозяине у бармена. Да-да, он говорил хозяину, что мы должны заехать, а в его отсутствие ничего предпринять нельзя. Он бывает по воскресеньям. И мы условились приехать еще раз, в следующее воскресенье.

По возвращении в гостиницу Чучу предложил пригласить к обеду «богатую женщину» (так он называл одну свою подругу в противоположность всем остальным, хотя, по-моему, она была не такой уж богатой). Он все равно собирался потом провести с нею ночь в гостинице — дома у нее был ребенок. Утром, чтобы вовремя попасть домой, ей надо будет встать в шесть часов. А как же молоденькая, с которой Чучу в это время жил? — поинтересовался я.

О, на такие вещи она не обращает внимания. Женщины вообще его любят, объяснил мне Чучу: им нравится нежность, с какой он обращается с ними после всего. Но эта его «жена», как он назвал «богатую женщину», она красавица.

В баре «Сеньориала» мы выпили с ним по три ромовых пунша — его готовила милая девушка по имени Флор. Она была явно неравнодушна к Чучу, но он, как ни странно, не склонен был за ней ухаживать. («Она — хорошая девушка, роман с такой может стать чересчур серьезным».) Чучу был уже заметно навеселе.

За обедом он напился еще больше и все время требовал, чтобы я восхищался красотой его приятельницы. Она и в самом деле была видная и умная женщина лет под пятьдесят, но невозможно вести беседу, когда тебя каждую минуту спрашивают: «Нет, ты скажи, Грэм, ну разве она не красавица?» Я считал, что у нее необыкновенное терпение. Чучу кое-как довез меня до гостиницы, и они вдвоем удалились. Я очень сомневался, что ему удастся провести с ней ночь так, как ему хотелось.

Однако я ошибся. Утром он объявился счастливый и все еще немного хмельной. Ночь была волшебная, сказал Чучу. Я выразил ему свое удивление по поводу того, как он обращался с ней за обедом.

— То есть как это?

— Ты все время твердил, чтобы я посмотрел, какая она красавица. И больше ни о чем не говорил.

— Ты не понимаешь, Грэм,— ответил мне Чучу.— Она достигла того возраста, когда в женщине надо поддерживать веру в себя.

Я подумал, что Чучу не только профессор марксистской философии и математики и не только сержант президентской охраны, он еще хороший и добрый человек и намного превосходит меня житейской мудростью. Наверное, я полюбил его именно в тот день, хотя он был, пожалуй, слишком пьян, чтобы вести машину. Он проехал на красный свет, задел стоявший автомобиль и, наконец, притормозил у книжной лавки, хозяин которой был грек — герой войны.

— Его надо пригласить на твой прием в пятницу,— объяснил мне Чучу.

— На м о й прием?

Оказалось, что генерал и Чучу задумали устроить прием в мою честь. Выпивку обеспечит Национальная гвардия, а дом предоставляет старый панамский писатель Рохелио Синан. Сам генерал прийти не сможет, так как он занят с «Морозильником», мистером Банкером, и возглавляемой им американской делегацией. «Мы пригласим кубинцев,— сказал Чучу,— а сеньора В. приглашать не будем». Но есть в Панаме один американец, предупредил он меня, который явится все равно, позовут его или нет, это писатель по фамилии Костер, которого считают здесь агентом ЦРУ. Он справлялся обо мне у Чучу. «А этот старый козел что здесь делает?» — так он выразился. Мне очень захотелось с ним встретиться.

Перед сном я начал перечитывать «Сердце тьмы» — эту книгу я последний раз держал в руках в 1958 году в Конго. Замысел нового романа, как мне казалось, уже совсем созрел, я воспрянул духом, и тут я вспомнил, что у Конрада можно найти подходящий эпиграф. Но когда я вновь отыскал нужное место, я понял, что строки Конрада годятся не столько для романа «На обратном пути», сколько для книги, которую пишу сейчас:

> «Я словно бы взялся пересказывать сновидение — пустая затея, ведь словами не передать того, что чувствуешь во сне, эту смесь неверия, удивления и беспомощности, и дрожь неприятия, и ощущение, что находишься во власти чего-то такого, чего на самом деле не бывает».

Я был захвачен Панамой, ее борьбой с Соединенными Штатами, ее крестьянами с их отрывистой речью, и своеобразной мудростью любвеобильного Чучу, и барабанами, рокотавшими на митинге в трущобах Чоррильо, и смертными видениями генерала Торрихоса. Но случалось мне в последующие годы испытывать и дрожь неприятия, когда вдруг начинало тянуть домой в Европу, к своим, знакомым и понятным, проблемам.

Утром я попробовал сочинить первые фразы будущего романа — набросал сцену, в которой молодая француженка-журналистка получает от модного левого парижского издателя задание поехать в Панаму и взять интервью у генерала Торрихоса.

Признаюсь, я имел в виду реального издателя, с которым познакомился когда-то в одном лиссабонском баре и с тех пор больше не встречался. Впервые в моей писательской деятельности я решил ввести в роман образы действительно существующих людей — генерала Торрихоса, Чучу, этого издателя. Но такое решение было ошибочным, персонажи, взятые из жизни, а не из авторского подсознания, застыли в моем воображении как статуи, не развивались, оказались неспособными на неожиданные слова и поступки. Это были реальные люди, они не могли жить независимой от воли автора вымышленной жизнью.

Перед приемом я лег отдохнуть — мне предстояла встреча с целой толпой гостей, из которых я знал в лицо разве что грека, владельца магазина.

На разосланных приглашениях было указано время: с восьми до десяти часов вечера. Мы с Чучу прибыли ровно к назначенному часу, как и многие из гостей. Приглашенные скучали. Щелкали фотоаппараты — делались унылые групповые снимки. Вид у Чучу был усталый. Я лишний раз с горечью убедился, какое это лицемерие — подобные сборища: на приемах бывают не для того, чтобы с кем-то повидаться, просто хотят напиться на дармовщинку.

Мне очень не понравился кубинский советник по политическим вопросам; он стал посматривать на меня с глубоким подозрением, когда я рассказал ему, что трижды был на Кубе после революции и знал его страну еще во времена Батисты. К счастью, меня избавил от него очень симпатичный молодой кубинец — помощник пресс-секретаря. Чучу между тем скрылся (сказал, что отправился на розыски спиртного), и прошло, на мой взгляд, немало времени, прежде чем он, торжествуя, вернулся, пригнав с собой полный грузовик.

Скоро настроение у всех поднялось. Очень любезным собеседником оказался главный панамский коммунист. Он объяснил мне, по каким соображениям его партия поддерживает «осмотрительную» политику генерала Торрихоса. Молодой чернокожий архитектор в разговоре со мной согласился, что глупо возводить высотные жилые здания в бедном квартале Чоррильо...

Чучу толкнул меня в бок:

— А вот и Костер.

Американский романист — он же агент ЦРУ — целенаправленно, кругами приближался к нам, отклоняясь лишь для того, чтобы наполнить опустевший стакан. Национальная гвардия не поскупилась, я и сам уже слегка захмелел.

Добравшись до меня, Костер протянул руку:

— Костер.

— Старый козел,— представился я.

— Что-что?

— Вы же спрашивали у Чучу, что здесь делает этот старый козел?

— Ничего подобного.

Он поспешил отойти и затерялся в толпе гостей.

Часто у нас все получалось не так, как было задумано. Вместо того чтобы лететь вертолетом на острова Сан-Блас, мы отправились за покупками, потому что генерал пригласил нас в дом Рори — посидеть с ним, пока он быстро пообедает (он не любил есть в одиночестве).

За столом разговаривали о снах — он их редко запоминал, а те, что помнились, были тяжелые, например, ему снился покойный отец. Потом говорили о женщинах — «в молодости ешь что попало, а теперь — с разбором». И о дурных предчувствиях — с ними он хорошо знаком, у него предчувствие, что он умрет насильственной смертью.

Во время нашего разговора одинокий австралийский попугайчик в клетке молча посматривал на нас.

— Он никогда не запоет, раз у него нет подружки,— сказал я Торрихосу.

— Запоет.— ответил генерал.

Он принес из другой комнаты магнитофонную кассету, на которой был записан голос такого же попугайчика. Одинокая птица послушала-послушала и залилась ответной песней.

Как можно не любить такого человека?— подумал я.

Я полагал, что больше никогда не увижу ни Чучу, ни генерала Торрихоса, ни Панаму, но мне не давал покоя задуманный роман, и в последующие месяцы я набросал отрывки диалога, который целиком придумал сам.

«— Вы нас судите,— говорил генерал (не мне, а журналистке из моего романа «На обратном пути»).— Вы называете нас латиноамериканцами, а заглянули бы поглубже в себя и там бы нашли нас тоже. Кто был первым латиноамериканцем? — продолжал он. — Кортес, а не Колумб. Колумб остался на корабле в заливе Портобело, не захотел сойти на берег. Он был стар, как Европа».

Но одна фраза, действительно произнесенная генералом Торрихосом, мучила меня своей загадочностью. Почему «нас обоих влечет гибель»? Что он хотел этим сказать? Это звучало как предостережение друга, который знает обо мне что-то такое, чего не знаю я сам.

Часть II 1977

Во Франции замысел романа «На обратном пути» не давал мне покоя ни днем ни ночью. Меня преследовали образы, которые я столь опрометчиво выхватил из реальной жизни. В голову лезли то хвастливые слова Чучу: «А я никогда не умру», то его замысловатая теология: «Я верую в Дьявола, а в Бога — нет», и доказательство бытия дьявола с помощью дверей, которые обязательно тянешь на себя, если нужно толкнуть, и наоборот. Генерал и Чучу продолжали жить в далекой Панаме, их трудно было превратить в персонажей романа. И сама Панама — я так многое не успел там

повидать и теперь почти наверняка больше никогда туда не поеду. Я не достиг крайней точки Колумбова маршрута — никем не посещаемого острова Бокас-дель-Торо; залив Нумбре-де-Дьос по-прежнему существовал для меня только в давнем спектакле и в стихотворении Ньюболта; даже в «дом с привидениями» не удалось проникнуть. Через Дидриха, если не ошибаюсь, до меня дошла весть о том, что бедняга сеньор В. скончался от сердечного приступа. Уж не перепил ли? Для моего романа было очень важно, чтобы он оставался в живых, ему предназначалась важная роль. После гибели Чучу от взрыва в машине генерал поручает как раз сеньору В. доставить героиню на вертолете в столицу, так что именно в его малоприятном обществе она пролетает над теми местами, которые они с Чучу собирались посетить на «обратном пути».

За последовавшие месяцы я написал две первые страницы несостоявшегося романа.

Дальше я почти не продвинулся... В один прекрасный вечер у меня в Антибе раздался поздний телефонный звонок, звонил Чучу из Панамы:

— Когда приедешь?

— Что-что?

— Генерал спрашивает, когда ты приедешь.

— Но...

— Тебе уже заказан билет.

Значит, я все-таки снова увижу Панаму, подумал я чуть ли не с ощущением счастья.

Короткий перелет Париж — Амстердам, и вот я опять пью голландский джин над Карибским морем. В моем дневнике записано:

> «21 августа. Пирамиды облаков над Тринидадом. Великолепные горы на колумбийском побережье, затем густые леса Дарьена. В аэропорту встречал Чучу».

Казалось, я никуда не улетал. Переключиться на панамский ритм не стоило ни малейшего усилия.

Ну а генерал? Как генерал? Чучу рассказал мне, что Торрихос недоволен условиями договора, на которые в конечном итоге пришлось согласиться; он плохо спит и не пьет даже по выходным — дурной знак! Чучу считал, что надо устроить демонстрацию студентов в Зоне канала, прежде чем договор поступит на рассмотрение сената США, пусть знают, что Панама не примет больше никаких поправок. Но сильнее всего Чучу беспокоил вопрос: а не подался ли генерал самую малость вправо?

За время, что мы не виделись, я опубликовал в «Нью-Йорк ревью оф букс» статью под названием «Страна с пятью границами», где упомянул, между прочим, что некоторые старшие офицеры Национальной гвардии пользуются привилегиями, в частности, живут в дорогих домах, поскольку, как говорил мне генерал: «Если я им не заплачу, то заплатит ЦРУ»; кроме того, я описал полковника Флореса — как он равнодушно жевал жвачку на встрече с беднотой в Чоррильо. Чучу, делая перевод моей статьи для одной панамской газеты, спросил у Торрихоса, не опустить ли то место, где говорится об офицерах Национальной гвардии. «Нет. Не меняй ни одного его слова»,— ответил генерал. Так что отношения с начальником штаба у меня, пожалуй, не сложатся. Оставалось надеяться, что, пока я буду в Панаме, не произойдет государственного переворота.

Чучу так изложил свой взгляд на вещи: «Конечно, у некоторых старших офицеров рыльце в пушку. Ты знаешь историю про человека, который пытался вычистить унитаз резиновым скребком, и все никак. Тогда другой ему говорит: «Так ничего не выйдет. Если хочешь выгрести — надо запустить руки в дерьмо». Вот и генералу надо запустить руки в дерьмо».

На следующий день генерал прислал за нами самолет: он ждал нас к обеду в своем доме на берегу Тихого океана.

— Советую прихватить кое-что из вещей — сказал Чучу,— думаю, мы сегодня в город не вернемся.

Чучу оказался прав. Возле дома в Фараллоне стоял вертолет, и мы переложили в него свои вещи.

После всего того, что рассказал Чучу, меня удивил умиротворенный, почти счастливый вид генерала; он даже казался моложе. Он обнял меня и назвал по имени — я последовал его примеру, и с тех пор он был для меня просто Омар. Он сказал, что ему понравилась моя статья:

— В твоем описании я — живой человек, а не компьютер.

Переговоры о канале, продолжал он, и впрямь были трудными, изнурительными. У американцев была установка вообще ни в чем не уступать. Теперь сказано последнее слово, и все в руках провидения — точнее, сената. На днях он видел удивительно отчетливый сон. Началась партизанская война, о которой он в некотором смысле мечтал. Он был в сельве и вдруг обнаружил, что на нем нет ботинок. Он испытал чудовищное унижение: его возьмут в плен в самом начале войны — потому лишь, что он без ботинок.

После обеда заработал двигатель вертолета, но генерал подвел нас к машине и сам сел за руль. В вертолете остался лишь наш багаж. Такая внезапная перемена планов была продиктована соображениями безопасности: по-видимому, мысли о возможном трагическом конце теперь не оставляли генерала. В машине нас было пятеро: генерал, я, Чучу, секретарь и молодая подруга генерала, чье симпатичное личико выдавало небольшую примесь китайской крови. При этой первой встрече она показалась мне чуточку претенциозной, чрезмерно «интеллектуальной»: училась в Штатах, изучала социологию — предмет, взошедший на банальностях и абстрактной терминологии; но я ошибался. Она была умна, смела,

нежна, предана Омару и действовала на него благотворно.

Выяснилось, что мы едем в Сантьяго, там переночуем, утром прилетит вертолет и доставит нас в Давид, а оттуда — на банановую плантацию, единственную крупную плантацию, которая принадлежит Республике Панама. Хозяевами всех окружающих плантаций были американцы.

Сантьяго — город, где родился генерал. По дороге он рассказал мне, как в шестнадцать лет пытался бежать из дома с любимой девушкой, угнав машину старшего брата.

— Мне повезло,— сказал он.— Полиция задержала меня при выезде из Сантьяго. Я эту девушку иногда вижу на улице: она превратилась в необъятную толстуху.

На окраине Сантьяго мы заехали в дом старого друга Омара, у которого был собственный грузовик. Он недавно раскопал тайно древнюю гробницу и нашел там великолепные золотые ожерелья. Уверял, что им четыре тысячи лет. Генерал посоветовал припрятать их подальше, пока правительство не даст за них хорошие деньги. Затем мы двинулись дальше, и генерал показал мне деревянный домик, в котором жили его дед и отец — школьный учитель. Видно было, что ему легко и хорошо в этом городке его детства. Ни малейшего ощущения, будто он «работает на публику».

Мы поехали в гости к его школьному товарищу — теперь он работал слесарем в гараже — и расположились во дворике, куда начали стекаться соседи; они садились в кресла-качалки и пили виски, украдкой принесенное генералом из машины.

Немного поболтав о прошлом, заговорили, разумеется, о канале. Хозяин дома — слесарь из гаража — не разделял недовольства генерала условиями договора.

Пришла учительница местной школы с несколькими девочками из старших классов, и генерал затеял с ними разговор: он не ораторствовал, а вел разговор на равных. В тот вечер я записал в своем дневнике:

«Я ни разу не видел, чтобы он с кем-нибудь говорил свысока, даже с пятилетним ребенком. С крестьянами он шутит довольно грубо, но ведь и с нами иногда тоже. Я спросил старшую из школьниц — высокую девушку лет семнадцати,— что делать, если договор не будет ратифицирован, и она ответила, не раздумывая: «Все что угодно, только бы не лилась опять кровь».

Тем временем прибыл вертолет с нашими вещами. Оставив машину в Сантьяго, мы полетели в Давид и после небольшой остановки отправились на поиски банановой плантации, найти которую оказалось совсем не легко. Дело в том, что с высоты тысячи футов она была неотличима от окружавших ее плантаций компании «Юнайтед брэндз» (под этим названием бывшая «Юнайтед фрут компани» пыталась укрыться от своего неблаговидного прошлого), так что мы дважды садились на американских плантациях.

В первый раз Омар сделал вид, что посадил вертолет намеренно, и потребовал, чтобы нас проводили в школу. Нас встретил несколько испуганный учитель и веселые, возбужденные дети. Омар поговорил немного с детьми, посмотрел их учебники. В дверях собрались крестьяне. Я спросил одного из них, что делать, если США не ратифицируют договор. «Драться, конечно»,— ответил он, и его спутник одобрительно хмыкнул. В этой деревне, расположенной на земле американской компании, население долго добивалось открытия школы. Всех, кто агитировал за школу, дирекция считала коммунистами, и многих отправляли в американские тюрьмы — совершенно незаконно, поскольку плантация не в Зоне канала. Однажды офицеру полиции приказали высечь сельчан — он не подчинился. Теперь у них была своя школа, но воинственный дух остался.

Генералу задали несколько толковых вопросов о будущем — о том будущем, когда, по условиям договора, большая часть американской Зоны (за исключением военных баз) немедленно отойдет Панаме. Частная застройка будет запрещена, сказал генерал. Та часть Зоны, что примыкает к беднейшему району столицы, иронически называемому «Голливудом», будет превращена в парк. Есть еще планы построить детский приют...

— Мы не собираемся менять белых землевладельцев на смуглых,— заявил генерал.

Он любил отвечать своему народу на прямые вопросы. А вот бестактность репортеров его раздражала. Помню, один спросил, не марксист ли он, и Торрихос ответил:

— Интервью не исповедь. Я не обязан открывать вам душу...

Мы сели в вертолет и перелетели на другую плантацию, и опять она оказалась американской. Генерал отчаялся найти дорогу с воздуха и вызвал по телефону машину. Было очень жарко, ждать пришлось долго, а когда наконец приехала машина, Чучу сбила с ног стайка детей, кинувшихся к генералу, чтобы поговорить с ним и потрогать его за руки.

На панамской плантации нас бесконечно долго водили по жаре между рядами банановых деревьев. Я вспомнил, как один управляющий плантацией на Ямайке когда-то говорил мне, что выращивание бананов — занятие на диво увлекательное, захватывающее, но от усталости я ничего такого не почувствовал. Потом нас позвали перекусить (никаких напитков, только вода), и во время угощения темнокожий школьный учитель припомнил такой случай: однажды, когда ему только пошел пятнадцатый год, у него украли велосипед: он обратился к Омару, в ту пору молодому майору Национальной гвардии, и тот дал ему записку в полицейский участок, где скопилось множество невостребованных велосипедов, из которых ему, по записке Омара, было позволено выбрать себе самый лучший.

Свой рассказ учитель заключил такими словами: «Ну вот, теперь я могу наконец сказать спасибо». Кем же был молодой майор Торрихос? Дальновидным политиком? Или просто добрым человеком, который любил детей?

Возвращаясь в столицу на машине, мы с Чучу решили все-таки посетить по дороге «дом с привидениями», и, к нашему удивлению,— ведь день был будний — когда мы утоляли жажду в баре, появился домохозяин. Он оказался согбенным старцем да к тому же еще кривым на один глаз. В ответ на нашу просьбу он сказал, что впустить нас в «дом с привидениями» никак не может: у него нет при себе ключей. Да и нечего там смотреть. Привидение? Люди всегда болтают бог весть что про дома, где никто не живет.

Надо было мне у него спросить, почему же этот дом сорок лет стоит пустой? Но я еще не потерял надежду уговорить хозяина по-хорошему.

— Мы можем приехать в любое время, когда вы скажете. Как насчет воскресенья?

— Н-ну, ладно...

— А в котором часу?

— В три часа дня.

— Договорились.

— Но имейте в виду, я ничего не обещаю.

Было ясно, что в воскресенье мы его опять не застанем, поэтому мы решили неожиданно для него объявиться завтра же.

Вечером мы ужинали с одной чилийской супружеской парой. Чучу сказал, что они ультралевые. У мужчины были длинные обвислые усы доброго дядюшки, нечто вроде форменного знака левых, подобно тому как усики щеточкой на военный манер — свидетельство принадлежности к правым. Этого человека Чучу спас, когда «Г-2» (служба госбезопасности) разыскивала его и с ним одного лидера христианских демократов по сфабрикованному, как он утверждал, обвинению. Он скрылся, а Чучу обратился к генералу. Торрихос принял поистине соломоново решение. Чилийцу предлагалось либо уехать в Коста-Рику на личной машине генерала (так надежнее), либо сдаться властям в присутствии Чучу, что должно было оградить его от жестокого обращения. Он выбрал второе и был приговорен к месяцу заключения, и не в тюрьме, а в комфортабельной квартире, которую Чучу специально арендовал для эмигрантов и которую называли «голубятней». За ужином в ресторане «Мариско» его жена уверяла меня, что они никакие не «ультра». Они бежали из Чили после пиночетовского путча.

По странному совпадению в тот вечер в одном из отдельных кабинетов «Мариско» ужинал начальник «Г-2», и Чучу хотел меня представить ему, но чилийцы испугались.

— В другой раз, когда нас с вами не будет,— взмолился человек с грустными усами.

В тот приезд я совсем мало виделся с Омаром. У меня сложилось впечатление, что он нарочно предоставил меня самому себе, чтобы я своими глазами посмотрел, что хотел, чтобы на свободе, без его вмешательства, поближе узнал маленькую республику и сам познакомился с сандинистами и другими эмигрантами, нашедшими убежище в Панаме.

Вскоре состоялась моя первая встреча с сандинистами. Нас с Чучу пригласил на обед молодой врач из Никарагуа по имени Камило, чей брат был убит людьми Сомосы. Брат был партизанским вождем и носил прозвище «команданте Серо» (оно перешло к его преемнику). По пути в гости Чучу рассказал мне, что Сомоса давно поклялся напиться крови «команданте Серо» и что теперь Камило живет с панамской подругой брата — Марией-Исабель. Чучу велел мне не подавать виду, что мне известны их отношения. А фотографию погибшего брата, сказал он, я увижу у них на стене.

Фотография действительно висела на стене, а вот отношения между хозяевами ни для кого не составляли секрета. Мария-Исабель оказалась красивой и умной девушкой, но чувствовалось, что Чучу по какой-то причине ее недолюбливает. Может быть, он немного завидовал ее близости к молодому сандинисту. Притом еще Чучу родился в Никарагуа, а дед девушки занимал когда-то пост президента Панамы, и, может быть, в индейской крови Чучу жило недоверие к неразбавленной крови испанцев. У него не было причин сомневаться в ее преданности делу сандинистов, но он, вероятно, подозревал ее в недостаточном благоразумии. С нами ужинал еще один молодой сандинист — Рохелио, который оказался математиком, как и Чучу.

Эти молодые сандинисты были не беженцами, но бойцами. У сандинистов в это время уже существовали свои международные связи. Молодой врач, случалось, вдруг надевал новый костюм и галстук и отбывал в Мексику по каким-то таинственным делам. Однажды я встретил его в панамском аэропорту и шутливо заметил что-то насчет его франтовского вида, но он ответил с полной серьезностью:

— Если ты хорошо одет, твой паспорт смотрят не так внимательно.

После знакомства с Камило и его подругой я очутился вроде бы под опекой сандинистов. Даже Чучу как-то стушевался, а на день-два и вовсе исчез, и скоро я стал даже испытывать раздражение оттого, что вижу одни и те же лица: Камило и Мария-Исабель, математик с женой Лидией, супруги «ультра». Где Чучу, я понятия не имел. Вполне могло быть, что в это самое время он где-нибудь в Никарагуа или на границе с Коста-Рикой выгружал оружие из своего самолета. Меня словно подталкивали к рубежу, который я вовсе не хотел переступать; я слишком мало знал об их борьбе. Даже Омар предостерегал меня на этот счет. Сомоса мог с легкостью обвинить в моей смерти сандинистов.

Впрочем, за одно я им должен быть благодарен: с помощью Марии-Исабель я

все-таки проник наконец в «дом с привидениями». В очередное воскресенье мы собирались лететь на острова Сан-Блас, но почему-то остановили машину у бара, что рядом с этим злосчастным домом, и дом оказался отперт. А через несколько минут появился и старик домовладелец.

— Дайте я с ним поговорю,— шепнула Мария-Исабель.

Он держал ключи в руке, так что отговариваться ему было нечем. А тут еще к нему обращается красивая женщина. Она сказала, что я — английский медиум и остановился в Панаме по пути из Австралии со съезда спиритов. Слухи о его доме достигли моих ушей.

И тогда он скрепя сердце согласился показать нам «часть дома».

Открыл железные ставни, отпер тяжелые двери, и мы очутились в гостиной старого дома. Там было почти совсем темно, свет не горел, пришлось пользоваться зажигалкой. Привидений там, может быть, и не было, но тени минувшего, безусловно, теснились в углах. У стены поблескивала стеклянная горка, заставленная фарфором. По обе стороны от нее висели женские портреты прошлого века — дамы в полупрозрачных, дымчатых т. алетах,— похоже на репродукции Лейтона. Сквозь приоткрытую дверь я заглянул в соседнюю комнатку, где помещалась одинокая железная кровать. Постель была разворочена, смята, словно с нее только что поднялись. Навстречу мне вылетела летучая мышь.

Старик указал пальцем в пол и спросил:

— Как вы думаете, что там?

«Скелет женщины»,— должен был бы я ответить, но постеснялся.

На улице старик стал более разговорчив. Он объяснил нам, что здесь витает множество духов, потому что прямо у нас под ногами — старая «золотая тропа», ведущая в Портобело. По обочинам испанцы зарывали золото, а заодно и трупы индейцев-носильщиков. И призраки убитых препятствуют всякому, кто пытается откопать из земли клад...

Вдруг он спохватился, что забыл запереть массивные двери, засеменил обратно к дому, плотно закрыл створки и дважды повернул в замке ключ.

Потом сандинисты свозили меня в «Голливуд» — район трущоб, примыкающий к американской зоне. Ездить туда без сопровождения местных жителей было, по их словам, небезопасно, но кто-то из них знал одного человека в «Голливуде», с кем можно ничего не опасаться.

«Голливуд» оказался мерзким скопищем деревянных домишек, которые, точно дырявые лодки, тонули в дождевых потоках вперемежку с бесчисленными общественными уборными, источавшими зловоние. На одном углу старуха под навесом торговала марихуаной, и за нами все время шел, шлепая по воде, накурившийся до одури человек, задавал вопросы, на которые мы не отвечали, и настойчиво предлагал проводить нас куда-то, куда наш гид и защитник не имел намерения идти.

А я в изумлении думал об аккуратных газонах, и площадках для гольфа, и о пятидесяти трех церквах в полумиле отсюда, за необозначенной границей. У Омара была мысль сровнять «Голливуд» с землей и построить многоквартирные дома (по крайней мере, один такой дом уже имелся — мы прошли, нервно озираясь, по его неосвещенным коридорам, вдоль мокрых стен и быстро вышли, не встретив ни души), но потом генерал от этой мысли отказался: обитатели «Голливуда» горячо привязаны к своим ветхим жилищам, это их собственные дома, там родились их отцы и деды. Так что теперь Омар говорил, что, подписав договор, займется «благоустройством» — проведением канализации, водопровода, электричества. Мне это показалось нереальным: прикоснись к стене, возьмись латать крышу, и любой из этих домишек наверняка рухнет в грязную воду!

Наверное, из-за «голливудских» впечатлений мне в ту ночь приснился сон, весь построенный на чувстве вины, будто бы я поссорился с женщиной, которую люблю, и вот еду на метро в старое здание редакции «Таймс» на Виктория-стрит, чтобы подать заявление об уходе, хотя какое право я имею уходить, я ведь много месяцев или даже лет не появлялся на службе, а жалованье мне шло полностью.

На следующий день мы вдвоем с Камило, молодым врачом-никарагуанцем, поехали в Колон — он хотел посетить местную больницу. Как выяснилось, он тоже видел в ту ночь тяжелый сон: ему снился брат, убитый людьми Сомосы, и брат был недоволен нынешней жизнью Камило. Должно быть, его, как и меня, мучило иррациональное чувство вины: он отсиживается в безопасности, когда в Никарагуа идет кровопролитная гражданская война. А ведь он исполнял приказ и работал на революцию.

Он немного рассказал мне о своем брате. Брат был моложе его. Он учился на инженера в фирме «Сименс» в Манагуа и семнадцати лет был послан на стажировку в ФРГ. Больше родители его не видели — до того дня, когда за ними приехали полицейские и доставили в участок для опознания трупа «команданте Серо». Они даже не подозревали, что их сын — тот самый знаменитый Серо, который нанес первый серьезный удар по тирании Сомосы, похитив разом нескольких послов и министров, возвращавшихся с правительственного приема, и обменяв их на четырнадцать политзаключенных, которые были благополучно доставлены на Кубу [1].

Мой новый друг Камило, проводив брата в ФРГ, много лет ничего о нем не знал. Потом они совершенно случайно встретились в Мехико, и младший брат привлек Камило к пропагандистской работе в сандинистском движении. О смерти брата он услышал по радио в Панаме.

[1] Этот эпизод был воспроизведен в романе панамской писательницы Глории Гуардиа «Последняя ставка», опубликованном в «ИЛ», 1980, № 5.

Вечером ко мне пришел Чучу. Он сказал: Омар хочет, чтобы через пять дней я в составе панамской делегации летел в Вашингтон на подписание договора о канале — наконец-то после многолетних проволочек его условия были согласованы. В то утро в газете «Майами геральд» появилась статья, где утверждалось, что новый договор ничем не отличается от проекта 1967 года, предложенного еще до того, как Торрихос пришел к власти. Но это была совершенная ложь, очевидно рассчитанная на то, чтобы подорвать в стране авторитет генерала. В соответствии с новым договором Панама немедленно получала в пятьдесят раз бóльшую территорию, чем по старому проекту. Правда, американские базы сохранялись до двухтысячного года, лишь тогда канал перейдет в безраздельную собственность Панамы. Однако за исключением баз Зона, как таковая, перестанет существовать сразу после подписания договора.

Меня совсем не тянуло лететь в Вашингтон. В кармане у меня уже лежал обратный билет, пора было возвращаться во Францию, к моей настоящей работе. Я сказал Чучу, что американцы не дадут мне визы (невинный обман, ибо мои трудности с американской визой — дело прошлое).

— Это неважно,— ответил Чучу,— у тебя будет дипломатический паспорт. Панамский.

— А потом снова возвращаться в такую даль, чтобы из Панамы лететь в Амстердам?

— Возвращаться не понадобится. Генерал закажет тебе билет на «конкорд», из Вашингтона прямо в Париж.

Чучу рассказал, что генерала уже подвергают нападкам, потому что договор не так хорош, как надеялись. Выступая перед студентами, генерал сказал: «Я предпринимаю все, что в моих силах, но если прогрессивно мыслящие люди откажут мне в поддержке, что мне останется делать?»

Я сдался:

— Если генерал в самом деле хочет, чтобы я поехал...

— Да, хочет.

Мы поехали в аэропорт встречать мексиканского кинопродюсера. В аэропорту оказался и Камило. Он был одет с иголочки — эдакий пленительный молодой доктор — и летел в Мехико по каким-то таинственным сандинистским делам. За несколько дней до этого он вручил мне конверт с парижским адресом, который просил отослать по возвращении во Францию; узнав, что я лечу через Вашингтон, Камило очень забеспокоился

— Ни в коем случае не оставляйте его в чемодане,— сказал он мне.— В Вашингтоне ваш багаж наверняка перероют. Обещайте, что письмо всегда будет с вами, даже ночью.

Я пообещал.

Мои последние дни в Панаме были наполнены странными событиями, сменявшими друг друга с нарастающей быстротой. Омара я все это время не видел. Создавалось впечатление, что порядок в жизнь вносил он, теперь же — без него — началась неразбериха. Так, была запланирована поездка на самолете в горное селение Коклесито, где находится коллективное хозяйство по разведению буйволов (вещь для Панамы нехарактерная). Омар сам создал это хозяйство и рядом построил себе домик. Произошло это после того, как его вертолет совершил в Коклесито вынужденную посадку, и он увидел, в какой бедности живут там люди, отрезанные от всего мира. Почву с их наделов смыло наводнением, во время которого утонул сын вождя. А вот что именно навело генерала на мысль о буйволах, я так и не понял. Утром за мной заехала Мария-Исабель. Чучу уже находился в аэропорту, где дожидался специально вызванного военного самолета, и с ним была группа студентов из Гватемалы, Эквадора и Коста-Рики в сопровождении преподавателей: очевидно, знакомство с буйволами рассматривалось как общеобразовательное мероприятие. Мы ждали, ждали, а самолета все не было. Судя по всему, пилот — офицер ВВС — обиделся, что им распоряжается какой-то сержант. Прождав два часа, мы сообщили секретарю генерала, что к буйволам лететь теперь поздно, и дружно отправились в министерство культуры, где к нам присоединились супруги «ультра» и математик-сандинист Рохелио, и всех нас усадили смотреть длинный и скучный видеофильм о панамских народных танцах. Я терпеть не могу народные танцы — еще с тех пор, как меня водили мальчишкой смотреть на мужчин в подтяжках, отплясывающих «моррис» (почему-то это страшно нравилось их женам, разодетым в переливчатые шелковые платья от «Либертиз»).

В середине фильма Чучу вызвали по срочному делу: один гватемальский профессор, рекомендованный ректором Гватемальского университета (тем самым, с которым Чучу ночевал в Давиде), взят под арест и обвиняется в попытке подсунуть фальшивые доллары администрации отеля «Континенталь».

Нас с Марией-Исабель и супругами «ультра» пригласил после фильма на обед министр культуры сеньор Инграм, мы уже пригубили коктейли, когда появился Чучу, а вместе с ним — ректор Панамского университета и, прямо из тюрьмы, гватемальский профессор, рослый, красивый, рыжеволосый человек американо-немецкого происхождения. Он был, естественно, слегка ошарашен. Мог ли он ожидать, что прямо из тюремной камеры вдруг попадет на обед с коктейлями в шикарнейшем из ресторанов Панамы? Не понимал он, наверно, и того, что́ здесь делает английский писатель: он читал кое-что из моих книг и питал ко мне недоверие.

Он рассказал нам, что в полиции ему угрожали физической расправой и что в одной камере с ним сидели еще семь заключенных, в том числе два насильника (один из них убил свою жертву) и отцеубийца. Впрочем, все они отнеслись к

нему вполне сочувственно и с их «профессиональной» помощью ему удалось переправить на волю записку и рекомендательное письмо от ректора Гватемальского университета.

Генерал, получив послание, пришел к выводу, что дело это, скорее всего, подстроено гватемальской полицией для дискредитации профессора, известного своими левыми взглядами, и распорядился о немедленном его освобождении — однако не афишируя своего вмешательства, а через Чучу,— и все-таки решил, что профессору будет лучше после нескольких дней отдыха возвратиться назад в Гватемалу. Честно сказать, дальнейшее наше краткое знакомство заставило меня усомниться в невиновности профессора.

Неразбериха на этом не кончилась. Что бы мы ни затевали, непременно срывалось, и скоро я стал испытывать не меньшую растерянность, чем гватемальский профессор.

Правда, на следующий день военный самолет со студентами и преподавателями все-таки вылетел в Коклесито. Посадочной полосы там едва хватило, чтобы кое-как приземлиться. Стояла жара, деревня утопала в грязи, буйволы были похожи на буйволов и не более того. Деревню со всех сторон обступали лесные заросли. Студентки и преподаватели полезли в реку купаться, некоторые буйволы — тоже: река, казалось, вот-вот выйдет из берегов. В хозяйстве нас довольно вкусно накормили, но утолить жажду, кроме воды, было нечем.

Я заглянул в деревенскую церковь, она совсем обветшала, в проходе между скамьями бегали куры. Мне вспомнилось, что говорил Торрихос про заброшенные кладбища. Эта церквушка тоже производила впечатление совсем заброшенной — как тут не попрекнуть архиепископа панамского Макграта? Неужели на его попечении так много храмов, что некогда заехать в отдаленную деревню, где сам генерал счел возможным поставить себе домик? За минувший год здесь не побывал ни один священник. Надежды на помощь люди связывали с генералом, а не с церковью. Я поинтересовался, сколько в среднем приходится здесь на год дождливых дней? «Вы не так спрашиваете, — сказали мне, — надо спрашивать, сколько дней без дождя, и ответ будет: четыре».

Мое пребывание в Панаме стремительно приближалось к концу, и, как и за год до этого, я испытывал смешанные чувства: нетерпеливое желание вернуться домой и горечь расставания. Генерал, как и обещал, заказал мне билет на «конкорд» из Вашингтона в Париж, теперь шло оформление моего панамского диппаспорта. А сам Омар, уединившись в доме Рори Гонсалеса, писал свою речь для вашингтонской церемонии и временно был недосягаем.

На этот раз я провел с ним меньше времени, чем в первый приезд, но он стал мне намного ближе. Я начал видеть масштабы того, чего он уже достиг, и понимать, на какой риск он идет, чтобы осуществить свою мечту о Центральной Америке, которая была бы социалистической, но не марксистской и, будучи независимой от Соединенных Штатов, не представляла бы для них угрозы. Омар стал мне не только другом, но и учителем. Я учился у него даже в его отсутствие, познавая проблемы Центральной Америки.

Накануне нашего отъезда в Вашингтон мы с Чучу поехали в аэропорт встречать Габриэля Гарсиа Маркеса — колумбийского писателя, который тоже должен был стать иностранным членом панамской делегации. Шел проливной дождь; самолет задерживался на неопределенное время. Мы оставили Маркесу записку, чтобы он искал нас в перуанском ресторане «Pez de Oro» («Золотая рыбка»), и едва успели выпить по «писко» с белком и лимонным соком — коктейль, вкус которого я полюбил в Чили (Чили времен Альенде), как зазвонил телефон. Меня срочно вызывал генерал.

Я нашел его в небольшой комнатке в доме Гонсалеса. Перед ним лежала рукопись — его вашингтонская речь. Было очевидно, что все до последнего слова он написал сам, своей рукой, и так много правил, что рукопись на вид была не разборчивее моих.

— Я нервничаю,— признался он.— Но Картер нервничает еще больше, и это меня утешает.

Он был огорчен тем, что Картер пригласил на церемонию южноамериканских военных диктаторов: аргентинского Виделу, чилийского Пиночета, боливийского Бансера, парагвайского Стресснера и президента Гватемалы. Торрихос предпочел бы ограничиться участием умеренных лидеров Колумбии, Венесуэлы и Перу, поддерживавших его во время изнурительных переговоров. Но Картер настоял, чтобы собралась вся компания — за исключением Фиделя Кастро, которого Омар как раз с удовольствием бы позвал, хотя бы из благодарности за мудрый и трудно выполнимый совет об умеренности, приведшей теперь к подписанию договора. Сомоса из Никарагуа отклонил приглашение, поскольку был выше головы занят гражданской войной, а Гаити должен был представлять посол.

Омар прочел мне свою речь. У него были некоторые сомнения относительно придуманного им остроумного начала. Я уверил его, что начало прекрасное: забавное и злое, но про себя подумал, что вряд ли он довезет его в таком виде до Вашингтона. Я даже добавил к его тексту одну фразу, но, к сожалению, теперь не помню, что представлял собой этот мой крошечный вклад в историю. Еще я нашел подходящее место для вставки, которую он хотел сделать, но не знал куда.

Память сохранила этот образ, как фотографию: Омар сгорбился над столом, поглощенный непривычным делом, напряженный, неуверенный в себе. У меня есть несколько самых дорогих воспоми-

наний об Омаре: новичок в писательском деле, с трудом подбирающий слова; гость в родном городе, уютно расположившийся в кресле-качалке в доме своего школьного товарища, слесаря из гаража; и еще одно более позднее воспоминание: страшно усталый, быть может немного пьяный, человек уснул, склонив голову на плечо молодой подруги, недавно родившей ему ребенка.

На следующий день, пролетая над Кубой, Омар послал приветственную радиограмму Фиделю Кастро, которого Картер отказался пригласить в Вашингтон. Омар умел хранить верность друзьям, даже если не вполне разделял их политические убеждения.

Сели мы в восемь часов, уже затемно, на военном аэродроме под Вашингтоном. Почетный караул морских пехотинцев, ослепительный свет телевизионных прожекторов, госсекретарь Вэнс, два государственных гимна, которым мы, члены делегации, сгрудившиеся на красной ковровой дорожке, не чаяли конца, — вот уж не думал, что когда-нибудь с такой помпой прибуду в США, куда мне еще совсем недавно был заказан въезд дольше чем на три недели!

В отеле «Шератон» меня ждал девяностодолларовый номер-люкс: огромная гостиная, на стене репродукция картины Шагала, изображающей Ванс — городок поблизости от моего дома в Антибе. При виде этой репродукции мне стало грустно и захотелось во Францию. Омар и Чучу были далеко, в панамском посольстве, наверное, мы больше не увидимся до самой той минуты, когда очутимся в противоположных концах большого зала, где будут подписывать договор. Я спустился в холл, чтобы ускорить длительную процедуру доставки багажа, и мне, привыкшему к испанским голосам, было как-то странно слышать со всех сторон американскую речь. Мне стало совсем грустно. Вернувшись к себе, я разделся и лег в постель, переложив письмо Камило в карман пижамы. Попробовал было включить радио — передавали интервью об аборте. Другой канал — дискуссия об утилизации сточных вод. Лучше уж спать.

На следующий день дела приняли более жизнерадостный оборот. Нас с Гарсиа Маркесом пригласили на обед в панамское посольство, и я снова оказался в окружении знакомых лиц. Омар был очень весел после встречи с Картером. Картер спросил, как ему быть с диктаторами, понаехавшими в Вашингтон, на что он ответил:

— Только не давайте им оружия.

При этой ли встрече Омар расплакался и спрятал лицо на груди у жены (Картер описал этот эпизод в своих мемуарах) или же на следующий день, непосредственно накануне церемонии, на которой он выглядел совершенно спокойным? Я ничуть не удивился, прочитав о его слезах, пролитых в те минуты, когда мечта, так долго ускользавшая от него, должна была наконец осуществиться. В его характере угадывалась особая чувствительность, но он почти всегда держал себя в руках, лишь время от времени отводя душу в беседе с другом, которому доверял (а Картеру он доверял), или за стаканом виски. Вдруг, словно вспышка, мгновение полной открытости — как в тот раз, когда я спросил, что ему чаще всего снится, и он, ни секунды не колеблясь, ответил: «Смерть». Чучу через несколько лет рассказал мне, что часто видел Омара плачущим; может быть, я и полюбил-то его, кроме всего, за то, что в нем не было ровным счетом ничего от испанского macho[1].

Омар рассказал, что отлично поладил с помощником президента Джорданом и с вице-президентом Мондейлом тоже — у того есть дома бейсбольная бита с автографом одного знаменитого панамского игрока, и он якобы хотел подарить ее генералу, но сообразил, что с его стороны было бы ошибкой приносить ее в Белый дом, кто-нибудь еще скажет, что он проводит политику большой дубинки.

То были счастливые предпраздничные часы — наутро должно было состояться подписание нового договора. Условия его были одобрены конгрессом — мог ли Торрихос тогда знать, как изуродует потом сенат уже подписанный текст? Для него, как и для остальных панамцев, все было просто: две подписи под договором поставлены, и делу конец. Серьезные поправки, которые внес сенат США задним числом, были в их глазах вероломством. Даже нам в Европе трудно понять, как это главы государств могут торжественно подписать договор, принятый конгрессом, а затем позволить сенату перекроить его, так что пышный парад диктаторов и делегаций оказывается пустой церемонией.

Вечером на улицах Вашингтона должны были состояться две демонстрации: одна — против договора с Панамой, вторая — против присутствия в Вашингтоне Пиночета.

В здании Организации американских государств был устроен грандиозный прием для глав государств и членов их делегаций — в общей сложности на тысячу человек. На первых двух этажах столы ломились от яств, вокруг столов толпились гости, негде было яблоку упасть. Но прелестная молодая дама, приданная мне в помощь, проводила меня на третий этаж, где угощения не было и соответственно не было и такой тесноты. Кроме того, здесь я имел больше шансов встретить кого-нибудь из диктаторов: вряд ли диктаторы будут толкаться вокруг столов в поисках пропитания. Я решил, что, если мне посчастливится столкнуться с Пиночетом, я ему скажу:

— У нас, кажется, есть общий знакомый... доктор Альенде.

Пиночета, однако, нигде не было видно, зато неподалеку стояли Видела и президент Гватемалы — оба в штатском

[1] Здесь: мужчина, презирающий всякое проявление слабости.

для пущей демократичности. Я остановился в нескольких шагах от Стресснера, также в цивильном костюме. Последний раз я видел его в 1968 году в Асунсьоне на праздничном параде — облаченный в генеральский мундир, он возвышался на трибуне, приветствуя поднятой рукой искалеченных героев никому не нужной войны Парагвая с Боливией, проезжавших в инвалидных колясках под водительством полковников, которые стояли в открытых машинах навытяжку, как кегли. Теперь, в штатской одежде, он больше, чем когда-либо, походил на краснолицего немца — хозяина Bierstube [1]. Его окружали какие-то личности, внимавшие каждому его слову,— может быть, это были охранники, игравшие роль собеседников. Я подумал: будь у меня револьвер и наклонности самоубийцы, как легко было бы избавить мир хоть от одного тирана!

Мимо, торопясь присоединиться к группе Стресснера, проходил какой-то господин. Моя спутница остановила его.

— Это один из министров генерала Стресснера,— начала она.— Позвольте представить...— Мы вежливо протянули друг другу руки.— Господин Грэм Грин.

Министр отдернул руку, и я пожал пустое место.

— Вы однажды проезжали через Парагвай,— бросил он разъяренным тоном и пошел к своему генералу.

А я испытал невольную гордость оттого, что сумел возбудить ненависть еще одного диктатора. В свое время с такой же гордостью я узнал, что доктор Дювалье издал у себя на Гаити брошюру под двуязычным заглавием: «Graham Greene Démasqué — Graham Greene Finally Exposed»[2].

За исключением стресснеровского министра, все латиноамериканцы, с которыми я разговаривал в этой толпе, держались на удивление приветливо. Писатель, путешествующий вдали от дома, едва ли может рассчитывать на дружелюбное отношение. Если одним его книги и нравятся, то других они оскорбляют, и последние вполне могут оказаться в большинстве. К тому же, когда писатель пишет о чужой стране, недостаточно разбираясь в ее жизни, местную публику это, естественно, раздражает. Но мне в тот вечер повезло: я встретил мексиканцев, которые хвалили «Силу и славу», и аргентинцев, которым понравился «Почетный консул».

На следующее утро мне позвонил архиепископ панамский Макграт, и мы договорились вместе ехать на подписание договора. В машине он признался, что сочинил специальную молитву на случай, если его попросят открыть церемонию, и даже прочитал мне текст, а я невольно вспомнил кур в полуразрушенной церкви, которую он не удостоил посещением. Но никакой молитвы не потребовалось. Архиепископ произвел на меня впечатление священнослужителя, который всегда любезен, говорит неизменно прочувствованным голосом, но, впрочем, знает заранее, о чем поведать, а о чем умолчать. Коклеситская церковь и архиепископ Макграт находятся в одной стране, но принадлежат к разным мирам.

Подписание договора о Панамском канале было обставлено как роскошное шоу. Нас рассадили по странам; соседями Панамы оказались сенат США и Венесуэла. Мы, панамцы, были пестрой компанией: кроме меня и Гарсиа Маркеса в делегацию — на гораздо более законном основании — входила мать одного из студентов, расстрелянных морской пехотой во время выступлений 1964 года.

Такого скопления звезд я не видел после фильма «Вокруг света за восемьдесят дней». В зале собрались все примелькавшиеся персонажи бессчетных телепередач и газетных фотопубликаций — за исключением разве что Элизабет Тейлор. Вот, пока рассаживается делегация США, Киссинджер снует взад и вперед по большому залу ОАГ, одаряя всех направо и налево своей «глобальной» улыбкой. Впереди меня, через пять рядов, Нельсон Рокфеллер усердно любезничает с вдовой Джонсона — будто остался сидеть с ней за столиком, когда все пошли танцевать; и дальше в том же ряду видна голова бывшего президента Форда — на телеэкране он не выглядел таким светлым блондином, или это после посещения парикмахерской? А вот мистер и миссис Мондейл, миссис Картер... Через два ряда от меня сидел Энди Янг, по-юношески свежий и улыбчивый. Все они держались подчеркнуто просто, как кинозвезды в «Вокруг света», где они смеха ради взяли на себя мелкие роли. Они здесь не по работе, а так, чтобы быть замеченными, как светские львы, съехавшиеся на модную вечеринку, которым весело и приятно видеть кругом знакомые лица: «А, и вы тут?»

Исполнители главных ролей сидели на сцене и представляли собой зрелище менее приятное, но куда более внушительное: парагвайский генерал Стресснер, аргентинский генерал Видела — тип с таким узким лицом, что едва хватало места для пары лисьих глаз, боливийский генерал Бансер — маленький испуганный человечек, то и дело теребящий усы, втиснутый не в свой мундир и не в свое амплуа.

А вот и главный из характерных актеров — сам генерал Пиночет, личность, словно нарочно созданная, чтобы внушать отвращение. Его, как Бориса Карлоффа [1], публика узнает с первого взгляда — уж кто-кто, а он действительно может смотреть сверху вниз на высокооплачиваемых легковесных голливудских знаменитостей. Его подбородок был так глубоко упрятан в воротник, что казалось, будто у него совсем нет шеи, он сидел и посмеивался умными, фаль-

[1] Пивная *(нем.)*.

[2] «Истинное лицо Грэма Грина» *(франц. и англ.)*.

[1] Псевдоним английского актера Уильяма Прэтта, прославившегося в роли чудовища в фильме «Франкенштейн» (1931) и снявшегося затем во многих фильмах ужасов.

шиво-добродушными глазами, словно предлагая не принимать всерьез все эти рассказы о пытках и убийствах в Южной Америке. Мне было трудно поверить, что только неделю назад я разговаривал в Панаме с женщиной, которая разрыдалась, вспомнив, как ей совали штык во влагалище.

Пиночет, я уверен, прекрасно понимал, что находится на особом положении; он был единственным, чье присутствие вызывало в Вашингтоне демонстрации протеста — люди, видно, не знали, как пишется фамилия Стресснер, а про Бансера и вовсе забыли. Пиночет вел себя тактично — не стал махать рукой своему союзнику Киссинджеру, и Киссинджер тоже ни разу не поглядел в его сторону.

Но вот мы все встали, были сыграны гимны обеих стран, и под их звуки вошли Картер и генерал Торрихос, чтобы поставить свои подписи под договором, несколько замусоленным, впрочем, за тринадцать лет пересмотров и исправлений. Но я, и наверняка не я один, продолжал следить за Пиночетом. Он, как Карлофф, мог сыграть свою роль без текста; ему не надо было даже пыхтеть и сопеть.

У Картера вид был растерянный. Он произнес несколько банальных фраз, и, несмотря на все микрофоны, за пять рядов его уже не было слышно. Зато как временный панамец я с гордостью слушал Омара Торрихоса,— голос его, не то что у Картера, звучно взрезал тишину. И начал он свою речь, вопреки моим опасениям, именно так, как читал мне, приступив сразу к существу дела, без традиционного обращения: «Господин президент, ваши превосходительства и т. д.» — так, что даже звезды в партере повернули к нему головы. Поначалу можно было подумать, что он осуждает договор, который собирается скрепить своей подписью:

— «Договор в высшей степени удовлетворителен, весьма выгоден для Соединенных Штатов и, признаться, куда менее выгоден для Панамы».

Выдержав паузу, генерал пояснил:

— Слова государственного секретаря Хэя, 1903 год.

Но сенаторы, которые там присутствовали почти в полном составе, юмора не оценили. Впрочем, это была не только шутка. Торрихос подписывал новый договор скрепя сердце — только для того, как он однажды сказал мне, «чтобы сохранить жизнь сорока тысячам молодых панамцев». Два пункта договора стояли ему поперек горла: отсрочка полного панамского суверенитета над каналом до 2000 года и оговорка, допускающая вмешательство США даже по истечении этого срока в случае, если нейтральный статус канала окажется под угрозой. Мне казалось, что отказ сената ратифицировать договор был бы для Торрихоса не таким уж горем: тогда у него остался бы лишь один путь — вооруженная борьба, о которой он часто думал, желая ее и страшась, как любовного свидания.

Соединенным Штатам повезло, что они вели переговоры с Омаром Торрихосом — патриотом и идеалистом, не исповедующим формально какую бы то ни было идеологию, помимо, в целом, левых симпатий и отвращения к бюрократам. Положение у него было трудное, он выступал один, не опираясь ни на какую политическую партию, притом что старые партии в Панаме продолжали существовать: христианские демократы — партия буржуазии — были ему враждебны, коммунисты поддерживали его временно по тактическим соображениям, ультралевые группировки все как одна выступали против договора (кстати, по тем же соображениям, какие имелись и у генерала). Он мог доверять молодым офицерам Национальной гвардии, мог положиться на «диких вепрей» — вот и все. К некоторым старшим офицерам гвардии следовало относиться с осторожностью. Если договор не ратифицируют, генерал будет нужен Панаме, популярность и руководящее положение ему в этом случае обеспечены. Если же договор ратифицируют, будущее генерала Торрихоса и будущее Панамы окажутся под вопросом. Так оно и получилось.

Сразу же после ратификации Панама должна была получить более трехсот квадратных миль полезной земли и значительные денежные суммы. И кое-кто уже был готов подставить карман. Этих людей совершенно не интересовали планы генерала обеспечить бесплатные школьные завтраки и бесплатное молоко для всех детей, уничтожить трущобы в столице и Колоне, построить приют для сирот и разбить парк для бедняков, вынужденных пока что проводить досуг на улицах таких кварталов, как «Голливуд». Панамские землевладельцы — а в их числе были и высшие офицеры армии — строили совсем другие планы. В случае ратификации договора за жизнь генерала Торрихоса не поручилась бы ни одна страховая компания: он ведь не из тех политиков, кого сажают на самолет и отправляют в Майами. Неудивительно, что ему часто снилась смерть,— эти сны словно застыли в его глазах.

Когда Торрихос подписывал немилый его сердцу договор, рядом с ним на сцене были еще восемь южноамериканских генералов, и я думаю, что для демонстрантов на улицах Вашингтона они слились в единое целое: все они генералы, все так или иначе диктаторы, и протесты в адрес Пиночета адресованы им всем: Омар предвидел такую опасность. Как я уже писал, он хотел, чтобы на церемонии присутствовали только наиболее пристойные из лидеров, но Картер настоял на приглашении всех членов Организации американских государств. В результате выиграл Пиночет, а Торрихос оказался в двусмысленном положении.

Поставив свои подписи, Картер и Торрихос пошли в противоположных направлениях вдоль кресел президиума, приветствуя глав государств. Обычная фор-

ма сердечного приветствия в Латинской Америке — дружеские объятия, но Торрихос, как я заметил, обнялся только с руководителями Колумбии, Венесуэлы и Перу и ограничился формальным рукопожатием с лидерами Боливии и Аргентины, медленно, но верно приближаясь к Пиночету. Пиночет это тоже заметил, и глаза его загорелись недобрым весельем. Когда настал его черед, он поймал ладонь Торрихоса и закинул свободную руку ему на плечо. Если бы в эту минуту щелкнула репортерская камера, получилось бы, будто Торрихос обнимает Пиночета.

Назавтра, перед отлетом на «конкорде» в Париж, я увиделся с Чучу — опять, думал я, в последний раз Чучу был настроен мрачно: он был недоволен условиями договора, а тут еще сенат... Он сказал, что, наверное, бросит службу охранника и вернется в университет.

— Останься еще на полгода,— попросил я.— После ратификации Омар действительно будет в опасности. Ты ему нужен. Кому еще он может довериться?

И Чучу остался, но спасти Омара оказался не в силах. Как он сам мне сказал однажды: «Револьвер — плохая защита».

Самолет поднялся в воздух, и я, как мне думалось, навсегда распрощался с этой странной интерлюдией в своей жизни. В течение двух лет, пока шла битва за договор, Омар нуждался в дружественном стороннем наблюдателе. Теперь договор подписан, и всякая надобность во мне отпала. Прощай, Омар, прощай, Чучу, сказал я сам себе, сидя в «конкорде» — шумном и неуютном, под стать моему настроению. Мы неслись в Париж со скоростью звука, а у стюарда не нашлось даже кусочка сыру.

— Только по особому требованию.

— Считайте мое требование особым.

Где-то выкопали маленький засохший треугольник камамбера.

У меня в кармане в целости и сохранности лежало письмо Камило.

(Окончание следует)

Грэм Грин и Омар Торрихос в Панаме.

(Фото Бернарда Дидриха)

Культура и современность

ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ

После пятилетнего перерыва в Лодзи вновь был организован показ документальных фильмов общественно-политической тематики, который впервые проводился как кинофестиваль. В рамках фестиваля демонстрировались фильмы, созданные с начала 80-х годов.

Заметно оживление и в художественном кинематографе Польши. Растет число выпускаемых на экраны фильмов, в ряды кинематографистов влилось новое, молодое поколение сценаристов, режиссеров, актеров, организаторов кинопроизводства. О международном авторитете современного польского кино свидетельствуют премии на международных кинофестивалях. Яркий пример тому — награждение серебряным призом XIV Международного кинофестиваля в Москве фильма Станислава Ружевича «Женщина в шляпе».

Проблемы дальнейшего развития отечественного кинематографа все чаще оказываются в центре внимания не только профессиональных кругов, но и общественности. Об этом, например, свидетельствуют статьи, опубликованные в журнале «Экран» и в газете «Жиче Варшавы». Авторы их анализируют ситуацию, сложившуюся в двух важнейших областях кинематографического творчества.

Журнал «Экран» познакомил своих читателей с содержанием и результатами фестиваля в Лодзи.

Вначале сквозило некое беспокойство: что за фильмы будут показаны? Отражены ли в них проблемы и события, волновавшие польскую общественность с начала 80-х годов. Хорошо известно, что политическая атмосфера этих лет оказала влияние на все стороны жизни в стране, вплоть до внутрисемейных отношений.

«Знаменательно,— пишет известный кинокритик Януш Сквара,— что, хотя еще не все наши художники демонстрируют определенное и ясное отношение к бурным событиям нашей жизни последних лет и не все еще мы способны точно выразить языком кино, можно смело утверждать, что наш общественно-политический кинематограф находится на хорошем уровне и не утратил своих прежних достоинств».

Анализируя успех лучших фильмов, показанных в Лодзи, Януш Сквара прежде всего выделяет работу режиссера-документалиста Тамары Солоневич — картину «Узкоколейка», награжденную главным призом фестиваля.

«В этой картине есть все, чего мы ждем от добротного фильма общественно-политического характера: смелая тема, стремление автора выступить в защиту правого дела и, наконец, то что особенно важно,— высокое художественное мастерство».

В картине Тамары Солоневич речь идет об узкоколейной железной дороге, связывающей несколько районных центров. Она постоянно ремонтируется — от этого очень страдают местные жители. Документалисты показывают служащих и путейщиков, в трудных условиях ликвидирующих постоянные поломки.

«Узкоколейка»— фильм отнюдь не только о технологии. Если бы это было так, он не заслуживал бы особого внимания. Показывая труд железнодорожников, Солоневич включает его в широкую социально-политическую перспективу. Герои ее живут не только личными проблемами... Они стремятся принимать участие в событиях, касающихся всех... Спорят — и действуют. И постепенно эта незаметная узкоколейка обретает значение символа Польши

со всеми ее «неисправностями», требующими ремонта... Тамара Солоневич создала прекрасный фильм, в котором показ конкретных, словно бы незначительных событий обретает метафорический смысл».

Не все фильмы, по мнению автора статьи, поднялись до уровня «Узкоколейки». В качестве примера он называет «Дни надежды, дни драмы» М. Душинского, «Начало пути» Е. Я. Томчака — широкой исторической перспективы в них нет. Не приемлет он и картин, ограничивающихся воспроизведением лишь частных фактов, называя в качестве примера ленту Е. Войняка «Голоса из зала», рассказавшую о заводе, на который были наложены государственные санкции.

«В том, что говорят рабочие завода, много горечи. Они досадуют на то, что не могут дать государству необходимую ему продукцию из-за отсутствия сырья, поступающего из-за границы. К сожалению, режиссер фильма не попытался подняться до каких-либо серьезных выводов, оказавшись в плену у материала, который он подверг лишь монтажной обработке».

Снова и снова Я. Сквара подчеркивает что ценность, общественную и художественную, могут иметь лишь фильмы, создатели которых, показывая те или иные события, извлекают из них уроки на сегодня и на завтра, предлагая решения представленных на экране проблем. Именно поэтому он, например, высоко оценивает работы авторов, выступающих в защиту окружающей среды, рассматривающих сложные проблемы в контексте социальных и общественных процессов, происходящих как в стране, так и на каждом отдельно взятом промышленном предприятии.

«Многих беспокоит проблема «трудной» молодежи,— пишет Сквара.— В двух своих фильмах «Год рождения 1963-й» и «Через год» режиссер-документалист Михал Марынярчик задумывается над причинами ее социальной атрофии... Достаточно пессимистична картина «Зонд» Мечислава Вогта, где фигурируют будущие медики, не чувствующие призвания к своей профессии. Одни выбрали ее случайно, другие — из чисто меркантильных соображений.

Неужели мы представляем общество, в котором отсутствуют какие-либо нравственные ориентиры? Подобные вопросы можно множить, но очень хорошо, что кинематографисты размышляют над всем этим, требуя того же от нас, зрителей.

Возможно, кто-то скажет, что образ Польши выглядит в этих фильмах довольно «черным», но ведь выходят на экран и другие картины, такие, как «Смысл жизни» Радослава Собецкого или «О. Н. Д.» Хенрика Дедерки, они будят в зрителях оптимизм и надежду на будущее».

В первой из них речь идет о сельском враче, возвращающем таким, как он сам, людям-калекам веру в то, что они могут быть полезны обществу. «О. Н. Д.» рассказывает об уже немолодом человеке: всю свою сознательную жизнь он подчинил девизу «Отчизна, наука, добродетель» и сейчас, во время своего отпуска, работает на стройках Варшавы.

«Такие герои заслуживают того, чтобы мы следовали их примеру, только надо найти их и суметь рассказать о них скептически настроенным молодым людям. Положительных героев немало и в прошлом. Таким человеком, достойным самого высокого уважения, был лодзинский рабочий Ян Проминский — герой фильма режиссера Лешка Скжыдлы, созданного совместно с документалистами Советского Союза».

Фильм повествует о том, как в 1897 году рабочий парень был сослан в Сибирь, в село Шушенское, где познакомился с В. И Лениным. После трехлетней ссылки Проминский остался в России, стал работать железнодорожником и всю свою дальнейшую жизнь посвятил делу социального и политического освобождения рабочего класса.

«Временам революции посвящена и картина «Искусство для миллионов» Томаша Побуг-Малиновского — о первых шагах пролетарского искусства и живописи... В фильмах «Кабаре» и «Чужие дети» Анджей Баранский совершенно по-новому взглянул на времена фашизма. Хотя эти работы более камерны по характеру, а их автор сдержан в выражении чувств, осуждение фашизма звучит в них убедительно. Роберт Стандо посвятил свою новую картину «Тревога в мире» теме растущей военной угрозы».

Заключая статью в журнале «Экран», Януш Сквара пишет:

«Возродившийся фестиваль в Лодзи стал, без сомнения, важным событием в нашей кинематографической жизни. Ясно, что, как и раньше, нам необходимы новые произведения общественно-политического звучания, концентрирующие ценный материал, который заставляет думать, спорить, искать новые решения сложных проблем».

В связи с ежегодным фестивалем польских художественных фильмов в Гданьске известный польский кинокритик и киновед Станислав Гжелецкий, автор ряда книг по проблемам развития отечественного и зарубежного кинематографа, опубликовал в газете «Жиче Варшавы» статью, в которой дал оценку современного состояния польского игрового кино.

По мнению участвовавших в фестивале критиков и публицистов, в области создания художественных фильмов (сейчас их делается до сорока в год) польские кинематографисты не могут похвастать достижениями, подобными успехам десятилетней или даже пятилетней давности. Этот вывод С. Гжелецкого перекликается с оценкой положения в художественном кинематографе, данной еженедельником «Политика»:

«...ситуация, когда на один хороший или относительно хороший фильм приходится пять-шесть явно плохих, неприемлема».

«По нашим экранам,-- пишет С. Гжелецкий,— кружат ночные тени. Наплыв серости трудно объяснить, но факт остается фактом... Казалось бы, что жизнь в нашей стране, состояние общественного сознания дол-

жны именно сейчас будить мысль и воображение художников, вызывая у них потребность высказаться...»

Серьезный упрек автор статьи бросает в адрес кинематографистов, дебютировавших в последние годы.

«Одни испытывают страх перед необходимостью занять ясную идейную позицию по отношению к имеющим в обществе место настроениям, предубеждениям и надеждам. Надо быть подлинно творческой личностью, чтобы преодолеть в себе этот страх. Когда этого нет, тогда и появляются фильмы, ничего собой не представляющие... Других привлекает легкость, с какой в Польше можно делать фильмы. Легкость организационная и... экономическая».

Он говорит о том, что пользующиеся творческой и экономической самостоятельностью кинообъединения на киностудиях сами финансируют свои фильмы, но при этом подчас им не хватает принципиальности в требованиях к отдельным кинопостановщикам. Расплачивается за это в конечном итоге государство, не жалеющее денег на поддержку отечественной художественной кинематографии:

«Все дело в том, что на эти деньги так и не был создан ни один по-настоящему выдающийся фильм, появилось лишь несколько хороших картин и много «серых» лент...»

Известный кинокритик не ограничивается констатацией существующего положения:

«К счастью, в нашем кино есть группа творческих работников, обладающих художественным талантом и гражданской принципиальностью. Они сознают опасность наплыва «серости» и не собираются ему поддаваться. О чем идет речь? Прежде всего о том, что необходимо сохранять спокойствие: не рвать на себе одежду, которая нам не нравится, но и не продолжать безразлично носить ее...

В истории любого из искусств бывают приливы и отливы талантов. В нашем кинематографе сейчас время отлива. Но любая естественная среда, так же как и социальная, профессиональная или творческая, обладает способностью к самоочищению. Это относится и к среде кинематографической...»

Автор статьи в «Жиче Варшавы» уверен в том, что «серые» фильмы ожидает забвение. Их создателям, возможно, придется найти для себя более подходящее, чем кинематограф, поле деятельности. И он считает это совершенно справедливым.

«Демократия,— пишет С. Гжелецкий,— означает также и то, что каждый человек, чувствующий в себе призвание, имеет право проверить его в художественной области, поддержку которой оказывает наше общество, государство. Но, как мы начинаем это постепенно осознавать, возможности, предоставляемые демократией, необходимо учиться использовать по назначению. Во имя общественной и личной пользы».

В. ИВАНОВ

◆

Антирубрика

СЬЮ ТАУНСЕНД

ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК АДРИАНА МОУЛА, ТРИНАДЦАТИ ЛЕТ И ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ ОТ РОДУ

Фрагменты романа

Перевод с английского ЮРИЯ ЗАРАХОВИЧА

Четверг, 1 января.

Выходной день в Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльсе.

Я твердо решил в Новом году:

1. Переводить слепых через дорогу.
2. Вешать брюки на место.
3. Вкладывать пластинки в чехлы.
4. Ласково обращаться с нашим псом.
5. Быть добрым к бедным и невежественным.
6. Не выдавливать больше прыщи.
7. Не начинать курить.

И дал себе зарок — в жизни не прикасаться к алкоголю, до того было мерзко слышать, как буянили вчера взрослые в гостиной.

Папа напоил пса шерри-бренди. Ох, и влип бы он, прознай об этом Королевское общество защиты животных. С рождества уже прошло восемь дней, а мама так и не надела зеленый с люрексом фартук, который я ей подарил. В следующий раз подарю что-нибудь для ванной.

Везет мне как утопленнику! Первый день нового года, а на подбородке вылез прыщ!

Пятница, 2 января.

Выходной день. Полнолуние.

Чувствую себя ужасно. Все из-за того, что в два часа ночи маме вздумалось взобраться на второй этаж и запеть во весь голос. Ну и повезло же мне с мамочкой! Родители, похоже, скоро совсем сопьются. Эдак через год-другой я и в приют угожу.

© Sue Townsend, 1982

СЬЮ ТАУНСЕНД — SUE TOWNSEND (род. в 1946 г.)

Английская писательница, начинала в литературе как драматург, автор нескольких пьес. Роман «Тайный дневник Адриана Моула, тринадцати лет и девяти месяцев от роду» ("The Secret Diary of Adrian Mole aged $13^{3}/^{4}$". London Methuen, 1983) — первое крупное произведение, принесшее Сью Таунсенд признание и успех

Пес отомстил папе за шерри-бренди. Подпрыгнул, сшиб со стола модель парусника, которую папа смастерил, запутался лапами в оснастке и выкатился в сад. «Три месяца работы псу под хвост»,— заталдычил папа. Прыщ на подбородке все дуется и дуется. Мама виновата — она и понятия не имеет о витаминах.

Суббота, 3 января.

С ума сойду от недосыпания! Отец выставил пса за дверь, и тот лаял под окном всю ночь. Везет же мне как утопленнику! Отец неприлично его обругал. Надо бы папе полегче на поворотах, а то упекут еще за нецензурные выражения.

Прыщ мой, похоже, нарывает. Вот невезуха: на самом видном месте. Я сказал маме, что весь день не получал витамина С. Она ответила: «Пойди купи апельсин». Всегда она так.

А фартук с люрексом даже и не надела. Ей-богу, скорей бы в школу.

Воскресенье, 4 января.

Второе воскресенье после рождества.

Папа подцепил грипп. И неудивительно — при нашем-то питании. Мама пошла под дождем покупать ему витаминный напиток, но я ей правильно сказал: «Раньше надо было думать, мамочка». Чудо еще, что у нас цинги нет. Мама уверяет, будто на подбородке у меня ничего не видно. Это в ней проснулась совесть из-за того, что она меня отвратно кормит.

Мама забыла запереть калитку, и пес сбежал. Я сломал звукосниматель на стереопроигрывателе. Никто пока не заметил. Если повезет, папа сляжет надолго, а кроме меня и папы, пластинки никто не крутит. Мой фартук мама так и не носит.

Понедельник, 5 января.

Пес все не возвращается. Без него — тишина и покой. Мама позвонила в полицию, дала приметы. В ее описании пес выглядит куда хуже, чем на самом деле: запущенный, нечесаный, глаз не видно... По-моему, полиция должна заниматься более серьезными делами: ловить убийц, например. Я сказал об этом маме, но она все равно позвонила. Вот убьют ее, пока полиция ищет собаку,— будет знать.

Папа все валяется в постели. Тоже мне больной, а сам курит!

Сегодня заходил Нигел. Уезжал на рождественские каникулы отдыхать, загорел. Наверное, скоро сляжет — в Англии-то холодно. Не следовало бы родителям таскать его за границу.

И ни одного прыща у Нигела нет!

Вторник, 6 января.

Крещение. Первая четверть Луны.

Пес наш наделал дел! Угодил под велосипед почтальона, сбил с него (с велосипеда то есть) спидометр, перепутал всю почту. Потянут нас всех теперь в суд, не иначе. Полицейский сказал, что за псом нужен глаз, и спросил, давно ли он хромает. Мама ответила, что ничего он не хромает, потом посмотрела, а у пса в передней лапе застрял игрушечный пират с папиного парусника.

Пес ужасно обрадовался, когда мама вытащила пирата, и давай наскакивать на полицейского. Грязными лапами прямо на мундир. Мама принесла кухонную тряпку, но тряпка оказалась в клубничном варенье, потому что я вытирал ею нож. Так что мундиру досталось еще больше. В общем, полицейский ушел. Я хорошо слышал, как он выругался. Между прочим, мог бы на него и заявить. Надо посмотреть в моем новом словаре, что такое крещение.

Среда, 7 января.

Утром прикатил на своем новом велике Нигел. Велик с флягой, со спидометром, с дистанциометром. Желтое седло и узкие гоночные колеса. Покупать этот велик Нигелу — только добро переводить. Он же кроме как в магазин и обратно никуда не ездит. Мне бы такой — я б всю страну исколесил вдоль и поперек, чего б только не насмотрелся!

Мой то ли прыщ, то ли нарыв раздулся дальше некуда. Нашел в словаре слово, как нельзя лучше подходящее к папе: «симулянт». Знай себе валяется в постели, глушит витамин С.

Собаку заперли в угольный сарай.

Крещение — это что-то про трех волхов. Подумаешь, событие!

Четверг, 8 января.

Теперь и мама слегла с гриппом. Значит, ухаживать за родителями придется мне. Везет как утопленнику!

Весь день напролет только и бегал по лестнице. Состряпал им сытный ужин — два яйца-пашот с фасолью и консервированный манный пудинг. (Хорошо, что надел зеленый фартук с люрексом, потому что вывалил яйца из сковородки прямо на себя.) Еле сдержался, чтобы не сказать пару ласковых, когда увидел, что родители даже не прикоснулись к еде. Не настолько же они больны. Отнес их ужин собаке в угольный сарай. Завтра утром приедет бабушка, поэтому пришлось почистить сожженные кастрюли и выгулять собаку. Спать лег только в полдвенадцатого. Что ж тут удивляться, если я для своих лет не вышел ростом.

Решил врачом не становиться.

Пятница, 9 января.

Всю ночь только и знали что кашлять. Не одна, так другой. А ведь, казалось, могли бы и обо мне подумать. Я-то как за день устал!

Пришла бабушка, увидела, что творится в доме, и взбеленилась. Я завел ее в свою комнату, которую всегда содержу в чистоте и порядке. Бабушка дала мне пятьдесят пенсов. Я показал ей пустые бутылки в мусорной корзине, она взбеленилась еще больше.

Бабушка выпустила пса из угольного сарая, сказала, что мама поступила жестоко, заперев его там. Пса стошнило в кухне на пол. Бабушка заперла его обратно в сарай.

Бабушка выдавила мне прыщ на подбородке. Стало еще хуже. Я рассказал ей про зеленый фартук, а она ответила, что на каждое рождество дарит маме свитер из акрила, но та ни разу ни один не надела!

Суббота, 10 января.

Утро. Теперь и пес заболел! Его все время тошнит, придется вызывать ветеринара. Папа запретил говорить ветеринару, что пса двое суток держали взаперти в угольном сарае.

Заклеил прыщ пластырем, чтобы не набраться от пса микробов.

Приехал ветеринар, увез пса. Подозревает непроходимость, требуется срочная операция.

Бабушка поругалась с мамой и отправилась домой. Нашла рождественские свитеры в мусорном мешке, изрезанные в лоскуты. Гадко так поступать, когда люди голодают.

Пришел сосед, мистер Люкас, проведать родителей. Родители все еще не встают. Принес маме цветы и открытку с пожеланием «скорейшего выздоровления». Мама сидела в постели. Рубашка с большим вырезом едва прикрывала грудь. Говорила с соседом дрянным голосом. Папа притворился спящим.

Заскочил Нигел, принес свои пластинки. Он увлекается панками, но я не вижу в этом смысла — слов-то все равно не разобрать. Да и вообще чувствую, что становлюсь интеллектуалом. Все от забот, должно быть.

Вечером отправился проведать пса. Ему уже сделали операцию. Ветеринар показал мне полный целлофановый пакет всякой дряни: кусочек угля, елочку с рождественского пирога, игрушечных пиратов с папиного парусника. Один пират размахивал саблей, которая, должно быть, причиняла псу мучительную боль. Сейчас вроде ему много лучше. Дня через два можно забирать. К сожалению.

Когда вернулся домой, папа висел на телефоне. Ругался с бабушкой из-за пустых бутылок в мусорном ведре.

Мистер Люкас разговаривал с мамой наверху. Когда он ушел, наверх поднялся папа и начал ругаться с мамой. Довел ее до слез. Папа сильно не в духе. Значит, выздоравливает. Я принес маме чашку чая, хоть она и не просила. Она снова расплакалась. Некоторым ничем не угодишь!

А прыщ все не проходит.

Воскресенье, 11 января.

Первое воскресенье после крещения.

Теперь я знаю точно: я интеллектуал. Вчера слушал по телевизору Малькольма Маггериджа[1] и понял почти каждое слово. Все сходится: сложности в семье, плохое питание, неприязнь к панкам. Запишусь, пожалуй, в библиотеку, а там посмотрим, что из этого выйдет. Жаль, тут у нас больше нет интеллектуалов. Мистер Люкас хоть и носит вельветовые брюки, а все равно страховой агент. Вот ведь невезуха.

Так что же следует за крещением?

Понедельник, 12 января.

Пес снова дома. Беспрестанно зализывает швы, поэтому сажусь есть спиной к нему.

Утром мама поднялась с кровати. Решила устроить пса поуютнее, чтобы тому было где спать, пока не поправится. Приспособила картонный ящик из-под пачек со стиральным порошком. Папа сказал: от порошка собака так расчихается, что швы разойдутся, и ветеринар за то, чтобы их снова зашить, сдерет с нас больше, чем за операцию. Сначала родители ругались из-за ящика, потом папу понесло насчет мистера Люкаса. Хотя какое отношение имеет мистер Люкас к собачьей постели, так и осталось для меня тайной.

Вторник, 13 января.

Папа вышел на работу. Слава богу!!! И как только мама его терпит!

Утром зашел мистер Люкас узнать, не нужно ли чем помочь маме по дому. Очень любезно с его стороны. Миссис Люкас в это время мыла снаружи окна. Лестница показалась мне довольно хлипкой.

Я обратился в Би-би-си к Малькольму Маггериджу с вопросом, как быть и что делать интеллектуалу. Надеюсь, он быстро ответит, а то мне уже осточертевает вариться в собственном соку. Я написал стихотворение всего за каких-то две минуты. Даже самые знаменитые поэты так быстро не умеют. Стихотворение называется «Кран», но на самом деле оно вовсе не про кран, оно очень глубокое — про жизнь и всякое такое.

«КРАН». Автор — Адриан Моул:

Кран течет так, что просто ужас.
Будит меня, а к утру будет лужа.
Нету в кране прокладки — сгниет наш ковер.
Снова папе гнуть спину — ведь он же не вор.
Эдак папа загнется, себя не щадя.
Пап! Поставь-ка прокладку! Не будь как дитя!

Я показал стихотворение маме, но она лишь рассмеялась. Мама у меня не очень развитая. До сих пор не постирала спортивную форму, а завтра физкультура. В телефильмах мамы совсем не такие.

Среда, 14 января.

Записался в библиотеку. Взял «Уход за кожей», «Происхождение видов» и книгу одной тетки, какой-то Джейн Остин, которой мама давно мне проела плешь: «Гордость и предубеждение»[1]. Я заметил, что мой выбор впечатлил библиотекаршу. Тоже, должно быть, интеллектуалка вроде меня. На прыщ мой даже не взглянула. Наверное, он уже проходит. Давно пора!

Мистер Люкас с мамой сидели на кухне, пили кофе. Накурили, хоть топор вешай. Они смеялись, но замолчали, когда я вошел.

Миссис Люкас чистила сточную канаву у своего дома напротив нас и казалась очень недовольной. Сдается мне, что мистер и миссис Люкас несчастливы в браке. Бедный мистер Люкас!

Никто из учителей в школе и не заметил, что я интеллектуал. Пожалеют, когда прославлюсь. У нас в классе новенькая. На географии сидит рядом со мной. Ничего девочка. Звать Пандора, но откликается

[1] Малькольм Маггеридж (род.в 1903 г.) — старейший британский журналист. Ученый, политический обозреватель, публицист. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[1] Джейн Остин (1775—1817) — английская писательница. Ее широко известный роман «Гордость и предубеждение» написан в 1813 году.

лишь на «Пандорин ящик»[1]. Ни фига себе, а? Пожалуй, я в нее влюблюсь. Пора бы уже влюбиться: как-никак мне тринадцать лет и девять месяцев.

Четверг, 15 января.

У Пандоры волосы цвета патоки. Длинные, как и положено девочке. И фигурка что надо.

Псу сняли швы. Он укусил ветеринара, но он, наверное, к этому привык (ветеринар, то есть, привык, а не пес).

Папа обнаружил сломанный звукосниматель. Я ему наврал, что звукосниматель сломал пес, прыгнув на проигрыватель. Папа ответил, что подождет, пока пес полностью оправится после операции, а потом как следует его вздует. Надеюсь, это он не всерьез.

Когда я вернулся из школы, на кухне снова сидел мистер Люкас. И чего он к нам все ходит, не понимаю: мама ведь давно уже выздоровела. Миссис Люкас в темноте сажала деревья перед домом. Я немного почитал «Гордость и предубеждение». Книга довольно старомодная. По-моему, этой Джейн Остин давно пора писать посовременней.

Пятница, 16 января.

Зашел мистер Люкас, предложил подвезти маму в магазин. Меня подбросили к школе. Из машины я вылез с радостью — сыт по горло ихним смехом и табачным дымом. По пути встретили миссис Люкас. Она тащилась из магазина с битком набитыми сумками. Мама помахала ей, но миссис Люкас не помахала в ответ — руки были заняты. На географии сидел рядом с Пандорой. Она хорошеет не по дням, а по часам. Я ей сказал, что у нее глаза такого же цвета, как у моей собаки. Она спросила, какой породы собака. Я объяснил, что дворняжка.

Одолжил Пандоре голубой фломастер — обвести на контурной карте Британские острова. По-моему, она замечает такие знаки внимания.

Начал сегодня «Происхождение видов», но телевизионному сериалу эта писанина и в подметки не годится. Зато «Уход за кожей» — вещица в порядке. Раскрыл на главе о витаминах и оставил на видном месте. Надеюсь, мамочка поймет намек. Я положил книгу на кухонном столе подле пепельницы. Там мама ее заметит обязательно. Записался к врачу, хочу показать ему прыщ. Прыщ весь побагровел.

Суббота, 17 января.

Сегодня проснулся рано. Миссис Люкас бетонировала площадку у дома, и водитель бетоновоза не счел нужным глушить двигатель, пока она разравнивала бетон лопатой. Мистер Люкас вынес ей чашку чая. Он действительно очень любезен.

[1] Пандора — в греческой мифологии первая женщина, созданная Афиной и Гефестом по воле Зевса. Жена брата Прометея Эпиметея; увидев в доме мужа ящик, наполненный людскими пороками и несчастьями, открыла его, несмотря на запрет, и все бедствия и болезни, от которых страдает человечество, распространились на земле.. Крышка ящика захлопнулась тогда, когда на дне осталась лишь надежда. «Ящик Пандоры» — источник всех бедствий.

Зашел Нигел, позвал в кино, я ответил, что не могу, иду к врачу из-за прыща. Нигел сказал, что прыща и не видно вовсе, но это он из вежливости, потому что прыщ здорово набух.

Доктор Тейлор — ну прямо как один из этих вечно перегруженных работой врачей, о которых только и пишут. На прыщ даже не взглянул, сказал просто, что нечего поднимать панику, и спросил, как дома. Я пожаловался на плохое питание и неустроенность быта, но он заявил, что я хорошо упитан, и велел идти домой да еще поблагодарить родителей за то, что мне так здорово живется. Вот вам и бесплатная медицина. Устроюсь разносить газеты и обращусь к частнику.

Воскресенье, 18 января.

Второе воскресенье после крещения, начало зимнего семестра в Оксфорде.

Мама и миссис Люкас поругались из-за пса. Пес удрал из дома, истоптал незастывший бетон у калитки Люкасов. Отец пообещал его усыпить, но мама расплакалась, и отец сказал, что не станет. Все соседи мыли в это время машины на улице и слушали. Иногда я и впрямь ненавижу этого пса!

Понедельник, 19 января.

В школе основали группу «Милосердных самаритян». Я тоже вступил. Будем помогать людям и все такое. По понедельникам освобождают от математики. Сегодня распределили обязанности. Мне достались старики-пенсионеры. А Нигелу выпала жуткая мутотень: присматривать за малышней в детском саду. Он аж позеленел от злости. Жду не дождусь следующего понедельника. Возьму с собой кассетник, буду записывать, как старичье вспоминает войну и всякую всячину. Надеюсь, мне достанется памятливый дед.

Пес наш снова у ветеринара, между когтями бетон застыл. Неудивительно, что ночью он поднял такой грохот на лестнице. В школе за обедом мне улыбнулась Пандора, но в этот момент я подавился хрящом и не смог улыбнуться ей в ответ. Ну, вечно мне не везет!

Вторник, 20 января.

Полнолуние.

Мама ищет работу!

Эдак я попаду под влияние улицы и скачусь к уголовщине. А куда мне деваться в каникулы? Днями сидеть в прачечной, чтобы согреться? Оставят меня без присмотра с ключом на шее, чтобы сам открывал дом. А о собаке кто позаботится? А есть я весь день что буду? Одни пирожные да конфеты, пока не испортится кожа и зубы не выпадут? Эгоистка моя мама, вот она кто! Да и на работе — что с нее проку? Не очень развитая, а на рождество вечно выпьет лишнего.

Я позвонил бабушке, пожаловался ей. Бабушка сказала, что на каникулы я могу переехать к ней, будем вместе ходить на собрания пенсионеров и проводить с ними досуг. Лучше бы я ей не звонил. Сегодня на перемене заседали «Самаритяне». Распределяли стариков. Мне достался какой-то Берт Бакстер. Ему восемьдесят девять,

так что, наверное, недолго придется мне его опекать. Наведаюсь к нему завтра. Надеюсь, у него нет собаки. Собаками я и так сыт по горло. То веди их к ветеринару, то мешают смотреть телевизор.

Среда, 21 января.

Мистер и миссис Люкас разводятся! Первые на нашей улице. Мама пошла к ним утешать мистера Люкаса. Он, должно быть, совсем раскис, потому что мама все еще была у него, когда папа вернулся с работы. Миссис Люкас уехала куда-то на такси. Наверное, насовсем, потому что забрала клюшки для гольфа. Бедный мистер Люкас, каково-то ему будет самому стирать и управляться по дому!

Ужин сегодня готовил папа.

Разогрел готовое кэрри с рисом; кроме него да пакета какой-то зелени с отклеившейся этикеткой, в морозилке ничего не нашлось. Папа пошутил, что пошлет этот пакет санитарному инспектору на проверку. Но мама не рассмеялась. Все, наверное, переживает, как там теперь мистер Люкас. После ужина отправился к старику Бакстеру. Папа подвез меня, он ехал играть в бадминтон. Дом мистера Бакстера с улицы почти не виден, его скрывает живая изгородь из разросшегося кустарника. В ответ на мой стук в дверь послышался собачий лай. Собака лаяла, рычала и прыгала на почтовый ящик. Убегая, я услышал, как посыпались пустые бутылки и мужской голос громко выругался. Надеюсь, я ошибся адресом.

По дороге домой встретил Нигела. Он сказал, что отец Пандоры — молочник! Я к ней малость охладел.

Дома никого не было. Покормил собаку, поразглядывал свои прыщи и лег спать.

Четверг, 22 января.

Грязная ложь! Отец Пандоры вовсе никакой не молочник! Он бухгалтер на заводе молочных продуктов. Пандора пообещала вздуть Нигела, если тот не прекратит ее порочить. Я снова влюблен в Пандору.

Мама прошла собеседование для устройства на работу. Учится печатать на машинке и совсем не готовит. А что же будет, когда она начнет работать? Если папа не положит этому конец, конец придет нашему дому.

Пятница, 23 января.

Ответа от Малькольма Маггериджа нет и нет. Должно быть, он не в духе. С такими интеллектуалами, как мы с ним, это часто бывает. Обыкновенные люди нас не понимают, думают, мы капризные, а на самом деле тут совсем другое.

Целый день мучился мигренью из-за маминой машинки, будь она неладна. Но я не жалуюсь. Пора ложиться спать.

Завтра идти к Берту Бакстеру. Я вовсе не ошибся адресом. Вот ведь невезуха.

Суббота, 24 января.

Сегодня самый страшный день в моей жизни. Маму с ее дурацкой машинкой взяли в страховую компанию, где работает мистер Люкас. Он будет возить ее на службу.

Папа сильно не в духе — боится неминуемой катастрофы.

Но что хуже всего: Берт Бакстер вовсе не милый пенсионер-старичок! Он курит, пьет и держит огромную овчарку по кличке Сабля. Пока я подрезал разросшийся кустарник, Берт запер ее на кухне, и она рычала, не закрывая пасти.

А самое ужасное — Пандора ходит с Нигелом!!! Вот уж этого я точно не переживу.

Вторник, 3 февраля.

Мама совсем запустила дом. Только и знает, что бегает на работу, утешает мистера Люкаса, читает и курит. Неминуемая катастрофа случилась не с папой, а с папиной машиной. Пришлось проводить его до автобусной остановки. До сорока лет дожил, а где остановка — не знает. Выглядел он таким неухоженным, что было стыдно стоять с ним рядом. Я просто обрадовался, когда пришел автобус. Крикнул папе в окно, что внизу нельзя курить, но он помахал мне рукой и тут же закурил. А за это штраф пятьдесят фунтов. Будь моя воля, я курящих в автобусах штрафовал бы на тысячу фунтов да еще заставлял бы съедать по двадцать сигарет.

Четверг, 5 февраля.

Мама купила себе комбинезон вроде тех, что носят маляры и декораторы. Через него просвечивает нижнее белье. Надеюсь, она не покажется в таком виде на улице. Завтра мама идет прокалывать уши. По-моему, она просто превращается в мотовку, как мама Нигела. Им вечно грозят отключить электричество, потому что мама Нигела недели прожить не может, чтобы не купить новые туфли.

А куда, интересно бы знать, уходит у моих родителей пособие на ребенка? По праву-то оно мое! Завтра спрошу маму.

Пятница, 6 февраля.

День коронации королевы, 1952 год.

Как плохо, когда мать работает. Вбегает домой с сумками, готовит чай, а потом прихорашивается. Но заняться уборкой и не вздумает, пока не утешит мистера Люкаса. Между плитой и холодильником застрял ломтик бекона и лежит там, насколько мне известно, уже третий день!

Я спросил ее о своем пособии, она рассмеялась и сказала, что покупает на него джин и сигареты. Прознай об этом служба социального обеспечения, сидеть бы ей в тюрьме!

Суббота, 7 февраля.

Папа с мамой кричали друг на друга без остановки несколько часов подряд. Началось с упавшего за холодильник ломтика бекона, а перешло на то, во сколько обойдется ремонт папиной машины. Я поднялся к себе, поставил пластинку «Аббы». У отца хватило нахальства пнуть ногой дверь и потребовать, чтобы я уменьшил звук. А когда он спустился вниз, я снова врубил на полную катушку.

Ужина никто не готовил, так что я отправился в китайскую харчевню, купил кулек жареной картошки и соевый соус. Присел поесть на автобусной остановке,

потом мне стало грустно, я погулял. Вернулся домой. Накормил собаку. Лег спать.

Воскресенье, 8 февраля.

Утром ко мне постучался папа, сказал, что хочет поговорить. Полистал альбом с вырезками про Кевина Кигана[1], привинтил перочинным ножом ручку, отвалившуюся от дверцы шкафа, порасспросил о школе. Потом извинился за вчерашнее и за крик, объяснил, что у них с мамой сейчас «трудный период». Спросил, не хочу ли я что-нибудь ему сказать. Я сказал, что он мне должен тридцать два пенса за картошку и соевый соус. Он дал мне фунт. Так что я получил шестьдесят восемь пенсов прибыли.

Понедельник, 9 февраля.

Утром к дому мистера Люкаса подкатил мебельный фургон. Миссис Люкас с какими-то тетками выносила мебель из дома на тротуар. Мистер Люкас высунулся из окна, вид у него был испуганный.

Мама позвонила мистеру Люкасу узнать, как он. Мистер Люкас сказал, что не поедет на работу, потому что вынужден охранять от жены проигрыватель и пластинки. Папа помог миссис Люкас погрузить в фургон газовую плиту, потом вместе с мамой пошел к остановке автобуса. И я с ними. По дороге они начали из-за чего-то ругаться, так что я отвалил на другую сторону и поплелся в школу кружным путем.

Берт Бакстер сегодня был в порядке. Рассказывал о первой мировой. Говорит, что жизнь ему спасла Библия, которую он всегда носил в нагрудном кармане. Потом показал мне эту Библию. Она издана в 1956 году. Похоже, старик мало-помалу выживает из ума.

Пандора! Память о тебе неизменно и мучительно терзает меня!

Вторник, 10 февраля.

Мистер Люкас будет жить у нас, пока не обзаведется новой мебелью.

Папа уехал в Матлок продавать электрообогреватели большому отелю. У нас отключилось газовое отопление. Мороз до костей.

Среда, 11 февраля.

Позвонил из Матлока папа. Он потерял кредитную карточку и не может вернуться сегодня домой. Так что мама и мистер Люкас всю ночь пытались наладить газовый котел. В десять вечера я спустился к ним, думал помочь, но кухонную дверь заело. Мистер Люкас сказал, что открыть не может, потому что как раз сейчас ответственный момент в ремонте котла, а мама помогает ему и занята по горло.

Понедельник, 16 февраля.

Празднование дня рождения Вашингтона.

Письмо из Би-би-си!!! Длинный белый конверт, а на нем большими красными буквами: «Би-би-си». И мое имя с адресом! Неужели хотят заказать мне стихи? Увы, нет. Но в конверте письмо от некоего Джона Тайдемана. Вот что он пишет:

Уважаемый Адриан Моул!

Благодарю за стихи, которые Вы прислали в Би-би-си и которые попали ко мне. Я прочитал их с интересом и, принимая во внимание Ваши юные годы, должен признать, что в них есть нечто обнадеживающее. Однако они недостаточно профессиональны, поэтому мы не сможем использовать их в наших поэтических передачах. Вероятно, Вам стоило бы предложить их школьному или приходскому журналу (если у Вас таковые имеются).

Если в будущем Вы вновь пожелаете прислать Ваши работы в Би-би-си, то просил бы Вас отпечатать их на машинке, а копию оставить себе. Обычно Би-би-си не рассматривает рукописные материалы. И хотя у Вас весьма аккуратный почерк, я с трудом разобрал некоторые слова, особенно в конце стихотворения «Кран», где чернила изрядно расплылись. (Слеза? Или пролитый чай? Или потек Ваш «кран»?)

Поскольку Вы стремитесь посвятить себя литературе, советую обрасти толстой кожей, чтобы научиться принимать многие неизбежные будущие отказы издателей, не теряя присутствия духа и с минимальными переживаниями.

Желаю Вам всего наилучшего в будущей литературной деятельности и прежде всего удачи!

Искренне Ваш
Джон Тайдеман.

P. S. Прилагаю стихотворение некоего Джона Моула, опубликованное в «Таймс литерари сапплмент». Не родственник ли он Вам? Стихи отличные.

Письмо произвело впечатление на родителей. Я все время доставал его и перечитывал в школе. Надеялся, что кто-нибудь из учителей заметит и спросит, что это, но никто не обратил внимания.

Берт прочитал письмо, пока я мыл его треклятую посуду. Сказал, что «все они там в Би-би-си сплошные наркоманы». Дядя его шурина когда-то жил по соседству с официанткой из буфета Дома радиовещания[1], так что Берт знает о Би-би-си все.

Вторник, 17 февраля.

Барри Кент пригрозил меня отделать, если я не буду платить ему двадцать пять пенсов в день. Я ответил, что вымогать у меня монету — пустой номер Все мои карманные деньги мама кладет на счет строительного общества, чтобы у меня, когда вырасту, была своя крыша над головой, а сейчас мне перепадает только пятнадцать пенсов в день на шоколадку. Тогда Барри Кент потребовал, чтобы я платил ему из денег на завтраки. Я объяснил, что деньги на завтраки отец переводит чеком, потому что их набегает до шестидесяти пенсов в день. Барри врезал мне под дых и отвалил, по-

[1] Известный британский футболист, кумир болельщиков. Его именем названа модель мужских туфель.

[1] Центральное здание Би-би-си в Лондоне.

обещав на прощание: «Это только для начала. За мной не заржавеет».

Я пошел устраиваться разносчиком газет.

Четверг, 19 февраля.

День рождения принца Эндрю, 1960 год.

Хорошо ему, принцу, когда у него охрана. Попробовал бы Барри Кент вымогать деньги у него. Пятидесяти пенсов как не бывало! Жаль, не владею каратэ — придушил бы на фиг.

Дома тихо. Родители друг с другом не разговаривают.

Понедельник, 23 февраля.

Получил письмо от мистера Черри, хозяина газетного киоска. Могу начать разносить газеты с завтрашнего дня. Всю жизнь мечтал!

Берт Бакстер обеспокоен своей овчаркой, потому что она ничего не ест и даже не пытается никого укусить. Просил меня отвести ее на осмотр в бесплатную ветеринарную лечебницу. Я обещал сходить завтра, если ей не полегчает.

Мне уже осточертело мыть Берту посуду. Жрет он одну яичницу, а поди отмой ее холодной водой без жидкого мыла. И сухого посудного полотенца в доме не сыщешь. Да и мокрого тоже. А все банные полотенца Сабля изодрала в клочья, так что я сильно сомневаюсь, моется ли Берт вообще! Пожалуй, надо ему выхлопотать сиделку.

А мне надо больше думать об аттестате зрелости, если хочу в ветеринары.

Вторник, 24 февраля.

Встал в шесть утра разносить газеты. Мой участок — Элм-Три авеню. Тот еще районч ик Газеты здесь тяжеленные: «Таймс», «Дейли телеграф», «Гардиан». Везет же мне как утопленнику.

Берт говорит, что Сабля поправилась, поскольку пыталась укусить молочника.

Среда, 25 февраля.

Рано лег спать, устал разносить газеты. Кроме газет доставил двадцать пять экземпляров журнала «Панч».

Четверг, 26 февраля.

Газеты сегодня перепутались. Элм-Три авеню достались «Сан» и «Миррор», а обитателям Корпорейшн-Роу — солидные издания.

И чего они все подняли такой хай? Казалось бы, каждому интересно почитать для разнообразия новую газету.

Понедельник, 2 марта.

Только что заходила мама, объявила, что должна сообщить мне нечто ужасное. Я сел в постели и состроил серьезную мину на случай, если ей осталось жить полгода или ее накрыли с поличным во время кражи в магазине. Мама дергала шторы, обсыпала сигаретным пеплом мою модель «конкорда» и мычала что-то о «взаимоотношениях взрослых», о «сложности жизни» и о том, что ей необходимо «обрести себя». Потом сказала, что очень ко мне привязана. Привязана!!! И что не может причинить мне боль. Потом добавила, что брак для женщины иногда все равно что тюрьма. И ушла.

Ничего себе тюрьма! Женщин каждый день выпускают из дома в магазин, а многих даже на работу. Что-то мамочку на мелодраму потянуло.

Вторник, 3 марта.

Последний день масленицы.

Сегодня отнес Барри Кенту деньги «за защиту». Есть ли бог на этом свете? Если б был, разве позволил бы он всяким барри кентам терроризировать интеллектуалов? И почему здоровенные подростки так жестоки с теми, кто помельче? Потому, наверное, что у них мозги чахнут от тяжести костей и мышц. А может, у них мозги повредились от спорта, а может, этим громилам просто по душе драться и всех задирать. Я, пожалуй, займусь этой проблемой, когда поступлю в университет.

Напишу по ней диссертацию и пошлю Барри Кенту. К тому времени он и читать научится.

Мама забыла, что сегодня положено печь блинчики. Я напомнил ей об этом в 23.00. Уверен, что она сожгла их нарочно.

Через месяц мне исполнится четырнадцать.

Среда, 4 марта.

Пепельная среда[1].

Утром пережил ужасный шок. Принес после доставки газет пустую сумку мистеру Черри и наткнулся на мистера Люкаса. Мистер Люкас разглядывал *те* журналы, на самой верхней полке. Спрятавшись за стеллаж, я прекрасно видел, как он выбрал номер «Биг энд баунси», расплатился, спрятал его под пальто и ушел. «Биг энд баунси» — исключительно неприличный журнал, полный непристойных картинок. Следует поставить в известность маму.

Воскресенье, 8 марта.

Первое воскресенье великого поста.

Мама ушла на собрание группы по обучению женщин самоутверждению. Мужчины не допускаются. Я спросил папу, что означает «обучение самоутверждению». Он ответил: «Бог его знает. Для меня, во всяком случае, ничего хорошего».

На воскресный ужин пришлось довольствоваться разогретой в упаковке треской под масляным соусом и печеными в духовке ломтиками картошки. На десерт — консервированные персики. Папа открыл бутылку белого вина и налил мне попробовать. Я не бог весть какой знаток вин, но, по-моему, букет неплох. Смотрели телевизор, потом пришла мама и принялась нами помыкать. Сказала: «Все, ребята, рак на горе свистнул, — и добавила: — Теперь будем жить иначе». В общем, много чего наговорила в таком духе Затем уселась на кухне составлять график работы по хозяйству, разделив ее на всех троих. Я напомнил ей, что у меня и так хлопот полон рот: разноска газет, уход за стариком-пенсионером и за собакой, не говоря уже о школьных домашних заданиях, но она и слушать

[1] Первый день великого поста, день покаяния. Некогда в этот день священники посыпали золой головы кающихся.

не стала. Повесила график на стенку и объявила: «Прямо завтра и начнем».

Понедельник, 9 марта.

День содружества наций.

Перед доставкой газет вычистил туалет, мойку и ванну. Разнес газеты, вернулся домой. Приготовил завтрак, положил белье в стиральную машину, пошел в школу. Отдал деньги вымогателю Барри, сходил к Берту Бакстеру, битый час прождал инспектора службы социального обеспечения, который так и не пришел. Пообедал в школе. Потом было домоводство, пекли шарлотку с яблоками. Вернулся из школы. Пропылесосил холл, гостиную, столовую. Почистил картошку, посек капусту, порезал палец, смыл кровь с капусты. Насадил мясо на рашпер, посмотрел в поваренной книге, как делать соус. Приготовил соус. Очистил его от комочков, процедив через дуршлаг. Накрыл на стол, подал ужин, помыл посуду. Поставил отмокать пригоревшие кастрюли. Достал из стиральной машины вещи. Все синее, даже белое белье и носовые платки. Развесил сушиться. Накормил собаку. Погладил физкультурную форму. Сделал уроки. Выгулял собаку, принял ванну. Вымыл ванну. Сделал три чашки чая. Вымыл чашки. Лег спать. Что за невезуха — иметь самоутверждающуюся маму.

Вторник, 10 марта.

День рождения принца Эдуарда, 1964.

И почему только я не родился принцем Эдуардом, а он — Адрианом Моулом? Живу как крепостной.

Среда, 11 марта.

Разнес газеты, сделал все по дому, еле доплелся до школы. Мама отказалась дать записку преподавателю, чтобы меня освободили от физкультуры, поэтому просто не взял с собой физкультурную форму. Не могу я бегать на таком холодном ветру.

Но этот садист, мистер Джоунс, заставил меня бежать за формой домой. Пес, должно быть, выскочил вместе со мной за калитку, потому что ждал меня у входа в школу. Я пытался его не пускать, но он пролез сквозь прутья ограды и дунул за мной на спортплощадку. Я юркнул в раздевалку, захлопнув дверь перед самым его носом. Пес разлаялся на всю школу. Затем я попытался украдкой проскользнуть на футбольное поле, но пес опять увязался следом. Увидел мяч и решил вступить в игру! Оказалось, он здорово играет в футбол; хохотал даже мистер Джоунс, пока пес не прокусил мяч.

Мистер Скратон, наш пучеглазый директор, видел все из окна. Он приказал мне отвести собаку домой. Я объяснил, что пропущу завтрак, а он сказал, что это отучит меня впредь приводить собак в школу.

Четверг, 12 марта.

Проснувшись утром, обнаружил, что все лицо пошло огромными красными прыщами. Мама говорит, что это нервное, но по-моему — от плохого питания. Последнее время только разогретыми в упаковке блюдами и пробавляемся. А у меня, может, аллергия на эту упаковку. Мама позвонила доктору Грею, но к нему можно попасть только в следующий понедельник! Ничего себе! А если у меня проказа и я весь район ею заражу? Я попросил маму сообщить врачу, что у меня неотложный случай, но она ответила, что я «вечно преувеличиваю». От прыщей, говорит, еще никто не умирал. Я ушам своим не поверил, когда услышал, что она как ни в чем не бывало собирается на работу. Неужто работа ей дороже собственного сына?

Я позвонил бабушке. Она приехала на такси, увезла меня к себе и уложила в постель, где я сейчас и блаженствую. Здесь так чисто и уютно. Надел пижаму покойного дедушки. Съел овсянки и бульона. Впервые за несколько недель поел по-человечески.

Мама, наверное, войдет в раж, когда, вернувшись с работы, не обнаружит меня дома. Но сказать по правде, милый мой дневничок, мне глубоко на это наплевать.

Пятница, 13 марта.

Первая четверть луны.

Вчера в полдвенадцатого ночи бабушка вызвала неотложку. Врач поставил диагноз: acne vulgaris[1]. Для подростка, говорит, самое обычное дело. На проказу, говорит, никак не похоже, поскольку в Африку в этом году я не ездил. Велел бабушке снять с дверей и окон продезинфицированные простыни. Бабушка заявила, что хотела бы услышать мнение еще одного специалиста. Тутто врач и психанул. И как заорет: «Господи ты боже мой! Да у мальца всего-навсего прыщи повысыпали, как у всех подростков!».

Бабушка пригрозила пожаловаться на него в управление здравоохранения, но врач лишь рассмеялся и ушел, громко хлопнув дверью. Перед работой заскочил папа, привез задание по обществоведению и собаку. Обещал наведаться к обеду и спустить с меня шкуру, если я еще буду валяться в постели. Потом заперся с бабушкой в кухне, и они там долго галдели. «У нас с Полиной полный разлад,— жаловался папа,— вот только не можем решить, кому не брать к себе Адриана». Папа, конечно, оговорился. Он, безусловно, имел в виду, кому меня к себе брать.

Итак, случилось самое страшное: кожа моя окончательно запаршивела, а родители расходятся.

Суббота, 14 марта.

Да, расходятся. Официально оформляют развод. Оба не хотят покидать дом, поэтому гостевая комната переоборудуется в папину спальню. Все это может отрицательно сказаться на мне, даже помешать выучиться на ветеринара.

Мама дала мне пять фунтов, велела не говорить папе. Купил себе биокрем для кожи и новую пластинку «Аббы».

Позвонил мистеру Черри, сказал, что ввиду личных проблем не смогу некоторое время у него работать. Мистер Черри уже понял, что мои родители расходятся, поскольку папа отменил мамину подписку на «Космополитен».

Папа дал мне пять фунтов, велел не говорить маме. Потратил часть денег на пурпурную бумагу и конверты, чтобы в Би-

[1] Прыщи обыкновенные.

би-си впечатлились и прочли мои стихи. Остальное придется отдать Барри Кенту. Ну есть ли кто на свете несчастнее меня? Если бы не моя поэзия, лишился бы рассудка.

Воскресенье, 15 марта.

Второе воскресенье поста.

Дома тихо. Папа курит в своей новой спальне, мама курит в своей. Оба почти ничего не едят.

Маме три раза звонил мистер Люкас. Она ему отвечала одно и то же: «Нет, не сейчас, еще рано». Он, наверное, приглашал ее выпить, чтобы отвлечься от забот.

Когда я принес маме чай, она перебирала старые письма, написанные папиной рукой. «Хотела бы я знать, что ты о нас думаешь, Адриан?» — спросила мама. Я объяснил, что Рик Лемон, руководитель нашего молодежного клуба, считает развод виной общества.

— Пошло бы это общество...— выругалась мама.

Постирал и погладил на завтра школьную форму. Я уже вполне управляюсь с домашним хозяйством.

Прыщи мои так ужасны, что и писать о них невмоготу. Буду в школе всеобщим посмешищем.

Читаю «Человека в железной маске». Уж кто-кто, а я понимаю, каково ему приходилось.

Понедельник, 16 марта.

Поплелся в школу. Приплелся, а она закрыта. К ужасу своему, вспомнил, что начались каникулы. Домой не хотелось, отправился к Берту Бакстеру. Берт сказал, что его навестил инспектор из службы социального обеспечения. Обещал предоставить Сабле новую конуру, но сиделку предоставить не может (Берту то есть, а не Сабле).

В мойке гора грязной посуды за всю неделю. Берт объяснил, что специально копил ее к моему приходу, потому что я хорошо мою. Пока мыл, рассказал Берту о разводе родителей. Берт разводов не признает. Говорит, раз он тридцать пять лет был женат, то почему же остальные не должны страдать? Сказал, что у него четверо детей и ни один не придет навестить. Ну, двое в Австралии, так что понятно, но остальным, по-моему, должно быть стыдно. Берт показал фотографию покойной жены. Сразу видно, что тогда еще не знали пластической хирургии.

Вернулся домой — никого. Поставил «Аббу» на полную мощность и слушал, пока глухая соседка не забарабанила в стенку (у нас общая стенка с ее домом).

Четверг, 19 марта.

Мистер Люкас продает дом. Мама говорит, что он хочет за него тридцать тысяч!

На что ему такая куча денег? Мама говорит, что он купит другой дом, побольше Вот дурак-то!

Будь у меня тридцать тысяч, объездил бы весь мир в познавательных целях. Наличных бы брать не стал: читал, что все иностранцы — воры. Вместо наличных зашил бы в брюки на три тысячи дорожных чеков. А перед отъездом я бы:

1. Послал Пандоре три дюжины красных роз.
2. Нанял за пятьдесят фунтов громилу вздуть Барри Кента.
3. Купил лучший в мире гоночный велик и колесил вокруг дома Нигела.
4. Заказал большой ящик лучших собачьих консервов, чтобы собаку хорошо кормили в мое отсутствие.
5. Нанял сиделку Берту Бакстеру.
6. Дал тысячу фунтов родителям (по тысяче каждому), чтобы они не разводились.

Объездив весь свет, я бы вернулся домой высокий, загорелый, полный ярких впечатлений и ироничный, а Пандора ревела бы по ночам в подушку от отчаянья, что упустила шанс стать миссис Пандорой Моул. Я незамедлительно получил бы диплом ветеринара, а затем купил бы ферму. Одну комнату отвел бы под кабинет, чтобы иметь тихий уголок для интеллектуальных размышлений.

А тратить тридцать тысяч на дом, у которого общая стенка с соседским,— это уж извините!

Суббота, 21 марта.

Родители едят разные блюда в разное время, поэтому мне приходится есть по шесть раз в день, чтобы их не обидеть.

Телик перенесли ко мне, потому что они никак не могли решить, кому из них он принадлежит. Никто теперь не мешает смотреть допоздна страсти-мордасти, лежа в постели. У меня начинают появляться подозрения насчет маминых чувств к мистеру Люкасу. Я нашел его записку маме: «Полина, нельзя же столько тянуть. Ради бога, уедем вместе. Твой навеки, Бимбо».

Хоть и подписано «Бимбо», но я понял, что записка от мистера Люкаса, потому что она нацарапана на обороте его красного счета за электричество. Надо поставить в известность папу. Спрятал записку под матрац вместе с журналом «Биг энд баунси».

Воскресенье, 22 марта.

Третье воскресенье поста, переход на летнее время в Британии.

Сегодня день рождения бабушки. Ей семьдесят шесть, и по ней это видно. Подарил ей поздравительную открытку и цветок в горшке. Называется «Пятнистая лилия», а по-научному — «Диффенбахия»[1]. На горшке — пластмассовый ярлычок с надписью: «Осторожно, яд!» Бабушка спросила, кто выбрал цветок. Я ответил, что мама.

А бабушка, оказывается, рада-радешенька, что родители расходятся! Говорит, всегда подозревала в маме склонность к распутству и теперь видит, как была права.

Мне стало неприятно слышать такое о маме, и я пошел домой. Соврал бабушке, что меня ждет друг. Но на самом деле у меня больше нет друзей. Наверное, потому, что я интеллектуал. Все, должно быть,

[1] Растение из семейства ароидных, его родина — Бразилия. Ядовитые вещества, содержащиеся в стеблях и листьях, оказывают парализующее воздействие на мышцы языка и гортань. Названо по имени немецкого ученого Эрнста Диффенбаха.

испытывают почтительное смущение, общаясь со мной. Посмотрел в словаре, что такое «распутство». Не очень-то приятное слово.

Пятница, 27 марта.

Между Пандорой и Нигелом — разрыв. Вся школа только и говорит об этом. Давно не получал таких хороших известий. Читаю «Мадам Бовари», роман какого-то лягушатника.

Суббота, 28 марта.

Только что от меня ушел убитый горем Нигел. Я пытался его утешить, говорил, что девчонок кругом пруд пруди, вагон и маленькая тележка. Но он был так огорчен, что даже не слушал.

Я поделился с ним подозрениями насчет мамы и мистера Люкаса, а он сказал, что у них это уже давным-давно. Все знали, кроме меня и папы!

Завтра — День матери. Никак не решу, покупать маме подарок или нет. У меня осталось всего шестьдесят восемь пенсов.

Воскресенье, 29 марта.

Мама решила, что они все должны «поговорить как цивилизованные люди». Мистер Люкас придет к нам. Меня, конечно, принять участие в этой встрече не пригласили! Буду подслушивать за дверью.

Понедельник, 30 марта.

Ужас, что вчера творилось. Отец и мистер Люкас подрались в палисаднике, и вся улица сбежалась смотреть! Мама пыталась их разнять, но оба только рычали: «Не лезь!» Мистер О'Лири хотел помочь папе, он все орал: «Врежь этому поганцу за меня, Джордж!» Миссис О'Лири кричала что-то ужасное в мамин адрес. Судя по ее словам, она следила за мамой еще с рождества. Разговор утратил цивилизованный характер где-то около пяти, когда папа понял, как давно у мамы начался роман с мистером Люкасом. Потом, часов в семь, у них состоялась было еще одна «цивилизованная встреча», но когда мама сообщила, что уезжает с мистером Люкасом в Шеффилд, папе не хватило цивилизации, и он полез в драку. Мистер Люкас пытался улизнуть в кусты, но папа прижал его футбольным приемом у лаврового деревца, и понеслось. В порядке вышла драчка, я сверху из окна видел все как на ладони. Когда миссис О'Лири сказала: «Ребенка вот только жаль», все взглянули наверх и заметили меня, так что я постарался принять вид попечальнее. Полагаю, что пережитое меня травмирует и последствия травмы не замедлят сказаться в будущем. Пока не сказываются, но кто ж знает, каким боком она мне еще выйдет.

Вторник, 31 марта.

Мама уехала в Шеффилд с мистером Люкасом. Вести машину пришлось ей, потому что мистер Люкас не мог разлепить глаз из-за синяков. Я сообщил о мамином уходе секретарше в учительской. Секретарша была со мной очень ласкова и передала папе бланк на оформление бесплатных школьных завтраков. Папа-то теперь отец-одиночка. Нигел попросил Барри Кента не вымогать у меня деньги некоторое время. Барри Кент обещал подумать.

Четверг, 2 апреля.

Сегодня мне четырнадцать! Получил тренировочный костюм и футбольный мяч от папы (он глух к моим потребностям), «Пособие по столярным работам для мальчиков» от бабушки Моул (от комментариев воздержусь), открытку и с ней фунт стерлингов от дедушки Сагдена (последняя широкая натура!). Лучший подарок: десять фунтов от мамы и пять — от мистера Люкаса (видать, совесть замучила — откупаются).

Суббота, 4 апреля.

Новолуние.

Мы с папой навели дома порядок. А куда денешься? Завтра ждем к чаю бабушку. После обеда поехали в универсам «Сейнсбери». Папа никак не мог найти кредитную карточку, кассир отказался принять без нее чек, поэтому пришлось звать заведующего, чтобы уладить конфликт. Был вынужден дать папе взаймы из деньрожденных денег. Теперь он мне должен восемь фунтов тридцать восемь с половиной пенсов. Взял с него расписку на обороте кассового чека.

Четверг, 9 апреля.

Вчера поговорили с папой по душам. Он спросил, с кем я останусь: с мамой или с ним. Я сказал: «С обоими». Папа подружился с одной своей сослуживицей, зовут ее Дорин Слейтер. Хочет меня с ней познакомить. Вот вам убитый, отчаявшийся, брошенный муж.

Вторник, 21 апреля.

Утром папа первым в очереди ждал открытия банка. Но когда банк открылся, кассир отказался выдать папе деньги, сказав, что на счету ничего нет. Отец потребовал управляющего. Было так стыдно, что я спрятался за искусственными цветами и ждал, пока не прекратится скандал. Вышел ихний главный, мистер Ниггард[1], и начал успокаивать папу. Сказал, что откроет ему временный кредит. На папу смотреть было тошно. Стоит и бубнит, как попугай: «Это все тот чертов счет от ветеринара». Мистер Ниггард вроде вошел в положение. Наверное, у него тоже собака психованная. Не одни же мы такие!

Понедельник, 27 апреля.

На домоводстве миссис Булл[2] учила нас мыть посуду. Учи ученого! Помыл бы кто-нибудь с мое! Барри Кент разбил небьющуюся тарелку, и миссис Булл выставила его вон. Я видел, как он не таясь курил в коридоре. Вот нахал-то! Я счел своим долгом сообщить об этом миссис Булл. Исключительно из беспокойства о его здоровье. Барри Кента отвели к пучеглазому Скратону и отобрали у него сигареты. Нигел утверждал, что видел на большой перемене, как мистер Скратон курил их возле учительской. Неужели такое возможно?

Среда, 29 апреля.

Папа очень обеспокоен: плохо идут электрообогреватели. По папиным словам, это до-

[1] Скупец, скряга *(англ.)*.
[2] Бык, буйвол *(англ.)*.

казывает, что потребитель не так уж глуп. Я сыт по горло его бесконечным нытьем. Посоветовал ему вступить в клуб или заняться чем-нибудь для развлечения, но он твердо намерен распускать нюни и упиваться своими страданиями. Смеется он только тогда, когда по телику идет реклама электрообогревателей. Ну, тогда он заливается как дурачок.

Воскресенье, 3 мая.

Второе воскресенье после пасхи.

В холодильнике — шаром покати, в буфете — пусто, в хлебнице — какие-то огрызки. И куда только у папы уходят деньги? Пришлось поехать к бабушке, чтобы не умереть с голодухи В четыре часа я пережил одну из тех счастливых минут, что остаются в памяти навсегда. Я сидел у бабушкиного электрокамина, ел горячий тост, с которого капало масло, и читал «Ньюс оф уорлд». По четвертой программе радио транслировали убийственную пьесу о пытках в концентрационных лагерях. Бабушка спала. Пес молчал. И сразу мне сделалось так хорошо! Не иначе как на меня снизошла божья благодать.

А что, из меня получился бы отменный святой.

Вторник, 5 мая.

По дороге в школу встретил почтальона. Он сказал, что в субботу меня приедет навестить мама. Вот напишу про него министру связи, что он нарушает тайну переписки, будет знать.

Когда я вернулся из школы, папа уже прочитал открытку. Он очень обрадовался, начал убирать мусор, потом позвонил Дорин Слейтер и сказал, что придется «крутануть субботнюю свиданку другим разом». Вечно взрослые шпыняют нас, подростков, чтобы мы не засоряли речь разными словечками, а сами такое несут! Дорин Слейтер завопила что-то в телефон. А папа завопил в ответ, что «не хотел постоянной связи» что «с самого начала ясно дал это понять» и что «никто не заменит ему его Полину» Дорин все вопила и вопила, пока папа не бросил трубку. Телефон звонил не умолкая. папа снял трубку и швырнул ее на стол. Убирал в доме как полоумный до двух ночи, хотя сегодня только еще вторник Что же тогда будет в субботу утром? Он, дурачок несчастный, решил, что мама возвращается насовсем.

Суббота, 9 мая.

В восемь тридцать проснулся от громкого стука во входную дверь. Явился тип из электроснабжения. Я с удивлением осознал, что он пришел отключать электричество. Папа задолжал девяносто пять фунтов семьдесят девять пенсов. Я разъяснил типу, что электричество нам нужно для предметов первой необходимости — стереопроигрывателя и телевизора, но он ответил, что такие, как мы, подрывают мощь страны. Он подошел к счетчику, что-то там покрутил, и на кухонных часах замерла минутная стрелка. Вышло очень символично. В этот миг вернулся папа, который уходил за газетой. Он насвистывал, выглядел очень довольным и даже предложил инспектору чашку чая. Инспектор буркнул: «Нет, спасибо»— и заторопился по дорожке к своему голубому фургону. Папа включил электрический чайник. Тут-то и пришлось ему все объяснить.

Виноватым, конечно, оказался я! Папа вопил, что я не должен был впускать инспектора в дом. А я возразил, что он должен был, как бабушка, оплачивать счета еженедельно. Папа закусил удила. И в это мгновение появились мама и Люкас! Ну прямо как раньше, когда все разом орали, не давая друг другу слова сказать. Я взял собаку и поплелся в магазин за свечами. Денег мне одолжил мистер Люкас.

Когда я вернулся, то еще в холле услышал мамины слова: «Ничего удивительного, что ты не в состоянии оплачивать счета, Джордж. Посмотри только на эти цветы, они же, наверное, ужас сколько стоят». Мистер Люкас предложил папе взаймы «хоть целую кучу денег», но папа с достоинством отказался: «От вас, Люкас, мне ничего не надо, кроме моей жены». Мама похвалила папу за порядок в доме. Папа вдруг поник и казался таким старым и несчастным, что мне стало его очень жаль.

Они выперли меня за дверь и принялись спорить, кому меня воспитывать. Спорили очень долго, до темноты, пока не пришло время зажигать свечи.

Люкас обкапал воском свои новые замшевые туфли. Единственное светлое пятно за весь этот трагический день.

Когда мама и Люкас уехали на такси, я лег спать и взял к себе собаку. Слышал, как папа говорил по телефону с Дорин Слейтер, потом услышал, как хлопнула входная дверь. Выглянув в окно, увидел, что от дома отъезжает папина машина. Все заднее сиденье было завалено цветами.

Понедельник, 11 мая.

Берт Бакстер предложил нам масляный обогреватель. Я поблагодарил его за любезность, но отказался. Читал, что такие обогреватели легко опрокидываются, так что наша собака без сомнения, устроит нам адский пожар

Если кто-нибудь узнает, что нам перерезали провода, я перережу себе горло. Не переживу позора.

Вторник, 12 мая.

Сегодня в школе долго беседовал с мистером Вэнном, консультантом по профессиональной ориентации. Он сказал, что я должен специализироваться по физике, химии и биологии, если хочу стать ветеринаром. Поскольку рисование, столярное дело и домоводство мне в этом мало помогут.

Жизнь моя на распутье! Сделай я неверный шаг, и трагедия неминуема — не видать меня ветеринарам как своих ушей. В точных науках я ни бум-бум. Спросил мистера Вэнна, каким предметам надо учиться, чтобы писать комедии для телевидения. Мистер Вэнн ответил, что для этого надо не учиться, а родиться законченным кретином.

Среда, 13 мая.

Досконально обсудил проблему учебы с папой. Папа советует заниматься лишь теми предметами, которые мне даются. Говорит, ветеринарам только и приходится что лазить коровам под хвост или делать уколы

раскормленным, избалованным собакам. Я всерьез подумываю изменить свои планы на будущее.

Хорошо бы стать ныряльщиком за губками, но боюсь, эта профессия в Англии не пользуется большим спросом.

Четверг, 14 мая.

Мисс Спрокстон сделала мне замечание: мол, домашнее сочинение воском заляпано. Я объяснил, что, когда готовил уроки, задел рукавом свечу. Она прослезилась, назвала меня «молодцом» и «славным мальчиком» и поставила мне «отлично».

Поужинав галетами и консервами из тунца, при свечах играли с папой в карты. Было очень здорово. Папа обрезал кончики перчаток, из которых у него торчали пальцы. Мы с ним смотрелись, как пара беглых каторжников.

Читаю «Тяжелые времена» Чарльза Диккенса.

Пятница, 15 мая.

Неожиданно нагрянула бабушка, застала нас врасплох, когда мы ели холодную фасоль прямо из консервной банки, съежившись у походной газовой печурки. Папа при свече читал «Плейбой», а я с фонариком — Диккенса. И были мы всем довольны. Но только папа сказал, что это — «хорошая тренировка на случай крушения цивилизации», как в дом влетела бабушка и закатила нам долгоиграющую истерику. Потом заставила перебраться к ней. Теперь я сплю в постели покойного дедушки, а папа спит внизу на сдвинутых креслах. Бабушка выписала чек, чтобы покрыть наши долги за электричество, и тут же пришла в ярость, потому что предназначала эти деньги на продукты. Ее обжорство стоит жизни двум коровам в год. Вот трупоедка!

Воскресенье, 17 мая.

Папа разбил молочник, которому сорок один год, и пошел в бар выпить, чтобы оправиться от ужаса. Я пошел к Берту Бакстеру, но его не оказалось дома.

Понедельник, 18 мая.

Бабушка не разговаривает с папой из-за молочника. Скорей бы вернуться домой, там-то эти молочники всем до лампочки

Вторник, 19 мая.

Полнолуние.

Папа поздно вернулся домой, и ему здорово влетело от бабушки. Но ведь папе столько же лет, сколько молочнику, и, ей-богу, он имеет полное право возвращаться домой когда вздумает.

Рассказал сегодня папе, что Барри Кент вымогает у меня деньги. Пришлось рассказать, поскольку Барри сильно порвал мне форменный пиджак и оторвал нашивку со школьной эмблемой. Папа обещал завтра заняться Барри и заставить его вернуть все отобранные у меня деньги. Похоже, я разбогатею!

Среда, 20 мая.

Барри Кент нахально отрицал, что терроризирует меня, и только рассмеялся, когда папа потребовал вернуть деньги. Мой отец пошел к его отцу, поругался с ним и пригрозил обратиться в полицию. Смелый у меня папа. А отец Барри Кента похож на гориллу. У него на руках волос больше, чем у моего отца на голове.

В полиции потребовали доказательств, иначе, мол, ничего сделать не смогут. Попрошу Нигела письменно засвидетельствовать факт вымогательства.

Четверг, 21 мая.

Барри Кент вздул меня сегодня в раздевалке и подвесил за воротник на вешалку. Обозвал меня «стукачом» и другими непотребными словами. Обо всем этом прознала бабушка (отец не хотел ее беспокоить из-за диабета). Выслушав меня, она надела шляпку, поджала губы и ушла. Отсутствовала час семь минут, потом вернулась, сняла пальто, поправила прическу, достала из пояса, в который прячет от грабителей деньги, двадцать семь фунтов восемнадцать пенсов и сказала: «Он больше не тронет тебя, Адриан. Но если тронет, скажи мне». Потом приготовила чай. Я купил ей в аптеке коробку диабетического шоколада в знак признательности.

Пятница, 22 мая.

Вся школа только и говорит о том, как семидесятишестилетняя старушка до смерти напугала Кентов и заставила их вернуть деньги. Барри Кент боится показаться нам на глаза. Его шайка выбирает нового вожака.

Суббота, 23 мая.

Мы снова дома. Все цветы завяли. Коврик у двери покрыт красными счетами.

Понедельник, 25 мая.

Я твердо решил стать поэтом! Но папа считает поэзию делом бесперспективным. Поэтам не положено ни пенсии, ни фига. А мне плевать. Папа пытался заинтересовать меня специальностью программиста, но я ему объяснил, что это дело не по мне. Я хочу вложить в свою профессию всю душу, а каждому известно, что у компьютера души нет.

Тогда папа сказал: «Американцы над этим работают».

Это сколько же мне ждать?

Понедельник, 1 июня.

Папа получил письмо. Прочитал и весь побелел: его увольняют по сокращению штатов. Будет получать пособие по безработице! Да разве проживешь на гроши, которые выдает правительство? Придется расстаться с собакой: только на собачий корм идет тридцать пять пенсов в день, не считая галет «Уиналот». Теперь я ребенок безработного родителя-одиночки. Служба социального обеспечения будет приобретать мне обувь!

В школу не пошел. Позвонил в учительскую, сказал секретарше, что у папы психическое расстройство и что за ним требуется уход. Та очень обеспокоилась, спросила, не буйный ли он. Я ответил, что признаков буйства пока нет, но если появятся, вызову врача. Чтобы снять шок, целый день готовил папе обильное горячее питье. Он бубнил про свои электрообогреватели и грозился «выложить все газетам».

Потом позвонил Дорин Слейтер, она тут же заявилась с сыном. Жуткий такой сопляк, зовут Максвеллом. Я эту Дорин увидел и отпал. Понять не могу, с чего отцу захотелось вступать с ней в греховную связь. Ни груди, ни зада. Словом, глиста сушеная. Не успела войти в дом, сразу повесилась папе на шею. Максвелл заревел, собака залаяла, а я пошел к себе и заперся.

Дорин ушла в полвторого, ей надо было отвести Максвелла в сад. Купила нам кое-каких продуктов, потом кое-как состряпала спагетти с сыром. Она тоже мать-одиночка, Максвелл у нее внебрачный. Дорин мне все рассказала, пока мы посуду мыли. Была бы помясистей, смотрелась бы ничего.

Среда, 3 июня.

Пошел в школу, никак не мог сосредоточиться, все думал про эту плоскодонку Дорин. У нее красивые белые зубы (прямые, конечно). Когда вернулся домой, она сделала мне бутерброды с вареньем. Варенья не жалеет, не то что некоторые. Папа сильно пьет и постоянно курит. По словам Дорин, у него временная импотенция. А мне это вовсе и необязательно знать! Дорин говорит со мной так, будто я такой же взрослый, как она, а не сын ее любовника, которому (сыну) четырнадцать лет, два месяца и один день от роду.

Четверг, 4 июня.

Утро началось с того, что позвонила мама, а трубку сняла Дорин. Мама позвала к телефону меня и спросила, кто это и что у нас делает. Я объяснил, что у папы нервное расстройство и что Дорин Слейтер ухаживает за ним. Рассказал, что папу сократили, что он сильно пьет, много курит и вообще распустился. Потом пошел в школу. Мне все было трын-трава, поэтому я надел красные носки. Ходить в красных носках в школу строго запрещено, но в гробу я теперь видал ихние запреты.

Пятница, 5 июня.

Миссис Спрокстон заметила мои красные носки и стукнула, старая грымза, пучеглазому Скратону. Тот вызвал меня к себе и пошел пудрить мозги насчет опасностей нонконформизма. Потом отправил переодеваться в черные носки, как предусмотрено формой. Когда я пришел домой, папа лежал в постели, лечил свою импотенцию. Я смотрел с Максвеллом телевизор, пока папа не спустился вниз. Тогда рассказал ему эпопею о носках.

Папа тут же завелся как последний псих. Позвонил в школу, вытащил Скратона с собрания бастующего персонала и завопил в трубку:

— Меня бросила жена, меня уволили с работы, у меня на руках идиот-мальчишка (это он про Максвелла, надо полагать), а вы терроризируете моего сына из-за цвета носков!

Скратон пообещал, что если я надену в школу черные носки, то все будет прощено и забыто, но папа ответил, что, в каких носках мне вздумается, в таких я и буду ходить.

Скратон заявил, что стремится поддерживать школу «на уровне». Папа возразил, что сборная Англии выиграла в 1966 году чемпионат мира без черных носков. И сэр Эдмунд Хилари [1] в 1953 году тоже обошелся без них.

Скратону, похоже, после этого нечем было крыть. Папа повесил трубку и сказал: «Один ноль в мою пользу».

Чем не заголовок для газет: «Черные носки — причина скандала в школе!» Прочитала бы мама этот заголовок и вернулась бы к нам.

Суббота, 6 июня.

О радость! О счастье! Пандора организует носочный протест! Пришла сегодня к нам домой! Вот именно! Стояла у нас на пороге и рассказывала, в какой восторг привела ее моя принципиальность! Надо было пригласить ее зайти, но дома такой кавардак, что я не решился. В понедельник утром Пандора начнет сбор подписей под петицией в мою поддержку. Говорит, что я — борец за права человека. Пригласила назавтра к себе. Создается комитет, и докладчиком по основному вопросу буду я! Пандора хотела посмотреть на мои красные носки, но они оказались в стирке.

Дорин Слейтер и Максвелл отвалили восвояси. Завтра приедет бабушка, так что и следа от них здесь не должно остаться.

Понедельник, 8 июня.

Проснулся, оделся, прежде майки и трусов натянул красные носки. Папа проводил меня до двери, пожелал удачи. Я чувствовал себя героем. На углу встретил Пандору и членов нашего комитета. Все в красных носках. У Пандоры — с люрексом. Вот молоток! Всю дорогу до школы пели: «Нас не победить!» У школьной калитки я вдруг испугался, но бодрый голос Пандоры вдохнул в меня силы.

Пучеглазому Скратону кто-то капнул про нашу затею, потому что он ждал нас в раздевалке четвертого класса. Он спокойно стоял, скрестив руки на груди, вытаращив глаза цвета яйца-пашот. Не сказал ни слова, лишь кивком велел нам идти наверх. Красноносочники потопали за ним. Сердце у меня билось так громко, что, наверное, слышали все. Скратон молча вошел в свой кабинет и устроился за столом. Он сидел, постукивая шариковой ручкой по зубам. Мы стояли перед ним.

Скратон улыбнулся так, что аж жуть взяла, затем позвонил в звонок на столе. Вошла секретарша. Скратон сказал:

— Присаживайтесь, миссис Клэрикоутс. Я продиктую вам письмо.

Письмо было адресовано нашим родителям:

Уважаемые мистер и миссис...

Считаю своей прискорбной обязанностью поставить Вас в известность, что Ваш(а) сын(дочь) злонамеренно и демонстративно нарушил(а) одно из установленных внутренним распорядком школы

[1] Эдмунд Хилари (род. в 1919 г.) — британский альпинист. 29 мая 1953 года совместно с шерпом Тенцингом достиг вершины Джомолунгмы.

правил. Я рассматриваю этот проступок как чрезвычайно серьезный и посему исключаю Вашего (у) сына (дочь) из школы на недельный срок. Поскольку современная молодежь не всегда получает дома должное нравственное воспитание, считаю своим долгом проявлять твердость в стенах вверенной мне школы. Если Вы желаете обсудить со мной этот вопрос, прошу позвонить моей секретарше и записаться на прием.

С уважением,
директор школы
Р. Т. Скратон.

Как я жалею, что не надел в пятницу черные носки.

Вторник, 9 июня.

Первая четверть Луны.

Папа ходил сегодня к Скратону, пригрозил послать жалобу члену парламента от нашего округа, если меня не пустят в школу в каких мне угодно носках. Мистер Скратон поинтересовался, кто представляет в парламенте наш округ, но папа этого не знал.

Среда, 10 июня

Мы с Пандорой любим друг друга! Официально! Она сказала Клер Нельсон, Клер — Нигелу, а Нигел — мне!

Я сказал Нигелу, чтобы он сказал Клер, чтобы та сказала Пандоре, что я отвечаю ей взаимностью. Я вне себя от радости и счастья. И даже готов закрыть глаза на то, что Пандора обзавелась зажигалкой и выкуривает по пять сигарет в день. Когда влюблен, прощаешь многие недостатки.

Четверг, 11 июня.

Провел весь день с моей любимой. Не могу писать — так до сих пор дрожат руки.

Пятница, 12 июня.

Мне сообщили в школе, что Берт Бакстер срочно хочет меня видеть. Пошли к нему вместе с Пандорой (мы теперь неразлучны). Берт заболел. Выглядит ужасно. Пандора постелила ему чистое белье (кажется, вонь ее не испугала), а я вызвал врача. Описал симптомы болезни — тяжело дышит, лицо побелело, обильный пот.

Мы пытались прибраться немного в спальне. Берт все нес какую-то околесицу. «Бредит»,— объяснила Пандора. Она держала его за руку, пока не пришел врач. Доктор Пейтел был очень любезен, прописал Берту кислород. Дал мне телефон службы «скорой помощи». Машина не приезжала целую вечность. На душе кошки скребли — в последнее время я совсем забросил Берта, и сейчас мне стало очень стыдно. Санитары вынесли Берта на носилках. На лестнице они застряли и сбили носилками батарею пустых банок. Мы с Пандорой расчистили санитарам дорогу через захламленный холл, и они доставили Берта к машине. Еще в доме его укрыли толстым пушистым красным одеялом. Взвыла сирена, и они укатили. У меня в горле стоял ком, а на глаза навернулись слезы. Не иначе как от пыли. У Берта в доме всегда пыльно.

Суббота, 13 июня.

Берт в реанимации, посетителей к нему не пускают. Каждые четыре часа звоню в больницу, справляюсь, как он там. Вру, что родственник. Отвечают одно и то же: «Состояние удовлетворительное».

Саблю забрали к нам. Нашу собаку пришлось отвезти к бабушке: она (собака, а не бабушка) боится овчарок.

Надеюсь, Берт не умрет. Во-первых, я очень к нему привязался, а во-вторых, мне нечего надеть на похороны.

Все еще безумно влюблен в П.

Воскресенье, 14 июня.

Ходил навещать Берта. Ему понаставили капельниц, он весь в трубках. Принес ему банку его любимой свеклы, чтобы поел, когда поправится. Сестра заперла ее в шкафчик. Еще принес открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления — от нас с Пандорой, от папы, от бабушки и от Сабли.

Берт так и не проснулся, поэтому я не стал у него задерживаться.

Понедельник, 15 июня.

Комитет красноносочников решил пойти на временную уступку Скратону. Надеваем красные носки под черные. Ботинки здорово жмут, но мы не сдаемся — для нас это вопрос принципа.

Берту немного лучше. Чаще просыпается. Завтра пойду его навестить.

Вторник, 16 июня.

С Берта сняли почти все трубки, осталось лишь несколько внутривенных. Когда я вошел к нему в палату, он не спал и принял меня за врача, потому что на мне были халат и марлевая маска. Берт проскрипел: «А ну выньте из моих внутренностей ваши треклятые трубки, я вам не подземка, чтобы по мне кабели прокладывать». Потом он узнал меня и спросил, как поживает Сабля. Мы долго обсуждали бихевиориальные проблемы Сабли, но тут пришла сестра и сказала, что мне пора уходить. Берт попросил меня сообщить его дочерям, что он на смертном одре, и дал мне полкроны на оплату телефонных переговоров! Две его дочери живут в Австралии! Говорит, номера их телефонов записаны на внутренней стороне обложки его армейской расчетной книжки.

Полкроны, объяснил папа, примерно равны двенадцати с половиной пенсам. Я решил сохранить монету. Она приятно увесиста и несомненно когда-нибудь станет нумизматической редкостью.

Среда, 17 июня.

Полнолуние.

Мы с Пандорой обыскали весь дом Берта, но его армейской книжки не обнаружили. Зато Пандора нашла груду кремовых и коричневых открыток явно неприличного свойства. Они были подписаны

«Avec tout mon amour chéri, Lola».[1] Разглядывая их, я испытывал довольно странные ощущения, и Пандора тоже. Мы впервые обменялись по-настоящему страстным поцелуем. Мне хотелось обменяться французским поцелуем, но я не знаю, как целоваться по-французски, поэтому пришлось удовлетвориться обыкновенным английским.

А Бертовой книжки и след простыл.

Четверг, 18 июня.

С Берта сняли все трубки. Завтра его переводят в обыкновенную палату. Я сказал ему, что телефонов его дочерей мы так и не нашли, но Берт решил не придавать этому значения, коль скоро остался жив.

Мы были в больнице вместе с Пандорой. Они с Бертом сразу поладили. Когда Пандора вышла поставить в воду принесенные ею цветы, Берт спросил: «Как она насчет этого дела?» Временами он просто противный грязный старик, совсем не заслуживающий, чтобы его навещали.

Суббота, 20 июня.

Скорее бы Берта выписали. Папе осточертела Сабля, а бабушка сыта по горло нашим псом.

Пятница, 3 июля.

В бывший дом Люкасов вселяются цветные! Я сидел в шезлонге и хорошо видел, как разгружали фургон с их мебелью. Цветные тетки все таскали и таскали в дом огромные котлы: большая, должно быть, семья.

«Начало конца нашей улицы»,— сказал папа.

Пандора состоит в Антинацистской лиге. Она подозревает моего отца в расизме.

Читаю «Хижину дяди Тома».

Суббота, 4 июля.

На улице полным-полно цветных, то приезжающих, то уезжающих в машинах, фургонах и микроавтобусах. Двери бывшего дома Люкасов распахнуты настежь — новые жильцы снуют туда-сюда. Послушать папу, так их там по три семьи на комнату.

Мы с Пандорой решили зайти к ним, проявить гостеприимство. Пусть не думают, что все белые — расисты и фанатики.

А Берт Бакстер до сих пор еще в больнице.

Понедельник, 6 июля.

Миссис О'Лири хочет организовать уличное гулянье в честь свадьбы принца Чарльза и леди Дианы. Единственные, кто пока записался, — семья Сингхов.

Вторник, 7 июля.

Берт Бакстер сбежал из больницы. Он позвонил в Национальный комитет защиты гражданских свобод, и ему сказали, что он имеет полное право выписаться, если хочет. Берт так и поступил. Теперь живет у нас в гостевой комнате. Папа лезет на стенку.

Пандора, Берт и я тоже записались участвовать в гулянии по случаю свадьбы наследной четы. Берт сразу стал лучше выглядеть, как только опять смог курить в свое удовольствие.

Заехал отец Пандоры поговорить с моим папой о том, как быть дальше с Бертом и Саблей. Они напились и стали спорить о политике. Берт застучал в пол, просил их вести себя потише.

Среда, 8 июля.

Храп Берта выводит папу из себя. А мне не мешает — я затыкаю на ночь уши.

Четверг, 9 июля.

Завтра начинаются двухмесячные каникулы. Пандора едет с родителями в Тунис. Как переживу разлуку с любимой — сам не знаю.

Пятница, 10 июля.

В школе — прямо волшебство какое-то. Все учителя в хорошем настроении. Прошел слух, будто пучеглазый Скратон улыбнулся. Но я не верю.

Барри Кент вскарабкался на флагшток и прицепил на верхушку трусы своей мамы. Пандора сказала, что их, наверное, в первый раз за сто лет вывесили проветрить.

Сегодня Шону О'Лири исполняется девятнадцать. Пригласил меня на день рождения. Недалеко — всего через дорогу.

Пишу об этом сейчас на случай, если выпью лишнего. Похоже, человеку достаточно переступить порог дома О'Лири, чтобы тут же опьянеть.

Суббота, 11 июля.

Первое похмелье в возрасте четырнадцати лет, пяти месяцев и девяти дней. В постель меня укладывала Пандора. Втащила меня вверх по лестнице на спине, как пожарный.

Воскресенье, 12 июля.

Папа повез меня, Пандору и Берта на псарню, куда отдали Саблю. Хозяйка, миссис Кейн, отказывается дальше ее держать. Было очень трогательно видеть встречу Сабли с Бертом. Миссис Кейн — женщина очень суровая. Она сильно рассвирепела, когда папа отказался платить за пребывание Сабли на ее псарне. Все поглаживала заскорузлыми пальцами свои черные усы и употребляла не женские выражения.

Берт клялся никогда в жизни больше не расставаться с Саблей, называл ее единственным своим другом. И это после всего, что я для него сделал! Да если б не я, Берт уже лежал бы в могиле, а осиротевшую Саблю забрало бы Королевское общество защиты животных.

Четверг, 16 июля.

Папа получил сегодня выходное пособие. От радости вопил и прыгал, как ковбой. Пригласил Дорин Слейтер «отпраздновать». А кому сидеть с Максвеллом, угадали? Совершенно верно, милый мой дневничок! Мне!

23.00. Максвелл только уснул. В половине десятого позвонила Пандора спросить, как дела. Максвелл так вопил, что я ее и не слышал толком. Пандора посоветовала подлить в горячее молоко водки и впихнуть смесь в его вонючее горло. Так я и

[1] Со всей моей любовью, дорогой, Лола *(франц.)*.

сделал. Помогло. А он совсем неплохой малый, когда спит.

Пятница, 17 июля.

Полнолуние.

Моя бесценная покидает завтра родные края. Поеду провожать ее в аэропорт. Надеюсь, их самолет не развалится от усталости металла. Нашел Тунис на карте мира и очень обрадовался: через Бермудский треугольник Пандоре не лететь.

Случись что с моей любимой, и улыбка больше никогда не озарит моего лица.

Купил ей книгу на дорогу. Называется «Катастрофа» и содержит массу ценной информации на случай, если произойдет наихудшее.

Суббота, 18 июля.

В автобусе по дороге в аэропорт Пандора читала «Катастрофу». Когда объявили посадку, с ней вдруг приключилась легкая истерика, пришлось папе нести ее в самолет на руках. Я махал самолету рукой, пока он не скрылся в облаках, потом, охваченный печалью, сел на автобус и поехал домой. Как переживу предстоящие две недели разлуки — просто не представляю. Спокойной ночи, моя тунисская красавица.

Понедельник, 20 июля.

От моей любимой до сих пор ни слуха ни духа.

Вторник, 21 июля.

Заходил утром Берт. Говорит, Тунис полон опасностей.

Среда, 22 июля.

Почему она не пишет? Что стряслось?

Четверг, 23 июля.

Спросил почтальона, как осуществляется почтовая связь между Тунисом и Англией. Он ответил: «Черт знает как», потому что в Тунисе доставляют почту на верблюдах.

Пятница, 24 июля.

Ходил в гости к мистеру Сингху. Говорит, в Тунисе очень грязно. Похоже, с Тунисом знакомы все, кроме меня!

Суббота, 25 июля.

ПАНДОРА! ПАНДОРА! ПАНДОРА!

О, любовь моя!
Сердце мое изнывает,
Аж во рту пересыхает.
Я извелся весь:
Ты — в Тунисе,
Я — здесь.
Вспомни меня
И слезу оброни.
Вернись здоровой и загорелой,
Моя лапочка.
Везет же людям,
У кого богатый папочка.

Еще целых шесть дней!

Воскресенье, 26 июля.

Ходил на чай к бабушке. Был мрачен и замкнут, переживал разлуку с Пандорой. Бабушка спросила, не страдаю ли я запором. Хотел было ей ответить, да разве объяснишь, что такое любовь, женщине семидесяти шести лет, которой одно это слово кажется непристойным?

Понедельник, 27 июля.

Наконец-то открытка по верблюжьей почте!

Мой любимый!

Экономические условия здесь ужасны. Собиралась купить тебе подарок, но отдала все деньги нищему. Была уверена, что ты поймешь меня, ведь у тебя такое щедрое сердце.

С неизменной любовью,
вечно твоя
Пандора.

Ничего себе, а? Вместо того чтобы купить мне подарок, отдала мои деньги какому-то ленивому, грязному попрошайке! Возмутился даже почтальон.

Вторник, 28 июля.

И как только у меня сил хватает держать ручку! Весь день трудились, готовили гулянье в честь бракосочетания принца Чарльза и леди Дианы. Пришла миссис О'Лири, спросила, не помогу ли я развешивать флаги. Я ответил, что «сочту это своим патриотическим долгом». Миссис О'Лири велела мне залезть на лестницу, а она будет подавать мне флаги и ленты. Первые четыре ступеньки я осилил спокойно, но затем имел глупость посмотреть вниз, и у меня закружилась голова. А потому лезть наверх пришлось миссис О'Лири. И я, конечно, заметил ее панталоны. Чересчур соблазнительные для женщины, которая ходит в церковь каждый день, а по воскресеньям — даже два раза. Черные кружева! И красные шелковые подвязки! Похоже, миссис О'Лири засекла, как я подглядывал, потому что попросила меня позвать ее Кейтлина. Я даже обрадовался, когда мистер О'Лири сменил меня. Сингхи вывесили из окна спальни огромный британский флаг. Берт сказал, что отдал им свой флаг, который стащил еще во время службы в армии.

А наш дом подводит всю улицу. Папа ничем его не украсил, кроме посудного полотенца с портретами Чарльза и Дианы, которое пришпилил на входную дверь.

Смотрели с папой по телевизору фейерверк в честь бракосочетания. Одно могу сказать: всеми силами пытался себя убедить, что фейерверк мне нравится, но так и не сумел. Папа считает эту затею пустой тратой денег. Все злится, что его выгнали с работы.

Среда, 29 июля.

ДЕНЬ СВАДЬБЫ НАСЛЕДНОЙ ЧЕТЫ!!!

Как я горд, что я британец!

А иностранцы, наверное, лопаются от зависти.

Да, по части пышных зрелищ равных нам в мире нет! Должен сознаться, у меня аж слезы навернулись на глаза при виде всех этих кокни, с утра простоявших на ногах, чтобы поприветствовать богатых, красиво одетых господ, проехавших мимо них в каретах и «роллс-ройсах».

Когда принц и Дай[1] обменялись кольцами, бабушка прослезилась. Свой носовой платок она забыла дома, поэтому мне пришлось подняться наверх за новым рулоном туалетной бумаги. Когда я спустил-

[1] Прозвище принцессы Дианы.

ся, их уже обвенчали. Так я пропустил исторический момент свадьбы членов королевской семьи.

Мы с бабушкой хотели посмотреть триумфальное возвращение счастливой четы во дворец, но тут раздался громкий стук в дверь. Поскольку мы не обращали на него внимания, папе пришлось подняться с постели и пойти открыть. Оказалось, к нам просятся Берт, мистер Сингх, миссис Сингх и все маленькие сингхята, потому что у них сломался телевизор. Бабушка поджала губы: цветных, черных, желтых, ирландцев, евреев и вообще всяких там иностранцев она не жалует. Папа всех впустил, а потом посадил бабушку в машину и повез домой.

Мы смотрели телевизор до самого отъезда счастливой четы. Они отбыли с вокзала Виктории[1] на странного вида поезде. Берт сказал, что поезд кажется странным только потому, что его отмыли.

Пришла миссис О'Лири, попросила одолжить старые стулья для уличного гулянья. Поскольку папы не было, я сам разрешил ей взять стулья и сам помог вынести их на тротуар. Без машин и со всеми этими флагами и лентами, полощущимися на ветру, улица выглядела непривычно.

Миссис О'Лири и миссис Сингх начисто вымели мостовую и прямо на ней расставили столы и стулья. Расставляли женщины, а мужчины, столпившиеся на тротуаре, пили без удержу и острили насчет царственных новобрачных.

Мистер Сингх установил на подоконнике гостиной динамики стереопроигрывателя, и мы слушали пластинки, накрывая на столы: раскладывая бутерброды, тартинки с джемом, булочки с сосисками и сосиски на палочках. Затем миссис О'Лири раздала всем забавные карнавальные шляпы, и мы уселись пировать. Когда чаепитие закончилось, мистер Сингх произнес речь о том, как славно быть британцем. Все зааплодировали и запели «Земля надежды и славы», но оказалось, что полностью слов никто не знает, кроме мистера Сингха.

Затем прибыл папа с четырьмя ящиками легкого эля и двумя дюжинами бумажных стаканчиков, и скоро все окончательно распоясались.

Мистер О'Лири пытался научить миссис Сингх плясать ирландскую джигу, но все время запутывался ногами в ее сари. Я поставил «Аббу» и врубил полный звук. В пляс пустились даже сорокалетние старики! Когда зажглись фонари, Шон О'Лири вскарабкался на фонарные столбы и обтянул для интима лампы красно-бело-голубым крепом, а я принес из дома оставшиеся свечи и поставил на столы. Наша улица смотрелась вполне богемно.

Берт заливал про войну, папа травил анекдоты. Веселье продолжалось до часа ночи!

А обычно чихни после одиннадцати, и тут же схлопочешь коллективную жалобу.

Я не танцевал. Я цинично и насмешливо созерцал. Да и ноги у меня болели.

Четверг, 30 июля.

Семь раз смотрел по телевизору видеорепортаж о свадьбе наследной четы.

[1] Большой лондонский вокзал, конечная станция Южного района.

Пятница, 31 июля.

Надоела мне эта свадьба до чертиков.

Пандора, лучший друг нищих, возвращается завтра домой.

Суббота, 1 августа.

Получил открытку от мамы. Приглашает меня в поездку с ней и этим хмырем Люкасом. Они едут проводить отпуск в Шотландию. Попутного ветра!

Рейс, которым летит Пандора, задерживается: в Тунисе бастуют грузчики.

Воскресенье, 2 августа.

Грузчики все бастуют, а какой-то нищий стащил у отца Пандоры кредитную карточку «Американ экспресс»!

Пандора сказала, что ее маму укусил верблюд, но она уже приходит в себя в женском туалете Тунисского аэропорта. Как приятно было услышать голос Пандоры. Мы говорили больше получаса. Умница, она заказала разговор с оплатой абонентом.

Понедельник, 3 августа.

Грузчики согласились на арбитраж. Если повезет, Пандора рассчитывает к четвергу быть дома.

Вторник, 4 августа.

Перед грузчиками забрезжил компромисс. Пандора держится на финиках и мятных лепешках.

Среда, 5 августа.

Тунисские грузчики прекратили забастовку и вышли на работу. Пандора возвращается домой в ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ!

Четверг, 6 августа.

Папа отказался оплачивать счета за разговоры с Тунисом. Линия связи прервана.

Пятница, 7 августа.

Первая четверть Луны.

Позвонил в Тунис, пока папа принимал ванну. Он окликнул меня из ванной, спросил, кому звоню. Я соврал, что проверяю по телефону время.

Самолет Пандоры вылетел благополучно. К полуночи будет дома.

Суббота, 8 августа.

В семь утра с вокзала Сент-Панкрас[1] звонила Пандора. Сказала, что задерживается с прибытием, поскольку в районе Флитвика электрифицируют железную дорогу.

Я оделся, пошел на станцию, купил перронный билет, два часа одиноко мерз на второй платформе. Вернувшись домой, нашел записку от Пандоры:

> Адриан, должна сознаться, что очень огорчена твоим очевидным безразличием к моему возвращению. Я так ждала преисполненной чувств встречи на третьей платформе, но, увы, видно, не судьба.
>
> *Адью, Пандора.*

Пошел к ней. Все объяснил. Преисполненная чувств встреча состоялась за сараем, где ее отец держит инструменты.

[1] Конечная железнодорожная станция Лондонско-Мидлендского района.

Вторник, 11 августа.

Получил еще одну открытку от мамы:

Дорогой Эйди, ты и представить себе не можешь, как я по тебе скучаю. Инстинкт материнства не угас. Я знаю — ты видишь в моей связи с Бимбо угрозу себе, но, право же, Эйди, тебя она не должна волновать. Бимбо всего лишь удовлетворяет мои сексуальные потребности, и не более. Стань наконец взрослым, Эйди, и отправляйся с нами в Шотландию.

С любовью, Полина (мама).

P. S. Отпуск у нас с пятнадцатого. Выезжай поездом «Лондон — Шеффилд» в восемь двадцать две.

Почтальон сказал, что, будь мама его женой, он бы ее как следует вздул. Плохо он мою маму знает. Ее только пальцем тронь, она сама кого хочешь вздует.

Четверг, 13 августа.

Пятнадцатого папа едет в Скегнесс. Арендовал четырехместный туристский фургон. Берет с собой Дорин с Максвеллом и приглашает меня!

Но если я соглашусь, все ведь подумают, что Дорин — моя мать, а Максвелл — брат.

Еду в Шотландию!

Воскресенье, 16 августа.

Мы в Шотландии. Живем на берегу озерца в сосновом бору. За домиком торчит гора. Заняться нечем. Скучища смертная.

Понедельник, 17 августа.

Устроил постирушку в бревенчатой прачечной. Познакомился с американским туристом по имени Хэмиш Манчини. Он мой ровесник. Его мама проводит здесь свой четвертый медовый месяц.

Вторник, 18 августа.

Весь день шел дождь.

Среда, 19 августа.

Написал открытки. Звонил Пандоре с оплатой абонентом. Ее отец отказался оплачивать разговор.

Четверг, 20 августа.

Играл в карты с Хэмишем Манчини. Его мать с отчимом и моя мама с любовником отправились на машине смотреть водопад. Тоже мне удовольствие!

Пятница, 21 августа.

Пошел за две с половиной мили в Калландер купить шоколадку. Заскочил в «Игровые автоматы». Вернулся, выпил чая. Позвонил Пандоре с оплатой абонентом. Она все еще любит меня, я все еще люблю ее. Лег спать.

Суббота, 22 августа.

Последняя четверть Луны.

Ходил смотреть могилу Роб Роя. Посмотрел, пошел назад.

Мама подружилась с мистером и миссис Болл. Их дочь — писательница. Я спросил, как она стала писательницей. Миссис Болл объяснила: дочь в детстве уронили на пол головой, и с тех пор она «малость с приветом».

Сегодня день рождения миссис Болл, они ввалились к нам праздновать всей компанией. Я жаловался на шум в час ночи, в два, в три ночи и в четыре утра. В пять утра им взбрело в голову залезть на гору. Я обратил их внимание на то, что они в усмерть пьяны, чересчур стары, не обучены, не тренированы, не знакомы с техникой выживания в горах, не снабжены аптечкой первой помощи, прочной обувью, компасом, картой и запасом горячих калорийных напитков.

Мои увещевания остались втуне. Они все полезли в гору, а к половине двенадцатого спустились и жарили яичницу с беконом.

Сейчас, когда я пишу эти строки, мистер и миссис Болл катаются по озеру в байдарке. Не иначе как наркоманы.

Воскресенье, 30 августа.

Едем домой. Вот отрывок из моих «Размышлений о Шотландии», записанных на шоссе Номер Шесть при скорости сто двадцать миль в час:

Величественные клубы тумана расходятся, обнажая величественные пики Шотландии во всем их величии. Тень, скользящая в полупрозрачном небе, оказывается орлом, этим величественным хищником. Выпустив когти, он садится на озеро, взрывая величественный покой бурных вод.

Я, пожалуй, малость пережал с «величественным». Но читается, по-моему, недурно. Пошлю в Би-би-си, когда закончу.

До дому добрался в шесть вечера. Очень устал. Писать больше не могу.

Вторник, 8 сентября.

В четверг опять эта вонючая школа, гори она огнем. Примерил старую форму и так, оказалось, из нее вырос, что придется папе завтра покупать новую.

Папа полез на стенку, но я-то при чем, если у меня растущий организм.

Четверг, 10 сентября.

Попросил у папы пять фунтов пятьдесят пенсов на школьную экскурсию в Британский музей. Папа вышел из себя и завопил: «И это называется бесплатное образование?»

А я почем знаю?

Среда, 16 сентября.

В пятницу наш класс едет автобусом в Британский музей. Мы с Пандорой сядем рядом. Она принесет из дома газету, за которой можно будет уединиться.

Четверг, 17 сентября.

Миссис Фоссингтон-Гор прочла нам лекцию о Британском музее, назвав его «богатейшей сокровищницей достижений человеческого духа». Лекцию никто не слушал. Все наблюдали за тем, как, разволновавшись, миссис Фоссингтон-Гор хватается за левую грудь.

Пятница, 18 сентября.

Два часа ночи. Только что вернулись из Лондона. На шоссе наш водитель абсолютно офонарел. Но рассказать обо всем четко и ясно прямо сейчас не могу — до того потрясен пережитым.

Суббота, 19 сентября.

Администрации школы, безусловно, может пригодиться объективное свидетельство непредубежденного наблюдателя о событиях, имевших место на пути в Лондон, во время пребывания там и на обратной дороге. Я — единственный, кто способен его предоставить. Пандора, при всех ее достоинствах, не обладает моими стальными нервами.

Экскурсия в Британский музей четвертого класса «Г».

7.00. Посадка в автобус.

7.05. Завтрак бутербродами и некалорийными напитками.

7.10. Не успели доехать до ворот, остановка: тошнит Барри Кента.

7.20. Снова остановка: Клер Нельсон просится в туалет.

7.30. Автобус покидает школьный двор.

7.35. Автобус возвращается на школьный двор: миссис Фоссингтон-Гор забыла сумочку.

7.40. В поведении водителя наблюдаются странности.

7.45. Опять остановка: снова тошнит Барри Кента.

7.55. Выезжаем на шоссе.

8.00. Водитель останавливает автобус и просит нас не дразнить водителей обгоняемых грузовиков, тыча в них пальцами.

8.10. Водитель выходит из себя, отказывается следовать по шоссе, пока «чертовы учителя не утихомирят детей».

8.20. Миссис Фоссингтон-Гор удается усадить всех по местам.

8.25. Следуем по шоссе.

8.30.Все поют «Десять зеленых бутылочек».

8.35. Все поют «Десять зеленых платочков».

8.45. Испустив громкий вопль, водитель заставляет всех замолчать.

9.15. Водитель останавливается у станции техобслуживания и крепко прикладывается к фляге.

9.30. Барри Кент раздает шоколадки, украденные в ларьке на станции техобслуживания. Миссис Фоссингтон-Гор выбирает шоколад «Баунти»

9.40. Барри Кента тошнит в автобусе.

9.50 Тошнит двух соседок Барри Кента.

9.51. Водитель отказывается остановить автобус.

9.55. Миссис Фоссингтон-Гор засыпает следы рвоты песком.

9.56. Вовсю тошнит миссис Фоссингтон-Гор.

10.30. Автобус еле тащится по обочине, поскольку на проезжей части ведутся дорожные работы.

11.30. На заднем сиденье вспыхивает драка.

11.45. Драка затихает. Миссис Фоссингтон-Гор находит аптечку и оказывает пострадавшим первую помощь. Барри Кента в наказание сажают рядом с водителем.

11.50. Автобус терпит аварию в Свисс-Коттедж[1].

11.55. Водитель автобуса закатывает истерику представителю Автомобильной ассоциации.

12.30. Четвертый «Г» едет лондонским автобусом до Сент-Панкрас.

13.00. Четвертый «Г» идет пешком от Сент-Панкрас в Блумзбери.

13.15. Миссис Фоссингтон-Гор стучится в «Тэвисток хаус», просит д-ра Лэинга осмотреть Барри Кента. Д-р Лэинг уехал в лекционное турне по Америке.

13.30. Британский музей. Адриан Моул и Пандора Брейтуэйт потрясены знакомством с наследием мировой культуры. Остальные ученики четвертого «Г» ведут себя как дикари, хихикают над обнаженными скульптурами и увертываются от смотрителей.

14.15. Миссис Фоссингтон-Гор в состоянии шока. Адриан Моул звонит директору школы с оплатой абонентом. Директор на собрании бастующего персонала столовой и не может отвлечься.

15.00. Смотрителям музея удается собрать четвертый «Г», выставить за дверь и усадить на ступеньках.

15.03. Американские туристы фотографируют Адриана Моула, назвав его «симпатичненьким английским школьником».

15.15. Миссис Фоссингтон-Гор приходит в себя и ведет четвертый «Г» на экскурсию по Лондону.

16.00. Как и предвидел Адриан Моул, Барри Кент прыгает в фонтан на Трафальгарской площади

16.30. Барри Кент исчезает. По словам тех, кто видел его последним, он направился в район Сохо

16.35. Прибывает наряд полиции, грузит четвертый «Г» в полицейский фургон, организует автобус домой. По телефону информирует родителей об изменении времени нашего прибытия. Директор школы уже дома.

Истерика у Клер Нельсон. Пандора Брейтуэйт заявляет миссис Фоссингтон-Гор, что та позорит профессию педагога. Миссис Фоссингтон-Гор изъявляет желание оставить ряды учителей.

18.00. Барри Кент обнаружен в секс-шопе. Ему предъявлены обвинения в краже стимуляторов.

19.00. Автобус покидает полицейский участок в сопровождении полицейского эскорта.

19.30. Прощание с полицейским эскортом.

19.35. Водитель умоляет Пандору Брейтуэйт навести порядок в автобусе.

19.36. Пандора Брейтуэйт наводит в автобусе порядок.

20.00 Миссис Фоссингтон-Гор составляет текст заявления об уходе.

20.30. Сдвиг по фазе у водителя автобуса.

20.40 Прибытие в школу. Горят шины. Четвертый «Г» от ужаса теряет дар речи. Мистер Скратон уводит миссис Фоссингтон-Гор. Родители вне себя Полиция предъявляет обвинения водителю автобуса.

Вторник, 22 сентября.

Полиция сняла обвинения с водителя автобуса, поскольку есть свидетельства, что он был «серьезно спровоцирован». Секс-шоп также отказался от обвинений против Барри Кента, ибо формально он еще ребенок. Ничего себе ребенок! Да Барри Кент никогда ребенком и не был!

[1] Район Лондона.

Среда, 23 сентября.

Мистер Скратон прочел наконец мой отчет о поездке в Лондон и поставил мне за него две отличные отметки!

В выпуске новостей сообщили, что Британский музей планирует запрещение школьных экскурсий

Воскресенье, 4 октября.

Шестнадцатое после троицына дня.

Убедил Пандору записаться в молодежный клуб для прохождения курса обучения выживанию в экстремальных горных условиях.

Понедельник, 5 октября.

Служба социального обеспечения похитила Берта! Его упрятали в дом для престарелых. Я побежал к нему. Берта поселили со стариком по имени Томас Белл. Саблю поместили в питомник Королевского общества защиты животных. А наш пес сбежал. Это предвестие беды.

Вторник, 6 октября.

Первая четверть Луны.

Ходили с Пандорой проведать Берта. Лучше бы не ходили. Его комната очень странно на нас подействовала, даже говорить ни о чем не хотелось. Берт собирается подавать в суд на службу социального обеспечения за ущемление его прав. Говорит, здесь загоняют спать в половине десятого! А это несправедливо, поскольку он не привык ложиться до конца телефильма. Уходя от Берта, прошли через гостиную. В креслах по стенкам сидели старики. Телевизор работал, но никто его не смотрел. Казалось, старики погружены в какие-то думы.

Работники социального обеспечения выкрасили стены в оранжевый цвет, чтобы старикам было веселее. Да, видно, не помогло.

Среда, 7 октября

Ночью умер Томас Белл. Берт сказал, что живым отсюда никому не выйти. Он здесь самый старый. Очень боится смерти.

Пес так и не нашелся Я повесил объявление в киоске мистера Черри.

Четверг, 8 октября

Берт все еще жив, так что я привел к нему Саблю. Мы подсадили Берта на подоконник и держали его, пока он махал рукой Сабле, которую я оставил на газоне. В дом собак не пускают, такие у них дурацкие правила.

А наш пес до сих пор не нашелся. Сдох, наверное.

Пятница, 9 октября.

Директриса обещала отпустить Берта на воскресенье, если он будет хорошо себя вести. Берт собирается к нам в гости на обед и чай Пришел счет от телефонной компании на двести восемьдесят девять фунтов девятнадцать пенсов. Спрятал его под матрац.

Воскресенье. 11 октября.

ВИЗИТ БЕРТА.

Встал рано утром, вытащил из холла мебель, чтобы было где развернуться инвалидной коляске Берта. Сварил папе кофе, отнес ему в постель. Затем принялся готовить coq au vin[1] по рецепту для стариков. Поставил петуха на газ, а сам опять пошел наверх будить папу. Когда спустился обратно, понял, что блюдо запорол. Уксус весь выкипел, а петух сгорел. Очень расстроился — ведь на сегодня намечался мой кулинарный дебют. Хотелось впечатлить Пандору разносторонностью моих талантов, потому что ей, как мне кажется, уже несколько наскучили мои рассуждения о великой литературе и кожевенной промышленности Норвегии

Когда мы с отцом Пандоры заехали за Бертом, тот потребовал, чтобы мы взяли с собой его огромный сундук. Поэтому, когда в машину запихнули сундук, коляску и развалившегося на заднем сиденье Берта, мне пришлось скрючиться в три погибели в багажнике за его спиной. Потом сундук, коляску и Берта битый час выгружали из машины. Потом почти столько же поднимали с постели папу.

Отец Пандоры согласился пропустить на бегу рюмочку, затем предобеденный аперитив, затем еще один вдогонку, затем еще рюмочку «на посошок». Затем еще стаканчик — доказать, что днем его никогда не развозит. У Пандоры начали поджиматься губы (взрослые женщины, наверное, специально обучают девочек этому искусству). Затем Пандора отобрала у отца ключи и позвонила своей маме, чтобы та приехала забрать машину. Мне пришлось терпеливо наблюдать, как мой отец изображает какого-то типа по имени Фрэнк Синатра, исполняя песню «Давай еще по одной, малютка, и на дорожку еще по одной». Отец Пандоры схватил большой молочник и стал корчить из себя бармена. Когда вошла мама Пандоры, обе пьяно орали песни. Она так поджала губы, что их просто не стало. Приказав мужу и Пандоре убираться в машину, она сказала отцу, что тому давно пора взять себя в руки. Сказала, что понимает, каким униженным, ожесточившимся и одиноким он себя чувствует, оставшись без работы, но это не дает ему права показывать дурной пример впечатлительному подростку Затем уехала со скоростью десять метров в час. Пандора послала мне воздушный поцелуй через заднее окно

Я категорически протестую! Никакие поступки отца больше не способны произвести на меня ни малейшего впечатления.

На обед ели кэрри с рисом. В это время зашла миссис Сингх. Наше кэрри показалось ей очень смешным, она все тыкала в блюдо пальцем и хихикала. Временами мне кажется, что во всем мире только у меня одного и сохранились пристойные манеры.

Берт сказал отцу, что уверен в намерении директрисы отравить его (Берта то есть, а не отца), но отец ответил, что казенная еда везде одинакова. Когда настало время возвращаться в приют, Берт зарыдал. Просил: «Не заставляйте меня туда ехать». И много чего наговорил печального. Отец объяснил, что дома мы не сумеем обеспечить ему должный уход, и пришлось везти Берта к машине, хотя он то и дело пытался поставить коляску на тор-

[1] Петух в вине *(франц.)*.

моз. Свой сундук он попросил оставить у нас и открыть после его смерти. Ключ от сундука Берт носит на шее на веревочке.

А пса все нет и нет.

Вторник, 13 октября.

Позвонила разгневанная бабушка, спросила, когда мы наконец соизволим явиться забрать нашего пса. Оказывается, этот паршивец прибежал к ней еще шестого октября. Я немедленно приехал к бабушке и был поражен тем, как выглядит пес: он стал совсем серым и старым. Ему одиннадцать лет. По собачьим годам это пенсионный возраст. Никогда не видел, чтобы собаки так резко старились. Должно быть, восемь дней с бабушкой показались ему адом. Бабушка у меня суровая.

Четверг, 15 октября.

Пошел в молодежный клуб примерять паршивые, вонючие, старые туристские ботинки. Рик Лемон взял их напрокат в спортивном магазине. Чтобы не сваливались, приходится надевать три пары носков. В горы нас идет шестеро, ведет нас Рик. У него нет опыта горного туризма, зато есть опыт выживания в экстремальных условиях. Он родился и вырос в Керби-Нью-Таун. Я приобрел в универсаме походный рацион. Тащить придется все на себе, так что вес — важный фактор. Купил:

1 коробку кукурузных хлопьев,
2 пинты молока,
коробку чая в пакетиках,
консервы из ревеня,
5 фунтов картошки,
0,5 фунта лярда,
0,5 фунта масла,
2 буханки хлеба,
1 фунт сыра,
2 коробки галет,
2 фунта сахара,
рулон туалетной бумаги,
жидкое мыло для мытья посуды,
2 банки консервов из тунца,
1 банку тушенки,
1 банку консервированной моркови.

Еле дотащил походный рацион домой, как же я потащу все это по горам — просто не представляю! Папа посоветовал оставить что-нибудь дома. Решил оставить кукурузные хлопья и туалетную бумагу.

Воскресенье, 18 октября.

Восемнадцатое после троицына дня.

20.00. Сколь радостно возвращение к цивилизации! Последние два дня прожил словно последний дикарь. Ночевал на сырой земле, и лишь тончайшая ткань спального мешка отделяла меня от стихий! Пытался жарить картошку на крохотном походном примусе! Плелся по руслу ручья в ботинках, больше похожих на испанские сапоги! Отправлял естественные надобности прямо под открытым небом! И подтирался листьями! Ни ванну принять, ни зубы почистить! Ни телевизор посмотреть, ни радио послушать! Рик Лемон даже не разрешил нам пересидеть в микроавтобусе дождь! Велел создавать укрытия из подручных средств! Пандора нашла целлофановый мешок из-под кормов для скота, и мы по очереди прятались под ним.

Как только я выжил — ума не приложу. Яйца в моем рюкзаке превратились в месиво, хлеб размок, галеты раскрошились, а консервного ножа ни у кого не нашлось. Чуть не умер с голоду. Слава богу, что хоть сыр не течет, не крошится, не разбухает от воды и не запаян в банку. Как я был счастлив, когда нас нашли и доставили на базу горноспасательной службы! Рика отчитали за то, что он пустился в поход, не взяв ни компаса, ни карты. Рик возразил, что знает эти горы как собственную ладонь. Начальник спасателей ответил на это, что Рик, должно быть, никогда в жизни не снимал перчаток, поскольку нас обнаружили в семи милях от нашего микроавтобуса и шли мы в противоположную от него сторону!

Впервые за двое суток буду спать в постели. В школу завтра не пойду: стер ноги.

Понедельник, 19 октября.

Придется залечивать ноги дня два, не меньше. Доктор Грей был со мной весьма нелюбезен — нечего, мол, его дергать из-за ерундовых болячек. Такое отношение покоробило меня. Ведь всем известно, что у альпинистов нередки случаи гангрены.

Четверг, 22 октября.

Прохромал полдороги до школы. Пес увязался за мной. Я похромал обратно домой, запер пса в угольном сарае. Прохромал всю дорогу до школы, опоздал на пятнадцать минут. Мистер Скратон сделал мне втык. Нехорошо, мол, опаздывать ответственному за борьбу с опозданиями, подаю дурной пример. Легко ему говорить! Ездит в «форде», да и забот никаких — руководи себе школой, и все. А у меня забот полон рот и машины нет.

Пятница, 23 октября.

Получил письмо из больницы. На вторник, двадцать седьмого, мне назначено удалять гланды. Какой кошмар! Папа говорит, что записал меня на операцию, когда мне было пять лет! Выходит, я девять лет страдал ежегодными приступами тонзилита только потому, что у министерства здравоохранения денег нет!

Суббота, 24 октября.

Купил себе новые тапки, халат, пижаму и туалетные принадлежности. Папа, как всегда, разнылся. Не понимает, почему бы мне не лечь в больницу в старом белье. Я ему объяснил, что буду смешно выглядеть в халате с Питером Пэном и в пижаме с Винни-Пухом. Эти шмотки не только убого смотрятся и все в заплатках, но и стали мне малы. Папа ответил, что в моем возрасте спал в ночной рубашке, сшитой из двух угольных мешков. Его версия показалась мне сомнительной, и я позвонил бабушке проверить. Папе пришлось повторить свои слова в трубку. Бабушка возразила: мешки были вовсе не из-под угля, а из-под муки. Теперь я знаю, что мой папа — патологический лжец!

Четверг, 29 октября.

После операции.

Меня перевели в отдельную палату. Другие больные не в силах смотреть, как я страдаю.

Суббота, 31 октября.

Канун Дня всех святых.

3 часа утра. Был вынужден пожаловаться администрации на шум в ординаторской. Осточертело слышать (и видеть), как пьяные сестры и свободные от дежурств полисмены носятся по больнице, переодетые колдунами и ведьмами. Сестра Болдри вытворяла что-то непотребное с тыквой.

Если возьмут, пойду в репортеры и все про них напишу.

Воскресенье, 1 ноября.

Сестры крайне со мной нелюбезны. Говорят, занимаю койку, в которой нуждаются настоящие больные! Перед тем как выписаться, должен съесть миску кукурузных хлопьев. Но я отказываюсь — знаю, что не перенесу боли.

Понедельник, 2 ноября.

Сестра Болдри насильно впихнула ложку хлопьев в мое израненное горло. И не успел я их проглотить, как она уже сняла белье с моей постели. Предложила оплатить мне такси, но я сказал, что подожду, пока за мной приедет папа на машине.

Среда, 4 ноября.

Сегодня сумел выдавить первые за неделю слова: «Папа, позвони маме и скажи, что самое страшное уже позади». Отец почувствовал радость и облегчение. Его смех был близок к истерике.

Пятница, 13 ноября.

Мы с Пандорой откровенно обсудили сегодня наши отношения. Она вовсе не собирается выходить за меня замуж через два года, а собирается делать карьеру!

Естественно, я сокрушен таким ударом. Объяснил Пандоре, что не имею ничего против, если она захочет после нашей свадьбы работать, скажем, в кондитерской или где-то в этом роде, но Пандора собирается поступать в университет, а в кондитерскую, говорит, зайдет разве что купить большой торт.

Мы обменялись колкостями. (Ее колкости были кольчее моих.)

Пятница, 27 ноября.

Пришло извещение — если отец до 17.30 не позвонит на почту, нам отключат телефон.

Суббота, 28 ноября.

Телеграмма! Лично мне! Из Би-би-си! Нет, от мамы: «Адриан немедленно домой». Что значит — «немедленно домой»? Я и так дома.

Телефон отключили. Подумываю о побеге.

Воскресенье, 29 ноября.

Безо всякого предупреждения домой вернулась мама! Со всеми своими вещами. Бросилась в ноги папе, папа бросился на нее, а я тактично удалился в свою комнату, где и пытаюсь сейчас разобраться, как отношусь к ее возвращению. В целом я вне себя от радости, но с ужасом представляю, как мама воспримет наш убогий дом. К тому же она здорово психанет, когда узнает, что я дал Пандоре ее лисье манто.

Вторник, 1 декабря.

Позвонил на почту, выдал себя за папу. Говорил басом и безбожно врал. Сказал, что я, Джордж Моул, три месяца провел в психиатрической больнице и сейчас мне необходим телефон, чтобы я мог звонить в благотворительную организацию. И все в таком духе. Женщина, с которой я разговаривал, вела себя просто по-хамски, заявила, что по горло сыта неуклюжими оправданиями безответственных неплательщиков. Сказала, что телефон включат только после уплаты 289 фунтов 19 пенсов, плюс 40 фунтов за повторное включение, плюс 40 фунтов предварительной оплаты!

Триста шестьдесят девять фунтов! Как только родители поднимутся с постели и не услышат в трубке гудка, мне конец!

Среда, 2 декабря.

Папа пытался дозвониться насчет устройства на работу! Вышел из себя.

Мама убиралась в моей спальне, подняла матрац и нашла экземпляры «Биг энд баунси» и телефонные счета.

Меня усадили на кухонный табурет и допрашивали, осыпая бранью. Папа собирался «спустить с меня шкуру и забить чуть не до смерти», но мама сказала: «Этому прижимистому паршивцу будет куда досаднее, если мы из него вытрясем часть вклада в строительное общество». Именно так они со мной и поступят.

Не видать мне теперь собственного дома как своих ушей.

Четверг, 3 декабря.

Снял со счета строительного общества двести фунтов. Не стыжусь признаться, что на глаза у меня навернулись слезы. Чтобы возместить эту сумму, понадобится еще четырнадцать лет.

Воскресенье, 6 декабря.

Меня до сих пор третируют как преступника. Родители со мной не разговаривают. Так не начать ли мне и впрямь преступную жизнь?

Понедельник, 7 декабря.

Украл брелок для ключей в киоске мистера Черри. Сойдет для рождественского подарка Нигелу.

Вторник, 8 декабря.

Жутко испереживался из-за брелока — в школе сегодня проходили «Мораль и этику».

Среда, 9 декабря.

Из-за этого брелока совсем до ручки дошел — не сплю по ночам. В газетах только и пишут что про всяких старух, которых замели на мелких кражах в магазинах. Пытался всучить мистеру Черри лишнего за шоколадку, но он позвал меня обратно и заставил взять сдачу.

Четверг, 10 декабря.

Приснилось сегодня, что тюремщик запирает меня в камеру огромным ключом, который висит на украденном брелоке.

Чертов вонючий телефон наконец подключили, чтоб он сгнил!

Пятница, 11 декабря.

Позвонил «Самаритянам», исповедовался в своем преступлении. Мужской голос ответил: «Положи брелок обратно, мальчик». Завтра так и поступлю.

Суббота, 12 декабря.

Мистер Черри застукал меня, когда я клал брелок на место. Пообещал написать родителям. Хоть повесься.

Воскресенье, 13 декабря.

Слава богу, что по воскресеньям не доставляют почту. Родители с удовольствием наряжают рождественскую елку. Я с тяжелым сердцем смотрю, как они развешивают игрушки. Читаю «Преступление и наказание». Более правдивой книги не встречал.

Понедельник, 14 декабря.

Встал в шесть утра, чтобы перехватить почтальона. Вывел под дождем пса. Пес хотел спать, но я его разбудил. Жаль, что я не собака,— ни морали с них не спрашивают, ни этики.

Почтальон пришел в 7.30, когда я сидел на толчке. Везет как утопленнику! За завтраком мама открыла письмо от мистера Черри и сказала: «Джордж, старикашка Черри прислал счет за газеты, черт бы его побрал». Только и всего. Родители спокойно доели завтрак. А я потратил зря столько нервных клеток, эдак у меня их вовсе не останется. Надо быть поспокойнее.

Вторник, 15 декабря.

Мама объяснила мне, почему ушла от хмыря Люкаса и вернулась к папе: «Бимбо я была нужна только для секса, Адриан, и чтобы готовить. А еще он стриг ногти на ногах прямо в гостиной, и к тому же я очень привязана к твоему отцу». А обо мне — ни слова.

Воскресенье, 20 декабря.

За ужином мама помянула невзначай, что собирается пойти на завтрашний школьный концерт в лисьем манто. Кошмар и ужас! Я немедленно отправляюсь к Пандоре забрать это вонючее шмотье и узнаю, что Пандора одолжила его своей маме на рождественский бал, который устраивает общество «За здоровую семью». Пандора, мол, не поняла, что я просто одолжил ей поносить манто на время, решила, видите ли, что я сделал ей подарок в знак любви! Да как может школьник четырнадцати лет и девяти месяцев от роду дарить в знак любви меховое манто? Что я ей, миллионер?

Мама Пандоры вернется лишь под утро, так что придется мне заскочить к ним по дороге в школу и сунуть манто в целлофановый чехол. Нелегкая задача, но у меня ведь вообще теперь нелегкая и запутанная жизнь. То и дело ощущаю себя персонажем русского романа.

Понедельник, 21 декабря.

Проснулся в панике и увидел, что на часах уже 8.50. Темные стены спальни показались необычайно яркими и светлыми. Взгляд в окно подтвердил самые страшные мои опасения: выпавший за ночь снег устилал улицу белоснежным ковром.

Натянув папины рыбацкие сапоги, пробрался по снегу к дому Пандоры и обнаружил, что там — ни души. Заглянув в дверную щель для почты, увидел, что мамино манто дерет когтями и валяет по полу рыжая Пандорина кошка. Я обругал ее непотребными словами, но проклятая вонючая тварь лишь бросила в мою сторону саркастический взгляд и поволокла манто в другой угол. Ничего не оставалось, как поднажать плечом на дверь бельевой и ринуться в холл спасать манто. Затем я смылся настолько быстро, насколько позволяли резиновые сапоги по бедра на четыре размера больше моего. Манто я надел на себя, чтобы не окочуриться от мороза на полном опасностей пути домой.

Обессилев и страдая от гипотермии, ввалился в кухню. Мама с сигаретой в зубах проворачивала фарш для пирожков. Увидев меня, завопила: «Какого черта ты напялил мое лисье манто?» И никакой заботы о сыне или иного проявления здоровых материнских чувств. Тут же засуетилась: стряхнула снег с манто и принялась сушить его феном. А мне даже горячего чая не предложила.

Позвонил Пандоре объясниться насчет манто и сломанной двери, но ее папа велел не занимать телефон, поскольку, мол, срочно звонит в полицию. Только, говорит, вернулся и обнаружил, что в доме побывали взломщики! Все перевернули вверх дном (это, должно быть, кошка, я-то аккуратно действовал), но, к счастью, ничего не пропало, кроме старого лисьего манто, которым Пандора выстелила корзину для кошки.

Четверг, 31 декабря.

Последний день года! Много случилось за этот год событий. Влюбился. Был ребенком безработного отца-одиночки. Стал интеллектуалом! Получил два письма из Би-би-си. Для подростка четырнадцати лет и девяти месяцев от роду совсем неплохо!

Родители отправились встречать Новый год в «Гранд-хотел».

Вернулись в час ночи. Папа вломился во входную дверь с глыбой угля в руках. Нализался, как обычно.

Мама распустила нюни, какой я чудесный сын и как она меня любит. Жаль, она никогда не скажет этого, когда трезвая.

Пятница, 8 января

Берт женится на Квини, с которой познакомился в доме для престарелых. Свадьба шестнадцатого января, они прислали мне приглашение. По-моему, только время зря теряют Берта под девяносто, а Квини — под восемьдесят. Подожду покупать им свадебный подарок до самой последней минуты.

Воскресенье, 10 января.

Не понимаю, почему в сорок один год мой отец выглядит таким старым по сравнению с президентом Рейганом в семьдесят. У отца ни работы, ни забот, а вид подавленный и угрюмый. Бедному президенту Рейгану приходится нести на своих плечах заботу о безопасности мира, а он всегда весел и жизнерадостен. Не понимаю!

Понедельник, 1 февраля.

Мама предъявила папе ультиматум: либо тот находит работу, либо ведет домашнее хозяйство, либо убирается прочь.

Папа ищет работу.

Среда, 3 февраля.

У папы отобрали все кредитные карточки! Банки сыты по горло его безрассудными тратами. Нам приходит конец. От выходного пособия осталось лишь несколько фунтов, запертых в ящике с носками.

Мама ищет работу.

Живу с ощущением, что все это уже было.

Среда, 17 февраля.

Мисс Элф рассказала нам сегодня о своем парне. Зовут его Уинстон Джонсон, он дипломированный искусствовед. И не может найти работу! На что же тогда рассчитывать мне?

Мисс Элф говорит, что выпускники школ по всей стране в отчаянном положении. По ее словам, мистеру Скратону должно быть стыдно держать у себя на столе портрет миссис Тэтчер.

Чувствую, что становлюсь радикалом.

Четверг, 18 февраля.

Сегодня утром всю школу собрали в актовом зале. Мистер Скратон вышел на сцену и вел себя как Гитлер в кинофильмах. Заявил, что за все долгие годы педагогической деятельности не сталкивался со столь разнузданным вандализмом. Все замерли от страха, пытаясь понять, в чем дело. Скратон сказал, что кто-то проник в его кабинет и испортил портрет Маргарет Тэтчер: пририсовал ей усы, а на декольте написал: «Три миллиона безработных».

Скратон орал, что такое поругание величайшего лидера в истории нашей страны является не чем иным, как преступлением против человечества, что оно равно государственной измене и что виновник будет немедленно исключен из школы, как только его найдут. При этом Скратон так выпучил глаза, что первоклашки разревелись, и мисс Элф увела их из зала от греха подальше.

У всей школы будут брать образцы почерка для экспертизы.

Четверг, 25 февраля.

Мне снизили оценку по географии — я сказал, что Фолклендские острова принадлежат Аргентине.

Суббота, 27 февраля.

Живем на пособие. Мама бросила курить. Собаке дают полбанки собачьих консервов в день.

Воскресенье, 28 февраля.

Яичница с картошкой — вот и весь наш воскресный обед! Без пудинга и даже без салфеток.

Мама говорит, что мы — нувобедняки.

Среда, 3 марта.

Пришлось одолжить папе денег на галлон бензина, он едет устраиваться на работу. Мама побрила его и подстригла, втолковала, как себя вести и что говорить. Больно видеть, до чего довела папу безработица: он стал беспомощным, как дитя.

Ждет ответа от управления трудовых ресурсов. Тоже бросил курить. Психует с небывалой силой.

Пятница, 5 марта.

Папу взяли!!!

В понедельник приступает к обязанностям бригадира на работах по очистке берега канала. Бригада укомплектована безработными выпускниками школ.

Суббота, 6 марта.

Пошли с Пандорой взглянуть на участок, доверенный папе. Да его за тысячу лет не расчистить, столько там всякого хлама — старые велосипеды, коляски, банки из-под кока-колы, и все поросло бурьяном! Я сказал папе, что дело безнадежное, но он ответил: «Ничего подобного, за год я там наведу полный блеск». Ну да, а я — Нэнси Рейган, папочка!

Воскресенье, 7 марта.

Утром папа пошел сам взглянуть на канал. Вернувшись домой, заперся в ванной и сидит там до сих пор. Я слышу, как мама его утешает. Так и неясно, выйдет ли он завтра на работу. Скорее всего — нет.

Понедельник, 8 марта.

Вышел.

После школы я завернул на канал. Папина бригада — сплошь бритоголовые и панки. Хмурые и неприветливые. Пачкаться никто из них и не думал. Казалось, что один только папа и работает. Он был весь в грязи. Я хотел по-дружески поговорить с папиными работничками, но они меня игнорировали. Я объяснил, что ребята чувствуют себя чужими в жестоком и безразличном к ним обществе, но папа ответил: «Вали домой, Адриан, и брось нести левацкую чушь». Вот доиграется до бунта, тогда узнает.

Пятница, 12 марта.

Сегодня работы на канале шли хорошо. Прорылись почти до травы, и папа привел своих бритоголовых и панков к нам на стакан домашнего пива. Мама и миссис Синтх чуть не офонарели, когда ребята ввалились на кухню, но папа их представил: Баз, Даз, Маз, Кев, Мелв и Боз,— и женщины несколько успокоились.

Боз обещал наладить мне тормоза на велосипеде. По тормозам он большой специалист — крадет их с шестилетнего возраста.

Суббота, 13 марта.

Боз предложил мне нюхнуть клея. Я вежливо отказался.

Четверг, 25 марта.

Я пережил духовное пробуждение. В наш дом постучались два очень милых человека из религиозной секты «Солнечные люди». Говорят, что только они способны принести человечеству мир. Вступительный взнос — двадцать фунтов. Как-нибудь исхитрюсь достать. Для мира никаких денег не жалко.

Суббота, 27 марта.

«Солнечные люди» пришли в шесть часов. Папа не пустил их в дом, заставив стоять под дождем у порога. Тоги у них насквозь промокли. Папа обвинил их в попытке заморочить голову простаку недоростью. Уходя, они забрели в тупик. Мама посмотрела на них и сказала: «Не очень-то они сейчас солидно выглядят, ну точно мокрые курицы»..

Я расплакался. Думаю, что это были слезы облегчения: двадцать фунтов — сумма немалая.

Понедельник, 29 марта.

В школе за обедом сидел рядом с Барбарой Бойер. Отличная девчонка! Отметила, что у Пандоры масса недостатков. Был вынужден с ней согласиться.

Вторник, 30 марта.

Совершаю платоническое прелюбодеяние с Барбарой. Оказался во главе угла извечного треугольника. В мою тайну посвящен только Нигел. Обещал ее свято хранить.

Среда, 31 марта.

Нигел растрепался по всей школе. Пандора отсиживается на переменах в учительской.

Четверг, 1 апреля.

Барбара Бойер положила конец нашему короткому роману. Я позвонил ей в зоомагазин, где она подрабатывает чисткой клеток, а она сказала, что не может перенести горя в глазах Пандоры. Я спросил, не первоапрельская ли это шутка. Она ответила, что уже давно перевалило за полдень и первое апреля идет к концу.

Я получил хороший урок — поддавшись похоти, потерял любовь.

Завтра мне пятнадцать.

Побрился для поднятия настроения.

Пятница, 2 апреля.

Мне пятнадцать, но юридически я еще ребенок. И никаких прав у меня не прибавилось. Эх, невезуха!

Получил семь поздравительных открыток от родных и друзей. Подарки — стандартное японское фуфло. Один лишь Берт подарил сборную модель самолета западногерманского производства.

Пандора мой день рождения игнорирует. Я ее не виню — ведь я ей изменил.

Пришли с канала Боз, Баз, Маз, Кев и Мелв тянуть меня за уши. Боз подарил мне тюбик клея для сборки моего самолета.

Суббота, 3 апреля.

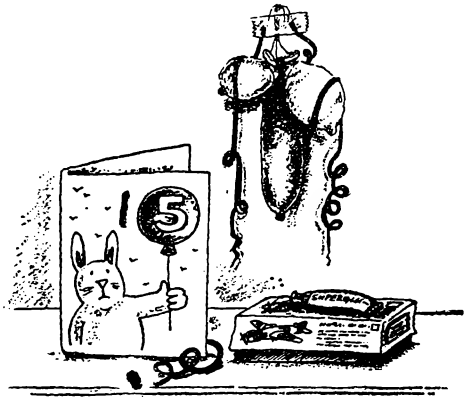
8.00. Британия в состоянии войны с Аргентиной!!! Только что объявили по четвертой программе радио. Я вне себя от волнения. С одной стороны, это просто ужасно, с другой — ужасно интересно.

10.00. Разбудил папу сказать ему, что аргентинцы высадились на Фолклендских островах. Его с кровати как ветром сдуло — решил, что Фолклендские острова в Шотландии. Когда я объяснил, что до них восемь тысяч миль, он снова лег и укрылся с головой одеялом.

16.00. Только что пережил величайшее унижение в моей жизни. Все началось с того, что решил собрать модель самолета. Почти все уже сделал, как стукнуло в голову нюхнуть клея ради интереса. Сунул нос в фюзеляж, секунд пять нюхал, никакого просветления не испытал, зато приклеился к фюзеляжу носом! Папа повез меня отклеиваться в травматологию, как только я пережил все хихиканья и насмешки — сам не знаю.

Дежурный врач написал в истории болезни: «Клеенюхатель».

Позвонил Пандоре, она зайдет навестить меня после урока музыки. Только одна любовь и помогает мне не потерять рассудок...



◆

ЗАРАХОВИЧ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1946 г.)

Советский переводчик с английского. В его переводе публиковались произведения Питера Устинова — роман «Крамнэгел» («ИЛ», 1981, № 8—10), пьеса «Десятая Бетховена» (альманах «Современная драматургия», 1983, № 3). сборник рассказов «День состоит из сорока трех тысяч двухсот секунд» («Библиотека «Иностранной литературы», 1985) и других авторов.

Критика

ФРЕД УАЙТХЕД,
ДЖОН КРОУФОРД

ТРУДНЫЕ ПУТИ ПРОГРЕССИВНОЙ КНИГИ В США

Взаимоотношения между прогрессивной литературой и официальной идеологией в любой период времени были у нас сложны. Наш американский опыт свидетельствует о том, что экономические и политические кризисы приводят к созданию массовых оппозиционных движений, и движения эти рождают литературу, близкую их идеалам. За последние сто лет это наблюдалось во время популистского взрыва 1890-х годов[1], в пору «золотого века» социалистического движения — с 1905 по 1920-й год — и в период Великой депрессии тридцатых. Были, напротив, и «добрые времена», когда верх брал консерватизм: «джазовых двадцатых», молчаливого поколения пятидесятых и так называемого «Я-поколения», перешагнувшего из семидесятых в восьмидесятые. Можно, разумеется, говорить лишь об относительной стабильности этих периодов, ибо «добрые» эти времена были, каждое по-своему, отмечены известным цинизмом, интеллектуальной робостью, в науке — отвлеченным академизмом, а в политике — подготовкой к войне. Но даже в годы репрессий создавалась значительная прогрессивная литература: левая литература времен маккартизма и литература угнетенных национальных меньшинств в наши дни.

Подобного рода парадокс всегда следует принимать во внимание: разломы надстройки могут время от времени сопровождаться вспышками творческой энергии — свет литературы способен пробиваться и сквозь пелену неблагоприятных условий. Поэтому очень важно отдавать себе отчет в преемственности периодов культурной жизни, тем более что сегодняшняя картина ее чрезвычайно фрагментарна.

Нынешнюю ситуацию в США легче понять, если учитывать маккартизм пятидесятых, который, наложив своего рода социальный запрет на радикальные идеи и все наследие радикализма, почти искоренил движение левых, вынудив его к отступлению на широком фронте. Можно привести тому множество примеров: массовые увольнения преподавателей школ и колледжей, киноработников и издательских редакторов; «черные списки» деятелей культуры; высылки, тюремные заключения коммунистов. Все это наложило глубокий психологический отпечаток на культуру Америки, вот почему и возникшее в шестидесятые годы движение «новой левой», с его пафосом борьбы за

[1] Популисты — члены фермерской партии существовавшей в США в 90-е годы XIX века. Программа популистов, направленная против банков и капиталистических корпораций, привлекла и значительное число рабочих. *(Здесь и далее прим. перев.)*

ФРЕД УАЙТХЕД — FRED WHITEHEAD

Американский поэт, журналист. Автор поэтической книги «Судьба, закованная в сталь» («Steel Destiny», 1979) и многих стихов, публиковавшихся в сборниках и периодике. Директор «Мидуэст дистрибьюторз» — книгораспространительской фирмы в Канзас-сити.

ДЖОН КРОУФОРД — JOHN CRAWFORD

Американский критик, руководитель некоммерческого издательства «Уэст-энд пресс», выпускающего книги прогрессивных авторов, в том числе представителей национальных меньшинств; президент недавно созданной Ассоциации по изучению народной культуры. «ИЛ» печатала послесловие Д. Кроуфорда к повести М. Хэнсона «Найди свое!» (1985, № 7).

Публикуемая статья получена от авторов в рукописи.

гражданские права и против войны, никак не осмысляло себя в контексте национальной истории, оно было как бы лишено всякой опоры в прошлом. «Новые левые» нажимали на стихийность «хеппенинга» — в литературе это отозвалось «ротопринтной революцией»: кустарное производство книг, отпечатанных на мимеографе, выпуск малоформатных подпольных газет анархистского содержания; продукция эта зачастую отличалась низким литературным качеством.

Хотя крупные коммерческие издательства и публикуют время от времени прогрессивные книги, как правило, они остаются — в лучшем случае — в пределах либерализма. В пятидесятые годы существовали реальные «черные списки» писателей-радикалов, сегодня книги откровенно левого толка просто объявляются «неприемлемыми для публикации». То, что произведения немногих талантливых писателей, выступающих за мир, таких, как поэт Уильям Стаффорд[1], прозаик Курт Воннегут и другие, выпускаются крупными издательствами, является лишь исключением, подтверждающим правило. Вот почему за рамками этой статьи останутся, сколь бы интересными они ни были, течения, охватываемые коммерческим книгоизданием — то есть монополистическими издательствами, располагающими огромными средствами для рекламы и организации сбыта своей продукции.

В периоды массовых движений — популистского девяностых годов, социалистического десятых и коммунистического тридцатых — существовала широкая сеть распространения газет, книг и журналов. Почти непрерывно, начиная с десятых годов, действовала так называемая «малая пресса» — типично авангардистская, нечто вроде «надомного производства» для мелкой буржуазии, распространявшаяся тиражами в несколько сот экземпляров, неровная в творческом смысле, склонная к манерности и самолюбованию, она привлекала тех, кто мог при случае восстать против пуританской традиции и ценностей истеблишмента. В то же время в рамках «малой прессы» работали и радикально или даже пролетарски настроенные писатели — среди них те, кто сотрудничал в издававшихся в конце двадцатых — тридцатые годы журналах прозаика и публициста Джека Конроя («Поэт-мятежник. Интернационал песни» ("The Rebel Poet. International of Song"), «Наковальня» ("The Anvil") и «Новая наковальня» ("The New Anvil").

Конрой провозглашал: «Мы предпочитаем грубую силу изысканной банальности», выступая таким образом как решительный противник буржуазного нарциссизма и искренний сторонник пролетарской литературы. Позднее, в шестидесятые годы, мы стали свидетелями учреждения Национального фонда помощи развитию искусств, включавшего и Программу по литературе, которая предусматривала содействие «малой прессе», видя в ней существенный резерв национальной культуры. Конечно, средства Фонда отпускаются главным образом на осуществление замыслов самовлюбленной мелкой буржуазии, не имеющей, разумеется, ничего общего с интересами пролетарского искусства, но коечто перепадает порой и различным прогрессивным начинаниям. Например, одна из финансированных Фондом программ стала свидетельством признания достижений ветеранов — Джека Конроя, Томаса Макграта, Меридел Лесур, Джона Бичера.

Нынешняя ситуация примечательна появлением нового передового отряда радикалов — пока еще весьма малочисленного и находящегося во враждебном окружении, располагающего скромными средствами и не имеющего необходимой организации, но гораздо решительнее других берущего на вооружение опыт радикальных движений прошлого (и извлекающего из него уроки!). Эта ситуация может быть проиллюстрирована на примере издания и восприятия творчества Томаса Макграта.

Он родился в Северной Дакоте в 1916 году в семье фермера. Учился в университетах Северной Дакоты и Луизианы, работал сварщиком в судостроительной промышленности в Нью-Джерси, преподавал в различных колледжах и в пятидесятые годы был в «черных списках». Первую книгу Макграта издал в 1941 году его друг Элан Суоллоу, организовавший в помещении гаража небольшую типографию. (Спустя много лет, уже после смерти Суоллоу, эта типография значительно расширилась, став одним из крупнейших книжных издательств на Западе Соединенных Штатов). В той же маленькой типографии была издана и эпическая поэма Макграта «Письмо воображаемому другу». Все 22 книги стихов и прозы Макграта вышли в различных маленьких издательствах. За более чем сорок лет работы ни одна из его книг не увидела света в издательстве коммерческом.

Тем не менее Макграт известен теперь как один из лучших и наиболее полно осуществивших себя радикальных писателей — ветеранов нашей литературы. Его достижения в области эстетики и теории, равно как и в области собственно литературного творчества, оказали сильное влияние на политически ангажированных писателей молодого поколения. В 1983 году выходящий в родном штате поэта ежеквартальник «Норс Дакота куотерли» удостоил его подборки воспоминаний и стихов, а также очерков о его творчестве. Нам здесь, в Соединенных Штатах, было чрезвычайно приятно узнать, что московское издательство «Радуга» выпустило сборник его сочинений тиражом 50 000 экземпляров. Это самый большой тираж, каким его произведения выходили где бы то ни было в мире.

В числе радикальных писателей-ветеранов следует назвать и Меридел Лесур. До первой мировой войны ее деятельность была связана со старой социалистической партией. В 1924 году Меридел Лесур вступила в коммунистическую партию. В тридцатых годах она приобрела большую известность как писательница, а в пятидесятых была занесена в «черные списки». Многие ее работы в то время выходили в маленьких издательствах, хотя, как это ни парадоксально, несколько ее детских книжек были опубликованы в середине пятидесятых годов и издательствами коммерческими.

[1] Стаффорд У. (род. в 1914 г.) — известный американский поэт. В переводе на русский его стихи публиковались в антологии «Современная американская поэзия» (М., Прогресс, 1975).

«Уэст-энд пресс» первым начало переиздавать книги Лесур: в 1977 году оно выпустило два сборника рассказов, а затем роман «Девушка», написанный в 1939 году и напечатанный впервые лишь сорок лет спустя. Сборники ее избранных сочинений — от самых ранних до нынешних — напечатало влиятельное издательство «Феминист пресс». Сборник разошелся в количестве более 30 000 экземпляров. «Воскрешение» Лесур способствовало успехам женского движения, выразителем интересов которого и является это издательство.

В своем творчестве Лесур всегда удивительно тонко чувствовала язык простых, трудовых людей, особенно ту его сферу, которую называют «устной традицией», с ее золотоносной жилой фольклора, песен, анекдотов, историй и легенд. В более поздний период она еще углубила свое мастерство, прибегая к экспериментам в области формы — одновременно и общедоступной и новаторской,— и создала то, что сама она называет «романом без существительных» (существительные, с ее точки зрения,— «изобретение капитализма»).

На девятом десятке лет она словно бы обрела второе дыхание [1], она колесит по стране на автобусах, записывая рассказы, выступает на самых разных собраниях и конференциях. Для сегодняшней американской литературы она то же, чем была, скажем, Анна Зегерс для литературы ГДР.

Таким образом, и Макграт и Лесур олицетворяют собой опыт великого и вдохновляющего прошлого — не только творчеством, но и публичными выступлениями в самых разных концах страны, обширной перепиской, непоколебимой верностью духу прогрессивной и радикальной демократической культуры.

Феминистская пресса специализируется на выпуске произведений малоизвестных или забытых и не публикуемых обычно книг, написанных женщинами, в том числе женщинами-работницами, как, например, Ребекка Хардинг Дэвис, или цветными, как Зора Нил Херстон. Она тесно связана со всевозможными женскими просветительскими программами в колледжах и университетах: печатает учебники, библиографии, различные пособия для этих программ. Правда, деятельность феминистской прессы сводится скорее к переизданию, нежели к публикации новых книг. В Соединенных Штатах женское движение весьма широко распространено и достаточно хорошо организовано, поддерживает множество связей, проводит постоянные конференции, издает самые разные журналы и так далее. В больших и малых городах по всей стране прогрессивную литературу широкого спектра можно найти только в магазинах, связанных с женским движением.

Другим важным достижением последних пятнадцати лет был небывалый расцвет так называемых «этнических» издательств, выпускающих произведения писателей из угнетаемых национальных меньшинств. Можно, к примеру, назвать влиятельное издательство «Бродсайд пресс» Дадли Рэндолла, которое в 60-е годы опубликовало произведения десятков авторов из движения «Черная власть». Некоторые из этих писателей выражали узконационалистическую точку зрения, но другие, такие, как сам Рэндолл, придерживались гораздо более широких интернационалистских взглядов. Факт исключительный: антология Рэндолла «Черные поэты» была выпущена большой коммерческой печатью и включает немало стихотворных подборок писателей — активистов движения, что делает ее признанным эталоном такой литературы.

Нью-йоркское издательство «Китчен тейбл пресс», руководимое коллективом женщин, просуществовало не так уж долго, но успело продать несколько тысяч экземпляров антологий цветных писательниц, особенно нынешнего поколения. Эти книги, широко представившие их лучшие работы, получили положительную оценку и были включены в программы многих колледжей и университетов. Несомненно, они восполняли недостаток в литературе этого типа, спрос на которую большие издательства удовлетворить не стремятся.

Испаноговорящие общины в Соединенных Штатах весьма разнообразны по этническим и культурным традициям — от пуэрториканцев и доминиканцев, живущих преимущественно в Нью-Йорке и на Восточном побережье, до мексиканцев, обосновавшихся на юго-западе. Последних иногда называют «чиканос», и термин этот распространяют порой на испаноязычные общины Америки вообще (хотя по этому вопросу очень много спорят: какое определение уместнее — народы испанской ли, латинской ли культуры...). Так или иначе, но именно эта культура, быстро развиваясь, выдвинула множество хороших писателей. Пожалуй, самый известный из них сейчас Рудольфо Анайя. За последние десять лет его роман «Благослови меня, Ультима», выпущенный еще одним из маленьких издательств, разошелся тиражом более 200 000 экземпляров. Рассказ о судьбе маленького мальчика из небольшой отдаленной деревушки ведется в романе на фоне событий, происходящих в Нью-Мехико во время второй мировой войны. В подлинно лирической манере здесь живо воссоздана богатая фольклорная традиция «чиканос».

В последнем номере «Контакта II», журнала, выпускаемого «малой прессой», дан обзор более чем тридцати книг, созданных авторами из латинских общин по всей стране. Большинство из них вышли в последние два года. Этому направлению культуры значительный импульс сообщили мексиканская школа муральной живописи, а также творчество Пабло Неруды, Габриэля Гарсиа Маркеса и Эрнесто Карденаля.

Литературное творчество коренных американцев, или индейцев, в последнее время также переживает возрождение, особенно после знаменитого восстания индейцев в Вундид Ни в 1973 году и последовавших за ним преследований многих участников движения за равноправие индейцев. В стране существует множество активно действующих индейских газет и журналов. Издательство колледжа общины навахо в Аризоне выпустило представительную антологию произведений малых жанров художественной прозы, созданных коренными американцами. Ее прекрасно составил Сай-

[1] Примечательно, что именно М. Лесур была оказана честь открыть в 1981 году II национальный съезд писателей США.

мон Ортис — сегодня, с нашей точки зрения, один из лучших прозаиков в стране.

Ортис также пишет стихи и выступает как публицист, рассказывая о нищете и угнетении своего народа,— в частности, описывает ситуацию на железных дорогах и в урановых шахтах. С горечью говорит он о расизме, составной части системы угнетения. Примечательно, что Ортис понимает необходимость совместной с представителями других рас борьбы против этого зла. Он помнит и упорно напоминает о великих битвах — таких, как восстание индейцев пуэбло 1680 года, как ужасная резня при Сэнд-Крике в 1863-м, тем самым восстанавливая существенные связи между нашим настоящим и прошлым.

Нас очень обрадовал факт недавней публикации антологии литератур коренных американцев (включающей и произведения Ортиса) в СССР, стране, постоянно показывающей пример заботы о сохранении и развитии языков, литератур и культур национальных меньшинств [1].

Продолжая обзор, следует сказать, что у пролетарских писателей США до недавнего времени не было необходимой организации. Несомненно, есть немало хороших рабочих писателей почти в любой отрасли промышленности и в других сферах трудовой деятельности, но в литературном мире к ним относятся более пренебрежительно, чем к кому бы то ни было. Коллектив авторов и художников издающегося в Пенсильвании журнала «Миллханк геральд» составляют рабочие сталелитейных заводов Питсбурга. Не ограничиваясь изданием журнала, они постепенно вторгаются и в сферу телевидения, выступая на актуальнейшие темы безработицы и обнищания городов.

Отличный небольшой журнал «Токинг юнион» выходит три раза в год. Он сосредоточивает внимание на истории рабочего движения, фольклоре, народной музыке. Тираж его невелик, но качество высоко.

Эмманюэл Фрид, пожалуй, лучший наш драматург, пишущий на рабочую тему. За последние десять лет его пьесы ставились в ряде театров по всей стране. Например, «Птица додо» рассказывает о рабочем-литейщике, который в условиях всеобщей жестокости и насилия пытается побороть в себе отчаяние и привычку к выпивке. Что особенно следует подчеркнуть, говоря о пьесах Фрида, это отсутствие в них какой бы то ни было сентиментальности и идеализации рабочих. Автор рисует представителей рабочего класса в условиях капитализма во всей реальной сложности их характеров, со свойственными им заблуждениями и мучительной смятенностью.

Ключевой для рабочих писателей США остается проблема слабой организации профсоюзного движения, особенно политической робости его «лидеров», опасающихся радикализма, исконно присущего народной истории и народной культуре. Не случайно, кстати, иные из этих «лидеров» в своей политической деятельности связаны ныне с ЦРУ и правым крылом социал-демократии. И хоть пролетарская литература сохраняет определенную жизнеспособность и сегодня, нынешний этап ее развития, быть может, самый трудный.

Следует отметить роль университетов и колледжей: некоторые публикуют время от времени неплохие книги прогрессивного направления. К примеру, издательство университета штата Луизиана выпустило весьма ценное собрание печатных работ и выступлений Кейт Ричардз О'Хэйр, которую в десятые годы называли «первой дамой американского социализма». А издательство университета штата Оклахома вновь напечатало автобиографию Оскара Эмеринджера, современника О'Хэйр, известного в те времена как «Марк Твен американского социализма».

Издательство университета Небраски наметило широкую программу переиздания важнейших произведений литературы американского Запада и Среднего Запада, в частности, недавно здесь вышла вновь «Страна северной звезды» — поэтическая история американского народа, написанная Мериел Лесур. Интересный факт, связанный с этой программой: издатели ухитряются продавать свои книги не только в книжных магазинах, но и в музеях, туристских центрах и даже на автостоянках вдоль магистралей, чтобы американцы могли встречаться с хорошей литературой и в самых «нелитературных» местах.

Наконец, существуют некоторые левые в политическом отношении издательства, которые время от времени выпускают художественную литературу. Издательство «Интернэшнл паблишерз», издавна связанное с коммунистической партией, нынче в основном посвятило себя выпуску книг по общественно-политическим наукам. Аналогично и независимое левое «Мансли ревью пресс» проявляет большой интерес к социальным наукам, но, случается, печатает и значительные произведения художественной литературы.

«Лоренс Хилл и К°» из Коннектикута издает классические романы радикального направления: «Железную пяту» Джека Лондона, «Обездоленного» Джека Конроя (последний недавно вышел в СССР в 45-томной Библиотеке литературы США).

Необходимо также помнить, что в той области литературы, которую мы здесь рассматриваем, постоянно пересекается множество различных течений и происходит их взаимное обогащение. Скажем, Саймон Ортис решительно возражает против того, чтобы его считали только «индейским» писателем. Он ощущает себя — шире — писателем рабочего класса. Можно привести немало и других примеров того, как совпадают этнические и классовые интересы и устремления. Обращает на себя внимание в этом смысле опыт «Говард юниверсити пресс» — одно из значительных издательств «черных» университетов печатает образцовую антологию американских писателей азиатского происхождения.

Как же распространяется прогрессивная литература? Вопрос ключевой.

В течение нескольких лет Программа по литературе Национального фонда помощи развитию искусств выделяла кое-какие средства на распространение таких книг. Однако позднее субсидии на нужды книготорговли были резко сокращены. Тем не менее с 1978 года существует книготорго-

[1] Несколько стихотворений С. Ортиса было опубликовано и журналом «Иностранная литература» в № 5 за 1983 год.

вое агентство «Мидуэст дистрибьюторз» (Канзас-сити), которое способствует распространению продукции «малой прессы» не только в своем ареале, но и на остальной территории страны. Оно выпускает ежегодно около ста каталогов и периодические приложения к ним. Разработав две специальные программы (первая связана с темой труда в литературе, вторая — с многонациональной культурой страны), оно стремится познакомить читателей со всеми опубликованными книгами писателей-ветеранов, таких, как Макграт, Лесур и Конрой, а также бурно заполняющих литературную арену молодых авторов. Это агентство регулярно поставляет книги в более чем сто магазинов, а кроме того, обслуживает учителей, индивидуальных покупателей и библиотеки.

Что касается авторов, то наибольшим спросом пользуются книги тех, кто принимает активное участие в массовых движениях, кто на переднем крае классовой борьбы и борьбы угнетенных народов.

К сожалению, маленькие книжные магазины имеют тенденцию к исчезновению, так как не выдерживают конкуренции с монополистическими книжными концернами, сосредоточивающими свои магазины в больших торговых центрах. Подавляющее большинство книг, выходящих сегодня в Соединенных Штатах, продается через посредство всего лишь трех гигантских концернов. Подобно коммерческим издательствам, они не заинтересованы в продаже прогрессивных и радикальных книг, которым, следовательно, самим приходится пробивать себе дорогу к покупателю. С книготорговлей поэтому, повторяем, для нас связана одна из самых трудных проблем.

Нельзя не сказать и о том, что прогрессивные книги не столь уж часто включаются как учебные тексты в программы школ и колледжей. Зачастую и прогрессивно, более того, радикально настроенные педагоги, очевидно опасаются использовать подобные произведения даже на университетском уровне. Таким образом, страх перед репрессиями эры маккартизма сказывается еще и сегодня, усиленный волной аналогичных репрессий и увольнений, имевших место во времена Никсона.

Есть, правда, бесстрашные учителя, особенно среди угнетаемых национальностей, для которых вопрос стоит буквально так: сохранится или не сохранится их национальная словесность как таковая.

Рассмотренные здесь процессы развиваются более или менее параллельно, но сливаются нечасто разве что случайно. Талантливые писатели есть, разумеется, везде, но обычно их творчество существует в региональном и(или) этническом контексте, а порой и вовсе изолированно, что является следствием индивидуализма, распространенного в нашем обществе в целом. Сегодня, однако, можно обнаружить гораздо больше, чем каких-нибудь пять лет тому назад, нитей, связывающих различные национальные меньшинства между собой и даже в какой-то степени их — с белым большинством населения страны. Эти факты полностью игнорируются и замалчиваются официальными средствами массовой информации, такими, как влиятельные газеты, телевидение и либеральные журналы.

Можно выделить три типа прогрессивных книг, пользующихся наибольшим спросом: 1) произведения, обладающие высокими литературными достоинствами и отвечающие задачам определенного движения (Мериdел Лесур и женское движение, Рудольфо Анайя и «чиканос»); 2) широкоохватные и хорошо составленные антологии; 3) прошедшая проверку временем классика,— к примеру, автобиографии активистов массовых движений, таких, как Матушка Джонс[1].

Кстати, весьма поучителен факт неизменной популярности автобиографий как прогрессивного жанра нашей литературы. Вероятно, эта популярность основана на неотъемлемой черте нашей культуры — богатой традиции «рассказывания историй», восходящей к творчеству Ирвинга и Твена, идущей еще дальше, в глубь веков, к фольклорной культуре. Кроме того, жанр автобиографии дает читателю непосредственное, «из первых рук» представление об описываемых событиях, сообщая произведению дух истинного реализма, противостоящий лживому идеализму массовой буржуазной культуры.

Нарисованная картина, при всей ее фрагментарности, свидетельствует о жизнеспособности прогрессивной литературы, но также и о немалой раздробленности сил прогрессивных литераторов. Художественное качество этой литературы нынче гораздо выше, чем 15 или даже 10 лет назад, она стала более зрелой, обогатилась опытом и знанием, добытыми нашими предшественниками, теми, кто шел впереди нас. Наши лучшие молодые писатели, выходя из определенной местной среды, поднимаются до осмысления проблем своего региона и — шире — своей этнической группы, а в последнее время устанавливают связи и с другими этническими объединениями.

Но среди нерешенных наших проблем — отсутствие прогрессивного общенационального журнала, освещающего вопросы культуры, такого, какие у нас существовали, начиная с десятых до сороковых годов и даже еще в пятидесятых. Кроме того, нам недостает сплоченной писательской организации работников культуры, четкой политической программы и регулярных мероприятий типа конференций и фестивалей, привычных сегодня для социалистических стран и даже для многих стран Западной Европы.

На протяжении всей своей истории американцы ставили во главу угла не чтение и образование, но Действие. Затруднения, порождаемые экономическим кризисом, стимулируют развитие многих из перечисленных выше тенденций, общественных движений и групп, теснее сплавляют их, объединяют усилия, сплачивают союзы и массовые организации, политическая программа которых затрагивает и вопросы культуры, способствуя борьбе за наше общее будущее в мирном мире.

Перевод с английского И ДОРОНИНОЙ

[1] Мэри Хэррис Джонс (1830—1930) — известная деятельница американского рабочего движения, снискавшая легендарную популярность и любовь среди шахтеров-угольщиков.

ХУАН КОБО

ПУШКИ И МУЗЫ

Испанские писатели о национально-революционной войне 1936—1939 годов

«17-го в 17.00»... С этой по-военному краткой и лишенной эмоций фразы, прозвучавшей в эфире, начался мятеж реакционной военщины, который перерос в длившуюся без малого три года — с 1936-го по 1939-й — кровопролитную гражданскую войну [1]. Пресловутые слова «Над всей Испанией безоблачное небо» многие до сих пор считают сигналом к путчу. Но это было придумано позже — так с самого начала режим рождался не только в крови и предательстве, но и во лжи. По сигналу «17-го в 17.00» именно 17 июля 1936 года — а не 18-го, как утверждал режим Франко, сделавший эту дату национальным праздником страны,— реакционные генералы подняли мятеж в Испании.

Это было давно, полвека назад. Но как будто было вчера...

Испанский народ не желал той войны. Шаг за шагом, год за годом он продвигался до этого вперед по пути демократии и социального прогресса, отбрасывая реакцию в бескровных схватках у избирательных урн, давая отпор вооруженным фалангистам, пытавшимся бесчинствовать на улицах. Именно поэтому все темные силы Испании, поправ законы и конституционные нормы, выступили против правительства Республики, избранного народом и выражавшего его волю.

Но мятежники с самого начала действовали не одни — восстание их опиралось на давний и тщательно разработанный заговор с участием гитлеровской Германии, Италии Муссолини и Португалии Салазара. Будь те события чисто внутренним делом Испании, развязка оказалась бы скорой и определенной — мятежники, разгромленные в крупнейших городах и основных районах страны, не продержались бы более двух-трех недель. Уже 28 июля генералам-путчистам стала поступать отборная боевая техника, прибывали не только военные специалисты, но и целые воинские соединения, общая численность которых почти равнялась всей испанской армии (одних итальянских солдат и офицеров в войне участвовало более 120 тысяч) [1].

Тяжесть первой на земле Европы битвы с мировым фашизмом легла прежде всего на плечи испанского народа. Усугублялась она тем, что буржуазно-демократические государства Запада, страшившиеся революционного взрыва народа за Пиренеями, пытавшиеся «умиротворить» Гитлера и его союзников, сразу же заняли постыдную позицию: они отвернулись от демократической Испании, фактически способствуя

[1] В научных исследованиях и политических документах события 1936—1939 годов называют национально-революционной войной. учитывая характер отпора, данного испанским народом мятежникам и интервентам. *(Здесь и далее прим. автора статьи.)*

[1] R. Tamames. La República. La era de Franco. Madrid, Alfaguara, 1973, p.271, 273.

ХУАН КОБО (род. в 1933 г.)

Советский журналист-международник, литературный критик, переводчик. Автор многих статей по вопросам истории политики и культуры стран Латинской Америки и Испании. В его переводе опубликованы повесть «Сражения в пустыне» Х. Э. Пачеко (Мексика), романа Х. Торбадо «Кит» (Испания) и др.

успеху итало-германской агрессии. А из США, хотя они формально объявили себя «нейтральными» в конфликте, нефтяные концерны почему-то щедро снабжали с начала до конца войны мятежников, отказав в поставках законному правительству страны.

Предчувствие военной грозы, которая разразится над всем миром, носилось в воздухе — все было пронизано ее ожиданием. 21 января 1937 года в «Известиях» появились стихи, передававшие это настроение. Автор предлагал новогодний тост за тех,

...кому за пулемет
браться,
За тех, кому с винтовкой быть
дружным,
За тех, кто знает, что глагол
«драться» —
Глагол печальный, но порой
нужный.
За тех, кто вдруг, из тишины
комнат,
Пойдет в огонь, где он еще
не был.
За тех, кто тост мой
через год
вспомнит
В чужой земле и под чужим
небом.

Впрочем, Константин Симонов знал, что борьба в «чужой земле и под чужим небом» уже идет и в ней принимают участие его товарищи — скольких он сам проводил в дальнюю дорогу! Но по соображениям высокой политики тогда — да и долго еще потом — об этом не говорилось впрямую, хотя в Советском Союзе знали: за Пиренеями, помогая испанскому народу отбивать натиск фашистов, воюют советские специалисты-добровольцы. Но сражались они под псевдонимами: будущие военачальники Великой Отечественной войны — Родион Малиновский, который станет маршалом и министром обороны СССР; Николай Воронов, впоследствии главный маршал артиллерии; Николай Кузнецов, будущий адмирал; Александр Родимцев, генерал, который прославится в Сталинградской битве, и многие-многие другие,— все они носили тогда нерусские имена.

До начала второй мировой войны оставалось еще около трех лет. До Великой Отечественной — четыре с половиной. Но на прокаленных летним солнцем и выстуженных зимними ветрами плоскогорьях Кастилии, в нежных вечнозеленых долинах Каталонии и Леванта, среди оливковых рощ Андалусии и Эстремадуры испанский народ уже отражал натиск объединенных сил международного фашизма. Война начиналась в Испании...

Больше 1000 дней и ночей длилась неравная схватка испанского народа и пришедших на помощь из десятков стран добровольцев-интернационалистов с превосходящими силами фашистов. Решительное вооруженное сопротивление фашизму в Испании сыграло важную роль в дальнейших событиях: отсрочив вторую мировую войну, оно дало возможность силам прогресса во главе с Советским Союзом мобилизоваться и подготовиться к решающей встрече с «коричневой чумой». Пройдет немного времени, и, когда окончательно будет решаться, куда пойдет дальше XX век, те, кто воевал в Испании по разные стороны фронта, снова встретятся на полях сражений второй мировой войны — на земле, на море и в воздухе. Тогда станет особенно ясно, что самоотверженная и героическая борьба народа Испании не была напрасной, что она стала вкладом в победы под Москвой, Сталинградом, Курском, Орлом...

Но события 1936—1939 годов не были просто цепочкой следующих одно за другим военных действий, наступлений и отступлений, побед и поражений, которые можно отметить красными стрелами на штабных картах, отразить в боевых сводках. Они вызвали огромное духовное потрясение у всего человечества, показали, что фашизм и человеческая цивилизация — несовместимы. На примере Испании народы мира впервые смогли увидеть воочию, что являет собой фашизм на деле. «Фашистские государства верят в тотальную войну,— говорил в июне 1937 года Эрнест Хемингуэй на II съезде американских писателей.— Это попросту значит, что всякий раз, как их бьют вооруженные силы, они вымещают злобу за свое поражение на мирных жителях... Нам нужно ясное понимание преступности фашизма и того, как с ним бороться. А усмирить бандита можно только одним способом — крепко побив его».

С такими же страстными призывами остановить распоясавшихся фашистских бандитов обращались к человечеству в те дни и другие видные представители мировой интеллигенции, сыгравшие важную роль в мобилизации мирового общественного мнения против нацистской экспансии. Многие из них побывали в те годы в Испании, активно выражая свою солидарность с испанским народом, вставшим на защиту демократии.

Как писал значительно позже испанский историк и социолог Амандо де Мигель в книге «40 миллионов испанцев 40 лет спустя», «...в те три года воевали друг с другом не только военные — в эту борьбу было втянуто и все гражданское население, разбившееся на два лагеря; кроме оружия, в борьбе были использованы и мощные идеологические средства. Впервые в Западной Европе в столь массовых масштабах велась пропаганда — с помощью литературы, радио, кино. В этой борьбе активно участвовала интеллигенция» [1].

События 1936—1939 годов нашли широчайшее отражение в прозе, поэзии, драматургии всего мира, не говоря уже о журналистике, а также о написанных во время войны и после нее фундаментальных социально-политических исследованиях. Ведь эмоциональное воздействие испанских событий было огромным: оно сыграло важную роль при решении миллионами людей в разных странах вопроса о том, по какую сторону баррикады им стать. На фоне всепроникающего мещанского меркантилизма, в который был погружен буржуазный мир, яростный всплеск героизма народа Испании, чистое благородство тысяч энтузиастов, по велению души пришедших ему на помощь из разных стран, были столь прекрасны, что вызвали искреннее восхищение,

[1] Amando de Miguel. 40 millones de españoles 40 años despues. Barcelona, Grijalbo, 1976, p. 250.

всколыхнули старые мечты человечества о романтике, прочно врезались в память. Поэтому и сейчас многие современники тех событий могли бы повторить строки, написанные Маргаритой Алигер, когда ей привелось много лет спустя побывать на испанской земле:

Ближе к роковому рубежу
проще и мудренее законы.
Не спеша по Рамблас прохожу,
улыбаясь розам Барселоны.

Думаю, какой она была
боевой, тревожной, опаленной.
В сущности, вся жизнь моя прошла
между той и этой Барселоной.

Да, между той и этой Испанией, между 1936 и 1986 годами, прошло уже полстолетия. Но и по сей день испанская тема волнует людей, вызывает в них глубокий и живой отклик. По этой причине лучшие романы, стихи, пьесы, писательские репортажи об этой войне Эрнеста Хемингуэя, Антуана де Сент-Экзюпери, Андре Мальро, Сесара Вальехо, Жоржа Бернаноса, Пабло Неруды, Людвига Ренна, Ильи Эренбурга, Михаила Кольцова, Константина Симонова, Алексея Толстого и многих, многих других не только прочно вошли в сокровищницу прозы, поэзии, драматургии, публицистики XX века, но и стали книгами, к которым постоянно возвращаются, перечитывая вновь и вновь. Известны они и у нас.

«Литература боровшаяся с фашизмом в открытом бою и запечатлевшая трагедию испанского народа,— писал Константин Симонов в 1968 году,— оказалась бессмертной. Ее бессмертие засвидетельствовано во всех континентах миллионами читателей».

Слова эти с полным правом можно отнести и к испанской литературе, посвященной этой войне. Однако до недавнего времени она издавалась малыми тиражами преимущественно в странах Латинской Америки и потому не получила той известности, которой заслуживала. Исключением из этого правила, пожалуй, была поэзия — написанная по свежим следам событий, она тут же переводилась на многие языки, печаталась значительными тиражами. Драматургия же осталась вне внимания зарубежных читателей и зрителей — возможно, потому, что, рожденная в пылу сражений и отвечающая сиюминутной злобе дня, она была обращена к испанцам, сопротивлявшимся франкизму, и не обрела из-за этого универсального звучания, оставшись фактом литературной истории.

Что же касается прозы, которой понадобилась некоторая временная дистанция для глубокого осмысления и анализа тех бурных и непростых событий, то она фактически стала создаваться испанскими писателями-изгнанниками в 40-х годах и долго была достоянием главным образом знатоков и специалистов. В самой Испании такого рода литература в 40—50-е годы была запрещена; лишь по мере того, как всенародное движение за демократию постепенно расшатывало устои франкистского режима, ее стали читать тайком, потом и открыто, а затем и печатать. Но это сделалось возможным лишь к концу 60-х — началу 70-х годов, когда испанским писателям удалось в упорной борьбе вырвать у цензуры право более откровенно и всесторонне рассказывать правду о тех событиях. А после смерти каудильо в 1975 году вокруг книг, посвященных войне, в стране начался настоящий издательский бум, продолжающийся по сей день. Книги, написанные лет 30—40 назад, как бы обрели новую жизнь. Снова стали актуальными. Поистине «рукописи не горят»...

Можно согласиться с видным советским исследователем испанской литературы XX века И. А. Тертерян [1], что литература Испании еще не создала своего «Тихого Дона» — эпоса и трагедии своей гражданской войны»[2]. Вместе с тем по общей тональности и человечности, пронзительному гуманистическому чувству лучшие произведения испанских писателей на эту тему удивительно напоминают шолоховскую книгу. В любом случае это, как правило, книги яркие, глубокие, высокохудожественные.

Да и могло ли быть иначе, если перед теми событиями в Испании литература переживала свой второй «золотой век»? Мигель де Унамуно, Рамон дель Валье-Инклан, Пио Бароха, Асорин, Мачадо и другие представители так называемого «поколения 1898 года» продолжали работать, стали не просто общепризнанными мэтрами испанской словесности, но и властителями дум. И уже вступило в жизнь — на взлете духовных и творческих сил — «поколение 1927 года» — блистательное созвездие талантов дерзких, отважных, искавших непроторенные пути: Федерико Гарсиа Лорка, Рафаэль Альберти, Мигель Эрнандес, Луис Сернуда, Леон Фелипе, Висенте Алейксандре, Мария Тереса Леон, Педро Гарфиас, Эмилио Прадос, Рамон Хосе Сендер, Франсиско Аяла, Хосе Бергамин...

Особого расцвета в канун войны достигла поэзия; казалось, проза (и прежде всего роман) в те годы не поспевала за бурным течением событий. Но и из-под пера прозаиков выходили интересные, значительные вещи. «Кто из нас не помнит общее настроение тех лет, упоение, с которым мы отвергали давно устоявшееся и утверждали свое, полные готовности подвести черту под прошлым и одним ударом создать что-то небывало новое, другой мир, живой, динамичный и блестящий,— вспоминал в 1949 году Франсиско Аяла.— Слово принадлежало нам, молодым... И мы испытывали чуть ли не чувственное наслаждение, играя образами, метафорами, глаголами, мы, потрясенные, радовались открывающемуся перед нами миру, стремясь передать его богатство с помощью языка...»[3].

Поразительно при этом, что, несмотря на удивительное несходство темпераментов и личных склонностей, приверженность к разным школам и направлениям, которых в Испании тогда было великое множество, несмотря на бурные перепалки в литературных журналах в защиту все новых «измов», представители того поколения художественной интеллигенции были тесно свя-

[1] От редакции. Когда верстался этот номер, пришла печальная весть о безвременной кончине И. А. Тертерян, чьи работы неоднократно печатал наш журнал.

[2] Тертерян И. Современный испанский роман (1939—1969). М., Художественная литература, 1972, с. 282.

[3] F. Ayala. La cabeza del cordero. Buenos Aires, Losada, 1949, p. 8—9.

заны между собой живыми творческими нитями, а зачастую и крепкой личной дружбой. «У всех нас общий путь, который мы прошли до того момента, когда кровавая драма гражданской войны вторглась в наши судьбы»[1],— говорил полвека спустя Рафаэль Альберти.

Такая общность, не мешавшая разнообразию характеров и творческой манере, объяснялась, безусловно, глубоким и подлинным, без деланной позы, уважением к народу, из глубин творчества которого литераторы черпали силы для работы. Эстетическую платформу, выражавшую и этическую позицию большинства писателей той поры, четко выразил Антонио Мачадо: «Стучитесь в дверь каждого сердца, каждого сознания. Не человек для культуры, но культура для человека, для всех людей, для каждого из людей...»[2]. Ему вторили более молодые соратники по перу. «Ни один настоящий человек,— писал Федерико Гарсиа Лорка,— уже не верит в эту чепуху о чистом искусстве, об искусстве для искусства. В эти драматические дни художник должен плакать и смеяться вместе с народом»[3].

Это не значит, что все писатели того поколения были политическими активистами, хотя среди них были и такие: Рафаэль Альберти и Сесар Муньос Арконада еще в начале 30-х годов вступили в коммунистическую партию стремились объединить товарищей по писательскому цеху на революционных позициях. И тем не менее в стране, раздираемой борьбой между «двумя Испаниями», полярность которых воплощало давнее противостояние старого и нового, мракобесно-клерикального традиционизма и социального прогресса, интеллигенция в целом давно уже сделала ясный выбор.

Испанской интеллигенции глубоко приверженной гуманистическим идеалам, были чужды война, насилие. Однако фашизм, поставивший перед собой цель прервать естественное течение истории и повернуть ее вспять, навязал испанцам кровавую братоубийственную войну, на которую народ, защищая свободу и демократию, дал национально-революционный ответ. Вместе с ним, приравняв перо к штыку, на пути франкистов стали писатели.

17 июля 1936 года подвело черту под их прошлым, началась новая страница в их жизни, полная героической патетики и в то же время горького драматизма. Литераторы поставили свой талант на службу борющемуся народу. Они активно выступали в левых журналах «Ора де Эспанья», «Моно асул», «Комисарио»; участвовали в таких боевых организациях как Альянс антифашистской интеллигенции; защищали Республику на международной арене. Многие были военными корреспондентами, редакторами армейских газет: некоторые, как Мигель Эрнандес, стали комиссарами; иные, как Луис Сернуда, с оружием в руках воевали в Сьерра-Гвадарраме, обороняя Мадрид. Происходившее побуждало их занимать более отчетливые политические позиции, вело к радикализации взглядов. Убийство Федерико Гарсиа Лорки в Гранаде потрясло Испанию и мир. «Война в Испании, изменившая мою поэзию, началась для меня тем, что сгинул поэт. И какой поэт!.. Кто бы поверил, что на земле сыщутся чудовища, способные на такое невероятное преступление?» [1] — писал позже Пабло Неруда, участник тех событий, ставший в Испании коммунистом.

А в стане франкистов не было ни одного сколько-нибудь значительного литератора.

Замечательный прозаик и философ Мигель де Унамуно, оказавшийся во франкистской зоне, увидев своими глазами, что несет народу и культуре фашизм, бросил в глаза мятежникам с кафедры Саламанкского университета ставшую знаменитой фразу: «Вы можете победить, потому что за вами — голая сила, но никогда не сможете убедить!» После этого старый философ был фактически подвергнут домашнему аресту и вскоре скончался при неясных обстоятельствах.

Выдающийся романист Пио Бароха, тонкий стилист Асорин, популярный драматург Хасинто Бенавенте, оставшиеся в Испании после падения Республики, практически перестали писать или же публиковали воспоминания о светлых прошлых годах.

В духе, требуемом режимом, писало лишь несколько литераторов — серые фигуры на фоне блестящего поколения той эпохи,— имена их ныне покрыты позором, прочно забыты. Главным певцом режима был третьеразрядный драматург, ярый католик Хосе Мария Пеман, но и он со временем стал отходить от режима. Литературный вакуум, создавшийся в Испании после 1939 года, был столь очевидным и скандальным, что его пытался заполнить сам Франко. В 1942 году он опубликовал бездарную книгу, в которой стремился показать, как надлежит писать для народа. И хотя у этой «казарменной литературы» нашлось несколько приверженцев, пытавшихся вслед за каудильо «взбодрить» народ небылицами о мифических подвигах и свершениях, она быстро иссякла.

Лишь с появлением романов «Семья Паскуаля Дуарте» Камило Хосе Селы (1942) и «Ничего» Кармен Лафорет (1944) началось возрождение «новой» испанской литературы, но она сразу пошла вразрез с официальными установками режима, была нонконформистской, а затем стала откровенно антифранкистской

Подтвердились пророческие слова, сказанные жарким летом 1937 года Эрнестом Хемингуэем, исходившим из своего испанского опыта: «Есть только одна политическая система, которая не может дать хороших писателей, и система эта — фашизм. Потому что фашизм — ложь, изрекаемая бандитами... и потому обречен на литературное бесплодие».

Жизнь давно доказала, что старый афоризм: «Когда говорят пушки, музы молчат» — не соответствует истине. В республиканской зоне Испании, во всяком случае, музы говорили в полный голос. В произведениях той эпохи «бури и натиска» при-

[1] Альберти Р. Сколь ты немилосердна, о сладкая Испания! «ИЛ» 1984 № 11, с. 197.

[2] Цит. по кн.: Тертерян И. Испытание историей. Очерки испанской литературы XX века. М., Наука, 1973, с. 359.

[3] El Sol, 10.06. 1936, p. 11.

[1] Цит. по кн.: Гибсон Я. Гранада 1936 года и убийство Федерико Гарсиа Лорки. М., Прогресс, 1983, с. 6.

сутствовали неизбежные элементы лозунговости, и тем не менее это была литература высшей пробы. Вспомним одно из самых, казалось бы, агитационных стихотворений комиссара прославленного Пятого полка поэта-коммуниста Мигеля Эрнандеса. В общий торжественно-приподнятый и патетический лад:

Ветром народа сорван,
ветром народа взвеян,
голос мой каждым звуком
с ветром народа сверен —

вдруг, заключая поэтическую мысль, врывается неожиданная концовка потрясающей трагической силы:

Я песнею смерть встречаю,
как тот соловей весенний,
который в кольце винтовок
поет на полях сражений!

(Перевод А. Гелескула)

Сочетание ораторской страстности с тончайшим лиризмом стало характерным для того искусства. И в драматургии ощущался — иначе быть не могло — налет агитационности. Ведь пьесы в те боевые годы писались по горячему «социальному заказу», рождались как живой отклик на события. Исполнялись они, как правило, в передвижных театрах прямо на улицах, в окопах, в цехах. Это, впрочем, соответствовало традициям народного театра, ставшего очень популярным еще до войны,— вспомним, каким большим успехом пользовался передвижной театр «Ла Баррака», созданный в 1933 году Федерико Гарсиа Лоркой. Тогда получил бурное развитие такой вид драматургии, как короткая пьеса-фарс на злобу дня, какие писали Рафаэль Альберти, Сесар Муньос Арконада и иные авторы. В них, как и в других пьесах той поры, широко использовались своего рода «плакатные маски», родившиеся в результате приспособления гиньоля для политических тем. Так, в пьесе Арконады «Взятие Мадрида», например, действуют как будто бы реальные лица — пресловутые «четыре генерала», наступавшие на Мадрид, которые сделались мишенями язвительной насмешки в одноименной озорной песенке, сочиненной народом и распевавшейся на всех углах. Но фигуры эти собирательно-условные, как условны в «Мистерии-буфф» Маяковского Российский спекулянт, Американец, Ллойд-Джордж, Клемансо.

И все же театр Испании и тогда не был скован жестким корсетом определенного жанра или способа выражения. Рафаэль Альберти в «Ночи войны в музее Прадо», Хосе Бергамин в своей «Девочке-партизанке» (отметим, что первое издание этого произведения иллюстрировал Пабло Пикассо) использовали не только абстрактные «плакатные маски» — в них есть и высокая лирика, и стилизация народного песенного фольклора.

Нет, то искусство вовсе не уподобилось, как утверждали его противники, оркестру, в котором слышался лишь гром барабана да пение фанфар — в нем выводили свою партию скрипки и виолончели, гобой и челеста, звучало все богатство музыкальных инструментов.

Безусловно, на характере звучания этого «оркестра» сказывались перипетии войны, тяготы и страдания народа, приближение трагического исхода. А после поражения республики литературный процесс вообще оказался на время прерванным. Писатели, сражавшиеся вместе с народом, вынуждены были уйти в изгнание, многие из них прошли через концентрационные лагеря во Франции, созданные там для «интернирования» республиканских бойцов. Да и потом, когда они осели на новых местах — как правило, в странах Латинской Америки,— начинать жизнь заново было непросто: не сразу находилось пристанище и работа, невыносимой была тоска по родной земле, жгла душу горечь поражения.

Но пережитое за три драматических года войны в Испании требовало выхода. Молчание оказалось недолгим, причем в «литературе изгнания» — хотя и поэты сказали в ней свое веское слово — стала задавать тон проза, и не только в малых жанрах, но и в романе — форме, которая позволяет всесторонне осмысливать происшедшее, более глубоко проникать в потаенную суть явлений.

Эта литература породила, помимо множества рассказов и повестей, десятки романов-хроник и даже целые романные циклы, посвященные гражданской войне: «Реку Тахо» Сесара Муньоса Арконады, тетралогию «Поля» Макса Ауба, трилогию «Накануне» Мануэля Андухара, «Невесту ветра» Бенхамина Харнеса...

А с начала 60-х годов в Испании стали публиковаться романы на ту же тему, написанные как теми, кто, не будучи в военные годы литераторами, находился во франкистской зоне и затем пересмотрел свои позиции, так и теми, кто сражался за Республику, прошел голгофу тюрем и концлагерей каудильо. Одна за другой стали появляться книги, в которых все более открыто говорилась правда о войне: «Ложись!» Рикардо Фернандеса де ла Регеры; «Мститель» Луиса Кастильо Пуче; «Миллион мертвых» Хосе Мариа Хиронельи; трилогия о войне Анхеля Мариа де Леры, в которой выделяется роман «Последние знамена»; «Штурм города» Грегорио Гальего, написанный в тюрьме и увидевший свет только в 1983 году.

С этой же темой соприкасаются и многие произведения представителей так называемого «молодого романа» — писателей, которые пережили войну детьми, выросли в удушающей обстановке диктатуры и вступили в жизнь убежденными антифранкистами: Хуана и Луиса Гойтисоло, Хесуса Фернандеса Сантоса, Альфонсо Гроссо, Антонио Ферреса и других. «Трудно найти книгу писателя моего поколения,— отмечала одна из наиболее ярких представительниц этой плеяды Ана Мария Матуте,— где бы в той или иной форме, на той или иной странице не возникала бы война, она оказалась нашим наследством, мы жили ею много лет спустя после того, как она кончилась» [1].

Испанская литература о гражданской войне рассматривает тему с самых разных сторон: воссоздает эпизоды той эпохи, показывает обстановку в тылу и на фронте, образы республиканских бойцов.

[1] Матуте А. М. Гражданская война и писатели моего поколения. «ИЛ», 1966, № 9.

Невозможно обойти молчанием, в частности, тот факт, что еще в конце 50-х годов Франсиско Гарсиа Павон, каким-то чудом обойдя жесткую еще в ту пору цензуру, опубликовал рассказ об обаятельном советском летчике «Николасе Николавиче», который воюет за Республику, окружен искренней и глубокой симпатией жителей аэродрома в Ла-Манче. Большое место в этой литературе занимает анализ поведения человека перед лицом выбора, изображение трагического финала войны и страданий, выпавших на долю побежденных.

Но писатели, вникая в тему войны, все настойчивее стремились уйти от хроникальной описательности, простого воссоздания событий, все больше сосредоточивались на том, говоря словами Франсиско Аялы, «как гражданская война прошла через сердца людей». Литература Испании, всегда отличавшаяся особым тяготением к философскому осмыслению жизни, и в этом случае стремилась проникнуть в самую сердцевину нравственно-философской и морально-психологической проблематики гражданской войны, тем более что она давала для этого обильный материал. В частности, писатели отвергали трактовку событий, предложенную некоторыми западными философами и социологами, согласно которой гражданская война была порождена якобы имманентно присущими испанской нации чертами.

В этом смысле показательна повесть Рамона Хосе Сендера «Реквием по испанскому крестьянину». Отталкиваясь не от надуманных абстракций, а от наиболее типических конкретных жизненных ситуаций, писатель смело обращается к наиболее жгучей, пожалуй, проблеме гражданской войны — проблеме насилия, щедро обагрившего кровью земли Испании в 1936—1939 годах. Впоследствии появилось много всевозможных «теорий», основанных на том, что жестокость вообще представляет собой особенность национального характера испанцев и потому в равной степени была якобы присуща обеим сражающимся сторонам. Автор «Реквиема...», безусловно, выступает против подобных утверждений.

Спору нет, и в республиканской зоне — особенно в первые недели после начала мятежа и как проявление стихийного гнева против фашистов — нередки были случаи самосуда простых людей над теми, кого они считали фашистами или их сторонниками. Свою лепту в это внесли и анархисты, прежде всего в Каталонии и Арагоне, подстрекавшие народ к расправам, не признавая никакой законности; бывало, что и обычные уголовники занимались своими делами под видом республиканцев. Но со временем такой произвол был сведен к минимуму усилиями республиканского правительства, в чем ему оказали активное содействие коммунисты и представители других левых партий.

Как теперь документально подтверждено, число погибших в республиканской зоне не идет ни в какое сравнение с числом жертв франкистов. Причем в Испании по этому поводу установилась широко разделяемая точка зрения, которую можно встретить во многих произведениях написанных даже авторами отнюдь не левых убеждений: нельзя ставить на одну доску спонтанную, в чем-то неизбежную и спровоцированную мятежниками реакцию народных низов, которые в первые недели войны вымещали на угнетателях, к тому же восставших против законного правительства и вызвавших братоубийственную войну, свою вековую ненависть, и планомерный, холодный и систематически продуманный террор франкистов, направляемый сверху усиливавшийся изо дня в день и продолжавшийся много лет после окончания войны. Каудильо преднамеренно разжигал его, руководствуясь каннибальской целью не только искоренить, как выражалась его пропаганда, «красную заразу» (а под это определение подходила большая часть страны), но и, как он заявил во всеуслышание в первой же речи после войны, «покончить в Испании с идеями энциклопедистов» [1].

На примере судьбы благородного крестьянского вожака Пако-с-Мельницы Рамон Хосе Сендер убедительно показывает, кто и как чинил произвол в Испании тех лет. История, о которой он повествует, очень типична. Типичен и образ священника, предавшего собственного воспитанника Пако — в этом была своя внутренняя логика, ибо в целом клерикалы поддержали фашистский мятеж, возведя его в ранг богоугодного крестового похода.

Война не завершилась для миллионов испанцев вступлением фашистских войск в Мадрид — последствия ее ощущались ими на протяжении еще многих лет: народ сопротивлялся фашизму в самых разных формах, в стране свирепствовали репрессии, страх, нищета, голод. Порожденные этим проблемы также нашли свое отражение в литературе.

Стремясь укрепить свою слабеющую со временем власть, Франко, прибегая к тактике «разделяй и властвуй», искусственно старался сохранить в стране деление на «победителей» и «побежденных», совершенно сознательно, как и в годы войны, натравливая людей друг на друга, разжигал в них низменные инстинкты, калечил их души. Но исподволь в недрах испанского общества, в сокровенных глубинах мудрого народного сознания назревало крепшее с годами ощущение, что, только подведя черту под прошлым и объединившись против диктатуры, можно создать новую Испанию. Литература активно способствовала этому, внушала читателям, что, лишь залечив старые раны, нанесенные войной, можно преодолеть поистине «каиново» проклятье франкизма. Передовые люди Испании, уловив эту тенденцию, положили ее в основу тактики борьбы против режима, полностью себя оправдавшей. В этом испанскому народу также помогали его писатели.

И еще следует добавить, что испанской литературе о гражданской войне присущ ряд специфических особенностей, которые следует учитывать. Авторам-испанцам свойственно несколько иное видение событий 1936—1939 годов, чем их иностранным собратьям по перу. Для Хемингуэя, Кольцова, Эренбурга, написавших правдивые и блестящие страницы о той войне, главным в ней были — и это естественно — романтика революционной борьбы за свободу, геро-

[1] Tunon de Lara. España del siglo XX. Madrid, Laya, 1976, p. 224.

изм отпора фашистской военной машине, благородство действенной солидарности лучших людей планеты с испанскими демократами. Писателями Испании и подавляющим большинством их соотечественников, оказавшихся в эпицентре схватки, где брат вставал на брата, отец на сына, те события воспринимались не только как легендарная эпопея, где они выступали в роли героев и вправе были этим гордиться, но и как кровавая драма, в которой им выпало быть также жертвами. Это сообщает испанской литературе о гражданской войне неповторимый, обостренный гуманистический пафос с оттенком трагичности — не только антифашистский, но и, в сущности, глубоко антивоенный.

Сколько раз, пока длилась ночь тирании над Испанией, вспоминались взволнованные слова, написанные Эрнестом Хемингуэем в самом конце войны, в феврале 1939 года: «Этой ночью мертвые спят в холодной земле Испании... и проспят всю холодную зиму пока вместе с ними спит земля. Но весной пройдут дожди, и земля станет рыхлой и теплой. Ветер с юга мягко обвеет холмы. Черные деревья оживут, покроются зелеными листьями, и яблони зацветут над Харамой. Весной мертвые почувствуют, что земля оживает... Наши мертвые с ней всегда будут живы. Как земля никогда не умрет, так и тот, кто был однажды свободен, никогда не вернется к рабству».

Годы шли, и в душу порою вкрадывалось сомнение: неужто не сбыться этим словам? Но пророчество все же сбылось — много позже, чем ожидалось, совсем не в той форме, что предполагалось. Крот истории прогрызает порой самые неожиданные подземные ходы. Не прошло и ста дней после смерти Франко, как режим, который он создавал «на века», стал рассыпаться на глазах... «Кто же, в конце концов, здесь победил?!» — недоуменно вопрошал на заседании Регентского совета весной 1976 года один из престарелых генералов-ультра, «ветеран» мятежа, не способный понять, что правящие круги вынуждены делать уступку за уступкой демократической общественности, дабы волна всенародного движения за демократию не смела все на своем пути. Ответ на вопрос уже тогда был ясен: полное и сокрушительное поражение, на этот раз бескровное, потерпел франкизм, последний фашистский режим в Европе, оставшийся от времен Гитлера и Муссолини.

В стране укреплялся демократический строй, получали права гражданства моральные и духовные ценности, за которые сражались борцы за свободу в 1936—1939 годах. Те представители культуры, что были когда-то выразителями народных чаяний снова становились властителями дум.

«Националисты (так в Испании часто называют сторонников фашизма.— **Х. К.**) пытались приговорить к забвению выдающихся испанцев, ставших гордостью левой интеллигенции: Антонио Мачадо, Федерико Гарсиа Лорку, Пабло Пикассо, всех, кто верой и правдой служил Республике...— писал в 1976 году Амандо де Мигель.— Все эти фигуры, как теперь стало ясно, не только не забыты, но и сверкают обновленным блеском... Хотя в прошлом победили правые, со временем победили левые. И произошло это, несмотря на то, что многие из левых интеллигентов, ставшие ныне национальной гордостью, были выброшены из страны, преданы отлучению по обвинению в антииспанизме... В изгнании они стали певцами блеска и нищеты своей родины, с каждым годом проникаясь все большей любовью к своему народу. Бергамин... Сендер... Аяла... Макс Ауб — это имена лишь некоторых из многих испанцев-эмигрантов, которые, долгое время находясь в изгнании, не переставали публиковать труды и книги на испанские темы, не переставали вникать в «Испанию как проблему»... Феномен этот сам по себе потрясает. Так называемая «Антииспания» на деле оказалась подлинной Испанией, «антиродина» — воплощением прекрасного патриотизма, люди, оторванные от своей земли, продолжали оставаться творцами ее истории, хотя и находились за пределами родины»[1].

Вместе с писателями-изгнанниками широким признанием окружены имена тех литераторов, которые, находясь на родине, имели мужество говорить правду об истинной истории Испании, способствуя крушению фашизма в стране. Насильственно прерванная франкистами связь художнических поколений восстановилась. Испанская литература, посвященная гражданской войне — творимая и в бурные военные годы, и в годы критического раздумья, вне страны и внутри ее,— снова заняла достойное место на родине.

Ее лучшие традиции продолжают сейчас не только такие представители старшего поколения испанских прозаиков, как Камило Хосе Села (в «Мазурке для двух мертвецов», появившейся в 1983 году), писатели среднего поколения, как Хуан Бенет («Ржавые копья», 1983) и Висенте Сото («Три песеты прошлого», 1982), но и многие их коллеги, вступающие сейчас в литературу, которых глубоко волнует тема гражданской войны.

Потому что это было давно, полвека назад. Но как будто было вчера. Память о тех событиях бьется в сердцах миллионов испанцев. Она жива в душе всего человечества.

[1] Amando de Miguel, p. 384.

◆

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА РОМЕНА РОЛЛАНА А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ

Вступление, публикация и перевод с французского Н. АНТОНОВОЙ и Е. НЕЧАЕВОЙ

Ромена Роллана, великого художника слова, мыслителя и общественного деятеля, чье 120-летие со дня рождения отмечается в этом году, глубоко волновали проблемы войны и мира, прогресса человеческого общества, социальных преобразований, судьбы мировой цивилизации. Он был убежденным и открытым противником милитаризма и фашизма. В годы империалистической войны Р. Роллан выступил с протестом против братоубийственной бойни. Его мужественный голос звучал набатом, призывавшим к борьбе против войны, в защиту мира. В период наступления фашизма и приближающейся новой мировой войны Р. Роллан принадлежал к числу инициаторов создания единого фронта демократических сил против фашизма и войны. Активный общественный деятель, он был избран почетным председателем Мирового комитета борьбы против империалистической войны и фашизма.

Искренний и преданный друг Советского Союза, Р. Роллан видел в существовании первого государства рабочих и крестьян залог сохранения мира и прогресса человечества.

Первая мировая война застала Р. Роллана в Веве, в Швейцарии, где он отдыхал и лечился. В начале октября 1914 года он переехал в Женеву, затем, спустя два года, жил в Туне, весной 1917 года поселился в Вильнёве.

Роллан пристально и с тревогой следил за событиями, происходившими на фронтах, за действиями буржуазных правительств, за печатью воюющих стран. Но в начале войны ее причины подлинный смысл и возможные последствия для социальных преобразований Европы оставались для Роллана раскрытыми не до конца. Под влиянием чувства национальной обиды он считал, что вина Германии очевидна, а дело, защищаемое Францией, правое. В. И. Ленин критически относился к такой позиции Роллана. Постепенно Роллан все более постигал грабительский, хищнический, империалистический характер войны. В одной из статей он писал: «Злейший враг... это — стоголовое чудовище, именуемое империализмом... Это — всегда пиявка, высасывающая самую здоровую, самую лучшую кровь...» [1]. Уже в начале 1915 года Роллан пришел к убеждению, что ответственность за мировую бойню падает на все воюющие государства и их правительства.

Говоря о политических взглядах Роллана, В. И. Ленин прежде всего обращал внимание на его непримиримость к тем социалистам, которые, поддерживая свои империалистические правительства, голосовали за войну и тем самым изменили лозунгам революции, социализма, интернационализма. В. И. Ленин в плане статьи «Уроки войны» (февраль 1917 г.), указывая на признаки поворота общественного мнения к революции, называет имя Ромена Роллана[2]. Страстные антивоенные выступления Роллана, против которого буржуазная пресса начала клеветническую кампанию, привлекали к нему внимание не только прогрессивной интеллигенции Западной Европы, но и вызывали значительный интерес к его деятельности со стороны русских политических эмигрантов, находившихся в Швейцарии. Среди них был и А. В. Луначарский, который писал в этой связи: «Даже цензура, поспешившая навстречу клеветникам и искалечившая его книгу «Над схваткой», не смогла парализовать ее успеха. Урезанная, выбеленная книга человека, которого старались ославить всем хором чуть не государственным изменником, разошлась в одной только Франции более чем в 100 тысячах экземпляров»[3].

А. В. Луначарский был одним из первых критиков в России, обратившим внимание на Роллана как выдающегося представите-

[1] Роллан Р. Виновники и жертвы войны. М., «Народоправство», 1917, с., 13.

[2] Ленин В. И. Полн. собр. соч. т. 30, с. 398.

[3] Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ЦПА ИМЛ), ф. 142, оп. 1, д. 118.

ля передовой, мыслящей Франции и познакомившим в начале 1910-х годов русскую общественность с творчеством французского писателя.

Первая встреча Роллана с Луначарским состоялась в Женеве 29 января 1915 года. С этого момента завязалась дружба и переписка между двумя видными деятелями культуры, длившаяся многие годы.

Общение с Луначарским в 1916—1917 годах оказало определенное влияние на формирование политической позиции Роллана. В то время Луначарский, хотя и не был членом большевистской партии, все более и более освобождался от груза прежних философских и политических ошибок и все более осознавал правильность ленинской политической и тактической линии. Позднее он писал, что в этот период «во многом исправилась» его точка зрения, «выравниваясь под необыкновенно чёткую, смелую линию, какую вёл Ленин. Это привело меня в конце концов в ряды ленинской части социал-демократии» [4]. Именно от Луначарского Роллан получил первые достоверные сведения о большевиках, об их позиции в вопросе о войне; переписка и беседы с Луначарским помогали Роллану ориентироваться в событиях в России, где назревала революция. Именно поэтому Луначарский навсегда остался для него «вестником грядущей русской революции» [5].

Публикуемые ниже восемь писем Р. Роллана А. В. Луначарскому еще неизвестны советскому читателю. Семь писем относятся к 1916—1917 годам, одно написано в 1930 году. Письма отражают некоторые стороны творчества и мировоззрения, но главным образом общественно-политические позиции писателя: его отношение к войне, к революционным событиям в России весной 1917 года, к Великой Октябрьской социалистической революции, к строительству нового общества в Советской стране. Письма помогают увидеть истоки идейной эволюции, которая привела Роллана в лагерь друзей и защитников Советского Союза, в лагерь борцов против фашизма. Кроме того, они дают возможность уточнить и дополнить некоторые факты, приведенные ранее в трудах, посвященных Роллану. В этом отношении особенно интересны письма 1916—1917 годов, свидетельствующие о большом внимании Р. Роллана к развитию передовой общественной мысли в России, участию в этом процессе русских деятелей культуры, лучших представителей интеллигенции (см. письма от 25 августа 1916 года, 30 ноября 1916 года, 16 марта 1917 года, 16 апреля 1917 года). В этой связи мнение Луначарского было для Роллана особенно ценным. Так, получив предложение Леонида Андреева участвовать в новой ежедневной русской газете «Русская воля», Роллан прежде всего обратился за советом к Луначарскому (см. письмо от 25 августа 1916 года). Узнав, что это газета русских промышленников и что Горький и Короленко отказались от участия в ней, Роллан отклонил предложение.

С радостью и надеждой встретил Роллан первые вести о свержении царизма в России. По просьбе Луначарского он написал для большевистской газеты «Правда» приветственное письмо русскому народу (см. письма от 16 и 31 марта 1917 года). Вместе с тем запись в дневнике от 16 марта 1917 года свидетельствует о сомнениях Роллана в отношении конечных результатов Февральской революции. Он не верит в то, что она сможет принести «облегчение в нынешних бедствиях». Для него был ясен империалистический, антинародный характер политики Временного правительства, полностью разоблачившего себя в откровенно объявленной решимости «воевать до победного конца». «Победившая партия, партия Милюкова,— записал Роллан в дневнике,— еще более воинственна и националистична, чем свергнутый царизм... У меня нет никаких иллюзий о превосходстве демократий над аристократиями, когда дело идет о войне» [6].

Письма Р. Роллана А. В. Луначарскому от 31 марта и 13 апреля 1917 года показывают, какое горячее участие принимал французский писатель в судьбе русских революционеров-эмигрантов. По просьбе Луначарского Роллан пытался оказать содействие в поисках путей для их возвращения на родину. Он был поражен и восхищен мужеством В. И. Ленина, большевиков, выехавших в революционный Петроград через воюющую Германию, невзирая на многочисленные препятствия и грозящую опасность. «Мы очень хорошо понимаем их волнение,— писал Роллан.— Они снедаемы желанием броситься в самое пекло. Хотя они и знают, что с их первых шагов в России они могут быть арестованы, заключены в тюрьму, расстреляны... Их вождь — Ленин, которого считают мозгом всего революционного движения» [7].

Ромен Роллан без колебаний принял Октябрьскую революцию. И, несмотря на скептическое отношение, которое он в течение ряда лет выказывал к диктатуре пролетариата и революционным методам борьбы, он всегда защищал Советскую Россию. В статье «Против блокады», опубликованной в газете «Юманите», он осудил империалистические правительства за их попытки вооруженной интервенцией и экономической блокадой задушить молодую Советскую республику. Ему принадлежит лозунг «международной солидарности с большевизмом», облетевший весь мир в 1919 году [8].

В апреле 1920 года в газете «Ля ви увриер» Р. Роллан писал: «Мозг трудящихся мира сегодня в Москве» [9].

Активная общественная позиция Р. Роллана помогала западноевропейской интеллигенции осмыслить международное значение Октябрьской революции в России.

---

[4] Луначарский А. В. Европа в пляске смерти. М., Международные отношения, 1967, с. 9.

[5] «Литературная газета», 1934, № 1, 5 января (телеграмма Р. Роллана по случаю смерти А. В. Луначарского).

[6] Rolland R. Journal des années de guerre 1914—1919. Notes et documents pour servir à l'histoire morale de l'Europe de ce temps. Paris, Albin Michel, 1952, p. 1097.

[7] Ibid. p. 1131.

[8] «Литературное наследство. А. В. Луначарский. Неизданные материалы». М., Наука, 1970. т. 82, с. 464.

[9] "La Vie Ouvriere", N. 51, 23 avril, 1920.

А. В. Луначарский в одной из работ писал: «Р. Роллан — не социалист, во всяком случае не революционер в том смысле, в каком мы употребляем это слово. Это прежде всего — честный талант, благородное, горячее, любящее сердце. Тем важнее для нас констатировать, насколько он с нами, этот лучший представитель совести европейской интеллигенции» [10].

Письма Р. Роллана 1930 года относятся к тому духовному рубежу в его жизни, когда он окончательно и бесповоротно присоединился к лагерю друзей и защитников Советского Союза, советского социалистического строя, к лагерю борцов против поднимающего голову фашизма. Вскоре им была написана статья «Прощание с прошлым», в которой Роллан подвел итоги пройденного пути. «Стрелка компаса,— писал он,— показывает на север, на ту цель, к которой идут передовые отряды Европы, героические революционеры СССР,— эта цель: социальная и нравственная перестройка человечества» [11].

Как и все передовые люди мира, Роллан занимал непримиримую позицию в отношении фашизма и развязанной им второй мировой войны. 1 марта 1940 года он писал: «Главное — надо быть смелыми и терпеливыми и всем вместе вести борьбу против гитлеризма, до победы над ним...» [12].

[10] ЦПА ИМЛ, ф. 142, оп. 1, д. 118.
[11] Роллан Р. Собр. соч. в 14-ти томах. М., ГИХЛ, 1958, т. 13, с. 258—259.
[12] Роллан Р. Из дневников и писем. «ИЛ», 1955, № 1, с. 158.

Особое значение имеет письмо от 4 декабря 1930 года, в котором Р. Роллан высказывает намерение написать работу о В. И. Ленине [13].

Надо сказать, что личность вождя пролетарской революции в России, основателя первого в мире государства Советов, всегда глубоко волновала Роллана. Еще в годы первой мировой войны при встречах с Луначарским Роллан живо интересовался судьбой Владимира Ильича. Под влиянием бесед с Луначарским и знакомства с ленинскими работами Ленин стал для Роллана символом грядущего обновления, которого так ждало человечество. «Весь арсенал ума — искусство, литературу, науку,— писал Роллан о В. И. Ленине,— мобилизует он для действия...» [14].

Образ Ленина запечатлен французским писателем в статье «На смерть В. И. Ленина» (1924), в предисловии к альбому рисунков советского художника Н. Альтмана «Ленин» (1932), в статье «Ленин. Искусство и действие» (1934). Много упоминаний о В. И. Ленине содержится в «Дневниках» и некоторых статьях Р. Роллана.

Публикуемые в этом номере письма Ромена Роллана являются автографами и хранятся в фонде А. В Луначарского в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

[13] Он и написал ее — это была статья «Ленин. Искусство и действие», опубликованная в 1934 году.
[14] Роллан Р. Собр. соч., т. 14, с. 559.

Р. РОЛЛАН—А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ

Сен-Лежье, бл. Веве,
дача Боломе.
Г-ну Луначарскому

Пятница, 25 августа 1916 года.

Дорогой г-н Луначарский!

Я сейчас в Туне, в отеле «Бельвю» и думаю остаться здесь еще некоторое время. Слышали ли Вы о большой ежедневной русской газете, которая должна выйти этой осенью в Петрограде и в которой Леонид Андреев будет возглавлять литературный отдел? Могли бы Вы мне сообщить, если Вам это известно, какова ее политическая направленность? Какую позицию занял Андреев во время войны, помимо еврейского вопроса, по которому я прочел его основные статьи?[1]

Преданный Вам
Ромен Роллан

[1] Имеется в виду подготовка к изданию газеты «Русская воля». Леонид Андреев предложил Р. Роллану через посредника в Женеве сотрудничать в этой газете. 26 августа 1916 года Роллан записал в своем дневнике: «Я осведомился у одного русского социалиста, Анатолия Луначарского, о газете Андреева. И хорошо сделал, так как он сообщил мне, что газета основана объединением банков и крупных русских промышленников. У нее ясно выраженная программа — «защита интересов русских капиталистов от предубеждений широкой публики и бюрократической автократии». Во главе стоит Протопопов, вице-председатель Думы, более чем умеренный либерал (октябрист) и отъявленный империалист. Новая ежедневная газета располагает капиталом в пять миллионов рублей — цифра неслыханная для русской газеты».
Луначарский в письме Роллану от 26 августа 1916 года, которое и излагается в дневнике, называет подлинных руководителей газеты, представителей крупной московской буржуазии — Коновалова, Рябушинского, Гучкова и др.— и выражает свое мнение по поводу этого события: «Что до нас, социалистов, мы знаем, что это «второй враг» («Литературное наследство», т. 82, с. 474—475).

Вторник, 27 ноября 1916 года.

Дорогой г-н А. Луначарский!

Я с удовольствием повидаюсь с Вами в любой удобный для Вас день. Но может быть, Вам следует проявить осторожность и написать мне сначала, о чем идет речь?[1] Я скажу лишь, что у меня столько работы, столько личных планов, которые мне не удается осуществить за неимением времени, поэтому маловероятно, что я смогу его найти для других литературных замыслов. И я хотел бы избавить Вас от напрасных хлопот. Но я в Вашем распоряжении, если Вы полагаете, что это можно объяснить при встрече.

Преданный Вам
Ромен Роллан.

Отель «Шато», Сьерр.

---

[1] В ответ на это письмо А. В. Луначарский 29 ноября 1916 года сообщает, в частности, Р. Роллану о намерении издать вместе с друзьями альманах «Русский европеизм», который должен быть направлен против националистических настроений, вызванных войной. Луначарский пишет: «Каждая нация должна быть широко раскрыта для восприятия творческой жизни братских народов, различие характеров, несходство духа и является как раз наиболее сильным связующим их началом... Надо понимать и любить оригинальность других народов, стараться быть для них тем же, чем они являются для нас (источником всяческого обогащения)». Луначарский просит написать небольшую статью на тему «Единство человечества и нации» и сообщает о намерении пригласить в альманах К. Шпиттелера (швейцарский поэт, 1845—1924). Издание альманаха осуществлено не было («Литературное наследство», т. 82, с. 478—479).

Четверг, 30 ноября 1916 года.

Дорогой г-н Луначарский!

На Вашу первую просьбу отвечаю: «Да, весьма охотно, особенно если Вы сможете получить согласие Шпиттелера, об участии которого я бы хотел поговорить. Тема, которую Вы мне предлагаете, заключает в себе то главное, во что я верю».

На второе предложение[1] мне ответить затруднительно. Я придерживаюсь принципа никогда не издавать газету от своего имени. Другими словами, я бы предпочел послать статью в ту или иную газету, но чтобы при этом нельзя было предположить, что я принадлежу к какой-то группе. Кроме того, мы, французы, переживаем сейчас критические недели, когда ситуация может (что вполне вероятно) коренным образом измениться (военные дебаты на закрытых заседаниях в палате депутатов, призыв на военную службу и т. д.). Нам следует занять выжидательную позицию до тех пор, пока не разрешится эта проблема. Но сегодня уже можно ответить, что в принципе газета, имеющая подлинно интернациональный характер, основанная и возглавляемая швейцарцами или американцами, которые вне подозрений, будет достойна поддержки.

Сообщаю для сведения организаторов, что здесь, в Швейцарии, есть совсем небольшая группа стоящих французов, страстно преданных этим идеям и желающих участвовать в подобном деле, если его удастся осуществить. Я назову Вам наряду с Гильбо[2] поэта П. Ж. Жува[3], убежденного последователя Толстого; поэта и журналиста Рене Аркоса[4], бывшего в течение двух лет корреспондентом «Chicago Daily News», но теперь поселившегося в Швейцарии и решившего посвятить себя благородной борьбе; журналиста Депре, который в течение ряда лет отстаивал свои взгляды в парижской «Bataille Syndicaliste» и должен был уйти из нее в прошлом году, потому что отказался принять ее идеи. Названные люди вполне могли бы принять участие в организации задуманной газеты.

Примите, дорогой г-н Луначарский,
заверения в моей преданности и
симпатии
Ромен Роллан

---

[1] В письме от 29 ноября 1916 года А. В. Луначарский сообщает Р. Роллану о том, что группа писателей собирается издавать в Швейцарии на французском и немецком языках газету — центральный орган пацифистов всех направлений. Издатели газеты «будут пытаться путем более или менее дружеской дискуссии найти пригодные средства для действенной войны против войны». Выступая здесь в качестве посредника, Луначарский передает Роллану просьбу организаторов газеты сообщить им о своем принципиальном согласии («Литературное наследство», т. 82, с. 478—479). Газета издана не была.

[2] Гильбо Анри (1885—1938) — французский социалист, журналист. В начале 1916 года основал журнал «Demain». Высказывался за восстановление интернациональных связей. В 1916—1918 гг. в журнале сотрудничал Р. Роллан. В 1917—1918 гг. в «Demain»

были напечатаны некоторые работы В. И. Ленина: «Кризис назрел» (1917, № 19), «Речь о роспуске Учредительного собрания на заседании ВЦИК» (1918, № 23), «Несчастный мир» (1928, № 25), «Письмо к американским рабочим» (1918, № 28—29). С начала 20-х годов Гильбо жил в Германии, являлся корреспондентом газеты "L'Humanité".

[3] Жув Пьер Жан (род. в 1887 г.)— французский поэт и романист. В произведениях периода первой мировой войны выступал с позиции пацифизма. Один из биографов Р. Роллана. В 1920 году написал книгу "Romain Rolland vivant". Во время второй мировой войны — видный поэт Сопротивления.

[4] Аркос Жан Рене (1881—1959) — французский писатель, журналист. В годы первой мировой войны был корреспондентом газеты "Chicago Daily News". Выступал с позиции пацифизма. Он подписал «Декларацию независимости духа» Р. Роллана (1919), организовал в 1923 году журнал «Europe» и руководил им по 30-е годы При возобновлении издания журнала «Europe» в 1946 году вновь вошел в его редколлегию и работал в ней по 1950 год. Аркос опубликовал книгу о Р. Роллане "Romain Rolland" (1950). Руководил издательством "Sablier".

Пятница, 16 марта 1917 года.

Дорогой г-н Луначарский!

Великие новости, которые доходят до нас из России, заставляют мое сердце биться радостью и надеждой. Жму руку. Скажите Вашим друзьям, с каким восторгом приветствуем мы зарю их свободы[1]. Это — победа, последствия которой более важны для будущего Европы, чем все перипетии международной войны[2].

Если Вы узнаете какие-либо точные сведения, будьте добры сообщить мне об этом[3].

С дружеским приветом
Ромен Роллан.

Женева, Шампель, отель «Бо Сежур».

Я Вам посылаю статью, которая должна выйти, по всей вероятности, в понедельник в «Journal de Genève». Посмотрите, может быть, она представляет определенный интерес для перевода на русский язык[4]. Я попрошу Вас вернуть мне рукопись, как только она Вам будет не нужна. Ее у меня просил Сейпель[5].

Я переписываюсь с д-ром В. Астровым[6] и сейчас читаю написанную им биографию Хольцапфеля[7], которая меня чрезвычайно заинтересовала. Он сообщил мне, что Хольцапфель живет около Лозанны. Вы знаете об этом?

---

[1] Имеется в виду Февральская буржуазно-демократическая революция в России в 1917 году.

В начале марта 1917 года В. И. Ленин писал: «Революцию сделали рабочие и солдаты. Но власть, как это бывало и в других революциях, на первых порах захватила буржуазия». В. И. Ленин сформулировал задачи революции в России, показав, что «Своеобразие текущего момента... состоит *в переходе* от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата,— *ко второму* ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 31, с. 63, 114).

[2] Эта часть письма опубликована в 1917 году в газете «Новая жизнь» под заголовком: «Ромен Роллан о войне и русской революции». В статье также цитируется фрагмент из другого письма Роллана, присланного Луначарскому через неделю, в котором он пишет: «Наши консерваторы и мнимо либеральные буржуа начинают пугаться развития вашей революции. Перед лицом этой трусости я считаю необходимым громко заявить, что от души сочувствую ее дальнейшим шагам и приветствую ее грядущие победы». Автограф второго письма не обнаружен. Оба фрагмента даются в переводе А. В. Луначарского («Новая жизнь», 1917, 22 апреля (5 мая), № 4, с. 1; см. также: ЦПА ИМЛ, ф. 142, оп. 1, д. 118).

[3] 27 марта А. В. Луначарский писал Р. Роллану: «Дорогой г-н Роллан, приношу Вам горячую благодарность от себя лично и от своих товарищей социалистов-интернационалистов за моральную поддержку, которую Вы нам оказываете. Теперь Вам ясно, что либеральная революция г-на Милюкова непреклонно стоит за «войну до победного конца» и до свирепости империалистична. Но нас это не остановит. Против нас, конечно, будут все объединенные силы реакции и так называемых умеренных, ну и пусть. Сознательный пролетариат будет с нами так же, как и весь цвет человечества, представителем которого Вы являетесь... Я твердо надеюсь, что настоящая европейская демократия поймет, что в России сочувствия достойна только народная революция, которая отберет власть у оголтелых империалистов... Глубоко преданный Вам А. Луначарский» («Литературное наследство», т. 82, с. 481).

[4] Речь идет о статье Р. Роллана «Дневник одного взвода», посвященной книге А. Барбюса «Огонь». В переводе Луначарского она была напечатана в газете «Новая жизнь» (1917, 25 июня, с. 5).

[5] Сейпель Пауль (1858—1926) — швейцарский литератор, первый биограф Р. Роллана.

[6] Астров В. (1885—1944), биограф Р. Хольцапфеля.

[7] Хольцапфель Рудольф Мария (1874—1930) — швейцарский писатель и философ. Р. Роллан очень интересовался философскими взглядами Хольцапфеля. Первая встреча Роллана с Хольцапфелем состоялась в 1917 году. Роллан написал о нем в предисловии к книге "Astrow W. Das Leben Rudolf Maria Holzapfels". Yena, Verlag Eugen Diederichs, 1928.

Суббота, 31 марта 1917 года.

Дорогой г-н Луначарский!

Я посылаю Вам записку не для г-на Адора[1], с которым я не поддерживаю отношений, а для д-ра Ферьера, который возглавляет отдел по делам гражданских лиц Международного бюро помощи военнопленным. Из всех членов Комитета, стоящего во главе Международного Красного Креста, он обладает великодушным сердцем и широтой взглядов. Я надеюсь, что он сможет Вам помочь[2], но предвижу трудности, которые могут возникнуть со стороны его коллег. Как там Ваши друзья, потребовали ли они замены всего русского дипломатического персонала за границей? Это надо было бы сделать как можно быстрее. Эти представители старого режима могут действовать только вопреки интересам революции. Сколько вреда они, должно быть, уже нанесли!

А это между нами: я посылаю Вам несколько строк, которые Вы можете передать, если захотите, в Вашу газету[3] вместе с отрывками или кратким изложением двух предыдущих писем[4].

Искренне Ваш
Ромен Роллан.

Шампель, отель «Бо Сежур».

Д-р Ферьер через 2 недели уедет по поручению Красного Креста в Болгарию. Между нами, я опасаюсь, что если Англия препятствует (как Вы говорите) Вашему проезду, Международный Красный Крест не сможет вмешаться.

Русские братья! Вы разбили ваши цепи и одним прыжком поднялись до уровня Франции времен революции[5]. Превзойдите этот уровень! Докончите ваше и наше дело! Дайте Западу пример великого, свободного, согласного народа, который отбрасывает и уничтожает всякий империализм внутри своей страны и вне ее. Избегайте эксцессов, которыми могла бы воспользоваться реакция. Порядок и дисциплина в ваших собственных рядах есть условие вашей победы. Будьте справедливы, спокойны, тверды и терпеливы. Не торопитесь: стройте только на фундаменте, который вы прочно заложили. Подымайте ваше здание камень за камнем — несокрушимо. Идите вперед шаг за шагом — и никогда не отступайте. Ведь вы работники свободы мира. И пусть мир, разбуженный вашим голосом, поскорее последует за вами[6].

Ромен Роллан.

31 марта 1917 года.

Рекомендательное письмо Р. Роллана Ф. Ферьеру[7]

Г-ну д-ру Ферьеру,
Женева, Флориссан, 45.

Дорогой г-н Ферьер!

Позвольте мне рекомендовать Вам г-на Анатолия Луначарского, очень талантливого русского писателя и публициста. Ему необходимо обсудить с Вами один интересный вопрос о гражданских пленных, находящихся в России.

Примите, дорогой г-н Ферьер,
заверения в моей искренней
преданности
Ромен Роллан.

---

[1] Адор Густав (1845—1928) — швейцарский политический деятель, председатель Международного общества Красного Креста.

[2] А. В. Луначарский в письме от 28 марта 1917 года просил Р. Роллана написать рекомендательное письмо г-ну Адору с просьбой о содействии в достижении соглашения между правительствами Германии и России по вопросу обмена гражданских лиц, интернированных русской армией из Пруссии и Галиции, на русских политэмигрантов, находящихся в Швейцарии, и возможности возвращения их на родину. Первая группа политэмигрантов во главе с В. И. Лениным выехала в Россию, не дожидаясь официального ответа Временного правительства, через Германию при посредничестве швейцарских социалистов 25 марта (7 апреля) 1917 года. Луначарский прибыл из эмиграции в Петроград тем же путем, что и Ленин, в мае 1917 года. Подробнее см.: Ленин В. И. Как мы доехали (Полн. собр. соч., т. 31, с. 119—121).

[3] В письме от 28 марта 1917 года А. В. Луначарский просил Р. Роллана написать для газеты «Правда», возобновившей свое издание в Петрограде 5 (18) марта 1917 года, статью по вопросу «о позиции либеральной буржуазии по отношению к нашей подлинной и народной революции, которая нарастает за спиной пока еще стоящих у власти империалистов, сторонников «войны до победного конца» («Литературное наследство». т. 82, с. 482).

[4] См. примечание 2-е к письму от 16 марта 1917 года.

[5] Имеется в виду Великая французская революция 1789—1794 гг. В. И. Ленин в апреле — мае 1917 года, анализируя события Февральской буржуазно-демократической революции в России и ее результаты, сказал, что «русский пролетариат добился больше,

чем кто-либо», что «русская революция пошла дальше», создав Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов—организации, «которых ни в одной стране нет и не было в большинстве революций на Западе» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 31, с. 363; т. 32, с. 93).

[6] Это воззвание в переводе А. В Луначарского опубликовано в газете «Новая жизнь» 22 апреля (5 мая) 1917 года. См. также: ЦПА ИМЛ, ф. 142, оп. 1, д. 118 В 1918 году в «Петроградской правде» (№ 231 от 22 октября) появилось другое воззвание Р Роллана под названием «Свободная Россия».

[7] Рекомендательное письмо было послано Р. Ролланом вместе с письмом А. В. Луначарскому от 31 марта 1917 года.

Пятница, 13 апреля 1917 года.

Дорогой г-н Луначарский!

Возвратившись, я увидел три Ваших письма[1].

Мне бы очень хотелось быть Вам полезным, но то, о чем Вы меня просите, мне кажется невозможным. Подумайте сами о поведении француза за границей, который в швейцарской газете собирается давать советы Германии, чтобы та ответила на примиренческую позицию русского правительства в том же духе. Это означало бы открыто обрушиться на все существующие предрассудки. В Германии сочли бы это непристойным; во Франции стали бы раздаваться громкие крики; и Вы бы от этого ничего не выиграли.

Я пытаюсь найти другие возможные планы:

1) Тот, о котором мы говорили. Обратиться в Красный Крест. Но в этом случае нельзя терять ни одного дня, так как я Вас предупреждал, что д-р Ферьер, который наилучшим образом мог бы Вас понять, покидает Швейцарию со дня на день.

2) Направить Вас к немцу в Швейцарии. Великодушная Аннет Кольб (сейчас она в Берне, в пансионате Эрте, что на большой улице) смогла бы, вероятно, посодействовать. Если она не сможет об этом написать сама (в связи со статьей, недавно опубликованной ею в «Журналь де Женев»[2], которая ее, должно быть, скомпрометировала в глазах ее правительства), то она будет искать поддержки в Вашем деле среди немецких писателей, находящихся в Швейцарии и сочувствующих революции. Впрочем, Гильбо, вероятно, связан с некоторыми из них?

3) Еще лучше подошел бы для решения этой задачи швейцарец Эдмон Прива[3], которого я недавно встретил в Женеве. Он мог бы написать в одну из больших немецких или французских газет Швейцарии.

Вы могли бы также (дополнительно) распространить протест (составленный в сдержанных, но твердых выражениях) русских эмигрантов, для которых закрыт путь на родину, и дать подписать его представителям всех стран.

Я написал Горькому, намекая на Ваше намерение, но дойдет ли до него мое письмо?

Сердечно жму Вашу руку
Ромен Роллан.

[1] Упомянутые письма А. В. Луначарского найти не удалось, но, как можно понять из данного письма, речь шла об одном из планов возвращения политэмигрантов в Россию.

[2] Вероятно, имеется в виду статья А. Кольб, опубликованная в "Journal de Genéve" 5 апреля 1917 года которую Р. Роллан в своем дневнике упоминает под названием «Воззвание к подлинной Германии» ("Journal", p. 1120—1121, 1127).

[3] Прива Эдмон (род. в 1889 г.) — швейцарский литератор, читал курс литературы в Женевском университете.

Понедельник, 16 апреля 1917 года.

Дорогой г-н Луначарский!

Я получил телеграмму от Горького (12 апреля), в которой он просит выслать ему «телеграфом статьи» для его большой газеты[1]. У меня слишком много работы, чтобы я смог еще и сотрудничать в газете; но я не премину послать Горькому статьи, которые, я чувствую, мне необходимо написать, и ответ — телеграфом. Но я предпочитаю написать: в письме мне легче объясниться.

С сердечным приветом
Ромен Роллан

Чтобы с пользой писать в русскую газету, необходимо хоть немного знать, что там происходит, мы же блуждаем в потемках. То, что я узнал от Жува о Вашем разговоре, до некоторой степени прояснило обстановку. Было бы очень полезно опубликовать здесь во французском переводе статьи или отрывки из статей Горького, Короленко и других представителей новой русской мысли. Может быть, в виде небольших

брошюр, наподобие тех, которые предлагал издавать Гильбо? Но осветить русское общественное мнение еще не все, не менее важно осветить также мнение Запада; скажите об этом Горькому и его друзьям.

[1] Имеется в виду газета «Новая жизнь». первый номер которой вышел в Петрограде 18 апреля 1917 года. Одним из ее основателей и редакторов был М. Горький.

Г-ну Анатолию Луначарскому.
Женева, отель «Бельвю»[1],
Вильнёв, 4 декабря 1930 года.

Дорогой Анатолий Луначарский!

Спасибо за Ваше доброе письмо[2]. Да, мне не повезло, привязчивый и упорный грипп мешает мне Вас видеть. Я надеялся избавиться от него на этой неделе, но он неожиданно возобновился, и я пишу Вам в постели.

Г-жа Дэвид-Нил[3] будет счастлива встретиться с Вами, и я Вам буду очень обязан, если Вы ее примете[4], а также проявите интерес к Пастернаку[5].

Это — единственное издание моего Гёте и Бетховена[6], которое мой друг Рене Аркос издает в таком формате и по такой цене (я на этом не настаиваю, но издатель находит здесь для себя выгоду, и меня это вполне устраивает, так как издатель — Аркос). Скоро появится другое издание, более доступное. Мне же доставит удовольствие послать Вам экземпляр первого на Ваш московский адрес (это по-прежнему «Денежный переулок, 9»?)[7].

Мне остается еще поблагодарить Вас за поддержку, которую Вы оказали моему другу г-же Марии Кудашевой[8], которая просила Вас о приезде ко мне в Швейцарию. Вероятно, мне придется прибегнуть к Вашим добрым услугам в будущем году: мы начали вместе работу о Ленине[9], в которой ее знание русского языка и документов очень для меня ценно; с ее возвращением в Москву эта работа будет прервана. Перед отъездом в СССР она еще будет две недели в санатории в Германии.

Примите, дорогой Анатолий Луначарский, заверения в моей сердечной преданности.

Ромен Роллан.

[1] А. В. Луначарский находился в ноябре — декабре 1930 года в Женеве в составе советской делегации для участия в работе Подготовительной комиссии к конференции по разоружению.

[2] Ответ Р. Роллана на письмо А. В. Луначарского от 3 декабря 1930 года («Литературное наследство», т. 82, с. 487).

[3] Дэвид-Нил А.— востоковед, известная исследовательница Тибета. В письмах к А. В. Луначарскому Р. Роллан характеризует ее как видного ученого и искреннего друга СССР и просит о содействии в ее будущих исследованиях.

[4] В письме от 9 декабря 1930 года А. В. Луначарский сообщает Р. Роллану: «Я видел госпожу Дэвид-Нил и постараюсь быть ей полезным». Дэвид-Нил было разрешено проехать через советскую территорию в Монголию и Китай («Литературное наследство». т. 82, с. 487—488).

[5] Речь идет о поэте Борисе Пастернаке, который просил разрешения для жены и ребенка выехать в Мюнхен для лечения. В письме от 3 декабря 1930 года А. В. Луначарский писал Р. Роллану: «Посоветуйте, дорогой Мэтр, Пастернаку обратиться непосредственно ко мне: я сделаю все от меня зависящее, чтобы быть ему полезным» («Литературное наследство», т. 82, с. 487).

[6] В письме от 3 декабря 1930 года А. В. Луначарский писал Р. Роллану: «Я только что прочел статью Малерба о Вашей новой книге («Гёте и Бетховен»). Досадно, что Саблие пустил ее в продажу по такой цене и что удовольствие приобрести ее остается привилегией богачей. Но я вскоре раздобуду ее через библиотеку нашей Коммунистической академии в Москве» («Литературное наследство», т. 82. с. 487).

Книга «Гёте и Бетховен» — второй том роллановского цикла «Бетховен. Великие творческие эпохи» — вышла в свет в издательстве "Sablier" в 1930 году.

[7] В январе 1931 года Р. Роллан послал А. В. Луначарскому книгу «Гёте и Бетховен» с дарственной надписью: «Анатолию Луначарскому от всего сердца на память» («Литературное наследство», т. 82, с. 488).

[8] Кудашева Мария Павловна (1894—1985), с 1934 года — жена Р. Роллана.

[9] В 1932 году в Швейцарии Р. Роллан написал предисловие к альбому художника Н. Альтмана «Ленин» (Роллан Р. Собр. соч., т. 13, с. 414—416); в январе 1934 года в журнале «Europe» была опубликована статья Р. Роллана «Ленин. Искусство и действие».

◆

Письма из-за рубежа

ХРИСТО ДУДЕВСКИЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНТЕРВЬЮ

Очень давно в Болгарии существует исследовательский интерес к русской литературе и интерес к ее восприятию у нас в стране. Прежде всего потому, что русское влияние, начавшееся еще в XVIII веке и не прекращающееся в настоящее время, оказалось важным фактором социального и духовного прогресса болгарского народа. Больше того, воздействие русских писателей — и в прошлом и сейчас — ничуть не ущемляет национальной самобытности болгарских авторов, наоборот, оно облегчает их путь к зрелости, к самостоятельным идейно-эстетическим завоеваниям. Разумеется, после Великой Октябрьской социалистической революции русское влияние обрело качественно новый, социалистический характер, оставаясь все таким же желанным и плодотворным.

Вот почему вполне закономерен в Болгарии интерес к болгаро-русским, а после Великого Октября — к болгаро-советским литературным связям

Изучение этих связей — давняя традиция у нас в стране Работа литературного критика Георгия Пенчева «Беседы о советской литературе»[1] — в ряду явлений последнего времени.

Георгий Пенчев — автор многих книг: здесь и критические статьи на оперативные темы, и взгляд на эстетические проблемы современного болгарского исторического романа, интересуют его также вопросы партийности литературы, проблемы литературного процесса в период зрелого социализма, исследует он и литературные уроки А. В. Луначарского. «Беседы о советской литературе», на мой взгляд,— своеобразное продолжение предыдущей книги Пенчева «Новый советский роман», вышедшей в свет в начале того же 1984 года в Пловдивском издательстве имени Христо Данова.

Я говорю «своеобразное продолжение» совсем не для того, чтобы как-то умалить самостоятельное значение новой книги, а, наоборот, чтобы подчеркнуть, что и здесь мы знакомимся с хорошо продуманными интервью Ю. Бондарева, Г. Маркова, А. Чаковского, И. Шамякина, О. Гончара, П. Загребельного, Д. Белоуса, Д. Павлычко, В. Быкова, О. Шестинского, исследователей литературы — Ю. Суровцева, В. Озерова, Д. Маркова и других. Рядом с ними интервью болгарских поэтов, прозаиков, литературных критиков во главе с ветеранами — Христо Радевским, Ангелом Тодоровым, Младеном Исаевым, Тодором Геновым. Представлены художники слова и более молодого поколения, активно заявившие о себе в литературе, такие как Богомил Райнов, Александр Геров, Пантелей Зарев, Добри Жотев, Орлин Орлинов, Любомир Левчев, Лиляна Стефанова, Евтим Евтимов, Павел Вежинов, Николай Хайтов, Антон

[1] Георги Пенчев. Разговори за съветската литература. София, Български писател, 1984.

ХРИСТО ЛАЛЕВ ДУДЕВСКИЙ (род. в 1928 г.)

Болгарский литературовед, критик, доктор филологических наук. Занимается вопросами русской и советской литературы. Автор работ: «Болгарско-советские литературные связи» (1963), «Идеи и образы Михаила Шолохова в Болгарии» (1965), «Эмануил Попдимитров. Литературно-критический очерк» (1969).

Публикуемая статья получена в рукописи.

Дончев (имена называю в порядке размещения их интервью в книге).

В «Беседах о советской литературе» выделены пять разделов, в соответствии с тематикой интервью и границами событий и явлений, которые здесь анализируются. Хотя включенные в книгу материалы мозаичны, внутренне они все спаяны, как бы слиты воедино. Во всем чувствуется стремление автора более детально, углубленно и научно обоснованно подойти к сложным проблемам. Особо следует отметить бережное отношение к специфике художественных явлений каждой национальной литературы (русской, украинской, белорусской, болгарской) и вместе с тем — установку на теоретическое осмысление наиболее актуальных проблем, связанных с основными требованиями времени.

Главное, определяющее на данном этапе — то, что мы живем в эпоху развитого социализма, когда налицо реальные предпосылки для расцвета художественной литературы, искусства и культуры социалистического общества. Это бесценное богатство требует теоретического осмысления, иначе едва ли возможно движение вперед. В книге идет речь и о типологии явлений, о духовной, творческой близости четырех братских славянских литератур.

Читая «Беседы о советской литературе», чувствуешь, как факты литературной жизни начинают обретать многоголосие и особую глубину звучания. Дело в том, что у всех интервью одна отправная точка: в контактах между болгарскими и советскими (русскими, украинскими, белорусскими) писателями, в их прямых личных связях, отчетливо ощутимо внутреннее идейное единство — национальные, исторические и прежде всего художественно-эстетические потребности обусловливают формирование духовных ценностей, имеющих взаимный и обязательный характер. Идеи Великого Октября, новые художественные принципы, новый исторический герой советской литературы оплодотворяют это общение, придавая ему интернациональный смысл. Все это необходимо для поступательного развития литературного процесса в Болгарии, для того, чтобы социалистические тенденции в нашей литературе, в теории и практике искусства социалистического реализма могли развиваться и давать добрые плоды. Важным документом эпохи — конца 20-х и начала 30-х годов — стали слова Христо Радевского: «Небывалый интерес к советской литературе у нас легко понять. Случайно попадавшие к нам произведения этой литературы мы встречали, как первых ласточек столь долгожданной весны. Я уже сам писал стихи, и, естественно, наибольший интерес вызывали у меня сборники стихов». И далее: «Среди поэтов возвышались фигуры Блока (и его поэма «Двенадцать»), Есенина, Маяковского. Постепенно и с трудом — потому что ко мне в руки попадали лишь отдельные книги стихов[1] — я познакомился с Пастернаком, Багрицким, Сурковым, Тихоновым, Луговским, Заболоцким, Асеевым и многими другими... Меня поразили написанные для детей стихи Чуковского и Маршака, которые я тут же стал усердно переводить».

Я назвал слова Радевского «важным документом эпохи» потому, что именно он является составителем, переводчиком и автором предисловия и примечаний к изданной в 1938 году «Антологии современной русской поэзии». Насколько мне известно, был лишь один аналог — антология, выпущенная в Брюсселе в 1936 году. Радевский включил в книгу 51 автора, начиная с Горького, Брюсова, Белого, Демьяна Бедного, Маяковского, Пастернака и кончая Лебедевым-Кумачом. Каждый перевод сопровождался небольшой заметкой об авторе и особенностях его лирики. А в предисловии Радевский посчитал необходимым довольно основательно познакомить современного болгарского читателя с этапами, которые прошла советская литературная критика в 30-е годы, раскрывая суть социалистического реализма не только теоретически, но прежде всего анализируя его художественную практику. Имея в виду некоторых тогдашних недоброжелателей советской литературы, Радевский полемически заключает: «Вопрос о творческом методе, однако, не решается и не может решаться резолюциями. Социалистический реализм утверждается как основной, единственно верный метод, который обеспечивает — и это говорится в уставе Союза советских писателей — художественному творчеству возможность проявления творческой инициативы, выбора разнообразных форм, стилей и жанров. Этот метод рекомендуется, за его усвоение и претворение в жизнь ведется борьба, но он не утверждается административными мерами, неумение владеть им не может служить препятствием для вступления в Союз писателей»[1].

Этот вывод и сегодня не потерял своей силы. Не случайно многие молодые болгарские поэты и переводчики, когда заходит речь об «Антологии современной русской поэзии», говорят: «По антологии Радевского я прежде всего учился коммунизму. Это было в годы разгула фашизма, в годы народного движения Сопротивления. Позднее антология стала для меня руководством в работе переводчика».

Книга «Беседы о советской литературе» — это не сугубо научное исследование советской многонациональной литературы, ее характера и проблем. В известном смысле она имела своего предшественника — книгу «Встречи» (1963) Лиляны Стефановой с подзаголовком «Беседы с советскими писателями», в которой были представлены К. Симонов, Б. Полевой, П. Антокольский, А. Сурков, Сергей Орлов. Г. Пенчев идет дальше, он берет интервью у литераторов, пишущих сегодня, причем зачастую это писатели и литературные критики с мировым именем. Они делятся заветными мечтами, рассказывают о себе, о творческих замыслах, высказывают мнение по проблемам современного героя, говорят о высочайшей ответственности писателя перед правдой жизни, о необходимости всестороннего, полнокровного ее отражения со всеми ее тен-

[1] С 1925 по1944 год в Болгарии действовал антидемократический закон, по которому запрещался ввоз в страну книг, журналов и газет из СССР.

[1] Христо Радевски. Антология на съвременната руска поезия. София, 1938.

денциями, не скрывая того, что мешает движению вперед

Два первых раздела «Начало» и «Пример навеки» в книге Г. Пенчева чисто «болгарские», они включают в себя беседы с А. Тодоровым, Хр. Радевским, Мл. Исаевым и Т. Геновым. Каждый из них внес определенный вклад в перевод и популяризацию советских художественных произведений в жестоких условиях полицейской цензуры и произвола фашистской власти. Во втором разделе собраны интервью, взятые у Богомила Райнова (известного советским читателям по романам «Дорога в никуда», 1969, «Господин никто», 1970, и другим), у поэтов Добри Жотева, Орлина Орлинова (его «Ода об СССР» публиковалась в журнале «Огонек», в «Литературной газете», «Известиях»), у историка литературы и критика академика Пантелея Зарева. Каждый из них раскрывает существенные моменты собственной творческой биографии, отвечая на главный вопрос: когда и как познакомился он с первым для себя произведением советского автора, как он оценивает место и роль советской литературы в своем становлении как личности и художника слова. Получился своеобразный диалог, представляющий важный материал для размышления, в ходе которого даются оригинальные оценки произведений и литературных явлений.

Как отмечалось, существовавшие с 1923 по 1944 год полицейские цензурные барьеры препятствовали знакомству болгар с советской литературой. Однако, несмотря на эти барьеры, нашей творческой интеллигенции удалось прочитать в оригинале или в переводе романы Серафимовича, Фурманова, А. Толстого, Шолохова, Леонова, Федина, Эренбурга, Катаева и многих других. «Эти произведения,— рассказывает Богомил Райнов,— раскрывали перед нами новый мир, суровый и роковой в своем драматизме. На этом фоне переводные западные романчики на интимные темы, захлестнувшие в то время мировой рынок, поражали мелкотемьем и пошлостью».

Эти признания имеют особенно большую ценность, потому что сделал их писатель, хорошо знающий западную, американскую литературу, прекрасно разбирающийся в современной живописи, философии, так называемой массовой буржуазной культуре. Очень сильны впечатления Райнова от первых соприкосновений с советской литературой. Вот что говорит он по этому поводу: «Поскольку моей первой любовью была поэзия, я больше всего увлекался советскими поэтами. Читал все, что удавалось достать,— Хлебникова, Есенина, Пастернака, Багрицкого... Но моим первым учителем был Маяковский. О влиянии Маяковского я подробно рассказываю в книге «Третий путь». И так как «третий путь» был для меня путем к коммунизму, то я должен признать, что Маяковский стал одним из моих учителей по коммунизму. Ведь у советской литературы мы учились всему — мировоззрению, гражданскому поведению, гуманизму и любви к прекрасному. Советская литература для нас была настоящей школой, школой, в которой представлены все дисциплины человечности».

Знаменательно, что болгарский писатель видит величие русской советской литературы в ее приверженности идеям гуманизма и любви к прекрасному. Многие из интервьюируемых справедливо указывают на болгаро-советские литературные взаимоотношения как на эталон связей и взаимных влияний между двумя братскими литературами, избравшими магистральный путь истории — социализм. Приведу еще один пример. На вопрос, заданный Павлу Вежинову: «Что вы думаете о нынешнем развитии советской литературы, что, на ваш взгляд, отличает ее от литературы, выходившей в годы вашей молодости?» — последовал весьма содержательный ответ:

«Едва ли нужно говорить, как высоко ценю я советскую литературу... Я здесь не имею в виду ее чисто идейные преимущества перед литературой Запада. Советская литература намного более эмоциональна и человечески выстрадана». И чуть ниже: «Мне кажется, что американские писатели, по крайней мере лучшие из них, прекрасно видят коренные пороки так называемого «американского образа жизни», хотя и не осознают в достаточной мере его классовый смысл и его классовую сущность. По сути американская литература — в большинстве случаев — глубоко пессимистична, зачастую антигуманна, но она и не может быть иной, так как видит разложение и обесчеловечивание общества, порождающего ее. Советская же литература — это прежде всего литература надежды, чести и достоинства, человеческого просветления. Она становится все более совершенной в художественном отношении... Не столь сложно понять и предвидеть, что советская литература находится на подступах к новому, большому качественному скачку».

Я позволил себе процитировать столь длинный текст, потому что П. Вежинов, сам крупный художник слова, большой знаток зарубежной литературы, говорит о явлениях и процессах, которые близки его сердцу. Однако он не «агитирует», он просто констатирует факты, истинное положение вещей, очерчивает главные линии развития современного мирового художественного мышления.

И еще одно: его ответ в деталях показывает характер воздействия советской литературы в глобальном масштабе, открывая миру новые формы и эстетические воззрения, которые необходимо принимать во внимание при более полной, всесторонней оценке роли и места советской литературы в мировом литературном процессе.

Поэт Любомир Левчев в своих ответах показывает, как зарубежный художественный опыт закономерно переплавляется в собственный опыт писателя. Это присуще даже тем литераторам, которые наиболее достоверно отражают в своем творчестве национальные процессы и явления, создают самобытные, типично национальные образы. В раздумьях крупного поэта последовательно выражена его эстетическая позиция, его понимание природы и предназначения искусства, роли и места художественного метода. «В наш век,— говорит Левчев,— в нашем обществе наука и искусство более чем когда-либо сближаются, а что касается теории литературы, эстетики и собственно литературы — это давно стало традицией.

Я даже думаю, что, когда художник глубже познает теоретические проблемы искусства, он творит более умело и проникновенно».

Далее Левчев прямо говорит о природе социалистического реализма. По его мнению, социалистический реализм — это не платформа, не всего лишь термин, а именно метод. «От этого метода,— продолжает поэт,— я никогда не отделял себя и всегда считал его своим собственным». Левчев называет «крайностью» попытки некоторых критиков представить социалистический реализм как «нечто пространное, как реализм без границ». Такая трактовка нацелена на уничтожение нашего метода. В ее свете он теряет ясность и превращается в нечто всеядное и абстрактное. Если представить себе, что метод не имеет границ, то тогда мы должны валить в общий котел все, что может породить человеческая фантазия, здоровая или больная. Понимать под социалистическим реализмом подобный подход по меньшей мере смешно. С теоретической точки зрения это абсурдно, но с политической — достаточно конкретно и ясно: таким образом предпринимается попытка атаковать социалистический реализм — метод, лежаший в основе социалистического искусства.

Читатель прекрасно понимает, кому адресованы эти слова. Левчев четко и сознательно высказывает свою позицию в дискуссии, которая началась несколько лет назад и не закончилась по сей день. Он убежденно проводит свою мысль о том, что проблемы метода социалистического реализма в наши дни очень тесно связаны с идеологической борьбой двух лагерей — социализма и капитализма.

В книге «Беседы о советской литературе» о содержательной природе метода социалистического реализма говорят также П. Зарев, В. Озеров, Д. Марков, Н. Хайтов и другие. В этой связи они не обходят стороной и вопросы о партийности как высшем принципе народности в искусстве, и проблему нового, положительного героя, и проблему романтического начала в литературе социалистических стран.

Известно, что значительное число ныне пишущих болгарских поэтов, прозаиков и литературных критиков — это воспитанники Литературного института имени М. Горького при Союзе советских писателей в Москве. Они дышали атмосферой Дома Герцена, познали силу духа и красоту советских людей и всем сердцем полюбили их, связав свои гражданские и писательские судьбы с их судьбой. И самое главное: они участвовали в семинарах А. Коваленко, П. Антокольского, занимались в «классе» Паустовского, Федина, Лидина, слушали лекции таких известных ученых, как профессор Г. Поспелов, профессор С. Бонди, профессор В. Асмус, осваивали искусство перевода у профессора Льва Озерова и других. Будучи еще студентами, они общались с молодыми талантливыми представителями советской литературы, многие из которых сегодня стали известны во всем мире. Это Бондарев, Бакланов, Тендряков, Трифонов и десятки других. В книге Пенчева о встречах с советскими писателями различных поколений взволнованно рассказывает болгарская поэтесса Лиляна Стефанова, сама воспитанница Литературного института имени М. Горького. Примечательно, что ее первые произведения написаны в Советском Союзе и посвящены советским людям. Вот как рождалась ее книга «Под вершинами Кавказа»: «Все началось с того, что мы, несколько студентов из социалистических стран, гостили у народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Тогда я и познакомилась с этим удивительным маленьким народом, с его горами, с его аулами, с его горячим темпераментом, с его поэзией. Потом вместе с Расулом Гамзатовым мы проехали по фантастической Военно-Грузинской дороге от Орджоникидзе до Тбилиси... И позднее все вместе продолжили путешествие по Армении. В мою книгу входили все новые и новые люди, события... древние храмы и молодые лица, красное вино и искрящиеся красноречием тосты. И разумеется, поэмы — от классика Аветика Исаакяна до молодой тогда Сильвы Капутикян, от Симона Чиковани до молодого Хуты Берулавы...»

Книги Л. Стефановой переведены на 19 языков мира, 9 ее книг — стихи и проза — изданы в Советском Союзе. В свою очередь она перевела на болгарский язык «Брестскую крепость» С. Смирнова, пьесы А. Софронова и С. Смирнова, стихи многих советских поэтов. Нам близка и понятна ее тревога художника и гражданина: «Проблемы эпохи, серьезная угроза миру, действия наших идеологических противников — все это заставляет нас еще настойчивее искать великой общности наших двух культур, объединенными усилиями сражаться за будущее человечества, за коммунистический идеал. Я убеждена, что вклад писателей может иметь огромное значение в наступательном характере нашей общей идеологической борьбы»

Еще одна особенность процессов, происходящих в четырех литературах,— это их взаимовлияние. Параллельно идет представление болгарской литературы — классической и современной — на русском, украинском и белорусском языках. Чрезвычайно много сделано в этой области издательствами Москвы, Ленинграда, Киева и Минска, переведено огромное количество книг, причем на высоком профессиональном уровне выполнены как сам перевод, так и выбор и оценка того или иного произведения. О некоторых из них рассказывает О. Шестинский, давший «советский паспорт» стихотворениям, принадлежащим перу П. Матева, Л. Левчева, Е. Евтимова и других болгарских поэтов. Он участвовал в создании нескольких антологий болгарской поэзии и подготовил сборник произведений 13 молодых и пока неизвестных советскому читателю болгарских поэтов, в талант которых он верит. В творческих планах Шестинского есть интересная задумка: «Меня ожидает увлекательная и своеобразная задача. Известно, что в нашей стране проживает много болгар, чьи предки переселились сюда давно. В последние годы в Молдавии появилась целая плеяда молодых талантливых поэтов, наследников этих переселенцев. Они пишут книги на своем языке. Некоторые из них стали членами Союза писателей — Петр Вылканов-Бурлак, Ни-

ко Стоянов и другие. Я слежу за их творчеством, помогаю им. Хочу вместе с ними подготовить антологию самого лучшего созданного ими».

Украинского читателя знакомят с творчеством болгарских поэтов Д. Белоус, Д. Павлычко и другие. Благодаря лучшим из их переводов болгарское слово звучит с силой оригинала. В определенной степени оно влияет на украинское художественное слово. Так, например, по мнению Дмитро Павлычко, известная повесть Павла Вежинова «Барьер», появившаяся на украинском языке сразу же после ее публикации в Болгарии, повлияла на прозу Яворовского и Иванчука. «Может быть,— добавляет Павлычко,— слово «повлияла» не совсем здесь точное, скорее в их произведениях чувствуется нечто новое, оригинальное, их собственное, но связанное с поиском необычного сюжета, качества, что отличает произведения Павла Вежинова».

О плодотворном, активном характере контактов между сегодняшними советскими и болгарскими художниками слова очень ярко говорит Антон Дончев, автор содержательных исторических романов. Он счастлив, что у него много друзей среди советских писателей. «Большинство из них я знаю только по книгам, но эти книги я воспринимаю как письма ко мне. И я стараюсь ответить им своими книгами-письмами». И дальше: «С Юрием Бондаревым я знаком лично и считаю его своим близким другом, но лучше понять его мне помогают его книги, доклады и речи». Размеры статьи не позволяют дальше цитировать текст из беседы с А. Дончевым, но я надеюсь, что читатель сам поищет книгу Пенчева «Беседы о советской литературе» и там найдет ответ на интересующие его вопросы. Отношение болгарского писателя вызывает глубокое уважение, потому что понимаешь: это живая связь между столетиями, между поколениями. Советский писатель глубоко сопричастен всему, что происходит на земле в судьбах народов — больших и малых.

В заключение следует сказать, что среди интервьюируемых, к сожалению, нет таких художников слова, как Сергей Михалков, Владимир Солоухин, Нил Гилевич, Вл. Соколов, Евгений Винокуров. А ведь они большие друзья болгарской литературы, участники международных встреч писателей в Софии, они переводят произведения болгарских поэтов, прозаиков и драматургов. Например, Вл. Соколов в своих переводах Д. Дебелянова почти непостижимо передает образность, музыкальность и неповторимость слога болгарского поэта.

Итак, отдельные интервью, ранее публиковавшиеся в болгарских периодических изданиях... Собранные воедино, они под новым углом зрения рассматривают контакты и взаимные влияния двух братских литератур, объясняют многие явления прошлого и настоящего. Хочется отметить также прекрасный, убедительный язык «бесед», ясно и четко сформулированные вопросы и ответы, оригинальные размышления о современном романе, о главном герое эпохи. Книгу характеризует убежденность в том, что социалистическая литература оказывает все более значительное влияние на мировой литературный процесс. «Беседы о советской литературе» — это серьезный труд, исследующий взаимовлияние братских литератур. Вместе с тем это можно воспринять и как своего рода послание к читателям Запада. Благодаря этой книге зарубежные читатели могли бы узнать многое о творческой работе болгарских, русских, украинских и белорусских писателей, почерпнуть сведения об их взаимных переводах, изданиях, встречах, как говорится, из первых рук. И сделать для себя объективный вывод: это и есть истинный путь к взаимопониманию в наше тревожное время.

Перевод с болгарского
ВАСИЛИЯ ПОНОМАРЕВА

◆

Наши гости

Абдессалям аль-Мсади, Хамида ас-Сули, Мухаммед Бен Салех, Абделькадер Бен аль-Хадж Наср аль-Акрими (Тунис)

Недавно редакцию «Иностранной литературы» посетила делегация в составе четырех видных литераторов из Туниса — небольшой, воспетой еще Гомером и другими поэтами древности страны на самом севере африканского материка. В последнее время она играла заметную роль в арабском мире и на международной арене в целом, оказываясь подчас в центре внимания мировых средств информации.

Не только лазурным морем и превосходными оливками славится Тунис. Это страна древней культуры, родина знаменитого карфагенского полководца Ганнибала и великого арабского историка и философа Ибн Хальдуна. В средние века и в последующие эпохи Тунис внес немалый вклад в развитие арабской литературы — поэзии, художественной прозы, литературной критики.

Все чаще посещают Тунис советские литераторы, а в нашу страну приезжают тунисские прозаики и поэты.

В ходе дружеской беседы, состоявшейся в редакции журнала, молодой и энергичный глава тунисской делегации Абдессалям аль-Мсади представил собравшимся своих коллег. Сам Мсади известен в Тунисе и за его пределами как видный ученый-лингвист и критик, занимающийся проблемами, стоящими на грани между «чистой» лингвистикой и литературной критикой. Он профессор Тунисского университета, автор ряда лингвистических работ и литературно-критических исследований. в том числе большой книги «Метод и методология», и французско-арабского словаря лингвистических терминов. Несколько лет назад аль-Мсади был избран в состав правления Союза тунисских писателей на пост заместителя генерального секретаря.

— *Мы очень рады возможности посетить редакцию «Иностранной литературы»*, — говорит Абдессалям аль-Мсади.— *В Тунисе с большим интересом относятся к публикациям вашего журнала. Внимательно следим мы за тем, что из зарубежной художественной литературы печатается в арабских журналах, интерес наших читателей к литературе других стран и народов очень велик, хотя пока нам не удалось собрать достаточно средств для создания специального журнала, посвященного только иностранной литературе, подобного журналу «Аль-адаб аль-аджнабийя» («Иностранная литература») в Сирии. Серьезная проблема у нас — нехватка переводчиков, в частности вашей советской литературы. Выходит у нас, правда, журнал «Аль-хаят ас-сакафийя» («Культурная жизнь»), издает его министерство культуры, он постоянно публикует в отрывках, иногда даже и целиком, произведения иностранной литературы.*

Самому старшему по возрасту члену делегации — Хамиде ас-Сули — немногим более сорока лет. Это известный поэт, критик и специалист-музыковед, его стихи и критические статьи часто публикуются в тунисской прессе. Ас-Сули — автор нескольких поэтических сборников, недавно вышла его книга «Критические исследования современной тунисской литературы», он член правления Союза тунисских писателей, один из руководителей Национального музыкального комитета.

Третий член делегации — тридцатидевятилетний Мухаммед Бен Салех — тоже поэт. Он уроженец маленькой деревушки близ основанного еще во времена византийского владычества приморского города Монастир. Как и подавляющее большинство тунисских литераторов, он совмещает творческую работу со службой: преподает философию в лицее города Монастир. Бен Салех — автор двух сборников стихов —«Времена года» и «Джаля». Ему принадлежат также три сборника публицистических очерков — «Дороги изгнания», «Как поживает Аиша» и «Сто лет деревни».

— *В «Дорогах изгнания»,— рассказывает Бен Салех,— я попытался проследить судьбу поэтов, которые были вынуждены жить в эмиграции, таких, как Назым Хикмет, иракский поэт Абд аль-Ваххаб аль-Баяти и другие, книга «Как поживает Аиша» посвящена положению тунисской женщины, в сборнике «Сто лет деревни» на примере своего родного селения я хотел рассказать о восстаниях тунисских феллахов против французских колонизаторов.*

Четвертый гость — известный прозаик и ученый-литературовед Абделькадер Бен аль-Хадж Наср аль-Акрими — родился в 1946 году. Педагог по образованию, он преподавал французский язык в лицее города Сфакс, затем работал диктором тунисского радио. Впоследствии защитил во Франции, в Сорбонне, докторскую диссертацию о современном тунисском романе. В

настоящее время представляет Тунис в Организации Арабской Лиги по вопросам образования, культуры и науки («АЛЕКСО»)— специализированном учреждении Лиги арабских стран, штаб-квартира которого находится в тунисской столице. Наср аль-Акрими — автор двух романов: «Оливы не умирают» и «Ее величество», нескольких сборников рассказов и книги о творчестве современных тунисских писателей-романистов.

Мы просим писателя сказать несколько слов о его романе «Оливы не умирают», выдержавшем четыре издания. Речь в нем идет о борьбе тунисцев против режима французского протектората в 30-х годах. Роман «Ее величество» посвящен жизни и проблемам современного Туниса. Герои этого произведения — журналисты и дикторы тунисского радио. Роман был удостоен премии муниципалитета тунисской столицы. Наср аль-Акрими не впервые гостит в Советском Союзе: он приезжал в нашу страну в 1982 году для участия в международной встрече молодых писателей, состоявшейся в городе Фрунзе.

Кратко знакомят нас гости с главными вехами недавней истории литературы и искусства Туниса. Особенно быстро они стали развиваться после завоевания страной независимости в 1956 году. Заметные успехи были достигнуты за последние десять — пятнадцать лет. Традиционно широка популярность поэзии (согласно статистике, в стране свыше 500 поэтов). И все же сегодня ведущее место в литературе принадлежит художественной прозе, и в первую очередь новеллистике. Каждый год на страницах тунисских журналов и газет и в составе отдельных сборников печатается до 60 — 70 рассказов. Довольно успешно развиваются и крупные прозаические жанры: как правило, ежегодно выходит две-три повести или романа. Произведения тунисских писателей и поэтов теперь все чаще публикуются в других арабских странах, переводятся на иностранные языки — французский, испанский, английский, немецкий: растет международное признание достижений тунисской литературы.

Мы рассказали тунисским писателям о переводах произведений современной тунисской поэзии и прозы в Советском Союзе за последние три десятилетия. В 1974 году издательством «Наука» была выпущена небольшая книжка «Новое лицо», целиком посвященная тунисской новелле. Сборник получил благожелательные отзывы арабской критики: египетский писатель и критик Радван Ибрахим посвятил ему целую главу в своей опубликованной в Тунисе книге «Тунисская литература в Советском Союзе».

Более широкую панораму современного тунисского рассказа дает сборник «Лабиринты ночи», выпущенный в 1983 году массовым тиражом издательством «Радуга». В книгу вошла одноименная повесть прозаика Хасана Насра и около тридцати рассказов двух десятков новеллистов — представителей разных поколений и творческих школ.

Гости в ответ кратко обозревают историю публикаций русской и советской литературы в Тунисе:

— *С литературой вашей страны тунисцы впервые познакомились еще в начале века: в 1911 году в Тунисе на арабском языке были опубликованы «Власть тьмы» и «Анна Каренина» Толстого. Вместе с переводами некоторых выдающихся произведений западноевропейских писателей эти книги сыграли большую роль в создании оригинальных образцов драмы и романа в Тунисе.*

В настоящее время на страницах тунисских журналов «Аль-фикр», «Кисас», «Альхаят ас-сакафийя» нередко печатаются стихотворения и рассказы русских и советских авторов, представляющие многонациональную литературу вашей страны. Недавно в серии, издаваемой журналом «Лотос», была опубликована на арабском языке книга «Колокола памяти», посвященная сороковой годовщине победы над фашизмом. В нее включены произведения восемнадцати советских поэтов и прозаиков. Книга заслужила добрые отклики тунисских читателей.

Встреча с литераторами Туниса поможет журналу расширять и углублять знакомство советских читателей с самобытной культурой этой древней арабской страны.

Л. С.

Кристофер Ван Вик (Южная Африка)

Кристофер Ван Вик, веселый, курчавый, стройный юноша, легко, даже как-то азартно беседует с нами, и буквально через пять—десять минут мы забываем, что идет беседа с представителем издательства «Раван пресс», аккредитованным на Московскую международную книжную ярмарку: мы подхватываем его шутки, радуемся его почти детскому любопытству, с которым он расспрашивает нас о нашей стране, нашей столице, нашем журнале.

Тем не менее мы ни на секунду не забываем, что Ван Вик приехал к нам, рискуя многим: в стране, где он живет, проявляющих интерес к СССР объявляют «неблагонадежными». Каждый день мир узнает о новых преступлениях расистов. По мере того как волны народного гнева все явственнее грозят опрокинуть расистский режим в Южной Африке, правители Претории усиливают террор против борцов за свободу. «Силы безопасности» и армейские подразделения хладнокровно расстреливают мирные демонстрации, травят собаками и бросают за тюремную решетку их участников. За 1985 год жертвами тотального террора в стране стала, по далеко не полным официальным данным, почти тысяча человек. Вот сообщение из газет об «очередном» кровавом инциденте, произошедшем в пригороде Претории несколько дней спустя после того, как нашим гостем был Ван Вик: «Около 15 тысяч человек собралось там на похороны 13-летнего Мозеса Моопе, забитого до смерти агента-

ми охранки. На разгон траурной процессии были брошены крупные силы полиции. Я видел, как одному молодому парню полицейский выстрелил прямо в лицо, убив его на месте, — рассказывает журналист-африканец, свидетель событий.— Еще один человек сгорел заживо в доме, подожженном «блюстителями порядка».

18 октября мир узнал еще об одном кровавом преступлении расистских палачей — убийстве мужественного борца за свободу Южной Африки, поэта Бенджамина Молоизе. «Мы говорим нашему народу,— гласило заявление, сделанное Африканским национальным конгрессом, возглавляющим борьбу народа Южной Африки, — что убийство Б. Молоизе должно стать сигналом к тому, чтобы наносить все более мощные удары по врагу во всех уголках нашей страны».

И когда Ван Вик начинает рассказывать о себе и о своих собратьях — рассказывать негромко, сдержанно, медленно,— мы видим в двадцативосьмилетнем человеке зрелость и мужество много испытавшего.

— Как же вы приехали к нам?

— *Московская книжная ярмарка — международный форум, в котором приняло участие и наше издательство; цель моей поездки — представительство на этом форуме, сбор информации в области культуры, книгопечатания, литературы.*

— А вы книгоиздатель?

— *Строго говоря, нет. Я один из редакторов выпускаемого «Раван пресс» журнала «Стаффрайдер». Журнал этот выходит с 1978 года.*

— Что означает его заглавие? Оно имеет какое-нибудь отношение к непосредственному значению слова Staffrider?

— *Конечно.* Staffrider — *пассажир трамвая или автобуса, которому не хватило места, и он едет на подножке, уцепившись за поручень. Наш журнал обращен к простым людям, рабочим, к нашим черным собратьям; ведь они, как правило, не занимают удобных местечек под солнцем, но крепко держатся за «поручень».*

Критик Роберт Фуллер в статье «Искусство и революция в Южной Африке», опубликованной в журнале «Африкэн комьюнист», высоко оценил значение «Стаффрайдера» для черного населения страны; он пишет, что это один из лучших журналов в Южной Африке, поставивший перед собою цель собрать новых писателей, тех, кто впервые заявил о себе после 1976—1977 годов. Творчество их характеризуется весьма прочной и непосредственной связью «со средой проживания, они стремятся в своих книгах рассказать о том, как у нас обстоят дела».

Фуллер, правда, несколько по-другому, нежели Кристофер Ван Вик, трактует название журнала: «Писатели в наше время должны уподобиться «стаффрайдерам»: для того чтобы иметь возможность писать (то есть двигаться вперед), эти «стаффрайдеры» (то есть писатели) должны вырабатывать такую технику или стиль, чтобы их литературные произведения могли обмануть цензоров; другими словами, оставаться писателем революции — почти то же самое, что любыми силами удерживаться на подножке быстро мчащегося поезда».

— *Мы работаем в тесном контакте с нашими ведущими писателями,* — рассказывает Ван Вик. — *Хотим помочь черным поверить в себя, в то, что никакой закон не вправе попирать достоинство человека, что девиз «белые есть белые, а черные — черные» противоречит самому главному принципу — принципу равенства. Мы не декларируем своей принадлежности к какой-либо партии, но, повторяю, мы не можем равнодушно относиться к тому, что нас, черных, считают существами низшими, нам твердят: «Твое место — у кухонной раковины или на улице с метлой».*

Ван Вик протягивает нам несколько номеров журнала. Листаем. «Рассказ рабочего». Во врезке: «В этой статье Саймон Кумало, рабочий фабрики Колгейт-Палмолайв, рассказывает корреспонденту «Стаффрайдера» о том, что ему недавно пришлось пережить». Вкратце вот что произошло: администрация объявила всем рабочим, что отныне снимаются ограничительные знаки и чернокожие могут пользоваться раздевалками, столовой, душевой наравне с белыми. Но стоило Саймону Кумало пойти в душевую для белых и встать под струю воды, как на него налетел белый инженер и принялся его зверски избивать. И таких примеров «равноправия по-южноафрикански» в интервью Саймона Кумало много...

В другом номере помещена статья Мвувело Мзамане: «Политика и литература в Африке», в ней речь идет о творчестве Нгуги Ва Тхионго, Алекса Ла Гумы, Питера Абрахамса, Денниса Брутуса, Аи Квеи Армы. «Для многих,— пишет автор,— африканская литература и политика — синонимы. И в этом нет ничего удивительного. Самые острые проблемы, стоящие перед Африкой, связаны с политикой, и любое произведение, посвященное нашей современности, не может не касаться политики...»

— «*Стаффрайдер*» *быстро завоевал популярность,— продолжает Ван Вик.— Его тираж — восемь тысяч экземпляров, на его страницах мы печатаем поэзию и прозу, публицистику и эссеистику, особое внимание уделяем фотоматериалам: ведь тот, кто не умеет читать, по снимкам сразу поймет: «Стаффрайдер» повествует о таких же, как он.*

Открываем разворот под рубрикой «Галерея «Стаффрайдера»— перед нами серия фотодокументов, отснятая Ральфом С'Бали, трагически погибшим в сентябре 1980 года. Его называли Певцом Обездоленных. Детские, юношеские, старческие лица... застывший крик... печаль... горе... мужество... мудрость.

— Вы работаете в журнале с самого начала его существования?

— *Нет, с 1982 года.*

— А чем занимались до этого? Если можно, расскажите о себе. По порядку.

— *Отец мой родился в Кейптауне. И я родился в Кейптауне. Отец работал на мебельной фабрике, а теперь дома сидит,*

нянчит внуков. Я закончил школу, потом заочный университет в Претории. Конечно же, я счастливчик: почти во все университеты страны темнокожим вход закрыт. Потом работал на радио в отделе рекламы. С моими друзьями попытался основать литературный журнал. Мы назвали его «Вайети».

— Что это значит?

— *Wiety — разговорный язык человека с улицы, как кокни — для англичан, это смесь африкаанс с английским. Мы думали выпускать журнал, который был бы понятен темнокожим, но, к сожалению, вышло только два номера.*

— Почему?

— Не было денег.

— Кристофер, расскажите о своем творчестве.

— *Пишу стихи. С детства пишу. Еще пишу пьесы. Если хотите — я подарю вам свои новые стихи.*

Вот одно из них:

ДОРОГА

Мне минуло четыре, я жил у бабушки,
когда пришла беда,
как она приходит ко всем четырехлеткам
сквозь зрелые виноградники взрослых,
сквозь крыши мудрых, которые вдруг
оказались немудрыми.
Очаг потух,
бил ужас в барабанные перепонки чаши
жизни.

Все рухнуло,
не только в двух милях по дороге,
откуда запыхавшийся мальчонка
доставил весть
под частый выдох
теле-
графных строк.

Укутанный проворной бабкой в одеяло,
холодное, как флаг печальной страны,
я был доставлен домой к матери.
чьи слезы о ту пору были горячи в них
было соли больше, чем в убитом брате,
сыне. внуке.

Колдобистой дорогой, мощенной звяканьем
пивных жестянок и грохотом камней.
заполненной людьми, которых было
больше, чем детей, родившихся в тот день.
шла бабушка моя. дорога становилась
для нее короче.
а для меня — длинней[1].

— Вы пишете преимущественно верлибром?

— *Иногда рифмованными, но верлибр, по-моему, более строгая, аскетичная, суровая форма, а я ведь пишу стихи о нашей суровой прозе жизни.*

— А кто ваш любимый поэт?

— *Пабло Неруда. Читаю его каждый день.*

— Ваши стихи издавались отдельными книжками?

— *Да. Но, знаете, для начинающего поэта или писателя, моего соотечественника, самое трудное заключается не в том, чтобы найти издателя, а в том, чтобы потом книжку не запретила цензура. У нас в стране существует закон: любой кому какая-либо книга показалась «вредной» и «опасной», может написать в цензурный комитет и потребовать запретить продажу этой книги. А в результате магазины завалены «чтивом», но многие выдающиеся произведения южноафриканских и зарубежных писателей — под запретом. Вы, конечно, помните, как в 60-е годы были запрещены книги Питера Абрахамса, а позднее Алекса Ла Гумы. Комитет по цензуре — один из самых реакционных институтов у нас в стране.*

— Исконно народные, фольклорные формы искусства — ритуальные танцы, театрализованные представления, песни,— наверное, меньше зависят от цензуры?

— *О, запретить нам танцевать, петь, разыгрывать представления на деревенских и рыночных площадях и на маленьких сценках в школах и колледжах не так-то просто! Одна моя пьеса поставлена учениками колледжа Кейптауна. У нас много талантливых молодых драматургов,— к примеру, Маише Мапония, Банну Симон, Матсемела Манака.*

— Назовите, пожалуйста, интересные киноленты последних лет.

—*Я не большой поклонник кино, так что боюсь, не смогу ответить на этот вопрос. К тому же наш кинопрокат полностью забит голливудской продукцией. Скажу только, что фильмы наши, отечественные, имеют весьма отдаленное отношение к искусству и — что еще печальнее — к действительности; их назначение — развлекать.*

Кристофер Ван Вик рассказывает о своей родине — о красивейших национальных парках, об архитектуре городов, о реках и джунглях. О своих сверстниках. Он старается не говорить о политике — ведь он приехал к нам на книжную ярмарку. Мы тоже не задаем «лишних вопросов». Мы просто слушаем:

— *Кейптаун очень красивый, а жить чернокожим там негде. Я, к примеру, до последнего времени жил с семьей в прицепном фургончике, сейчас перебрался в квартирку, но за чертой города. Есть работа — нет жилья, или наоборот, но чаще нет ни жилья, ни работы.*

УТРО В СЭНДТОНЕ

Бодрящий воздух полон жизни.
Любая тварь крылатая ликует от радости
полета.

Оживлены букашки за паутинками
подлеска, где моих коленей касается
росистая трава.

В амфитеатре неба —
раскаты грома,
драма Африки моей.
Вот выплывают «мерседесы»
и «БМВ».

за каждою баранкой — Кристиан Диор
или Пьер Карден
в решимости умножить свой барыш
и вывезти его из Африки.

в то время как неслышная обслуга
в фартуках
теснится в чердаке их подсознанья
и следует за ними.

— *Мне очень хотелось бы на прощание сказать вам: «Приезжайте к нам в гости!», но, увы, не могу,— с горькой усмешкой говорит нам Кристофер Ван Вик.*

А. НИКОЛАЕВСКАЯ

[1] Здесь и далее перевод А. Солянова.

Среди книг

Издано в СССР

ЛАБИРИНТЫ ПОЛИТИКИ И ПСИХОЛОГИИ

Тадеуш Бреза. Стены Иерихона. Лабиринт. Романы. Перевод с польского. Предисловие С. Бэлзы. Москва. Радуга, 1985.

Когда в 1946 году в Польше был опубликован роман «Стены Иерихона», специальное жюри присудило роману самую авторитетную премию того времени — общественно-литературного журнала «Одродзене».

Роман Брезы стал классическим произведением литературы народной Польши. Он и сегодня не утратил идейного и художественного значения и является своего рода образцом для нынешних поисков продуктивной модели интеллектуального романа.

Художественной актуальностью он обязан и незаурядному таланту писателя, и его творческой манере, которую можно определить как «психологический реализм». В 1947 году Бреза так сформулировал свое писательское кредо: «Психологизм способствует изучению образа мышления... Анализ умственного багажа людей, принадлежащих к самым разнообразным сферам, анализ конфликтов между ними и его художественное воплощение возможны только средствами и способами психологизма. Я сторонник реализма с той оговоркой, что нельзя трактовать реализм только как описание событий и внешнего мира, ибо такой реализм не может верно отразить мир, в котором кроме внешней стороны существует и сторона внутренняя».

Разумеется, роман Брезы важен блестящим анализом механизма власти в буржуазно-помещичьей Польше кануна второй мировой войны, причин катастрофы Польши в сентябре 1939 года, крушения тех форм жизни, которые рухнули как библейские иерихонские стены при звуке труб.

Но «Стены Иерихона» — это и роман об идейно-нравственном кризисе значительной части польской интеллигенции, связавшей свои судьбы с политиканами санационной Польши. «Я попробовал,— отмечал Бреза,— соединить достоинства политического и психологического романов... Политического — поскольку мое поколение было насквозь политично. Психологического — поскольку обычных жизненных аргументов недостаточно, чтобы нас объяснить».

Действие романа происходит в течение нескольких месяцев 1938 года. Он начинается сценой, имевшей полный аналог в реальной действительности. В 1938 году советское правительство передало польскому правительству останки последнего польского короля Станислава Августа Понятовского, похороненного в свое время в Петербурге. В июле 1938 года останки короля были тайно, ночью, захоронены польскими властями на его родине, в местечке Волчин, а не в усыпальнице польских королей на Вавеле в Кракове. Незадолго до того на Вавеле был похоронен Юзеф Пилсудский, и, по мнению польских властей, там же не могла находиться могила короля-русофила и «предателя польских национальных интересов». Общественное же мнение в Польше считало, что гроб Станислава Августа должен покоиться на Вавеле или, на худой конец, в Варшаве.

Волчинский эпизод является экспозицией, в нем заложено зерно главной политической проблемы романа. Из размышлений чиновника Ельского и его разговоров с офицером контрразведки Козицем и князем Медекшей становится ясно, что в правящих кругах Польши идет скрытая, но ожесточенная борьба за власть. Политики молодого поколения, которых представляет Ельский, стремятся оттеснить от кормила власти представителей старшего поколения, политическая карьера которых связана с участием в легионах Пилсудского.

Помимо молодых пилсудчиков из лагеря так называемой санации к власти стремится и молодежь ультраправой, профашист-

ской ориентации, объединенная вокруг своего предводителя Папары.

Однако все они члены своеобразной политической мафии, связанные между собой семейными, любовными, деловыми, партийными отношениями. Их власть и карьера основаны на сделках, интригах, провокациях, изменах и предательствах. Так, министр юстиции Яшча убежден в том, что «ни о какой порядочности» не может быть речи, интересы государства для него отождествляются с его частными интересами, он плетет сложную цепь политических интриг для того, чтобы отбить у воеводы Полесья Черского шикарную любовницу-актрису. В свою очередь воевода нимало не заботится о государстве, крадет у него миллионы на содержание любовницы. А вышедший в отставку министр финансов Костопольский стремится сбежать с награбленными миллионами за границу и с этой целью шантажирует Ельского.

Молодые претенденты на власть в стране, Ельские и Дыкерты, всячески подчеркивают свое интеллектуальное превосходство над бывшими легионерами, «ремесленниками от политики», свой профессионализм, знания, добытые в заграничных университетах, светские манеры и т. п., но спор со старым поколением касается не программы, а тактики и техники правления и, грубо говоря, места у кормушки. При всем интеллектуальном превосходстве над старшими молодые столь же равнодушны к историческим урокам и традициям, оторваны от общественно-политической реальности в стране и Европе, столь же циничны и аморальны. Они так же бессмысленно повторяют миф о военном могуществе страны, не замечая надвигающейся на Польшу страшной угрозы фашистской агрессии.

Не задумываются о политической программе и сторонники Папары исповедующие лишь культ насилия. Их тоже интересует тактика действия, интриги и провокации. Они собирают компрометирующий материал на воеводу Черского, чтобы сместить его и усилить свои позиции в борьбе за власть, они готовят провокационное нападение на своего вождя Папару, чтобы привлечь внимание к его личности и заодно обвинить в терроризме коммунистов.

Изображение польской политической арены конца 30-х годов вызвало упреки ряда критиков в связи с отсутствием здесь левых политических сил, прежде всего коммунистов. В романе упоминается об аресте коммуниста Яна Дыкерта, о следствии по его делу, но сам он не появляется. Он существует лишь как возможная причина крушения многообещающей карьеры старшего брата и компрометации высокопоставленной семьи Дыкертов.

Однако надо иметь в виду, что Бреза стремился написать не политическую историю предсентябрьской Польши, а показать борьбу за власть и образ жизни правящих кругов страны. Он выступает в романе не как историк общества, а как анатом определенного его слоя. Одно только упоминание о Дыкерте-коммунисте позволило Брезе довольно полно показать антикоммунизм режима санации, беспочвенность притязаний на власть молодого поколения пилсудчиков, их антигуманизм. Для Ельского и старшего брата Дыкерта Ян лишь отщепенец, позорящий собственный класс, «нарост, который надо выжечь».

«Стены Иерихона» — роман весьма своеобразной композиции. Он построен из нескольких самостоятельных, не столько фабульных, сколько сюжетно-психологических линий, ни одна из которых не завершается (в том числе и во второй части дилогии, в романе «Небо и земля»), но которые пересекаются и взаимно дополняют друг друга. «Открытость» прочерченных в романе линий и обширные психологические экскурсы ведут к отсутствию главного героя, к фактическому отсутствию фабулы. Писатель глубоко убежден, что, характеризуя образ мышления и нравственные позиции персонажей, действующих в политической сфере, необязательно прибегать к «монтированию классической политической интриги... выписывать героев в действии, которое в сущности отвлекает внимание от самого главного».

Особое значение в романе имеет большой бал в доме коммерсанта Штемлера — композиционное и проблемное средоточие романа. Эта центральная сцена, занимающая более трети романа, восходит к польской литературной традиции. Начиная от «Бала у сенатора» А. Мицкевича, через «Свадьбу» С. Выспянского, «Бал в опере» Ю. Тувима, бал в «Озими» В. Берента и в «Узлах жизни» С. Налковской в польской литературе бал, прием, раут являются местом принципиальных дискуссий о судьбах нации в переломные эпохи истории. На балу в «Стенах Иерихона» появляются все главные персонажи романа — санационные министры, молодые претенденты на власть, фашиствующие молодчики Папары, официозные поэты и писатели, другие представители «высших сфер», не брезгующие политическими интригами. Персонажи романа беседуют, спорят, раздумывают. Их психологические портреты углубляются, дополняются размышлениями и высказываниями друг о друге, внутренними монологами.

Следует отметить и весьма современный способ повествования. В романе нет традиционного для классического, реалистического произведения всеведущего повествователя, и в то же время повествователь в нем не безучастный регистратор событий. Польские исследователи верно определили позицию автора в романе как позицию режиссера, предоставляющего право высказаться тому или иному персонажу. Этому способствует широко используемый Брезой прием несобственно-прямой речи, органично слитой с ироническими комментариями автора. Язык «Стен Иерихона» литературен, исключительно богат метафорикой, афоризмами. Обилие интеллектуальных рефлексий, в частности, подчеркивает кастовую замкнутость изображаемой в романе среды.

Разоблачение банкротства правящих кругов Польши конца 30-х годов картина эволюции политических группировок, ломающих демократические нормы и скатывающихся к фашизму, а также оригинальная форма романа, оказавшаяся созвучной сегодняшним поискам в области повествовательных форм, талант и мастерство писателя сделали «Стены Иерихона» одним из

наиболее значительных произведений польской прозы XX века.

Роман «Лабиринт» (1960) издавался у нас и отдельно (1963) и в книге Т. Брезы (серия «Библиотека польской литературы», 1976). Подобно книге-эссе писателя «Бронзовые врата» (1960, тоже переведена на русский язык) роман был результатом многолетнего пребывания Брезы на дипломатической службе в Риме.

Как и в «Стенах Иерихона», писатель тщательно исследует механизм власти, на этот раз — католической церкви, стремящейся подчинить себе разнообразные области жизни. В «Лабиринте» читателя вновь увлекает не столько сюжет, сколько психологический анализ типа мышления и поведения людей, сложившегося под влиянием могущественной политической и идеологической системы, какой является современная католическая церковь. Сюжет романа прост. Герой, молодой польский историк, приезжает в Рим, чтобы добиться справедливого решения дела своего отца — адвоката по делам костела в одном из польских епископатов. Фанатичный в своей ненависти к народной Польше епископ обвинил адвоката в лояльном отношении к народной власти и отстранил его от исполнения обязанностей. И герою, связанному с церковью, нисколько не помышляющему о разрыве с ней, постепенно становится ясно, что в ватиканском лабиринте нет места для справедливости по отношению к человеку. Тем более если этот человек — хотя бы и аполитичный — представляет так или иначе социалистическую страну. «Все приезжающие из Польши немножко заражены. Они не такие, как мы, и не те, что были»,— заявляет старый друг отца героя, синьор Кампилли, один из адвокатов Священной Роты — ватиканского трибунала.

В столкновении личности с бездушным механизмом, с консервативным ведомством, препятствующим историческому прогрессу,— а Т. Бреза показал его ярко, с художественной убедительностью — некоторые критики, усматривали сходство с коллизиями произведений Ф. Кафки. Конечно, роман Брезы, как любое произведение большого искусства, содержит обобщенно-универсальный смысл, но, в отличие от Кафки, конфликт в романе Брезы имеет конкретно-историческую и социальную определенность.

Оба романа Т. Брезы вышли в серии «Мастера современной прозы».

В. ХОРЕВ

КРАСКИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ...

Оулавюр Йоуханн Сигурдссон. Игра красок земли. Письмо пастора Бёдвара. Часовой механизм. Наваждение. Перевод с исландского. Составление и предисловие С. Неделяевой-Степонавичене. Москва, Радуга, 1984.

«Мы, исландцы,— эпики, мы мыслим конкретными образами и претворяем нашу жизнь в саги»,— говорил Холлдор Лакснесс об основной, по его мнению, черте исландской литературы. Эти слова можно отнести и к Оулавюру Йоуханну Сигурдссону, творящему, по примеру Лакснесса, подлинную сагу Исландии XX века.

Советский читатель знаком с ним по рассказам, публиковавшимся в периодической печати, по авторскому сборнику «Ладья Исландии» («Прогресс», 1966) и по своеобразной антологии исландской новеллы «Рыбаки выходят в море» («Радуга», 1980).

Положительные герои Сигурдссона, как правило, в центре повествования и в каждом из них есть частица собственного «я» писателя. Они живут в особом романтическом мире, постоянно и обостренно ощущая радость бытия, красоту родной природы и характерное для исландцев чувство корней. Вместе с тем сатира и гротеск не менее органичны для творчества писателя, чем романтическая приподнятость.

В сборник Оулавюра Йоуханна Сигурдссона, опубликованный в издательстве «Радуга» в серии «Мастера современной прозы», вошли два романа и две повести. Одна из них, «Игра красок земли», не только простая история безответной, вернее, несостоявшейся первой любви деревенского паренька Мюнди. Она говорит о любви человека к «малой родине», с которой начинается любовь к отечеству.

«Никогда еще ему не доводилось видеть землю такой живописной и красочной: она была одновременно коричневой и зеленой, бледно-желтой и ярко-алой, кое-где ее коснулось увядание, а кое-где она сохранила чудесный пышный наряд, будто и не было холодного северного ветра прошлых ночей» — такой предстает земля в тихий осенний день взору шестнадцатилетнего Мюнди. Потом герой осознает, что для него, лишь вступающего в жизнь, «этот уголок земли останется повсюду, куда бы он ни уехал, и будет вечно давать ему силу и жить в душе заветным сокровищем». Писателю удалось запечатлеть глубинный процесс формирования нравственного фундамента личности, и это придает повести общечеловеческое содержание.

Не может оставить читателя равнодушным и повесть «Письмо пастора Бёдвара», казалось бы очень камерная по содержанию. Бёдвар Гюннлёйхссон пишет и никак не может написать письмо дочери Сваве, вышедшей замуж за американского бизнесмена и живущей теперь «в городе самых больших на свете небоскребов». Пастора мучает тайное предчувствие, что он уже никогда больше не увидит дочь, обреченную жить «в мире ядерных взрывов». Он боится, что провинциальные исландские новости и его собственные грустные заботы (инфляция, рост дороговизны и то, что он «давно уже не может позволить себе купить книгу или коробку сигар») не достойны внимания «молодой женщины, живущей в другом полушарии». Чудаковатый пастор Бёдвар — один из тех, о ком говорят, что он «не от мира сего». Он исполнен чувства бесконечной доброты к окружающим и, размышляя о прожитой жизни, корит себя за то, что стал священником «не по призванию, а из малодушия и чувства долга». Однако не только эти размышления и тоска по дочери лишили Бёдвара Гюннлёйхссона покоя на склоне лет. Старого больного человека терзает бессмысленными по-

преками жена, алчная, вздорная женщина. Фру Гвюдридюр по своему усмотрению распоряжается пенсией мужа и государственной субсидией, выданной ему в целях поощрения его литературной деятельности. Но и это еще не самое худшее. В прошлом она почти открыто изменяла мужу с проходимцем Гусси, и теперь эта молодящаяся, вульгарная женщина вновь готова возобновить с ним связь.

Конец повести трагичен. Внезапно прозревший герой осознает, что Свава, его отрада, «его солнечный лучик», вовсе не дочь ему, ее отец — гнусный Гусси, и это открытие в буквальном смысле убивает его. Трагедия Бёдвара Гюннлёйхссона не только трагедия обманутого мужа и не приспособленного к жизни идеалиста. И фру Гвюдридюр, для которой всего важнее престиж и жизненный успех, и Свава, материальное благополучие которой зиждется на доходах одного из американских концернов, «загребающих колоссальные прибыли»,— обе принадлежат миру зла, который герой не приемлет. Перед нами конфликт старой, патриархальной Исландии и общества потребления, одержимого погоней за материальными благами.

Подобный конфликт лежит в основе и незавершенной еще трилогии о Паудле Йоунссоне, духовном собрате пастора Бёдвара (во время работы над которой была написана повесть).

В сборник включены две части трилогии — романы «Часовой механизм» и «Наваждения». Паудль Йоунссон — человек честный, чистый, натура поэтическая. Он сирота, выросший в глуши у бабушки, сельской акушерки, воспитавшей его в духе доброты, порядочности и справедливости. «Синева и золото» фиорда — таковы краски его детства. На первых страницах романа «Часовой механизм» Паудль Йоунссон — нищий поэт, словно гамсуновский персонаж (из романа «Голод»), но он к тому же невысокого мнения о своем поэтическом даре. Возможность получить работу в новом журнале «Светоч» Паудль воспринимает как нежданное, негаданное счастье. Ведь герой верит в высокую просветительскую миссию журнала. Он горячо принимается за работу и за мизерное жалованье трудится как одержимый, но вскоре с изумлением и горечью начинает замечать, что журнал рассчитан на самые низменные вкусы, более того — их формирует. В журнале публикуются мелодраматические любовные истории, фривольные песенки с «местным», исландским, колоритом, словоизлияния влиятельных графоманов да панегирики власть имущим, нередко ими самими написанные. С горькой иронией, граничащей с гротеском, рисует автор продажность и аморализм буржуазной прессы.

А Паудль одержим поисками душевной гармонии, символом которой в трилогии выступают часы, подаренные бабушке в день ее семидесятилетия («часовой механизм»). Когда герой пишет стихи, вспоминает детство, размышляет о природе, о «своих друзьях-птицах», о необходимости «поучиться мудрости у деревьев», он ощущает в душе «покой и размеренный ритм». Но вот наступает 1940 год: «У меня в душе словно часовой механизм тикает теперь медленнее, чем раньше. Он стал отставать осенью, когда разразилась война». Саму Исландию война затронула косвенно, но герой, в отличие от многих, так и не научился смотреть на нее издалека: «За газетными заголовками я видел изуродованные трупы женщин и детей. Когда же... появлялись кадры кинохроники, отснятые во время боев или воздушных налетов, сердце у меня разрывалось от боли. Нарвик... Лондон... Эль-Аламейн, Ленинград, Смоленск, Ростов, Севастополь, Сталинград...»

После войны, в 1949 году, Исландия была вовлечена в агрессивный военный блок НАТО. Еще раньше в Кефлавике была построена военно-воздушная база США — «атомная станция», описанная в широко известном романе Лакснесса, которая и по сей день является для исландцев зловещим воплощением духа милитаризма, покушением на суверенитет страны и ее древнюю культуру. Паудль не может наслаждаться красотами родной природы, его взгляд повсюду натыкается на «палаточные лагеря и кварталы новеньких бараков. Чувство горечи и гнева охватывает его. Герой Сигурдссона много размышляет, пытаясь «распутать клубок человеческой жизни и ее странных событий». У него нет порой ясных целей и задач, они предстают перед ним как «блуждающие огоньки», «наваждения», но его «часовой механизм» позволяет ему безошибочно угадывать, где таится зло. Ему присуще отчетливое чувство неразрывной связи своей страны, «гористого островка в океане с крохотной столицей, называемой Рейкьявиком», со всем миром.

Второй том трилогии заканчивается вопросом Паудля: «Что станет с землей? С этой пылинкой в бесконечной Вселенной? Что будет с народами в век ядерной энергии, что будет с нами? Что будет со мной?» Герой ощущает личную, непосредственную причастность всему человечеству и ответственность за его судьбу.

Творчество Сигурдссона отличает ощущение уникальности, неповторимости своей страны и народа и в то же время неразрывной связи его с другими народами мира, его культуры с другими культурами, в частности с русской: «Я рад признать, что такие мастера русской прозы, как Чехов и Горький, оказали на меня глубочайшее влияние в годы моей юности, и на всю жизнь я останусь благодарным русским писателям»,— говорил Сигурдссон.

ЭЛЕОНОРА ПАНКРАТОВА

ВИЙОН СРЕДНЕВЕКОВЫЙ

François Villon. Oeuvres. Avec la traduction en français moderne par André Lanly.

Франсуа Вийон. Стихи. Составление, предисловие и комментарии Г. К. Косикова. Москва, Радуга, 1984.

Вийон — один из тех средневековых поэтов, чье имя, подобно имени Данте, известно далеко за пре-

делами узкого круга филологов, специалистов по истории литературы. О Данте, впрочем, заметил еще Вольтер: «Слава Данте пребудет вечно, ибо его не читают». Прав или не прав был злоязычный «фернейский крикун» по отношению к автору «Божественной комедии», но об авторе «Большого Завещания» подобного не скажешь ни в коем случае: Вийон, пожалуй, единственный средневековый поэт, стихи которого вызывают не просто живой, но прямо-таки жадный интерес вот уже более ста пятидесяти лет, начиная с эпохи романтизма. К сожалению, такая популярность вызвана прямой модернизацией творчества Вийона, в котором нередко мы склонны видеть не столько замечательного средневекового поэта, сколько выдающегося предшественника поэзии современной.

Уже сама биография Вийона, этого «грешника», жаждущего любви и вина, клирика-расстриги, бродяги, воришки, не раз сидевшего в тюрьме и в конце концов приговоренного к смертной казни, провоцирует на то, чтобы воспринять его как поэта, чьи стихи — «вопль человека, истерзанного превратностями судьбы», «не стыдящегося выставлять напоказ самые интимные стороны своей жизни». Любопытно, что образ этого «исповедующегося Вийона» эволюционировал едва ли не от десятилетия к десятилетию. К примеру, если в 30-е годы прошлого столетия его охотно воспринимали как «средневекового Байрона», а в 80-е — по аналогии с Верленом — как «проклятого поэта» средневековья, то во времена литературного «декаданса» в нем уже стали видеть «певца средневековой богемы», а вскоре — и средневековой «малины». Похожая смена истолкований Вийона наблюдалась и у нас: так, для И. Эренбурга, посвятившего в 1916 году Вийону очерк, он был поэтом, жестоко обиженным жизнью и в своем отчаянии «возопившем к Богу»; десятилетие же спустя, когда Вс. Рождественский, переводивший «Балладу о Толстухе Марго», писал от лица Вийона: «Пусть буря бушует, здесь много вина, /Я — вор, проститутка — она!», над ним не мог не витать дух нашего знаменитого поэта: «Я читаю стихи проституткам/ И с бандитами жарю спирт». Считают ли Вийона предшественником Верлена или Брассанса (как это бывает во Франции), Есенина или Высоцкого (как это случается у нас), во всех подобных случаях действует одна и та же логика модернизации: Вийона воспринимают по образу и подобию поэта, бросающего дерзкий вызов «общественному вкусу», расхожей морали и житейскому «здравому смыслу», поэта, стремящегося вывести из равновесия и заставить закричать добропорядочного и самодовольного обывателя. И случалось, что обыватель действительно кричал, а то и прикрикивал, как известный в середине XIX века литератор Эдуард Меннеше: «Вийон, чья жизнь и писания оскорбляют равно как мораль, так и религию и цинизм которого посягает на все, что есть святого на земле, должен издаваться не иначе как со строгими оговорками, дабы уберечь последующие поколения от его дурного влияния».

Спору нет, Вийон не образец благонравия ни в жизни, ни в стихах. Однако его репутация бандита и сутенера, загубившего свою жизнь, но зато рассказавшего об этой жизни в удивительных по искренности стихах, целиком лежит на совести некоторых его современных «почитателей». Главное же в том, что поэзия Вийона и не могла быть ни средневековой «исповедью хулигана», ни вообще исповедью в силу того простого факта, что сама идея интимной исповедальности в современном смысле этого слова была в корне чужда литературе того времени.

Хорошо и давно известно, что взгляд на поэтическое произведение как на средство обнаружения и выявления неповторимой личности его творца вошел в поэтическую культуру позже и окончательно утвердился в ней лишь романтиками. В этом, в частности, и заключался совершенный ими эпохальный переворот. Не менее хорошо известно и то, что до наступления «романтической эры» — и уж тем более во времена Вийона — господствовал другой взгляд, согласно которому литературное творчество есть своего рода упражнение в мастерстве, соревнование между поэтами, задача которых — не поразить публику уникальностью, глубиной и сложностью своего «я», а наилучшим образом разработать заданные многовековой традицией канонические мотивы, темы, жанры и образы. Здесь-то и пролегает «барьер непонимания» способный отделить нас, людей, принадлежащих к культуре нового времени, от культуры средних веков, к которой принадлежал Вийон.

Все издание, предпринятое Георгием Косиковым (а это первое научно подготовленное издание Вийона в нашей стране), целиком — от вступительной статьи до комментариев и глоссария — направлено на то, чтобы преодолеть этот барьер, помочь полюбить Вийона не вопреки, а благодаря его «средневековости» и вместе с тем уяснить его самобытное место в рамках средневековой культуры.

Вийон, пишет Г. Косиков, жил на исходе зрелого средневековья, когда устойчивые лирические каноны, возникшие по меньшей мере еще в эпоху трубадуров, от бесконечного повторения все заметнее превращались в штампы, клишировались настолько, что вызывали к себе недоверчиво-насмешливое отношение даже со стороны тех авторов, которые сами их использовали. Что же касается Вийона, то он оказался тем поэтом, который собственное творчество превратил в гигантскую и целенаправленную иронической игру со всем фондом «общих мест» средневековой лирики, и прежде всего — с самим образом «лирического героя», спародированного во всех своих ипостасях.

«Эффект неподдельности»,— пишет далее Г. Косиков,— а не продуманная установка на «исповедальную искренность», эффект, которого дано добиться только тому, кто не стремится к нему сознательно,— вот то редчайшее, замечательное качество, которое присуще поэзии Вийона и которое заставляет тянуться к нему все новые и новые поколения читателей, хотя мы и не всегда отдаем себе отчет в том, что именно затрагивает нас в Вийоне...».

Затрагивает же, конечно, не только облик поэта, но и сама пародийно-ироническая игра, которую он неутомимо ведет со средневековой культурой, хотя уловить эту игру

современному читателю тоже непросто. Во-первых, Вийон настолько захвачен реалиями современной ему столичной жизни, столь часто намекает на обстоятельства, известные лишь ему самому и его ближайшим современникам, что для понимания «Завещаний» нужно было бы самому жить в Париже времен Вийона. Во-вторых, Вийон упоенно играет не только с окружающей его реальностью, но и с самим поэтическим словом, наделяя его многозначной метафоричностью.

Открывая Вийона, нужно знать множество других вещей, например, то, что «трое маленьких сироток», которым «сердобольный» поэт якобы отказал свои последние гроши, в действительности были отвратительными жадными ростовщиками, что, «воспевая» свою «сожительницу», Толстуху Марго, Вийон имел в виду вовсе не реальную женщину, а всего лишь особу, изображенную на вывеске популярной парижской харчевни, что, даря ненавистному стражнику симпатичный «воротничок», он подразумевал веревку палача и т. д.

Читать Вийона «просто так», «с листа», без предварительной расшифровки — дело совершенно безнадежное, тем более что и его архаический язык давно уже во многом невнятен даже его соотечественникам. Вот почему Г. Косиков сопроводил старофранцузский текст его филологическим переводом на современный французский язык, выполненным известным медиевистом Андре Ланли (такое издание, с параллельными текстами, не выходило и во Франции), и вот почему необходимой частью рецензируемой книги являются обстоятельные комментарии, где прокомментирована едва ли не каждая из трех тысяч строк, составляющих творческое наследие Вийона.

Помимо комментариев и глоссария в книге содержится приложение «Вийон в русских переводах», где представлена практически вся история «русского Вийона», начиная с дореволюционных переводов В. Брюсова, Н. Гумилева и И. Эренбурга и кончая современными переводами Ф. Мендельсона. Кроме того, в книгу вошли новые, ранее не публиковавшиеся переводы из Вийона, сделанные В. Дмитриевым, Ю. Кожевниковым, Ю. Корнеевым, В. Орлом, Г. Потожевой, Ю. Стефановым, каждый из которых по-своему высветил грани стихов Вийона, блещущих смысловой многоликостью и технической виртуозностью.

Остается добавить, что концепция Г. Косикова интересна и кажется вполне убедительной. Однако истина, видимо, все же несколько шире, и правильное адекватное прочтение Вийона не исключает полностью и тех точек зрения, которые Г. Косиков решительно отвергает.

Книга стихотворений Вийона уникальна во многих отношениях и издана — благодаря стараниям редактора В. Кузьминой и художника Е. Измайлова — на очень высоком уровне. Главная ее ценность, пожалуй, в том, что она открывает широкий доступ к Вийону как любителям поэзии, так и новым поколениям поэтов-переводчиков.

М. ВАКСМАХЕР

Издано за рубежом

ЗА СЧАСТЬЕ НАРОДА

Вълка Горанова. Дълбоките корени. София, Издателство на БЗНС, 1982.

Вылка Горанова. Глубокие корни. 1982.

«...Любой подпольщик может попасть в руки полиции. И для того, чтобы выдержать многодневные пытки, особо изощренные, если ты известный коммунист, нужно обладать не только физической выносливостью, твердостью духа и упорством, но и такой нравственной силой и непоколебимой верой в светлое завтра, чтобы перед ними оказались тщетными все усилия врага...»

Этому, по сути дела, посвящена книга воспоминаний Вылки Горановой, ветерана Болгарской коммунистической партии, видного общественного деятеля, Героя Социалистического Труда НРБ. И хотя процитированные слова относятся к периоду, когда их автору, молодой подпольщице, было чуть больше двадцати, Горанова всей последующей жизнью истинного революционера-ленинца доказала, что ей присущи именно такая сила духа и непоколебимая вера в идеалы, которым она себя посвятила.

По жанру книга «Глубокие корни» — документальная проза, яркий рассказ о насыщенном событиями периоде новейшей истории Болгарии, от первой мировой войны до 22 июня 1941 года,— периоде, охватывающем также детство, юность, рано пришедшую зрелость самого автора. Но перед нами не просто мемуары, а восторженный и будничный, радостный и трагический гимн Борьбе, вернее одному из этапов славной и долготрудной борьбы болгарских коммунистов и комсомольцев против монархо-фашистского ига, за торжество свободы, добра, справедливости.

Раннее детство В. Горановой связано с воспоминаниями о первой мировой войне, на фронтах которой побывал ее отец; о трудной жизни и повседневных нелегких заботах простой крестьянской семьи; об Октябрьской революции в России, о которой так много и восторженно говорили старшие; о знаменитом солдатском Владайском восстании 1918 года. Затем в детство Горановой ворвалось пламя Сентябрьского антифашистского восстания 1923 года, жестоко подавленного, буквально затопленного реками народной крови, повсеместный террор и нарастающий гнев трудового народа...

Еще гимназисткой в районном городке Кнеже, а затем в прославленном городе русско-болгарского братства Плевене Вылка начинает постигать азы политграмоты,

науки бороться и побеждать. В первых школьных кружках и комсомольских ячейках она изучает великих революционеров-демократов Христо Ботева и Георгия Раковского, Добролюбова и Чернышевского, а затем — Горького, Маяковского, Смирненского, «Манифест Коммунистической партии» и Программу РКП(б), основы марксизма. И по-иному начинает видеть окружающий ее мир: она понимает, что за торжество добра и справедливости, свободы и счастья для простого народа нужно бороться, а руководителем в этой нелегкой борьбе может быть только коммунистическая партия. Тогда Горанова и поклялась быть преданным ее бойцом и навсегда осталась верной клятве!

Она организует кружки и низовые ячейки РМС (Рабочего молодежного союза) в родной деревне Койнаре, в плевенской гимназии, в Софийском университете; ведет нелегальную массово-политическую работу среди крестьян, студенческой молодежи, фабричных рабочих, возглавляет районные и окружные комитеты РМС в Червен Бряге, Плевене, Софии, избирается членом окружкомов партии, ЦК студенческого союза, ЦК РМС, она — связной и курьер ЦК партии, член его женской комиссии... И всю эту нелегкую опасную, связанную с постоянным риском работу Горанова успевает сочетать с учебой в университете, из которого ее исключают за «антигосударственную» деятельность и который она все же окончила экстерном.

Жизнь ее насыщена до предела: митинги, демонстрации, выступления на собраниях в рабочих и студенческих аудиториях, распространение подпольной литературы, обеспечение конспиративных квартир для руководящих деятелей ЦК партии, участие в предвыборных кампаниях, в конференциях и съездах партии и комсомола. И время от времени — аресты, пытки и допросы в полиции, где на нее заведено уже солидное досье, тюрьмы, ссылки. По нынешним меркам невозможно даже представить себе, как все это вмещалось в 15 лет жизни девочки, девушки, которой еще хотелось и много узнать, прочесть, увидеть, хотелось петь, веселиться и любить...

Не обходя стороной серьезных ошибок, допущенных в отдельный период левосектантским руководством партии, Горанова, однако, подчеркивает, что коммунисты в то время были единственной целеустремленной силой, имеющей четкий, научно обоснованный теоретический базис, и пользовались реальной популярностью среди широких масс. Будущее показало правильность димитровского партийного курса середины 30-х годов: он не только помог сохранить и укрепить партийные ряды, расширить связи партии с народными массами, сферу ее влияния на самые разные социальные слои трудящихся,— созданный впоследствии Отечественный фронт сыграл огромную роль в вооруженной борьбе против фашизма, в победе социалистической революции, в строительстве нового общества в Болгарии.

Книга Горановой ценна еще и тем, что содержит в себе личные впечатления и характеристики, немало новых сведений о жизни и деятельности славных сыновей и дочерей болгарского народа: Станке Димитрова, Георгия Дамянова, Трайчо Костова, Косты Златарева, Кати Аврамовой, Тодора Живкова, Цолы Драгойчевой, Пеко Такова, Савы Гановского — и погибших позднее народных героев: Лиляны Димитровой, Иорданки Николовой, Адальберта Антонова... С особой любовью и восторгом вспоминает Горанова о последнем — неутомимом и отважном вожаке болгарской молодежи, которого все знали под партийной кличкой Мальчик. Перед этим хрупким на вид, но волевым и самоотверженным молодым революционером оказалась бессильной вся могущественная полицейская машина. Девизу «Счастье для меня — бороться за счастье народа!» Адальберт Антонов-Мальчик остался верным до конца своей короткой, но прекрасной жизни, оборванной пулями палачей в 1942 году. (На его процессе проходило и дело Горановой, закончившееся вынесением ей смертного приговора заочно.)

Автору посчастливилось также близко познакомиться с «матерью всех матерей», как называли в народе ту, сыном которой был герой Лейпцига и вождь болгарских коммунистов Георгий Димитров,— с бабушкой Парашкевой. Часами Вылка слушала ее рассказы о нем, о Москве, куда она ездила к сыну после того как Советское правительство вызволило Димитрова, предоставив ему советское гражданство. Словами, полными искренней любви и глубокого уважения, рисует Горанова яркий образ простой болгарки, давшей народу и всему прогрессивному человечеству выдающегося борца, трибуна, деятеля международного коммунистического и рабочего движения.

Книгу Горановой с полным правом можно назвать волнующим человеческим документом о легендарной судьбе и героических днях, суровых и тревожных буднях рыцарей революции. Хочется склонить голову перед этими незаурядными людьми, преданно служившими высоким идеям и посвятившими всю свою жизнь великой борьбе за торжество социальной справедливости.

Ценнейшим для потомков является свидетельство всякого очевидца исторических событий. Но во сто крат ценнее свидетельство того, кто являлся непосредственным участником этих событий. В. Горанова как раз из тех немногих уже оставшихся в живых, кто принимал активное участие в формировании классового сознания болгарского пролетариата, в идейно-политическом росте его авангарда — коммунистической партии, в создании всенародного антифашистского фронта, в зарождении массового движения против монархо-фашистского ига. Автор не просто рассказывает о событиях из истории своей страны и народа, она сама — одно из действующих лиц Истории.

«Глубокие корни великой коммунистической правды, посеянной и взращенной титанами нашей идеи и нашего дела,— пишет В. Горанова в обращении «К читателям»,— питали революционное сознание и деятельность моего поколения коммунистов. И в молодости, и в зрелые годы мы всегда стремились быть достойными продолжателями дела наших великих учителей, отдавать пар-

тии, народу, борьбе за светлое будущее все свои силы, знания, опыт, а если понадобится, и самое дорогое — свою жизнь...»

А. КРУЗЕНШТЕРН

«МЫ ВЕРНЕМСЯ!..»

Isabel Allende. De amor y de sombra. Barcelona Plaza & Janes, 1984.

Исабель Альенде. Любовь и тень. 1984.

Есть книги, вызванные к жизни драмой целого народа, по следам которой они были созданы, и поэтому нередко воспринимают их не как плод авторского вымысла, но документ эпохи и свидетельство очевидца. Войны, революции, жестокие тирании, стихийные бедствия прошлого, пропущенные через художественное восприятие их прямого участника, а порой и жертвы,— это не мертвый, хотя и поучительный опыт, а нечто пережитое и сопереживаемое. Вспомним хотя бы «На Западном фронте без перемен» Э. М. Ремарка, «Разгром» А. Фадеева или «Господина Президента» М. А. Астуриаса.

Думается, к произведениям такого рода относится и роман «Любовь и тень» молодой чилийской писательницы Исабель Альенде, запечатлевшей трагедию своей родины. Хорошо известно, что в латиноамериканской прозе, зержале бурной и жестокой действительности «пылающего континента», антидиктаторская тема — одна из ведущих. Но причислить рецензируемую книгу лишь к памфлетному жанру, в который обычно облекается эта тема, было бы не совсем верно, так как Альенде отнюдь не склонна к сатире. Конечно, ее роман — страстное политическое обвинение и в то же время подлинная поэма о всепобеждающей силе любви, кое в чем фантастическая, отчасти— детектив. Вот определение самой писательницы: «Это история женщины и мужчины, которые посвятили себя друг другу, спасаясь от безысходности существования. Я долго носила ее в памяти, стремясь преодолеть забвение, и только сейчас, тихими вечерами в изгнании, могу наконец все рассказать людям. Я сделаю это за своих героев и за тех, кто доверил мне свою душу со словами: бери, пиши, постарайся, чтобы воспоминания о пережитом не унесло ветром».

Племянница легендарного «товарища Президента», павшего от рук чилийских «горилл», Исабель Альенде родилась в 1942 году. Своего отца она не знала и воспитывалась матерью, которая, обнаружив литературные способности дочери, всячески их поощряла. Ее отчим, чилийский дипломат, человек широких демократических взглядов, заменил девочке отца и оказал большое влияние на ее духовное становление. С 16 лет Исабель сотрудничала в прогрессивной печати, способствуя приходу к власти правительства Народного единства, и к моменту фашистского переворота 1973 года уже пользовалась достаточной известностью в левых журналистских кругах. А это пиночетовской охранкой не прощалось...

Начались годы эмиграции в Венесуэле, которая стала для изгнанницы новой родиной. Там и вышел в свет ее первый роман «Дом духов» (1982), принесший автору широкую известность на Западе. Достаточно сказать, что за последние три года только на испанском языке книга выдержала 17 изданий и сразу же была переведена и опубликована в нескольких европейских странах, и неудивительно: Исабель Альенде сумела создать красочное, многоплановое полотно национальной жизни, в центре которого — судьба трех поколений семьи магната-землевладельца Эстебана Труэбы, воплотившей в себе силы, которые привели к власти сегодняшний чилийский фашизм. Хотя первый и второй романы И. Альенде не связаны общими героями, а действие последнего развивается уже в наше время, оба они преследуют одну цель: разоблачить и заклеймить тех, для кого народы и отдельно взятая личность лишь объект человеконенавистнических социальных экспериментов.

Книга открывается почти пасторальными картинами повседневного быта и описанием зарождающейся любви двух молодых людей (часть I. «Еще одна весна»), переходит в трагическую кульминацию, когда они на личном опыте познают ужас фашистского террора (часть II. «Тень»), и завершается прозрением героини и ее приходом в ряды борцов Сопротивления (часть III. «Милая Родина»). Главные персонажи — журналистка Ирэн и фотограф Франсиско, работающие в «светском» журнале,— выходцы из разных социальных слоев: она единственная дочь богатого предпринимателя, бросившего семью, он сын многодетного сельского учителя из испанских республиканцев, до конца жизни сохранившего революционные идеалы. И хотя у Ирэн есть приличествующий ее положению жених — армейский капитан Густаво Моранте, ее совместная работа с Франсиско, связанным с антифашистским подпольем, приводит к тому, что оба страстно полюбили друг друга. Став свидетелями расправы карателей с семьей крестьян Ранкилео и узнав о похищении их душевнобольной дочери сельской юродивой Эвангелины (которая потом была изнасилована и убита), Ирэн и Франсиско начинают собственное расследование этого преступления хунты. Им удается войти в доверие к одному из участников похищения, после чего молодые люди обнаруживают в заброшенной шахте тщательно скрываемое властями массовое захоронение жертв фашистской охранки, что грозит диктатуре публичным скандалом. В строптивую журналистку, осмелившуюся проникнуть в самые заповедные секреты режима, стреляют из автомашины, несущейся мимо входа в редакцию... Долгое время, под угрозой повторного покушения, она борется со смертью в больнице, окруженной агентами тайной полиции. Лишь до неузнаваемости изменив внешность с помощью друга подпольщиков парикмахера и косметолога Марио, обслуживающего влиятельную дамскую «элиту», ей удается перехитрить убийц и вместе с любимым нелегально покинуть

родину, освобождение которой от тирании станет отныне главным делом ее жизни.

Сама фабула книги показывает, что перед нами — произведение остросюжетное и, как уже отмечалось, с элементами детектива. Есть в нем и фантастика, свойственная «магическому реализму», хотя и не столь ярко выраженная, как в «Доме духов». Главное действующее лицо, с которым связаны проявления «чудесного»,— Эвангелина Ранкилео, обладающая даром ясновидения, а в моменты припадков — сказочной физической силой. «Магическая» стихия романа проявляется и в том, что изображаемая в нем действительность, постоянно «раздваиваясь» в восприятии читателя, держит его в растущем напряжении. С одной стороны, перед нами безмятежная, полупатриархальная жизнь типичной латиноамериканской республики со всеми внешними атрибутами хваленой буржуазной демократии. С другой — по ходу действия романа вместе с его героями мы проникаем за этот лживый фасад, в самые недра дьявольского механизма пиночетовской тирании, где, как в рисунках позднего Гойи, размыты границы вероятного и невероятного...

Несомненными достоинствами нового произведения Исабель Альенде, на мой взгляд, являются его язык и композиционная традиционность. Стиль повествования сочетает простоту и доходчивость классических образцов испаноязычной прозы с очень умеренным использованием неологизмов и местной лексики. Сюжет развивается в строгой хронологической последовательности, а судьбы многочисленных персонажей тесно и убедительно взаимосвязаны в соответствии с общим замыслом романиста.

Автора романа отличает не только художественное мастерство при воссоздании типично чилийского колорита, но и последовательно демократическая, антифашистская позиция, когда речь идет об определении виновников нынешней трагедии Чили и о тех силах, которые им противостоят. И хотя водораздел между друзьями и врагами демократии прослеживается в книге предельно четко, писательницу никак нельзя обвинить в политическом схематизме или вульгарном социологизме при обрисовке персонажей. Образы романа порой так же противоречивы, сложны и неоднозначны, как сама жизнь. Куда, например, отнести потомственного военного Моранте, типичного представителя офицерской касты, фанатично преданного своему профессиональному долгу, но в конце концов выступившего против бесчеловечного режима? Или содержателя салона красоты Марио, к которому благоволят фашистские боссы и их жены, а он тайно работает на подпольщиков и спасает от неминуемой смерти тяжелораненую Ирэн. Непростые судьбы этих людей, так же как и внутренняя эволюция многих других героев романа, наглядно показывают, что чилийский народ в целом созрел для решительных действий и даже его относительно привилегированный слой отвергает власть диктатуры.

Символична в этом смысле фигура капитана Моранте, которому главный герой романа Франсиско, намекая на его профессию, дал прозвище «Обрученный со смертью». Оно оказалось пророческим: потрясенный разоблачениями, сделанными Ирэн, и учиненной над ней расправой, он с группой молодых офицеров начал готовить восстание в одном из отдаленных гарнизонов страны, но, недооценив вездесущей службы безопасности, попал в ее сети. Самые изощренные пытки не смогли заставить его заговорить, и он погиб, так и не выдав товарищей. Узнав об этом, Франсиско говорит о своем прежнем сопернике: «Если в армии есть подобные люди, значит, не все потеряно. Дух мятежа невозможно сдерживать бесконечно. Он будет шириться и набирать силу до тех пор, пока в наших казармах не хватит пуль, чтобы расправиться с бунтовщиками. И тогда солдаты объединятся с народом, а из горнила страданий и насилия возникнет новая Родина».

Особого внимания заслуживают те завершающие страницы книги, где говорится об участии в движении Сопротивления отдельных представителей католического духовенства и, в частности, священника Хосе Леаля, родного брата Франсиско. Известно, что чилийский епископат в свое время лояльно сотрудничал с правительством Народного единства, а после установления диктатуры нередко находился в скрытой, а порой и откровенной оппозиции к режиму. Во многих странах Латинской Америки, особенно в Чили, среди низового клира и даже части иерархии весьма ощутимы антифашистские, антидиктаторские и антиимпериалистические настроения, что позволяет говорить о существовании на континенте «мятежной церкви». О том, как она действует, используя официальные и неофициальные каналы, можно узнать из финальных сцен романа: разоблачительные материалы, собранные Ирэн, становятся достоянием общественности, не в последнюю очередь благодаря личному мужеству священника-конспиратора Хосе Леаля и помощи его покровителя — кардинала. Думается, с учетом сегодняшней чилийской специфики Исабель Альенде достаточно убедительно показала, что церкви с диктатурой не по пути.

В заключение следует сказать о персонаже, который хотя прямо и не появляется на страницах книги, но незримо присутствует при самых жестоких и отвратительных преступлениях, о которых рассказывает роман. Это Пиночет, нигде не названный по имени (так же, как и страна, которой он правит), но сосредоточивший в себе всю мерзость, бесчеловечность и лживость фашистской тирании. Мы узнаем о нем по отдельным репликам и указаниям, передаваемым диктатором своей камарилье. «Перлы» его красноречия, позаимствованные из правой чилийской прессы, тоже с достаточной ясностью рисуют зловещий образ.

Закрыта последняя страница книги. Перед глазами читателя все еще стоят Ирэн и Франсиско, которые после тяжелого пути в горах пересекли границу порабощенной Родины. «Вернемся ли мы?» — спрашивает девушка. «Мы вернемся!» — уверенно отвечает ее суженый. И эта уверенность станет отныне смыслом их существования.

С. МАМОНТОВ

ВО ВРЕМЕНА ТУНИССКИХ БЕЕВ

Бен Слама Аль-Бешир. Аиша. Издание автора. Тунис, 1982. (На арабском языке)

Роман «Аиша» — первое крупное художественное произведение Аль-Бешира Бен Сламы — министра культуры Туниса и главного редактора литературного журнала «Аль-фикр». По специальности Бен Слама (род. в 1931 г.) — преподаватель арабского языка и литературы. Ему принадлежит ряд трудов по вопросам арабского языка, истории, социологии и национально-освободительного движения. В периодической прессе публиковались его рассказы, объединенные позднее в сборник «Новеллы-наброски».

Роман «Аиша» должен составить первую часть задуманной автором тетралогии под названием «Идущие мимо», герои которой, по словам писателя, «движутся по жизни и смерти, находясь и в пути и в покое, испытывая горе и счастье, наслаждение и боль». Вместе с тем «Аиша» представляет собой вполне самостоятельное, законченное произведение.

Действие романа происходит в 30—40-е годы XX века во времена французского протектората, когда Тунис, номинально монархия, управляемая беем, династия которого восходит к эпохе турецко-османского господства, фактически представлял собой колонию Франции.

Для произведения характерно обилие сюжетных коллизий и действующих лиц, однако все они концентрируются вокруг образа главного героя Тахера.

Деревенский парень тайком бежит из родного селения в столицу, спасаясь от деспота-отца, притеснений расистски настроенных учителей и директора французской школы. В городе Тунисе Тахер сначала живет у родственника — шейха мусульманского университета «Аз-зейтуны», постигая премудрости теологии, затем покидает его и пытается существовать самостоятельным трудом. Однако отец, состоятельный феллах, не хочет, чтобы сын стал простым рабочим. Он устраивает Тахера на службу к давнему знакомому, фарику Мустафе, выходцу из местной аристократии, близко связанной с беем (фарик — одно из высших воинских званий в старом Тунисе). Расторопный и смышленый Тахер быстро завоевывает доверие старого аристократа, который назначает его управляющим своими имениями и магазинами. Для Тахера начинается новая жизнь. Во дворце фарика его окружает утонченная роскошь. Он становится приятелем сына хозяина Аделя — ленивого и развращенного барича, претендующего на либеральность, с которым ведет споры на литературные и политические темы. Ему удается завоевать любовь приемной дочери фарика Зубейды — сироты знатного происхождения — и жениться на ней. У них и родится дочь Аиша.

Однако со временем Тахера начинает тяготить пребывание во дворце фарика. Ему претит царящая там атмосфера лицемерного пресмыкательства перед главой семьи, раболепствующего в свою очередь перед беем. Тахер откровенно считает тунисских беев рабами французов, а своего хозяина и других аристократов — «рабами рабов».

Жена Тахера Зубейда тайком изменяет ему с Аделем. Не в силах больше выносить жизнь во дворце, Тахер покидает его вместе с женой, Аишей и маленьким Насером, которому вряд ли доводится отцом.

С помощью фарика Тахер получает работу в финансовом ведомстве. Вместе с семьей он ютится в убогой квартире старого квартала. Жена и дочь, привыкшие к роскошной жизни, чахнут день ото дня. Сам Тахер становится деспотом, жестоко тиранящим жену и детей. У него появляются сомнительные друзья, с которыми он ведет разгульную жизнь; он берет в дом вторую жену — молодую вдову с тремя детьми. Насер, ненавидящий Тахера, становится преступником и попадает в тюрьму.

Тем временем начинается вторая мировая война. Тунис подвергается бомбардировкам, его жители испытывают голод и лишения. Тахер решает вернуться в деревню вместе с двумя женами и детьми. В семье происходят бесконечные распри. Вторая жена изменяет ему с вернувшимся из тюрьмы Насером, а ее сын соблазняет Аишу. Тахер выдает дочь замуж за унтер-офицера французской армии Халеда, который, узнав «тайну» жены, умирает. Аишу снова выдают замуж — на этот раз за семидесятилетнего вдовца-крестьянина. И вот трагический финал: впавшая в отчаяние Аиша умирает от чахотки.

За внешними, на первый взгляд не очень значительными семейно-бытовыми и любовными перипетиями романа встает, однако, довольно точная и правдивая картина жизни Туниса 30—40-х годов.

На страницах произведения мы встречаем представителей самых различных слоев тунисского общества. В романе описывается и суматошливое, шумное житье обитателей старых арабских кварталов, ремесленников, торговцев, бродячих разносчиков, развлечения завсегдатаев кофеен, своеобразный быт студентов богословского университета «Аз-зейтуны», приехавших «искать знаний» со всех концов страны. Не менее колоритны и этнографически точны описания деревни, тяжелого труда феллахов, их старинных обычаев и обрядов. В романе правдиво нарисована и жизнь представителей тунисской аристократии, которые верой и правдой, как фарик Мустафа служат своим хозяевам беям и иностранным колонизаторам. Автор дает почувствовать всю глубину пропасти, отделяющую знать от угнетенного и забитого народа, не имеющего куска хлеба.

Много места в романе уделено положению тунисской женщины, этой по выражению автора, «рабыни в четвертой степени», находившейся в старом Тунисе на низшей ступени социальной иерархии. Женщины не хотят мириться с приниженным положением в семье и обществе, однако их «бунт» чисто негативен: они находят мстительное удовлетворение в супружеских изменах.

Тунисская пресса опубликовала ряд рецензий на роман, принадлежащих критикам нескольких арабских стран. Авторы отме-

чают реалистический характер произведения указывая на его близость к творчеству недавно умершего крупного тунисского прозаика Бешира Храйефа и «каирскому циклу» романов известного египетского писателя Нагиба Махфуза.

Однако, в отличие от произведений Храйефа и Махфуза, повествование Бен Сламы окрашено в более мрачные, пессимистические тона. Над героями «Аиши» словно тяготеет неумолимый рок, все время приближая их к гибели, физической или духовной. Критики усматривают в этой тенденции влияние философии экзистенциализма.

Хотя оценки «Аиши» критиками носят в целом положительный, а иногда и хвалебный характер, некоторые рецензенты отмечают и недостатки романа. По словам одного из них, «автор не доверяет своим героям и все время водит их за руку». Вместо того чтобы показать характеры в действиях и поступках, он зачастую рассказывает о них. Иногда этот рассказ краток и конспективен, даже в кульминационных моментах повествования, а отсюда проистекает схематизм в обрисовке главных персонажей. Персонажи второстепенные, прежде всего колоритные народные типы, удались автору больше.

Вместе с тем критика отмечает удачное композиционное решение романа, его стилистические достоинства. Автор там, где это нужно для передачи местного колорита, использует и диалектизмы (в названиях предметов быта, одежды, национальных блюд). В конце книги приводится список диалектизмов и дается их объяснение.

Следует отметить, что роман прекрасно сделан в полиграфическом отношении. Весь его текст огласован, то есть в нем обозначены в виде надстрочных и подстрочных знаков гласные звуки, что обычно практикуется только при печатании Корана и изредка поэзии. Это, видимо, сделано с целью облегчить чтение малоподготовленному читателю.

Бен Сламе, делающему только первые шаги на поприще художественной литературы, удалось создать интересное произведение, проникнутое искренним сочувствием к тяжелым судьбам простых людей.

Л. СТЕПАНОВ

◆

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

САТИРА ЭЛЬФРИДЫ ЕЛИНЕК

Одна из героинь нового романа известной австрийской писательницы Эльфриды Елинек «О глушь, о защита от нее» — семидесятилетняя поэтесса Айххольцер, до сих пор живущая воспоминаниями о гитлеровских временах. Она пишет мемуары о некоем знаменитом философе, который отличался в те годы приверженностью к «национал-социалистскому образу мышления». Айххольцерша — так называют ее знакомые — любит окружать себя молодыми людьми, «новыми интеллектуалами». Правда, главным предметом ее интереса становится молодой дровосек Эрих, который за весьма скромную плату приносит ей из деревни продукты; теперь ей хочется «его самого в придачу».

Перед нами, без сомнения, «горькая сатира на культурную жизнь Австрии», пишет в газете «Франкфуртер альгемайне» критик У. Вайнцирль. Но Елинек касается и других сторон современной австрийской действительности. На охоте, которую устроил в своих угодьях некий «торговый король», дровосек Эрих привлекает к себе внимание еще одной дамы. Юноша пытается бегством спастись от ее домогательств. Но охотничьи угодья бдительно охраняются, и Эрих гибнет от пули одного из телохранителей «короля». «Погиб еще один представитель большинства,— саркастически комментирует на страницах романа Э. Елинек,— и никто этого даже не заметил, в обществе ничего не изменилось».

«В книге затронуто множество актуальных тем,— пишет критик,— это утонченный террор средств массовой информации, которые легко превращают ложь в истину, это эксплуатация во имя «потребительства», «браки по расчету» в политической жизни, это новая «мистика природы» — своеобразная философия некоторых «защитников» окружающей среды, словно не замечающих, что природа, которую они призывают охранять, принадлежит миллионерам... В этом мире звучат лозунги: «Иностранцы — вон, туристы — добро пожаловать», здесь каждый живет в постоянном страхе»,— заключает У. Вайнцирль.

БОЛГАРИЯ

УНИКАЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Как сообщает газета «Литературен фронт», в Болгарской академии наук продолжается работа над уникальным изданием — трехтомной «Энциклопедией Кирилла и Мефодия», первый том которой был выпущен в свет к 1130-летию создания славянской письменности. Славянская азбука сыграла выдающуюся роль в дальнейшем развитии культуры славянских народов, но в мировой славистике до сих пор не было исследования, подробно рассказывающего о деятельности Кирилла и Мефодия и продолжении их традиций.

Идея создания такой энциклопедии возникла в Институте литературы при Болгарской академии наук также в связи с возрастанием интереса к древнеболгарской литературе и культуре. Поэтому трехтомник рассказывает о различных сторонах общественной и культурной жизни Болгарии начиная с IX века. В создании «Энциклопедии Кирилла и Мефодия» принимают участие ведущие научные институты Болгарской академии наук:

Первый том «Энциклопедии Кирилла и Мефодия».

(Еженедельник «АБВ»)

Институт литературы, Институт болгарского языка, Научный центр по изучению деятельности Кирилла и Мефодия. Издание имеет тщательно составленный словник, включающий около тысячи названий, обширную постатейную и общую библиографию. Энциклопедия богато иллюстрирована и содержит факсимиле отрывков из многих упоминающихся в ней рукописей. Работу над этим уникальным изданием возглавляет известный болгарский ученый, академик Петр Динеков.

ЮБИЛЕЙ ВИДНОГО КРИТИКА

«Созданное им более чем за тридцать лет литературной деятельности поражает своей обширностью и многообразием, почти энциклопедичностью»,— говорится в статье, опубликованной в журнале «Септември» в связи с 70-летием видного кри-

тика, литературоведа, публициста, директора Института литературы Ефрема Каранфилова. Е. Каранфилов всегда считал литературную критику самой высокой гражданской и человеческой миссией. А цель литературы, особенно социалистической, подчеркивал он,—духовное совершенствование человека, приобщение его к великим гуманистическим идеалам. В своих статьях и исследованиях он писал о Толстом и Лермонтове, о Сервантесе и Андерсене, о Томасе Манне и Стендале. Его привлекали образы мечтателей и героев, те вершины национального и общечеловеческого духа, которые во все времена служат нам нравственными примерами, отмечает обозреватель журнала «Септември»; таким людям Каранфилов посвятил свою литературоведческую трилогию «Герои и характеры».

Но при всем многообразии интересов Е. Каранфилова, продолжает обозреватель, основное направление его творчества отвечает в первую очередь задачам современности. Ученый постоянно обращается к исследованию истории своей страны, к изучению болгарского национального характера. Именно с этих позиций он подходил к материалу при создании трилогии «Болгары» (она была удостоена высшей государственной награды Болгарии — Димитровской премии).

Читатель также хорошо знает книги Каранфилова о прозе и поэзии, о мемуарной литературе, его эссе из сборника «Корни и колеса», его последнюю книгу «Эссе-воспоминания», объединившую множество интересных автобиографических фактов.

АКТЕРЫ-БЛИЗНЕЦЫ

Три года назад в Драматическом театре г. Разграда состоялась премьера спектакля по пьесе В. Шекспира «Комедия ошибок». Каково же было изумление зрителей, когда в ролях Антифола Эфесского и Антифола Сиракузского они увидели настоящих близнецов:

Иван Чипариков в роли Жака и Георгий Чипариков в роли шута Оселка в спектакле Разградского драматического театра по пьесе В. Шекспира «Как вам это понравится».

(Еженедельник «Пулс»)

роли исполняли выпускники Высшего института театрального искусства, братья-близнецы Иван и Георгий Чипариковы. Профессор Елка Михайлова, в классе которой они учились, говорит в интервью еженедельнику «Пулс»: «Близнецы Чипариковы похожи лишь внешне, но на сцене у каждого из них — свое лицо. Актеры-близнецы — единственные в болгарском театре».

То, что Иван и Георгий — совершенно разные актерские индивидуальности, подтвердил и следующий спектакль, снова по Шекспиру — «Как вам это понравится». Иван сыграл мечтателя и мизантропа Жака, а Георгий — придворного шута Оселка. Критика отметила умение братьев Чипариковых быстро находить контакт с аудиторией, хорошую актерскую школу. А когда корреспондент болгарского еженедельника «Пулс» обратился к близнецам с вопросом, о какой роли они мечтают, то здесь вкусы братьев совпали — это роль Гамлета, но разделенная на двоих актеров.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ЧЕСТЕРТОН В «БОДЛИ ХЕД»

Когда книги писателя выходят в «Бодли хед», одном из старейших и ведущих английских издательств, — это, отмечает рецензент «Таймс литерари сапплмент» Рой Хэттерсли, показатель того, что автор не просто перешел в ранг классиков, а стал «классическим классиком». Такой жребий выпал и Гилберту Киту Честертону, одному из самых ярких и оригинальных умов в английской литературе XX столетия: издательство «Бодли хед» выпустило весьма представительный том избранных произведений Честертона. Составителем и автором предисловия выступил видный критик и литературовед П. Каванэ.

Что бы ни писал Честертон — короткие заметки или литературоведческие статьи, биографии или исторические труды, рассказы или стихотворения, — он всегда, подчеркивает Р. Хэттерсли, оставался блистательным эссеистом. В самом деле, продолжает критик, рассказы Честертона по своей природе не что иное, как собранные воедино эссе. В них, замечает рецензент, каждая глава представляет собой законченное целое и может существовать вне общей структуры книги.

Составляя том произведений Честертона, в который вошли его стихотворения и многочисленные прозаические произведения, П. Каванэ в первую очередь стремился отразить в книге обаяние личности, щедрость натуры, яркость ума писателя.

ГДР

НАСЛЕДИЕ АННЫ ЗЕГЕРС

В 1984 году тихая улица Фольксвольштрассе на юго-восточной окраине Берлина была переименована: теперь она называется Анна-Зегерс-штрассе. В доме 81 по этой улице, в скромной квартире на третьем этаже, прославленная писательница жила с 1955 года и до своей кончины. Здесь разместился теперь Архив Анны Зегерс, находящийся в ведении Академии искусств ГДР. Заведующий—доктор Ханс Баумгарт—и три его помощницы собирают, систематизируют, изучают материалы о жизни и творчестве писательницы.

До недавнего времени первая печатная работа Анны Зегерс «Мертвецы с острова Дьяль» — рассказ-легенда, опубликованный в газете «Франкфуртер цайтунг» в 1924 году,— был известен только узкому кругу читателей по специальным научным изданиям. Теперь этот рассказ вме-

---

«Театер им паласт» осуществил постановку по книге Светланы Алексиевич «У войны — не женское лицо». Работа над спектаклем проходила в содружестве с московским Театром на Таганке.

Как отмечает газета «Берлинер цайтунг», режиссеру Курту Фету и актерскому коллективу «удалось создать интересный спектакль, строгий и лаконичный по форме, лишенный ложного пафоса, но глубоко символичный».

В инсценировке «Театер им паласт» звучит музыка Рольфа Фишера, стихи и песни Стеффена Меншинга и Ханса-Эккарта Венцеля, рассказывающие о стойкости героинь Светланы Алексиевич.

На снимке: сцена из спектакля «У войны — не женское лицо».

(Газета «Берлинер цайтунг»)

сте с поздним произведением — фантастической повестью «Предания о пришельцах с других планет» — издательство «Ауфбау» выпустило отдельной книжкой. Многие читатели знают Анну Зегерс только как автора реалистических социальных романов, однако эта книга показывает, насколько органичным для ее таланта было тяготение к сказке, легенде, притче.

В Архив Анны Зегерс поступают новые биографические материалы. Это, например, недавно найденное интервью, которое она дала корреспонденту мексиканского журнала «Футуро» весной 1943 года. Комментируя события на советско-германском фронте, писательница выразила глубокую уверенность в том, что советский народ победит. Она рассказала корреспонденту о подпольной борьбе антифашистов в третьем рейхе. На вопрос о планах она ответила: «Ознакомиться с Мексикой, изучить испанский язык, написать большой роман социального содержания наподобие «Седьмого креста». Писать, работать... Я надеюсь, что снова увижу Европу свободной...»

К 85-летию со дня рождения Анны Зегерс работники Архива вместе с сотрудниками Берлинской городской библиотеки устроили выставку, посвященную жизни и творчеству писательницы.

К этой знаменательной дате вышли также новые публикации ее писем.

Письма к Францу Вайскопфу, напечатанные в журнале «Нойе дойче литератур», относятся к самому тяжкому периоду жизни Анны Зегерс — к началу второй мировой войны. Муж Зегерс, ученый-социолог и антифашистский деятель Л. Радвани, был арестован полицией Даладье; сама Анна Зегерс с двумя детьми нелегально перебралась на юг Франции и погрузилась в долгие и тяжелые хлопоты об освобождении мужа из лагеря. Зегерс неоднократно писала Ф. Вайскопфу, находившемуся в США,— ему была послана рукопись романа «Седьмой крест», и он старался добиться ее издания. В письмах к Вайскопфу, отмечает журнал «Нойе дойче литератур», отразились невыносимо трудные условия жизни писательницы и вместе с тем — ее неиссякаемое мужество.

Отдельной книгой вышла в юбилейный год переписка Анны Зегерс с Виландом Херцфельде — известным критиком и редактором. Находясь в Нью-Йорке, он пытался создать издательство для немецких писателей-эмигрантов. Когда это ему наконец удалось, одной из первых он выпустил книгу Анны Зегерс «Прогулка мертвых девушек и другие рассказы». В письмах Зегерс и Херцфельде раскрываются условия жизни и работы антифашистов-эмигрантов в Мексике и США. В этой же книге впервые опубликована статья Анны Зегерс «Женщины и дети в эмиграции».

Сцена из спектакля «Дознание».

(Журнал «Театер дер цайт»)

ПЬЕСЫ ПЕТЕРА ВАЙСА СНОВА НА СЦЕНЕ

На последних гастролях в Берлине «Ландестеатер» (город Галле) показал спектакль по пьесе Петера Вайса «Дознание», сообщает газета «Берлинер цайтунг».

Эта «оратория в одиннадцати песнях» документально отражает франкфуртский процесс — суд над нацистскими палачами, состоявшийся через четверть века после совершения неслыханных преступлений в Освенциме.

Написанное буквально по следам процесса, «Дознание» имело огромный успех и было сразу поставлено одновременно на шестнадцати сценах ГДР, ФРГ, Австрии и Швейцарии.

И теперь, через двадцать лет, пьеса не утратила актуальности.

«В моей пьесе об Освенциме,— говорил Петер Вайс в интервью журналу «Зинн унд форм» в 1965 году,— нет никакого смещения во времени, никаких приемов, бьющих на эффект. Все построено на диалоге, слово должно действовать достаточно сильно и убедительно...»

Декораций в спектакле режиссера Петера Зоданна почти нет: на сцене два ряда стульев для обвиняемых, три стола для судей и защитников. Оставшиеся в живых после ада Освенцима предъявляют обвинение от имени замученных и зверски убитых.

«Это не театральное действо,— отмечает «Берлинер цайтунг», — а скорее чтение свидетельских показаний. И чтение это подчеркнуто сухо и строго. Обвиняемые циничны в своем упорстве: они ничего не знали, только выполняли приказ, верные долгу».

Петер Вайс в интервью газете «Берлинер цайтунг» однажды заметил: «Когда я берусь за исторические темы, меня прежде всего интересует связь с современностью».

В этой пьесе — историческом документе, талантливо воплощенном театральным коллективом из Галле,— обвиняются не только эсэсовцы, несущие ответственность за чудовищные пытки, опыты на живых людях, газовые камеры. «В постановке П. Зоданна разоблачается империализм как система»,— заключает рецензент «Берлинер цайтунг».

ГРЕЦИЯ

ФИЛЬМ О КОММУНИСТАХ

В Греции с большим успехом демонстрируется художественный фильм «Каменные годы» известного режиссера Панделиса Вулгариса. Картина П. Вулгариса — одна из немногих в националь-

---

Министр культуры Греции Мелина Меркури не забывает о своем актерском призвании: она снимается в новом фильме известного режиссера Жюля Дассена. Играет Мелина Меркури актрису, репетирующую роль Медеи в трагедии Еврипида. На снимке: Мелина Меркури на кинопробах.

(Журнал «Фильмшпигель»)

Фемис Базака в роли Элени в фильме П. Вулгариса «Каменные годы».

(Газета «Ризоспастис»)

ном кинематографе лент, которые правдиво рассказывают о драматических событиях послевоенной греческой истории, о том, как коммунисты после поражения демократических сил в кровопролитной гражданской войне 1946—1949 гг. продолжали самоотверженную борьбу за новую, демократическую Элладу, продолжали ее в глубоком подполье, а также в тюрьмах и концлагерях, находившихся на пустынных островах Эгейского моря. Как отмечает газета «Ризоспастис», в фильме «Каменные годы» кинозритель впервые увидел на экране Грецию «черных полковников». В новой работе П. Вулгариса (им же написан и сценарий фильма) убедительно воссоздана гнетущая атмосфера конца 60-х — начала 70-х годов, когда страна была превращена в тюремный застенок.

«Каменные годы» потрясают зрителя своей суровой правдой. В основу фильма положена история жизни двух коммунистов — Элени Вулгари и Бабиса Големаса, которые двадцать лет провели в заключении, но сумели через все страдания и нечеловеческие муки пронести большую, настоящую любовь. Из двадцати лет своей жизни, о которых рассказывает фильм, Элени и Бабис пробыли вместе всего три дня. Вместе с тысячами других коммунистов и демократов Бабис был сослан на «острова смерти». Элени, десять долгих лет скрывавшаяся в подполье, была схвачена и, как коммунистка, приговорена за «государственную измену» к десяти годам тюремного заключения. За решеткой у Элени родился сын Мильтиадис. Детство мальчика проходит в тюрьме. Он делит с матерью и ее подругами горечь отчаяния и сладость надежды. Заканчивается фильм сценой встречи Элени и Бабиса после долгих, «каменных» лет разлуки.

«В финале картины,— говорит режиссер П. Вулгарис в интервью, опубликованном газетой «Ризоспастис»,— Элени пристально смотрит с экрана нам в глаза. Она как бы вручает зрителю эстафету борьбы, как бы говорит ему: «Думай, действуй, борись! Ведь это не только моя жизнь: это судьба послевоенной Греции».

Панделис Вулгарис, получивший известность в Греции и за рубежом благодаря фильмам «Счастливый день», «Сватовство Анны» и другим, в годы военно-фашистской диктатуры подвергался преследованиям за свои прогрессивные взгляды, был арестован, осужден и несколько лет провел в концлагере. В концлагерном аду подружился со многими коммунистами, судьбы которых напоминают нелегкий жизненный путь Элени и Бабиса. «Я стремился раскрыть всю глубину подвига коммунистов, — подчеркнул в интервью режиссер.— стремился создать киноповесть, достойную героев, пожертвовавших всем во имя высокой, светлой цели».

Актерская работа Фемис Базака, исполнительницы роли Элени. была отмечена специальным дипломом на Международном кинофестивале в Венеции (1985).

КОСТАСУ ВАРНАЛИСУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В культурном центре афинского муниципалитета была организована выставка «Костас Варналис (1884—1974)». Творчество этого крупнейшего писателя, лауреата Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», пользуется в Греции неизменной популярностью. Все свое яркое дарование К. Варналис посвятил народу, его борьбе за мир, свободу, прогресс. Под влиянием Октябрьской революции в России и развития национального рабочего движения писатель пришел к марксизму, вступил в ряды КПГ. Его творчество в новогреческой литературе ознаменовало рождение революционной поэзии и прозы, заложило основы материалистической эстетики в Греции.

На выставке были представлены греческие и зарубежные издания произведений писателя, его записные книжки и письма, рукописи его лучших стихотворений и поэм, личные вещи. В витрине — первый поэтический сборник К. Варналиса «Соты», изданный небольшим тиражом в 1905 году. Рядом — подготовленный в том же году, но вышедший в свет только в 1985 году в издательстве «Кедрос» сборник «Дно». Большой интерес у посетителей выставки вызвали многочисленные материалы, посвященные творческим связям К. Варналиса с советскими писателями. Варналис всегда был большим другом нашей страны. В 1934 году он принимал участие в работе I съезда советских писателей, встречался с М. Горьким, А. Толстым, И. Эренбургом. К. Варналис хорошо знал русскую и советскую литературу, переводил на греческий язык русскую поэзию, в частности стихи А. С. Пушкина. Он также редактировал и консультировал греческие издания многих произведений русской, классической литературы. На выставке были представлены изданные в Москве повесть «Подлинная апология Сократа» (1938) и поэма «Палящий свет» (1938)— первые произведения новогреческой литературы, с которыми познакомился советский читатель.

Известные писатели, литературоведы, общественные деятели в своих выступлениях на открытии выставки отмечали, что в прозе и в поэзии этого крупнейшего писателя неизменно звучит протест против войны и насилия. Обличая пороки «свободного мира», К. Варналис утверждает веру в торжество исторической правды и справедливости.

В церемонии принимала участие приемная дочь писателя Евгения Вернали, предоставившая устроителям выставки многие документы из архива К. Варналиса и его личные вещи.

ИЗРАИЛЬ

«ПРИЗЫВ ИЗ-ЗА РЕШЕТКИ»

Как сообщает журнал «Алькятиб», в Израиле опубликован поэтический сборник «Призыв из-за решетки», написанный палестинским поэтом Аделем Вазузом в тюрьмах городов Беер-Шева и Нафха, куда он был заключен израильскими войсками.

В сборник вошли поэмы и песни, «пронизанные духом стойкости и борьбы». Предисловие к книге написал палестинский поэт Ибрахим Саид Шейха. проведший в израильских тюрьмах более 15 лет, с 1969 по 1985 год.

ИНДИЯ

ПИСАТЕЛИ ДЕРЖАТ СОВЕТ

Как сообщает еженедельник «Нью эйдж», в Джамшедпуре — крупнейшем индустриальном центре Индии — состоялась VIII конференция Ассоциации прогрессивных писателей штата Бихар, одной из наиболее активных и влиятельных писательских организаций страны.

В своих выступлениях делегаты обсудили различные аспекты движения прогрессивных писателей в штате Бихар. Особым решением были учреждены три премии, которые будут ежегодно присуждаться прогрессивным писателям штата, внесшим выдающийся вклад в литературу. Премий удостоены писатель-юморист хинди Рам Дживан Шарма, часто выступающий под псевдонимом «Дживан», прозаик урду Заки Анвар (посмертно) и поэт хинди Матхура Прасад Навин.

В качестве почетных гостей на конференции присутствовали известный поэт урду, президент Национальной федерации прогрессивных писателей Индии (НФППИ) Гулам Раббани Табан и поэт урду, президент Ассоциации народных театров Индии (ИПТА) Кайфи Азми.

ИСПАНИЯ

ПЕСНЯ — ОРУЖИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ

Во время гастролей в странах Латинской Америки известный испанский певец и композитор Хуан Мануэль Серрат выступил с новой программой «Юг тоже существует!..»

Как заявил испанский артист в своем интервью корреспонденту газеты «Хувентуд ребельде», песни нового репертуара не случайно носят политический характер, ибо песенное искусство — это прежде всего оружие политической борьбы. Новые песни были созданы Серратом в «незыблемом содружестве» с замечательным уругвайским писателем Марио Бенедетти, в чьих произведениях всегда ощутимо биение сердца современной Латинской Америки — континента, который сражается за национальную независимость и социальный прогресс.

Название программы (а также и пластинки Х. Серрата) иронично, отмечает корреспондент, оно несет в себе гневную насмешку над теми недальновидными политиками — представителями «севера» американского континента, которые считают, что жалкое прозябание где-то на «юге», на задворках их обширных «северных» владений,— удел латиноамериканцев.

Хуан Мануэль Серрат выступает с новой программой.

(Газета «Хувентуд ребельде»)

ИТАЛИЯ

МАСТЕРА КОМЕДИИ О СВОЕМ ДЕТИЩЕ

Лет пятнадцать назад, в пору расцвета итальянского комедийного кино, один из самых известных писателей страны Итало Кальвино выдвинул следующий полемически заостренный тезис: «Чем безжалостнее к нашему обществу пытается быть сатирическая комедия нравов, тем снисходительнее к нему оказывается она на поверку». Насколько справедливо это суждение и что вообще такое «комедия по-итальянски», попытался выяснить Пьетро Пинтус, составитель сборника «Комедия по-итальянски» глазами ее творцов», выпущенного по инициативе Итальянской федерации киноклубов.

Под одной обложкой собраны 45 интервью с известнейшими мастерами жанра — сценаристами Аджe и Скарпелли, режиссерами Э. Сколой, Л. Коменчини, А. Латтуадой, Д. Ризи, актерами А. Сорди, В. Гассманом, У. Тоньяцци, М. Мастроянни... Как же относятся к выпаду Кальвино и способны ли на самокритику те, кто в картинах своих привык — пускай добродушно — критиковать других?

«Будь эти фильмы резко обличительными, они не имели бы такого успеха»,— утверждает продюсер фирмы «Титанус» А. Ломбардо «Снисходительность — иначе говоря, отсутствие нравоучительного тона — можно навеяное, объяснить тем, что и сами создатели фильмов чувствуют себя вовлеченными в погоню за благосостоянием, как и их герои»,— оправдывается режиссер Луиджи Маньи. У его коллеги Альберто Латтуады мнение прямо противоположное: «Комедия по-итальянски» — не веселая сказка, а отравленная стрела; мишенью же справедливо служили умонастроения охваченной эйфорией Италии периода «экономического чуда».

Известный итальянский режиссер Луиджи Коменчини снимает фильм по роману Эльзы Моранте «История». Действие его происходит в годы второй мировой войны. Картина правдиво повествует о трагедии итальянского народа. В роли Иды снялась популярная итальянская актриса Клаудиа Кардинале. На снимке: Кадр из фильма «История».

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

В ряде интервью звучит мысль о том, что по достоинству оценить социальный заряд комических лент критикам нередко мешало сравнение их с неореалистическими фильмами, где эта направленность была выражена более явно. По мнению Моничелли, его излюбленный жанр — одно из важнейших явлений в культуре XX века, а по мнению продюсера Ф. Кристальди, каждый кадр Антониони или Феллини стоит больше, чем вся «комедия по-итальянски». «Ближе к истине,— пишет, откликаясь на выход книги, обозреватель газеты «Унита» Микеле Ансельми,— наверное, критик Мино Арджентьери, призывающий отличать глубокие фильмы, где комическое тесно переплетается с трагическим, от легковесных поделок: разве можно сравнивать прекрасные фильмы Сколы «Мы так любили друг друга» и «Необыкновенный день» с его же посредственной лентой «С вашего позволения, поговорим о женщинах»?»

Монтируя интервью, Пинтус как бы прослеживает историю развития жанра. Сталкивая различные, порой полярные точки зрения, составитель предлагает читателям сборника стереоскопическую картину жанра и одновременно — коллективный портрет поколения деятелей кино, в конечном счете объединенных общей страстью — стремлением создавать фильмы, которые и развлекают зрителя, и заставляют его задуматься. А впереди — второй том, состоящий целиком из критических эссе...

ПИНОК КУЛЬТУРЕ

Так охарактеризовал известный кинорежиссер Микеланджело Антониони прочно вошедшее в практику

частных телеканалов «прослаивание» художественных фильмов рекламными вставками. Исключения не делаются даже для произведений крупнейших мастеров.

«Мои фильмы никогда не выходят на малый экран в «первозданном» виде, — сказал в интервью итальянскому еженедельнику «Панорама» Антониони, создатель особого киноязыка, отличительными чертами которого являются длинные непрерывные планы, тщательно продуманный монтаж кадров, лаконичные диалоги и полные внутреннего напряжения долгие паузы. — Разбухшие от рекламы картины делаются чуть ли не вдвое длинней, и, поскольку никакая передача не может удерживать зрительское внимание на протяжении трех часов, неизбежны купюры. Порой из фильма изымаются получасовые фрагменты! Из моих лент больше всего пострадали «Приключение», «Красная пустыня» и «Профессия: репортер». «Ужатые» телемонтажерами, они мне кажутся работой какого-то другого режиссера».

«Мало того, что совершенно меняется ритм картины, — продолжает режиссер, — зрителю, настроившемуся на определенный стиль киноповествования, цветовую гамму, особенности звукового ряда, после каждой рекламной вставки приходится еще и заново «вживаться» в фильм. Зритель постарается сделать это раз, другой, но потом, не сумев обрести прежний душевный настрой, скорее всего сменит программу».

«Бороться с таким произволом почти бесполезно, — с горечью заключает Антониони. — Феллини подал в суд на «короля частного телевидения» Сильвио Берлюскони — и проиграл дело. Невероятно, но факт: на нас, кинорежиссеров, авторское право не распространяется».

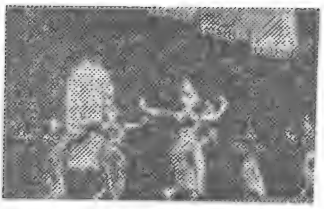
КАМПУЧИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ

Журнал кампучийской молодежи «Ювачун» («Молодежь») рассказывает о мерах по сохранению памятников национальной культуры, которые принимает правительство Народной Республики Кампучии, в частности, по сохранению уникального храмового комплекса Ангкора. Район Ангкора в древности был центром процветающего могущественного государства кхмеров — империи Камбуджадеша. Свыше семидесяти прекрасных храмовых построек, созданных руками древних зодчих, сохранилось в этом районе до наших дней. Журнал приводит выдержку из директивы секретариата ЦК НРПК о мерах по сохранению и реставрации памятников Ангкора, где говорится, что сооружения Ангкора являются национальным достоянием, символом духа и высокоразвитой цивилизации многих поколений древних кхмеров. Наиболее дорог кхмерскому народу знаменитый храм Ангкорват, воздвигнутый в период правления императора Сурьявармана II (1113—1150). Созданный в эпоху наивысшего расцвета Кампучии, Ангкорват воплотил в себе лучшие черты кхмерского зодчества и стал непреходящим символом нации. Изображение храма украшает алое полотнище государственного флага НРК. Ангкорват поражает своей величественной гармонией, сложностью форм. Облик храма причудлив и воздушен, несмотря на грандиозные размеры (его площадь 1000 метров на 850). На трех террасах, уступами поднимающихся вверх, расположены пять высоких башен в форме бутонов лотоса. Подходы к храму оформлены фигурами многоглавых мифических змей «наг».

Храмовой комплекс Ангкора.

(Журнал «Махасамаккикраомтингранасе»)



«Небесные» танцовщицы — апсары.

(Журнал «Уимен оф Кампучиа»)

Особую историко-художественную ценность, подчеркивает «Ювачун», представляют собой рельефные изображения на стенах храма. Это и сцены из жизни Сурьявармана II, и эпизоды из «Махабхараты», и сцены из «Рамаяны».

Фигуры «небесных» танцовщиц апсар в позах национального кхмерского танца — один из основных элементов декора древнего храма. Изображение апсары очень популярное среди кхмеров, представляет собой символ культуры Кампучии.

Ангкорват пострадал от вражеских нашествий, отмечает журнал «Ювачун», неумолимое время также оставило свой след на памятнике в недавнем прошлом в районе Ангкора шли бои: все это нанесло храмовому комплексу немалый урон. Уже в 1980 году в НРК был создан комитет по реставрации памятников культуры. В Ангкоре начаты реставрационные работы. Несмотря на трудности, правительство выделяет из бюджета значительные средства на восстановление Ангкора. Сейчас древний памятник культуры уже начал принимать посетителей.

КОЛУМБИЯ

ПРЕМИИ ИЛИ РАБОТА?

Ежегодно начиная с 1977 года десятого декабря выходит официальное сообщение о том, кто стал новым лауреатом премии Сервантеса — одной из авторитетных литературных премий для пишущих на испанском языке. Когда жюри премии Сервантеса сообщило Гарсиа Маркесу, что ему собираются присудить премию 1985 года «за большой вклад в развитие испаноязычной литературы», Гарсиа Маркес наотрез отказался принять награду.

«Дело не в шестидесяти двух тысячах долларов, в которых иные писатели нуждаются гораздо больше, чем я,— сказал в одном из интервью Гарсиа Маркес, объясняя свой отказ.— Дело в том, что сейчас на литературном горизонте появилось много пишущих по-испански прекрасных прозаиков, достойных этой премии. Я не хочу называть их имена, чтобы мое субъективное мнение не повлияло на авторитетное решение полномочной комиссии. Кроме того, я бесконечно устал от назойливых телефонных звонков, панибратства интервьюеров, утомительных церемоний. Единственное, чего бы мне сейчас хотелось,— это спокойно закончить свой новый роман».

Очередное детище писателя, сообщает автор статьи «Роды Гарсиа Маркеса», опубликованной боготинским литературным журналом «Кромос», называется «Любовь во времена холеры». Действие его происходит в Картахене, одном из колумбийских департаментов, в самом начале нашего века, в разгар так называемой «тысячедневной войны». Известно, что в эти годы в Колумбии свирепствовала холера. В романе не только описаны события той поры, в его основу легли и богатейшие фольклорные традиции региона, поэтому «история любви» — а вновь встретившимся влюбленным уже под восемьдесят — дает возможность рассказать читателю о Картахене, одном из самых удивительных районов Колумбии (материалы по фольклору и обычаям Картахены Гарсиа Маркес начал собирать еще в 1949 году). Снова, как и в романе «Сто лет одиночества», в центре книги — небольшой провин-

циальный городок — настоящий картахенский «пуэбло».

Гарсиа Маркес, сообщает журнал «Кромос», работал над последним романом по-новому: обзавелся домашним компьютером и создавал книгу с его помощью, без обычного своего «посредника» — пишущей машинки. Получилось около трех компьютерных дисков, что в переводе на машинопись соответствует восьмистам страницам текста. Роман вышел одновременно во многих странах Латинской Америки, а также в Испании.

КУБА

СОВЕТСКИЙ ЛИТЕРАТОР — ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН УНЕАК

Орган ЦК коммунистической партии Кубы газета «Гранма» опубликовала следующее сообщение:

«Звание почетного члена Союза писателей и деятелей культуры Кубы (УНЕАК) присвоено советскому литературоведу и критику Юрию Дашкевичу. Выступая на торжественной церемонии в посольстве Кубы в Москве, советник по вопросам культуры Лисандро Отеро подчеркнул заслуги Юрия Дашкевича в деле популяризации кубинской литературы и заявил, что УНЕАК считает честью принять видного советского литератора в свои ряды. Отеро вручил Дашкевичу официальные документы — решение Национального совета Союза писателей и деятелей культуры Кубы об избрании его почетным членом, соответствующий диплом и членский билет».

Ю. В. Дашкевич — известный специалист по литературам стран Латинской Америки, автор многих статей и работ, посвященных творчеству известных кубинских писателей Хосе Марти, Хуана Маринельо, Алехо Карпентьера, Николаса Гильена, Мануэля Наварро Луна, Хосе Антонио Портуондо, Онелио Хорхе Кардосо, Мануэля Кофиньо Лопеса и других.

МОНГОЛИЯ

ЮБИЛЕЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ

Недавно газета «Утга зохиол урлаг» («Литература и искусство») отметила тридцатилетний юбилей.

50 тысяч подписчиков находят в ней материал, отвечающий интересам самого широкого круга читателей. На первой полосе, как правило, отражены насущные проблемы сегодняшней Монголии. Немалое место отводится в газете вопросам нравственного воспитания. Литературной жизни страны, теории и практике современного литературного процесса посвящены специальные рубрики «Современность и писатель», «Мысли о литературе». Писатели и литературоведы выступают на страницах газеты с серьезными теоретическими статьями и заметками по проблемам стилей и жанров, особенностей художественного творчества, делятся секретами творческой мастерской, отвечают на письма читателей.

Почти в каждом номере читатель может найти рецензию на новую книгу стихов или прозы. Рубрику «Яргуй» («Подснежник») газета предоставила молодым авторам.

Одно из центральных мест в газете занимает вопрос советско-монгольских литературных связей. Своеобразным отчетом о работе служат рассказы монгольских писателей, побывавших в творческой командировке в Советском Союзе. Писатели Монголии постоянно подчеркивают органичную связь лучших образцов монгольской литературы с произведениями советских авторов. Советской литературе принадлежит главенствующее место в числе переводных произведений, публикуемых на страницах «Утга зохиол урлаг».

ЮБИЛЕЙ НАРОДНОГО СКАЗИТЕЛЯ

В монгольской столице состоялась научная конференция, посвященная 130-летнему юбилею народного сказителя М. Парчина. С его именем связана целая эпоха в истории монгольского эпоса. Его деятельность сыграла важную роль в формировании национального самосознания монголов.

Сын простого арата-кочевника, Парчин начал исполнять свои сказки и песни с десяти лет, аккомпанируя себе на товшуре — традиционном монгольском инструменте. Расцвет творчества знаменитого сказочника совпал с началом века, когда в Монголии нарастала борьба народа за национальное освобождение.

Его баллады и торжественные оды воспевали подвиги народных героев, высмеивали жадность и высокомерие богачей, осуждали коварство и ложь, призывали к добру и справедливости.

Изгнание завоевателей из родной земли, первые революционные свершения республики, энтузиазм трудового народа в годы народной власти вдохновили выдающегося монгольского сказочника М. Парчина на создание новых оригинальных произведений, сочетавших в себе элементы древнего фольклора и современной литературы.

ПОЛЬША

«КРЕСТЬЯНСКАЯ» ПРЕМИЯ — ВЕСЛАВУ МЫСЛИВСКОМУ

Первая и единственная пока в Польше премия Клуба крестьянской культуры за роман «Камень на камне» (см. «ИЛ», 1985, № 9) присуждена Веславу Мысливскому. В статье «Деревенский или польский?», опубликованной еженедельником «Политика», критик Ежи Лисовский пишет: «Я всегда считал, что так же, как французская культура веками была «городской» и «деревенскую» проблематику обрекала на региональность, наша культура, наоборот, всегда была «деревенской». «Камень на камне» для меня — суть всего польского, книга об особенной судьбе польского народа на фоне судеб других народов, это свод польских тем на фоне общеевропейских».

На торжественной церемонии вручения премии, отмечает «Политика», выступил известный литературный критик Хенрик Береза, который три года назад первым отозвался на выход романа статьей «Свершение». «Роман «Камень на камне» является бесспорным литературным свидетельством тому, что польская культура веками верно служила насущным потребностям жизни», — подчеркнул в своей речи Х. Береза.

В заключение церемонии с «поразительной по своей открытости» речью, пишет «Политика», выступил лауреат. «Литература — это не только поиск правды о мире, — сказал В. Мысливский, — это прежде всего поиск правды о себе самом, страстное желание пробиться к себе, когда пишешь о других, а тем самым обрести себя среди других. В нерутинном творческом процессе не существует такого правила: я что-то знаю и только потому об этом пишу. Я пишу потому, что не знаю. Литература для меня не иллюстрация того, что я знаю, а лишь мерцающая в сумерках керосиновая лампа в старинной деревенской избе, ведущая меня в потемках моего неведения, недостаточной остроты осязания и предвидения. Мои книги знают обо мне больше, чем я сам, и в этом знании больше правды.

Мое творчество, — продолжал В. Мысливский, — результат мучительного отождествления своей судьбы с «деревенской» судьбой. После бесчисленных попыток определить свое место в мире я наконец открыл, что я деревенский мужик, а это для меня значит гораздо больше, чем быть родом из деревни, жить в деревне, знать деревню; это означает и возврат в некий изначальный мир, мир истинных ценностей, и возвращение в былой рай, хотя плоды в этом раю были горькими. Тернистым путем пришел я к этому простому открытию...»

РУМЫНИЯ

ИНТЕРЕС К СУДЬБАМ РУМЫНСКОГО РОМАНА

Свидетельством особого интереса, который проявляет литературная общественность Румынии к судьбам национальной прозы, является выход в последние годы капитальных исследований, посвященных роману.

Многочисленные отклики в румынской прессе вызвало обширное исследование одного из видных современных критиков Николае Манолеску «Ноев ковчег». Это интересная попытка, пишет рецензент еженедельника «Ромыния литерарэ», проследить особенности становления румынского романа в сравнении с развитием жанра в мировой литературе. Н. Манолеску подробно рассматривает судьбы трех типов румынского романа XIX и XX вв.— романа «бальзаковского» типа, психологического романа и романа, являющегося органическим синтезом первых двух.

Иной подход, продолжает рецензент, избрали другие литературоведы — Антон Косма, автор книги «Генезис румынского романа», и Теодор Выргопич, написавший книгу «Аспекты румынского романа XIX в.».

Работа А. Космы посвящена исследованию традиций румынской прозы в становлении современного романа. Большое место уделено роли фольклорного наследия, трудов летописцев, а также древних «народных книг». Как отмечает рецензент еженедельника «Ромыния литерарэ», автор доказывает, что роман является своего рода результатом перехода от мифологического мироощущения к историческому.

А в книге Т. Выргопича исследуется начальная пора развития румынского романа второй половины XIX в. на фоне общественно-исторических процессов. Автор убедительно показывает, что румынский роман — плод органического сочетания достижений национальной прозы и опыта европейского романа. Именно благодаря этому, заключает рецензент, авторы новых румынских романов — Димитрие Болинтиняну, Николае Филимон и другие — смогли внести заметный вклад в формирование общественного и художественного сознания своего времени.

США

САТИРИЧЕСКАЯ АНТИУТОПИЯ КУРТА ВОННЕГУТА

Главный герой давнего романа Курта Воннегута «Колыбель для кошки» собирался написать об атомной войне документальную книгу под названием «День, когда настал конец света» — некую «историю человеческой глупости», печальную историю о том, как человека «технотронной цивилизации» смяло безудержное наступление техники, вырвавшейся в конце концов из-под контроля разума. С тех пор Воннегут написал несколько вариантов «истории человеческой глупости», прежде всего это роман «Бойня номер пять», а также блестящая сатира на американский милитаризм «Малый не промах» (1982). К теме «человеческой глупости» писатель обратился и в своем новом романе «Галапагос», вышедшем в издательстве «Делакорте пресс».

Роман написан в жанре сатирической антиутопии: повествование ведется от имени призрака Леона Траута — сына писателя Килгора Траута, знакомого читателю по романам Воннегута «Благослови вас бог, мистер Розуотер» и «Завтрак для чемпионов». Миллион лет минуло с того момента, как трагически завершилась всеобщим ядерным самоубийством «история человеческой глупости». Случайно спаслась лишь горстка людей — пассажиров теплохода, совершавшего туристический рейс из Эквадора на Галапагосские острова... В новой книге, пишет рецензент журнала «Тайм», Воннегут использует библейский мотив: атомная катастрофа становится «символом вселенского потопа, а туристический теплоход — Ноевым ковчегом». Символично и то, что герои Воннегута селятся на Галапагосском архипелаге. Здесь, на Галапагосе, Чарльз Дарвин впервые наблюдал диковинные виды животных, что и привело его к открытию законов естественного отбора. «Однако, — замечает рецензент, — Воннегут утверждает, что природа «одурачила» ученого». Ведь, согласно концепции Дарвина, «венцом природы» становится человек, между тем именно человек, как показывает писатель, несет всю тяжесть ответственности не только за варварское истребление животного и растительного мира Земли, но и за опасность, нависшую над самим родом людским.

Ироническое «опровержение» дарвинизма, продолжает рецензент журнала «Тайм», имеет у Воннегута одну цель — показать, до какого опасного предела дошло современное человечество в своей безрассудной «борьбе за существование». В этом веселом и одновременно печальном романе Воннегута, как обычно, соседствуют ирония и грусть, гротеск и драма, комический абсурд и глубокая философичность.

Писатель снова предупреждает о смертельной угрозе, которую несет человечеству бессмысленное накопление ядерного оружия.

ПЕРВЫЙ РОМАН ИЗВЕСТНОГО УЧЕНОГО

В издательстве «Саймон энд Шустер» вышел первый роман астронома Карла Сагана «Контакт», пишет газета «Интернэшнл геральд трибюн». Сагана хорошо знают в США как автора научно-популярных книг о космосе, а также телепередачи «Космос». В последнее время общественная деятельность ученого вызывает нападки правительственных чиновников, осуждающих его резко критическую позицию в отношений «звездных войн», его настойчивое стремление предупредить человечество о возможных последствиях «ядерной зимы» — необратимых изменениях в атмосфере Земли, которые могут возникнуть в результате нарушения экологического равновесия (см. «ИЛ», 1986, № 1).

Роман «Контакт» рассказывает о поисках внеземных цивилизаций. Как утверждает автор романа, «книга не является пророчеством о первом контакте землян с инопланетянами, а лишь описывает один из возможных вариантов будущего». Главный персонаж романа — женщина, в которой нетрудно обнаружить сходство с женой и соавтором Карла Сагана Энн Друян.

Одновременно в издательстве «Рэндом хаус» вышла очередная научно-популярная книга Сагана «Комета», содержащая множество иллюстраций. Она рассказывает читателям о комете Галлея.

Отвечая на вопрос корреспондента «Интернэшнл геральд трибюн» о том, кто, по его мнению, первым ступит на Марс (К. Саган утверждает необходимость совместных советско-американских исследований этой планеты), ученый сказал, что в интересах уменьшения международной напряженности он бы просто «связал ноги советскому и американскому командирам космических кораблей и заставил их вместе спрыгнуть на поверхность Марса».

Издатели полагают, что обе книги в ближайшее время займут места в списках бестселлеров художественной и научно-популярной литературы.

ФРАНЦИЯ

НЕУТОМИМЫЙ ТРУЖЕНИК БЕРНАР КЛАВЕЛЬ

«Кто вы, Бернар Клавель?» — так назван один из последних выпусков популярной серии «Я прочел», рассказывающей французским читателям о современных мастерах слова. Это цикл интервью, данных Клавелем журналистке Аделине Ривар. В одной из этих бесед Клавель с некоторым вызовом сказал: «Пусть мне придется до последних дней терпеть яростные нападки критиков, но я твердо намерен и впредь писать для самого широкого круга читателей».

Известный французский режиссер Габриэль Аксель закончил работу над пятисерийным телефильмом по роману Бернара Клавеля «Небесные колонны» (сценарий был создан самим писателем в соавторстве с его женой, Жозетт Пратт). Фильм рассказывает о трагических событиях в провинции Франш-Конте в середине XVII века. Натурные съемки проходили в горах Юра, поросших столетними елями — величественными «небесными колоннами».
На снимке: кадр из фильма «Небесные колонны».

(Газета «Юманите»)

О негодующих критиках Клавель упоминает не случайно — за многие годы литературной деятельности ему пришлось выслушать множество упреков в недостаточной утонченности, «неэлитарности», примитивности его стиля.

Об этих откликах прессы напоминает и Венсан Ландель, автор большой статьи о Клавеле, опубликованной в журнале «Магазин литтерер». «Каких только ярлыков, — сетует критик, — не навешивали на Бернара Клавеля за тридцать лет, и все эти тридцать лет он невозмутимо, не заботясь о моде, следует своим путем». Изображать жизнь простых людей — вот принцип, которому следовал и следует Клавель во всех своих произведениях.

Первые литературные опыты Клавеля, тогда молодого, безвестного журналиста из Лиона, были встречены критикой неодобрительно, пишет В. Ландель. Однако Клавель упорно работал и выпускал один роман за другим (исключительная плодовитость и работоспособность и по сей день приносят ему восхищение одних и презрительные насмешки других). В. Ландель отмечает, что романы Клавеля, написанные в шестидесятые годы, объединяют две постоянные для писателя темы — «глубокое чувство природы, земли и яростный протест против вторжения цивилизации». Тогда же Клавель создает тетралогию с символическим названием «Великое терпение», последняя часть которой была удостоена в 1968 году Гонкуровской премии. В 1971 году Клавеля избрали в члены Гонкуровской Академии, однако несколько лет спустя он покинул этот пост, заявив, что «его место не в литературных салонах».

В семидесятые годы Клавель обращается к жанру исторического романа-эпопеи. Его первым опытом в этом роде был роман «Повелитель реки», за которым последовали пять томов «Небесных колонн» — гигантской эпопеи из времен Тридцатилетней войны: Клавель, по словам рецензента, «одержим страстью творения». Не менее грандиозен и замысел «Северного царства» — произведения, основное содержание и тема которого — в извечной борьбе человека и природы. Действие его происходит в начале века в лесных дебрях Северной Канады. Эпопея будет состоять из шести частей, только что вышедший в свет роман «Господи, помилуй» — третья из них. Главный герой книги Сириль Лабреш — один из колонистов, которых экономический кризис 1929 г. заставил покинуть город и отправиться на освоение новых земель. Автор описывает долгое путешествие колонистов, их тяжелый труд, сложные взаимоотношения, их борьбу с суровой природой.

Заключая статью о творчестве Клавеля, Венсан Ландель отмечает, что романист снова разочаровал любителей «подтекста и зазеркальных путешествий»: Клавель, по словам критика, «предпочитает высекать характеры из камня, а не зондировать души».

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ПОЛЯ-ЖАНА ТУЛЕ

Поль-Жан Туле (1867—1920) — поэт и писатель, чье творчество приходится на богатое дарованиями время рубежа веков, — никогда не считался звездой первой величины, пишет в журнале «Магазин литтерер» известный поэт Бернар Дельвай. Литературные энциклопедии и словари, обычно уделяющие Туле мало внимания, отмечают, как правило, его богатую поэтическую фантазию (группа, к которой он принадлежал, так и называлась — «фантэзисты») и изощренность стиля — качества, которыми в

Популярная французская актриса Катрин Денёв послужила моделью скульпторам, принявшим участие в конкурсе на создание нового образа Марианны — девушки во фригийском колпаке, олицетворяющей Французскую Республику. Лучшей из двадцати четырех была признана работа парижского скульптора Мирей Польска.
На снимке: Катрин Денёв с Марианной — скульптурой-победительницей — и другие работы участников конкурса.

(Журнал «Эуропео»)

избытке обладали многие из его более блестящих современников. Произведения Туле (наиболее известное из них — книга стихов «Контрарифмы») выходили в свет в довольно скромных издательствах и теперь стали почти библиографическими редкостями. Авторы нескольких солидных литературоведческих исследований, посвященных Туле, досконально изучили его жизнь и творчество, но не сделали его более читаемым.

До выхода в свет «Контрарифм» в издательстве «Галлимар» (1979), отмечает Б. Дельвай, Туле оставался в тени. И лишь в самые последние годы интерес к нему стал быстро расти. Начало этому процессу положил вышедший в издательстве «Табль ронд» сборник статей «Живой Поль-Жан Туле» (составитель Мишель Бюльто). В мае 1986 года издательство «Робер Лаффон» выпустит однотомник Туле, включающий почти все его сочинения. А пока журнал «Магазин литтерер» представляет читателям четыре тома карманного формата в популярной серии «10/18» — в них вошли романы, сказки, дневники писателя и, конечно, «Контррифмы», о которых Бернар Дельвай говорит в своей рецензии: «Если бы Туле не написал ничего, кроме этой книжки стихов, он все равно остался бы одним из самых проникновенных лирических поэтов Франции». К такой оценке присоединяется и литературовед Жак Реда: «Пришло время пересмотреть взгляд критики на Туле как на второстепенного поэта, ведь он подлинный мастер стиха, виртуозно использующий ритмические и мелодические возможности французского языка».

Автор предисловия и составитель четырехтомника — известный литературовед Юбер Жюэн, которому современные французские читатели обязаны переизданиями Ж.-К. Гюисманса, Марселя Швоба, Жюля Ренара и других авторов рубежа XIX—XX веков.

ДЕБЮТ — ПАРОДИЯ

С чего может начаться творческая биография видного ученого-литературоведа? В том числе и с озорства, как показывает первая проба пера одного из основоположников современной семиологии Ролана Барта (1915—1980). В ней уже ощутимы оригинальность мысли и отсутствие благоговения перед авторитетами, характеризовавшие ученого на протяжении всей его жизни.

«Ведь критик — это тот, кто устанавливает некую связь между текстами, казалось бы, далекими друг от друга, не так ли?» — лукаво вопрошает Барт в написанном им в 1979 году предисловии к своему первому сочинению, рассказывая историю возникновения этой «пародии в квадрате».

Летом 1933 года, гостя у деда, Барт, тогда 17-летний лицеист-словесник, прочел книгу Жюля Леметра «На полях...» — сборник пародий на великие классические произведения. «И тут мне пришло в голову, — признавался позднее Барт, — проделать экзерсис одновременно по двум школьным предметам сразу, объединив сочинение по французской литературе и перевод с древнегреческого. Так родилась двойная пародия «На полях «Критона» — пародия на Жюля Леметра, пародирующего диалог Платона «Критон», который мы столько зубрили в лицее. По примеру Леметра, — продолжает Р. Барт, — и я «исправил» конец: у меня Сократ не выпивает цикуту, а съедает плод фигового дерева, сообщая друзьям, что он согласен удалиться с ними на некий остров и жить там спокойно дальше...»

Шутливый опус Барта впервые опубликовал спустя более полувека еженедельник «Панорама». Этот текст войдет в сборник материалов коллоквиума по проблемам творчества Барта, который состоялся в г. Реджо Эмилия (Италия) в мае прошлого года.

ФРГ

В начале этого года издательство «Лухтерханд» выпустило новый роман Гюнтера Грасса «Крыса». Сложное разветвление сюжетных линий — характерная черта этой книги. В ней снова появляется Оскар Мацерат, герой романа «Жестяной барабан»; пять женщин совершают путешествие к Балтийскому морю, крыса-Кассандра предсказывает гибель человечеству...

Сообщив о выходе романа, еженедельник «Цайт» не только опубликовал его первую и четвертую главы (всего их 12), но и поместил иллюстрации самого писателя к «Крысе».

На снимках: офорты Гюнтера Грасса.

(Еженедельник «Цайт»)

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Редакция журнала «Иностранная литература» понесла тяжелую утрату — после продолжительной болезни безвременно скончался член КПСС, ответственный секретарь редакции Михаил Григорьевич Федоров. Более десяти лет он отдавал себя этому многотрудному делу и проявил себя как хороший организатор, приложивший немало усилий для обеспечения четкой, слаженной работы коллектива.

М. Г. Федорову принадлежит также большая заслуга в переводе и пропаганде немецкоязычной литературы. Он был составителем целого ряда сборников произведений как писателей Германской Демократической Республики, так и прогрессивных писателей ФРГ, был автором критических статей и предисловий. Он познакомил советских читателей с рассказами Германа Канта, повестями Хайнара Кипхардта и Эберхарда Паница, репортажами Гюнтера Вальрафа. Коллеги-германисты ценили его советы при отборе произведений для переводов, доброжелательное и участливое отношение к их работе.

Память о Михаиле Григорьевиче Федорове надолго сохранится в наших сердцах.

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ-КОСЫГИНА**, **Ю. В. ДАШКЕВИЧ**, **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ**, **Г. П. ЗЛОБИН**, **И. Ф. ЗОРИНА**, **Т. П. КАРПОВА**, **Е. Ф. КНИПОВИЧ**, **А. А. КОСОРУКОВ**, **Т. Л. МОТЫЛЕВА**, **П. В. ПАЛИЕВСКИЙ**, **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ**, **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ**, **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев**. Технический редактор **Е. П. Поляков**.

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 27.0186. Подписано в печать 12.03.86. А 05180. Формат 70×108¹/₁₆
Печать высокая, 22,4 усл. п. л., уч-изд. л. 29,10

Тираж 490 000 экз. (1-й завод: 1 — 440 000 экз.) Зак. 503.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

ПЕДРО ФРИДЕБЕРГ. «Добрый день, Лютер»

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394